



ПОСЛЕДНЯЯ ОТРАДА

ПОСЛЕДНЯЯ

ГЛАВА



КНУТ  
ГАМСУН

КНУТ  
ГАМСУН

КНИТ  
САМСУН

# KNUT HAMSON



# КНУТ ГАМСУН

---

## ПОСЛЕДНЯЯ ОТРАДА ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Романы

Москва  
«Эй-Ди-Лтд»  
1994



ББК 84.4.Нр  
Г 18

Художественное оформление  
Б.М.Кравченко

При подготовке оригинал-макета использовались  
программные продукты АО «Параграф-Интерфейс»

Тел. (095) 299-75-69, 299-79-23

Факс (095) 923-52-53

Гамсун К.

Г 18      Последняя отрада. Последняя глава. Романы /  
Пер. с норв.— М.: «Эй-Ди-Лтд», 1994.— 544 с.

ISBN 5—85869—043—2

В книгу известного норвежского писателя Кнута Гамсуна  
вошли два романа «Последняя отрада» и «Последняя глава».

ББК 84.4 Нр

ISBN 5—85869—043—2

© «Эй-Ди-Лтд», составление, 1994

**ПОСЛЕДНЯЯ  
ОТРАДА**





Я ушел в леса.

И вовсе не из чувства обиды на что-нибудь и не потому, что людская злоба причинила мне особую боль; но раз леса не идут ко мне, то я иду к ним. Вот и все.

На этот раз я ушел не как чернорабочий или бродяга. У меня есть деньги, я пресытился всем, мне надоели и успех и удача,— понимаешь ли ты это? Я покинул свет, как султан, который покидает обильный стол, гарем и цветы и надевает на себя власяницу.

Конечно, я мог бы на шуметь при этом немного больше. Дело в том, что я собираюсь здесь размышлять и раскалывать докрасна свое железо. Ницше по этому случаю сказал бы следующее: «Последние мои слова, с которыми я обратился к людям, вызвали в них сочувствие, они кивнули мне. Но это и были мои последние слова, прежде чем я ушел в леса. Ибо тогда я понял, что сказал нечто нечестное или глупое...»

Но я ничего не сказал, я просто ушел в леса.

\* \* \*

Пожалуйста, не думай, что здесь так ничего и не случается. Здесь идет снег, совсем как в городе, а птицы и животные хлопчут с утра до вечера и с вечера до утра. Я мог бы посылать отсюда обличительные истории, но я этого не делаю. Я удалился в леса ради уединения, а также ради того железа, которое я храню в себе и которое раскаливается. Сообразно с этим я и обращаюсь с самим собой. Если когда-нибудь повстречаю оленя, то, может быть, я скажу: «Господи боже ты мой, да ведь это олень, и он свирепый». Но если олень произведет на меня слишком сильное впечатление, то я скажу: «Это теленок

или птица какая-нибудь»... и я буду лгать себе без зазрения совести.

Будто бы здесь ничего не случается.

Однажды я был свидетелем того, как повстречались двое лопарей. Это были молодой парень и молодая девушка. Вначале они вели себя, как и подобает вообще людям. «Боррис!» — сказали они друг другу, и оба улыбнулись. Но сейчас же вслед за этим они повалились кувырком в снег и на некоторое время скрылись с моих глаз. Когда прошло с четверть часа, я решил, что надо пойти посмотреть, не задохнулись ли они в снегу. Они поднялись, как ни в чем не бывало, и каждый пошел своей дорогой.

Никогда во всю свою долгую жизнь не видал я, чтобы кто-нибудь так здоровался.

\* \* \*

Я живу и день и ночь в покинутой землянке, в которую приходится залезать ползком. По всей вероятности, кто-нибудь уже давно сложил ее в минуту крайности; быть может, какой-нибудь беглец скрывался в ней от погони в ненастные дни.

В землянке нас двое. Впрочем, если не считать Мадам за человека, то выходит, что в землянке живу я один. Мадам — это мышка, с которой я живу и которой дал это имя, чтобы выразить ей свое уважение. Она поедает все, что я оставляю в углах, а иногда она сидит и смотрит на меня.

В землянке я нашел старое сено, которое я любезно предоставил в пользование Мадам, а для своей постели я набрал, как это и полагается, мягкой хвои. У меня есть топор, пила и кое-какая посуда. Для спанья у меня есть мешок из бараньей шкуры, мехом внутрь. Всю ночь на очаге у меня горит огонь, моя куртка, которая висит возле очага, к утру вся пропитывается запахом свежей смолы. Когда у меня является желание выпить кофе, я выхожу из землянки и наполняю котелок чистым снегом, потом я вешаю котелок над огнем и получаю прекрасную воду.

«Ну, что это за жизнь?»

Теперь ты сказал глупость. Это такая жизнь, о какой ты не имеешь и понятия. Ты живешь в городе, у тебя есть квартира, хорошо меблированная, у тебя много безделушек, картин и книг, — но у тебя есть жена и



служанка, и у тебя множество всевозможных расходов. Ни днем, ни ночью ты не имеешь покоя, потому что ты должен участвовать в общей гонке. А я наслаждаюсь покоем. Что же, наслаждайся твоей интеллектуальной жизнью, книгами, искусством и газетами! Охотно уступаю также тебе твои кафе и твой виски, от которого я каждый раз чувствую себя нехорошо. А я наслаждаюсь жизнью в лесах и чувствую себя прекрасно. Если же ты предложишь мне какие-нибудь отвлеченные вопросы, желая поставить меня в тупик, то я просто отвечу тебе, например, что бог — это первоисточник всего, а люди воистину не более пылинок или песчинок во вселенной. Этим тебе и пришлось бы довольствоваться. Но если бы ты пожелал идти дальше и спросил бы меня, что такое вечность, то оказалось бы, что в этом вопросе я ушел так же далеко, как и ты, а потому я ответил бы: вечность — это просто время, которое не имеет еще формы, совсем еще не имеет никакой формы.

Милый друг, иди-ка сюда, я выну из кармана зеркало и пушу зайчика на твое лицо, и освещу тебя, мой друг.

\* \* \*

Ты валяешься в постели часов до десяти или одиннадцати утра, а встаешь все-таки утомленным и вялым. Я так и вижу тебя перед собой, когда ты выходишь на улицу: у тебя зажмуренные глаза, которые не могут переносить утреннего света. А я встаю в пять часов утра, и я бодр и свеж, и мне не хочется больше спать. Повсюду царит еще мрак, но все-таки есть еще на что посмотреть: я вижу луну, звезды, облака и наблюдаю за предвестниками погоды наступающего дня. Я могу определить погоду за несколько часов вперед. Я прислушиваюсь к шепоту ветерка. Затем стараюсь уловить, как потрескивает лед в озере Глимма: сухо и легко или глубоко и протяжно. Да, я слышу всевозможные предзнаменования; а когда светает, я соединяю те предзнаменования, какие я уловил ухом, с теми, которые я увидел с рассветом. И я становлюсь все более и более опытным и чутким.

Но вот на востоке появляется узкая светлая полоска, звезды тают и как бы рассыпаются на небе, свет побеждает тьму. Вскоре над лесом взлетает ворон и кружит в воздухе, и я предупреждаю Мадам, чтобы она не

высовывала носика из нашей землянки, иначе она будет съедена.

Если же ночью выпал снег, то деревья и кусты, а также большие камни принимают какой-то фантастический вид; можно подумать, что это какие-то чудовища, которые появились ночью с другого света. Сосна, поваленная бурей, с корнями, торчащими вверх, напоминает ведьму, которая вдруг очоленела в самый разгар каких-то темных своих проделок.

Вот заячьи следы на снегу, а вон длинные следы какого-то одинокого оленя. Я беру мешок, в котором сплю, и вешаю его высоко на дереве; это я делаю из-за Мадам, которая поедает все; и я углубляюсь в лес по следам оленя. Я заметил, что олень шел не по прямой линии, но все-таки направлялся к определенной цели, он шел на восток, навстречу утренней заре. На берегу реки, в том месте, где течение особенно быстро и вода никогда не замерзает, олень напился, поскоблил копытом землю в поисках мха, отдохнул немного и пошел дальше.

И вот желание узнать, что делал этот олень, куда он шел, составляет для меня, быть может, единственную мою задачу на этот день, мое единственное впечатление. И я нахожу, что этого достаточно. Дни коротки, уже в два часа я направляюсь домой среди сгущающихся сумерек. На землю спускается тихий, благодатный вечер. Придя домой, я начинаю стряпать. Мяса у меня сколько угодно, оно хранится в трех высоких сугробах снега. Впрочем, у меня есть лакомство и получше: восемь кусков жирного оленьего сыра, а также масло, а в придачу ко всему этому ковриги высушенного хлеба.

В то время, как котел кипит, я ложусь, смотрю на огонь, и мною понемногу овладевает дремота. И я сплю не после обеда, а до обеда. Когда я просыпаюсь, похлебка моя готова, в хижине пахнет вареным мясом и смолой; Мадам беспокойно бегает взад и вперед по полу и, наконец, получает свою порцию. Я ем, а потом закурываю трубку.

Вот день и прошел. И прошел он тихо и спокойно, у меня не было никаких неприятностей. В этом царстве великой тишины я живу один, других людей нет; это сознание возвышает меня в моих собственных глазах и делает меня значительным, как бы ближним самого Бога. А что касается раскалывания железа, которое находится во мне, то я думаю, что и с этим также все обстоит

благополучно, ибо Господь творит чудеса из любви к своему ближнему.

Я лежу и думаю об олене, о том, куда он пошел, что он делал на берегу реки и где он находится в настоящее время. Где-нибудь он, наверное, запутался рогами в ветвях и сорвал с дерева кору; в другом месте он наткнулся на незамерзшее болото и ему пришлось свернуть в сторону, но, обогнув болото, он снова стал придерживаться того же направления и пошел на восток. Вот о чем я размышляю, лежа, покуривая свою трубку.

А ты? Уж не прочел ли ты для сравнения в двух газетах статьи, в которых говорится об отношении общественного мнения в Норвегии к вопросу о страховании от старости?

## ГЛАВА II

---

Когда на дворе бушует непогода, я сижу в своей землянке и раздумываю о том, о сем. А иногда пишу письма кому-нибудь из своих знакомых. Я пишу, что мне живется хорошо и что я жду от них таких же известий. Но мне не приходится отсылать моих писем, и они становятся с каждым днем все старше. Да не все ли равно? Я связал письма в пачку и повесил их на веревке посреди потолка, чтобы Мадам не вздумала грызть их.

Раз как-то пришел ко мне незнакомец. Он пришел торопливой походкой и вместе с тем как-то крадучись. Он был плохо одет, на шее у него не было шарфа. По-видимому, это был рабочий. На спине у него был мешок, а что было в этом мешке — неизвестно. Мы поздоровались друг с другом и обменялись замечаниями относительно прекрасной погоды.

— Я не ожидал найти кого-нибудь в этой землянке, — сказал незнакомец. Вид у него был очень недовольный, вообще он держал себя вызывающе и как-то демонстративно с шумом опустил мешок на землю.

«Однако надо показать ему, с кем он имеет дело, раз он такой бесцеремонный», подумал я.

— Вы здесь давно живете? — спросил он меня. — И скоро вы отсюда уедете?

— Уж не тебе ли принадлежит эта землянка? — спросил я в свою очередь.

Тут он пристально посмотрел на меня.

— Если землянка принадлежит тебе, это другое дело,— сказал я.— Должен тебе только сказать, что, когда я буду уходить, то не утащу с собой в кармане землянку, словно какой-нибудь воришка.

Я сказал это очень миролюбиво, я просто пошутил, вовсе не желая обидеть его.

Однако оказалось, что я попал в точку. Незнакомец вдруг потерял свою самоуверенность. Так или иначе, но я дал ему понять, что знаю о нем больше, чем он обо мне.

Когда я попросил его войти в землянку, он с благодарностью принял мое приглашение и сказал:

— Спасибо, но я боюсь натаскать вам снегу.

И он стал тщательно счищать снег с сапог, а потом захватил свой мешок и полез в землянку.

— Я думаю, тут найдется и кофе,— сказал я.

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— ответил он. Он вытер себе лицо и с наслаждением вдыхал в себя теплый воздух.— Я шел всю ночь,— прибавил он потом.

— Ты идешь через горы?

— Я еще не решил, куда идти. Едва ли найдется работа по ту сторону гор в зимнее время.

Я дал ему кофе.

— Не найдется ли у вас чего-нибудь поесть? Право, мне совестно просить у вас... Может быть, кусок высушенного хлеба? Я не мог ничего взять с собой в дорогу.

— Вот, пожалуйста, хлеб, масло и олений сыр.

— Да, да, плохо приходится нашему брату зимою,— сказал мой гость, принимаясь за еду.

— Быть может, ты мог бы сходить в деревню и снести туда мои письма?— спросил я.— Я заплачу тебе за это.

Незнакомец ответил:

— Нет, этого я никак не могу. Я должен во всяком случае перейти через горы, потому что мне говорили, будто есть работа в Хиллингене, в хиллингенском лесу. Так что я не могу исполнить вашего поручения.

«Надо будет его подразнить немножко,— подумал я.— А то он тут размяк совсем, и в нем пропал весь его задор,— кончится тем, что он попросит у меня полкроны». Я пощупал его мешок и спросил:

— Что ты тащишь с собой? Тут что-то тяжелое.

— А вам какое дело до этого?— ответил он мгновенно, придвигая мешок поближе к себе.

— Чего ты? Я вовсе не собираюсь украсть у тебя что-нибудь, я не воришка,— сказал я опять шутивым тоном.

— А кто вас знает, кто вы такой,— пробормотал он.

День клонился к вечеру. Так как у меня был гость, то я решил в лес не идти. Я сидел и разговаривал с ним и старался выспросить у него кое-что. Это был человек обыкновенный, простолюдин, ничуть не интересовавшийся тем железом, которое я собирался раскалывать; руки у него были грязные, говорил он скучно и глупо. Я догадался, что он украл все те вещи, которые находились у него в мешке. Позже я убедился в том, что в нем была известная смекалка и что жизнь научила его всяким уловкам. Он стал жаловаться на то, что у него замерзли пятки, и снял сапоги. Меня не удивило, что ему было холодно, так как на его чулках пятки отсутствовали, а на их месте зияли громадные дыры. Он взял у меня нож, подрезал лохмотья вокруг дыр и затем надел чулки, повернув их таким образом, что пятки пришлись на подъеме. Надев сапоги, он заметил:

— Ну вот, теперь мне тепло.

Он вел себя очень тихо и осторожно. Если он брал пилу и топор с гвоздя, то, осмотрев, он аккуратно вешал их на прежнее место. Осмотрев пачку с письмами, а может быть, прочитав несколько адресов, он не сразу отпустил веревку, на которой висела пачка, а попридержал ее, чтобы она не качалась. У меня не было никакого основания жаловаться на него за что-нибудь.

Он остался у меня обедать, а после обеда он сказал:

— Извините, пожалуйста, но будете ли вы иметь что-нибудь против того, чтобы я нарезал себе немного ветвей, на которых я мог бы сидеть?

Он вышел и вскоре возвратился с мягкими хвойными ветвями. Мы должны были немного передвинуть кучку с сеном, принадлежавшую Мадам, чтобы очистить ему место в землянке. Мы развели огонь на очаге, лежали и болтали.

Вечером мой гость не ушел, он продолжал валяться и как будто старался оттянуть время. Когда стало смеркаться, он подошел к окошечку в двери, чтобы посмотреть, какая погода. Он обернулся ко мне и спросил:



— Как вы думаете, выпадет ночью снег?

— Ты спрашиваешь меня, а я как раз хотел спросить об этом же тебя. Но мне кажется, похоже на то, что пойдет снег, дым стелется по земле.

Предположение о том, что ночью может пойти снег, видимо, встревожило его. Он сказал, что предпочитает уйти ночью. Но вдруг его охватила злоба. Дело в том, что я стал вытягиваться, лежа на своей постели и нечаянно снова положил руку на его мешок.

— Не понимаю, чего вы ко мне пристали,— крикнул незнакомец, вырывая от меня мешок.— Не смейте трогать моего мешка, предупреждаю вас.

Я ответил, что дотронулся до мешка нечаянно и что я не намереваюсь ничего красть у него.

— Красть? Еще чего выдумали? Уж не думаете ли вы, что я боюсь вас? И не воображайте себе этого, голубчик мой. Вот, полюбуйте! Вот все, что у меня в мешке,— сказал мой гость. И он начал вынимать из мешка всевозможные предметы: три пары новых рукавиц, кусок какой-то толстой материи, мешочек крупы, соленный свиной бок, шестнадцать пакетов табаку и несколько больших кусков слипшихся леденцов. На самом дне мешка у него оказалось несколько фунтов кофе.

По-видимому, все это были товары, захваченные в лавке, за исключением пакета ломаных сухарей, взятых, может быть, где-нибудь в другом месте.

— Да ведь у тебя есть сушеный хлеб,— сказал я.

— Если бы вы подумали хорошенько, то не говорили бы так,— ответил незнакомец.— Раз я отправляюсь через горы и без конца иду да иду, то неужто же мне и кусочка проглотить нельзя? Прямо стыдно слушать такие слова.

Он осторожно и аккуратно снова уложил в мешок все свои вещи, одну за другой. Пакетами с табаком он тщательно отгородил свинину от сукна, чтобы оно не запачкалось.

— Почему бы вам не купить у меня эту материю?— сказал он.— Я продам ее очень дешево. Это драп. Он стесняет меня.

— Сколько ты хочешь за него?— спросил я.

— Его хватит на целый костюм, да еще останется немного,— промолвил он как бы про себя, развертывая материю.

Я сказал ему:

— Ты являешься сюда в лесную глушь и приносишь с собой оживление, и новости, и газеты. Но давай-ка потолкуем немного. Скажи, мне, ты боишься, что завтра утром увидят твои следы, если за ночь выпадет снег?

— А это уж мое дело. Мне не впервой идти через горы и я знаю много дорог,— пробормотал незнакомец.— Вы получите это сукно за несколько крон.

Я отрицательно покачал головой, и он снова аккуратно уложил сукно в мешок, словно оно было его собственностью. Он сказал:

— Я разрежу его на такие куски, из которых выйдет по паре штанов,— тогда мне легче будет продать его.

— Лучше разрежь его так, чтобы из одного куска вышли куртка, жилет и штаны, а из другого одна или две пары штанов.

— Вы так находите? Пожалуй, так будет лучше всего.

Мы рассчитали, сколько пойдет сукна на полный костюм для взрослого человека, и, чтобы не ошибиться, взяли веревку с пачкой писем и вымерили ею наши костюмы. Потом мы надрезали сукно и разорвали его на две части. Кроме полного костюма, вышли еще две пары штанов с походом.

После этого мой гость стал мне предлагать купить у него кое-что из другого товара, который был у него в мешке. Я купил немного кофе и несколько пакетов табаку. Он положил деньги в кожаную кошелек и я заметил, что она была совсем пуста. Я обратил внимание и на то, с какой жадностью и как тщательно он спрятал деньги в карман и потом пощупал их еще поверх кармана.

— Немного я у тебя купил,— сказал я,— но мне ничего больше не нужно.

— Что же, я не жалею, мое дело было продать, а ваше купить.

Он не унывал.

Он стал собираться в путь, а я лежал и не мог отделаться от чувства презрения к его жалкой манере воровать. Воровство под давлением голода... соленая свинина, кусок материи,— и все это спрятать в лесу. Увы, воровство совсем измельчало. Отчасти, конечно, это происходит вследствие того, что и наказания по закону измельчали. Остались только скучные и гуманные наказания. Из закона выкинули религиозный элемент, и судьи

уже не представляют собою больше ничего мистического. Мне вспоминается последний судья, который излагал значение присяги так, как ее должно излагать, чтобы она производила известное впечатление. И от этого у нас волосы становились дыбом. Нет, дайте нам немножко колдовства, немножко шестой книги Моисея и святотатственного греха и законов, написанных кровью новокрещенного младенца... И украдите мешок денег и серебра где-нибудь в торговом местечке, да спрячьте этот мешок в горах, и пусть в осенние вечера над этим местом стоит голубоватый свет. Но не говорите мне о трех парах рукавиц и куске соленой свинины.

Мой гость не боялся больше за свой мешок, он вылез из землянки, чтобы посмотреть, откуда дует ветер. Я положил купленные у него табак и кофе назад в мешок, потому что я не нуждался ни в том, ни в другом. Возвратясь в землянку, он сказал:

— А я подумал, не переночевать ли мне здесь, если только я вам не помешаю.

Вечером он сидел уже совершенно спокойно, он и не думал вынимать из мешка свою собственную провизию. Я сварил кофе и дал ему кое-чего поесть.

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— сказал он мне.

После ужина он опять начал возиться со своим мешком; он старался как можно больше примять свинину в угол, чтобы она не запачкала сукна. Потом он снял с себя кушак, обвязал им наискось мешок и таким образом сделал из него нечто вроде ранца, который он мог повесить себе на спину.

— Если за другой конец ухватиться через плечо, то мне будет гораздо легче тащить его,— сказал он.

Я дал ему письма, чтобы он отправил их по почте, когда перейдет через гору; он тщательно спрятал их в карман и потом пощупал поверх куртки. Деньги на почтовые марки он завернул в отдельную бумажку и завязал их в уголок мешка.

— Где ты живешь?— спросил я.

— Где жить такому бедняку, как я? Живу на берегу моря. К несчастью, у меня жена и дети,— что же тут толковать!

— Сколько у тебя детей?

— Четверо. У одного рука искалечена, а другой... да все они больные и калеки, у каждого что-нибудь не в

порядке. Плохо приходится бедняку! Жена моя больна, несколько дней тому назад она чуть не умерла и даже причастилась уже.

Он сказал все это печальным тоном. Но тон этот звучал фальшиво; по-видимому, он лгал самым бессовестным образом. Если кто-нибудь придет из села разыскивать его, то, конечно, ни у одного крещеного человека не хватит духу выдать его, раз у него такая большая семья, да к тому же еще все немощные и больные. Так он, вероятно, решил про себя.

О, человек, человек, ты хуже мыши!

Я не расспрашивал его больше ни о чем, а попросил его спеть что-нибудь,— какую-нибудь песенку или что он сам захочет, ведь нам все равно делать было нечего.

— Я не расположен теперь,— ответил он.— Еще, пожалуйста, псалом...

— Ну, так псалом.

— Нет, сейчас я не могу. Мне очень хотелось бы доставить вам удовольствие, но...

Он становился все тревожнее. Через несколько времени он взял свой мешок и вышел. Я подумал: только я его и видел. И он не попрощался даже со мной и не сказал мне обычного «счастливо оставаться». «Как хорошо, что я ушел в леса,— думал я,— здесь мое настоящее место, и с этого дня ни одна живая душа не переступит больше моего порога».

Я самым добросовестным образом сговаривался с самим собой и дал обет никогда больше не заниматься людьми.— Мадам, иди сюда,— сказал я,— я уважаю тебя и даю слово на всю жизнь соединиться с тобой, Мадам!

Через полчаса мой гость возвратился. Но мешка у него уж больше не было.

— А я думал, что ты ушел,— сказал я.

— Ушел? Что я, собака что ли,— ответил он.— Слава Богу, я живал с людьми и говорю «здравствуйте», когда прихожу, и «счастливо оставаться», когда ухожу. Напрасно вы меня обижаете!

— Куда ты девал свой мешок?

— Я отнес его на дорогу невдалеке отсюда.

Он не напрасно отнес мешок, это делало честь его предусмотрительности, так как в случае надобности ему легче было бы улизнуть без ноши на спине. Чтобы прекратить разговоры о бедности, я спросил его:

— А ты был, вероятно, настоящий молодчина несколько лет тому назад? Да и теперь еще хоть куда!

— О, да, по мере сил и возможности,— сказал он с сожалением.— Никто так легко не поднимал бочку с ворванью, как я, а на Рождество никто не плясал так, как я... Тсс... кажется, кто-то идет?

Мы стали прислушиваться. В одно мгновение он окинул взглядом дверь и отверстие в потолке, и решил встретить опасность у дверей. В своем напряжении он был великолепен, я заметил, как сжимались мускулы его челюстей.

— Нет, никого нет,— сказал я.

С решительным видом во всеоружии своей силы он выполз из землянки и не возвращался несколько минут. Когда же он снова возвратился, то глубоко вздохнул и сказал:

— Никого не было.

Мы улеглись спать. «Господи, благослови!»— сказал он, укладываясь на своем ложе из еловых ветвей. Я сейчас же заснул и некоторое время проспал крепким сном. Позже ночью тревога все-таки подняла на ноги моего гостя. Я слышал, как он пробормотал: «счастливо оставаться» и выполз из землянки.

Утром я сжег постель незнакомца; в землянке весело трещали еловые ветви.

Когда я вышел из землянки, то увидел, что за ночь выпал снег.

### ГЛАВА III

---

Что за блаженство опять остаться с самим собой, углубиться в себя и наслаждаться тишиной лесов! Варить кофе, набивать трубку и думать понемножку о том, о сем, очень медленно и спокойно. Ну вот, теперь я наполнил котелок снегом, думаю я, а теперь я смело кофе между камнями; а потом мне надо хорошенько выколотить на снегу свой спальный мешок, чтобы шерсть побелела. Конечно, это не литература и не большой роман и не общественное мнение, так что из этого? Зато мне не надо гнаться взапуски, чтобы получить этот кофе. Литература? Когда Рим владычествовал над всем светом, то ведь он был лишь лепечущим учеником Греции в области литературы. И все-таки Рим владычествовал над всем светом. Вспоминается мне еще и другая страна, которую все мы



знаем: она вела войну за освобождение, блеск от которой не померк еще и до сих пор, она дала миру величайших художников, но у нее не было литературы, да и сейчас нет...

С каждым днем я все более и более осваиваюсь с деревьями, мхом и снегом, который покрывает землю, и все эти предметы становятся моими друзьями. Вон стоит сосновый пень, весь облитый солнечными лучами. Я чувствую, как моя привязанность к нему все растет, в душе моей крепнет какое-то теплое чувство к нему. Кора на пне вся облупилась, видно, что дерево было срублено зимою, когда лежал глубокий снег; вот почему пень торчит очень высоко в воздухе и кажется таким оголенным. Я представляю себя на месте этого пня, и мною овладевает чувство сострадания к нему. И, быть может, в глазах моих при этом появляется то же наивное животное выражение, какое бывало в глазах человека первобытных времен.

Ты, конечно, воспользуешься этим случаем, чтобы высмеять меня и сострить насчет меня и моего пня. Но в самой глубине души ты, как в этом случае, так и во всем остальном, сознаешь, что преимущество на моей стороне. Конечно, я не принимаю в расчет, что у меня нет такого множества буржуазных познаний и что я не студент, хе-хе! Но что касается лесов и полей, то ты ничему уже больше не можешь научить меня, я чувствую их так, как ни один человек.

Случается, что я сбиваюсь в лесу с пути и блуждаю. О да, это случается. Но в таких случаях я не начинаю без толку кружить на месте и плутать тут же чуть не у самых дверей своего жилища,— так делают дети города. Может случиться, что я заблудился на расстоянии двух миль от своей землянки, далеко от берега реки, да к тому же в пасмурный день, когда идет густой снег и когда по небу нельзя различить ни севера, ни юга. Тут приходится пускать в ход свою способность различать всевозможные признаки на тех или иных деревьях, по верхушкам сосен, по коре лиственных деревьев, по мху, который растет у корней деревьев, по наклону ветвей, растущих с северной стороны и с южной, по камням, которые обросли мхом, по сети жилок на листьях. По всем этим признакам я легко нахожу дорогу, если только светло.

Но если начинает смеркаться, я сейчас же покоряюсь, так как знаю, что дорогу искать придется только на

другой день.— Господи, как же я проведу ночь?— говорю я самому себе. И вот, я брожу и туда и сюда, до тех пор, пока не нахожу себе теплого местечка; лучше всего в таких случаях укрываться где-нибудь под навесом скалы, куда не проникает ветер. Сюда я приношу охапку ветвей, плотно застегиваю свою куртку и устраиваюсь поудобнее. Тот, кто не испытывал этого, не знает, какое высокое наслаждение испытываешь в такую ночь, скрываясь в укромном уголке среди густого леса. Чтобы заняться чем-нибудь, я закуриваю трубку, но так как я очень голоден, то курение мне неприятно, и я беру в рот немного табаку, жую его и размышляю о чем-нибудь. А снег все идет, но я укрыт от него; а если мне везет и ветер дует с надлежащей стороны, то перед самым моим навесом вырастает снежный сугроб, который придвигается все ближе и ближе ко мне и, наконец, превращается в стену, доходящую до самой крыши моего прибежища. Тогда я спасен, я могу спать или бодрствовать, как мне угодно; я не рискую отморозить себе ноги.

\* \* \*

К моей землянке пришли двое людей. Они шли быстро, и один из них крикнул мне уже издали:

— Здравствуйте! Не проходил ли тут мимо один человек?

Мне не понравилось лицо незнакомца, да и к тому же я вовсе не был его слугой, и вопрос его был глупый.

— Мало ли кто здесь проходит. Вы, вероятно, хотели спросить, видел ли я вчера проходившего здесь человека?

Только и узнал он от меня!

— Я хотел сказать то, что сказал,— ответил с раздражением человек.— К тому же имейте в виду, я спрашиваю вас в качестве должностного лица.

Вот как! У меня не было больше никакого желания разговаривать с ним, и я залез к себе в землянку.

Двое незнакомцев последовали за мной. Лэнсман соорудил важную рожу и спросил:

— В таком случае, видели ли вы вчера проходившего здесь человека?

— Нет,— ответил я.

Оба посмотрели друг на друга, как бы советуясь, и немного погодя они вышли из хижины и снова отправились в село.

Я подумал: что за усердие в исполнении своих обязанностей у этого лэнсмана, сколько в нем пошлости! Он, конечно, получит особое вознаграждение за поимку вора, к тому же на его долю выпадет честь совершить великий подвиг. О, все человечество должно было бы усыновить этого героя, ибо он — образ и подобие самого человечества! Где же кандалы? Он должен был бы позвякать ими немного, держа их в протянутой руке, наподобие шлейфа амазонки, чтобы у меня волосы дыбом стали от сознания его могущества и того, что он имеет право надевать кандалы. Но ничего этого не было.

И что за купцы, что за торговые короли в настоящее время! Они в одно мгновение замечают пропажу того, что один человек мог унести в своем мешке, и заявляют об этом лэнсману.

С этого времени я с нетерпением начинаю ожидать весны. Моя землянка находится слишком близко от людей, и я принимаю решение выстроить себе другую, как только оттает почва. Я уже выбрал себе местечко в лесу по другую сторону реки; там мне будет хорошо. Оттуда три мили до села и три через горы.

#### ГЛАВА IV

---

Кажется, я сказал, что живу слишком близко от людей? Да простит мне бог, вот я уже несколько дней делаю маленькие прогулки в лес, громко здороваясь с деревьями и делаю вид, будто нахожусь в обществе людей. Если я представляю себе, что передо мной мужчина, то я веду с ним долгий и содержательный разговор, а если я воображаю, что вижу женщину, то становлюсь очень галантным и говорю: «Позвольте, фрекен, помочь вам нести ваш мешок». Раз как-то я встретил молоденькую лапландку, я стал осыпать ее комплиментами и выразил желание нести ее меховую кацавейку, если только она снимет ее и согласится идти голая. Да, так-то.

И я вовсе не нахожу больше, что живу слишком близко от людей, боже упаси. Да и навряд ли я выстрою новую землянку в более отдаленном месте.

Дни становятся длиннее, и я ничего не имею против этого. В сущности, зимою мне приходилось плохо, и я учился укрощать свой нрав. Это отняло у меня немало времени, а иногда стоило большого напряжения воли, так что, по правде сказать, мое самовоспитание обошлось мне довольно-таки дорого. По временам я бывал излишне суров к себе. Вон лежит хлеб,— говорил я самому себе,— и это меня ничуть не трогает, я к этому привык. В таком случае ты не увидишь хлеба в течение двенадцати часов, тогда он произведет на тебя впечатление,— говорил я и прятал хлеб.

Зима прошла.

Это были тяжелые дни? Нет, хорошие дни. Моя свобода была так велика, я мог делать что угодно, и я мог думать, о чем хотел, я был один, словно медведь в лесах. Но даже в самой чаще лесной ни один человек не может громко произнести слова, не осмотревшись по сторонам,— лучше идти и молчать. Некоторое время утешаешь себя мыслью о том, что это чисто по-английски быть немым, что в молчании есть нечто царственное,— так, по крайней мере, утешаешь себя. Но наступает день, когда это становится невыносимым, язык как бы пробуждается, начинает потягиваться, и вдруг рот раскрывается и из него вырываются какие-нибудь бессмысленные, идиотские слова: «Кирпича в замок! Сегодня теленок здоровее, чем вчера!» И эту ерунду орешь во все горло, так что слышно на четверть мили кругом. Но после этого вдруг останавливаешься, и тебя охватывает какое-то жгучее чувство, словно тебя больно ударили. Ах, если бы можно было продолжать это царственное молчание! Однажды случилось, что почтарь, ходивший за почтой через горы раз в месяц, попался мне навстречу, как раз, когда я крикнул: «Что?»— спросил он меня издалека. «Берегись, ты, там у меня заложены мины»,— ответил я, чтобы как-нибудь отделаться от него.

Однако, по мере того, как дни становились длиннее, во мне росло и мужество; вероятно, действовала весна, я чувствовал в себе какое-то таинственное возбуждение и уже перестал бояться криков. Когда я варю себе пищу, я нарочно гремлю посудой и пою во все горло. Пришла весна.

Вчера я стоял на горе и смотрел на зимний лес. Он совсем изменился, он стал серым и жалким, и теплые

солнечные лучи уже успели примять снег, потерявший свою девственную белизну. Повсюду валяются иглы, в молодняке они лежат целыми грудами, напоминая каракули, которыми испещрена спина рыбы. Выходит луна, там и сям на небе зажигаются звезды, меня охватывает дрожь, мне немного холодно, но так как в землянке мне делать нечего, то я предпочитаю стоять и мерзнуть, пока это можно выносить. Зимой я не делал таких глупостей, тогда я сейчас же шел домой, как только начинал чувствовать озноб. Но теперь мне все это надоело. Ведь пришла весна!

О, что за ясное и холодное небо! Оно широко раскрыло свои объятия всем звездам. На необозримом небесном пространстве, напоминающем ниву, рассыпано целое стадо светил, они такие маленькие и мерцающие, они напоминают крошечные бубенчики и, когда я пристально смотрю на них, то мне чудится, будто я слышу звон тысячи маленьких бубенчиков. Да, все дает моим мыслям определенное направление: я думаю о весне и о зеленых лугах.

## ГЛАВА V

---

Я развожу хороший костер из смолы на очаге, взваливаю себе на спину все свои вещи и покидаю землянку. Прощай, Мадам!

Так все кончилось.

Я не испытываю никакой радости, покидая свой приют, пожалуй, мне даже немного грустно, как это всегда бывает, когда я расстаюсь с насиженным местом. Но ведь передо мною раскрывался широкий свет и манил меня. Со мной случилось то, что случается со всеми любителями лесов и широкого простора: мы безмолвно назначили друг другу свидание — это было вчера вечером, меня вдруг охватило какое-то странное чувство, и глаза мои невольно обратились к двери.

Раза два я оборачиваюсь и смотрю на землянку; над крышей вьется дымок, он как-будто кивает мне, и я отвечаю ему тем же.

Шелковисто-мягкий и светлый воздух освежает меня; в далекой-далекой синеве над лесами загорается слабая полоска золотистого света. Мне кажется, будто это берег, где живут веселые морские разбойники. Слева от меня высятся горные громады.



Пройдя часа два, я почувствовал вдруг, что переродился с ног до головы; о, теперь все пошло на лад! Я размахиваю своей палкой с такой силой, что в воздухе раздается свист. Когда мне кажется, что я заслужил это, я сажусь и позволяю себе поесть.

Да, моих радостей ты, живущий в городе, не знаешь.

От безотчетного восторга и избытка жизни я весело подпрыгиваю на ходу и готов визжать. Я делаю вид, будто моя ноша очень легка, но мои прыжки, наконец, утомляют меня. Однако мне ничего не стоит преодолеть свою усталость, потому что на душе у меня так хорошо. Здесь, в полном уединении, на расстоянии многих миль от людей и их жилищ, я испытываю детскую радость, и моего беззаботного настроения тебе не понять, если кто-нибудь не объяснит тебе его. Вот послушай: я прикидываюсь, будто меня очень интересует какое-нибудь дерево. Сперва я смотрю на него мельком, но потом я вытягиваю шею, прищуриваю глаза и пристально вглядываюсь в него. Это что такое?— говорю я самому себе,— неужели же это..!— продолжаю я рассуждать с самим собой. Наконец, я бросаю на землю свою ношу, подхожу ближе и начинаю подробно рассматривать дерево, и при этом я киваю головой, как бы в знак того, что это действительно единственное в своем роде, феноменальное дерево, открытое мною в лесу. И я вынимаю из кармана свою записную книжку и описываю в ней замечательное дерево.

Все это шалость, шалость от избытка счастья, маленький импульс,— я играю. Так играют дети. И здесь нет почтара, который мог бы поймать меня за моим занятием. Но не успеваю я начать свою игру, как бросаю ее внезапно, как это делают дети. О, ведь только что я сам был ребенком. Милая, глупая невинность.

Хотел бы я знать, уж не радость ли по поводу того, что я скоро увижу людей, приводит меня в такое игривое настроение?

На следующий день я пришел к жилищу лопаря, как раз в тот момент, когда густой туман спустился на горы и лес. Я вошел в хижину. Там со мной все были очень приветливы, но нет никакого удовольствия сидеть в хижине лопаря. В углу на полке лежат роговые ложки и ножи, с потолка свешивается небольшая парафиновая лампочка. Сам лопарь очень неинтересное существо, он не умеет ни петь, ни колдовать. Дочь ушла за горы, она посещает

деревенскую школу и умеет читать, а писать она не умеет; оба лопаря, старуха и старик, тупоумны, как идиоты. Над всей семьей тяготеет какое-то животное молчание; если я о чем-нибудь спрашиваю, то мне или вовсе не отвечают, или бормочат в ответ односложное: «м-нет, м-да.» Но ведь я не лопарь, и у моих хозяев нет чувства доверия ко мне.

Почти весь день до самого вечера лес окутывал непроницаемый туман. Я поспал немного. К вечеру небо прояснело, начало слегка морозить, я вышел из хижины, полная луна ярко светила и тихо царила над уснувшей землей.

Так что же, звучите, надтреснутые струны!

*Куда же девались птички веселые  
И где очутился я вдруг?..  
Серебряным инеем ветви тяжелые,  
Как в сказке одеты... Все тихо вокруг,  
Все спит неподвижно... Сквозь леса узор  
Я вдаль устремляю напрасно свой взор,  
Мне все незнакомо,— и чаща, и луг...  
«...В серебряный лес, наконец, он приходит...»  
Так в сказке читал я одной.  
Из кружев и тюля он песню находит,  
Что некогда звезды пропели весной...  
Ах, юношей если б пришел я сюда,  
Чтоб хитрого тролля сковать навсегда,  
Чтоб чары рассеять над девой молодой...  
Теперь я смеюся над сказкой далекой,  
Да.. опыт меня умудрил...  
Я прежде шагал так свободно, широко —  
Теперь тяжело я ступаю, нет сил...  
Но сердце... ах, сердце так хочет вперед!  
И гонит огонь, но объемлет уж лед!  
Давно уж я сладость покоя забыл...  
Под вечер, тяжелому вздоху предтеча,  
Спустился холодный туман.  
И вздох тот пронесся по лесу далече...  
Не знаю, прокрался ль то лев великан  
Шагами беззвучными бархатных ног,  
Обход ли вечерний свершил Господь Бог...  
И леса трепещет серебристая ткань...\**

Возвратясь в хижину лопарей, я увидел там дочку хозяев, которая успела возвратиться домой и закусывала после далекого пути. Ольга была маленькое забавное существо, зачатое в снежном сугробе под взаимное

---

\* Перевел Е.В. Гешин.

приветствие «боррис», вслед за которым лопари кувырком повалились в снег. Сегодня она побывала в сельской лавочке и купила себе красных и синих лоскутьев; едва она успела поесть, как отодвинула от себя посуду и принялась расшивать свою праздничную кофту пестрыми лоскутьями. Она сидела молча, не произнося ни звука,— ведь в хижине был посторонний.

— Ты ведь знаешь меня, Ольга?

— Мн-да.

— Ты за что-нибудь сердисься на меня?

— М-нет.

— А какова теперь дорога через гору?

— Хорошая.

Я знал, что эта семья жила раньше в землянке, которую теперь покинула, и я спросил:

— Далеко ли отсюда до вашей старой землянки?

— Недалеко,— ответила Ольга.

О, у этой плутовки Ольги наверное есть, кому улыбаться! Ничего не значит, что меня она не награждает улыбками. Она сидит себе здесь в лесной чаще и, поддаваясь чувству тщеславия, расшивает свою кофту великолепными пестрыми лоскутьями. В воскресенье она, конечно, пойдет в церковь и встретит там того, кто должен любоваться ею.

У меня не было желания оставаться дольше у этих маленьких созданий, у этих песчинок рода человеческого, а так как я выпался после обеда, да к тому же был лунный вечер, то я и решил уйти. Я запасся провизией, взял с собой оленьего сыру и еще кое-чего, что мог получить, и вышел из хижины. Меня ожидало большое разочарование. Луны не было видно, все небо заволкло тучами. Да и морозить перестало. Стало тепло и в лесу было мокро. Наступила весна.

Когда Ольга увидала, что погода изменилась, она посоветовала мне не уходить; но неужели же я стал бы слушать ее болтовню? Она проводила меня в лес и вывела на тропинку, потом повернулась и пошла домой. Она была такая миленькая и смешная и напоминала курицу со взъерошенными перьями.

Пробираться вперед было чрезвычайно трудно,— но это пустяки! Час спустя я очутился высоко в горах; по-видимому, я сбился с пути. Что это там темнеет? Вершина горы. А там что такое? Другая вершина. В таком случае сделаем привал тут же, на этом месте.

Ночь была теплая и мягкая. Я сидел в темноте и вызывал в своей памяти воспоминания из далекого детства и из других своих переживаний. Какое удовлетворение чувствуешь от сознания, что у тебя в кармане деньги, когда приходится ночевать под открытым небом.

Ночью я просыпаюсь от того, что мне стало слишком жарко в моем убежище под навесом скалы. Я раскрываю свой спальный мешок. В моих ушах еще раздаются отголоски какого-то звука,— быть может, я крикнул или пел во сне? Я сразу стряхиваю с себя сонливость и выглядываю из под горного навеса. Темно и тепло, мертвая тишина,— сказочный окаменевший мир. Я смотрю на небо, которое немного светлее всего окружающего, и замечаю, что со всех сторон окружен горами, что нахожусь среди целого города горных вершин. Поднимается ветер, и вдруг издалека доносится глухой рокот. Что за погода! Вот сверкнула молния, и вслед за этим сейчас же грянул гром, словно с горных утесов обрушилась гигантская лавина. Какое невыразимое наслаждение лежать и прислушиваться к тому, как бушует непогода! В этом наслаждении есть что-то сверхъестественное, по всему моему телу проходит сладкий трепет, у меня такое чувство, будто меня сразу напоили допьяна каким-то необъяснимым образом, и это выражается тем, что мною овладевает шаловливое настроение, я смеюсь, и все мне кажется забавным. Чего только мне не приходит в голову! Но моя необузданная веселость сменяется мгновениями глубокой скорби, и я лежу и тяжело вздыхаю. Снова тьму пререзает молния и гром раздается ближе, начинает капать дождь, который превращается в ливень, оглушительное эхо гремит со всех сторон, вся природа пришла в возмущение,— настоящее светопреставление! У меня является желание смягчить ужасы ночи, и я кричу во тьме, потому что боюсь, что иначе она каким-то таинственным образом отнимет у меня все силы и сделает меня безвольным. Вот увидишь, что все эти горы не что иное, как колдовская сила, которая заперла

мне путь,— думаю я,— это гигантские заклинания, которые стоворились не пускать меня дальше. А что если я случайно попал на тайное собрание гор? Я киваю несколько раз головой,— и это должно означать, что я полон бодрости и весел. Да к тому же, как знать, может быть, эти горы просто бутафорские?

Опять молния, молния и раскаты грома, и ливень, ливень без конца. У меня такое впечатление, будто стоголосое эхо наносит мне частые удары, один за другим. Ну так что же,— я читал и не о таких грозах, да кроме того мне пришлось побывать под дождем пуль.

Когда на меня нападает минута уныния и сознания своего ничтожества в сравнении с той силой, которая бушует вокруг меня, я невольно испускаю стон и думаю: что я за человек и кто я? А, может быть, меня вовсе и не существует больше, может быть, я — ничто. И я начинаю болтать и выкрикиваю свое имя, чтобы убедиться в том, что я существую.

Что это?.. Передо мной, вертясь, проносится огненное колесо, оглушительный гром раздается прямо над моей головой, под самым навесом скалы, где я укрылся. В одно мгновение я вскакиваю из своего мешка и из-под навеса гром продолжает греметь почти без перерыва, молния сверкает то тут, то там, все содрогается от грома, кажется, будто какая-то сверхъестественная сила готова вырвать с корнем весь мир.

Ах, отчего я не послушался малютки Ольги и не остался у лопарей в хижине. Быть может, всю эту чертовщину и наколдовал сам лопарь. Лопарь? О, отвратительная песчинка рода человеческого, какая-то горная сельдь — и вот в какое положение он меня поставил. Какое мне дело до всего этого грома и сумбура?

Я делаю попытку вступить в борьбу с этой силой, но останавливаюсь: ведь я нахожусь лицом к лицу с великим, я вижу всю тщетность попытки вступить в рукопашный бой с грозой.

Я прислоняюсь к отвесной стене скалы и не думаю вызывать на бой врага и не кричу на него,— напротив, я побледнел. Правда, я сдался, но ведь только скала настолько тверда, что не сдается. Вот, полюбуйся. Но, конечно, мне не до стихов и ритма,— ведь не стану же я напрягать свою голову при таком ливне. Можешь быть уверен в этом. И я стою здесь, прислонившись к самому

миру; да, а ты, быть может, принимаешь мою бледность за нечто серьезное...

Но вот молния ударила прямо в меня. Случилось чудо, и случилось оно со мной. Молния прошла по моей левой руке и опалила рукав; потом она скатилась по моей руке, словно клубок шерсти. Я почувствовал, как меня обожгло, я услышал, как на некотором расстоянии от меня потемнело. Вслед за этим раздался оглушительный раскат грома тут же, в непосредственной близости от меня; в этом раскате отчетливо слышались резкие удары, следовавшие быстро один за другим.

Гроза прошла мимо.

## ГЛАВА VII

---

На следующий день я пришел к покинутой землянке; на мне не было сухой нитки и я еще не оправился от удара молнии, но настроение у меня было удивительно кроткое, как после заслуженного наказания. Моя удача в неудаче сделала меня необыкновенно добрым и ласковым ко всему и ко всем; я шел по дороге осторожно, чтобы не повредить гору, и старался отгонять от себя греховные мысли, несмотря на то, что была весна. Мне не было досадно, что я должен спускаться той же дорогой обратно с горы, чтобы найти тропинку к землянке,— времени у меня было достаточно, торопиться мне было некуда. Я был первый весенний турист и отправился в путь слишком рано.

Я провел в землянке несколько дней и чувствовал себя прекрасно. Иногда ночью в моей голове вдруг зарождались стихи и превращались в маленькие поэтические произведения, словно я стал настоящим поэтом. Как бы то ни было, но это во всяком случае служило признаком того, что за зиму во мне произошла радикальная перемена, потому что зимой я способен был только лежать, моргать глазами, наслаждаться покоем.

Однажды, когда солнце ярко сияло, я вышел из землянки и некоторое время бродил по горам. За последнее время во мне зародилась мысль написать детские стихи и посвятить их одной маленькой девочке, но из этого так ничего и не вышло; а когда я бродил по горам, у меня снова явилось желание заняться этим, но я тщетно сделал несколько попыток написать стихи, у меня ничего не

выходило. Нет, этим делом надо заниматься ночью, после того, как проспешь несколько часов,— тогда это удастся.

Я пошел в село и запасся большим количеством провизии. В этой местности было большое население и мне было приятно услышать людские голоса и смех; но мне негде было поселиться, потому что я слишком рано пустился в странствие. Я возвращался в хижину с тяжелой поклажей. На полпути я повстречался с одним человеком, безработным бродягой,— звали его Солемом. Позже я узнал, что он был незаконным сыном одного телеграфиста, служившего в Розенлуде много лет тому назад.

Уже одно то, что этот человек отступил немного от дороги, чтобы пропустить меня с моей ношей, произвело на меня хорошее впечатление. Я поблагодарил его и сказал, что ему незачем беспокоиться, что я не собью его с ног, хе-хе.

Когда я проходил мимо, человек остановился и спросил, какова дорога в село. Я ответил ему, что дорога дальше такая же, как и здесь. Ага,— сказал он и хотел идти дальше. Мне пришло в голову, что, может быть, он идет издалека, а так как у него, по-видимому, не было с собой никакой еды, то я предложил ему закусить, чтобы иметь предлог поговорить с ним. Он поблагодарил меня и принял мое предложение.

Он был среднего роста, совсем молодой, лет двадцати с небольшим и никак не более тридцати, сложения он был плотного. У него, как и у всех бродяг, из-под шапки задорно торчал хохол; но бороды у него не было. Этому взрослому мужчине не надоело еще бриться и, судя по его задорному хохлу и всему его облику, я вывел заключение, что он хочет казаться моложе своих лет.

Пока он ел, мы болтали с ним, он смеялся и был очень весел, а так как его безобразное лицо с резкими чертами производило впечатление чего-то жестокого, то, казалось, будто улыбается железо. Но он рассуждал умно и был симпатичен. Взять хотя бы это: ведь я так долго молчал и теперь, быть может, был слишком словоохотлив; но если случалось, что мы заговаривали зараз, Содем и я, то он сейчас же останавливался, чтобы дать мне говорить. Так было несколько раз, и, наконец, я не хотел уж больше, чтобы он уступал мне, и тоже замолчал. Но из этого ничего не вышло, он кивнул головой и сказал:

— Пожалуйста, продолжайте.

Я рассказал ему, что брожу по лесам, изучаю замечательные деревья и пишу кое-что о них; я сказал, что живу в покинутой землянке и сегодня ходил в село за провизией. Услышав про землянку, он перестал жевать и стал прислушиваться внимательнее, потом он вдруг сказал:

— Да, все эти телеграфные столбы, которые идут через горы, я в некотором роде хорошо знаю. Не эти именно, а другие. Я служил на этой линии и только недавно бросил место.

— В самом деле?— спросил я.— Так, значит, ты проходил сегодня мимо моей землянки?

Он на минуту задумался, но, когда сообразил, что я не желаю ему зла, то признался, что заходил в мою землянку, отдыхал и нашел там кусок хлеба.

— Мне трудно было сидеть там, смотреть на хлеб и не съесть его,— прибавил он.

Мы поговорили о том, о сем, он избегал грубых выражений и с едой обращался очень бережно. Я не мог не оценить его прекрасного поведения.

Он предложил мне помочь нести мою ношу в знак благодарности за то, что я накормил его, и я принял его предложение. И вот этот человек дошел со мной до самой моей землянки. Войдя в землянку, я сейчас же увидел на столе записку,— это была в некотором роде благодарность за хлеб. Записка была ужасно безграмотна и полна бесстыдных выражений. Когда Содем увидел, что я читаю ее, на его железном лице появилась улыбка. Я притворился, будто ничего не понял, и бросил записку обратно на стол. Он взял ее и разорвал на мелкие клочки.

— Ужасно досадно, что вы увидели ее,— сказал он.— Мы, телеграфные рабочие, всегда так делаем, я забыл, что оставил записку здесь.

Сказав это, он вышел из землянки.

Он остался ночевать и пробыл у меня весь следующий день; он каким-то образом, ухитрился вымыть мне кое-что из белья, и вообще этот несчастный старался мне быть полезным, в чем мог. Перед землянкой валялся большой котел, который оставили лопари; он был сломан и давал сильную течь, но Содем ухитрился замазать щели салом и выварить в нем мое белье. Смешно было видеть, как он возился с этим: сало, которое плавало на поверхности воды, он отливал.



По-видимому, он решил дожидаться, пока нам понадобится новый запас провизии, и тогда пойти вместе со мной в село. Когда же он услышал, что я решил идти в другое место, в одну усадьбу высоко в горах, у самого Торетинда, где летом собираются туристы и живут горожане, то он изъявил желание сопутствовать мне. Он был свободен, как птица небесная.

— Ведь вы позволите мне нести ваши вещи?— спросил он меня.— Я привык исполнять всякие работы в усадьбах, может быть, для меня найдется там какое-нибудь дело.

## ГЛАВА VIII

---

В большой усадьбе царило уже весеннее оживление, люди и животные словно проснулись от зимней спячки, в хлеву раздавалось неумолчное мычание весь день; коз уже давно выпустили на пастбище.

Усадьба стояла в отдалении от других жилищ, только в лесу торпари расчистили себе несколько мест, которые купили потом, все же остальное,— луга, поля и строения,— принадлежало этому поместью. Здесь было много новых домов, которые прибавлялись по мере того, как увеличивалось туристское движение через горы. На коньках крыш в норвежском стиле торчали головы драконов, а из гостиной доносились звуки рояля. Ты, конечно, помнишь все это? Ведь ты был здесь. Хозяева усадьбы спрашивали о тебе.

Приятные дни, снова приятные дни, хороший переход от одиночества. Я разговариваю с молодыми людьми, которые владеют усадьбой, и со старым отцом хозяина, а также с его молоденькой сестрой Жозефиной. Старый Каль выходит из своей избы и смотрит на меня. Он до ужаса старый и дряхлый, ему, может быть, девяносто лет, его глаза выцвели и взгляд их несколько безумный, сам старик весь съежился и ссохся до невозможности. Каждый раз, когда он выходит на свет и разводит руками, как бы пробираясь ощупью, он производит впечатление, будто бы только что появился на свет божий прямо из утробы матери и удивляется всему, что видит перед собой: — «Это еще что такое? Да ведь это как будто дома стоят на дворе»,— думает он, озираясь по сторонам. Если он замечает, что дверь в сарай раскрыта, он начинает пристально смотреть туда и думать: «Нет, виданное ли это дело? Ведь это дверь раскрыта,— что бы это могло значить? Это очень похоже

на раскрытую дверь.» И долго стоит он, не отрывая потухших глаз от этой двери.

Но Жозефина, его дочь от последнего брака, молода, и она играет для меня на рояле. Да, да, Жозефина! Когда она быстро бежит через двор, ее ноги под юбкой напоминают молодые побеги. Она так ласкова с гостями; я подозреваю, что она уже издали заметила Солема и меня, когда мы подходили к усадьбе, и она сейчас же села за рояль. У нее такие жалкие и серые девичьи руки. Она подтверждает мое старое наблюдение, что в руках есть выражение, которое находится в связи с полом их обладателя, что они выражают целомудрие, равнодушие или страсть. Забавно видеть, как Жозефина доит коз, сидя верхом на козе. Надо сказать, что эту работу она исполняет ради кокетства, чтобы понравиться гостям; вообще же она так занята в доме, что ей некогда исполнять такие работы. О, куда там! Она прислуживает за столом, поливает цветы и занимает меня разговорами о том, кто взошел на вершину Торетинда в прошлом году и в позапрошлом году. Ах, уж эта жомфру Жозефина!

И вот я брожу кругом, бодрый и возрожденный; на минуту останавливаюсь и смотрю на Солема, который возит с поля навоз, потом я иду в лес в те места, которые куплены торпарями.

Хорошенькие домики, у каждого хлев для пары коров и несколько коз, полуголые ребятишки, которые играют на дворе с самодельными игрушками, ссоры, смех и плачь. Оба торпаря возят навоз в поля на санях, они стараются везти его по тем местам, где еще осталось хоть немного снега и льда, и дело у них идет прекрасно. Я не спускаюсь вниз к домам, а смотрю на работу сверху. О, я хорошо знаю деревенскую трудовую жизнь и люблю ее.

Немалые пространства земли расчистили эти торпари, и хотя усадьбы их совсем маленькие, но возделанные поля врезались глубоко в лес. Впоследствии, когда все будет расчищено, эти усадьбы будут на пять коров и одну лошадь. В добрый час!

День идет за днем, стекла на окнах оттаяли, снег становится серым, на южных склонах появляется зелень, листва в лесах распускается. Я продолжаю придерживаться своего первоначального намерения раскалить докрасна железо, которое я ношу в себе; но, конечно, я был бы прямо смешон, если бы думал, что это так легко. В конце

концов я не знаю даже, есть ли во мне железо; а если бы оно и было, то я уже потерял уверенность в том, что сумею выковать его. После этой зимы я стал таким одиноким и незначительным в жизни. Я брожу здесь, занимаюсь понемножку тем или иным и вспоминаю время, когда все было иначе. И это особенно ясно стало для меня теперь, когда я снова вышел на свет божий к людям. Когда-то я был не таким странником. У всякой волны есть свой куст в заливе — это у меня было. У всякого вина есть своя искра — это было у меня. А неврастения, обезьяна всех болезней,— она преследует меня.

Так что же? Да я и не горюю об этом. Горевать? Это женское дело. Жизнь дана нам во временное пользование, и я с благодарностью принимаю этот дар. Бывали времена, когда у меня водилось золото, серебро, медь, железо и другие металлы, и было очень забавно жить на свете, гораздо забавнее, чем в уединении вечности; но забава не может продолжаться без конца. Я не знаю никого, кого не постигла бы такая печальная участь, как меня, и в то же время я не знаю никого, кто хотел бы примириться с этим. О, как эти люди катятся по наклонной плоскости! Но сами они в это время говорят: «Посмотри-ка, как я лезу вверх!» И после первого же юбилея они покидают жизнь и начинают прозябать. После того, как человеку минет пятьдесят лет, он вступает в семидесятые годы. И оказывается, что железо не раскалено больше и что его вовсе и не было... Но, Господи, Боже ты мой, глупость упорно продолжает утверждать, что железо было, и она даже воображает, что оно раскалено. Посмотрите-ка на железо!— говорит глупость,— посмотрите, ведь оно раскалено докрасна!

Будто есть смысл в том, чтобы отгонять смерть еще в течение двадцати лет от человека, который уже начал понемногу умирать! Я этого не понимаю; но ты, вероятно, понимаешь это в своей беззаботной посредственности и во всеоружии своих школьных познаний. Однорукий человек может все-таки ходить, а одноногий может еще лежать. А что ты знаешь о лесах? И чему я выучился в лесах? Что там растут молодые деревья.

Позади меня стоит молодежь, которую глупость и пошлость презирают до бесстыдства, до варварства, только за то, что она молода. Я наблюдал за этим много лет. Я не знаю ничего презреннее твоих школьных познаний и

тех суждений, которые являются их результатом. Пользуешься ли ты катехизисом или циркулем, идя по жизненному пути,— это все равно. Иди же сюда, дружок, я подарю тебе циркуль, выкованный из того железа, которое я ношу в себе.

## ГЛАВА IX

---

У нас появился турист, первый турист. И хозяин сам повел его через горы, а с ними вместе пошел также Содем, чтобы изучить дорогу и потом провозжать туда других туристов. Турист — маленький толстенький человек, с жидкими волосами, пожилой капиталист, который странствует ради своего здоровья и ради последних двадцати лет жизни. Бедняжка Жозефина быстро засемила ногами и ввела его в гостиную с роялем и с фарфоровыми блюдами. Когда он уходил, появились мелкие деньги, и Жозефина приняла их своими серыми девичьими пальцами. По другую сторону гор Содем получил в награду две кроны, и это была плата довольно щедрая. Все шло прекрасно и даже хозяин ободрился и повеселел:

— Ну, вот они начинают приходить! Лишь бы только все осталось по-старому,— прибавил он.

Последние его слова относились к тем спокойным, беззаботным дням, которыми до сих пор наслаждался он и его семья; но дело в том, что через две недели в соседней долине должно открыться автомобильное сообщение и можно было опасаться, что это отвлечет поток туристов от него в соседнюю долину. Жена хозяина и Жозефина были очень озабочены этим; но хозяин до самого последнего времени оставался при своем мнении: у них во всяком случае будут постоянные пансионеры, которые жили у них из года в год и никогда не изменят им! А кроме того, пусть в других местах заводят сколько угодно автомобилей, ведь Торетинд все-таки останется на своем месте.

И хозяин был так спокоен за будущее, что заготовил много строевого леса для постройки нового дома, и лес этот был сложен у сарая. Хозяин решил выстроить новый дом с шестью комнатами для приезжающих, с вестибюлем, украшенным оленьими рогами и выдолбленными из бревен креслами,— предполагалась также и ванна. Но что случилось с этим человеком сегодня? Неужели в него закралось сомнение? Лишь бы все осталось по-старому,— сказал он.

Неделю спустя приехала фру Бреде с детьми; как и в предыдущие годы, она заняла один целый дом. Должно быть, она была очень богатая и знатная, эта фру Бреде, раз она могла занимать целый дом. Это была очень любезная и милая дама, а девочки ее были красивые и здоровые дети. Они приседали мне,— и, не знаю почему, но каждый раз при этом мне казалось, что мне дают цветы. Странное это было чувство.

Но вот появилась фрекен Торсен и фру Моли, и обе поселились надолго. Вслед за ними приехал учитель Стаур на одну неделю. Позже приехали учительницы Жонсен и Пальм, а потом адъюнкт Хей и еще кое-кто,— коммерсанты, телефонистки, какие-то бергенцы и двое или трое датчан. За столом нас сидело очень много, и мы вели оживленную болтовню. Когда учителю Стауру, предлагали еще супу, он отвечал:— Нет, спасибо, я больше не хочу.— И говорил он это, поддельваясь под простонародное произношение, и при этом самодовольно обводил всех глазами. После обеда мы, как принято, собирались в отдельные группы и уходили в горы и леса. Но проезжающих было очень мало, а между тем для гостиницы они-то и представляют, в сущности, самую доходную статью, так как выгоднее всего отдавать комнаты поденно, кормить по карточке и отпускать порции кофе. За последнее время Жозефина казалась озабоченной, и ее молодые пальчики с особенной жадностью перебирали серебряные монеты, когда она их считала.

Тощая горная форель, козье рагу и консервы. Некоторые из пансионеров были люди избалованные, они были недовольны пищей и заговаривали о том, что уедут; другие же хвалили пищу и прекрасную горную природу. Учительница Торсен собиралась уехать. Это была красивая, высокая девушка с темными волосами; она всегда ходила в красной шляпе. Она скучала, потому что в пансионе не было молодых людей, которые заслуживали бы хоть какого-нибудь внимания, и в конце концов ей надоело так, зря, тратить свои каникулы. Купец Батт, побывавший и в Африке и в Америке, был единственным кавалером у нас, так как даже бергенцы не шли в счет. «Где фрекен Торсен?»— спрашивал иногда нас купец Батт. «Я здесь, иду, иду!»— отвечала фрекен Торсен. Они не любили ходить в горы, а предпочитали забираться в лес, где сидели и болтали подолгу. Ну, ведь купец Батт не представлял

собой ничего особенного, он был маленький, весь в веснушках, и говорил только о деньгах и зарработке. К тому же в городе у него была небольшая лавочка, в которой он торговал сигарами и фруктами. Так что о нем и говорить не стоит.

Однажды в дождливую погоду я долго разговаривал с фрекен Торсен. Странная девушка! Вообще гордая и замкнутая, она иногда делалась вдруг оживленной, общительной и даже несколько развязной. Мы сидели в гостинной, и там все время толкались люди, приходили и уходили, но это ничуть не стесняло ее, она говорила громко и выражалась ясно; в своем волнении она то складывала руки, то снова разнимала их. Несколько времени спустя вошел купец Батт, он с минуту послушал, что она говорит, и потом сказал: — Я уйду, фрекен Торсен, мы идем вместе?— Она только смерила его взглядом с головы до ног и потом отвернулась от него и продолжала говорить. И при этом вид у нее был очень гордый и решительный. Как бы то ни было, но в ней было много хорошего. Она сказала мне, что ей двадцать семь лет и что ей все опротивело и надоело, а больше всего ее учительство.

Но почему же она обрекла себя на такую жизнь?

— О, просто из моды!— ответила она.— Мои подруги также решили идти по пути науки, изучать языки, грамматику и тому подобное,— это было так интересно. Мы решили сделаться самостоятельными и зарабатывать много денег. Да, как бы не так. Как я была бы благодарна за угол, хотя бы самый тесный уголок, но мой собственный... А все эти долгие годы учения. Некоторые из моих товарок были богаты, но у нас, бедных, не было таких платьев и руки наши не были такими выхоленными, как у них. И вот мы начали избегать домашней работы, чтобы побережь руки. Стирка, приготовление кушаний и починка белья — все выпало на долю матери и сестер, а мы, студентки, сидели и старались добиться того, чтобы у нас были ангельские ручки. Ведь мы сошли с ума, я говорю это совершенно искренно. В те годы мы прониклись теми извращенными понятиями, с которыми нам предстояло прожить потом всю жизнь; мы поглупели от школьных познаний, мы приобрели малокровие и потеряли душевное равновесие: иногда на нас нападало безнадежное уныние и мы приходили в отчаяние от нашей горькой участи,

иногда же нас охватывала истерическая веселость, и мы кичились нашими экзаменами и нашим изяществом. Мы были гордостью семьи. Да к тому же мы стали самостоятельными. Мы получили места в конторах с жалованьем в сорок крон в месяц; дело в том, что студенток развелось слишком много, мы уже не представляли собой исключения, нас были сотни, а потому нам дали только сорок крон. Из этих сорока крон тридцать уходило отцу и матери за содержание, а десять мы оставляли себе. А это все равно, что ничего. Мы должны были хорошо одеваться в конторах, к тому же мы были молоды и любили погулять. Нам не по силам была такая жизнь, мы делали долги, некоторые из нас вышли замуж за таких же бедняков, как мы сами. Ненормальные условия замкнутой школьной жизни способствовали тому, что мы прониклись нездоровыми понятиями,— мы считали необходимым бравировать и не отступать ни перед чем. Многие из нас совсем сбились с пути, некоторые вышли замуж и, конечно, с такими понятиями проявили полную неприспособленность к семейной жизни, другие уехали в Америку и исчезли там. Но я уверена, что все они все-таки кичатся своими языками и экзаменами. И это все, что у них осталось,— у них нет ни радостей, ни здоровья, ни невинности, но зато они выдержали экзамен в университете. Господи, Боже мой!

— Но ведь некоторые из вас сделали учительницами и получают хорошее жалованье?

— Хорошее жалованье? Но ведь для этого надо было начинать учение сначала. Будто и без этого уже отец, мать и сестры не достаточно терпели нужду! Новое долгое корпение над книгами, и все это для того, чтобы начать новую жизнь в школьных стенах... и чтобы подготовить других к такой же ненормальной жизни в молодости, через какую мы сами прошли. О, да, нам суждено было совершить прекрасное дело,— так нам всем казалось: ведь мы уподоблялись чуть ли не миссионерам. Но теперь я не хочу больше продолжать этого прекрасного дела, если будет только хоть какая-нибудь возможность отделаться от него. Лучше все, что угодно...

Купец Батт открывает дверь и говорит:

— Вы идете, фрекен Торсен? Дождь перестал...

— Ах, оставьте меня в покое!— ответила она.

Купец Батт скрылся.

— Почему вы так неласково отказываете ему?— спросил я.

— Потому что... Да ведь погода скверная,— ответила она, выглядывая в окно.— К тому же он ужасно глуп. А кроме того он нахален.

Какой у нее был решительный и непоколебимый вид и как она была права!

Бедная фрекен Торсен! Так или иначе, но в пансионе прошел слух, будто бы фрекен Торсен только что отказали от места в школе за ее эксцентрическое преподавание, которое слишком долго терпели.

Ну, не все ли равно!

Я знаю только, что то, что она рассказала мне, было истинной правдой.

## ГЛАВА X

---

Как странно! Оказывается, что хозяин пансиона весь в долгах, а его торпари купили новые земли у него на наличные деньги. Мало-помалу я узнаю все. Фру Бреде со своей красивой головой и мягкими чертами лица знает кое-что обо всем и обо всех,— ее умудрило ее долгое пребывание в этом месте. А потому, когда она заговаривает о положении дел в пансионе, то ей не приходится лезть за словом в карман.

Да, хозяин весь в долгах.

Никому и в голову не могло бы прийти, что дела здесь обстоят не очень-то хорошо. Стоило только посмотреть на новые строения, на флагштоки, на гардины на окнах и красный колодец — все производило впечатление благосостояния. В комнатах также ничто не может навести на мысль о стесненных обстоятельствах; я не говорю уже о рояле, но все стены украшены картинами и фотографиями пансиона, снятыми со всех сторон, здесь несколько газет и большой выбор романов, которые валяются на всех столах и которые иногда крадут гости. Вот и еще одна мелочь: все счета подают на великолепных бланках с фотографией пансиона и с Торетиндом на заднем плане. Все заставляет предполагать, что здесь царит довольство. И при этом думаешь: так это и должно быть, раз пансион существует двадцать лет, в течение которых его усиленно посещали туристы, и в нем живут пансионеры.



Но правда то, что это здание и все его внешнее и внутреннее убранство стоят больше того, что пансион приносит. Оказывается, что негодянт Бреде также вложил немало денег в это предприятие,— вот почему фру Бреде каждый год приезжает сюда с детьми: она получает проценты едой.

Неудивительно, что она пользуется одна целым домом: ведь это ее собственный дом.

— Да, предприятие это было очень хорошее в прежние времена,— говорит фру Бреде — путешественники заходили сюда, получали ночлег, и это было очень выгодно. Но мало-помалу конкуренция заставила расширить дело, нельзя было отстать от других, ведь все такие предприятия стараются перещегоолять друг друга. Да и хозяин пансиона едва ли пригоден для такого капризного предприятия, он слишком привык к безделью и к тому, чтобы все в доме делалось само собой. Нет, а вот его два торпаря очень работающие люди. Они племянники хозяина, они покупают один участок земли за другим и возделывают ее. Мой муж часто говорит, что дело кончится тем, что торпари или их дети купят всю эту усадьбу.

— Неужели же торпари будут в состоянии это сделать?

— Они работают, это простые крестьяне. Они начали здесь в лесу, имея только трех коз. Они работали в селе и возвращались домой с едой и шиллингами в кармане, и все время они понемножку расчищали место. Они завели себе по несколько коз и по одной корове, потом они прикупили еще земли и завели больше скота. Они сеют рожь и сажают картофель; они развели огороды, и хозяйка пансиона покупают у них овощи, так как им некогда заниматься огородами, у них слишком много работы в доме. Да, здесь сеют только кое-какую траву для скота, потому что хозяин говорит, что другого ничего не стоит сеять. И до некоторой степени он прав. Он пытался было нанимать людей и заниматься земледелием, но из этого ничего не вышло. Ведь путешественники прибывают как раз весной, и часто бывает, что все рабочие уходят с полей, чтобы провожать через горы туристов или прислуживать пансионерам. И так бывает из года в год; случалось, что не успевали даже вывезти весь навоз со двора. Но хуже всего бывает осенью, когда все путешественники стремятся как можно скорее домой, тогда и думать нечего о том, чтобы спокойно исполнять осенние работы. Мой

муж говорит, что вошло почти в обычай, что торпари жнут поля хозяина исполу.

Когда я выразил удивление по поводу того, что фру Бреде так много понимает в земледелии, она покачала головой и сказала, что все, что она знает, она знает от мужа.

— Дело в том,— сказала она,— что каждый раз, когда торпари покупают новый участок земли у Поля, мой муж должен дать на это свое согласие. Вот почему мало-помалу мы вошли в подробности всех этих дел, но это не так-то легко сделать; а теперь он с большим страхом ожидает нового автомобильного сообщения.

Фру Бреде была добродушная дама, проникнутая материнскими чувствами, она играла со своими маленькими девочками и, по-видимому, обладала завидным душевным равновесием. Вот пример: как-то одна коза возвратилась домой со сломанной задней ногой, все гости выбежали на двор, кто с коньяком, кто с ланолином, кто с компрессами; одна только фру Бреде осталась спокойно сидеть, непоколебимая в своей опытности, благоразумная, несколько удивленная всей этой возней.— Таковую козу надо сейчас же зарезать, все равно, она ни на что больше негодна,— сказала она.

Я вывел заключение, что эта дама очень рано вышла замуж: ее девочкам было одной двенадцать лет, другой десять. По-видимому, ее муж вел большие дела, он подолгу уезжал из дому, часто бывал в Исландии и других местах. Но молодая женщина и к этому относилась спокойно. А между тем она была молода и красива, хотя, быть может, несколько полновата для своего небольшого роста; но цвет лица у нее был прекрасный и на лице не было ни одной морщинки. Она была резким контрастом другой нашей красавицы, фрекен Торсен, высокой и темноволосой.

О, едва ли фру Бреде была всегда так спокойна, как это казалось. Раз как-то она вошла в людскую и попросила Солема оказать ей услугу, и тут я не узнал ее лица, так оно всё вспыхнуло. Она попросила Солема прийти и поправить ей штору, которая упала. Был уже поздний вечер, видно было, что фру Бреде успела уже улечься, но снова встала. Солем не очень-то охотно отозвался на ее просьбу. Но вдруг их взоры встретились и на одно мгновение не отрывались друг от друга. Ага, да, да, он сейчас придет...

Что за дьявол этот Солем, этакий молодчина.

То один, то другой турист приходили и уходили. Солем провожал их в горы, и они исчезали. Но куда девались в этом году все иностранцы? Ни одного не было видно. Куда девались караваны Беннета и Кука, которые задались целью распространить славу о норвежских горах,— куда они пропали?

Но вот появились два жалких англичанина. Они были уже старые, небритые и вообще небрежно одетые,— это были два инженера или что-то в этом роде, немые и невежливые, как большая часть важных путешествующих английских шутов. Носильщик! Носильщик!— кричали они,— Вы носильщик, да?— Все в них было обычно, они путешествовали глупо и серьезно, взбирались на горные вершины, суетились и торопились, словно совершали важную миссию или бежали за доктором.

Солем проводил их на вершину и затем перевалил с ними через горы; за это они дали ему двадцать пять эре. Солем продолжал держать раскрытую ладонь, так он мне рассказывал позже,— думая, что они отсчитают ему еще денег. Но он ошибся. Тогда он постоял за себя, о, этот Солем уже успел деморализоваться и стать наглым от беспечной жизни среди туристов: Mehr! More!— сказал он.— Но нет, на это они не соглашались.— Тогда Солем бросил деньги на землю и раза два хлопнул в ладоши. Это помогло, он получил еще одну крону. А когда Солем взял лорда за плечи и слегка сжал его, то получил в придачу еще две кроны.— Размазня ты этакая,— сказал Солем.

Но вот появились, наконец, и караваны. Смешанный язык, оба пола, охотники, рыбаки, собаки, любители восхождения на вершины, носильщики. У нас поднялась невероятная возня, на флагштоке взвился флаг, Поль то и дело стоял, склонившись, принимая различные приказания, а Жозефина бегала, бегала, сломя голову, на каждый кивок. Фру Бреде должна была уступить свою комнату трем леди, а мы, остальные, стеснились, насколько это было возможно. Что касается меня, то мне разрешено было сохранить свою постель в виду моего почтенного возраста; но я сказал, что нет, этому не бывать, пусть английский адвокат, или кто он там такой, берет мою постель,— стоит ли говорить об одной ночи!

И я вышел на двор.

Чего только ни насмотришься в таком пансионе за целый день, если только не быть слепым. Да и ночью можно увидеть многое. Что это за бляение в козьем хлеву? Разве козы не спят? Дверь в хлев заперта, собаки не могли попасть туда. Но не попала ли туда одна из чужих собак? Пороки идут своим чередом, все кругом, как и добродетель, — думаю я, — ничего не ново, все возвращается и повторяется. Римляне владовали над всем миром, прекрасно. О, римляне были могущественны, они были непобедимы, они позволяли себе жить вовсю, и вот в один прекрасный день на них начали сыпаться кары, их внуки стали проигрывать одно сражение за другим, и эти внуки в недоумении оглядывались назад. Круг закончился, и римляне не царили больше над всем миром. Этого про них никак нельзя было сказать.

Какое мне дело до двух англичан, ведь я местный житель, норвежец, мне оставалось только молчать на все проделки могущественных туристов. Сами же они принадлежали к нации всесветных бродяг и спортсменов, полной пороков, которую покарает когда-нибудь гибелью справедливая судьба в лице Германии...

Всю ночь на дворе продолжалась возня, а ранним, ранним утром проснулись охотничьи собаки, караван начал собираться в путь, было всего шесть часов, но повсюду раздавалось уже хлопанье дверей. Путешественники спешили, ведь они бежали за доктором. Они позавтракали в две перемены и, хотя хозяин и все домочадцы стояли перед ними, согнувшись в три погибели, и давали им лучшее, что у них только было, не все остались довольны.

— Если бы я только знал раньше, что вы придете, — извинялся Поль.

Но в ответ ему пробормотали, что подожди, мол, скоро начнется автомобильное сообщение с другим местом! Тогда Поль, хозяин своей усадьбы, человек, живущий у подножия Торетинда, сказал:

— Да, но я сделаю еще пристройки; разве вы не видите, что у меня уже приготовлен лес? А, кроме того, я подумываю о телефоне...

Караван уплатил в обрез свой маленький счет и исчез. Хозяин и Содем помогали таскать сундуки.

У нас снова наступила тишина.

Уехал и учитель Стаур. Он решил собрать растения, растущие вокруг Торетинда. Он заговорил о своих растениях за обедом и проявил большую ученость, называя растения по-латыни. Он обратил внимание на их особенности, о, чему только он не выучился в семинарии!

— Вот это *Artemis cotula*,— сказал он.

Фрекен Торсен, которая тоже изучала много премудростей, вспомнила кое-что и заметила:

— Да, да, совершенно верно, наберите побольше этого растения.

— Зачем?

— Это очень хорошее средство от насекомых.

Этого учитель Стаур не знал, и это произвело некоторую сенсацию, начались споры, и адъюнкт Хёй должен был вмешаться.

Да, этого, конечно, учитель Стаур не знал. Но он умел классифицировать растения и знал наизусть их названия. Ему казалось это таким забавным, деревенские дети в его селе не знали ни классов, ни названий, и он мог научить их этому. Это было очень забавно.

Но дух земли, был ли он его другом? Растения срезают в этом году, а на будущий год вырастает другое, разве это чудо настраивает его религиозно и вызывает в нем тихое созерцание? А камни, вереск, деревья, трава, леса, ветры и необъятное небо над всей вселенной,— разве это его друзья? *Artemis cotula*...

## ГЛАВА XII

---

Когда мне надоедают адъюнкт Хёй и дамы... Время от времени мои мысли занимает фру Моли. Она сидит и шьет, а адъюнкт серьезно занимает ее; они говорят о служанках на своей стороне и о том, что они только и делают, что бегают по ночам. Фру Моли — плоскогрудая и тощая дама; но, по всей вероятности, она не всегда имела такой жалкий вид. Ее синеватые зубы производят впечатление чего-то холодного, как будто они сделаны из льда. Однако несколько лет тому назад ее полный рот и темный пушок над углами рта, вероятно, представлялись ее мужу чем-то необыкновенно прекрасным. Ее мужу, да. Он моряк, шкипер, и появляется у себя дома лишь изредка, как бы только для того, чтобы увеличить семью; в остальное время он в Австралии, в Китае, в Мексике. Он

говорит только «здравствуй» и «прощай» — вот и все. А жена его приехала сюда ради поправления здоровья. Хотел бы я знать, действительно ли она живет здесь ради своего здоровья, или же она и адъюнкт оба из одного и того же уездного городка?

Когда мне надоедают адъюнкт Хёй и дамы, я бросаю их и ухожу. И я брожу весь день, и никто не знает, где я. Положительному человеку не к лицу быть таким, как адъюнкт, да, впрочем, он далеко не такой положительный. Да... так вот, я ухожу. День светлый, воздух достаточно теплый, в моих лесах распространяется благоухание, пахнет растениями. Я часто отдыхаю, не потому, что чувствую усталость, а просто потому, что прикосновение к земле как-то особенно ласкает меня. Я ухожу как можно дальше, туда, где меня никому не найти, — и только тогда я чувствую себя в безопасности. Ни единого звука не доносится из усадеб, никого не видно, я вижу только узенькую тропинку, протоптанную козами, по краям ее зеленеет травка, и тропинка необыкновенно хорошенькая. И кажется, будто эта протоптанная полоска земли заснула в лесу, и она такая узенькая и одинокая.

Ты, читающий эти строки, едва ли чувствуешь что-нибудь, но я испытываю какое-то сладкое чувство, вспоминая эту одинокую тропинку в лесу. Мне кажется, будто я встретил дитя.

Я подкладываю себе руки под голову и, лежа на спине, начинаю блуждать взором по небесной лазури. Высоко, высоко над вершинами Торетинда тихо двигается хоровод туманных дев: они то теснятся ближе друг к другу, то расступаются и медлят, как бы желая вылиться в какую-нибудь определенную форму. Но вот я уже встал и пошел дальше, а они все еще водят свой хоровод, как бы готовя что-то.

По дороге мне попадается вереница муравьев, это бесконечное шествие муравьев, шествие хлопотливых тружеников. Они ничего не делают, ничего не тащат на себе, они только идут, идут бесконечной вереницей. Я делаю несколько шагов назад, чтобы увидеть первых муравьев, увидеть вожака, но это бесполезно; я делаю еще несколько шагов, и еще, я начинаю бежать, но вереница одинаково бесконечна, как впереди меня, так и позади. Быть может, муравьи начали это шествие уже целую

неделю тому назад. И я отправляюсь своей дорогой, а муравьи ползут своей,— и мы расстаемся.

Но куда я попал? Это место не простой склон горы, это грудь, это лоно — так он мягок. Я осторожно поднимаюсь по нему, стараясь не топтать его, легче ступая ногами и задумываясь: такой большой склон, а сколько в нем нежности и беспомощности! В нем столько же самоотверженной доброты, как в матери, и он позволяет муравьям ползти по себе. Там и сям лежат большие камни, поросшие мхом, но они не производят впечатления, будто упали сюда случайно — нет, здесь их дом, они давно живут здесь. Это великолепно!

Я поднимаюсь на вершину и осматриваюсь по сторонам. Далеко на другом горном склоне пасется корова торпаря, это маленькая, славная коровушка, бурая, с белыми пятнами на боках. Она бродит по склону и щиплет траву. На высоком выступе скалы сидит ворон, он каркнул мне что-то, и карканье его прозвучало так, будто железным ковшом провели по камню.

В моей душе тихо шевелится безотчетное чувство, которое я не раз раньше испытывал, бродя по лесам и полям: мне кажется, будто кто-то только что покинул то место, на котором я стою, что здесь только что кто-то стоял и только тихо отошел в сторону. Мне кажется, что в эту минуту я стою с кем-то с глазу на глаз, а немного спустя я вижу даже чью-то спину, которая исчезает в лесу. Это Бог, думаю я. И я замираю на месте, я не говорю, не пою, я только смотрю. И я чувствую, как на моем лице отражается то, что я вижу. Это был Бог, думаю я.

Видение, скажешь ты. Нет, миленький, проникновенный взгляд в тайну бытия. Я обоготворяю природу? А что делаешь ты? Разве у магометан нет своего Бога, у евреев своего, у индийцев своего? Никто не знает Бога, дружок, человек только знает богов. И вот время от времени мне кажется, будто я вижу своего бога.

Направляясь домой, я иду другой дорогой и делаю большой крюк. Солнышко греет теплее, почва здесь не такая ровная, я прихожу в какой-то хаос из нагроможденных камней,— это развалины, образовавшиеся после обвала. Здесь, ради забавы, я делаю вид, будто устал, и бросаюсь на землю; веду себя так, словно кто-то смотрит на меня и видит, какой я глупый. И делаю я это только

так, шутя, а также потому, что мой мозг долго бездействовал — вот я и забавляюсь. Небо со всех сторон чистое, хоровод туманных дев над горными вершинами исчез. Бог знает, где они, но они потихоньку расплылись. Вместо них высоко в воздухе над долиной, описывая широкие круги, медленно парит орел. С величавой медлительностью описывает он один круг за другим, как бы следуя по намеченному пути в воздухе; он медленно прорезает воздух, словно петух со взъерошенными на шее перьями, словно крылатый конь, которому захотелось порезвиться. О, смотреть на него — это все равно, что слушать прекрасную песню. Но вот он исчез за вершинами...

И я лежу здесь в уединении, и тут же со мною хаос из камней и маленькие можжевельные кустики. Как все это странно! Эти камни — груда развалин, — может быть, имеют какой-нибудь смысл; они лежат здесь тысячи лет, а, может быть, они и двигаются, совершают неведомый, таинственный путь. Глетчеры двигаются, земная кора в одном месте поднимается постепенно, в другом месте опускается мало-помалу, и все совершается не спеша, но все-таки совершается. Однако, так как сознание мое ничего не связывает с таким представлением, то он приходит в раздражение и в своем ослеплении становится на дыбы; каменный хаос стоит неподвижно, он не совершает никакого пути, это бессмыслица, грубая выдумка. Ну да, каменный хаос — это город, и там и сям на земле разбросаны селения из камней. И эти селения представляют собой спокойные общины, где никто не волнуется, где нет самоубийств и где каждый камень заключает в себе настоящую душу. Но да избавит меня Бог от одного из жителей таких городов, хе-хе! Сорвавшийся камень не залает, и он не для того, чтобы пугать карманных воришек, — это просто тяжелая масса. Тихое поведение... ну, да, в глубине души я недоволен тем, что камни не выкидывают никаких забавных штук, а им бы так подошло, если бы они слегка покатались. Но они лежат себе спокойно, и ни один из них не знает даже, какого он пола. Но зато посмотри на орла. Нет, нет, молчи...

Подул легкий ветерок. Здесь растет папоротник, который слегка колышется, есть тут также цветы и жесткие былинки; но жесткие былинки не колышатся, они только слегка дрожат.



Но вот я продолжаю свой путь, делая большой крюк и снова спускаюсь с горы у жилища первого торпаря.

— А вы, вероятно, также кончите тем, что выстроите санаторию,— говорю я ему между прочим, ведя с ним беседу.

— Ну, куда там, на это у нас не хватит средств,— отвечает он осторожно. Но в глубине души он, вероятно, и не хочет этого, так как видел, к чему это ведет.

Мне он не понравился, в глазах у него было лукавое выражение, и он смотрел в землю. Ведь о земле он только и думал, он стал алчным на землю,— это было животное, которое рвалось на простор из-за своей изгороди. Другой торпарь купил участок земли больше его и может держать корову. Поэтому торпарю удалось приобрести только небольшой клочок земли. Впрочем, и это небольшое владение еще разрастется, лишь бы только у его обладателя хватило силы и здоровья тянуть свою лямку.

И торпарь снова взялся за свою лопату.

### ГЛАВА XIII

---

За обедом разговор зашел о Солема. Не помню, кто его начал, но кто-то из дам заметил, что он красив, а остальные кивнули в знак согласия и сказали:

— Да, он настоящий мужчина!

— Что это означает, настоящий мужчина?— спросил адъютант Хёй, поднимая голову от тарелки.

Никто не ответил ему.

Тут адъютанту Хёй оставалось только улыбнуться, и он прибавил:

— Вот как! Надо будет при случае повнимательнее посмотреть на Солема, до сих пор я, право, и не замечал его.

Адъютант Хёй может, конечно, сколько душе его угодно, смотреть на Солема. Адъютанту от этого не станет теплее, а Солема холоднее. Но дело-то все в том, что адъютанта задело за живое. Когда какая-нибудь дама находит, что тот или иной мужчина — настоящий мужчина, то в этом есть всегда нечто заразительное, в других дамах разгорается любопытство, и они высовывают свои носики: в самом деле, неужели он такой? И через несколько дней все они, как один человек, твердят: «О, да, вот это настоящий мужчина!»

И тогда горе всем злосчастливым адъюнктам!

Бедный адъюнкт Хёй! Да, фру Моли также кивнула головой в знак своего сочувствия, как бы присоединяясь к мнению других относительно Солема. Правда, вид у нее был такой, будто она плохо понимала это, но ведь нельзя же было отставать от других.

— Фру Моли также кивнула!— сказал адъюнкт и снова засмеялся. О, он был ужасно взволнован. Тут фру Моли вдруг вспыхнула и похорошела.

В следующий же раз, когда все собрались за столом, адъюнкт Хёй не мог больше сдерживать себя и сказал:

— Милостивые государыни, должен вам сказать, что очи мои узрели, наконец, господина Солема.

— Ну?

— Вор.

— Фу! Как вам не стыдно!

— Но вы должны, по крайней мере, согласиться с тем, что у него наглое лицо. Безбородое. Синий подбородок, лошадиный подбородок...

— Это ничего не значит,— заметила фру Моли.

«Вот увидишь, эта фру Моли вовсе уж не так чужда всякой суете,— подумал я.— К тому же за последнее время я заметил, что она надевала на грудь маленькую подушечку, так что она уже не казалась больше такой тощей. Кроме того, она отъелась и отоспалась, и вообще немного поправилась в санатории. Да, фру Моли не без искорки.

Это и проявилось несколько дней спустя... ах, этот несчастный адъюнкт! Дело в том, что у нас поселился адвокат, настоящий молодчина, и он охотнее всего беседовал с фру Моли. Неужели же между ней и адъюнктом пробежала черная кошка? Правда, у адъюнкта наружность была неказистая, но зато ведь и фру Моли не отличалась красотой.

Да, адвокат был молодой спортсмен и удалой парень; и он изучил социальные науки; кроме того, он побывал в Швейцарии и там изучал референдум. Вначале, года два, он работал в конторе архитектора, как он говорил, но потом перешел на юридические науки, которые в свою очередь навели его на социальные вопросы. По-видимому, это был богатый и не скупой человек, раз он так менял свое положение и путешествовал.

— Швейцария,— повторял он со сверкающими глазами.

Но никто из нас не мог понять его великого восторга.

— Да, это, должно быть, действительно, замечательная страна,— промолвила, наконец, фру Моли.

Адьюнкт сидел, как на иголках, он терял всякую власть над собой.

— Кстати, о Солеме,— сказал он вдруг,— я о нем теперь совершенно другого мнения. Он, действительно, в десять раз красивее многих других.

— Это еще что за новость!

— Да, да, это так. И он не старается выдавать себя за что-нибудь большее. Каков он есть, таким он и кажется. Я видел, как он закалывал хромую козу.

— Вы стояли и смотрели, как он колот козу?

— Я проходил мимо. Он сделал это в одно мгновение. А потом я видел его в деревянном сарае. Да, этот парень умеет работать. И я вполне понимаю, что дамы видят в нем нечто особенное.

Боже, какую чепуху нес этот адьюнкт! Не хватало еще только, чтобы он потребовал от жен уехавших в Китай моряков, чтобы они верны были своим китайцам,— только этого и не хватало!

— Да замолчите же!— сказала фру Моли.— Адвокат расскажет нам что-нибудь про Швейцарию.

Ах, это коварное создание! Неужели же она хотела угнать своего ближнего, этого несчастного адьюнкта, в эту же ночь, на самую вершину Торетинда!

Но тут заговорила фру Бреде. Она, вероятно, поняла, какие муки испытывает адьюнкт, и решила прийти к нему на помощь. Разве адьюнкт не отозвался только что очень лестно о Солеме, и разве этот Солем не был тем самым парнем, который в один прекрасный вечер вешал у нее в комнате шторы? Вот в этом-то и все дело.

— Швейцария!— сказала фру Бреде на свой обычный лад, мягко и ласково; потом она слегка покраснела и продолжала:— я ничего не знаю о Швейцарии, но раз как-то мне прислали оттуда материи на платье и должна сказать, что во всю свою жизнь не видала я такого мошенничества.

Адвокат на это только улыбнулся.

Учительница Жонсен заговорила о том, чему ее когда-то учили в школе: о часовых фабриках, об Альпах, о Кальвине...

— Да, это как раз те три кита, на которых зиждется свет,— сказал адьюнкт, побледнев от злости, с искаженным лицом.

— Да вы с ума сошли, адьюнкт!— воскликнула учительница Пальм с улыбкой.

Между тем адвокат сосредоточил на себе всеобщее внимание. Он стал рассказывать о Швейцарии, этой удивительной стране, образце всех маленьких стран на земном шаре. Какой удивительный общественный строй, какой референдум, какая планомерность в использовании красот страны! Вот там так санатории! Там овладели искусством эксплуатации туристов. Это прямо невероятно.

— Да, и там удивительный швейцарский сыр,— заметил адьюнкт,— от него пахнет ногами туристов.

Молчание. Итак, адьюнкт Хёй не останавливается ни перед чем.

— А что же вы скажете в таком случае о норвежском старом сыре?— спросил кто-то по-детски, кротко и в полной невинности души.

— Да, надо согласиться, что и этот сыр настоящее свинство,— ответил адьюнкт.— Этот сыр подстать учителю Стауру, когда тот сидит в своем выдолбленном кресле.

Всеобщий смех.

Натянутость была несколько сглажена, и адвокат мог без особого опасения снова вступить в разговор:

— Если бы мы в Норвегии умели изготавливать такой швейцарский сыр,— сказал он,— то мы не были бы так бедны. Вообще, судя по тому, что я видел, путешествуя по этой стране, она во всех отношениях стоит далеко впереди нас. Мы могли бы научиться у нее всему: бережливости, прилежанию, вечерней работе, кустарному промыслу...

— И так далее, и так далее,— прервал его адьюнкт Хёй,— мелочи, всякой ерунде, всему отрицательному. Страна, которая существует только милостью соседей, не может служить примером ни для какой другой страны на свете. А мы попытаемся стать выше этого жалкого стремления, которое только портит нас. Нет, прообразом для нас должны служить более крупные дела и более великие страны. Ведь все растет, даже малое,— если только это малое не родилось для того, чтобы вести существование лилипута. Ребенок легко учится от других детей, но примером для него должен служить взрослый. Ведь ребенок

когда-нибудь сам станет взрослым и что было бы, если бы примером ему всегда служил ребенок или прирожденный пигмей? Вот к чему ведет наша болтовня о Швейцарии. Но почему же именно мы должны брать пример с самой маленькой и самой жалкой страны? Кажется, мы и без того не широко шагаем. Швейцария — это торпарь Европы. Слыханное ли дело, чтобы одна из молодых южно-американских стран такой же величины, как Норвегия, ставила себе за честь следовать примеру Швейцарии? А что толкает Швецию с такой удивительной быстротой вперед по пути прогресса? Именно то, что она не смотрит ни на Швейцарию, ни на Норвегию, а во всем берет пример с Германии. Честь и слава Швеции за это. А мы? С какой стати мы будем изображать собою какой-то дрянненький народец среди наших Альп и в течение тысячи лет гордиться только нашими конгрессами мира, лыжным спортом и Ибсеном? Нет, в нас есть сила и способности на нечто в тысячу раз большее...

Адвокат уже давно поднял руку, в знак того, что хочет говорить, тут он крикнул громко:

— Одно единственное слово.

Адьюнкт умолк.

— Один единственный крошечный вопрос, такой крошечный, какой только можно себе представить,— сказал адвокат, готовясь нанести ловкий удар.— Ступили ли вы хоть одной ногой в ту страну, о которой говорите?

— Ну, еще бы, конечно, я там бывал,— ответил адьюнкт.

Ловко! Адвокат так и остался сидеть со своим единственным крошечным вопросом. А тут еще выяснилось, что за ядовитое маленькое создание, в сущности, эта фру Моли: ведь она прекрасно знала, что адьюнкт получил стипендию для поездки в Швейцарию, а она сидела себе как ни в чем не бывало и не проронила ни слова об этом. О, что за змея! К тому же она заставляла говорить о Швейцарии именно адвоката, а не кого-нибудь другого.

— Ах, да, конечно, адьюнкт Хей также бывал в Швейцарии,— заметила она, чтобы сгладить немножко неловкость.

— В таком случае адьюнкт и я смотрели совершенно разными глазами на эту страну,— вот и все,— сказал адвокат, рассчитывая на этом и покончить с разговором о Швейцарии.

— В этой несчастной стране нет даже сказок,— опять заговорил адъюнкт, который никак не мог успокоиться.— Там люди из рода в род сидят и выдeldывают часовые колесики и водят англичан на свои вершины; но зато в этой стране нет ни народных песен, ни сказок. А теперь оказывается, что мы должны из кожи лезть для того, чтобы и в этом отношении стать похожим на Швейцарию, не правда ли?

— А Вильгельм Телль?— попробовала было напомнить фрекен Жонсен несколько неуверенно.

Некоторые из присутствующих дам кивнули, во всяком случае кивнула и фрекен Пальм.

Тут вдруг заговорила фру Моли, но она отвернула голову и стала смотреть в окно:

— Странно, адъюнкт, ведь раньше вы были совсем другого мнения о Швейцарии.

Это клюнуло. Адъюнкт хотел ответить, хотел уничтожить ее, но потом одумался и промолчал.

— Разве вы не помните?— спросила она опять, поддразнивая его.

— Нет,— ответил он.— Вы не поняли меня. Не знаю, как это могло случиться. Кажется, я выражаюсь довольно понятным образом, тем более, что привык объяснять детям.

И это также клюнуло. Фру Моли не продолжала пикировки и только улыбнулась очень кротко.

— Должен сказать, что мое мнение совершенно противоположно вашему,— сказал адвокат, делая еще одну попытку оставить за собою последнее слово.— Но мне казалось,— продолжал он,— мне казалось, что это до некоторой степени такая область, в которой я кое-что понимаю, но...

Фру Моли встала и вышла из комнаты, склонив голову, как бы собираясь расплакаться. С минуту адъюнкт сидел спокойно, но потом также встал и вышел. Но он насвистывал и придал себе молодежавый вид, словно все это нимало не касалось его.

— А каково ваше мнение?— спросила фру Бреде самого старшего в этом обществе, а старший был я.

И, как подобает положительному человеку, я ответил:

— Мне кажется, что с той и другой стороны есть некоторое преувеличение.

С этим все сейчас же согласились. Но, черт возьми, мне казалось все-таки, что прав адъюнкт. К сожалению,

на ум часто приходят молодые мысли, хотя человек и вступил уже в семидесятые годы.

Адвокат закончил спор следующими словами:

— В конце концов мы все-таки должны благодарить Швейцарию за то, что мы сидим здесь и чувствуем себя так хорошо в этом комфортабельном горном санатории. Ведь это по образцу Швейцарии мы завлекаем туристов в нашу страну, зарабатываем деньги и выплачиваем наши закладные. Вот спросите хотя бы нашего хозяина, согласен ли он обойтись без поучительного примера Швейцарии...

\* \* \*

Вечером фру Бреде спросила:

— Почему вы привели сегодня адьюнкта в такое невозможное состояние, фру Моли?

— Я?— ответила фру Моли с самым невинным видом.— Нет, это право...

Впрочем, надо сказать, что фру Моли действительно оказалась невинной, ибо на следующее же утро она и адьюнкт пошли вместе в горы, и у обоих был веселый и беззаботный вид; и в горах они пропадали до самого полудня.

Если у них было какое-нибудь объяснение, то, по всей вероятности, фру Моли сказала своему испытанному другу приблизительно следующее: «С ума ты, что ли, сошел? Неужели ты не понимаешь, что мне нет никакого дела до адвоката. Я просто сказала ему несколько слов, чтобы дать тебе возможность хорошенько отделать его, неужели ты не сообразил этого? Ну, да ведь ты у меня самый глупый и самый очаровательный... Иди, иди скорее, я поцелую тебя...»

#### ГЛАВА XIV

---

После той большой компании туристов так никто больше и не приходит. Некоторые из нас никак не могут понять, отчего это. Другие, пожалуй, и догадываются, в чем тут дело, но все мы с нетерпением ждем: должны же, наконец, прийти туристы, ведь вершины Торетинда принадлежат нам, а не кому-нибудь другому.

Но никто не идет.

Девушки, которые прислуживают нам, исполняют аккуратно свою работу и не жалуются, но нельзя сказать, чтобы они были очень веселы. Поль продолжает относиться к этому с величайшим спокойствием, он отдает очень много времени сну в своей каморке за кухней. Однако раза два я все-таки заметил, что он ночью уходил со двора, погруженный в глубокие думы, и исчезал в лесу.

Из соседней долины до нас дошли, наконец, слухи о том, что автомобильное движение открылось. Вот где было объяснение той мертвой тишины, которая царила у нас. А в один прекрасный день у нас появился датчанин, который поднялся на Торетинд с другой стороны и спустился к нам. Между тем до сих пор все считали это невозможным. Но дело в том, что до подножия горы датчанин доехал в автомобиле, а потом он поднялся на вершину.

Итак, Торетинд уже не принадлежал больше исключительно нам.

Хотелось бы мне знать, не попытается ли Поль засеять длинный луг на берегу реки? Собственно, он и хотел это сделать, но тут появился тот большой караван туристов, и он обо всем забыл. Правда, теперь уже довольно поздно сеять что-нибудь, да и луг находится на таком месте, что на нем вырастет только сорная трава и тростник. Да, хотел бы я знать, пропахали ли этот луг и посеяли ли на нем что-нибудь? Что, если бы Поль позаботился об этом, вместо того, чтобы по ночам ходить в лес?

Но у Поля все мысли заняты другим. В его голову земляпашца с юных лет закрались планы эксплуатации туристов,— на этом он и сосредоточился. Он услышал, что этот молодчина адвокат также и архитектор, и вот он попросил его начертить план его нового дома в шесть комнат с вестибюлем и ванной. Для вестибюля Поль уже заказал выдолбленные из бревен кресла и оленье рога.

— Если бы вы не были одни в вашем деле, то вам ничего не стоило бы также завести несколько автомобилей,— сказал адвокат.

— Да, я подумывал об этом,— ответил Поль.— Весьма возможно, что я это дело как-нибудь еще устрою. Но сперва мне нужен дом. А потом я должен еще провести дорогу.

Адвокат обещал сделать план дома и даже пошел посмотреть место, на котором предполагалось выстроить



дом. Этот дом должен стоить столько-то и столько-то; но Поль был уверен, что он окупится в каких-нибудь три, четыре хороших туристских сезона. Это ничуть не тревожило Поля. Когда мы пошли все вместе смотреть место, на меня так и пахнуло водкой от него.

Но вот пришла небольшая компания норвежцев и иностранцев. Это были туристы, задавшиеся целью пройти путь пешком, а не кататься в автомобиле. Когда появилась эта компания, то настроение в санатории сейчас же поднялось. Туристы оставались у нас две ночи и два дня, и Содем провожал их в горы и хорошо заработал. Поль также, видимо, ободрился, он надел праздничное платье и хлопотал на дворе. Он постоянно разговаривал с адвокатом относительно нового дома.

— Если мы вообще придем к какому-нибудь решению, то лучше всего было бы покончить с этим теперь же,— сказал он.— Дело в том, что я на несколько дней ухожу.

И они сговорились относительно каких-то мелочей, касающихся дома.

— Вы в город?— спросил адвокат.

Поль ответил:

— Нет, я пойду только в село. Хочу посмотреть, не найдется ли подходящего человека, чтобы войти со мной в компанию. Я уже давно продумываю кое о чем: о телефоне, автомобиле и тому подобном.

— Желаю вам удачи!— сказал адвокат.

И вот адвокат стал чертить план дома, а мы занялись каждый своим делом. Жозефина пошла к Содему и сказала:

— Пойди же, засеи, наконец, луг на реке.

— Разве Поль велел?— спросил он.

— Да,— ответила она.

Содем пошел очень неохотно. Когда он равнял землю граблями, Жозефина пришла на луг и сказала:

— Разрыхли землю еще раз граблями.

У этого маленького проворного создания было гораздо больше здравого смысла, чем у любого мужчины. Она была такая милая в своих хлопотах и в своем трудолюбии; часто приходилось мне видеть ее с растрепанными волосами, но это пустяки. А если она иногда и притворялась, будто коз доят только служанки и будто только они работают вне дома, то ведь это она делала ради чести дома, ради репутации санатории. Наверное из-за этого она выучилась также брэнчать на рояле. Она имела хорошую

поддержку в хозяйке двора; женщины вообще были очень работащи и старательны, но Жозефина была вездесуща, и легка она была, как перышко. А эти милые целомудренные руки! Раз как-то я сказал ей, желая сострить: «Да будет имя твое Жозефинда\*, ибо ты взята от Жосифа.»

## ГЛАВА XV

---

Наконец-то фрекен Торсен, наша темноволосая красавица, решила самым серьезным образом уехать. Она вообще отличалась здоровьем, так что в этом отношении она вовсе не нуждалась в горном воздухе, а раз она здесь скучала, то почему бы ей и не уехать?

Однако одно маленькое происшествие заставило ее остаться.

От своего великого безделья дамы в санатории занялись Солемом. Они были такие сытые и здоровые, что им надо же было, наконец, заняться чем-нибудь, придумать хоть какой-нибудь интерес. А тут оказался этот парень, этот Солем. Не раз случалось, что одна из дам приходила и сообщала другим о том, что Солем сказал или что Солем думал, и все относились к этому с величайшим интересом. Парень Солем обнаглел и стал говорить с дамами очень небрежным тоном, он называл себя мастером на все руки, а раз он даже бессовестно хвастал и сказал: «Да, вот покажу я вам, что я за ловкий парень!»

— Знаете ли, что только что сказал Солем?— спросила однажды фрекен Пальм.— Он рубил дрова, а один палец у него был обвязан тряпкой, и тряпка зацепляла за дрова, это ужасно надоедало ему бедняге. И он говорит: «Вот как-нибудь удосужусь, так я отрублю этот палец!» Так он и сказал.

— Этакий молодчина! — восхищались остальные дамы.— Ведь он действительно способен сделать это!

Немного спустя я проходил мимо сарая. Там я увидел фру Бреде; она стояла и повязывала палец Солема новой тряпкой... Бедная женщина! Она была целомудренна, но молода.

Некоторое время днем стояла невыносимая жара; горы отражали на нас целые потоки зноя, который расслаблял нас. Но к вечеру мы немного оживали и способны были

---

\* Окончание «finde» по-норвежски — «найти»

даже заниматься кое-чем: одни принимались писать письма, или играли в фанты на дворе, а некоторые чувствовали себя настолько бодрыми, что уходили прогуляться «в природу».

В воскресенье вечером я остановился пред каморкой Солема и заговорил с ним. На нем было праздничное платье, и, по-видимому, он вовсе не собирался ложиться.

К нам подошла фрекен Торсен, она остановилась и сказала Солему:

— Говорят, ты идешь с фру Бреде на прогулку?

Содем поклонился ей, и, когда он снял фуражку, то на лбу у него осталась красная полоса от околыша.

— Кто, я?— ответил он.— Н-да, она как будто упоминала об этом. Я должен показать ей одну новую дорогу, так она говорила.

О, сколько безумства было в фрекен Торсен! Она была красива, она отчаялась, разочаровалась в жизни, и вот она в нерешительности бродила тут, а перед собой она видела звезды.

Ее красная фетровая шляпа была сдвинута на затылок и приколоты к волосам булавкой, а спереди поля шляпы задорно загибались вверх. Шея у нее была открыта, на ней было тонкое платье, а на ногах низкие туфли.

Она вела себя необыкновенно странно, она вдруг открыла тайники своей души. Что ей за дело до купца Батта! И разве не погубила она всю свою молодость, зубря школьную премудрость? А дало ли это ей хоть сколько-нибудь внутреннего содержания? Бедная фрекен Торсен! В этот вечер парень Содем не должен никому другому показывать дорогу!

Так как разговор на этом оборвался, то Содем сделал уже движение, чтобы уходить. Фрекен Торсен откашлялась. Губы ее дрогнули, и на них появилась улыбка, которая так и застыла.

— Уж лучше пойдем со мной!— сказала она.

Содем быстро осмотрелся кругом и ответил:

— Да.

Я пошел в свою сторону, я был необыкновенно равнодушен и беззаботно насвистывал, словно мне никакого дела не было ни до чего на всем свете.

«Уж лучше пойдем со мной!» сказала она, и они ушли. Вот они уже завернули за службы, а теперь поровнялись с двумя большими рябинами; они спешили, так как

боялись, что фру Бреде увидит их,— но вот, наконец, они исчезли.

В человеческую душу настужь распахнулась дверь, но что увидел я в ней? В душе этой девушки я не увидел никакой прелести, в ней было одно раздражение. Она изучала грамматику, но у нее не было внутреннего содержания, ее душа получила плохое питание. Будь она нормальной девушкой, она вышла бы замуж, она стала бы матерью, она стала бы благословением для себя самой. Но на что это похоже: цепляться за какой-то призрак радости только потому, что она не хочет, чтобы другие воспользовались этим. А ведь она такая статная и красивая!

Стоит собака и сторожит кость. Она ждет, пока не подойдет другая собака. Тогда вдруг на нее точно находит припадок обжорства: она хватается костью зубами и начинает из всех сил грызть ее. И это только потому, что подошла другая собака.

\* \* \*

Казалось, будто не хватало этого маленького происшествия для того, чтобы к ночи привести меня в известное настроение. Я проснулся в темноте и вдруг почувствовал, что во мне сложилось то детское стихотворение, с которым я так давно возился. Вот эти четыре строфы о можжевельном кустике:

*Высоко, высоко на утесе крутом  
Можжевельника куст приютился.  
Из деревьев, лесных великанов, никто  
Так высоко подняться не смеет.  
В полпути до вершины, стоит лишь сосна,  
Одиноко, печально, и забнет.  
Да повыше немного березка одна,  
Точно насморк у ней, все чихает...  
Но гляди, по утесу высоко ползет  
Можжевельника кустик зазорный,  
Не боясь ничего, все вперед, да вперед,  
Хоть он крошка, не более локтя.  
И мерещится, будто бы он за собой  
Тащит леса кортеж из долины,  
Иль покажется вдруг, что не куст пред тобой,  
А удалый возница нарядный.*

\*

*А в долине зеленой зарницы растут,  
Там Иванов торжественный праздник,*

Веселятся там дети и песни ведут,  
А не то и удалую пляску...  
На вершине ж царит лишь хаос из камней,  
Да живет можжевельник упрямый,  
Да порою из мрачной пещеры своей  
Хитрый тролль выползает и бродит...  
Можжевельника ветер подхватит хохол  
И вертит им и злобно играет,—  
И угрюм, неприютен, морозен и гол  
Божий мир неожиданно станет...  
Но как воздух здесь свеж! Так свободно, легко,  
Как нигде, дышит грудь на вершине!  
Ни пред кем не лежит так простор широко,  
Как пред кустиком этим удалым...

\*

Наступает и жаркое лето в горах,  
Но исчезнет тотчас, как мгновенье,  
И уж горы застыли в глубоких снегах,  
Вновь царят там зима, непогода...  
Можжевельник же, крошка, все храбро стоит,  
Все хранит он зеленые иглы,  
И на диво всему этот куст, как гранит,  
Переносит все злые невзгоды...  
Закалившись в борьбе, наш герой, наконец,  
Станет твердым, как кости и камень,  
И красуется в ягодах куст-молодец  
Оголенным деревьям на зависть.  
И у каждой-то ягоды щечка крестом  
Изукрашена... Ну, вот теперь  
Я тебя познакомил с удалым кустом,  
Не забудь же, каков можжевельник.

\*

И, наверное, наш можжевельник порой  
Так поет про себя беззаботно:  
«Ах, как все здесь прекрасно вокруг предо мной!  
Как лазурное небо прозрачно!»  
Иль другим можжевельникам крикнет он вдруг  
Так задорно и смело: «Не бойтесь  
Хитрых троллей, что шмыгают всюду вокруг!  
Нам не страшны их злые проказы!..»  
Зимний вечер спускается уж над горой,  
Пеленой одеваает все сумрак,  
В небесах, проливая на землю покой,  
Загораются ясные звезды...  
И усталость, сонливость владеют кустом;  
Для себя самого незаметно,  
Забывается крепким и сладким он сном...  
Сладко спи же, дитя! Доброй ночи!\*

---

\* Перевод Е. В. Гешина.

Я встал и написал начисто эти стихи. Потом я послал их одной девочке, с которой я много бродил по лугам и полям. И эта девочка сейчас же прочла мои стихи.

Утром я прочитал эти стихи девочкам фру Бреде; они стояли передо мной и слушали, и напоминали мне собою два синих колокольчика. Когда я кончил читать, они вырвали бумагу у меня из рук и бросились с ней к матери. Ведь они так любили свою мать. А мать в свою очередь любила их. И стоило послушать, какую возню они поднимали по вечерам, ложась спать.

Ах, что за мужественная женщина была фру Бреде! Она могла бы надеть много глупостей, но она держала себя в границах. Зато это было оценено. Кем? Мужем? Муж должен был бы брать свою жену с собой в Исландию. В противном же случае ему остается только мириться с последствиями того, что жена его бесконечно долго остается дома одна.

## ГЛАВА XVI

---

Фрекен Торсен не заговаривает больше о своем отъезде. Но нельзя сказать, чтобы ей доставляло видимое удовольствие также и пребывание в санатории. Впрочем, фрекен Торсен слишком беспокойна и слишком красива для того, чтобы вообще чем-нибудь быть довольной.

Разумеется, она простудилась в тот вечер, когда гуляла с Солемом в лесу, так что на другой день она пролежала с головной болью. Но когда она встала, то чувствовала себя, как всегда.

Как всегда? Но почему же у фрекен Торсен на шее появились синяки, словно ее кто-то пытался душить?

Она больше не поворачивала головы в сторону Солема и вообще делала вид, будто его и на свете не существует. Как знать, быть может, в лесу произошла маленькая схватка, последствием которой явились синяки на шее; после этого она и поссорилась с Солемом. Вполне правдоподобно, что она просто хотела только испытать некоторое волнение, убедиться в победе; однако Солем не понял этого и пришел в ярость. Не так ли это было?

Да, ясно, что Солема одурачили. Он не отличался особенным умом и был откровенен; он даже сделал кое-какие намеки и сказал между прочим: — «Да, эта фрекен Торсен хоть куда. Готов биться об заклад, что в

ней силы столько же, сколько в любом мужчине», — и он засмеялся, но улыбка его была деланная. Он смотрел на нее наглым взором, этот взор преследовал ее повсюду. Чтобы сделать вид, будто ему все нипочем, он принимался петь песни бродяг, когда она бывала где-нибудь поблизости. Но напрасно он трудился, фрекен Торсен была глуха к его песням.

И вот после всего этого стало казаться, будто фрекен осталась у нас как бы назло кому-то. Конечно, мы не представляли собой особенного интереса для нее, как и раньше, но она сблизилась с адвокатом и часто подсаживалась к нему в гостиной, где он чертил план дома. Такова уж бестолковая праздная жизнь в горных пансионах.

\* \* \*

Да, так шли дни, один за другим; нового для меня ничего не случилось, и я начал скучать. Время от времени к нам заходил какой-нибудь путешественник, собирающийся перейти через горы, но, как говорили, это совсем не то, что в другие годы, когда туристы приходили целыми караванами. И, по-видимому, в этом отношении здесь не будет лучше до тех пор, пока к нашей санатории не проведут новой дороги и не устроят автомобильного движения.

До сих пор мне не пришлось еще упомянуть о том, что соседняя долина носит название Стурдален, а наша называется только просто Рейса, по реке того же названия, и все местечко Рейса представляет собою лишь маленький поселок. Таким образом все преимущества выпадают на долю Стурдалена, да и имя это уже само по себе очень громкое. Однако Польш, наш хозяин, называет соседнюю долину Веследален, потому что там живет противный, скаредный народ, — так уверяет Польш.

Ах, бедный Польш. Он вернулся из села, куда ходил по делам, без всякой надежды, и по этому случаю он был пьян, как стелька. Целые сутки он провалялся в своей каморке, и никому не показывался на глаза. Когда он, наконец, снова появился на людях, то вид у него был очень самоуверенный, и он старался внушить, будто наделал больших дел во время своего пребывания в селе:

---

\* Стурдален — большая долина, Веследален — малая долина.

теперь, наверное, у него будут автомобили, об этом нечего уже больше беспокоиться. А после обеда, когда он снова успел напиться, им овладела мания величия другого рода: что это за жалкие людишки там в селе, ведь они ровно ничего не смыслят в делах, они не хотят принять участия в проведении дороги к его усадьбе. Он один соображал хоть что-нибудь. Разве не было бы это настоящим благодеянием для всего прихода, если бы провести этот маленький кусочек дороги? Ведь тогда на всю долину посыпался бы дождь из шиллингов от массы туристов. Но разве эти люди понимают хоть что-нибудь.

— Однако рано или поздно, но сюда придется провести дорогу,— сказал адвокат.

— Ну, еще бы,— ответил Поль решительно.

И он опять ушел в свою каморку и завалился спать.

Но вот в один прекрасный день к нам пришла небольшая партия туристов, которые сами тащили свой багаж по солнцепеку, и они стали просить о помощи. Содем сейчас же предоставил свою особу в их распоряжение, но ему не под силу было тащить все мешки и чемоданы, а Поль валялся у себя в каморке. Этой ночью я опять видел, как Поль уходил в лес, и при этом он громко разговаривал и размахивал руками, как будто он был не один.

Так вот туристы попросили о помощи, а помочь было некому.

Хозяйка и Жозефина вышли на двор и послали Солема за Эйнармом, первым торпарем, чтобы тот пришел помочь нести вещи. Между тем туристы стали терять терпение и то и дело поглядывали на часы: если они вовремя не перевалят через Торетинд, то им придется ночевать под открытым небом. А один из туристов высказал даже предположение, что, быть может, в этой санатории нарочно задерживают их, чтобы заставить переночевать здесь! Туристы начали ворчать, и, наконец, спросили:

— Где же хозяин этой санатории, куда он девался?

— Он болен,— ответила Жозефина.

Между тем возвратился Содем и сказал:

— Эйнару некогда, он в поле окучивает картофель.

Пауза.

Тут Жозефина сказала:

— Да мне все равно надо идти за горы, вот подождите немножко.



Она ушла, потом сейчас же вернулась обратно, взвалила на свою узкую спину мешки и саквояжи и быстро засемила со двора. Все последовали за ней.

Я нагнал Жозефину и освободил ее от ноши. Но я не позволил ей вернуться обратно, мне казалось, что для нее очень полезно сделать эту маленькую прогулку и на время отлучиться из пансиона. Мы шли рядом и все время болтали: оказалось, что в сущности ей уже вовсе не так плохо приходится, она ухитрилась-таки отложить немалую толику денег, эта Жозефина!

Когда мы взошли на вершину, Жозефина снова хотела повернуть. Ей казалось, что это так глупо и бесполезно идти рядом со мной и даже ничего не нести.

— Но ведь вы сказали, что вам во всяком случае надо быть по ту сторону горы сегодня?— сказал я.

Она была слишком умна для того, чтобы отрекаться от своих слов. Ведь в противном случае оказалось бы, что дочь содержателя старого пансиона в Торетинде принуждена тащить багаж туристов. А потому она ответила:

— Да, но это совсем не к спеху. Мне там надо было повидать кое-кого, но это можно отложить до зимы.

Мы стояли на месте и спорили. Я сказал, что, если она повернет обратно, я брошу все мешки вниз с горы,— пусть только она попробует настоять на своем. На это Жозефина ответила мне, что она поднимет мешки и потащит их сама.

Пока мы с ней пререкались, нас нагнали туристы. Не успел я опомниться, как один из них взял у меня ношу, снял шляпу и представился мне сам, а также представил мне и других со всевозможными фокусами и церемониями: «Пожалуйста, простите... ради Бога... такое досадное недоразумение... это ужасно...»

Знал бы он, что мне ровно ничего не стоило взвалить себе на плечи его самого! В силах у меня недостатка нет, но мне приходится нести на своих плечах день и ночь обезьяну всех болезней, а это бремя тяжелее свинца. Что же делать, другие изнывают под тяжестью глупости, а это не лучше...

Нам с Жозефиной оставалось только повернуть обратно.

Ну, разумеется, мне выказали самое неограниченное уважение,— это, конечно, относилось к моему возрасту. Люди снисходительно относятся к тому, что я мучаю других, что у меня есть свои причуды, что у меня не

хватает винтиков, все это люди прощают мне, потому что я седой. Ты, человек с циркулем, конечно, скажешь, что мне оказывают уважение ради моей писательской деятельности, которой я занимался так долго. Но в таком случае мне должны были бы отдать должное в мои молодые годы, когда я этого заслуживал, и во всяком случае я не заслуживаю этого теперь в такой же степени. Ни от кого, ни от единого человека нельзя ожидать, чтобы он, хотя бы приблизительно, писал так хорошо после пятидесяти лет, как писал до этого. Утверждают же люди, что после пятидесяти лет бывает подъем таланта, только из глупости или каких-нибудь личных интересов.

Правда, я писал своеобразные произведения, и лучше, чем многие другие,— я это очень хорошо знаю. Но, в сущности, это вовсе не моя заслуга, потому что я родился с этими способностями. Вот в чем дело.

Я не раз испытывал, так ли это, и я уверен, что так. Я думал про себя: «Пусть бы это сказал кто-нибудь другой.» Ну что ж, другие, действительно, говорили это порой, но это не производило на меня никакого впечатления. Но я шел дальше, я преднамеренно устраивал так, что другие умаляли мои литературные заслуги, и это также не производило на меня никакого впечатления. Так что я уверен в том, что утверждаю. Но зато жизнь дала мне внутреннее содержание, и очень значительное; и за это-то внутреннее содержание я имею право требовать уважения, потому что в этом моя собственная заслуга. Меня нельзя представить ничтожеством, не покривив душой. Но даже и эту ложь можно перенести спокойно, если только имеешь внутреннее содержание.

Ты можешь процитировать Карлейля в виде аргумента против меня,— о, как недостойно относятся к литературному труду: *Considering what book-writers do in the world, and what world does with book-writers, i should say, it is the most anomalous thing the world at present has to show.* Ты можешь процитировать еще многих других и утверждать, что мне оказывают внимание, как за мою литературную деятельность, которая является результатом врожденных способностей, так и за мое старание развить эти способности и приложить их к делу. А я утверждаю то, что действительно справедливо, что вниманием, которое выпадает на мою долю, я обязан только тому, что вошел в почтенный возраст.

И я нахожу, что это не что иное, как извращение понятий. При таком взгляде немудрено, что молодым талантам трудно пробиться, так как в интересах страны их скрывают за спинами старых самым бессовестным образом. Нельзя уважать старость только в силу того, что это старость; старость только тормозит и понижает прогресс; дикие народы презирают старость и без особых рассуждений освобождают себя от нее и ее бремени. В былые времена я более заслуживал внимания и мог бы оценить его; теперь я во многих отношениях устроился лучше и могу обойтись без него.

Но теперь-то и выпадает на мою долю внимание. Если я захожу в какую-нибудь комнату, там водворяется почтительное молчание. Как он состарился!— думают присутствующие. И все молчат, чтобы услышать от меня нечто значительное.

Что за ерунда! Пусть стоит дым коромыслом, когда я захожу куда-нибудь! Пусть меня приветствуют: «Здравствуй, старый товарищ, добро пожаловать! Не вздумай говорить нам ничего, что должно сохраниться в памяти потомства! Это ты должен был бы сделать раньше, когда ты был в расцвете сил. Садись, стареющий друг, и побудь с нами. Но не сторонись нас, и пусть твой возраст не стесняет нас: у тебя было твое время, а теперь черед за нами...»

Вот как надо говорить, это правильно.

В крестьянских семьях сохранился еще верный инстинкт: мать бережет дочь, а отец своего сына от грубой однообразной работы. Хорошая мать заставляет свою дочь шить, а сама идет в хлев. А дочь в свое время будет так же поступать по отношению к своей дочери. Это инстинкт.

## ГЛАВА XVII

---

Однако здесь становится все скучнее и скучнее, и люди, среди которых я живу, не дают мне ничего нового. И вот я опускаюсь до того, что начинаю наблюдать за все возрастающей страстью Солема к фрекен Торсен. Но в конце концов и это надоедает.

Содем начал страдать манием величия после всего того внимания, которое ему оказывали дамы. Он обзавелся новым платьем и позолоченной часовой цепочкой,— это он купил на деньги, которые заработал летом,— а по воскресеньям он облачается в белую спортивную

шерстяную фуфайку, хотя погода стоит жаркая. На шею он надевает дорогой галстук, завязанный по-матросски. Он знает, что на дворе нет другого такого франта, как он, и он громко распевает и твердо убежден в том, что никто не может сравниться с ним. Жозефина попросила его даже не петь так громко; однако парень этот зазнался и уже никого больше не слушается. Он очень часто настаивает на своем, а случается даже, что сам Поль выпивает с ним вместе стаканчик.

По-видимому, фрекен Торсен успокоилась. Она сблизилась с адвокатом и часто сидит с ним и заставляет его объяснять себе каждый угол, который он делает на своем чертеже. И в данном случае она поступает совершенно правильно, ибо адвокат несомненно вполне подходящий человек для нее: он спортсмен, у него есть состояние, и он не очень умен и здоров. Вначале фру Моли как будто не хотела примириться с тем, что эта парочка так много времени проводит вместе в гостиной: она то и дело входила туда под тем или иным предлогом, но, увы, едва ли фру Моли могла добиться чего-нибудь со своими синими ледяными зубами!

Наконец-то адвокат окончил свой чертеж и мог сдать его. Он то и дело заговаривал об одной игле на вершине Торетинда, на которую еще никто не всходил и которая манила и как бы ждала его. Фрекен Торсен была против этой затеи, а когда она ближе познакомилась с адвокатом, то ласково запретила ему это опасное восхождение. И он с улыбкой обещал ей быть послушным. Между ними царил такое нежное согласие.

Однако Синяя игла как бы дразнила адвоката и не давала ему покоя; он указывал фрекен Торсен на нее, когда они стояли на дворе, прищелкивал языком, и глаза его с вождением устремлялись на эту иглу.

— Господи, мне стоит только посмотреть на нее, как у меня начинает кружиться голова, и я падаю,— сказала фрекен Торсен.

Адвокат воспользовался удобным случаем и поддержал ее, обняв рукой за талию.

Это зрелище произвело на Солема в высшей степени неприятное впечатление, да и вообще он высмотрел себе все глаза, подглядывая за этой парочкой. Раз как-то после обеда он решительно подошел к фрекен Торсен и спросил:

— Я знаю другую дорогу, хотите,— я покажу вам ее сегодня вечером?

Произошло всеобщее замешательство, фрекен Торсен несколько смутилась, но потом ответила:

— Дорогу? Нет, спасибо.— И она обернулась к адвокату и, уходя с ним, сказала:— Нет, на что это похоже!

— Что на него нашло?— удивился адвокат.

Содем отошел в сторону и улыбнулся, заскрежетав зубами.

Вечером Содем повторил эту сцену. Он подошел к фрекен Торсен и сказал:

— А я все насчет той дороги... пойдём мы, что ли?

Но, как только фрекен Торсен увидела, что Содем направляется к ней, она сейчас же круто повернулась и хотела уйти. Однако Содем не останавливался ни перед чем, он пошел вслед за ней.

— Вот что я скажу тебе,— ответила, наконец, фрекен Торсен, останавливаясь,— советую тебе перестать быть наглым по отношению ко мне, иначе тебя выгонят отсюда...

Однако Содема не так-то легко было выгнать. Ведь он был проводником и носильщиком для туристов, а кроме того единственным постоянным работником в усадьбе. Наступала пора косьбы и под его присмотром должны были работать. Нет, Содема нельзя выгнать. К тому же другие дамы очень любили его; уже одна только могущественная фру Бреде могла спасти его единым словом. Весь пансион у нее в кармане.

Так из отставки Содема ничего не вышло, но с этих пор он стал держать себя несколько приличнее и вежливее. Однако он испытывал, конечно, те же мучения. Раз как-то около полудня он стоял в сарае, и я увидел, что он топором делает надрез поперек ногтя своего большого пальца.

— Что ты там делаешь?— спросил я.

— Да так, ничего, я только делаю метку,— ответил он с хитрой улыбкой.— Когда ноготь вырастет до этой метки, то...

Он остановился.

— Что тогда?

— Да просто меня уже здесь больше не будет,— ответил он.

Но я догадался, что он хотел сказать что-то другое, и я постарался выпросить его.

— Дай-ка посмотреть твой палец. Пометка не очень далека от конца ногтя; в таком случае тебе уже не долго оставаться здесь.

Он пробормотал:

— Ноготь растет очень медленно.

И он, насвистывая, ушел из сарая, а я принялся колоть дрова.

Немного спустя я опять увидел Солема; он шел по двору с кудахтающей курицей подмышкой. Он подошел к кухонному окну и спросил:

— Это из этих кур надо было взять?

— Да,— ответили ему из кухни.

Содем вошел в сарай и попросил у меня топор: ему надо было отрубить курице голову. Да, видно было, что он исполняет самые разнообразные обязанности, он был и швец, и жнец, и в дуду игрец,— одним словом, он был незаменим.

Он положил курицу на колоду и прицелился, но с курицей не так-то легко было справиться, она вертела головой и извивала шею, словно змея. Она перестала даже кудахтать.

— Я чувствую, как сильно бьется у нее сердце в эту минуту,— сказал Содем.

Но вот он улучил момент и опустил топор. Голова курицы валялась на полу; но Содем продолжал еще держать тело курицы, которое трепетало в его руках. Все это произошло так мгновенно, что перед моим взором все еще были соединены две отдельные части курицы, мой разум не мог примириться с таким странным, таким диким разъединением. Прошла секунда или две, прежде чем я мог отдать себе отчет в том, что произошло, и в том, что я вижу: эта отрубленная голова красноречиво говорила об ужасном факте и казалось, будто она не верит тому, что произошло, она приподнялась слегка от пола, как бы для того, чтобы показать, что в сущности все обстоит благополучно. Наконец Содем выпустил из рук тело курицы. Одно мгновение оно лежало спокойно, потом сделало судорожное движение ногами, приподнялось от земли и начало трепыхать крыльями, и безголовая курица ткнулась одним крылом в стену, потом в другую, оставляя позади себя кровавые следы, пока, наконец, не упала и не осталась лежать на месте.

— Я все-таки слишком рано выпустил ее из рук,— сказал Солем.

И он пошел за другой курицей.

## ГЛАВА XVIII

---

Я возвращаюсь к смелой мысли отпустить Солема. Правда, если бы его отпустили, то в санатории не случилось бы катастрофы; но кто стал бы в таком случае швецом и жнецом у нас? Поль? Но ведь Поль, как я уже упоминал, валялся в своей каморке, и он предавался этому занятию все больше и больше, и уже совсем перестал показываться на глаза своим пансионерам, если не считать тех случаев, когда он ошибался в своих расчетах и сверх ожидания наткнулся на нас.

Однажды вечером он шел по двору. По всей вероятности, он думал, что все гости уже улеглись, так как он потерял всякий счет времени; но мы сидели на дворе, так как было темно и тепло. Заметив нас, Поль немного подтянулся и, проходя мимо, поклонился нам; потом он подозвал к себе Солема и сказал:

— Не смей больше делать таких прогулок через горы, не предупредив меня об этом. Ведь я сидел и писал в своей комнате. Заставлять Жозефину таскать багаж, слыханое ли это дело.

Поль пошел дальше. Но ему показалось, вероятно, что надо поважничать еще больше; он повернулся и спросил:

— Почему ты не позвал на помощь одного из моих торпарей?

— Они не хотели,— ответил Солем — они окучивали картошку.

— Не хотели?

— Эйнар отказался.

Поль задумался на минуту.

— Так вот какие они! Ну, пусть лучше они так далеко не заходят, а то я прогоню их с их участка.

Тут в адвокате заговорила его профессия, он спросил:

— А разве они не купили своих участков?

— Да,— ответил Поль,— но ведь имение, кажется, принадлежит мне. А это что-нибудь да значит, хе-хе-хе. Пожалуй, я имею право сказать свое словечко, здесь в Рейса, хе-хе-хе...— и он вдруг стал серьезен и сказал коротко Солему— в следующий раз ты скажешь мне.

После этого он опять направился в лес.

— Он слишком пристрастился к влаге, наш добрый Поль,— заметил адвокат.

Никто не ответил ему на это.

— В Швейцарии никогда ни один хозяин санатории не бродил бы в таком виде!— заговорил опять адвокат.

Наконец, фру Бреде тихо ответила:

— Его так жалко. Прежде он никогда не пил.

К адвокату сейчас же вернулось его добродушие и он сказал:

— Надо будет хорошенько поговорить с ним.

\* \* \*

Но вот наступило время, когда Поль трезв с утра до ночи: к ним в пансион приехал негодник Бреде. На флагштоке взвился флаг, всеобщее смятение, ноги Жозефины под юбками так и мелькали и слышно было только: брррр... Господин Бреде появился в сопровождении носильщика, его жена и дети вышли ему далеко навстречу, хозяйева также вышли встречать его.

— Здравствуйте!— приветствовал он нас, широко размахнув своей шляпой и сразу побеждая нас всех.

Это был толстый, большой, добродушный человек, веселый, жизнерадостный, какими бывают состоятельные люди. Он сразу сделался нашим общим другом.

— Ты надолго приехал к нам?— спросила одна из его дочек, вешаясь на него.

— На три дня.

— Только-то!— воскликнула его жена.

— Только-то?— повторил он с улыбкой.— Это вовсе уж не так мало, мой друг; для меня три дня — очень большой срок.

— Но не для меня и не для детей,— заметила она.

— Итак, я пробуду с вами целых три дня,— продолжал он.— Должен себе сказать, что я принужден был проявлять громадную активность, чтобы позволить себе хоть на этот срок быть пассивным, ха-ха-ха.

Господин Бреде бывал здесь уже раньше и знал дорогу к дому, который занимала его жена. Он сейчас же велел подать себе сельтерской воды.

Вечером, когда девочки улеглись, господин Бреде и его жена присоединились к нам в гостиной. Он принес с собой



для нас, мужчин, виски, и потребовал сельтерской. Для дам он припас вина. Вышел маленький праздник; господин Бреде умел занимать общество, и все мы были очень довольны. Этот мягкотелый человек совсем притих и пришел в утомление в то время, как фрекен Пальм играла на фортепиано народные песни. И нельзя сказать, чтобы он думал только о себе и ленился: среди разговора он вдруг встал, пошел на двор к флагштоку и спустил флаг.

— С закатом солнца флаг полагается спускать,— сказал он.

Раза два он уходил также посмотреть, спят ли девочки. Вообще видно было, что он очень любил детей. Он владел фабриками и санаториями и еще многим, многим другим, но, несомненно, больше всего он гордился тем, что владеет этими детьми.

Один из бергенцев постучал о рюмку и сказал спич.

До сих пор бергенцы вели себя очень тихо и, по правде сказать, очень скромно картавили друг с другом где-нибудь в сторонке, но тут представляется уже слишком удобный случай для произнесения речи. Разве не появился среди нас свежий человек с широкого света, который принес с собою вино, веселье и праздничное настроение? Редкостный товар в этом синем царстве скал... И так далее в том же роде.

Он говорил минут пять и вдохновлялся все более и более.

Господин Бреде рассказал кое-что об Исландии, этой нейтральной стране, в которой не побывали ни адъютант, ни адвокат и по поводу которой они вследствие этого не могли пререкаться. Но один из датчан бывал в Исландии и вполне согласился с впечатлениями, которые вынес оттуда господин Бреде.

Впрочем, последний рассказывал больше всякие анекдоты:

— У меня есть слуга, молодой парень, так он сказал мне как-то, когда я разозлился: «А здорово ты выучился ругаться по-исландски!» Ха-ха-ха! Он отдал мне должное: здорово ты выучился ругаться по-исландски,— сказал он.

Все засмеялись, а жена спросила:

— А ты что сказал?

— Что же мне было говорить. Я сразу был обезоружен, ха-ха-ха!

Но вот заговорил второй бергенец:

— Если бы у нас не было здесь семьи свежего человека, принесшего с собой жизнь и веселье, сударыня, нашей милой очаровательной дамы, которая осыпает всех своими любезностями, и детей, этих порхающих мотыльков...

Через несколько минут оратор вдруг закончил:

— Громогласное ура!

И он заиграл туш на фортепиано.

Господин Бреде чокнулся со своей женой.

— Да, да, верно!— сказал он коротко.

Фру Моли сидела в углу и разговаривала все громче и громче с датчанином, который взошел на Торетинд «не с настоящей стороны». По-видимому, она преднамеренно говорила так громко. Господин Бреде стал прислушиваться к их разговору и, наконец, попросил рассказать ему подробнее об автомобильном движении в соседней долине. Он спросил, сколько там автомобилей и быстро ли они совершают путь. Датчанин сообщил ему все сведения.

— Но вы подумайте только, прийти сюда через гору!— воскликнула фру Моли.— До сих пор еще никто не отважился на это.

Датчанин подробно рассказал господину Бреде также и относительно этого перехода, который представлял собою известную опасность.

— Тут есть еще одна Синяя игла где-то в горах,— сказала фру Моли,— теперь вы, конечно, совершите восхождение на нее? Чем-то все это кончится?

Конечно, датчанина очень соблазняла эта игла, но он сам признался, что совершить восхождение на нее едва ли возможно.

— Я уже давно взошел бы на эту иглу, если бы фрекен Торсен не запретила мне,— сказал адвокат.

— Ну, вы, во всяком случае, не могли бы взойти на нее— заметила фру Моли равнодушным тоном.

Это была месть с ее стороны. Она уже успела присосаться к датчанину, словно всего ожидая от него.

— Я запрещаю всем и каждому даже помышлять об этой игле,— сказала фрекен Торсен.— Она гладкая и острая, словно мачта.

— А что, Герда, не попытаться ли мне?— спросил господин Бреде с улыбкой свою жену.— Ведь я старый моряк.

— Ты-то!— ответила она с усмешкой.

— Весной я влезал на самую вершину мачты брига.

— Где это было?

— У берегов Исландии.

— Зачем ты влезал?

— Право, не помню... А, знаете, я совершенно не понимаю таких восхождений на вершины гор,— переменял разговор господин Бреде.

— Нет, ты скажи, зачем ты влезал, слышишь? Зачем ты влезал на мачту?— повторила его жена с раздражением.

Господин Бреде засмеялся:

— Ах, уж эти женщины! Существуют ли более любопытные создания на свете!

— Как у тебя хватает духу делать такие безумия? Что было бы с девочками и со мной, если бы ты...

Она ничего больше не сказала. Муж перестал смеяться и взял ее руку:

— Была буря, дружок, парус еле держался, дело шло о жизни и смерти. Но, конечно, мне не следовало упоминать об этом. А теперь... теперь нам пора поблагодарить общество за приятный вечер, Герда.

Господин Бреде и его жена встали и удалились.

После этого первый бергенец снова принялся говорить речь.

\* \* \*

Господин Бреде провел с нами три дня и снова приготовился в обратный путь. Все время он был неизменно доволен и весел. Каждый вечер ему подавали одну бутылку сельтерской воды,— не более, а в то время как девочки укладывались спать, в доме, который занимала семья господина Бреде, поднимались невероятная возня и веселый гомон. Зато ночью из его спальни раздавался богатырский храп.

До прихода отца девочки охотно бывали со мной, теперь же я для них перестал существовать, так они были заняты своим отцом. Он устроил для них качели между двумя рябинами в поле, но предварительно он тщательно обернул ветви деревьев тряпками, чтобы веревки не стерли коры.

Он имел разговор с Полем, и ходили слухи, будто господин Бреде потребовал возврата вложенных им в пансион денег.

Поль повесил немного голову, но, по-видимому, больше всего его огорчило, что господин Бреде зашел также и к торпарям, чтобы посмотреть, как они живут.

— Он пошел к ним?— сказал Поль.— Так пусть уж там и остается.

Господин Бреде все шутил до последней минуты. Очень может быть, что расставание было и для него несколько тяжело, но он решил поддерживать бодрость в других. Жена стояла рядом с ним и держала его руку обеими своими руками, а другой его рукой завладели девочки.

И долго стояла так семейная группа.

— Мне и попрощаться нельзя,— сказал господин Бреде со смехом.— Вы не даете мне свободы.

Девочки пришли в восторг и закричали, что не отпустят его руку:

— Мама, и ты также не отпускай другую руку, держи крепче.

— Тише!— сказал отец.— Ведь я только ненадолго уеду в Шотландию, поймите же. А к тому времени, как вы вернетесь домой, и я также буду дома.

— В Шотландию? Зачем тебе опять надо в Шотландию?— спросили девочки.

Господин Бреде освободился от девочек и кивнул нам:

— Вы послушайте только этих маленьких женщин: любопытство и любопытство!

Однако ни жена его, ни девочки не улыбнулись.

Тогда господин Бреде продолжал, обращаясь к нам:

— Кстати, я рассказывал недавно моей жене об одном любопытном человеке, который застрелился только для того, чтобы узнать, что с ним будет после смерти. Ха-ха-ха! Я нахожу, что это кульминационная точка любопытства, а? Застрелиться только для того, чтобы узнать, что будет потом.

Но и на эту остроту ни мать, ни дочери не улыбнулись. Его жена стояла, погружаясь в задумчивость, и это придавало особую прелесть ее лицу.

— Так ты уже уходишь?— сказала она.

Появился носильщик господина Бреде с его вещами, он тоже провел все эти три дня в санатории и ждал.

Господин Бреде ушел, наконец, в сопровождении жены и детей, которые пошли проводить его через поле.



Право, не знаю,— этот жизнерадостный человек, добродушный и состоятельный, любящий своих детей, который был всем для своей жены...

Но был ли он всем для своей жены?

Первый вечер он потратил на какой-то праздник, который устроил для нас, а каждую ночь он исключительно тратил на храпение. Так и прошло трое суток.

## ГЛАВА XIX

---

Во время сенокоса у нас стало гораздо веселей. На лугу точат косы, работники и работницы усердно косят, все они очень легко одеты, головы у них непокрыты, они громко переговариваются и смеются; время от времени они прикладываются к ведру с питьем, а потом снова принимаются за работу. И запах свежего сена наполняет мою душу чем-то родным, он манит меня домой, хотя я и не в чужих краях. Так, значит я все-таки в чужих краях, думается мне, я не на своей родной почве.

Да и зачем мне оставаться здесь, в этом пансионе с учительницами и хозяином, который снова вышел из состояния трезвости. Моя жизнь проходит в полном однообразии, мне нет никакой пользы от пребывания здесь. Другие уходят на простор, ложатся на спину и смотрят вверх; а я ухожу и начинаю смаковать самого себя, и чувствую, что к ночи во мне зародится стихотворение,— это случается время от времени. Но людям вовсе не нужны стихотворения; вернее, им нужны только те стихотворения, которые, еще никогда раньше не слагались.

И Норвегия вовсе не нуждается в раскаленном железе, в настоящее время сельские кузнецы куют то, что необходимо для народного употребления и для поддержания чести родины.



Туристы так и не приходили, поток туристов направился по другому руслу, в Стурдален, а Рейсадален оставался безлюдным. Теперь не хватает еще только того, чтобы северная железная дорога когда-нибудь прошла через Рейса, увлекая за собой караваны туристов Беннета и

Кука; тогда, в свою очередь, Стурдален превратится в пустыню. О, нет сомнения в том, что торпари, действительно желающие заниматься земледелием, могут на бесконечные времена косить хозяйские луга исполу. В этом отношении у них хорошие виды на будущее. Если только наши потомки не сделаются умнее и не освободятся от заразной и деморализующей погони за эксплуатацией туристов.

Но ты, конечно, не веришь мне, дружок, и ты с сомнением качаешь головой. Так спроси же одного профессора, полное ничтожество с маленькими историческими познаниями в размере школьной программы, который разъезжает по всей стране, вот его-то ты и спроси. Он даст тебе обычное разъяснение, которому ты можешь посмотреть в глаза и которое легко перенесет твой ум, дружок.

\* \* \*

Не успел уехать господин Бреде, как Поль снова принялся за прежний образ жизни. Правда, положение его становилось все более и более безвыходным, а потому он ослеплял себя; так у него было хоть какое-нибудь извинение, потому что он не видел. Наш пансион покинуло зараз семеро постоянных пансионеров; телефонистки, купец Батт, учительницы Жонсен и Пальм, и двое торговцев, уж не знаю, что это за торговцы были. Все они переправились через горы, чтобы потом в автомобиле ехать в Стурдален.

Полю прислали несколько ящиков с различной провизией. Все это привез в небольшой тележке однажды вечером человек из села. Дорога к нашему пансиону была так плоха, что в некоторых местах он должен был разгружать ящики с тележки и перевозить их по одному. Жозефина приняла все товары, а когда она дошла до ящика, в котором что-то булькало, то она сказала, что этот ящик прислан по ошибке. Жозефина написала на нем новый адрес и велела посланному взять его обратно. Она сказала, что это фруктовый сок, который прислали слишком поздно, и она успела уже обзавестись другим.

Позже до нас донесся с кухни разговор, там говорили об этом ящике. Поль с раздражением сказал, что фруктовый сок вовсе не опоздал.

— Уберите же, наконец, эти газеты, говорю я вам!— крикнул он.

После этого слышно было, как на пол свалились газеты и со звоном упал стакан.

О, конечно, Полю не очень-то легко приходилось: дни проходили тоскливо и бесцельно, и у него не было даже детей, которые время от времени занимали бы его мысли и радовали бы его. А он-то хотел построить еще несколько новых домов, когда ему не надо было и половины тех желтых помещений, которые у него были. Фру Бреде с детьми занимала одна целый дом, а с тех пор, как нашу санаторию покинуло семеро пансионеров, и южное здание также опустело, и в нем осталась одна только фрекен Торсен. Поль захотел проложить дорогу, не желая ни в чем отставать от развития эксплуатации туристов; он собирался, находясь уже при последнем издыхании, начать возню с автомобилями; но так как у него самого на это не хватало средств, а помощи ожидать было неоткуда, то ему оставалось только покориться. А тут еще купец Бреде отказал ему в поддержке...

Поль высунул свое испитое лицо в приотворенную дверь в кухню. Он, вероятно, хотел посмотреть, свободен ли проход через двор. Оказалось, что проход не свободен, на дворе стоял адвокат; он громко приветствовал хозяина:

— Добрый вечер, Поль!— и увлек его за собой.

Оба ушли в поле и исчезли в сгушавшихся сумерках.

Конечно, нет никакой пользы «уговаривать» человека страдать поменьше жадой, но в таких случаях хорошо затрагивать жизненные интересы. Однако Поль, по-видимому, соглашался со всем тем, что ему говорил адвокат, и расстался с ним, преисполненный самых добрых намерений.

Поль опять отправился в село. Он должен был пойти на почту и отправить во все концы света те деньги, которые ему оставили семь пансионеров. Но этих денег не хватало на все: ни на уплату процентов, ни на налоги, ни на ремонт домов, — их хватало только на оплату нескольких ящиков с провизией, которые были присланы Полю из села. Кстати, он так и оставил у себя тот ящик с фруктовым соком.

Поль возвратился совершенно пьяный, так как он хотел ослепить себя, чтобы ничего не видеть. И опять началась старая история. Однако голова Поля все-таки работала на

свой особый лад, так как он старался все время найти какой-нибудь выход.

Однажды он спросил адвоката:

— Послушайте, как называется такой стеклянный ящик, в котором плавают маленькие рыбки, золотые рыбки?

— Вы спрашиваете про аквариум?

— Может быть, и так,— ответил Поль.— А дорогая это штука?

— Право, не знаю. А что?

— Я подумую о том, не завести ли мне аквариум.

— На что он вам?

— А вы не думаете, что он привлек бы ко мне народ?

Да нет, куда уж там...

И Поль повернулся и ушел.

Все больше и больше безумия. У одних перед глазами мелькают мухи, а другим мерещатся золотые рыбки.

## ГЛАВА XX

Адвокат все время проводил с фрекен Торсен, он качает ее даже на детских качелях и крепко обнимает и держит в своих объятиях, когда надо остановить качели. Все это видит парень Солем с луга, где косят сено, и он сейчас же принимается петь циничную песню. Ему казалось, что эта парочка нанесла ему такую обиду, что, если когда-нибудь вообще придется петь неприличную песню для самозащиты, то именно при таких обстоятельствах — в этом отношении каждый должен отдать ему полную справедливость. Вот почему он пел во все горло, а под конец даже гикнул.

Однако фрекен Торсен качалась себе да качалась, а адвокат крепко обнимал ее и останавливал качели, и повторил он это несколько раз.

Субботний вечер. Я стою на дворе и разговариваю с адвокатом: он скучает, он хочет уйти, но фрекен Торсен не хочет уйти вместе с ним, а одному отправляться в путь так скучно. Он не скрывает, что фрекен Торсен стала ему очень близким человеком.

К нам подходит Солем. Он снимает шляпу и здоровается, потом он быстро оглядывается по сторонам и заговаривает с адвокатом очень вежливо, как подобает слуге:



— Этот датчанин собирается завтра взойти на Синюю иглу. Мне приказано захватить с собой веревку и провожать его.

Адвокат настораживается.

— Неужели!..

Странно было наблюдать за адвокатом; видно было, что в голове у него вдруг стало как-то пусто. Его маленькие мозги спортсмена не выдержали такого испытания. Это продолжалось одно мгновение.

— Да, завтра рано утром,— продолжал Солем.— Вот я и пришел сказать вам об этом. Дело-то в том, что вы первый заговорили об этом восхождении.

— Да, да,— подхватил адвокат,— совершенно верно. Я говорил об этом первый, а вот он выскочил вперед.

— Ну, я не ответил ему ничего определенного,— заметил он.— Я сказал только, что подумывал завтра сходить в село.

— Да, но странно было бы с нашей стороны обманывать его, я этого вовсе не желаю.

— Это ужасно досадно,— ответил Солем.— Все говорят, будто напишут в газетах про того, кто первый взойдет на Синюю иглу.

— Ведь он обидится,— пробормотал адвокат, погружаясь в думы.

Однако Солем настаивал на своем:

— Ну, чего там. А, кроме того, ведь вы первый заговаривали об этом.

— Да и все узнают здесь о нашей затее, а мне не разрешено даже подниматься на эту иглу,— сказал адвокат.

— Мы отправимся в путь, как только начнет светать,— ответил Солем.

В конце концов они уговорились.

— Ах, да, вы, конечно, ничего не скажете об этом?— обратился адвокат ко мне.

\*\*\*

На следующий день утром все справлялись о том, куда исчез адвокат; в комнате его не было, на дворе также его не было видно.

— Быть может, датский турист сообщит нам какие-нибудь сведения относительно него,— сказал я. Но тут оказалось, что датчанин и не думал говорить с Солемом

относительно восхождения в этот день на Синюю иглу. Он ничего не знал об адвокате.

Это в высшей степени удивило меня.

Я посмотрел на часы, было одиннадцать часов. С той самой минуты, как я встал, я не сводил глаз с Синей иглы, но я ничего не мог разглядеть даже в бинокль. Прошло уже часов пять с тех пор, как эти двое начали свое восхождение.

К половине двенадцатого вдруг прибежал Солем, пот лился с него градом, видно было, что он не щадил себя.

— Помогите, помогите!— крикнул он нам без всяких объяснений, совершенно потеряв голову.

— Что случилось?— спросили его.

— Он сорвался вниз.

До чего Солем задыхался, и как с него струился пот! Но чем мы могли помочь? Бежать в горы и только констатировать то, что случилось?

— Он не может ходить?— спросил кто-то.

— Нет, он умер,— ответил Солем. И он стал переводить свой взгляд с одного на другого, как бы стараясь прочесть на наших лицах, правдоподобно ли его известие.— Он оборвался и свалился вниз, он не хотел, чтобы я помог ему.

Еще несколько вопросов и ответов — и Жозефина уже неслась через луг, она спешила в село, чтобы по телефону вызвать доктора.

— Надо как-нибудь притащить его сюда,— сказал датский турист.

И мы пошли с ним вместе в сени и начали сколачивать носилки. Солему дали коньяку и кое-какую одежду, и он снова побежал в горы, а за ним последовали бергенцы, фрекен Торсен и фру Моли.

Я спросил датчанина:

— А вы действительно не говорили с Солемом о том, что хотите сегодня совершить восхождение на Синюю иглу?

И он ответил:

— Нет. Я не говорил с ним ни слова об этом. А если бы мне это и пришло в голову, то я не взял бы с собой провожатого...

Под вечер мы вернулись домой, неся на носилках адвоката. Во время пути Солем подробно рассказывал о том, как все произошло. Он повторял, что он говорил и что отвечал адвокат, и указывал на дорогу:

— Вот представьте себе, что этот камень — адвокат, а вон там пропасть...— Солем продолжал еще держать в руках веревку, которая так и не пригодилась ему.

Фрекен Торсен расспрашивала не более других и говорила только то, что вообще принято говорить в таких случаях:

— Ведь я советовала ему не делать этого, я так просила его отказаться от этой мысли.

Что бы мы там ни говорили, а адвокат был мертв. Так странно было, его часы шли, а сам он был мертв. Доктору тут нечего было делать, и он сейчас же отправился обратно в село.

Настал тяжелый вечер. Солем отправился в село с телеграммами к родственникам умершего, а мы, остальные, делали то, что нам казалось наиболее приличным при подобных обстоятельствах, мы сидели в гостиной и у каждого была книга в руках. Время от времени кто-нибудь бросал несколько слов относительно катастрофы, что-нибудь в том роде, что вот, мол, какова человеческая жизнь! А адъюнк, в котором не было ни капли крови туриста, выражал боязнь по поводу того, что эта катастрофа дурно отразится на делах пансиона и окончательно погубит Поля: люди будут бояться такого места, где мог оборваться человек и убится.

Да, адъюнк действительно не был туристом, он не знал, в чем заключается приманка.

Однако Польш как-будто чувал, что эта катастрофа, пожалуй, и не повредит ему, он пришел в гостиную и поставил на стол бутылку коньяку, чтобы мы могли в этот тягостный вечер немного утешиться.

А так как этим вниманием мы были обязаны смерти одного из наших пансионеров, то один из бергенцев воспользовался этим случаем и стал держать речь.

## ГЛАВА XXI

---

Весть о катастрофе распространилась широко кругом, из города приехали репортеры, и Солем должен был водить их в горы и показывать им место несчастья. Если бы умершего не принесли сейчас же в пансион, то они написали бы также и об этом.

Дети и вообще наивные люди могли бы, конечно, найти, что нехорошо было отрывать Солема от косьбы и вообще

от земли, которая требовала ухода, но разве дело, дело пансиона, не должно быть важнее всего остального? «Содем, пришли туристы», — то и дело кричали ему со двора, и Содем бросал работу. Его осаждали журналисты, осыпали его вопросами, тащили в горы к месту катастрофы. И на дворе привыкли говорить, когда нигде нельзя найти Солема: Содем на месте смерти.

Однако Содем был теперь очень далек от смерти, он был среди кипучей жизни, ему было весело, он процветал. Снова сделался он важной персоной, чужие люди внимали ему и выспрашивали его. И на этот раз он имел дело не с дамами, о нет, теперь было нечто новое, приятная перемена, он имел дело с юркими деловыми господами из города.

Мне Содем сказал:

— Не странно ли, что несчастье это случилось как раз тогда, когда зарубка на моем ногте дошла до конца пальца?

И он показал мне свой большой палец: на ногте, действительно, не было больше зарубки.

А газетчики писали и телеграфировали, и не только о Синей игле и катастрофе, но также и о той местности, где все это произошло, о санатории Торетинд, об этом рае для переутомленных, о великолепных зданиях, которые казались драгоценными камнями в оправе из скал. Сколько приятных неожиданностей встречают те, кто приходит туда. Головы драконов, гостиная, фортепиано, вся новая литература на столах, сложенные бревна у стен для новых драгоценных камней в оправе из скал, — в общем великолепная картина современного земледелия в Норвегии.

Да, газетчики поняли это. И они устроили рекламу.

Появились англосаксы.

— Где Содем? — спрашивали они, — и где Синяя игла? — волновались они.

— Нам надо все-таки позаботиться о том, чтобы собрать сено, — говорили Жозефина и хозяйка, — собирается дождь, а у нас пятьдесят возов на лугу.

— Все это хорошо, но где же Содем? — спрашивали газетчики. И Содем являлся. Два наемных работника начали возить с луга сено, но тогда женщины на дворе остались без всякой помощи, и произошла полная путаница. Все носились взад и вперед и суетились без толку, потому что никого не было, кто распоряжался бы всем.

Хорошая погода стояла также и по ночам, это была долготерпеливая погода. Лишь бы только роса высохла, тогда можно сvezти еще сено с луга. О, все уладится как нельзя лучше.

Появились новые англосаксы и стали требовать Солема и Синюю иглу.

— Где Солем? Покажите нам Синюю иглу.

В их извращенных спортсменских мозгах происходила усиленная работа, их так и подмывало, так и подзадоривало поскорее узнать всякие подробности; они потихоньку прокрались по дороге в санаторию мимо всех домов умалишенных, и их никто не задержал. Вон она, Синяя игла, мачта, устремляющаяся в небеса, о! И они отправились в горы, Солем едва поспевал за ними. Они готовы были бы провалиться сквозь землю от стыда, если бы им не удалось постоять на том месте, где случилось несчастье, на этом замечательном месте, на краю великолепной пропасти. Одни из них желали во что бы то ни стало совершить восхождение на Синюю иглу, потому что иначе у них не будет больше ни одного спокойного дня в жизни; другие желали только стать лицом к лицу с тем местом, где адвокат лишился жизни, крикнуть в пропасть и ожидать ответа, стать совсем на краю пропасти и чувствовать прикосновение смерти к своим ногам. Ах, скорей же, Солем...

Но не было бы счастья, да несчастье помогло! Санатория зарабатывала громадные деньги, Поль ожил, и морщины на его лице разгладились. Человек, который на что-нибудь годится, становится работоспособным в удаче, а в неудаче он становится упорным. Человек же, который падает духом во время неудачи, никуда не годится, пусть он и пропадет. Поль перестал пить, он стал интересоваться даже уборкой сена и оставался на лугах вместо Солема. Как было бы хорошо, если бы он работал на лугах, пока была устойчивая погода. Как бы то ни было, но Поль во всяком случае снова пошел по истинному пути, и теперь он раскаивался даже в том, что отдал своим торпарям дальние луга косить исполу, — в этом году он сам мог бы воспользоваться всем сеном. Но он уже дал слово и тут уже ничего нельзя больше поделать.

К тому же началась дождливая погода. Пришлось прекратить уборку сена, да и косьбу нельзя было продолжать.

Вскоре интерес новизны пропал, и санатория Теретинд перестала занимать людей. Газетчики телеграфировали и писали о других великолепных катастрофах, а несчастный случай при восхождении на Синюю иглу был забыт. Это было опьянение, а теперь наступило отрезвление.

Датский турист просто-напросто сдался. Он увязал свой мешок и пошел через горы, как ходят все простые смертные, и как будто совсем забыл про существование Синей иглы. Да, все это безумие, свидетелем которого ему пришлось быть за последнюю неделю, выучило его благоразумию.

А поток туристов устремился в другое место.

«Что я им сделал?— думал, конечно Поль,— почему они опять ушли от меня? Уж не потратил ли я слишком много времени на лугу и не обиделись ли они на то, что я так мало бывал дома? Но ведь я кланялся им очень почтительно, и для их услуг я взял с поля работника»...

Но вот в санатории появились двое юношей, это были спортсмены до мозга костей, они только и говорили, что о яхтах, о велосипедах, о футболе,— это были норвежские отпрыски, они должны были сделаться инженерами,— это была молодая Норвегия. И они также пожелали совершить восхождение на Синюю иглу; насколько это было в их силах, они хотели во всем следовать современному течению. О, но они были так юны, они испугались, когда очутились у подножия иглы и когда посмотрели вверх. Однако Содем был не дурак, он выучился всяким фокусам в своей специальности проводника туристов: он великолепнейшим образом втащил двух отпрысков на иглу и получил порядочную толику денег только за свое молчание об их трусости. И все было прекрасно, отпрыски вернулись к нам и кичились, сознавая, что в них течет кровь истых спортсменов. Один из них принес с вершины окровавленную тряпку, которую он швырнул со словами:

— Это остатки после вашего адвоката, который сорвался в пропасть!

— Ха-ха-ха-ха-а!— расхохотался второй отпрыск.

Да, они выучились таки трескучему хвастовству в области спорта.

Дождь лил непрерывно в течение трех недель, потом один день стояла ясная погода, а вслед за тем снова пошел дождь и лил две недели. Все это время солнце совсем не показывалось, небо было покрыто тучами, горных вершин также не было видно, мы видели перед собою только завесу из дождя. Последствием этих ливней было то, что в санатории Торетинд все больше и больше протекали крыши.

Сено, лежавшее на лугу и ждавшее уборки, почернело и погнило, а то, которое было сложено в стога, запрело и испортилось.

Торпари вовремя убрали сено, пока стояло ведро. Они не зевали и убирали его всей семьей, — его на спинах таскали и муж, и жена, и дети.

Бергенцы, а также фру Бреде с детьми уехали. Девочки поблагодарили меня за то, что я гулял с ними в горах и рассказывал им кое-что; потом они уехали. В санатории стало пусто; на прошлой неделе последними уехали адъюнкт Хей и фру Моли. Они отправились каждый своей дорогой, хотя направлялись в один и тот же провинциальный городок: он пошел через село, делая большой крюк, а она направилась через горы. У нас стало очень тихо, но фрекен Торсен все еще оставалась в санатории.

Почему я не ухожу? Не знаю. И зачем спрашивать? Я здесь — и кончено. Слышал ли ты, чтобы когда-нибудь спрашивали, сколько весит северное сияние? А потому молчи.

И куда мне деваться, если я уйду отсюда? Уж не думаешь ли ты, что меня тянет назад в горы? Или, что я тоскую по моей землянке, в которой я провел зиму, и по Мадам? У меня нет тоски по какому-нибудь определенному месту, я просто тоскую.

Разумеется, я уже теперь в таком возрасте, что я должен был бы постичь то, что постиг всякий сообразительный норвежец, а именно: что у нас на родине все идет должным порядком в настоящее время. И в самом деле, ведь в газетах было даже написано, что движение туристов значительно увеличилось в Стурдалене с тех пор, как там открылось автомобильное движение, — почему же мне не отправиться туда с радостью в сердце?

Однако, как бы по привычке я живу себе здесь и продолжаю интересоваться запоздалыми пансионерами.

Фрекен Торсен все еще здесь. Фрекен Торсен? Есть чем интересоваться! Ну, да, но ведь она не ушла, она продолжает жить здесь и как бы заканчивает тип Торсен, дитяти междуклассового слоя, которое училось по школьным книжкам в течение всех своих детских и юных лет, которое знает, что такое «Artemis cotula», но которое запустило свое развитие и свою природу. Да, фрекен Торсен заканчивает свой тип.

Помню, несколько недель тому назад, в те дни, когда в санатории Торетинд была приманка, с гор пришел один юный отпрыск и принес с собою окровавленный лоскут, он швырнул его на землю со словами: «Вот остатки вашего адвоката, который свалился вниз!» Фрекен Торсен слышала это, но ни один мускул не дрогнул у нее на лице. Да, катастрофа с адвокатом ничуть не затронула ее, напротив, она сейчас же выписала себе другого друга. Когда этот друг появился, то оказалось, что это просто какой-то шалопай, «независимая фигура», как он сам назвал себя, записываясь в книгу для приезжающих. До сих пор я не упоминал о нем, потому что он был незначительнее ее, да и вообще он самый незначительный из всех нас. Он безбородый и ходит с открытым воротом,— Бог его знает, может быть, он состоит при каком-нибудь театре или при кинематографе. Фрекен Торсен пошла к нему навстречу, сказала ему соответствующее приветствие и поблагодарила его за то, что он пришел. Из этого можно было заключить, что она выписала его. Но почему же не уходила отсюда фрекен Торсен? Почему она точно приросла к этому месту и даже заставляет других приходить сюда? А ведь она первая из нас всех еще летом заявила о своем желании покинуть это место! Тут что-то неладно.

## ГЛАВА XXII

---

Я задумался над этим вопросом и решил наконец, что упорное нежелание фрекен Торсен покинуть это место находится в связи с ее эротикой: дело в том, что парень Солем все еще пребывает здесь. Как все это загадочно! До чего извращена эта красивая девушка! Недавно я видел, как она, высокая, гордая и невозмутимая, преднамеренно близко прошла мимо Солема, не отвечая на его поклон. Уж не заподозрила ли она его в причастности к смерти адвоката и не потому ли она избегала его? Ничего



подобного. Она избегала его меньше, чем до сих пор, она даже просила его брать ее письма на почту, чего до сих пор не делала. Нет, она просто неуравновешенная натура, несчастное существо, сбившееся с пути. Когда представлялся удобный случай, то она потихоньку пачкалась дегтем или трогала навоз, разложенный на полях, она принюхивалась к гнилому запаху, и ей это не было противно.

Раз как-то Солем в ее присутствии разразился излишне тяжеловесным ругательством, когда лошадь не хотела стоять смиренно, она посмотрела на него, слегка вздрогнула и вся вспыхнула. Но она сейчас же овладела собой и спросила Жозефину:

— Скоро ли этот человек уберется отсюда?

— Скоро, — ответила Жозефина, — дня через два.

Несмотря на то, что фрекен Торсен воспользовалась этим удобным случаем, чтобы спросить это самым равнодушным тоном, видно было, что вопрос этот имел для нее большое значение. Она молча повернулась и пошла.

Фрекен Торсен не уехала, о, нет, Солем имел для нее эротическую притягательную силу. Отчаяние Солема, его низменная страсть, которую она сама зажгла, его грубость, его вожделения самца, его алчущие руки, его дерзкие взоры, — все это возбуждало ее, и она принюхивалась к этому. Это заблудшее создание было до такой степени исковеркано, что чувствовало удовлетворение своих страстных вожделений уже от одной только близости этого человека. Тип Торсен, разумеется, лежал по вечерам в своем уединенном помещении и наслаждался при мысли о том, что в другом здании лежит мужчина и мучается от страсти к ней.

Ну, а друг ее, комедиант? Этот был совсем в другом роде. В его натуре не было ничего бычачьего, в нем не было натиска, в нем была одна только театральная развязность...

\*\*\*

Да, я продолжаю здесь жить и проявляю мелочность и любопытство, и я стараюсь выспросить Солема относительно катастрофы с адвокатом. Мы с ним вдвоем в сарае.

Почему он солгал и сказал, что датчанин совершит восхождение на Синюю иглу?

Солем посмотрел на меня, как бы ничего не понимая.

Я повторил свой вопрос.

Содем отрезался от всего и сказал, что он ни слова не говорил об этом.

— Но я сам слышал это,— заметил я.

— Нет, вы не могли этого слышать,— возразил он.

Пауза.

Вдруг Содем бросился на пол и стал кататься по нему, весь съежившись, словно комок. Это продолжалось некоторое время, потом он встал. Мы пристально посмотрели друг на друга в то время, как он оправлял на себе платье. У меня пропала охота продолжать с ним этот разговор, и я ушел. Ведь он во всяком случае должен был скоро покинуть нас.

После этого мною опять овладела скука, и, чтобы подразнить самого себя, я отошел в сторону и крикнул:

— Кирпича в замок! Теленок гораздо здоровее сегодня!

Совершив это, я почувствовал равнодушие ко всему; а, так как деньги мои начали приходиться к концу, то я написал своему издателю и сообщил, что скоро пришлю ему необыкновенно интересную рукопись. Одним словом, я вел себя, как влюбленный. Все симптомы были налицо.

Чтобы взять быка за рога, спрошу тебя прямо: ты наверное подозреваешь меня в том, что я остаюсь вблизи фрекен Торсен из личного интереса? В таком случае надо отдать мне справедливость и согласиться, что я ловко скрыл на этих страницах, что интересовался ею только как объектом, как темой. Лучше переверни несколько страниц сначала и посмотри. В моем возрасте не влюбляются, а если влюбляются, то делаются смешными,— всем курам насмех... Ну, и конечно с этим.

Но с одним я не могу покончить, это никогда не надоедает мне: сидеть в полном одиночестве у себя в комнате, в темноте, и чувствовать себя прекрасно. Это во всяком случае последняя отрада.

\* \* \*

Интермеццо:

Фрекен Торсен прогуливается со своим комедиантом, я слышу их шаги, слышу их голоса; но по вечерам уже стало темно, и из своей комнаты я не вижу их. Они останавливаются перед моим окном, которое раскрыто, они облакачиваются о подоконник, комедиант говорит, умоляет

ее о чем-то, на что она не соглашается; он пытается увлечь ее за собой, но она сопротивляется.

Тогда он выходит из себя:

— На кой черт выписала ты меня в таком случае сюда?— спрашивает он со злобой.

Она раздражается слезами и говорит:

— Так ты только для этого и приехал, у-у! Но я вовсе не такая, ты можешь оставить меня в покое, кажется, я тебе ничего не сделала.

Я — знаток женских сердец? Одно воображение! Хвастовство! Я вмешался только потому, что мне неприятно было слышать, как она плачет; чтобы дать знать о моем присутствии, я передвинул стул и кашлянул.

Он сейчас же насторожился, замолк и стал прислушиваться; но она сказала:

— Ничего, тут никого нет...

Конечно, тут был кто-то, и она прекрасно знала, кто. Однако не в первый раз фрекен Торсен пускает в ход этот маневр против меня, она уже и раньше делала вид, будто не знает, что я могу ее услышать, и разыгрывала чуть ли не у меня под носом интересные сцены. И каждый раз я давал себе слово ничем не проявлять себя; но до сих пор она еще никогда не плакала, а теперь она разразилась слезами.

Зачем она пускается на все эти фокусы? Чтобы оправдать себя в моих глазах, в глазах пожилого человека и выставить себя такой хорошей и такой скромной. Но, милое дитя, ведь я отдавал тебе должное уже раньше, я распознал тебя по твоим рукам! Ты так противоречишь природе! Ведь тебе двадцать седьмой год, а ты остаешься бесплодной и не распустилась!

Парочка удалилась.

\* \* \*

Есть еще нечто, что никогда не надоедает мне; уединяться и сидеть в полном одиночестве в лесу и наслаждаться покоем и мраком, царящими вокруг меня. Это последняя отрада.

В одиночестве и мраке есть что-то возвышенное и религиозное, — вот почему человек стремится к этому. Человек старается удалиться от других людей вовсе не исключительно потому, что может выносить только свое

собственное общество, нет, нет. Но есть что-то мистическое в том чувстве, которое охватывает тебя, когда на тебя с глухим ропотом издалека надвигается мир, а между тем он вблизи тебя, и ты находишься как бы в центре вездесущего. Это, вероятно, Бог. А ты сам представляешь собою одно из звеньев во всем этом...

*Чего мое сердце трепещет мятежно,  
Куда направляюсь я робкой стопой?..  
Вон лес, одинокий, тяжелый, безбрежный,  
Вон дом, что оставил я там, за собой..  
Я к городу шаг направляю небрежный,  
К нему подхожу я ночью порой..  
Все тихо... Все спит... Я стою одиноко..  
В ушах моих чутких отрадно молчит  
В покой погружившийся мир... Вон широко  
Раскинулся город, захован в гранит,  
К нему все стремятся волною глубокой,—  
Но мне что там делать... Пусть мирно он спит.  
...Люль, люль?.. Это в роще звенят колокольчики?..  
К покою лесному иду я обратно  
В безмолвный и поздний полуночи час..  
Укромный там есть уголок,— ароматно  
Цветет там черемуха, радуя глаз.  
Там голову в вереск склоню я отрадно,  
И в вольном просторе засну я тотчас...\**  
*...Люль, люль!.. Это колокольчики звенят в роще.*

Романтик? Да. Одна лишь сентиментальность, настроение, стихи и ничего больше? Да.

Это последняя отрада.

## ГЛАВА XXIII

---

Наконец-то появилось солнце. Оно появилось не по-королевски, пылая темным золотом, оно засияло на небе по-царски, потому что рассыпало вокруг себя снопы золотых искр. Этого тебе не понять дружок, а потому совершенно безразлично, какой набор слов предлагают тебе в настоящее время. Но, как я уже сказал, на небе по-царски засияло солнце.

Погода как раз такая, когда приятно гулять в лесу настало грибное время и повсюду натыкаешься на эти желтые диковинки, которые вдруг выросли из-под земли.

---

\* Перевод Е.В. Гешина.

Еще недавно их не было, или же я не замечал их, а, может быть, они находились под покровом земли. В грибах есть что-то незаконченное, они напоминают зародыши в первой стадии; но если присмотреться к ним ближе, то оказывается, что это чудо законченности.

Тут есть сыроежки, шампиньоны, боровики. Есть тут и мухоморы... О Боже, да ведь они принадлежат к милому семейству шампиньонов, а между тем они, как ни в чем не бывало, стоят себе тут и смертельно опасны. Что за глубина мысли! Отравы, преступник, воплощение профессиональной порочности и в то же время нарядный, блистательный кардинал грибов! Я отламываю от него кусочек и жую его, он вкусный и тает на языке, но, так как я трус, то я выплевываю его. Ведь в былое время яд мухоморов лишь опьянял людей. А на заре нашего времени мы умираем от волоска в горле.

Солнце постепенно садится. Вдали на горном кряже пасется скот, но теперь он направляется домой. По звону колокольчиков я слышу, что он уже спустился в низину. Раздается тонкий звон и низкий, а иногда колокольчики звонят сразу так гармонично, что в этом звоне получается какой-то смысл, какая-то аллегория, это выходит прелестно.

А как отрадно смотреть на былинки, на маленькие цветочки и мелкие растения. На том месте, где я лежу, рядом с моей головой стоит маленькое стручковое растение, оно имеет какой-то особенный сосредоточенный вид, несколько зерен выпячиваются из стручка... О, Господи, да ведь это растеньице готовится быть матерью! Оно переплелось с сухой веткой, и я освобождаю его от нее. Его пронизывает живая жизнь, солнышко наконец-то согрело его сегодня и призвало к исполнению своего назначения. О, что за прелестное, маленькое чудо!

Солнце закатывается, повеял ветерок, лес сладко и глубоко вздыхает и склоняется... Наступил вечер.

Я остаюсь лежать на своем месте еще целый час, или два, птицы уже давно успокоились, спускается непроницаемый и мягкий мрак... Я встаю и направляюсь домой ощупью, шаг за шагом, держа перед собой вытянутые руки, пока не выхожу на луг, где немного светлее. Я шагаю по разбросанному селу, оно жесткое и черное, и мои ноги скользят, потому что оно совсем гнилое. Когда я дохожу до домов, навстречу мне вылетает летучая мышь, она летит совсем беззвучно, словно крылья ее из пены.

Каждый раз, когда она пролетает мимо меня, по моему телу пробегает холодная дрожь.

Вдруг я останавливаюсь.

Пре́до мной появился человек, его фигура вырисовывается на стене нового дома. На нем плащ, он напоминает дождевой плащ комедианта, но во всяком случае это не сам маленький комедиант. Вот человек вошел в дом, ну да, так-таки и вошел прямо в дом. Это Солем.

«Ведь она спит в этом доме,— думаю я,— ну так что ж? Она одна в этом большом доме, фрекен Торсен там совсем одна. Прекрасно. И вот туда вошел Солем».

Я стою, где остановился, и жду, чтобы быть наготове, если бы понадобилась моя помощь. Ведь я человек, а не чудовище какое-нибудь. Проходит некоторое время. Он даже не старается держать себя тише, я слышу, как он поворачивает ключ в двери. Ну вот, теперь раздаётся крик... Чу! Но я ничего не слышу, ровно ничего; слышно, как передвинули стул, а больше ничего, ни разговора, ни спора... ну...

Но, Господи, ведь этот Солем способен на все! Он чего-нибудь добивается, он не даром пошел к ней, он способен прибегнуть к насилию над ней! Не постучать ли мне в окно? Постучать... но зачем? Ведь стоит ей только крикнуть, как я буду возле нее, клянусь!

Криков не слышно.

Часы бегут, я сел, я все стерегу. Само собою разумеется, я не уйду восвояси и не покину беззащитное существо. А часы идут, один за другим. Там, в новом доме, происходит основательная история, не какие-нибудь пустяки, нет... Вот скоро уже и светать начнет.

Вдруг мне приходит в голову, что он убьет ее, что он, может быть, уже убил ее. Меня охватывает страх, и я собираюсь встать,— но тут снова раздается звяканье ключа в замке, и в дверях появляется Солем. Он и не думает обращаться в бегство, он спокойно возвращается той дорогой, которой пришел, он идет к моему крыльцу, там он вешает плащ комедианта на то место, где он раньше висел, а затем снова выходит на двор. Но теперь он голый. Под плащем на нем ничего не было надето. Неужели это возможно? Отчего же нет никаких препятствий, ничего стесняющего, великолепная нагота! Солем обдумал все основательно. А теперь он идет, в чем мать родила, по двору и проходит те несколько шагов, которые разделяют его от его каморки.

Ах, уж этот Солем!

Я сижу и размышляю, стараюсь прийти в себя и собраться с силами. Что случилось? В новом доме продолжает царить тишина, но, по-видимому, фрекен не умерла, я делаю этот вывод уже по тому, что Солем совершенно спокойно ушел в свою каморку, зажег там свечу и улегся спать.

У меня отлегло от души при мысли о том, что она жива, я ободряюсь, мною овладевает излишняя отвага: если только он осмелился убить ее, думаю я, то я донесу на него. Ему не будет пощады. И тогда я уж зараз обличу его в ее смерти и в смерти адвоката. Я пойду дальше, заодно я донесу и на вора, с которым мне пришлось столкнуться зимой, на того самого, который украл свиной бок у торговца и который продал мне пакет табаку из своего мешка. Да, уж тогда я не буду молчать, нет, довольно...

## ГЛАВА XXIV

---

Утром Солем пришел в кухню, поел, получил расчет от Поля, а также от женщин, и вернулся в свою каморку. Он не спешил, время было уже не раннее, но он, не торопясь, тщательно завязал свой мешок, прежде чем отправиться в путь. Уходя, он несколько замедлил шаг и посмотрел в окна нового здания, проходя мимо него.

Итак, Солем ушел.

Немного спустя появилась фрекен Торсен к завтраку. Она сейчас же спросила про Солема. Почему это фрекен вдруг так заинтересовалась Солемом? Нет сомнения в том, что она преднамеренно оставалась у себя в комнате до тех пор, пока он не ушел; она могла бы сойти к завтраку уже давным-давно, если бы хотела застать его. Но она решила, что вернее будет, если она появится в несколько возбужденном состоянии. Ведь я, этакая ночная крыса, мог кое-что и подглядеть ночью.

- Где Солем?— спросила она с негодованием.
- Солем уже ушел,— ответила Жозефина.
- Ну, для него так, пожалуй, и лучше!
- Почему это?— спросила Жозефина.
- О, это был ужасный человек!

Она была очень возбуждена. Но потом она успокоилась, днем ее возбуждение улеглось, не было ни слез, ни

каких-нибудь других выходов, только она не ходила своей гордой поступью, а больше сидела в тишине.

Но и это потом прошло, она вскоре забыла про Солема в нашем обществе, а дня через два она стала такой же, какою была раньше. Она делала прогулки, болтала с нами и смеялась, а комедианта она заставила качать себя на качелях, как во времена адвоката...

Вечером я вышел прогуляться, погода была прекрасная и было темно; не было ни луны, ни звезд. Маленькая речка Рейса слегка бурлила в отдалении,— вот и все, что я слышал, и в этот вечер над всеми вершинами царили бог и Гете, и покой. Когда я после прогулки возвратился к себе, я вошел на цыпочках, соответственно своему настроению, разделся и улегся в темноте.

Тут к моему окну снова подошли эти безумцы, фрекен Торсен и комедиант. Так что же? Но это место для разговора выбрал, конечно, не он, а она, так как она предположила, что я уже возвратился к себе. Теперь я должен был услышать кое-что.

Но для чего мне надо было услышать, что он все еще продолжает молить ее?

— Я хочу, чтобы этому настал конец,— сказал он,— завтра я уйду отсюда.

— Да, да,— ответила она...— Нет, только не сегодня,— промолвила она вдруг,— милый, лучше в другой раз... не правда ли? Немного позже? Мы поговорим об этом завтра. Спокойной ночи.

Тут у меня в первый раз блеснула мысль: она хочет возбудить тебя, пожилого человека! Она хочет, чтобы ты также потерял голову, как и другие! Вот чего она добивается! И тут я вспомнил, что еще в то время, когда здесь жил адвокат, и даже раньше, во времена купца Батта, она говорила мне иногда ласковое слово и бросала на меня взоры, которые выходили из обыденных рамок любезности и были настолько красноречивы, насколько это позволяла ее гордость. Да, она ровно ничего не имела против того, чтобы также и старость безумствовала из-за нее. И еще вот что: раньше она старалась показать себя неприступной, теперь это прошло; разве не стояла она в это мгновение у меня под окном и не проявляла лишь маленькое сопротивление, давая в то же время самую положительную надежду? «Только не сегодня... лучше в другой раз!» сказала она. Да, конечно, маленькое колеба-



ние, некоторая отсрочка... и я должен был услышать это. Это было заблудшее создание, но в то же время она обладала необыкновенной ловкостью и той смекалкой, какая присуща душевнобольным. Но до чего она сбилась с пути!

Милый мой, все куры смеются, они смеются над тобой!

\* \* \*

День спустя мы сидим в гостиной втроем. Фрекен Торсен и комедиант читают вместе одну книгу, а я другую.

— Не хочешь ли оказать мне одну большую услугу?— говорит она ему.

— С восторгом!

— Пойди на то поле, где мы сегодня сидели, и принеси оттуда мои галоши.

И он ушел, чтобы оказать ей большую услугу. Проходя по двору, он распевал шансонетку и вообще был, по-видимому, в прекрасном настроении духа.

Она обернулась ко мне:

— Почему вы так притихли?

— Что такое?

— Вы так притихли.

— В таком случае, послушайте вот это,— говорю я и принимаюсь вслух читать ту книгу, которая была у меня в руках. Я прочел порядочный кусок.

Она хотела несколько раз прервать меня, наконец, она сказала нетерпеливо:

— Ну, да, но что это такое, что я должна слушать?

— Это «Мушкетеры». Вы должны согласиться, что это очень занятно.

— Я уже читала это,— возразила она. И она начала по своему обыкновению складывать руки и разнимать их.

— Так послушайте тогда нечто такое, чего вы раньше не читали,— сказал я.

Я пошел в свою комнату и принес оттуда несколько листов своей рукописи. Это были кое-какие стихотворения, о, ничего особенного, кое-какая мелочь. В сущности, у меня вовсе нет привычки читать свои произведения, но я воспользовался этим предложением, потому что хотел помешать ей прикидываться передо мной жалкой и вообще говорить со мной.

А пока я читал ей свои стихотворения, комедиант возвратился.

— Там никаких галош не было— сказал он.

— Неужели?— ответила она рассеянно.

— Уверяю тебя, я искал повсюду.

После этого она встала и ушла.

Он с некоторым удивлением посмотрел ей вслед и остался сидеть минуты две. Потом ему что-то пришло в голову.

— Я уверен, что ее галоши стоят в передней,— сказал он и бросился вслед за ней.

Я остался на своем месте и задумался. В ее голосе было что-то ласкающее, когда она сказала: вы так притихли. Разгадала ли она меня и поняла ли она мое чтение? Конечно. Ее нельзя было назвать глупой. Глупым-то оказался я, а не кто другой. Какой-нибудь спортсмен пришел бы в отчаяние от меня. Есть люди, которые занимаются любовным спортом, они находят это очень занятным; я никогда ни из чего не делал спорта. Я любил, и даже немного кутил и позволял себе увлекаться, сообразно моей натуре, но вот и все! Я человек старого пошиба. А теперь я сижу в вечерних сумерках,— это вечер пятидесятилетних. Ну, и конечно с этим!

Но вот комедиант возвратился в гостиную, смущенный, обиженный: она выгнала его, она плачет.

Меня это ничуть не удивило, это было резкое проявление типа.

— Нет, как вам это нравится, она велела мне убираться! Завтра я ухожу.

— Вы нашли галоши?— спросил я.

— Ну, конечно!— ответил он.— Они стояли в ее собственной прихожей. Вот они!— сказал я ей.— Хорошо, хорошо,— ответила она.— Ведь они у тебя под самым носом,— сказал я.— Да хорошо же! Убирайся вон!— ответила она и расплакалась. Ну, я и ушел.

— Ничего, это пройдет.

— Не правда ли? Конечно, это должно пройти. Нет, никто не может разобраться в этих женщинах, таково мое мнение. Но все-таки это великолепный пол, то-есть женский пол, черт, побери, что за великолепный пол! Этого отрицать нельзя.

Он никак не мог успокоиться, посидел немного и потом опять вышел.

Вечером фрекен Торсен первая явилась в столовую, она уже была там, когда мы пришли, и мы слегка кивнули друг другу. С комедиантом она была очень ласкова и старалась загладить свою недавнюю резкость.

Он усаживается за стол и сейчас же находит в своей салфетке записку, листочек бумаги, сложенный и вложенный в салфетку. Он приходит в изумление и выпускает из рук все, чтобы развернуть записку и прочесть ее. Радостное восклицание и улыбка, затем он устремляет свои веселые голубые глаза на фрекен Торсен; но, так как она сидит, опустив глаза и нахмутив брови, он сейчас же сует записочку в жилетный карман.

Тут, вероятно, он догадывается, что выдал ее, а потому он старается загладить свою оплошность:

— Ну, есть так есть,— говорит он, делая такой вид, будто собирается изо всех сил налечь на еду.

Зачем она написала ему? Ведь она могла поговорить с ним. Он сидел на крыльце, когда она вышла из своей комнаты, и она прошла мимо него. Неужели она рассчитала, что милый комедиант не совладеет с собой и посвятит третье лицо в эту тайну.

Но зачем доискиваться причин, зачем спрашивать: комедиант съел очень мало, но тем не менее он сиял от счастья. По всей вероятности, на записочке стояло «да», было положительное обещание, по-видимому, она не собиралась больше гнать его.

## ГЛАВА XXV

---

Дня через два они уйдут отсюда. Они отправятся в путь вместе, тем все это и кончится.

Мне оставалось только пожалеть их обоих. Жизнь прекрасна, но жизнь сурова. Один результат был во всяком случае достигнут: она не напрасно выписала его, а он не напрасно явился на ее зов.

Итак, это действие окончено. Но за этим действием последует еще несколько, много действий.

Она пала, после того, как ее ограбили, она добровольно отдала себя, какой смысл беречь себя теперь? Это может кончиться крайностью: с половины наклонной плоскости легко соскользнуть в самый низ. Тип этот известен, его

можно встретить в санаториях и пансионатах, там его родная почва, там он процветает.

В санатории в один прекрасный день появляется барышня, выросшая в нужде, сдавшая всевозможные экзамены и ставшая «самостоятельной». Она является в санаторию, более или менее измученная, прямо из душной конторы или с учительской кафедры, и вдруг начинает пользоваться приятным и неограниченным досугом и обильной едой со множеством консервов. Общество вокруг нее постоянно меняется, туристы приходят и уходят, она переходит из рук в руки, разговаривает с ними и при этом царит «деревенский тон».

Такая жизнь полна легкомыслия, в ней совершенно отсутствует всякий смысл. Ей не приходится даже как следует спать, потому что ей мешает сосед в смежной комнате, из которой доносится малейший звук через тонкую перегородку, а, кроме того, по ночам хлопают дверьми приезжающие и уезжающие англосаксы и спортсмены. Через очень короткий промежуток времени она теряет свое нормальное состояние, она чувствует отвращение к людям, отвращение к самой себе и к тому месту, где она живет. Ей-богу, пояись в это время хоть сколько-нибудь сносный шарманщик, она убежит с ним. И вот она связывается с тем, кто ей попался под руку, с проводником, живущим тут же, и она осыпает его вниманием, обматывает его пальцы тряпками, а потом она связывается с первым встречным-поперечным, являющимся в санаторию.

Это тип Торсен.

А в настоящее мгновение она ходит по своей комнате, собирает остатки самой себя и готовится покинуть свое летнее местопребывание. О, да, на это требуется не мало времени, остатков так много, они разбросаны по всем углам. И во время этих сборов, быть может, она утешает себя тем, что знает, как родительный падеж от слова *mensa*.

С комедиантом дело обстоит не так плохо, он ничем не поступился, он остался таким же беззаботным; он ничего не потерял и с ним ничего не случилось. Каким он пришел, таким и уходит: веселым, добродушным и голым. К тому же он как бы несколько возмужал, так как действительно совершил победу. Теперь остается вопрос, будут ли у него только приятные часы с типом Торсен.

Он расхаживает по двору и ждет, пока она соберется в путь. Раз, когда она промелькнула в дверях, он крикнул ей:

— Скоро ли ты, наконец, будешь готова? Ведь нам надо перевалить через горы.

Она ответила:

— Не могу же я отправиться в путь с непокрытой головой.

Он вышел из себя:

— Ну, конечно, тебе надо надеть шляпу, и это требует времени. Фу!

Тут она смерила его холодным взглядом и сказала:

— Ты такой... откровенный.

Если бы отплатил он ей той же монетой, то начались бы слезы, упреки и «уходи один», и запоздание на целый час, а потом примирение, объятия... Но комедиант переменял тон и ответил добродушно по своему обыкновению:

— Откровенный? Ну что же, может быть. В таком случае, извини.

И он снова стал ходить взад и вперед по двору, принимался напевать и размахивать своей палкой. Я обратил внимание на женскую форму его ног. Я заметил, что у него были необыкновенно толстые ляжки, и в этой толщине было что-то неестественное, что-то противоречащее его полу. Кроме того, он ходил носками внутрь. Н-да, и ворот у него был открытый, а дождевой плащ царственно свешивался с его плеч, хотя дождя не было. Это величественное зрелище производило ужасно комичное впечатление. Но зачем злословить по поводу дождевого плаща? Ведь его настоящий обладатель и не думал злоупотреблять им, нет, нет, этот плащ свешивался с его плеч так невинно, словно одеяние Христа.

Да и вообще зачем злословить по поводу чего бы то ни было? Жизнь прекрасна, но жизнь сурова. Я подумал, вот она сейчас выйдет, и тогда произойдет следующее: я стою и жду, чтобы проститься с ней. Она протягивает мне на прощание руку. Почему вы ничего не говорите?— спрашивает она, стараясь скрыть смущение и притвориться развязной.— Чтобы не оскорбить вас в вашем великом заблуждении,— отвечаю я.— Ха-ха-ха,— смеется она излишне громко и неестественно,— в великом заблуждении, спасибо! И она становится все озлобленнее и озлобленнее,

а я остаюсь спокойным и положительным, сохраняю отеческий вид, чувствую себя вполне правым. И в заключение я говорю нечто знаменательное:— Не губите себя больше, фрекен.— Тут она высоко поднимает голову и отвечает, побледнев от обиды:— Не губить себя... я не понимаю вас!— Но ведь может случиться, что фрекен Торсен, эта, в сущности, гордая и здравомыслящая девушка, вдруг прозреет и выйдет из себя:— Но почему же? Почему мне не продолжать губить себя? Зачем мне беречь себя? Я уже погубила себя, я все время губила себя, начиная со школьного времени, а теперь мне двадцать семь лет...

В моей голове вихрем пронеслись мысли и мне, наконец, захотелось уйти. Быть может, и она, собираясь у себя в комнате, желает, чтобы я не стоял здесь.

— Прощайте,— говорю я комедианту.— Будьте добры, передайте мой привет фрекен, я должен уйти.

— Прощайте,— говорит он, с некоторым удивлением пожимая мою руку.— Вы не можете подождать еще немного? Впрочем, я передам ваш привет фрекен. Прощайте, прощайте.

Я иду кратчайшим путем, чтобы поскорее укрыться, а, так как я хорошо знаю здесь каждый уголок, то я сворачиваю за двор и нахожу себе удобное место. Отсюда я решил смотреть, как уйдет эта пара. Она должна была еще выйти на двор, чтобы распрощаться со всеми.

Я вспомнил, что в последний раз разговаривал с ней вчера, что мы говорили только о пустяках, о которых я уже забыл, а сегодня я еще совсем не разговаривал с нею...

Странно — они представляли собой как бы нечто единое; они поднимались в гору друг за другом, но они принадлежали друг другу. Они не разговаривали; они, вероятно, уже обменялись необходимыми словами, жизнь была для них чем-то обычным, им оставалось только постараться быть сносными друг для друга. Он шел впереди, она следовала за ним на расстоянии нескольких шагов; ее фигура производила какое-то одинокое впечатление на каменном фоне скалы. Что сделалось с ее стройным, высоким телом? Она как будто стала меньше ростом от того, что подобрала выше юбки, и на спине несла мешок. У каждого из них было по мешку, но она несла его мешок, а он ее, вероятно, потому, что у нее было с собой больше вещей и ее мешок был тяжелее. Так

они обменялись ношей — как-то они будут меняться впоследствии? Ведь она уже не была больше учительницей, а он, быть может, не состоял больше при каком-нибудь театре или кинематографе.

Они шли в гору по каменистой, голой почве, где не было ни одного деревца, разве рос кое-где небольшой можжевельный кустик. Вдали, на горном кряже, бурлит речка Рейса. Эти двое сложили вместе свое тряпье и отправились в путь... на следующей станции они будут мужем и женой, и возьмут только одну комнату ради сокращения издержек.

Вдруг я встаю и собираюсь... да, я собираюсь из сострадания и человеколюбия, а также по долгу, бежать за ней и сказать... придумать какое-нибудь подходящее слово, сказать: «Не идите дальше». Это было бы делом одной минуты или двух, это было бы добрым делом, долгом..

Но вот они исчезли за горой.

Ее звали Ингеборг.

## ГЛАВА XXVI

---

Да, и я также отправляюсь в путь, я, последний пансионер в санатории Торетинд. Да и время уже позднее, утром в первый раз выпал мокрый, жалкий снег.

В усадьбе наступила тишина, теперь Жозефина могла бы играть для меня на фортепиано сколько угодно, и она была бы очень внимательна к последнему гостю, но и мне пора отправляться в путь. К тому же у Жозефины нет основания играть или быть веселой, потому что в этом году дела были очень плохи, а дальше можно было ожидать еще худшего. Так что впереди не было ничего приятного. Ну, как-нибудь да наладится все это, — говорит Жозефина. Да ей и нечего особенно беспокоиться, потому что у нее в банке лежат деньги, а, кроме того, нет сомнения в том, что у Жозефины есть жених по ту сторону гор.

Да, Жозефина всегда устроится как-нибудь, она особа положительная. Вот, хотя бы взять случай с фрекен Торсен, когда та покидала со своим другом санаторию. Друг ее не мог уплатить своего счета и сказал только, что ожидал присылки денег, но те не пришли, а ждать их ему нельзя, так как у него неотложные дела. Да, да, но когда же будет счет уплачен? Он будет уплачен из города, о, тотчас же, конечно, ведь деньги там лежат и ждут.

— Но вовсе нельзя быть уверенным в том, что мы получим деньги — от него, во всяком случае,— сказала Жозефина.— Дело в том, что у нас и раньше бывали такие молодчики. А, кроме того, меня досада взяла, глядя на него, когда он расхаживал по двору, как ни в чем не бывало, подбрасывал палку и ловил ее. И вот, когда фрекен Торсен пришла прощаться, я и спросила ее, не может ли она уплатить его счет? Фрекен Торсен прямо в ужас пришла и спросила, разве не уплатил он сам? Нет, ответила я, он не уплатил, а в этом году нам нужен каждый шиллинг, сказала я, потому что дела у нас были очень плохи, гораздо хуже прежнего. Фрекен Торсен сказала, что мы получим деньги, и спросила, сколько надо заплатить. Тогда я сказала, сколько он должен, и она сказала мне, что сейчас не может уплатить за него, но что она позаботится о том, чтобы деньги были высланы, и что я могу положиться на деньги, хотя бы и не от него. Потому что фрекен Торсен пришлет их во что бы то ни стало...

Рассказав это, Жозефина пошла приготовить мне провизию для путешествия.

Теперь и Поль все время на ногах, хотя, быть может, он и не всегда твердо стоит на них, но, во всяком случае, он на ногах. Но в нем нет никакой бодрости духа, он неохотно занимается кое-каким делом, задает корму лошадям, рубит дрова — вот и все. Пора было бы вывозить навоз из летнего хлева, но Поль все откладывает и откладывает эту работу, и из этого, вероятно, так ничего и не выйдет. И дело идет кое-как, ни шатко, ни валко. Утром выпал первый мокрый снег и покрыл сено, все еще разложенное на мокром лугу. Так оно и останется там до весны. А жалко беднягу Поля. В сущности, это хороший человек, но он без всякого смысла толчет воду; иногда он даже сам смеется, так как сознает, до чего бесполезно продолжать это,— и в улыбке его что-то болезненное.

Его отец, старичок, живущий в избе, становится иногда, как и раньше, на своем пороге и думает. Он стоит и думает, ведь у него позади девяносто лет. Ему кажется, что все строения на дворе перемешались и что во всяком случае на них слишком большие крыши, которые могут броситься вниз и схватить его. Он спросил Жозефину, не думает ли она, что его руки и пальцы убегут как-нибудь от него по земле. Тогда ему надели на руки рукавицы,



однако в конце концов ему надоело сосать их. Но вообще он с удовольствием поедает все, что ему дают, и не знает никаких страданий. Слава Богу, что он еще здоров и держится на ногах,— сказала Жозефина.

\* \* \*

Я ушел из санатория последним и пошел через горы той дорогой, которою пришел весной; я направился через леса к берегу моря. Это вполне правильно, что я иду все назад да назад, и никогда больше не двигаюсь вперед.

Я прошел мимо землянки, где мы жили вместе с Солемом, а потом зашел к маленьким лопарям, старикам и Ольге, этим людям, представляющим собою какую-то смесь человека с карликовой березой. В углу у торфяной стены по-прежнему стояла посуда, а с потолка свешивалась парафиновая лампа — все было по-старому в этом жилище каменного периода. Ольга была в общем очень мила со мной, но она была такая жалкая и крошечная, словно курица, так что мне было даже противно смотреть на нее, когда она, переваливаясь, засемила, чтобы достать для меня два куска оленьего сыра.

Потом я дошел также и до моей землянки, в которой я провел зиму и наслаждался одиночеством несколько месяцев. Я не зашел в нее...

Нет, я зашел, и я должен был даже переночевать в землянке; но об этом я не хочу говорить, а потому для краткости я говорю, что не заходил в землянку. Я даже написал нечто забавное о Мадам, о той мышке, с которой я расстался здесь весной. Но вечером я снова выпустил все это, потому что мною уже овладело другое настроение и потому что об этом не стоит писать. Очень может быть, что тебе было бы весело прочесть это дружок; но я вовсе не намеревался веселить тебя, ты должен быть серьезен и выслушать меня, осталось уже немного.

Морализирую я, что ли? Я объясняю. Нет, я не морализирую, я объясняю. Но, если можно сказать, что я морализирую, когда я в правильном освещении передаю тебе то, что видел, то, значит, я морализирую. И разве могу я этого избежать? Я интуитивно заглядываю вдаль, а этого ты не можешь делать, этому нельзя научиться по школьным книжонкам, этому вообще нельзя выучиться. А потому не сетуй на меня за это, в другой раз я постараюсь

позабавить тебя, в другой раз, когда мои струны будут настроены на более веселый лад. В этом я не волен сам. А теперь и струны мои настроены для хора...

\* \* \*

Я выхожу из землянки ранним утром при лунном свете и шагаю быстро, чтобы вовремя дойти до села. Но, по-видимому, я вышел слишком рано и шел, вероятно, слишком быстро, и таким образом я дойду до села уже в полдень; зачем же я так спешу? Быть может, это потому, что я чувствую близость моря? А когда я останавливаюсь на последнем крыже и до моего слуха доносится рокот моря, а в ногах у себя я вижу широкое водное пространство, меня охватывает сладостное чувство, словно я услышал привет из другого мира. Талатта!— говорю я. Я стою и вожусь со своими очками, протираю стекла и всего меня пронизывает странное чувство: в рокоте, доносящемся до меня снизу, есть что-то дикое, вечно бодрствующее, это голос пустыни, доведенный до страсти,— нечто родственное литании. Слово во сне, я спускаюсь с горы и дохожу до первого дома.

На дворе никого нет, но в окнах видны несколько детских лиц, которые сейчас же исчезают. Тут царит ужасная бедность, во всем виден недостаток, но изба бревенчатая, только хлев сложен из торфа; в общем это обыкновенный рыбацкий двор. Когда я вошел в избу, то увидел тот же отпечаток бедности, какой был снаружи, но пол был чисто вымыт и посыпан хвоей. Здесь было несколько детей, мать стояла у плиты и что-то варила.

Мне сейчас же предложили стул, я сел и начал болтать с малышами. Так как я никуда не торопился и ничего не требовал, то женщина спросила меня:

— Вас, вероятно, нужно переправить на лодке?

— На лодке?— переспросил я. Дело в том, что сюда я раньше пришел через горы и доли, пройдя много миль пешком.— Да, пожалуй, мне понадобится лодка; но куда же я попаду, переправляясь на ней?

— Я думала, что вам нужна лодка, чтобы переправиться к купцу,— ответила женщина,— потому что туда заходит пароход. Мы этим летом уже многих переправляли таким образом на лодке.

Как много перемен произошло за это короткое время! Автомобили в Стурдалене совершенно изменили все пути сообщения за какие-нибудь десять месяцев.

— Где мог бы я провести здесь денек или два—спросил я.

— У купца, вон там за островами, вы видите? А на этом берегу вы можете остановиться у Эйлерта или у Олауса, у них большие дома.

Мне указывают на эти два места по эту сторону залива, и я иду туда. Оба дома стоят почти у самого перевоза.

## ГЛАВА XXVII

---

Довольно большой дом, заново обшитый досками; над дверями новая вывеска: «Комнаты для приезжающих». В этом дворе также хлев представлял собою простую землянку.

Я не знаю ни Эйлерта, ни Олауса, и, пока я стою и раздумываю, к кому из них идти, ко мне навстречу быстро выбегает человек. Да, свет не велик, мы то и дело натываемся друг на друга, друзья и недруги — я стою лицом к лицу со старым знакомым, с вором, который был у меня зимой в землянке, с вором, который украл свинину. Хе, вот так удача, вот так удовольствие!

Это и был Эйлерт. Он держал теперь комнаты для приезжающих.

Сперва он сделал вид, будто не узнал меня, но долго это выдерживать было трудно, он должен был сдаться. Но он молодцом вышел из затруднения.

— Так это вы,— сказал он,— как это приятно! Добро пожаловать в мой скромный дом, уж не взыщите!

Однако, мне не так-то легко было выйти из этого затруднения, и я остановился, чтобы немного собраться с духом. Я задал ему несколько вопросов, и он объяснил мне, что с тех пор, как установилось автомобильное движение в Стурдалене, сюда очень часто стали приходить путешественники; некоторые из них оставались ночевать у него, чтобы на следующий день переправиться на лодке на другую сторону залива, где приставал пароход. Теперь же чуть не каждый вечер с горы приезжают путешественники, а ведь погода бывает всякая. И в дурную погоду не совсем-то безопасно ночью переправляться через фиорд. Как он уже говорил, пришлось, что-нибудь устроить, чтобы

дать людям приют, не могли же они ночевать под открытым небом.

— Так, значит, ты стал теперь хозяином гостиницы,— говорю я.

— Вы надо мною смеетесь,— отвечает он мне,— но вы это напрасно. Ведь я только даю ночлег людям, которые должны переправиться на ту сторону фиорда,— вот и вся гостиница. А Олаус — это сосед мой, не может заниматься этим, хотя бы он выстроил свой громадный дом. Вот, посмотрите сами, какой он дом сколачивает, или, вернее, сарай, сказал бы я; и он работает с тремя взрослыми людьми, чтобы окончить постройку к следующему лету. И все-таки помещение у него выйдет не больше моего, да и сдается мне, что благородные господа и знатные люди не будут делать этого крюка, чтобы попасть к Олаусу, когда мой дом стоит как раз на том месте, где останавливаются автомобили. А, кроме того, первый-то начал я, и, будь я на месте Олауса, я никогда не обезьянничал бы с другого, словно мартышка какая-нибудь, и не брался бы отдавать комнаты людям, раз я в этом деле ничего не смыслю. Но ему все нипочем: он взял какие-то старые паруса, одеяла и шапку и обил всем этим свой сеновал, и туда-то он и зазывает на ночлег добрых людей. Мне же никогда и в голову не приходит предлагать знатым господам и путешественникам ночевать на сеновале. Уж если говорить правду, то хлева и сеновалы существуют для скотов безгласных, а не для людей. Да что уж тут говорить, раз у человека нет ни стыда, ни совести, и раз он никогда не бывал в обществе порядочных людей...

— Как хорошо, что ты вышел ко мне навстречу,— говорю я,— и что я не попал в руки такого человека.

Мы идем к дому, он болтает и объясняет мне положение дел. И все время упоминает об Олаусе, скверном человеке, который обезьянничает с него.

Если бы я только знал, кого я повстречаю, то я, конечно, прошел бы мимо дома Эйлерта. Но я ничего не знал, я был невинен, хотя это казалось иначе. Тут уж ничего не поделаешь.

— Жаль только, что моя лучшая комната занята,— сказал Эйлерт,— но там живут важные люди из города. Они пришли сюда пешком через Стурдален, потому что автомобильное движение уже прекратилось в этом году.

Они живут у меня уже несколько дней и, кажется, останутся еще на некоторое время, они очень устали. Но жаль, что моя лучшая комната там наверно занята.

Я поднял глаза вверх и увидел в окне лицо,— меня охватило волнение — нет, конечно, не волнение, далеко от этого, но, во всяком случае, я был поражен. Что за совпадение, это удивительно! А когда я подошел к двери, то я натолкнулся на комедианта, который смотрел на меня, на того комедианта, который жил в санатории Торетинде. Толстые ляжки, дождевой плащ, палка. Я был прав, когда подумал, что лицо, мелькнувшее в верхнем окне, мне знакомо. Да, свет не велик.

Мы здороваемся друг с другом и начинаем болтать. Как приятно снова увидеть меня! А что бедный Поль в Торетинде, он, вероятно, по-старому питает пристрастие к влаге? Как странно это может выражаться, ведь он думал, что вся его усадьба — аквариум, а мы, пансионеры — золотые рыбки! Ха-ха-ха! Золотые рыбки, это было бы очень недурно, так мне кажется!— Послушайте, Эйлерт, вы не забыли к вечеру приготовить свежую рыбу? Ладно... Да, здесь очень недурно, я прожил уже здесь несколько дней и хотел бы остаться подольше, чтобы отдохнуть хорошенько.

В эту минуту с чердака по лестнице спускается толстая служанка и обращается к комедианту:

— Барыня просит вас сейчас же прийти наверх.

— Да? Хорошо, сию минуту... Да, да, так до свидания пока, мы еще увидимся; так вы, значит, остановитесь здесь?

И он поспешно стал подниматься по лестнице.

Эйлерт и я отправились в мою комнату.

\* \* \*

Я очень скоро вышел опять с Эйлертом; у него было так много чего порассказать мне, а я ничего против этого не имел: мне было приятно слушать его. Эйлерт был не дурак, и во всяком случае это был человек достойный, у него было четверо оборванных, тощих детей, которых он прижил с первой женой, умершей два года тому назад, но он уже успел снова жениться и у него родился еще один ребенок. Рассказывая мне это, он, вероятно, совсем забыл, что зимою жаловался мне на свою судьбу, на

больную жену и калек детей. Служанка, которая спустилась с чердака с поручением от барыни, была вовсе не служанка, а молодая жена Эйлерта. И она также была хоть куда: сильная, здоровая, работающая, любящая скот, и снова беременная.

— Мне кажется, Эйлерт, что все у вас идет прекрасно, и жена у вас хорошая, да и вообще все, о чем вы мне рассказывали.

Надо сказать, что никому и в голову не могло бы прийти, почему я чувствовал себя таким довольным в то мгновение, но дело в том, что мною, действительно, овладела какая-то смутная радость, когда я пришел в этот дом. Все это была чистейшая случайность, но тем приятнее это мне было, и я всему радовался и все мне нравилось. Возле землянки появился баран; он был совсем ручной, потому что дети валялись с ним, целовали его и катались на нем верхом, когда он еще был маленьким; а по крыше землянки разгуливала коза, она остановилась на самом краю и надо было только удивляться, как у нее не кружилась голова. Чайки летали над полями и перекликались друг с другом, то ссорясь, то дружно летая стаями; а тут совсем вблизи, в тумане, опустившемся перед самым закатом солнца, начиналась большая дорога, которая вела через лес и через долину. Вид такой дороги, которая выходит из опушки леса, кажется ласковым приветом живого существа.

Эйлерту предстояло еще наловить свежей рыбы, я и отправился с ним. Собственно говоря, ему некогда было заниматься этим делом, потому что ему надо было раздобыть для нас мясо; но он обещал господам из города свежей рыбы, а, кроме того, рыба была божьим даром и ничего не стоила. А если ему очень понадобится мясо, то он может заколоть барана.

Поднялся ветер, но так и должно быть, лишь бы ветер не усилился, заметил Эйлерт.— Впрочем, сегодня нельзя поручиться за погоду,— прибавил он, оглядываясь по сторонам,— ветер крепчает.— Вначале я проявлял большую отвагу и сел на весла. Я стараюсь запомнить французские слова Эйлерта: прекевера, траволи, сутенера, манкемент и другие. Эти словечки пришли сюда прямым путем, они появились здесь вследствие давнишних сношений с Бергенном и стали достоянием всякого.

Но вот у меня начинает пропадать всякий интерес к французским словам, мне становится очень дурно. Да и ветер поднялся здоровый, и мы не поймали ни одной рыбки.

— Тут налетает шквал,— говорит Эйлерт,— надо приблизиться к берегу.

Но и у берега мы ничего не поймали, а ветер все свежел и волнение становилось все больше и больше.

— Придется отправляться домой,— говорит Эйлерт.

Но ведь ветер был как раз такой, какой был нужен, а теперь он вдруг усилился. Однако почему же мне так дурно? Если бы я был переутомлен или взволнован, то это было бы еще понятно; но у меня не было ровно никакой причины волноваться.

Мы гребем среди белой пены, среди целых кустов колышавшихся перьев.

— Это прямо свинство, до чего быстро взволновалось море,— говорит Эйлерт, налегая на весла.

Тут мне становится очень нехорошо, и Эйлерт советует мне убрать весла и говорит, что будет грести один. Но в ту самую минуту, когда я хуже всего чувствую себя, мне вдруг приходит в голову, что меня могут увидеть с берега, и я не убираю весел; ведь жена Эйлерта могла бы увидеть меня и поднять меня насмех.

О, что может быть отвратительнее морской болезни? Я не сопротивляюсь больше, я перегибаюсь через борт и веду себя, как свинья! После этого мне становится немного легче, но потом опять начинается та же история, и получается настоящее удовольствие. Мне кажется, будто я должен родить, не настоящим путем, конечно, а через горло, но во всяком случае родить. Что-то должно выйти, но останавливается, как бы зацепившись за какой-то крючок, что-то начинает двигаться и останавливаться, двигается и останавливается. Этот крюк из железа,— из железа, сказал я? из стали! Никогда раньше его у меня не было, и я, конечно, не родился с этим крючком. Он как бы останавливает весь свой механизм. Я вздыхаю, как можно глубже, и при этом даже рычу, но я не могу извергнуть из себя этот стальной крюк. Выхода нет. Весь рот наполняется желчью. Слава Богу, скоро моя грудь разорвется. О...

Наконец, мы укрываемся за островами, и я спасен.

Я вдруг чувствую себя совсем хорошо, я начинаю шутить и даже передразниваю себя самого, чтобы ввести в заблуждение тех, кто мог видеть меня с берега; я уверяю Эйлерта, что это случилось со мной в первый раз, чтобы дать ему понять, что об этом не стоит много болтать. Он и представить себе не может, в какую непогоду я бывал в открытом море, не чувствуя ни малейшего недомогания; однажды я пробыл двадцать четыре дня в океане, все лежали врасстяжку, капитан лежал, весь скрючившись, словно дама. А я?

— Да, я и сам мучаюсь от морской болезни,— говорит Эйлерт.

\* \* \*

Вечером я сидел один в столовой и ужинал. Так как не было свежей рыбы, то пансионеры из города отказались спуститься к столу. Они потребовали к себе наверх немного хлеба, масла и молока,— объяснила жена Эйлерта.

## ГЛАВА XXVIII

---

Рано утром они уехали.

Да, в четыре часа утра, едва начало светать, я прекрасно слышал, когда они уходили, я спал близко от лестницы. Вот он начал спускаться своими толстыми ногами и он тяжело ступал, а она шикнула на него, слышно было, что она раздражена.

Эйлерт только что встал, и они некоторое время стояли и разговаривали с ним относительно того, что им надо сейчас же, сию минуту переправиться на ту сторону, потому что они изменили свой план и им необходимо уехать! И они пошли на берег к лодке, я видел их, они зябли и с раздражением говорили друг с другом. Ночью был мороз, лужи были покрыты льдом, и земля обледенела, так что им было трудно идти. Бедные, они не поели, даже не выпили кофе, а утро было холодное, дул ветер, и море волновалось. Вон они идут к берегу с мешками на спинах, у нее на голове красная шляпа.

Ну, меня это не касается, и я снова улежся, решив проспать до полудня или около того. Ведь мне не было никакого дела ни до кого решительно, кроме меня самого. Так как с постели я не мог видеть лодки, то я встал снова и так, забавы ради, стал смотреть в окно, далеко



ли лодка отъехала от берега. Не особенно-то далеко, хотя гребли оба мужчины. Потом я лег и через некоторое время опять посмотрел в окно,— о, да, дело идет на лад, они подвигаются вперед. Я остался у окна, было так интересно следить за лодкой, она становилась все меньше и меньше, я открыл окно и вооружился биноклем. Так как еще не совсем рассвело, то я даже при помощи бинокля не мог почти ничего различить, но красную шляпу я видел ясно. Наконец, лодка исчезла за островами.

Я оделся и сошел вниз. Все дети еще спали, но хозяйка, Регина, была уже на ногах. До чего спокойно и просто относится ко всему эта добрая Регина!

— Ты знаешь, куда девался твой муж?— спрашиваю я ее.

— Да, как вам это нравится?— отвечала она.— Я увидела их только, когда они уходили — шли к берегу. Интересно, куда они отправились, уж не на рыбную ли ловлю?

— Очень может быть,— ответил я ей. Но про себя я подумал:— Ну нет, они уехали совсем, потому что у них были с собой мешки.

— Странные люди,— продолжает Регина,— ничего не поели и кофе даже не пили, ничего! А барыня и вчера вечером ничего не хотела есть!

Я только покачал головой и вышел. Регина крикнула мне вслед, что кофе сейчас будет готов, так что, если мне захочется выпить чашечку, то...

Разумеется, мне не оставалось ничего больше, как только покачать головой и уйти, раз мне порют всякую чушь. И сознавать свою правоту и безупречность. И совершенно не понимать людей, которые ведут себя так странно. Но я, нижеподписавшийся, должен был бы во всяком случае отправиться вчера же к Олаусу вместо того, чтобы заниматься для увеселения рыбной ловлей. Тогда я несколько иначе сознавал бы свою правоту. Чего мне, в сущности, здесь понадобилось? Очень может быть, что она почувствовала себя не совсем-то в своей тарелке, та, которую называют здесь барыней, а потому она и не спустилась к ужину вечером, и не захотела больше оставаться здесь. Вот она и убралась отсюда вместе со своим другом и с мешком.

Да, да, пожалуй, убраться вовсе уж не так трудно, когда почти не с чем убраться и когда есть от чего убраться.

К полудню Эйлерт возвратился домой. Он был один, но он притащил с пристани один из мешков своих жильцов. Тот мешок, который побольше. Эйлерт был злой и возбужденный: пусть только попробуют, да, да, пусть попробуют!

Дело шло, конечно, о счете.

В этом отношении ей, вероятно, придется еще много испытать,— подумал я,— но вскоре она привыкнет и будет относиться к этому должным образом. Это еще не самое худшее.

Но во всяком случае это я побеспокоил их и спугнул отсюда, а ведь весьма возможно, что они, действительно, сидели здесь и поджидали денег,— кто же мог это знать!

Я сейчас же спросил Эйлерта, как велик счет. Ну, и кончено, пожалуйста, ни слова больше! И сию же минуту отправляйся назад в местечко с вещами!

Но оказалось, что все равно ни к чему не привело бы, так как господа сейчас же сели на пароход, который как раз собирался отходить.

Тут уж ничего нельзя было поделаться.

— Но вот их адрес,— говорит Эйлерт.— Мы можем отослать вещи в будущий четверг, когда пароход снова пойдет на юг.

Я взял адрес и выразил Эйлерту свое неблаговоление. Зачем он взял именно этот мешок, почему не другой?

Он ответил мне, что барин, действительно, предлагал ему другой мешок, но он, Эйлерт, сейчас же увидал, что в том мешке было не бог весть что. А те деньги, которые он получил от барыни, были платой только за одного из них. А потому вполне справедливо, что он взял тот мешок, который был побольше. Вообще Эйлерт, как он сам уверял, поступил в высшей степени великодушно, никто не мог отрицать этого. Ведь после того, как барыня шикнула на него и отдала ему большой мешок и написала также свой адрес, он сейчас же умолк и не сказал больше ни слова. Но как бы то ни было, пусть с ним не шутят, пусть только попробуют!

И Эйлерт во всю длину вытянул свою руку и потряс в воздухе кулаком.

Однако, после того, как он поел и напился кофе, а потом отдохнул немного, он успокоился и стал таким же общительным, как накануне.

Он сообщил мне, что с тех пор, как летом началось автомобильное движение, он все думает и раздумывает, как ему быть, не взять ли ему трех работников и не приняться ли за постройку дома, который будет еще больше, чем дом Олауса. Что я думаю насчет этого?

О Боже, да ведь и он также страдает современной болезнью, он заражен современным норвежским недугом!

Да, а мешок с вещами так и стоял в комнате уехавших господ. Ну да, это были ее вещи, я узнал те блузки, которые она носила летом, ее юбки и башмаки. Я почти не рассматривал их, я только вынул их из мешка, тщательно сложил и снова уложил в мешок. Я подозревал, что Эйлерт успел уже порыться в этих вещах. Только поэтому, а не почему-нибудь другому, я и раскрыл мешок.

## ГЛАВА XXIX

---

А мне пришлось-таки еще раз полюбоваться компанией англичан, последней в этом году.

Они приехали на пароходе утром в торговое местечко, а оттуда послали телеграмму в Стурдален и вытребовали автомобиль. Стурдален, Стурдален!— повторяли они. Итак, Стурдален был для них неизвестным местом,— а такого позора нельзя было долго переносить.

Господи, что за переполох они подняли. Они переправились на лодке, и приближение их слышно было уже издалека, в особенности один старый голос покрывал все остальные. Эйлерт бросил все и понесся к пристани, чтобы быть там первым: но из дома Олауса также прибежали на пристань все, и большие, и малые. Мало того, из всех близлежащих домов прибежали услужливые люди, готовые оказать всякую помощь. На берегу собралась порядочная кучка народу, а потому старый англичанин с зычным голосом выпрямился во весь рост в лодке и стал выкрикивать по направлению к берегу английские слова — он, конечно, не сомневался в том, что в этой стране тот же язык, что и у него:

— Где автомобиль? Подавайте сюда автомобиль.

А так как Олаус обладал известной сметкой, то он сейчас же догадался, о чем идет речь, и моментально

послал своих подростков в долину навстречу автомобилю. Англичане прибыли!

Они вышли на берег и видно было, что они ужасно торопятся. Они никак не могли понять, почему автомобиль не стоит и не ждет их,— это еще что такое? Их было четверо... «Стурдален»,— твердили они. Они подошли к дому Эйлерта, посмотрели на свои часы и ругались за каждую минуту, которую теряли. Куда, к черту, пропали автомобили? А столпившиеся на берегу люди следовали за ними по пятам и с благоговением взирали на этих разодетых идиотов.

Помню двоих из них: старика с зычным голосом, на нем были дурацкие штаны, а его куртка из зеленой парусины была украшена всевозможными шнурами, пряжками и изобиловала карманами. О, что за мужчина, сколько в нем отваги! У него была седая борода с зеленоватым оттенком, а усы его росли прямо из ноздрей, производя впечатление северного сияния, и ругался он, словно сумасшедший. Другой был долговязый и согбенный, это был жалкий молодой человек с невозможной наружностью, с покатыми узкими плечами, на его круглые брови была нахлобучена крошечная фуражечка, вообще же он напоминал человека на высокой подставке. Но при своей высоте он был согбенный и немощный, это был молодой старик, совсем уже плешивый; но, поверишь ли, он все-таки ходил со сжатыми губами, словно тигр, и голова его была набита чепухой, которая помогала ему держаться на ногах! «Стурдален!» твердил и он.

По всей вероятности, в Англии скоро откроют убежище для детей-стариков. Англия извращает свой народ спортом и навязчивыми идеями; если бы Германия не держала Англию в вечной тревоге, то она через два поколения превратилась бы в страну противоестественных распутников...

Но вот в лесу затрубил автомобиль, и все бросаются к нему навстречу, словно безумные, в запусты.

Тут оказалось, что двое детей Олауса честно и благородно выбежали далеко вперед на дорогу и поторопили автомобиль, так неужели же им ничего не заплатят за это? Правда, они вернулись на автомобиле и хорошо прокатились, но плата сама собою! Они настолько уже выучились за лето нахальству, что ни за что не хотели пропустить этого удобного случая; они подошли к старику

с зычным голосом, протянули ему руки и потребовали платы! Однако старик не пожелал им ничего платить, он уселся в автомобиль и стал торопить остальных. А шофер, который сам надеялся получить на чай, старался изо всех сил услужить путешественникам и сейчас же приготовился ехать обратно. Трогай! Раздается трубный звук, целая баллада, тарарабумбия!

После этого зрители расходятся по домам, все только и говорят о знатных путешественниках. Ах, иностранцы, иностранцы, — о, куда нам уж до них! Ты видел, какой долговязый один из лордов? А ты заметил другого, в штанах и с северным сиянием возле носа?

Однако среди расходившихся зевак были и такие, у которых были более серьезные мысли, так, например, семья Олауса. Отец теперь только понял то, о чем не один раз читал в газетах: что в Норвегии школы никуда не годятся, так как в них не учат английскому языку. А ведь какой хороший заработок потеряли его мальчики только из-за того, что не могли как следует в свою очередь обругать старика с северным сиянием под носом. А мальчики его думали свое: «Что за негодяй, этот проклятый южанин! Но пусть подождет!» Они уже слышали о том, что слегка прикрытые песком осколки бутылки очень хороши для резиновых шин!..

\* \* \*

Я снова иду к мешку с ее вещами, и делаю я это только потому, что на Эйлерта совсем нельзя положиться. Я решил пересчитать все вещи, чтобы ничего не пропало; с моей стороны было большой оплошностью не сделать этого раньше.

Можно подумать, что у меня только и дела, что ходить к этому мешку с платьем, — но для чего мне это делать? Вот и теперь оказалось, что я был прав, заподозрив Эйлерта; я слышал, как он поднимался по лестнице, а когда я вошел в комнату, то накрыл его у мешка, который он спокойно потрошил.

— Это что такое? — спросил я.

Сперва он подумал, что может отделаться от меня нахальством: он пригрозил мне и сказал, чтобы я не вмешивался в его дела. Однако для меня было весьма кстати, что я знал о нем кое-что, а потому он сейчас же

спохватился и бросил платье. О, до чего, в сущности, я был несправедлив к нему, как я обирал его!

— Вы вовсе не купили эти вещи,— сказал он,— очень может быть, что я получил бы за них гораздо больше.

Я уже заплатил ему за все, но он хотел получить больше, он напоминал мне желудок, который продолжает переваривать после смерти. Таков был Эйлерт. И все-таки он был не из самых плохих, лучше он никогда не был, и он не стал хуже в своем новом положении!..

Было бы хорошо, если бы человек не делался хуже в новом положении...

Кончилось тем, что я забрал мешок с платьем в свою комнату, чтобы лучше следить за ним. И я задал себе порядочную работу, укладывая все во второй раз; но это необходимо было сделать. Я решил вечером уйти отсюда и забрать с собой мешок,— мне уже надоело здесь жить, к тому же ночи стояли лунные.

А теперь довольно о мешке с платьем.

## ГЛАВА XXX

---

Оказывается, что я снова переживаю ту пору, когда с удовольствием гуляешь при лунном свете. Тридцать лет тому назад я тоже гулял при лунном свете, пробирался по узким тропинкам, на которых потрескивали сучья, ходил по обледенелому полю, бродил вокруг незапертых сеновалов,— охотился за любовью! Ну, да! Разве я забыл это! Но теперь луна уже не светит так ярко. Боже, ведь тогда я могу при лунном свете разобрать записочку, которую она мне сунула. Впрочем, теперь я уже не получаю таких записочек.

Все так изменилось, сказка окончена, сегодня вечером я снова пустился в путь, и мысли мои заняты только делом: я еду в торговое местечко, чтобы там с пароходом отправить один мешок, а потом я пойду дальше, все дальше. Да, а для этого мне надо только хоть немного знать дороги, да немного лунного света, чтобы разглядеть дорогу. А в былые дни, в молодые дни мы уже осенью изучали календарь, чтобы посмотреть, будет ли лунный свет на Крещение. Потому что нам был крайне необходим лунный свет.

Все изменилось, я изменился. Сказка — это сам рассказчик...

Говорят, будто старость приносит с собою новые радости, еще неизведанные, более глубокие радости, более постоянные. Это ложь. Да, ты прочел верно — это ложь. И это утверждает только сама старость, эгоистичная старость, которая старается размахивать жалкими остатками своих флагов. Старик уже забывает то время, когда он сам стоял на вершине, он забывает свое Alias, когда он, румяный и цветущий, трубил в золотую трубу. Теперь он не стоит уже больше — нет, он сел — ведь сидеть удобнее и легче. И вот к нему приближается, медленно и тихо, тучное и глупое почтение, воздаваемое старости. А на что сидячему человеку почет? Человек стоячий может пользоваться этим почетом, а сидячий может только принимать его. Почет же для того, чтобы им пользоваться, а не для того, чтобы сидеть с ним сложа руки.

Дайте-ка лучше сидячему человеку теплые шерстяные чулки.

\* \* \*

Но до чего мне повезло! Незапертый сеновал на моем пути, совсем, как в былые дни золотых труб! Сеновал манит меня массой душистого сена и теплым кровом на ночь; но где же девушка, которая сунула мне записочку? Разве я мог забыть, как благоухало ее дыхание, и мог ли я забыть, что со мной было, когда я почувствовал, как ее губы слегка раскрылись? Но она придет еще, подождем немного, у нас времени довольно, целых двадцать лет, она еще появится...

Однако мне надо следить за собой, чтобы отнестись к этому, как к шутке, ибо все это и есть лишь шутка. Ведь я уже вступил в почтенный возраст, я ослабел, я уже готов считать какой-то сеновал за знак благоволения свыше... О, высокочтимая старость, вот сеновал!

Нет, спасибо, я только что вступил в семидесятые годы.

И вот я, весь поглощенный своим «делом», прохожу мимо сеновала.

Под утро я нахожу себе приют под нависшей скалой. С этих пор мне, в сущности, подбает жить под навесом скалы; я ложусь, сворачиваюсь в комок и стараюсь сделаться маленьким и незаметным. Все что угодно, только не размахивать своим эгоизмом и остатками человека.

Я устраиваюсь очень хорошо, я подкладываю себе под голову чужой мешок с поношенным платьем, так как мешок этот как раз подходящей величины. Но из сна ничего не выходит,— меня одолевают мысли, мечты, обрывки стихотворений и сентиментальность. Так как от мешка пахнет человеком, то я отбрасываю его в сторону и кладу голову на руку. От руки пахнет деревом и даже не деревом...

Но адрес... адрес у меня? Отлично. Я зажигаю спичку и снова читаю адрес, чтобы запомнить его на утро. Несколько слов, написанных карандашом, и больше ничего; но, пожалуй, в буквах было нечто мягкое, нечто женственное, ах, право, не знаю. Не все ли равно?!

Я принаравливаю свой путь так, чтобы быть в местечке с наступлением дня, когда люди уже встали, когда почтовая контора открыта. Я раздобываю себе большой кусок бумаги, бечевку и сургуч; заворачиваю пакет, запечатываю его и пишу на нем адрес. Пожалуйста!

Ах, да... я забыл вложить в пакет клочок бумажки с адресом, какая досада! Но вообще я исполнил все, как следует. Я иду дальше и вдруг чувствую себя таким покинутым, я чувствую какую-то пустоту; это, конечно, от того, что мешок, который я тащил, был порядочно-таки тяжелый, а теперь я отделался от него. «Последняя отрада!» думаю я. Без всякой связи с чем бы то ни было я иду и думаю: «Последняя страна, последний остров, последняя отрада...»

## ГЛАВА XXXI

---

Что же дальше?

Я знал, что у меня ничего не будет впереди. Передо мной стояла зима, мое лето осталось позади,— ни цели, ни стремлений, ни честолюбия. Так как для меня было совершенно безразлично, где ни жить, то я и вспомнил один знакомый мне город и решил отправиться туда,— почему бы и нет? Не может же человек всю свою жизнь сидеть на берегу моря и, если он решается уехать оттуда, то этому вовсе не следует придавать особого значения. Он прекращает свой уединенный образ жизни — это и до него многие делали,— он хочет из пустого любопытства увидеть множество кораблей, лошадей и небольшие садики в каком-нибудь определенном городе. А, приехав туда, он от безделья начинает припоминать, нет ли у него хоть одной знакомой



души в этом городе, в этом громадном городе. Случается так, что в это время как раз ярко светит луна, и его забавляет, что он ходит по определенному адресу каждый вечер, и стоит у одних и тех же ворот, словно это очень важное дело. Ведь его нигде в другом месте не ждут, так что времени у него достаточно. И вот в один прекрасный вечер кто-то застает его у этих ворот под фонарем. Это женщина; она вдруг останавливается, потом делает шага два по направлению к нему, вытягивая вперед шею и всматриваясь в него.

— Это не..? Ах, извините, мне показалось...

— Да, да. Добрый вечер, фрекен Торсен.

— Ах, это вы! Добрый вечер! Так мне и показалось... Добрый вечер... Благодарю вас, хорошо. Благодарю вас за мешок; сейчас же поняла... я отлично поняла...

— Вы здесь живете? Какая приятная встреча!

— Да, я живу здесь, вот видите, те окна. Пожалуй, мне неудобно попросить вас ко мне? Ах нет, лучше не надо...

— Но тут на пристани есть несколько скамеек. Если вы только не боитесь замерзнуть...— предложил я.

— Нет, я не замерзну. Благодарю вас, с удовольствием...

Мы пошли к скамьям, и шли мы, будто отец с дочерью. Ничего особенного между нами не произошло, и мы просидели спокойно весь вечер. И последующие вечера мы просидели так же спокойно, и провели много таких дружеских вечеров в течение целого холодного осеннего месяца.

Сперва она рассказала мне главу своего возвращения домой, рассказала больше полунамеками, кое-что подробно, иногда во время рассказа она низко склоняла голову, а время от времени, когда я спрашивал, давала короткие ответы или только кивала головой. Я записываю это все по памяти, записываю то, что имело для нее значение, что получило значение для многих.

Впрочем... через сто лет все будет забыто. И зачем мы боремся? Через сто лет об этом будут читать в мемуарах и письмах и будут думать:— Как она билась, как она хлопотала, хе-хе-хе! О других ничего не будет написано, и никто не будет о них читать, для них жизнь окончилась в могиле. Все представляют собою одно и то же...

Сколько горя она перенесла, о, сколько горя! В ту минуту, когда у нее не хватило денег заплатить за свое содержание в гостинице, ей показалось, что она представ-

ляет собою средоточие всего мира, все смотрят на нее, и в голове у нее шумело от чувства беспомощности. Вдруг она услышала, как на дворе кто-то спросил: «Напоили ли сегодня Серку?» Это была забота того человека. Итак, она вовсе не средоточие всего мира.

И вот она отправилась вместе с товарищем в путь. Средоточие мира? Ничего подобного. Изю дня в день шли они через горы, изю дня в день по долине, ели, когда представлялся этому удобный случай, пили воду из ключей. Встречаясь с ехавшими в экипажах, они здоровались с ними или не здоровались, никто не был ни более, ни менее средоточием, нежели они сами. Товарища не покидала его глупая беззаботность, и он весело насвистывал.

На одном постоялом дворе они пообедали.

— Заплати за меня пока,— сказал он.

Она стояла в нерешительности и заметила, наконец, коротко, что не может вечно платить за него.

— Я вовсе и не хочу этого, совсем не хочу,— сказал он.— Но пока... Может быть, там дальше нам удастся взять в долг.

— Я во всяком случае в долг не беру.

— Ингеборг!— воскликнул он и в шутку задрожал.

— Что такое?

— Ничего. Кажется, я имею право называть мою жену просто Ингеборг.

— Я вовсе не твоя жена,— ответила она, вставая с места.

— Тпрр! Но ведь эту ночь мы сошли за мужа и жену. Так мы записаны в книге на постоялом дворе.

На это она промолчала. Да, конечно, на эту ночь они сошли за мужа и жену, так пришлось устроиться, чтобы взять только одну комнату и сэкономить. Но с ее стороны было очень глупо согласиться на это.

— Ну хорошо, в таком случае, фрекен Торсен!— сказал он плаксивым голосом.

Чтобы покончить с этой игрой, она заплатила за обоих и взяла свой мешок.

Они пошли дальше. На следующем постоялом дворе она заплатила за обоих, не вдаваясь в рассуждения, за ужин, за ночлег и за завтрак. Это уже вошло в привычку. Потом они пошли дальше. Они дошли до конца долины и очутились на берегу моря. Тут она опять восстала:

— Нет, теперь уходи, убирайся, куда хочешь, я не хочу больше быть с тобой в одной комнате!

Его старые доводы не подействовали больше. Когда он повторил, что они таким образом сэберегут деньги, она ответила, что для нее лично нужна только одна комната и за это она заплатит сама. Он опять попробовал обратить все это в шутку и захныкал:

— Ингеборг!— и ушел от нее. Он был совершенно беспомощен, и даже спина его как-то согнулась.

Она поужинала одна.

— А ваш муж не придет к ужину?— спросила хозяйка.

— Он, вероятно, не хочет есть,— ответила она.

А он в это время стоял у низкого хлева и делал вид, будто его интересует крыша и вообще вся постройка; он обошел хлев кругом, сложил губы в трубочку и посвистал. Но она хорошо видела из окна, что лицо у него очень бледное и расстроенное. Кончив ужинать, она пошла к берегу и крикнула ему мимоходом:

— Иди и поужинай!

Однако он был все-таки лучше, чем можно было предполагать,— он не пошел есть и ночь провел вне дома.

Кончилось все это так, как обыкновенно кончается: когда она увидела его утром, она раскаялась в своей жестокости, ее тронул его ужасный вид, и все пошло обычным порядком.

На берегу моря они оставались несколько дней в ожидании почтового парохода и в это время однажды вечером в тот дом, где они остановились, пришел пожилой человек. Она знала его, и он знал их обоих; это ее очень взволновало, и она хотела было сейчас же бежать, она плакала и била себя в грудь. Однако вскоре она успокоилась и решила переночевать еще одну ночь. Ведь она вовсе не представляла собою средоточия мира, ее старый знакомый, который пришел на постоянный двор, по-видимому, вовсе не видел только ее одну. Тем не менее на следующий день ранним утром она все-таки устроила нечто вроде бегства; она ушла на рассвете, когда все еще спали. Это она все-таки сделала.

На почтовом пароходе она не встретила знакомых и могла спокойно обдумать все. Теперь она решительно и окончательно порвала со своим товарищем. Они опять поссорились, у него не было билета, и они обменялись резкими словами. Он сказал, что ей легко говорить, так

как у нее в кармане есть обратный билет. Он указал ей также на то, что ему не пришлось бы испытать всех этих неприятностей, если бы она не написала ему письмо летом и не вызвала его к себе,— неужели ей не стыдно? Если бы не она, ему никогда не пришло бы в голову уезжать из города. Тогда она дала ему свой кошелек со всеми своими деньгами и попросила его исчезнуть с ее глаз. Денег должно было хватить на билет, таким образом она отделалась от него.

— Конечно, я не должен был бы принимать их,— сказал он,— но другого выхода нет,— и он ушел.

Она долго сидела и смотрела в морскую даль, обдумывая все. Ей приходилось очень плохо, гораздо хуже, чем она когда-то могла предполагать. О, что за стыд, до какого абсурда она дожила! Она думала до того, что устала от своих дум и начала прислушиваться к тому, что вокруг нее говорили люди. В некотором отдалении от нее на сундуке сидели двое мужчин, они ежились, стараясь укрыться от ветра. Она услышала, что один из них был учителем, а другой — ремесленником. Учитель вскоре встал и пробрался к ней; тогда она молча прошла мимо него и села на его место на сундуке.

Была осенняя сырая погода и было приятно укрыться от резкого ветра. Ремесленник, конечно, думал, что место хорошо одетой дамы в каюте, но, когда она села возле него, он сейчас же отодвинулся на край сундука. В эту минуту он как раз набивал трубку и хотел закурить ее, но остановился.

— Курите же,— сказала она.

Он закурил трубку, но отвернулся и закурил так, чтобы дым не попадал на нее.

Он был еще совсем молодой, лет двадцати с небольшим, из-под фуражки выглядывали густые рыжеватые волосы, брови у него были белесоватые, высоко над глазами. У него была широкая и плоская грудь, а спина круглая и руки большие. Что за лошадь!

Ему подали закусить, бутерброды и кофе этого-то, вероятно, он и поджидал, сидя на сундуке. Он заплатил, но продолжал курить и не трогал еды.

— Закусывайте же!— сказала она.— Надеюсь, я не мешаю вам?

— Нет,— ответил он. Он принялся выколачивать свою трубку, не торопясь, после чего опять некоторое время спокойно сидел.— Мне и есть-то не хочется...

— Так вы не издалека?

— Нет, я провел на пароходе только одну ночь. А вы откуда?

— Я из города. Я уезжала только на лето.

— Так, так,— сказал он, кивая головой.

— Я жила в Торетинде,— прибавила она.

— В Торетинде? Вот как!

— Вы знаете это место?

— Нет. Я только знаю кое-кого из хозяев.— Пауза.— Там, кажется, живет Жозефина?

— Да. А вы знаете ее?

— Нет.

Они еще кое о чем поболтали; пароход шел, а они все сидели на том же месте. Она спросила, откуда он, каким ремеслом занимается. Оказалось, что он ничего особенного собой не представляет, что он столяр, его мать жива и у нее небольшой хутор. Но не хочет ли барышня выпить чашку кофе?

Спасибо, она, пожалуй выпьет немного его кофе, с блюдечка.

Она налила себе кофе на блюдечко и попросила чего-нибудь поесть. Никогда не ела она так вкусно! Кончив есть, она поблагодарила его.

— У вас, вероятно, место в каюте?— спросил он.

— Да, но я хочу сидеть здесь,— ответила она.— Если я спущусь вниз, я заболую.

— Ну, понятно. Нет, надо будет...— С этими словами он встал и тяжело зашагал по палубе. Вслед за тем она увидела, как его спина исчезла в дверях спуска в каюты.

Она долго ждала его, она боялась, что кто-нибудь займет его место. Кофе с блюдечка, здоровый бутерброд, общество столяра, ничего деланного, никаких фокусов,— ей показалось, что она почувствовала некоторую почву под ногами в этом уголке.

Но вот он снова появился с кофе и бутербродами, он нес в своих больших руках целый поднос. Он добродушно улыбался, стараясь идти как можно осторожнее.

Она всплеснула руками и сделала вид что поражена всем этим.

— Господи, Боже ты мой! Нет, это слишком любезно с вашей стороны!

— А я подумал, что, раз барышня сидит здесь, то все равно уж...

Они поели вдвоем, она согрелась, ею овладела дремота, она слегка откинулась и отдалась ей. По временам, когда она открывала глаза, она видела каждый раз, что столяр закуривал трубку; он брал зараз по две и по три спички, чиркал ими, но не торопился закуривать трубку и брал новую спичку. Учитель крикнул ему что-то, показал ему на дверь, но столяр только кивнул головой и ничего не ответил. Уж не боится ли он разбудить меня?— подумала она.

На одной остановке ее товарищ снова появился, он вышел из каюты.

— Иди же в каюту, Ингеборг!— крикнул он.

Она ничего не ответила.

Столяр поочередно посмотрел на обоих.

— В таком случае, фрекен Торсен!— жалобным голосом крикнул опять товарищ, как бы в шутку. Он постоял немного и подождал, а потом ушел.

«Ингеборг»,— подумал, вероятно, столяр. «Фрекен Торсен!»— подумал он.

— Вы долго останетесь в городе?— спросила она, выпрямляясь.

— Я подумывал остаться там на некоторое время.

— Что вы там будете делать?

Он почему-то смутился, а так как цвет лица у него был очень светлый, то видно было, как он покраснел. Он наклонился вперед и поставил локти на колени, потом он ответил:

— Я хотел немного усовершенствоваться в своем ремесле, поучиться. Но все это зависит...

— Да, да. Конечно.

— А что вы скажете на это?— спросил он.

— Что же, это очень хорошо.

— Так вы действительно находите это?

Они почти весь день просидели на палубе, а под вечер стало очень холодно, поднялся ветер. Когда у нее коченели ноги, она вставала и топала ими, а когда она уставала стоять, то снова садилась на сундук. Раз, когда она отошла на несколько шагов, столяр положил на сундук сверток, как бы для того, чтобы ее место не заняли.

Ее товарищ снова высунул голову в дверь из каюты, и ветер подхватил его волосы на лбу. Он крикнул:

— Да иди же сюда, Ингеборг!

— О!— простонала она. Она вдруг вышла из себя, направилась к нему, но в эту минуту пароход накренило, и она раза два подпрыгнула, чтобы сохранить равновесие. Подойдя к нему, она прошипела:

— Чтоб я не слышала и не видела тебя больше! Понимаешь? Клянусь...

— Господи помилуй!— ответил он и исчез.

Около трех часов столяр опять принес кофе и бутерброды.

— Нет, пожалуйста, не угощайте меня больше,— сказала она.

Он только добродушно улыбнулся и попросил ее не побрезговать его угощением.

— Вот скоро мы будем на месте,— сказала она в то время, как они закусывали.— У вас есть где остановиться?

— О, да. У сестры.

Медленно и лениво взял он новый бутерброд и стал его вертеть в руке, погружаясь в думы; потом он откусил кусок. Откусив и прожевав второй кусок, он сказал, наконец:

— Мне думается, что, если я, пробуду всю зиму в городе, то я кое-чему научусь. А имея также и усадьбу, я могу кое-как прожить...

— Н-да.

— И вы так думаете?

— Да... Конечно.

Зачем рассказывает он ей о своих делах? Ведь у нее свои дела. Она поблагодарила его за угощение и встала.

Когда пароход причалил к пристани, он протянул ей руку и сказал:

— Меня зовут Николай.

— А? Да, да..

— Я подумал, что если нам когда-нибудь придется встретиться... Николай Пальм... но ведь город велик...

— Да, конечно. А теперь позвольте от души поблагодарить вас за ваше внимание. До свидания.

Я спросил фрекен Торсен:

— Вы встречались потом со столяром?

— С каким столяром? Ах, нет! Я просто рассказала вам о нем, потому что он в некотором роде знакомый.

— Знакомый?

— Да, и ваш и мой. Конечно, относительно. Оказывается, что он брат учительницы Пальм, с которой мы вместе провели лето в Торетинде.

— Да, свет невелик. Все мы родные.

— Вот потому-то я и рассказала о нем.

— Но ведь вы не знали, что он брат учительницы Пальм, пока были на пароходе,— сказал я.— Следовательно, вы виделись с ним позже?

— Да... Нет... впрочем, я встречалась с ним раза два, но не разговаривала. Все ограничилось только тем, что мы обменивались поклонами. «Здравствуйте» да «как поживаете?»— и тому подобное. И вот он сказал, что он ее брат.

— Хе-хе!

— Так, мимоходом, совершенно случайно.

Тут я воспользовался удобным случаем, чтобы заметить:

— Чего только не бывает случайно! Случайно я стоял у фонаря, чтобы прочесть на записке несколько слов. Оказалось, что вы как раз тут живете.

— Да, много странного случается.

— А из вас и столяра будет хорошая парочка,— говорю я.

— Ха-ха! Ну, нет, я никогда ни для кого не буду парой.

— Неужели?

— Надо быть очень легковерной, чтобы выйти замуж.

— Право, не знаю... Пожалуй, не лишнее быть немного легковерной. Быть не очень-то умной. К чему ведет ум? С ним далеко не уйдешь. Дело в том, что достаточно умных на свете нет.

— Но, мне кажется, ум должен был бы способствовать тому, чтобы мы не так часто попадали впросак. Иначе на что он?

— Да, на что он иначе? Но беда в том, что мы слишком полагаемся на наш ум и наши способности и вследствие этого попадаем впросак. Или мы просто отдаемся тече-



нию,— ах, пожалуйста, мы можем положиться на наш ум и наши способности!

— В таком случае, это безнадежно?

— В этом направлении — да. Да и вы так думали летом.

— Помню. Я думала... впрочем, право, не знаю... А потом я вернулась в город и тут как будто...

Пауза.

— Я совсем растерялась,— сказала она.

— А я стар и мудр. Вот, видите ли, фрекен Торсен, в прежние времена головы людей не были набиты такой премудростью, средними школами и правом голоса; жизнь шла в другом направлении, люди были простодушны. Разве это не достаточно хорошая опора? И в те времена люди попадали впросак, но не страдали так от этого, они переносили все с животной силой. Теперь же мы утратили нашу здоровую выносливость.

— Становится прохладно,— сказала она,— не пора ли домой? Да, все это совершенно верно, но ведь мы живем в новое время. Мы ничего не можем переменить, а мне остается только следовать за другими.

— Да, так написано в «Morgenbladet». Потому что так стояло в «Neue Freie Presse». Но человек, который хоть на что-нибудь годится, идет до известной степени своим собственным путем, если только вообще посредственность идет своим.

— Нет, знаете, теперь я вам расскажу что-то,— сказала она, останавливаясь.— Я начала посещать одну благоразумную школу.

— В самом деле?— спросил я.

— На этот раз я изучаю хозяйство. Разве это не хорошо?

— Вы учитесь делать бутерброды для себя самой?

— Ха-ха!

— Ну, да ведь вы не собираетесь замуж?

— Право, не знаю.

— Хорошо. Вы выходите замуж, вы поселяетесь в его долине. Но сперва вы хотите научиться хозяйничать, чтобы суметь сделать яичницу или пуддинг для случайного туриста или англичанина, которые могут зайти к вам мимоходом.

— Его долина? Какая долина?

— Отправляйтесь-ка лучше к его матери и выучитесь у нее настоящему хозяйству, которое может действительно вам пригодиться.

— Нет, послушайте,— говорит она с улыбкой и идет дальше,— вы попали на ложный след. Это вовсе не он, и вообще нет никого.

— Жаль. Для вас было бы лучше, если бы у вас был кто-нибудь.

— Да, но что же делать, раз это не тот, кого я хочу?..

— Нет, вы именно его и хотите. Вы такая большая, красивая и дельная.

— Благодарю вас, но... Да, да, спасибо вам за этот вечер. Спокойной ночи...

Почему она так резко оборвала и так быстро ушла, почти убежала? Заплакала она? Я хотел сказать еще кое-что, хотел быть мудрым и скучным и дать полезные советы. И я остался стоять, совершенно озадаченный.

\* \* \*

Вскоре случилось вот что:

— Я так давно не видала вас,— сказала она при нашей следующей встрече.— Я так люблю разговаривать с вами. Хотите сделать маленькую прогулку? Мне надо...

— Отнести письмо, я вижу.

— Да, письмо. Это только... ничего особенного...

Мы пошли в контору газеты с письмом. По-видимому, она несла объявление о том, что ищет место.

Когда она выходила из конторы, навстречу ей попался господин, который поклонился ей. Она вспыхнула до корней волос. Она остановилась на крыльце, на верхней ступеньке, и склонила голову совсем на грудь, как будто бы всматривалась в эти две ступеньки, с которых ей надо было сойти. Они поздоровались, господин протянул ей руку, они заговорили.

Он был приблизительно ее лет, у него была привлекательная наружность, светлая мягкая борода и темные брови, которые, может быть, он подводил. На голове у него был цилиндр, расстегнутое пальто было на шелковой подкладке.

Я слышал, что они заговорили о каком-то вечере на прошлой неделе, на котором они очень веселились, где было много молодежи, говорили о пикнике и об ужине.

Фрекен Торсен говорила мало, она имела растерянный вид, улыбалась и была очень красива. Я принялся рассматривать иллюстрированные журналы в окне и вдруг у меня пронеслась в голове мысль: «Господи, да ведь она влюблена!»

— Послушайте, я имею предложить вам нечто,— говорит он.

И вот они сговорились о чем-то, и она кивнула. После этого он ушел.

Медленно и молча подошла она ко мне, я обратил ее внимание на одну картину в окне.

— Да,— говорит она,— это удивительно!— Она смотрит на картинку, но ничего не видит. Молча пошли мы дальше, минуты две мы прошли, не произнося ни слова.

— Этот Ганс Флатен всегда верен себе,— говорит она.

— Ах да, что это был за господин— спрашиваю я.

— Его зовут Флатен.

— Помнится, будто вы называли это имя летом. Кто он такой?

— Его отец оптовый торговец.

— А он сам?

— У его отца большая торговля в Альмесгате, вы знаете?

— Да, но чем занимается он сам?

— Право, не знаю, есть ли у него какое-нибудь определенное занятие. Он студент, но отец его богат, так что...

Я вспомнил, что торговля старого Флатена в Альмесгате очень усердно посещалась крестьянами, по утрам весь его двор был заставлен крестьянскими тележками, а сам он стоял в лавке и торговал.

— Он всегда был очень расточителен,— продолжала она.— Господи, до чего спокойно он выкладывает деньги на стол, по несколько ассигнаций! Повсюду, где бы он ни показывался, вокруг него раздается шепот: это Флатен!

Я захотел сострить и заметил:

— Он одевается так, словно его зовут Платен\*.

— Вот как,— сказала она обиженно.— Ну да, он одевается элегантно, он всегда так одевался.

— Его-то вы и хотите?— спросил я в шутку.

---

\* *Plat* — плоский.

Она помолчала с минуту, потом сказала с решительным кивком:

— Да.

— Что... его?

— Разве это так удивительно? Мы с ним старые знакомые, школьные товарищи, мы так много бывали вместе. Для нашей дружбы есть хорошее основание. Это единственный человек, в которого я была влюблена, и это продолжается уже много лет. Иногда я забываю его, но стоит мне его только увидеть, как я снова влюбляюсь в него. Я говорила ему это, и мы оба смеемся над этим. Но тут уж ничего не поделаешь! Странно это...

«Значит, он слишком богат для того, чтобы жениться на ней», подумал я и не спрашивал больше ничего о нем.

Когда мы расставались, я спросил только:

— Где работает столяр Николай?

— Не знаю,— ответила она.— Впрочем, нет, я знаю. Мы как раз по дороге к нему. Если вы пройдете еще немного, я покажу вам, где это. Но зачем он вам?

— Так. Я просто только хотел узнать, нашел ли он себе хорошее место, у хорошего мастера.

\* \* \*

В самом деле, чего мне понадобилось от столяра Николая, от ремесленника? Тем не менее я все-таки побывал у него и познакомился с ним. Настоящая лошадь по сложению, сильный и некрасивый, и безнадежно молчаливый. В субботу мы вместе гуляли по городу. Не знаю зачем, но во всяком случае захотел этого я сам.

Я привязался к столяру из личного интереса, потому что я одинок,— ведь я не хожу больше на пристань сидеть на скамье, стало холодно, да и фрекен Торсен не интересуется меня больше: она так изменилась с тех пор, как возвратилась в город, и во всех отношениях стала обыкновенной барышней. До чего ее мысли заняты всякими пустяками. Она как будто совсем забыла свою горечь и свой здравый взгляд на жизнь, который она проявляла летом. Вот опять она поступила в школу, в свободное время она видится с господином по имени Флатен, это занимает ее. Или она представляла собою поверхностную натуру, или же душа ее искалечена уже в молодом

возрасте, в те годы, которые налагают отпечаток на всю последующую жизнь человека.

«Что мне делать?» повторяет она. «Да, я снова поступила в школу, я начала ходить в школу, когда была еще совсем маленькой. Ни на что другое я не годна,— я годна только на то, чтобы учиться, к этому я привыкла. Я не умею ни думать, ни поступать самостоятельно, это не очень-то весело. Что же мне делать?»

Да, что ей делать!..

Я показал столяру Николаю цирк, но это не особенно удивило его, или же он притворился, будто не находит ничего удивительного. Лошади скачут... да, конечно, но... Тигр,— но я думал, что тигр гораздо больше! Впрочем, видно было по всему, что он был занят другими мыслями, он даже не следил за тем, как наездницы проделывают свои кунштюки.

Когда мы шли домой, он сказал:

— Мне совестно просить вас об этом, но не согласитесь ли вы пойти со мной завтра вечером в «Корону»?

— «Корона» это что такое?

— Там танцуют.

— Ах, танцевальный зал, где же он? Вам захотелось потанцевать?

— Нет, но...

— Вам просто хочется посмотреть, что там происходит?

— Да.

— Я пойду с вами.

\* \* \*

Это было воскресенье вечером, любимый вечер молодых девушек и молодых парней. Я пошел со столяром посмотреть на танцы.

Столяр расфрантился и надел крахмальную манишку и манжеты, а также толстую цепочку,— ах, но ведь он так молод, а молодость, несмотря ни на что, всегда производит приятное впечатление. Он необыкновенно силен, ему незачем уступать кому-нибудь дорогу, и это-то и сделало его таким уверенным в своих движениях и таким неповоротливым в то же время... Если кто-нибудь заговаривает с ним, то он медлит с ответом, а если его ударяют по плечу, он, не спеша оборачивается и смотрит, кто это. Он добродушен и кроток и с ним приятно иметь дело.

Мы подошли к кассе, где продавали билеты. Касса оказалась закрытой, в ней никого не было. Но рядом было вывешено объявление о том, что помещение отдано на два первых часа вечером, одному частному обществу. Пока мы стояли и читали объявление, приходила и уходила молодежь. Но столляр не хотел уходить, он осматривался кругом и вошел в ворота, будто ему надо было разыскать кого-нибудь.

— Что же, с этим уж ничего не поделаешь!— крикнул я ему вслед.

— Нет,— ответил он.— Но хотел бы я знать...— с этими словами он вошел во двор и стал смотреть во все окна.

С лестницы сошел один человек.

— Что вам надо?— спросил он.

— Он, вероятно, хочет получить билет — ответил я. Ведь ответа столяра было бы слишком долго дожидаться.

Человек подошел ко мне, он оказался хозяином. Он повторил то, что было написано на объявлении: небольшое общество наняло этот зал на первые два часа.

— В таком случае тут уж ничего больше не поделаешь!— крикнул я опять своему товарищу.

Однако он не торопился возвращаться ко мне, и я вступил в разговор с хозяином.

— Да, это общество принадлежит к высшему кругу,— сказал он.— Будет всего только восемь пар, но, несмотря на это, полный оркестр, значит, люди богатые. О, иногда этот зал нанимают очень важные господа, они берут с собой шампанское и всевозможные угощения. И пляшут они до упаду. Но что ж из этого? Молодежь, все богатые и знатные люди, им скучно проводить воскресный вечер дома, чем-нибудь надо оживиться после будничного однообразия, и вот они пляшут часа два. О, странного в этом ничего нет! И за это короткое время я зарабатываю гораздо больше, чем за весь остальной вечер. И все это люди щедрые,— они не считают шиллингов. К тому же, еще надо прибавить, что они пола не портят, ведь такие люди танцуют не на каблуках.

Столяр стоял в стороне и прислушивался.

— Но вообще что это за люди?— спросил я.— Торговые или военные?..

— Нет, уж извините, этого я не скажу,— ответил хозяин.— Замкнутое общество, вот и все, что я скажу. Вот

хотя бы сегодня вечером, я даже и не знаю, кто это. Деньги мне принес рассыльный.

— Это Флатен,— сказал столяр.

— Флатен? Вот как!— удивился хозяин, словно и не знал этого раньше.— Господин Флатен бывал здесь раньше; важный барин, всегда избранное общество. Вот как? А теперь, извините, я должен посмотреть, в порядке ли зал...

Хозяин ушел.

Тут столяр пошел за ним и спросил:

— А нам нельзя посмотреть?

— На что? На танцы? Нет.

— Гденибудь в уголку?

— Нет. Я запрещаю даже моей жене и моей дочери. Никто, ни единая душа не имеет права смотреть. Такие замкнутые общества не любят этого.

— Что же, идете вы, что ли?— крикнул я как бы в последний раз.

— Да,— ответил столяр, подходя ко мне.

Я спросил:

— Так, значит, вы знали об этом обществе?

— Да,— ответил он.— Она говорила об этом в пятницу

— Кто говорил об этом? Фрекен Торсен?

— Да. Она сказала, что я мог бы смотреть с хор.

Мы продолжали бродить по улицам и каждый думал о своем — впрочем, вернее, оба мы думали об одном и том же, но я во всяком случае был вне себя от злости.

— Нет, знаете ли, добрейший Николай, мне кажется, что нам с вами не стоит тратить деньги на билет только для того, чтобы полюбоваться господином Флатеном и его дамами.

— Нет.

Было необыкновенно остроумно со стороны фрекен Торсен пригласить этого человека любоваться тем, как она танцует. Да, эта выходка была очень характерна для нее. Ведь и летом она стремилась устроить так, чтобы всегда иметь свидетеля своих безумств. Вдруг во мне проносится одна мысль и я спрашиваю столяра как можно спокойнее:

— Не хотела ли фрекен Торсен, чтобы и я также был на хорах, не говорила она этого?

— Нет,— ответил он.

— Она ничего не говорила обо мне?

— Нет.

«Нет, врешь,— подумал я,— и она сама, вероятно, попросила тебя врать!»

Я был глубоко возмущен, но никак не мог выпытать истину у столяра.

Позади нас раздался шум экипажа, который остановился перед «Короной». Николай обернулся и хотел уже идти назад, но, когда он увидал, что я продолжаю идти вперед, он постоял с минуту и потом нагнал меня. Я слышал, как он глубоко и тяжело вздохнул.

Мы побродили еще с час, я немного успокоился и стал более уступчивым по отношению к своему товарищу. Мы зашли в пивную и выпили пива, потом мы пошли в кинематограф, а потом стреляли в цель. Наконец, мы пошли в кегельбан и там оставались довольно долго. Николай первый предложил кончить игру, он посмотрел на часы и вдруг заторопился, он готов был даже не кончать партию.

Нам снова пришлось проходить мимо «Короны»— экипажей больше не было видно.

— Так я и думал!— сказал столяр.

Он был очень огорчен. По-видимому, он хотел присутствовать при разъезде общества. Он внимательно осмотрел всю улицу и то место, где стояли экипажи.

— Так я и думал!— повторил он. Теперь он заторопился домой.

— Нет, теперь мы войдем,— сказал я.

Зала была большая и красивая, в одном конце была эстрада для музыки, народу было много и раздавался гул голосов. Мы уселись на хорах и стали смотреть.

Публика была самая разнообразная; были тут моряки, ремесленники, лакеи из гостиницы, приказчики и поденные работницы. Дамское общество, по всей вероятности, состояло из портних, служанок, приказчиц и свободных прачек, не занятых при дневном свете.

Плясали вовсю. Помимо полицейского, который должен был блюсти порядок, содержатель залы сам поставил от себя распорядителя, у которого была палка и который повсюду расхаживал, не спуская глаз с танцующих. Каждый раз, когда кончался какой-нибудь танец, мужчины должны были подходить к эстраде музыкантов и уплачивать по десяти эре. Если у кого-нибудь являлось желание смошенничать, распорядитель осторожно ударял его своей палкой по плечу, если же какому-нибудь кавалеру



приходилось таким образом несколько раз напомнить об установленном порядке, на него начинали смотреть, как на подозрительную личность, и в крайнем случае даже выводили. Вообще, порядок был удивительный.

Вальс, мазурка, экоссес, рейндлендер, вальс...

Я обратил внимание на одного кавалера, танцевавшего без устали все время, это был высокий молодец, арапского вида, очень ловкий, вообще кавалер хоть куда, и дамы охотно танцевали с ним. «Да не Солем ли это отличался там?»— подумал я.

— А вы не хотите танцевать?— спросил я столяра Николая.

— Нет,— ответил он с улыбкой.

— Так мы можем уйти, если хотите.

— Да... хорошо,— ответил он, а сам сидит на месте.

— Вы думаете о чем-то другом?

Долгое молчание.

— Я сижу тут и думаю о том, что у меня в усадьбе нет лошади. Я на себе вожу весь навоз и все дрова.

— Потому-то вы и стали таким сильным.

— На этих днях мне придется отправиться домой, чтобы навозить из лесу дров на зиму.

— Да, вам придется это сделать.

— Что я хотел сказать?— продолжал он, напрягая свою память, и замолчал.

— Что такое?

— Нет, об этом не стоит и думать. Было бы очень хорошо, если бы вы отправились со мной вместе, но у меня такая скверная комната.

— Я? Почему? Впрочем, эта мысль вовсе уж не так дурна.

— Да неужто? А это было бы очень хорошо!— сказал столяр.

Тут до меня доносится из залы имя Солема. Ну, да вон он стоит там, приосаниваясь, это, действительно, Солем с Торетинда своей собственной персоной. Он стоит один, он раздражен, он говорит и называет себя по имени — Солем! По-видимому, у него не было определенной дамы на весь вечер, я видел, как он брал первую попавшуюся даму для танцев. Но вот случилось так, что он поклонился даме, у которой был уже кавалер; кавалер покачал головой и сказал ему, что его дама не пойдет с ним. Солем намотал это себе на ус. Он дал парочке протанцевать следующий

танец, а после этого опять склонился перед дамой. Он получил во второй раз отказ.

Да и дама эта была не совсем-то обыкновенная — она была или утонченная кокетка, или сама невинность, Бог ее знает. Белокурая, высокая, греческого типа, в черном платье без всяких украшений. Боже, до чего она была тиха и скромна! Конечно, это была девушка с улицы, но она была так скромна, это была монахиня порока, и лицо у нее было такое чистое, как у раскаявшейся грешницы. Что за удивительное создание!

Это была подходящая дама для Солема.

Когда кавалер этой дамы во второй раз отказал ему, то он стал громко кричать, хвастать и говорить, что он Солем, Солем. Но это всем надоело, его бахвальство никого не удивляло, здесь люди привыкли ко всему. Распорядитель подошел к Солему и попросил его успокоиться, и в то же время он указал ему на дверь, возле которой стоял полицейский. Это сейчас же укротило бурю. Солем сам сказал:

— Да, тише! не будем устраивать скандала!— Однако он не терял из вида гречанку и ее кавалера.

Он ничем не проявлял себя в течение двух танцев и сам приглашал дам и танцевал. Набралось много народу, многим не хватало места посреди залы, и они ждали своей очереди у стен.

Тут случилось нечто.

Одна пара упала. Это был Солем со своей дамой. Падая, он сбил с ног другую пару; это была как раз гречанка со своим кавалером они повалились на пол. Солем был очень неловок, он заболтал ногами и руками и свалил еще одну пару. Посреди залы образовалась целая куча барахтающихся людей, раздались крики и ругательства, все толкали и лягали друг друга. Солем руководил катастрофой очень ловко и со злым расчетом, одна пара за другой валилась на пол. Распорядитель старался навести порядок своей палкой и предлагал всем встать; подошел даже сам полицейский, музыка перестала играть. Солем был настолько умен и вместе с тем труслив, что воспользовался замешательством и улизнул в дверь.

Упавшие мало-помалу встали. Одни потирали себе руки и ноги, другие старались стереть с платья пыль, одни смеялись, другие ругались; у кавалера гречанки оказалась рана на виске, из нее струилась кровь, и он держался за

голову. Послышались вопросы, как зовут того долговязого парня, устроившего эту свалку.

— Содем,— сказала одна из дам.

По адресу Содема раздались угрозы; стали требовать, чтобы его нашли и привели для расправы.

— Чем же он виноват?— заступились за него дамы.

О, Содем и дамы!

Между тем гречанка тоже поднялась с пола, она будто вышла из ванны. Все ее черное платье было покрыто пылью, оно было усеяно звездами. Дама была очень смущена тем, что лежала на полу под всеми этими людьми, она сконфуженно улыбнулась, когда ей показали, что гребень, сдерживавший ее греческий узел, сломался.

### ГЛАВА XXXIII

---

Сегодня 1-ое октября. Прошло сорок лет с тех пор, как мы расчищали дома снег треугольником. Увы, я могу вспомнить уже то, что было сорок лет тому назад.

Пока я еще ничего не упускаю из вида, но все проходит мимо моего носа. Я сижу на хорах и смотрю вниз. Если бы столяр Николай был более наблюдателен, то он заметил бы, как я сжимаю руки и делаю себя еще более смешным проявлением своего волнения, игрой моих лицевых мускулов; но, к счастью он ребенок. И вот я ушел домой и водворился на своем месте. Мой адрес — угол за печкой.

Снова наступает зима, север покрывается пеленой снега, англосакский театр. И для меня наступает тяжелое время, колесо мое останавливается, мои волосы перестают расти, мои ногти перестают расти, ничто не растет за исключением моих дней. И хорошо, что дни мои растут, отныне это хорошо.

\* \* \*

В течение зимы не происходит ничего особенного... ах да, у Николая в первый раз в жизни завелось пальто. Оно ему не нужно, но он завел его, ради приличия, как он говорит, и пальто это дорогое, стоило двадцать крон наличными, но он получил его за восемнадцать! Несомненно, Николай гораздо более доволен своим пальто, нежели Флатен своим.

Кстати, пора вспомнить про Флатена. Его друзья устроили в честь его прощальный пир или, вернее, мальчишник: он женится. Это мне рассказала фрекен Торсен, когда я случайно повстречался с нею снова под фонарем у ее дома.

— И вы не носите траур?— спросил я.

— Ах нет,— ответила она с улыбкой.— Ведь я об этом уже давно знала. А, кроме того, я вовсе уже не такая постоянная, право, не знаю.

— Мне кажется, вы совершенно верно определили себя.

Она удивилась.

— Каким образом?

— Мне кажется, вы очень переменялись с лета. Вы были такая положительная, все для вас было ясно, вы знали, чего хотите. Куда же девалась ваша маленькая горечь? Или у вас нет больше оснований для горечи?

Это были жестокие слова, но ведь я был для нее как бы отцом и я желал ей добра.

Она шла, поникнув головой, погрузившись в думы. Потом она сказала нечто необыкновенно разумное:

— Летом я как раз была лишена куска хлеба. Говорю вам все, как было. Мне отказали от места, а ведь это нечто очень серьезное. И вот на некоторое время я задумалась. А потом... право, не знаю... я уже не молода, но, вероятно, я и не достаточно стара. У меня есть две сестры, вот они очень положительные и постоянные, обе они замужем, и они очень серьезно относятся к жизни, хотя и моложе меня. Не понимаю, что делается со мною.

— Хотите пойти со мной в концерт?— спросил я.

— Сейчас? Нет, спасибо, я не так одета.

Пауза.

— Но как это мило с вашей стороны, что вы предложили мне это!— сказала она вдруг радостно,— это было бы очень весело, но... Нет, теперь я вам расскажу об этом обеде, мальчишнике... Господи, чего только они не придумали!

Она была права, веселая молодежь наделала много глупостей,— молодые люди ребячились и вели себя глупо, но не все в их поведении было так плохо. Начали с того, что пили вино тысяча восемьсот двенадцатого года. Нет, начали с того, конечно, что Флатену послали приглашительный билет; он был разрисован красками и представлял собою легкомысленную картинку в рамке, на ней было

указано только место и время, а, кроме того, было написано: Ballade, Bachiade, Offenbachiade, Bachanal. Потом виновнику торжества говорили речи по случаю того, что он покидает холостую жизнь и товарищей, и говорили все зараз, так что ничего не было слышно. Была тут и музыка, которая играла почти все время. Под вечер все это надоело, были позваны замаскированные девушки, которые танцевали некоторое время, но так как было выпито слишком много шампанского, то танцовщицы должны были удалиться. После этого молодые люди спустились в ворота гостиницы, чтобы поймать что-нибудь «случайное». Их расчеты оправдались: с воротами поровнялась молодая женщина с ребенком на руках; так как шел снег, то она тщательно обернула ребенка тряпьем.— «Тпру!»— крикнули молодые люди, останавливая ее. — «Это твой ребенок?»— «Да».— «Мальчик?»— «Да». Они вступают с ней в разговор. Это была молодая и худая женщина, по всей вероятности, служанка. Все начали рассматривать мальчика, а Хельгесен и Линд, оба очень близорукие, вытирали даже очки и надели их. «Ты, что же, идешь топить мальчика, что ли?»— спросил кто-то.— «Нет»,— ответила изумленная девушка. Тут кто-то другой заметил, что бессердечно задавать такой вопрос, и тот, кто задал его, согласился с этим. Он принес свой дождевой плащ и накинул его на плечи девушки. После этого он стал щекотать мальчика и заставил его улыбнуться — это был удивительный ребенок: человек, тряпье и грязь в одном свертке.— «Бедное, незаконное дитя,— сказал он,— рожденное девушкой!»— «Это сказано лучше!»— подхватили остальные.— «Надо будет кое-что устроить»,— сказали они.— «Где ты живешь?»— спросили они девушку.— «Я жила там-то и там-то»,— ответила она.— «Жила? В таком случае мы сделаем вот что»,— говорит один, вынимая из кармана бумажник. Остальные следуют его примеру и сейчас же собирается большая сумма денег, которые переходят в руку девушки.— «Погоди, стоп, с меня это слишком мало, ведь я задал такой бессердечный вопрос»,— говорит один.— «И с меня мало»,— говорит другой — потому что мы подумали то, что ты сказал. Теперь же мы соберем маленький капитал для сына этой девушки». Начинается новый сбор. Хельгесен исполняет должность кассира. Вдруг Бенгт зовет извозчика, предлагает девушке сесть и садится рядом с ней. «Я сейчас, я только съезжу в Лангесгате»,— кричит он. «Бенгт повез ребенка к своей матери»,— говорит

кто-то. Тут наступило молчание.— «Послушай, Болт, это, наконец, смешно, ведь у тебя глаза влажные. Неужели можно плакать из-за каких-то шиллингов?» — «А сам-то ты?» — отвечает Болт, — ты весь размяк, словно баба». В увеселениях недостатка не было, появился новый «случай». По улице идет крестьянин и ведет корову, он направляется к мяснику.— «Послушай, наш гость хочет проехаться на твоей корове, сколько ты за это возьмешь?» — спросил молодой Роландсен. Крестьянин засмеялся и покачал головой. И вот они купили корову и сейчас же заплатили за нее.— «Подожди минутку», — крикнули они крестьянину. Они налепили на корову бумажку, а на бумажке написали адрес знакомой барышни.— «Иди по этому адресу», — сказали они крестьянину. Только они успели отпустить крестьянина, как возвратился Бенгт.— «Где ты был?» — спросили его собутельники.— «Старуха согласилась!» — ответил он только. «Урра! — крикнули все, — выпьем за здоровье мальчугана! Пойдемте в кафе! Неужели она действительно согласилась? Урра, да здравствует старуха! Чего же мы здесь стоим? Пойдемте же в кафе». — «Пойдемте?» — засмеялся кто-то.— «Нет, конечно, нет, мы поедем! Ха-ха-ха! Человек! Автомобилей!» Лакей бросается к телефону. Все это занимает много времени, становится уже поздно, но господа ждут. Рестораны уже запирают, люди выходят из них толпами. Наконец появляются автомобили, десять штук, на каждого по одному; все рассаживаются.— «Куда?» — спрашивают шоферы.— «К следующему подъезду», — отвечают им. И вот десять автомобилей подъезжают к следующей двери в том же доме, — там было кафе; там господа вышли и торжественно расплатились с шоферами. Кафе оказалось запертым.— «Взломаем дверь» — предложил кто-то.— «Само собою разумеется!» — ответили остальные. И вот все сразу бросились на дверь — бум! и дверь распахнулась. Ночной сторож бросился к ним, он поднял крик, но они стали обнимать его, гладить, потом бросились к стойкам, поставили перед ним несколько бутылок, и себе взяли также. Выпили вина, прокричали «ура» в честь мальчика, матери Бенгта, матери мальчика, ночного сторожа, любви и жизни. После этого они приложили ко рту ночного сторожа несколько ассигнаций и привязали их к его голове платком. Сделав это, они снова отправились в зал. Начался ужин, тарелка Флатена представляла собою розовую атласную туфлю со стеклянной подкладкой. Все пили и ели, пока не выбились

из сил. Между тем утро уже было недалеко, и Флатен начал раздавать сувениры. Один получил часы, другой бумажник, но он был пустой, третий булавку для галстука. Наконец, он снял башмаки и отдал по одному башмаку, затем последовала очередь брюк и рубашки, и кончилось тем, что Флатен очутился голым. Принесли подушек из гостиницы, красных шелковых подушек, и Флатена прикрыли ими. Флатен заснул, а остальные девять человек сидели и охраняли его. Он проспал целый час, наступило утро и Флатена разбудили; он вскочил, подушки посыпались на пол, и он стоял совершенно голый. Сейчас же послали к нему домой за платьем. И снова начался кутеж...

Мы обменялись с фрекен Торсен несколькими замечаниями по поводу ее рассказа, и она добавила еще кое-что, о чем забыла упомянуть. В заключение она сказала:

— Во всяком случае девушке с ребенком повезло.

— Да и ребенку также,— заметил я.

— Конечно. Но слышали ли вы когда-нибудь о такой выходке! Бедная старушка, которой подбросили ребенка!

— Как знать, быть может, вы на это когда-нибудь взглянете иначе.

— Вы думаете? Во всяком случае было бы гораздо лучше, если бы я получила все эти деньги, которые они собрали для ребенка.

— И на это вы когда-нибудь посмотрите иначе.

— Почему? Когда?

— Когда у вас будет мальчик, который будет улыбаться.

— Фу, как вам не стыдно говорить так!

Она, вероятно, не поняла меня, она по-детски смутилась, и, чтобы загладить свою неловкость, я спросил наудачу:

— Что же, хорошо там покормили на этом пиру?

— Не знаю,— ответила она.

— Как же вы не знаете?

— Господи, да ведь я не была там,— воскликнула она в крайнем изумлении.

— Нет, конечно, нет. Но я думал, что...

— Вот как, вы думали!— сказала она еще более обиженным тоном.

И она сложила и разняла руки, как это делала летом.

— Нет, уверяю вас, я ничего не думал, мне только казалось, что вы интересуетесь хозяйством, ведь вы учитесь готовить...

— Значит, вы занимаете меня разговорами, применяетесь к моему уровню?

Пауза.

— Впрочем, вы правы, я должна была узнать, чем там угощали, но забыла об этом.

Она была очень нервна в этот вечер. Любопытно, неужели Флатен не интересует ее больше? Я спросил несколько неуверенно.

Она была очень нервна в этот вечер.

— Вы не сказали мне еще, на ком Флатен женится.

— В ней нет ни капли красоты, — ответила она вдруг. — Но зачем вы хотите это знать? Вы с ней незнакомы.

— Значит, Флатен будет заниматься делом отца? — продолжал я.

— О, этот вечный Флатен! Мне кажется, он интересует вас гораздо больше, чем меня. Займется ли Флатен делами отца, я не знаю.

— Я думал, что раз он женится...

— Но ведь она тоже очень богата.. Нет, он, конечно, не будет заниматься делами отца. Он как-то говорил мне, что хочет издавать газету. Что же тут смешного?

— Я не смеялся.

— Нет, вы засмеялись. Итак, Флатен хочет издавать газету. А так как Линд издает собачью газету, то Флатен будет издавать человеческую, — сказала она.

— Человеческую газету?

— Да. И вы должны подписаться на нее, — сказала она посмотрев мне прямо в глаза.

Конечно, она говорила все это в величайшем возбуждении, которого я ничем не мог объяснить, и я ничего не ответил. Я пробормотал только:

— Да? Что же, пожалуй.

А она вдруг заплакала.

— Дорогое дитя, не плачьте, я не буду вас больше мучить.

— Вы не мучаете меня.

— Нет, я говорю не то, что надо, я не у ею найти надлежащего тона.

— Нет, говорите... Это не оттого... я сама не знаю...



О чем же мне было говорить? Но, так как больше всего интересуется каждого человека он сам, то я и сказал:

— У вас, вероятно, просто нервы расстроены и на то есть какая-нибудь причина, но это пройдет. Все-таки... хотя и не сразу, но на вас все же подействовало то... что он ушел от вас. Но имейте в виду...

— Вы ошибаетесь,— сказала она и покачала головой,— в сущности, это ничуть не затронуло меня, но я просто была когда-то чуточку влюблена в него.

— Но вы как-то говорили мне, что он был единственный.

— О, вы понимаете, это может иногда только так казаться. Но, разумеется, я была влюблена и в других, этого я не отрицаю. Нет, Флатен был просто очень мил со мной, иногда катал меня и приглашал на вечеринку и тому подобное. И потом, я гордилась тем, что он продолжал свое знакомство со мною, несмотря на то, что мне отказали от места. Я могла бы даже получить место в конторе его отца, но я не хотела. Я теперь ищу себе какое-нибудь место.

— В самом деле? Лишь бы вы нашли хорошее место!

— Вот именно. До сих пор, однако, я ничего не нашла. Но, конечно, что-нибудь да найдется. А к лавке старого Флатена я как-то не подхожу.

— Да и жалованье, верно, плохое?

— Да, конечно. Кроме того... это странно, но я как будто слишком много знаю для этого. Мой несчастный экзамен при университете только вредит мне... Но не будем больше говорить обо мне. Уже поздно, мне пора домой.

Я проводил ее до самых дверей, попрощался с ней и отправился домой. Я все думал. Погода была зимняя, на улицах было сыро. Да, пожалуй она не выйдет замуж, ни один мужчина не рискнет взять себе жену, которая только студентка и ничего больше. Отчего это никто не обратит внимания на то, чего не хватает молодым девушкам! То обстоятельство, что фрекен Торсен передала так хорошо рассказ о кутеже, еще раз доказывало, как она привыкла зубрить и затем передавать длинные рассказы. Она сделала это очень хорошо и почти ничего не забыла, но больше всего она останавливалась на забавных выходках. Взрослая вечная школьница занимала меня разговором,— школьница, которая заучилась до того, что отошла от жизни.

Когда я подошел к моему дому то одновременно со мной подошла и фрекен Торсен. По-видимому, она все время шла за мной по пятам, потому что я не заметил чтобы она задыхалась, когда она заговорила со мной:

— Я забыла попросить у вас извинения,— сказала она.

— Дорогая?..

— Да, в том, что я сказала... Вам не надо подписываться на газету. Я так раскаиваюсь в этом... Пожалуйста, простите.

Она взяла мою руку и пожала ее.

В своем смущении я пробормотал:— Но это было очень остроумно сказано, человеческая газета, ха-ха! Однако вам холодно, наденьте перчатки. Вы уже уходите?

— Да. Спокойной ночи! Простите меня за весь этот вечер.

— Дайте, я провожу вас, подождите немного...

— Нет, спасибо.

Она еще раз крепко пожала мою руку и ушла.

По всей вероятности, она хотела поберечь мои старые ноги, чтобы их черт побрал! Но я все-таки незаметно пошел вслед за ней и убедился, что она благополучно дошла до дому.

\* \* \*

Но вот случилось, что в город приехала Жозефина, та самая, которая была воплощением труда в Торетинде. Я виделся с нею, она пришла ко мне, она узнала мой адрес, и я снова шутил с нею и называл ее Жозефиндой.

Как все поживают в Торетинде? Спасибо, хорошо. Но когда я спросил о Поле, она только покачала головой. Пьет он уже не так много, но он вообще ничего не делает, у него нет больше никакого желания работать. Он решил все распродать. Он хочет быть возчиком в Стурдалене. Я спросил, есть ли у него покупатель? Да, Эйнар, один из его бывших арендаторов, подумывает о том, чтобы купить все его имение. Все теперь зависит от купца Бреде.

Я вспомнил ее отца, старца из другого мира, который носит рукавицы и которого надо кормить кашей, потому что ему уже девяносто лет — того самого, который так дурно пах, этот живой труп, и я спросил о нем у Жозефины:

— А твой старый отец, который живет в избе, он уже умер, вероятно?

— Нет, слава Богу,— ответила она,— отцу гораздо лучше, чем это можно было ожидать. Мы рады, что он на ногах.

Я показал Жозефине кинематограф и цирк, все было великолепно. Ей не понравилось только, что дамы разъезжают на лошади совсем раздетые. После всего этого она решила пойти в одну из больших церквей, и тут уж она нашла дорогу одна. Она пробыла в городе несколько дней и кое-что закупила; я никогда не видал ее задумчивой или удрученной. Через несколько дней она пришла попрощаться со мной и сказала, что на следующий день отправляется домой.

Вот как, она уже покидает город?

Да, она закончила все свои дела. Она побывала даже у фрекен Торсен и получила деньги за комедианта, ведь он так ничего и не прислал. Фрекен Торсен ужасно смутилась, она даже вся покраснела. Кажется, и у нее дела не очень-то хорошо идут, потому что она попросила меня подождать до следующего дня, но на другой день она уплатила мне все.— Да, Жозефине нечего было делать в городе. Ко мне она пришла прямо от фрекен Пальм, ее она также навестила. Но ее брата, Николая, который ходил учиться к столяру, она не застала. Да это все равно, сказала Жозефина, потому что в последний раз, когда она разговаривала с ним, они так ни до чего и не договорились. Так что тут уж ничего больше не поделаешь. Ведь она не нищая, у нее и денег прикоплено, да и скот есть. Есть немного и земли, и две постели, да и сама она не голая, у нее есть много перемен белья и несколько платьев. И, несмотря на это, она еще будет ткать...

Я с удивлением спросил, неужто они обручены? Я ничего не слышал об этом.

Нет, но... Нет, они вовсе не были обручены, если говорить о кольце и оглашении. Но, конечно, это имелось в виду. А то с чего бы эта учительница, эта София Пальм, его сестра, жила у них даром в Торетинде два лета подряд, словно барышня какая-нибудь? Но теперь, покорно благодарю, этому больше не бывать. Правда, она, Жозефина, подумывала об этом немного, но уж это перст Божий, потому что из этого всего не вышло бы никогда ничего хорошего.

Вдруг Жозефина вспомнила что-то:

— Господи, как бы мне не забыть купить индиговой краски. Это для тканья. Хорошо, что я вспомнила. Ну, спасибо за все!

#### ГЛАВА XXXIV

---

Я уехал вместе с Николаем в его усадьбу. Он воспользовался праздничными днями и поехал домой, чтобы навозить из леса дров на зиму.

У Николая оказался большой дом, его надстроил еще его отец, а Николай еще выше поднял крышу, так что дом теперь в два этажа. И для меня нашлось достаточно места, у меня отдельная комната.

Его мать — работающая и умная женщина, она вечно возится с чем-нибудь, со скотом, или стирает, а если ничего другого нет, то моет старые мешки. Она готовит кушанья на плите и держит в чистоте всю посуду. Она очень чистоплотна и цедит молоко сквозь волосяное сито, а после этого моет сито в двух водах. Но в то же время она выковыривает грязь из вилок шпилькой.

В большой горнице на стенах висят зеркало, картины и семья немецкого императора, а также распятый Христос; кроме того, есть в горнице также две полки со всякой всячиной, а также молитвенник и книга с проповедями. В этой местности люди правоверны и консервативны. Остальную мебель: столы, стулья и художественную шкатулку, сделал сам Николай.

Николай здесь, как и в городе, молчалив и мрачен. Он на другой же день отправился в лес, не предупредив об этом мать ни словом. Когда я спросил ее, где он, она ответила:

— Я видела, что он исправлял сани, значит, он ушел в лес.

Мне кажется, что матери Николая — зовут ее Петра — не более сорока лет, такой у нее моложавый вид; она крупного телосложения, как и сын, кожа у нее белая, волосы рыжеватые с проседью и необыкновенно густые, словно кудель. Ее темные глаза очень подходят к этим волосам, они уже слегка потухли, но еще вполне годятся для того, чтобы всматриваться в морскую даль. Она тоже молчалива, как и все крестьяне в этой местности, и предпочитает держать свой рот закрытым.

Я спросил ее, давно ли она овдовела, и оказалось, что она вдовеет уже очень давно.

— Нет,— говорит она,— дайте вспомнить. Софии, в городе, уже минуло двадцать четыре года, а муж умер год спустя после ее рождения. Они были женаты всего два года. Николаю исполнилось двадцать шесть лет.

Я задумываюсь над этим подсчетом, но, так как я уже стар и плохо соображаю, то я ни до чего и не додумываюсь.

Петра очень гордилась своими детьми, в особенности Софией, которая посещала школу и сдала экзамены и теперь занимает такое важное место. Да, от всего ее наследства почти ничего не осталось, но зато она получила образование. А этого уж никто не отнимет от нее. София высокая, красивая девушка, вот ее портрет.

Я сказал, что познакомился с нею в Торетинде.

Вот как, в Торетинде? Да, она проводила там лето, чтобы быть с образованными людьми, разумеется. Но она не забывает также и своего дома и гостит каждый год. Вот как в Торетинде?

Иногда я отправляюсь вместе с Николаем в лес за дровами и стараюсь помогать ему. Он силен, как лошадь, и вынослив до невозможности. Оказалось, что и его голова была занята думами: он решил обзавестись лошастью, но лошадь не мог держать до тех пор, пока для нее не будет достаточно корма. Возделывать же новые поля он мог только, скопив денег. Усовершенствовавшись в городе в своем ремесле, он возвратился домой и будет копить деньги, а потом купит и лошадь.

Время от времени я посещаю также и соседей. Земледелием в этой местности занимаются в малых размерах, но люди получают все необходимое и не терпят нужды. У них нет горшков с цветами на окнах и картин на стенах, как у Петры, но на дворах проветриваются хорошие бараньи шкуры и одеяла, а дети имеют сытый и здоровый вид.

Соседи знали, что я живу у Петры, потому что все посторонние жили там. Так было с незапамятных времен. Я не заметил враждебного отношения к Петре у этих молчаливых людей, но старый деревенский учитель развязал свой язык и был даже настолько бесстыж, что позлословил о Петре. Этот человек старый холостяк, но у него есть свой дом и живет он хорошо. Интересно, не имеет ли этот господин особых видов на вдову Петру?

Вот что болтал учитель:

— У родителей Петры также всегда останавливались путешественники. У них была комната на чердаке, там жил инженер, проводивший большую дорогу, жили там также и странствующие торговцы, которые не переводились круглый год. Так шло много лет, дети выросли, а Петра возмужала. Тут появился Пальм, швед, большой купец, пожалуй, даже оптовый, у него была собственная лодка и даже мальчишка, который нес его вещи. Тогда-то родители Петры вставили в окна новые стекла и по воскресеньям стали есть мясо, потому что он был важным барином; Петре он подарил материй на платье и сластей. Петра поддалась на эти уловки, а Пальм вскоре уехал торговать в другое местечко. Но случилось так, что у Петры родился мальчик и, когда Пальм снова возвратился и увидел ребенка, то он остался и не уезжал уже больше никуда. Пальм женился на Петре, пристроил две комнаты к дому и, по-видимому, собрался открыть лавочку. Но едва он успел покончить с постройкой, как умер. Вдова осталась с двумя маленькими детьми, но средства у нее были, потому что Пальм был богат. Почему же Петра не вышла замуж во второй раз? Она всегда могла бы найти себе жениха, хотя дети, конечно, составляли некоторое препятствие, но ведь Петра была тогда еще совсем молоденькая. Дело все в том, уверял учитель, что Петра с юных лет имела пристрастие к разным странствующим купцам, всяким шведам и мелочным торговцам, которых она принимала у себя в доме, и она совсем сбилась с пути. Бывали такие постояльцы, которые жили неделями, пили и ели, не торговали и никуда не уезжали, стыдно рассказывать. А родители ее, пока были живы, не видели в этом ничего дурного, потому что они к этому привыкли, да, кроме того, это приносило им некоторый доход. И это шло так годами. Однако, когда дети подросли и София уехала из дому, Петра во всяком случае могла бы выйти замуж, потому что половина состояния еще у нее осталась, да и детей уже при ней больше не было, так что еще не было поздно. Как бы не так, Петра отказывалась наотрез и говорила, что уже поздно и что теперь пусть женятся дети,— говорила она.

— Да, конечно, но ведь она теперь, вероятно, уже и немолода?— говорю я.

— Правда, время идет,— отвечает учитель.— Не знаю, пытался ли кто-нибудь свататься к ней в этом году, но в

прошлом году был кто-то... был один... так люди говорят, судя по слухам. Но Петра не хочет. Если бы я мог только представить себе, чего она, в сущности, ждет.

— Да, вероятно, она ничего не ждет.

— Что же, мне это все равно. Но ведь она все возится со всеми этими проезжими и прохожими и живет вовсю, к досаде и огорчению всего прихода...

Возвратясь домой от учителя, я мог уже более сознательно произвести тот подсчет, который я тщетно пытался сделать по данным, полученным мною от Петры.

Николай снова отправился в город в свою мастерскую, но я остался. Не все ли равно, где я? Ведь зима так или иначе превращает меня в мертвеца.

Чтобы чем-нибудь заняться, я самым тщательным образом измеряю ту площадь земли, которую Николай собирается со временем обработать; я высчитываю, во что обойдется проведение канав — всего в двести крон. Тогда он будет в состоянии прокормить лошадь. Необходимо было бы дать ему эти деньги, если мать откажется помочь ему. Тогда было бы в этой местности одним возделанным лугом больше.

— Послушайте, Петра, вы должны были бы дать Николаю эти двести крон, тогда у него было бы чем прокормить лошадь.

— Да, и еще четыреста крон на лошадь, — ворчит она.

— Всего шестьсот.

— Я не могу швырять на ветер шестьсот крон.

— Но ведь он может сам вырастить лошадь.

Пауза.

— Пусть сам возделывает землю!

Такой образ мыслей не удивил меня. Ведь у всякого есть за что бороться, у Петры есть своя цель. Но удивительнее всего то, что каждый человек борется в жизни так, будто ему предстоит прожить еще сто лет.

Я знал двух братьев Мартинсен, у них было большое поместье и они продавали сельские продукты оба были холостяки и богатые, близких родственников у них не было. Оба они страдали чахоткой, младший был слабее старшего. И вот весной младший окончательно свалился и ждал смерти со дня на день; но, несмотря на это, он продолжал интересоваться хозяйством. Раз как-то он слышит, что в кухню кто-то пришел, он зовет брата к себе. — Кто там? — спрашивает он. — А там пришли поку-

пять яйца.— Сколько теперь дают за двадцать штук?— Столько-то.— Так дай ему самых маленьких.— Через несколько дней он умер. Брат остался один, ему пошел уже шестьдесят восьмой год и у него была чахотка в последней стадии. Когда кто-нибудь приходил к нему покупать яйца, он всегда выбирал самые маленькие...

— Но, послушайте,— стараюсь я убедить Петру,— стоит ли Николаю самому возделывать луг? Он может зарабатывать ремеслом гораздо больше.

— Нет, здесь ничего не хотят платить столяру,— отвечает Петра.— Люди покупают у купцов готовые столы и стулья,— так дешевле.

— Но к чему же тогда Николай совершенствуется в своем ремесле?

— Вот и я спрашиваю,— отвечает она.— Николай во что бы то ни стало хочет столярничать, но из этого ничего не выйдет. Но пусть поступает, как сам хочет.

— Как же ему иным способом зарабатывать деньги?

Пауза. Большой рот Петры плотно сжат. Наконец, она говорит:

— Теперь здесь большое движение и летом приезжает много путешественников в Торетинд и сюда на берег. Раз как-то сюда пришли двое датчан, они здесь долго жили, они пришли пешком издалека.— Хорошо было бы, если бы у тебя была лошадь— сказали они мне.— Ты могла бы нас свезти.

Ну, думаю, начинается.

— У тебя большой дом и четыре комнаты,— сказали датчане,— здесь высокие горы, хороший лес,— сказали они,— рыба в фиорде и рыба в реке, все здесь есть, и дорога широкая,— сказали они. Николай стоял тут же и слышал все это.— Вот мы пришли сюда, но нам отсюда не выбраться, придется идти пешком.

Чтобы что-нибудь сказать, я спрашиваю:

— Четыре комнаты? Разве у вас не три?

— Но ведь мастерскую можно было бы также отдать под комнату,— ответил мне большой рот.

«И вправду!»— подумал я. Но тут я пользуюсь случаем и говорю:

— Но для того, чтобы возить туристов, Николаю необходима лошадь.

— Ну, что же, можно было бы и лошадь завести— отвечает Петра.



— На это надо чetyреста крон.

— Да,— отвечает она, — да еще экипаж полтораста крон.

— Но ведь он не может прокормить лошадь?

— А как другие прокармливают?— возразила она.— В Нэсе покупают обыкновенно мешок овса.

— Это стоит восемнадцать крон.

— Нет, семнадцать. И первый же конец окупает им это.

О, Петра все уж высчитала в точности: она родилась трактирщицей и выросла в трактире. Она даже умеет готовить кушанья и приправляет мучную похлебку двумя тощими макаронами. Шиллинги за кофе, за ночлег, за вафли к утру приобрели в ее глазах особую ценность; она откладывала их, наблюдала за тем, как сумма росла, богатела от этих шиллингов. Она не занималась сельским хозяйством, как другие крестьянки, нет, нельзя заниматься несколькими делами сразу, у Петры была натура лизоблуда. Она не хотела жить трудом, она хотела, чтобы туристы зарабатывали деньги и на эти деньги путешествовали.

Да, разумеется, и в этой местности все расцветет и появятся англосаксы. Конечно, если все пойдет хорошо. А в этом сомневаться нечего.

Настал февраль месяц. У меня появляется идея, смелая мысль и я принимаю решение: воспользоваться тем, что повсюду лежит наст и снега мало, и пойти через горы в Швецию. Так я и сделаю.

Но сперва надо дождаться белья из стирки, а ведь Петра очень чистоплотна и стирает белье во многих водах. Я коротаю время в мастерской Николая, где множество всевозможных станков, пил, буравов и токарный станок, и там я вырезаю из дерева хорошенькие вещицы. Для соседских мальчиков я устроил ветряную мельницу. На ветру крылья ее отлично вертятся и шумят, такие мельницы я делал в детстве.

Кроме того, я гуляю, брожу повсюду и пускаю в ход мои зимние мозги, насколько это возможно. Но из этого ничего не выходит. Я не обвиняю в этом зиму, да и никого не обвиняю, но железо не раскаливается, молодости нет, сил нет, о Боже, конечно, нет. Часами могу я идти по тропинке в снегу, заложив руки за спину, и я чувствую себя старым; время от времени какое-нибудь воспоминание

на мгновение позолотит, как солнечным лучем, мою душу, я останавливаюсь, поднимаю брови вверх и с удивлением смотрю перед собой. Неужели железо раскаливается? Но из этого ничего не выходит, все испаряется, и я стою в печальном покое.

Но, чтобы только быть таким, каким я был в свои молодые годы, я прикидываюсь, будто у меня необыкновенный подъем духа,— о, дело еще не проиграно, являются образы, остатки флейты.

*Пришли мы с лугов ароматных,  
Пришли мы с полей золотых,  
Где неге любви отдавались...  
Тра-ла-ла ла-ла. Тра-ла-ла ла  
Звезда лишь одна подглядела,  
Как встретились наши уста —  
Ты всех была лучше, всех краше,  
Всех лучше ты, краше была,  
О, светлые дни молодые,  
Веселые счастья дни,  
Вы так несравнимо прекрасны.  
Взгляни ж на меня ты теперь.  
Тогда ведь роились пчелы  
И лебедь-красавец играл...  
Теперь уж никто не играет.\*  
Ах, тра-ла-ла, тра-ла-ла-ла\**

Я обрываю, сую карандаш в карман, но во мне все еще что-то звенит. Я иду дальше. Во всяком случае, во мне самом остается известный привкус.

\* \* \*

На мое имя пришло письмо — интересно, кто откопал меня здесь? Письмо гласит следующее:

«Извините, что я пишу вам, но мне очень хотелось бы поговорить с вами кое о чем случившемся за последнее время. Когда вы возвратитесь в город, я попрошу вас повидаться со мной. Не случилось ничего дурного. Пожалуйста, не откажите мне.

Ваша Ингеборг Торсен».

Я перечитываю эти строки несколько раз. Что случилось? Но ведь я решил идти в Швецию, вообще я хочу пожить для себя, а не только заниматься чужими делами.

---

\* Перевод Е. В. Гешина.

Уж не думают ли, что я превратился в старого дядюшку всего человечества, что меня можно звать и туда и сюда для какого-то совета! Нет, уж извините, думаю я, важничая и надуваясь, теперь путь прекрасный, я составил план своего странствования, я могу даже сказать, что отправлюсь в деловое путешествие, которое для меня очень важно, так как многое поставлено на карту... Как сложна человеческая душа: в то время, как я сижу и важничаю перед самым собою, произношу даже несколько слов, выражающих мою досаду, вслух, чтобы их могла услышать Петра, я очень доволен тем, что получил это письмо, в глубине души я так рад этому, что даже стыжусь своего чувства. Разумеется, все это объясняется тем, что я опять увижу город, замерзшие сады, корабли...

Но что все это означает? Неужели она была у моей хозяйки и узнала мой адрес? Или она виделась с Николаем? Я уехал немедленно.

#### ГЛАВА XXXV

---

Моя хозяйка изумлена.

— Это вы? Добрый вечер! Какой у вас здоровый вид. А вот тут вся наша почта.

— Пусть лежит! Ах, мадам Хенриксен, вы настоящий перл!

— Ха-ха-ха!

— Да, это верно. И вы прекрасный человек! Но вы все-таки дали кому-то мой адрес.

— Нет, ей Богу, не давала.

— А, так значит, это не вы. Да, вы правы, я чувствую себя прекрасно и завтра же рано утром я пойду гулять на пристань.

— Но зато я должна вам признаться в том, что только что послала сообщить о вашем возвращении,— говорит моя хозяйка.— Может быть, я не хорошо поступила? Я послала к одной барышне, которая просила сейчас же сообщить ей, когда вы вернетесь.

— Вот как, к барышне? Вы только что послали?

— Да, недавно, когда увидела вас. Это была молодая красивая барышня. Уверяю вас, она могла быть вашей дочерью.

— Благодарю вас.

— Да, говорю совершенно откровенно. И она сказала, что придет сейчас же, потому что ей необходимо поговорить с вами.

Хозяйка ушла.

Итак, фрекен Торсен придет в этот же вечер,— значит, случилось что-нибудь особенное. До сих пор она еще ни разу не была у меня. Я осмотрелся кругом. Все в порядке, тепло и уютно. Я вымылся и оделся. Вот в это кресло сядет она... Я зажигаю вторую лампу. А для меня теперь самое подходящее разбирать свою почту, это произведет хорошее впечатление; если же я положу сверху письмо, написанное красивым женским почерком, то, может быть, это возбудит в ней некоторую ревность, хе-хе! О Боже, лет десять — пятнадцать тому назад можно было еще выкидывать такие шутки, но теперь поздно...

Она стучит в дверь и входит.

Я не протянул руки, и она также. Предложил ей сесть в кресло.

— Простите, что я прихожу к вам, не дав вам отдохнуть,— сказала она.— Я попросила мадам Хенриксен уведомить меня, когда вы вернетесь. Но ничего серьезного не случилось и теперь мне даже немножко стыдно, но...

Я сейчас же увидел, что дело было серьезное, и сердце мое сильно забилося. Почему оно забилося?

— Вы в первый раз заглянули в мою келью,— говорю я, чтобы что-нибудь сказать, и в то же время ожидая, что она скажет дальше.

— Да. У вас здесь так мило,— отвечает она, не глядя кругом. Она начала складывать руки и разнимать их, так что перчатки на кончиках пальцев оттянулись, она была в сильном волнении.

— Надеюсь, что я заслужила, наконец, ваше одобрение,— говорит она, стягивая с рук перчатки.

На пальце у нее кольцо.

Отлично. На меня это ничуть не подействовало в ту минуту, потом было иначе. Я только спросил:

— Вы обручены?

— Да,— ответила она. И она посмотрела на меня с улыбкой, но губы ее дрожали.

Я тоже посмотрел на нее и, кажется произнес что-то вроде:— вот как, в самом деле!— Я по-отечески кивнул головой, потом поклонился:

— В таком случае, позвольте вас поздравить!

— Да, уж так все вышло,— говорит она — мне кажется, что это самое лучшее. Может быть, это доказывает мое непостоянство; пожалуй, это легкомысленно с моей стороны... вы не находите этого?

— Нет, право, не знаю...

— Но это, действительно, было самое лучшее. Вот об этом-то я и хотела рассказать вам.

Я встал, она вздрогнула при этом, так она была нервна. Но я встал только для того, чтобы поправить лампу, которая стояла позади и начинала коптить.

Пауза. Раз она ничего не говорит, то что мог я сказать? Но, так как тягостное молчание продолжалось, и я видел, что она мучается, то я все-таки спросил:

— Собственно, для чего вы хотели рассказать мне об этом?

— Да, пожалуй вы... правы.

— Быть может, вам опять показалось на мгновение, что вы представляете собой центральную точку в мире, но...

— Да, вы пожалуй, правы...

Она осматривалась кругом широко раскрытыми, недоумевающими глазами, потом встала, словно готова была убежать каждую минуту. Я тоже встал. Она несчастна, я это хорошо видел, но Боже мой, что же я-то могу тут поделывать? Она приходит ко мне и говорит, что обручилась, и при этом вид у нее несчастный,— ну, на что это похоже! Но теперь, когда она встала, я лучше мог разглядеть ее лицо под шляпкой... ее волосы... в них появились серебряные нити, особенно на висках, это было так красиво. Она была стройная и высокая, грудь ее поднималась и опускалась, у нее была высокая грудь. О, очень высокая, и она поднималась и опускалась, да... Лицо у нее смуглое, рот полузакрыт, губы сухие, как в жару...

— Фрекен Ингеборг,— говорю я в первый раз. И я неуверенно протягиваю руку, может быть, хочу дотронуться до нее, погладить ее, нет, я сам не знаю...

Но она уже пришла в себя, она стоит прямая, великолепная... В глазах у нее появилось холодное выражение, они устремлены на меня, они ставят меня на место и в то же время она направляется к двери.

У меня вырывается:

— Нет!..

— Что такое?— спрашивает она.

— Не уходите, подождите, не уходите сейчас, сядьте и расскажите мне больше.

— Да, вы совершенно правы,— говорит она,— я отнюдь не представляю собой центральную точку мира. Я прихожу к вам сюда со всякими пустяками, а ведь вы... вот стоит только посмотреть на все эти письма со всех концов света.

— Нет, послушайте, сядьте, я даже не буду просматривать почту, это пустяки, каких-нибудь два-три письма, да еще от совершенно незнакомых людей, по всей вероятности. Сядьте, расскажите мне все, вы должны это сделать. Вот теперь смотрите, я совсем не хочу даже читать всего этого!

С этими словами я собрал все письма в кучу и бросил их в топившуюся печку.

— Нет... зачем?.. Что вы делаете,— крикнула она и бросилась к печке, чтобы спасти письма.

— Оставьте,— говорю я.— Я не жду никакой радости от писем, а за горем я не гонюсь.

Теперь, когда она стояла так близко ко мне, я уже готов был дотронуться до нее, хоть на мгновение дотронуться до ее руки. Но я овладел собой и остановился. Я и без того уже зашел слишком далеко, а потому я сказал добродушно и сочувственно, как бы выражая ей свое сострадание.

— Дорогое дитя, не будьте так несчастны, все устроится к лучшему, вот увидите. Сядьте же... ну вот, так хорошо.

По-видимому, ее так изумила моя вспышка, что она опустила в кресло машинально. Она сказала:

— Я вовсе не несчастна.

— Нет? Прекрасно!— И я начинаю болтать без умолку; но я только стараюсь подбодрить самого себя и быть для нее добрым дядюшкой. Я говорю, чтобы рассеять ее. Чтобы рассеять нас обоих, я болтаю без умолку, в ушах у меня раздается звон. Что мог я сказать? И пустяки, и серьезное, много всего:

— Да, да, дитя... Но кто же ваш жених, кто это? Как это мило с вашей стороны, что вы первым делом пришли ко мне, я это теперь только вполне оценил, спасибо вам за это. Вот видите ли, я только что возвратился домой и почти не спал во время дороги, я так устал... Нет, не устал, но во всяком случае... по пути я встретил так много всякого народу, бррр... я почти совсем не спал. И едва я вернулся домой, как вы пришли, и большое вам спасибо

за это, фрекен Ингеборг... ведь я отец, а вы дитя, потому я и говорю вам Ингеборг. Когда же вы мне рассказывали все это... ведь я не спал, я потерял равновесие... И я не мог дать вам хорошего совета, то есть, не вник... Но теперь вы можете быть со мной совсем откровенны, мне так хочется знать все. Он старый? Молодой? Ну, конечно, молодой! Я вот как раз думаю о том, как сложится ваша жизнь, фрекен Ингеборг... я хочу сказать, при новых обстоятельствах. Быть может, все будет совсем иначе, чем то, к чему вы до сих пор привыкли. Но вы увидите, что все пойдет прекрасно, я в этом уверен...

— Но вы не знаете даже, кто это?— прерывает она меня. И она опять со страхом смотрит на меня.

— Да, я не знаю, да мне и не надо знать, раз вы хотите еще подождать. Кто это? Какой-нибудь милый, изящный человек, это и видно по кольцу, быть может, учитель, молодой подающий надежды учитель...

Она качает головой.

— Ну, в таком случае добродушный человек, который будет баловать вас...

— Да, может быть,— говорит она тихо.

— Вот видите, я угадал. Медведь, он будет носить вас в своих лапах. А к дню вашего рождения... знаете, что он подарит вам к дню вашего рождения?

Но тут, вероятно, я заговорил уж слишком ребячливо. Я надоел ей, она в первый раз повернула голову и стала смотреть на картину, висевшую на стене, а потом перевела взгляд на другую картину. Но не так-то легко было остановить меня, ведь я не говорил в течение нескольких недель, да к тому же находился в состоянии экзальтации, Бог знает, почему.

— Как вам жилось в деревне?— спросила она вдруг. А так как я не понял, к чему она это спрашивает, и только смотрел на нее, она продолжала:— Ведь вы жили у матери Николая, не правда ли?

— Да.

— Какая она?

— Она вас интересуется?

— Ах, нет. О, Боже!— говорит она с усталым видом.

— Полно, полно, разве говорят таким тоном новообрученные! Как мне жилось в деревне? Знаете, там я познакомился с одним учителем, старым холостяком, он прямо великолепен. Он сказал, что знает меня, и в первый

день ужасно важничал. Я со своей стороны ответил, что приехал исключительно ради него. Неужели!— удивился он.— Почему бы и нет?— сказал я,— сорок лет учителем, почтенный человек, постоянный посетитель церкви, председатель, и прочее и прочее. Да, потом я присутствовал на уроке. Бесподобно! Учитель говорил все время, ведь на этот раз у него был слушатель, это было нечто вроде экзамена: Педер! Гм... На дороге лошадь и человек, один едет верхом на другом, кто на ком едет, Педер?— Человек!— отвечает Педер. Пауза.— Совершенно верно, Педер, верхом ехал человек. Точь-в-точь то же самое с грехом, ибо сатана ездит на нас...

Она опять отвернулась и посмотрела на стену, и как будто снова ушла от меня. Я сделал неловкий прыжок:

— Быть может, вам приятно будет услышать кое-что о знакомых, хотя бы из Торетинда. Здесь была Жозефина.

— Да,— сказала она, кивая головой.

— А помните вы старичка из Торетинда? Мне кажется, я никогда не забуду его. Через столько-то и столько-то лет я сделаюсь таким же, как и он, хотя, может быть, и не через так много лет. Я снова превращусь в ребенка, впаду в детство. Этот старичок раз как-то забрался в поле, я видел его, на руках у него были варежки, ведь он ел все, что попало, и вот он начал есть сено.

Она бросила на меня вопросительный взгляд.

— Но казалось, будто он никогда не ел сена. Очень может быть, что это происходило от того, что сено на лугу было испорченное. Вы помните, это было то сено, которое никак не могли убрать и которое так и осталось гнить на лугу до следующего года, до следующего туристского сезона.

— Вы, вероятно, думаете, что меня необходимо разве-селить,— сказала она с улыбкой,— что я очень несчастна? Напротив, он даже слишком хорош для меня, во всяком случае так думает его сестра, потому что она изо всех сил противилась этому. Но мне доставит особенное удовольствие торжествовать над этой сестрой. Да, я не несчастна, и я не потому пришла к вам. И, право, он мне нравится более, чем кто-нибудь другой... раз я не могу получить того, кого я хочу.

— Дитя, вы говорили это уже раньше... да, зимой, вы упоминали об этом. И вы, кажется, говорили, что не подходите к нему, то есть, что он не подходит к вам... я хочу сказать...



— Подходит? Но ведь я то ни к кому не подхожу. Неужели вы думаете, что я подхожу к тому, за кого я выхожу замуж? К сожалению, я ни к кому не подхожу, такого человека нигде не найти. Но вопрос в том, справлюсь ли я, сможет ли он ужиться со мной. Правда, я приложу все старания, это я обещала самой себе.

— Но кто же это? Я его знаю? Вы не подходите? Странно. Он, наверное, без ума от вас, и вы отвечаете на его любовь. Послушайте, фрекен Ингеборг, вы одержите в этом блестящую победу, вы такая умная и здравая...

— Да, да,— сказала она устало и поднялась. Но она медлила, хотела сказать что-то и раздумала. Наконец, она подошла к двери и спросила оттуда, отвернувшись и теребя свои перчатки:

— Так вам кажется, что я должна согласиться на это? Я очень удивился этому вопросу и сказал:

— Согласиться? Но ведь вы уже согласились?

— Да. Впрочем... да, я согласилась, я обручена. И все время вы твердите мне, что я поступила правильно.

— Нет, уверяю вас... я же ничего не знаю,— ответил я, подойдя к ней.— Кто же это?

— О, Боже, довольно об этом! Я не могу больше! Спокойной ночи!

Она наугад протянула руку, но, так как она не поднимала глаз, то наши руки не встретились, она отворила дверь и исчезла. Я крикнул ей вслед, просил подождать, потом схватил шляпу и бросился вслед за ней. На лестнице никого нет, я спустился и отворил дверь на улицу — улица пуста. Она, конечно, убежала.

«Постараюсь повстречаться с ней завтра», подумал я.

\* \* \*

Прошел день, два дня, я нигде не встречал ее, хотя ходил повсюду, где она обыкновенно бывала. Еще прошел день... нигде нет!

Я решил было пойти к ней на квартиру и навести справки. Вначале мне казалось, что в этом не могло быть ничего странного, но потом я раздумал. Право, немного теряешь, когда делаешься смешным. Но разве я не дядя ей? Нет... а впрочем, да, но...

Проходит неделя, две недели, три — она исчезла бесследно. Уж не случилось ли какое-нибудь несчастье? Я взбираюсь по лестнице в ее квартиру и звоню.

Она уехала сейчас же после свадьбы, на прошлой неделе. Она вышла замуж за Николая, за столяра Николая.

\* \* \*

Март... о, что это за месяц! Зима прошла, но на дворе март месяц и нельзя с уверенностью сказать, сколько времени будет стоять зима. Только для этого и существует март месяц.

Я прожил еще одну зиму и видел пресловутые негритянские увеселения в англосаксонском театре. Ведь и ты там был, дружок, ты видел, как ловко мы там выделявали фокусы, ведь ты принимал даже в этом участие, у тебя осталось даже милое маленькое воспоминание о сломанном ребре.

Вскоре я буду читать отчеты амтманов об осеннем урожае в нашей стране, то есть о доходах с театра «Норвегия» — у-у! доллары, стерлинги!

И шутник профессор будет возвращаться в своей излюбленной стихии. Вот он идет, уверенный и самодовольный, господин Заурядный, во всем своем величии. На будущий год он добьется того, чтобы вместе с ним и другие близорукие люди еще больше вырядили Норвегию, сделали еще более притягательной для англосаксов. Больше долларов, больше стерлингов, у-у!

Что, кто-то ворчит?

Швейцария.

В таком случае пригласим на обед Швейцарию и произнесем в честь ее тост: коллега, мы преследуем великую цель уподобиться тебе. Кто, подобно тебе, имеет такой доход со своих Альп, кто делает такие часовые колесики! Швейцария, будь как дома, мы не обворуем тебя, здесь за столом нет карманных воров. За твое здоровье!

Но если это не поможет, нам придется подтянуться и бороться, норвежцев еще достаточно в старой Норвегии, мы конкурируем с ... Швейцарией.

\* \* \*

Мадам Хенриксен принесла мне в стакане подснежников.

— Что такое? Уже весна?

— О да, теперь дело идет к весне.

— В таком случае я отправляюсь в путь. Вот видите ли, мадам Хенриксен, мне очень хотелось бы остаться, потому что в сущности здесь мое место; но что здесь делать? Я не работаю, я только бездельничаю. Понимаете ли вы это? Я все время тоскую, сердце мое покрылось морщинами. Моей любимейшей игрой стала «решетка и орел». Я подбрасываю монету и жду. Когда я пришел к вам осенью, я не был еще на таком низком уровне, далеко нет, я был всего на полгода моложе, но в сущности я был на десять лет моложе. Что же со мной случилось? Ничего. Все дело только в том, что я уже не такой больше, каким был осенью.

— Но вы прекрасно чувствовали себя всю зиму? А три недели тому назад, когда вы вернулись из деревни, у вас был очень счастливый вид.

— В самом деле? Я этого больше не помню. Ну, это уж и не так быстро делается и со мной ничего особенного не случилось за эти три недели. А теперь довольно, довольно об этом. Итак, я отправляюсь в путь. Когда наступает весна, я иду странствовать, это я всегда делал. И теперь я поступлю, как раньше поступал. Садитесь же, мадам Хенриксен.

— Нет, благодарю вас, мне некогда.

— Вам некогда, да, вы работаете, вы не состарились на десять лет. Я заметил даже, что для вас большое мученье отдыхать по воскресеньям. Милая мадам Хенриксен! Вы и ваша маленькая дочка вяжете чулки на всю семью, вы отдаете внаймы ваши комнаты, вы, как истинная мать, соединяете всю семью. Вы, конечно, не заставите малютку Ловизу двенадцать лет сидеть за школьной скамьей. Нет, потому что иначе вы никогда не увидите ее в течение всей юности, дающей основу всему, и потому что иначе она не будет подражать вам и учиться у вас. Когда-нибудь она выучится иметь ребенка, но она не выучится быть матерью, и когда ей впоследствии придется стать во главе собственного дома и собственной семьи, она не сумеет этого. Она будет знать только «языки» и математику, но это не даст питания ее женской натуре. Это — непрерывная двенадцатилетняя голодовка для ее природы.

— Простите, что я спрашиваю, но куда вы отправляетесь?

— Я сам не знаю, я просто иду странствовать. Куда я иду? Я сяду на пароход и отправлюсь, куда глаза глядят а когда я некоторое время проеду на пароходе, я сойду на берег. Если же, сойдя на берег, я осмотрюсь кругом и найду, что я уехал слишком далеко или недостаточно далеко, я снова сяду на пароход. Когда-то я пешком прошел в Швецию, я пришел в Кольмар и посмотрел на Эланд, я нашел, что ушел слишком далеко, и повернул обратно. Никого не интересуется, где я, и меньше всего меня самого.

## ГЛАВА XXXVI

---

К чему только не привыкаешь? Привыкаешь и к тому, что проходит еще целых два года.

Опять весна...

В пограничном городке ярмарка, в моем углу все в волнении, на лугу играет музыка, вертится карусель, канатный плясун болтает перед своей палаткой и всевозможные люди толпятся повсюду в городе. Здесь большое стечение народа, через горы пришли также и норвежцы, раздаются ржанье лошадей, коровы мычат, торговля идет быстро.

В окне золотых дел мастера, как раз над моим углом, на этих днях появилась серебряная корова, о, прекрасная племенная корова, на которую крестьяне любят с разинутыми ртами.

— Она слишком хороша для моих гор,— говорит один и смеется.

— Интересно, сколько она стоит?— говорит другой и тоже смеется.

— Хочешь купить ее?

— Нет, в этом году у меня слишком мало корма.

Но вот подходит еще один человек, подходит, не торопясь, размеренным шагом и останавливается у окна. Я вижу его спину, у него широкая спина. Он долго стоит и, по-видимому, раздумывает о чем-то, потому что время от времени он почесывает себе бороду. Но вот, помоги ему Бог, он вваливается в лавку. Неужто он собирается купить серебряную корову?

Проходит целая вечность, он все не выходит, что он там делает? Раз уж я стал подкарауливать его, то доведу это дело до конца; я беру свою шляпу, спускаюсь вниз и

также останавливаюсь перед окном золотых дел мастера. Я стою вместе с другими и подкарауливаю у дверей.

Наконец-то человек выходит — ну да, это Николай. Это была его спина и его руки, но теперь у него прибавилась борода, и он производит очень выгодное впечатление. Что за неожиданность, столяр Николай здесь!

Мы здороваемся, и он медленно и неловко протягивает мне руку. Мы болтаем, разговор идет вяло, но мы все-таки говорим. Да, конечно, он приехал в некотором роде торговать.

— Уж не заходили ли вы в лавку для того, чтобы купить серебряную корову.

— Конечно, нет. Я ходил в лавку так, из-за пустяков. Да и покупка моя не удалась...

Мало-помалу я узнаю, что он приехал покупать себе лошадь, он решил, наконец, приобрести лошадь. Я узнал также, что он обработал новый луг, а кроме того, я узнаю — спасибо за внимание, — что жена его здорова.

— Да, что я хотел сказать... вы пришли сюда через горы? — спрашивает он.

— Да, зимой, в декабре.

— Если бы я только это знал!

Я объяснил ему, что мне некогда было зайти к нему, я торопился, у меня было дело...

— Ну, конечно, — сказал он.

В общем разговор у нас не налаживался, Николай остался тем же молчаливым человеком, каким был раньше. К тому же у него кое-какие дела в городе, надолго отлучаться из дому ему нельзя, завтра он уже отправляется домой.

— Что же, купили вы себе лошадь?

— М-нет, не купил.

— Так из этого ничего не выйдет?

— Не знаю. Я хочу, чтобы мне скинули половину, двадцать пять крон.

Немного спустя, днем, я опять увидел, что Николай входит в лавку золотых дел мастера. Народу там было очень много.

Теперь у меня мог бы быть хороший попутчик через горы, — подумал я. Теперь весна, а разве я не

отправляюсь всегда странствовать весною? И я начинаю укладывать свой мешок.

Николай выходит из лавки с такими же пустыми руками, с какими вошел туда.

Я отворяю окно и спрашиваю, купил ли он лошадь?

— М-нет, он не уступает, тот человек.

— А вы не можете уступить ему?

— Да,— отвечает он нерешительно.— Но у меня не хватает шиллингов.

— Не могу ли я ссудить вам несколько шиллингов?

Николай улыбается и качает головой, словно я ему предложил невесть что.

— Спасибо!— сказал он, уходя.

— Куда же вы теперь идете?— спросил я.

— Хочу посмотреть другую лошадь. Она старая и не очень-то хорошая, но...

Уж не слишком ли я интересуюсь лошадью Николая и не навязываюсь ли я ему? Я? Почему? Не понимаю. Он обиделся, что я прошел мимо его дома зимой, и теперь мне надо загладить это, вот и все.

Но, чтобы не упрекать себя ни в чем, я перестаю укладывать свой мешок и принимаю решение не навязываться Николаю в попутчики. Вслед за этим я иду бродить по городу. Кажется, я имею право на это, как и всякий другой.

На улице я встречаю Николая, он ведет под уздцы молодую кобылку.

Мы перекидываемся несколькими словами:

— Купили?

— Да, кончилось тем, что я купил. Тот наконец, сдался,— ответил он с улыбкой.

Мы идем вместе, отводим лошадь в конюшню, задаем ей корму, похлопываем ее. Это кобыла, ей два с половиной года, она рыжая, грива и хвост у нее почти белые, прелестная дамочка.

Вечером Николай по своему собственному почину приходит в мой угол и начинает болтать о кобыле и о дороге через гору, потом он прощается и направляется к двери.

— Что я хотел сказать,— говорит он вдруг — я не хочу вам навязываться, но теперь вам было бы удобно отправить ваш мешок. Мы были бы уже на месте послезавтра,— прибавляет он.

Неужели же мне еще раз обижать его!

Мы прошли целый день, переночевали в пограничной избушке в горах и снова пошли дальше. Николай всю дорогу нес мой мешок, а, кроме того, свои собственные свертки; когда я предложил ему разделить ношу, он ответил, что это пустяки, что и нести-то нечего. Дело в том, что Николай берег свою рыжую дамочку.

В полдень мы увидели внизу фиорд. Николай останавливается и еще раз необыкновенно нежно гладит кобылу. По мере того, как мы спускаемся, мною все более и более овладевает чувство тоски, какого-то угнетения,— это морской воздух. Николай спрашивает, что со мной, но я отвечаю, что ничего.

Но вот мы у него на дворе; двор чисто подметен, в дверях мы видим спину женщины, которая стоит на коленях и моет пол. Сегодня суббота.

— Тпруу!— говорит Николай излишне громко и останавливается.

Женщина в дверях оборачивается, она седая. Но это она, это фрекен Ингеборг, фру Ингеборг.

— Господи!— говорит она и быстро кончает вытирать пол.

— Да, здесь моют полы хоть куда!— говорит Николай шутливо.— Это ей нравится!— говорит он.

А я-то думал, что столяр Николай никогда не шутит. О, но всю дорогу он был в таком прекрасном настроении духа, он так гордился своей дамой, которую теперь привел домой, и он продолжает похлопывать ее.

Фру Ингеборг встает с колен, юбка у нее мокрая и местами потемнела. Все это мне так нравится, она совсем седая, мне надо некоторое время, чтобы прийти в себя, да и ей надо дать опомниться, а потому я отворачиваюсь.

— Что за прелестная лошадка!— говорит она.

Николай все хлопает кобылу.

— Я привел также и гостя,— замечает он.

Я подхожу к ней и, кажется, стараюсь быть слишком развязным, впрочем, не знаю.

— Здравствуйте,— говорю я, пожимая ее мокрую руку, которую она стесняется мне подать. Я хочу быть учтивым человеком, не выпускаю ее руку и повторяю:

— Здравствуйте, здравствуйте!

— Здравствуйте! Какой сюрприз!— отвечает она.

Я выдерживаю светский тон:

— Пеняйте на вашего мужа, это он затащил меня сюда.

— Добро пожаловать,— отвечает она.— Как хорошо, что я окончила уборку!

Наступает минутное молчание. Мы смотрим друг на друга,— прошло два года с тех пор, как мы не виделись. Чтобы прекратить неловкое молчание, мы все трое начинаем осматривать кобылу, и Николай готов лопнуть от гордости.

Вдруг в открытые двери слышится крик ребенка, и молодая мать бросается к нему.

— Пожалуйста, войдите!— крикнула она, оборачиваясь на ходу.

Я сейчас же заметил, войдя в комнату, что она изменилась с тех пор, как я был в ней последний раз: в ней появилось много украшений, которые так любят средние классы: белые занавеси на окнах, картинки на стенах, висячая лампа, круглый стол посреди комнаты, стулья вокруг стола, безделушки на этажерке, розовая самопрялка, цветы,— комната была наполнена всем этим. Все это были вещи, к которым фру Ингеборг привыкла у себя дома и которые она находила красивыми. Ну, что же. Но в дни Петры эта комната была светлая и просторная.

— А где ваша мать?— спрашиваю я Николая.

Он по своему обыкновению медлит с ответом. Его жена отвечает:

— Ничего, она живет хорошо.

— Но где она?— хочу я спросить, но воздерживаюсь от этого.

— Посмотрите сюда, мне хочется показать вам кое-что,— говорит фру Ингеборг.

Она хотела показать ребенка, мальчугана, большого, красивого. Ему не более года, но это настоящий мужчина.

Увидя меня, он соорудил плаксивую гримасу, но лишь на мгновение, когда же мать взяла его на руки, он посмотрел на меня без всякого страха.

— Да это настоящий молодчина!— восхищаюсь я мальчиком

— Ну, еще бы!— говорит мать.



К чему только не привыкаешь? Морской воздух не действует на меня больше, я говорю без одышки с ней, хозяйкой дома. И она также охотно говорит со мной, она как-то нервно раздражается целым потоком слов, будто ей уже давно не удавалось раскрывать рта. О чем мы говорили? Мы не касались ни градусов угла, ни грамматики Шекспира.

Думала ли она когда-нибудь, что со своим дипломом попадет в хлев и на субботнюю уборку?

О, что за милый урод! Двенадцать лет училась она всяким детским наукам, но стоило ей повстречаться с человеком, обладающим жизненным опытом, как она становилась в тупик. Теперь у нее были другие заботы: о доме, семье и домашних животных. Правда, животных было не так много, так как половину взяла с собой мать Николая...

Петра уехала?

Вышла замуж. За учителя. Да, Петра не захотела оставаться в доме после того, как появилась молодая хозяйка. Однажды вечером на дворе появился чужой человек, которого Петра вздумала приютить; фру Ингеборг не соглашалась на это, нет, потому что она знала его, она требовала, чтобы он шел дальше. И вот между молодой и старой хозяйкой начались недоразумения. Кроме того, Петра находила, что молодая хозяйка ничего не смыслит в хлеве. И в этом она была права: молодая хозяйка ничего не понимала, но понемножку она училась всему, ей самой было приятно сделаться хорошей хозяйкой. Она не спрашивала ни о чем, она понимала, что это неудобно, она до всего доходила сама, а кроме того, она прислушивалась ко всему, когда бывала в соседних дворах. Она была непонятлива в сельском хозяйстве не потому, что никогда этому не училась, а просто потому, что у нее не было природенных способностей к этому. Жены чиновников в деревне часто из маленьких городков и они не знают деревенской жизни, они изучают ее, но они никогда не могут научиться ей. Они знают как раз столько, сколько им необходимо для каждодневного обихода. Чтобы хорошо ткать, необходимо вырасти среди стука ткацкой машины; чтобы хорошо ходить за скотом, необходимо привыкнуть к этому с детства и помогать матери. Этому можно

научиться от других, но это не будет в крови. И не у всех есть Николай, с которым так хорошо жить! Молодая женщина в восторге от Николая, этого сильного и здорового животного, который в свою очередь без ума от нее, к тому же Николай так терпелив и находит, что жена его отличная работница и бесподобна во всех отношениях. Правда, она прилагает все старания, чтобы сделаться хорошей хозяйкой и это оставило на ней следы,— она недаром поседела. А тут она еще, к довершению всего, потеряла передний зуб, вот этот, месяца два тому назад, сломала его о косточку куропатки, в которой застряла дробь. Она боится посмотреть в зеркало, она не узнает себя больше. Но это пустяки, лишь бы Николай... Вот что он купил ей в городе, эту булавку, он купил ее у золотых дел мастера на ярмарке, разве она не прелестна? Ах, уж этот Николай, он совсем с ума сошел! Но зато она постарается отблагодарить его и будет во всем слушаться его. Подумайте только: уделить часть денег на подарок, тех денег, которые должны были пойти на лошадь! Но где же он, куда он девался? Он наверное опять в конюшне и ласкает свою кобылу, ха-ха!

— Николай!— крикнула она на двор.— Ну, так и есть, он ответил из конюшни!

Она снова села и заложила одну ногу за другую. Она немного раскраснелась, быть может, от какой-нибудь мысли или от какого-нибудь воспоминания,— это было так прелестно, она была возбуждена и это очень шло к ней. Юбка плотно облегла ее тело и его линии ясно обрисовывались; она сидела и гладила себе колено.

— Мальчик спит?— спросил я, чтобы что-нибудь сказать.

— Он спит... Да, и этот мальчик!— воскликнула она.— Можете ли вы себе представить что-нибудь более очаровательное? Извините, но... И ведь ему только год. Никогда не знала я, что дети так прелестны.

— Да, вот видите.

— Правда, когда-то я думала иначе, я это помню, и вы еще спорили со мной. Конечно, я была просто глупа тогда. Дети? Это что-то необыкновенное! Когда наступит старость, они будут единственной отрадой, последней отрадой. У меня будут еще дети, много детей, о, дорогой, я хотела бы иметь столько детей, чтобы они стояли рядышком, знаете, как трубы в органе, один выше другого.

Это такая прелесть... Но должна признаться, мне очень неприятно, что я потеряла зуб, теперь у меня зияет темное пространство между зубами. Уверяю вас, это искренне огорчает меня из-за Николая. Я могла бы вставить зуб, но я ни за что не сделаю этого,— я слышала, что это очень дорого стоит. А, кроме того, я не хочу больше прибегать ни к каким фокусам, чтобы казаться лучше; хорошо было бы, если бы я гораздо раньше бросила это, я пришла к этому слишком поздно. Подумать только, что я потратила на это все свое детство, всю молодость. И ведь я была уже взрослой, когда шаталась по санаториям летом! Я искала отдыха после школьных занятий, и я попадала в полное безделье и стыжусь каждого дня, который я провела в праздности. Я готова кричать от раскаяния. Я могла бы выйти замуж десять лет тому назад, иметь свой дом и много детей, иметь мужа все это время; а теперь я уже старая, я сама себя обокрала на десять лет. И волосы у меня седые, и зуба нет...

— Послушайте, вы потеряли один зуб, а у меня скоро останется всего только один зуб.

Но не успел я произнести этого ей в утешение, как раскаялся в своих словах. Зачем я делаю себя хуже, чем я на самом деле? В этом не было ничего хорошего, о, я сидел перед ней и зеленел от досады, я улыбался и оскаливал зубы,— вот смотрите, смотрите хорошенько! Мне кажется, она заметила, что я ломаюсь,— все, что я ни делал, выходило не так.

Тут она принялась в свою очередь утешать меня, как это всегда делают люди, которые могут это делать.

— Вот как, так вы находите себя таким дряхлым, ха-ха?

— Виделись вы с учителем?— спросил я коротко.

— Конечно. Я не забыла, что вы мне о нем рассказывали: по дороге идут лошадь и человек... Но он умный и жадный на деньги, о, и такой хитрый, он берет у нас борону, потому что у нас она новая и хорошая. Они выстроили дом и отдают комнаты проезжающим, это целая гостиница, служанки в национальных костюмах. Да, мы с Николаем были на их свадьбе, Петра была очень нарядна и красива. Не думайте, что мы с Петрой все еще в ссоре: она стала относиться ко мне лучше с тех пор, как я сделалась хорошей хозяйкой, а прошлое лето меня даже несколько раз звали к ним, чтобы разговаривать с

англичанами... ведь я знаю, как по-английски мыло и еда, и лошадь, и «на чай». О, Господи!.. Но я никогда и не рассорилась бы серьезно с Петрой, если бы не София, знаете, учительница в городе. Она очень восставала против меня, а потому она не очень-то нравилась мне, я откровенно признаюсь в этом но вот она приехала домой, стала важничать и задирать передо мной нос. Я же была вся увлечена желанием выучиться всему тому, что имело для меня жизненное значение, а она приходит и кичится передо мной. Она говорила о Семилетней войне, она так хорошо изучила Семилетнюю войну, она даже сдала экзамен по Семилетней войне. И вот она нашла, что мы говорим не так, как надо, потому что Николай говорит на деревенском наречии. Но Николай и без того достаточно говорил с ней, и чего она задирала нос перед ним, эта фря? Ко всему в придачу, она приехала домой с прибылью... она, видите ли, была обручена и взяла отпуск на полгода. Ребенок у Петры, у бабушки, так что ему хорошо; это тоже мальчик, но он почти совсем без волос, а у моего густые волосы. Конечно, Софию все-таки жалко, потому что она истратила все свое наследство и погубила всю свою молодость на то, чтобы сделаться учительницей, а потом она вернулась домой с таким несчастьем. Но она пренесносный человек, и она напирала на то, что ее во всяком случае не прогнали с места, как меня. Тогда я попросила ее уйти от нас. И они ушли, и София, и мать. Но, как я уже вам говорила, с матерью у меня все обошлось, вы не должны, однако, думать, что она помогла нам купить лошадь. Ничего подобного. Деньги мы взяли в долг в банке. Но это ничего, ведь это единственный наш долг. Все, что вы видите здесь, сделал сам Николай, и стол, и этажерку, нам этого не приходилось покупать. Сам он также обработал большой луг. Скота у нас также довольно, вот посмотрели бы вы на нашу красивую корову... Да, Софии не годилось также и наше кушанье; она требовала консервов, покупайте консервы,— говорила она нам. Прямо тошно было! Я выучилась вязать чулки, меня выучила одна соседка, и я навязала себе чулок. Но София покупала себе чулки в городе. О, нечего сказать, хороша она. Вон!— сказала я ей. И они перебрались от нас. Ха-ха-ха!

Вошел Николай:

— Ты звала меня?

— Нет... Ах, да, пойдём со мной на минутку туда, наверх, мне надо прикрепить веревку возле печки, иди сюда...

Я остался один и подумал:

«Лишь бы все так шло, лишь бы так шло! Она так нервна, она живет нервами. К тому же она снова беременна. Но сколько силы воли она проявляет, и как она созрела за эти годы! Но чего ей это стоило!»

Крепись, дитя, крепись

Как бы то ни было, но она победила учительницу Софию, это глупое создание, которое так противилось ее браку с Николаем. Вон! О, какое нравственное удовлетворение дал фру Ингеборг этот маленький триумф! И как изменилась жизнь, раз нечто подобное так занимает ее, она была в возбуждении, когда говорила об этом, складывала и разнимала руки,— эта привычка осталась у нее от школьных дней. И почему бы ей не быть довольной? Это маленькое торжество имело для нее то же самое значение, какое прежде имел для нее большой триумф. Правда, исходная точка стала другая, но удовлетворение было не меньше.

Что это? Она читает что-то наверху, оттуда раздаётся тихое бормотание. Ну да, ведь сегодня воскресенье, а так как она более сведуща в чтении, то на ее обязанности лежит чтение молитв. Bravo, восхитительно, и в этом отношении она также вымуштровала себя, ведь в этой местности народ весь религиозный. Нельзя желать, чтобы люди были верующими, но взамен этого у них нет ничего другого, так как же быть? Читают молитвы... Ловко она придумала с веревкой.

Кушанья также она стала готовить очень хорошо, на крестьянский лад, конечно. Этому едва ли она научилась в школе кулинарного искусства. Я сижу и вспоминаю все, чему она когда-нибудь училась, а училась она многому. Может быть, было нечто преувеличенное в том, что она сказала о детях и о трубах в органе? Право, не знаю, но ноздри ее раздувались, когда она говорила об этом, и она напоминала кобылу. Она знала, как мало детей бывает у супругов, принадлежащих к среднему классу, как скоро наступает конец их любви: днем они бывают вместе, чтобы люди ничего не заметили, а ночью они разлучаются. Она же хочет превратить свой дом в детский завод: она и ее муж очень часто в разлуке весь день, каждый за своей работой, но ночью они всегда вместе.

Bravo, фру Ингеборг!

Собственно говоря, я должен был бы уйти от них или переселиться к Петре и учителю, которые отдают комнаты в наймы. Так это должно было бы быть...

Николай пустил в ход свою рыжую даму, он запряг ее в прелестную одноколку, которую он сам смастерил и обил железом. И вот дама возит в поле навоз. Надо сказать, что этого добра не так уж много на этом дворе с небольшим количеством скота, так что эта работа была скоро окончена. После этого даму заставили пахать и, подумайте, казалось, будто она волочит за собой только тяжелый шлейф, не более. Никогда еще Николай не слыхивал о такой лошади, да и жена его также.

И вот иду я на новь и осматриваю ее со всех сторон. Я беру в руки ком земли, щупаю ее и киваю головой, словно я очень много смыслю в разновидностях почвы. Мергель, прямо великолепно!

Потом я иду дальше и дохожу до того места, с которого видны драконьи головы на крыше гостиницы Петры,— но вдруг я круто поворачиваю и иду в лес, куда меня манят укромные уголки, молодые почки на деревьях и веселое тра-ла-ла-ла птиц. Здесь тихо, здесь наступила весна.

А дни идут.

Мне живется очень хорошо, я чувствую себя прекрасно, лишь бы я мог остаться здесь. Я хорошо платил бы за себя, старался бы приносить пользу и быть покладистым, я не обидел бы ни одной кошки. Но вечером я говорю Николаю, что пора мне уходить, что так дольше не может продолжаться... Пусть он передаст об этом кому следует.

— Вы не можете остаться еще немного?— говорит он.— Но здесь, конечно, нет ничего особенного, так что...

— Бог с вами, Николай, здесь много особенного, но... Ведь настала весна, а весной я всегда странствую и мне придется очень состариться, прежде чем я откажусь от этого. А, кроме того, я думаю, что надоел вам, в особенности же вашей жене.

Это также он мог передать кому следует.

Я укладываю свой мешок и жду. Нет, никто не идет и не отнимает от меня моего мешка и не запрещает мне укладывать мои вещи. Значит, Николай не передал никому, что следует. Этот человек, кажется, никогда не раскрывает рта. И вот я беру свой мешок,

кладу его на стул, а стул выставляю посреди комнаты; мешок лежит на стуле увязанный напоказ всему,— теперь мы отправляемся в путь. Я жду все-таки до следующего утра, мешок увидели, но ничего за этим не последовало. Придется подождать, когда хозяйка дома позовет обедать, и тогда сказать ей, что так-то и так-то, и показать на стул посреди комнаты:

— Я решил отправиться в путь сегодня.

— Неужели? Зачем же?— говорит она мне.

— Зачем? Вам не кажется, что мне пора?

— Ну, да. Но почему бы вам не остаться еще, ведь теперь коров выпускают на пастбище и тогда у нас будет много молока!?

Больше она ничего не сказала и ушла.

Браво, фру Ингеборг, черт возьми, вы настоящее золото! Меня поразило, как и несколько раз уже раньше, что между ею и Жозефиной в Торетинде очень мало разницы, как в ходе мыслей, так и в выражении их, они очень походили друг на друга. Двенадцатилетнее учение не повлияло дурно на ее юный ум, это способствовало, пожалуй, даже тому, что она избавилась от многих предрассудков. Пусть будет так или иначе, но держись крепче!

\* \* \*

Николай отправился в торговое местечко, а так как ему надо привезти домой муку, то он решает ехать на лошади. Я хорошо знаю, что мне следовало бы уехать с ним, потому что я тогда мог бы сесть на пароход послезавтра; я говорю об этом Николаю, уплываю за свое содержание. Пока он запрягает, я усердно упаковываю свои вещи.

О, это вечное странствование! Не успеешь устроиться на одном месте, как уже снова живешь в беспорядке в другом,— ни дома, ни настоящего прибежища. Что это за звон? Ах, да, ведь это фру Ингеборг в первый раз выпускает коров на пастбище! Теперь будет много молока... Приходит Николай и ждет чего-то. Ах да, мешок...

— Послушайте, Николай, не слишком ли рано выпустить коров?

— Пожалуй. Но и в хлеву их оставлять больше не стоит, они скучают.

— Вчера я был в лесу, хотел сесть, но побоялся сидеть на снегу. Да, теперь это опасно, но десять лет тому назад

я сидел. Придется подождать, пока можно сидеть на чем-нибудь. Камень — это хорошее дело, но и на камне сидеть долго нельзя в мае.

Николай в беспокойстве посматривает в окно на кобылу.

— Да, да, пойдете... Да и бабочек там еще не было. Вы знаете, тех бабочек, у которых крылышки напоминают троичную траву. И если в лесах живет отрада, я хочу сказать, если сам Бог... то он еще не поселился в лесах, еще слишком рано.

Николай не произносит ни звука на мою болтовню. Да и слова-то мои представляют собой очень бессвязное выражение известного настроения.

Мы выходим в дверь.

— Николай, я остаюсь!

Он оборачивается и смотрит на меня, на лице его появляется добрая улыбка.

— Видите ли, Николай, мне кажется, что в голове моей зародилась мысль, из которой я могу выковать железо. В таких случаях я должен оставаться в покое. Я остаюсь.

— Как это хорошо!— говорит Николай.— Если вам только здесь сносно жить, то...

Четверть часа спустя я вижу, как Николай катит по дороге на своей кобыле. Фру Ингеборг стоит на дворе с мальчиком на руках и показывает ему, как резвятся коровы.

Так я и остался. Да, нечего сказать, хорош старик!

\* \* \*

Николай привозит мне почту, ее накопилось очень много за эти несколько недель.

— Ведь вы не имеете обыкновения читать ваши письма?— говорит фру Ингеборг с лукавой улыбкой. Николай сидит тут же и слушает.

Я отвечаю:

— Хорошо, сделайте мне знак и я сожгу их, не прочитав.

Она вдруг побледнела, как бы в шутку положила свою руку на письма, а частью также и на мою руку. Я почувствовал, как меня обожгло, на мгновение меня обожгло, как горячим потоком крови, нет, горячее, чем потоком крови, на мгновение, потом она отняла свою руку и сказала:

— Лучше побережь их.

Бледность на ее лице сменилась яркой краской.



— Я видела, как он однажды сжег все свои письма,— сказала она Николаю.

После этого она подошла к плите и начала возиться с чем-то. Она стала расспрашивать мужа о том, как он съездил, какова дорога, хорошо ли себя вела кобыла. Оказалось, что кобыла вела себя хорошо.

Маленький эпизод, без всякого значения для кого бы то ни было. Не стоило бы упоминать о нем.

\* \* \*

Прошло несколько дней.

Стало тепло, мое окно открыто, моя дверь также раскрыта в большую горницу, повсюду тишина. Я стою у окна и смотрю на двор.

Вдруг я вижу человека, который входит на двор с громадной бесформенной ношей на спине. Под ношей я не мог рассмотреть, кто это, и я подумал, что это Николай; я отошел от окна и сел за стол.

Немного спустя я услышал, что в большую горницу кто-то вошел и поздоровался.

Фру Ингеборг ничего не отвечает, но я слышу, как она спрашивает громко и решительно:

— Зачем ты пришел сюда?

Незнакомый мужской голос отвечает:

— Чтобы навестить вас.

— Моего мужа нет дома.

— Это ничего.

— Это не ничего,— кричала она,— убирайся вон.

Не знаю, какое у нее было лицо в эту минуту, но голос у нее был серый, от слез и волнения он был серый. В следующее же мгновение я был в горнице.

Незнакомый гость был Солем.

Вот как, Солем здесь? Он вездесущ. Наши глаза встречаются.

— Тебя разве не попросили уйти?— говорю я.

— Потихе, потихе!— ответил он, ломая слова на шведский лад.— Я торгую шкурами, хожу из двора во двор и скупаю шкуры. Нет ли и здесь чего-нибудь?

— Нет!— кричит хозяйка; голос изменяет ей. Она вне себя, она вдруг резким движением сунула ковшик в какую-то жидкость кипевшую на плите, может быть, она хотела плеснуть ею...

В эту минуту в дверях появился Николай.

У этого неповоротливого человека в глазах вдруг появился огонек, он, вероятно, увидал, что тут дело неладно. Знал ли он Солема и видел ли он, как тот вошел во двор? Он слегка улыбнулся. Хе-хе,— сказал он и продолжал улыбаться, улыбка не сходила с его лица. Стало жутко, он был бледен, как полотно, и губы как бы застыли в судорожной улыбке. Да, на этот раз Солем повстречался с равным себе, со своим коллегой по полу, с лошадьёю по силе и по норову. Николай продолжает улыбаться.

— Ну, да, значит, здесь шкур нет,— говорит Солем, пробираясь к двери.

Николай с улыбкой следует за ним. На дворе он начинает помогать Солему взваливать на спину ношу.

— Ах, спасибо!— говорит Солем и видно, что ему не по себе.

Это целая груда шкур. Николай поднимает ее и наваливает на спину Солема, наваливает и как-то странно налегает на нее, у Солема подгибаются колени, и он падает ничком на землю. Послышался стон. Ему больно, земля на дворе твердая, как скала. С минуту Солем лежит неподвижно, потом встает. Он не похож больше на себя: все лицо его разбито, кровь струится ручьями. Он делает попытку передвинуть тяжелую ношу на середину спины, но она продолжает свешиваться немного на бок, тогда он все-таки идет со двора, Николай за ним, продолжая улыбаться. Они идут по дороге до самого леса, один за другим, потом они исчезают с моих глаз.

Ну, теперь будем человечнее, удариться лицом о камень не очень-то приятно. Да и больно смотреть, как тяжелая ноша оттягивала одно плечо.

В горнице раздаются рыдания. Фру Ингеборг сидит на стуле, вся поникнув. И это в ее-то положении!

Да, понемногу все уладится, хотя на это надо время, все пройдет. Мы начинаем говорить, я задаю ей маленькие вопросы, и она понемногу приходит в себя:

— Он, этот человек... бродяга... вы не знаете, что это за человек... я убью его. Это он... он первый... о, но теперь ему достанется, вот увидите, он получит то, чего заслуживает. Он первый воспользовался... правда я сама виновата, но он первый... И для меня это тогда не имело особого значения, я вовсе не хочу выставить себя в лучшем свете, мне было совершенно безразлично. Но потом мне

все стало ясно. И это повело за собой такие дурные последствия, я так низко опустилась. Во всем виноват он. А потом мне все стало ясно. Но теперь, какой бы то ни было ценой, а я хочу иметь покой от этого человека, пусть он не показывается мне больше на глаза. Уж не находите ли вы, что я требую слишком многого? Лишь бы Николай не совершил чего-нибудь непоправимого! Его будут судить... Послушайте, пойдите туда, бегите за ним, умоляю вас! Он убьет его...

— Нет. Он человек разумный. Да ведь он и не знает, вероятно, что Содем провинился перед вами в чем-нибудь?

Тут она посмотрела на меня.

— Вы спрашиваете из любопытства?

— То есть как?..

— Вы спрашиваете из любопытства? Иногда мне кажется, что вы хотите разгадать меня. Нет, я ничего не говорила мужу. Теперь вы можете думать все, что вам угодно, о моей честности. Но кое-что я все-таки сказала, сказала в том роде, что мне не было бы покоя от этого человека. Он и раньше уже здесь бывал, его-то Петра и хотела принять в нашем доме, а я воспротивилась этому. Я сказала Николаю:— Этому человеку не место в нашем доме!— И я еще кое-что прибавила. Но себя я оставила в стороне,— что вы скажете о моей честности? Впрочем, я и теперь ничего не скажу Николаю, я никогда не скажу. Почему? Я не обязана отдавать вам в этом отчета. Но мне хотелось бы, чтобы вы это знали, да, позвольте вам это сказать, пожалуйста! Вот, видите ли, я не боюсь, что Николай придет в ярость, если я ему расскажу об этом, но я боюсь, что он простит меня и что мы будем продолжать жить, как ни в чем не бывало. А он, наверное, простит меня,— уж такая у него натура, да и любит он меня... к тому же, он крестьянин, ну, а крестьяне не придают этому особого значения. Но он был бы дурным человеком, если бы простил меня, а я не хочу, чтобы он был дурным — видит Бог, я не хочу этого, пусть лучше я буду дурная. Ведь нам обоим приходится кое-что прощать друг другу, это необходимо, когда живешь вместе. Мы не должны быть животными, мы должны быть людьми... я думаю о будущем, о наших детях... Впрочем, зачем

вы заставляете меня говорить все это? Зачем вы спросили меня об этом?

— Я только хотел сказать, что если Николай ничего не знает, то ему не придет в голову убивать этого человека, чего вы так боялись. Я просто хотел успокоить вас.

— Да, вы всегда так хорошо придумаете, вы выпытываете у меня. Я раскаиваюсь, что сказала вам, что вы узнали это, я хотела сохранить это в глубине души до самой смерти. А теперь вы находите, что во мне нет и капли чести.

— Напротив.

— Что? Разве это не так?

— Напротив. То, что вы сказали, так глубоко справедливо. Вы сказали нечто в высшей степени справедливое. А кроме того, это было так прекрасно.

— Да благословит вас Бог!— сказала она и снова разразилась рыданиями.

— Нет, теперь мы не будем больше плакать. Посмотрите, вон по дороге идет Николай, он такой же добродушный и спокойный, как и всегда.

— Правда? О, как это хорошо! Видите ли, мне нечего ему прощать, это я неправду сказала. Нет, как бы я ни думала об этом, я не нашла бы ничего. Правда, иногда он произносит слова на крестьянский лад... я хочу сказать, не так выговаривает их; но ведь это такие пустяки и это только его сестра могла придаться к этому. Я пойду к нему навстречу.

Она стала искать, что бы накинуть на себя. Это заняло некоторое время, она была так взволнована; не успела она собраться, как Николай уже вошел во двор.

— Ты пришел! Надеюсь, ты не натворил никакой беды?

На лице Николая все еще оставались следы возбуждения, но он ответил:

— Я просто проводил его только к его сыну.

— Так у Солема есть здесь сын?— спрашиваю я.

Никто не отвечает мне. Николай уходит и принимается за свою работу, жена идет за ним в поле.

Вдруг у меня проносится в голове: это ребенок Софии!

Я вспомнил тот день в Торетинде, когда учительница София вошла в гостиную и сообщила последнюю новость о Солеме: о тряпке на пальце и что ему некогда

отрубить себе этот палец, такой он молодчина! Тогда-то они и познакомились, а потом встречались в городе. Солем был вездесущ.

Да, и хороши были дамы в этой туристской гостинице в Торетинде! Солема и раньше нельзя было назвать ангелом, а они окончательно испортили его. Потом он встретил это несчастное создание, которое выучилось только быть учительницей. Я должен был бы понять это раньше, но я ничего не понимаю больше.

Вот что со мной было дальше.

Совершенно случайно я начинаю подозревать, что меня держат здесь главным образом из-за шиллингов; деньгами, которые я плачу за свое содержание, хотят уплатить за кобылу. Так оно и есть.

Я должен был бы догадаться об этом раньше, но я состарился. Кроме того, я должен прибавить,— но пусть этому не придадут иного значения,— что мозги увядают раньше сердца. Это видно по всем дедушкам и бабушкам.

Вначале я на свое открытие сказал только «браво», браво, фру Ингеборг, вы настоящее золото! Но такова уж человеческая натура: это начинает оскорблять меня. Но ведь в таком случае гораздо проще заплатить за кобылу сразу и уйти. О, это я сделал бы с удовольствием. Но из этого ничего не выйдет: Николай покачает головой, словно я ему рассказываю сказку. Однако я высчитываю, что, в сущности, осталось уже немного, чтобы полностью уплатить за кобылу, может быть, и ничего больше, может быть, все уже покрыто...

Да, фру Ингеборг хлопочет и работает — лишь бы это не было слишком судорожно. Она почти никогда не садится, хотя, быть может, она теперь больше, чем раньше, нуждалась бы в покое, она стелит постели, стряпает, ходит за скотом, шьет, платает, стирает. Часто случается, что седые космы падают ей на лицо, так она хлопочет. Пусть волосы висят, они слишком коротки и их нельзя прикрепить шпилькой. Но она такая красивая и в ней столько материнского, прекрасный цвет лица, красивый рот... когда она вместе с ребенком, то это сама красота. Конечно я помогал ей носить воду и дрова все это время, но все-таки я доставлял ей лишнюю работу. Когда я думал об этом, к голове моей прилиwała кровь.

Но как мог я вообразить себе, что где-нибудь меня будут держать ради меня самого? В таком случае я еще слишком мало прожил и имел слишком мало увлечений. Хорошо, что я в конце-концов дошел до этого.

Мое открытие облегчило до некоторой степени мое решение уйти, на этот раз я самым серьезным образом уложил свои вещи в мешок. Правда, ребенок, ее мальчуган, очень привязался ко мне, постоянно просился ко мне на руки, потому что я ему показывал так много занятного. В ребенке говорил инстинкт по отношению к доброму, хорошему дедушке.

Вскоре должна была приехать одна из сестер фру Ингеборг, и она, конечно, поможет ей. И вот я упаковываю свои вещи, я удручен самим собой, но я уложился. Чтобы побережь кобылу Николая, я хочу один отправиться к месту остановки парохода, а кроме того, я хочу избавить нас всех от прощания, рукопожатий и всяких пожеланий,— заметил это!

Но случилось так, что я все-таки каждому пожал руку и каждого отдельно поблагодарил. Я стоял в дверях с мешком на спине, слегка улыбался и вообще вел себя молодцом.

— Да, да,— говорил я,— пора и мне немножко размяться.

— В самом деле? Вы уходите?— спрашивает фру Ингеборг.

— Да.

— Как же это так вдруг?

— Я говорил об этом вчера.

— Да, но... А разве Николай не отвезет вас?

— Нет, благодарю вас.

Тут я опять обратил на себя внимание мальчугана,— ведь у меня на спине мешок, а кроме того на моей куртке в высшей степени интересные пуговицы, он стал проситься ко мне. Ну, иди, что ли, на минутку! Но это было не на минуту и не на две. Ведь у меня на спине был мешок и его надо было раскрыть. Тут вошел Николай.

Фру Ингеборг говорит:

— Может быть, вы думаете, что, так как приезжает моя сестра... но ведь у нас есть еще одна комната. Да к тому же теперь лето, она может спать на чердаке.

— Но, дорогая моя, надо же когда-нибудь... да ведь у меня и дело есть.

— Да, да,— говорит фру Ингеборг, сдаваясь.

Николай предложил отвезти меня, но, когда я отказался, он не настаивал на этом.

Все вышли проводить меня во двор и смотрели мне вслед, мальчик был на руках у матери.

На повороте я обернулся и хотел помахать,— мальчугану, конечно,— никому другому, только мальчику. Но на дворе никого уже больше не было.

## ГЛАВА XXXIX

---

Все это я написал тебе.

Зачем я написал это? Потому что душа моя вопиет от тоски перед каждым Рождеством, от тоски, которую навевают на меня те же книги, написанные по-старому. Я хотел было писать на родном наречии, чтобы быть истинным норвежцем; но так как я знал, что ты не разучился еще понимать отечественный язык, то я оставил наречие, тем более, что с ним далеко не уйдешь.

Но зачем я заключил столько разновидностей в одну рамку? Дружок, одно из знаменитейших мировых произведений написано во время чумы, ради чумы,— вот мой ответ. И еще вот что, дружок: когда долго держишься вдали от людей, которых знаешь вдоль и поперек, то позволяешь себе в конце концов провиниться и снова заговорить, просто заговорить. Такой человек чувствует в себе неиспользованную силу, голова его полна невысказанных мыслей. В этом мое оправдание.

Если я хорошо тебя знаю, то ты будешь наслаждаться той или другой из моих вольностей и больше всего удовольствия тебе доставит одна ночная сцена, читая которую ты будешь потирать себе руки. Но, говоря об этом с другими, ты будешь качать головой и удивляться: как мог он написать нечто подобное! Ах, ты, милая, простая душа! Отойди и постарайся посмотреть на эту сцену со стороны,— ведь и мне самому кое-чего стоило показать ее тебе.

Пожалуй, ты поинтересуешься также мною, и спросишь, что поделывает мое железо? Ну, так что же, могу тебе только сказать, что железо у пятидесятилетних всегда одно. Разница между мною и моими сверстниками заключается лишь в том, что я совершенно

откровенно признаюсь в этом: мое железо не может быть иным. Железо должно было бы быть большое и раскаленное, так оно было задумано; но вышло оно маленькое и лишь слегка подогретое. Да, так-то. Теперь вопрос только в том, отличается ли оно хоть чем-нибудь от ничтожества других!? Этого ты не можешь решить, ты новый дух Норвегии, и над тобой-то я и смеюсь.

С одним ты должен согласиться: ты не потерял время даром в «образованном обществе», я не собирался усладить твое маленькое сердечко выскочки «дамой». Я написал о людях. Но под теми словами, которыми произносят вслух, звучат другие, они напоминают жилы, скрывающиеся под кожей, роман в романе. Я следовал шаг за шагом за начинающимся семидесятилетием литературы и показал ее процесс разложения. Я должен был сделать это раньше. Но я не насчитывал достаточного количества годов. Я должен был это сделать, когда страна шла ощупью долгие годы под тенью бездарности перезрелых старцев,— я делаю это теперь, когда меня самого начинают наделять способностью бросать тень. Сенсация, скажешь ты, погоня за славой!

Мой милый дружок, с меня хватит славы на мои последние двадцать лет, а потом я умру. А ты? Живи дольше, ты заслуживаешь этого, пожалуй, переживи меня... плотью!

Только что я читал о том, что сказал один человек, стоящий на наивысшей точке культуры: опыт показал, что когда культура распространяется, она становится жидкой и бесцветной. В таком случае не надо орать против новых деятелей возрождения. Я не способен ни к какому возрождению, теперь уже не способен больше, я запоздал. В то время, когда я был способен на многое и хотел многого, посредственность была слишком всемогуща. У меня не хватило сил, я был колоссом на деревянных ногах, это участь многих молодых.

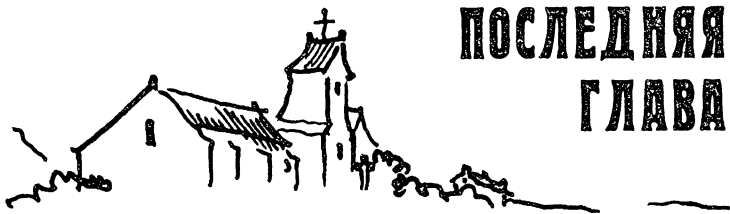
Но тебе, милый дружок, следовало бы оглядеться: повсюду, куда глаз хватает, появляются фигуры тут и там, богатые расточители, таланты под открытым небом,— ты и я, мы должны были бы приветствовать их. Я доживаю вечернюю пору и с трепетом чувствую их нарождение, это молодость с драгоценным камнем в глазу,— тебе досадно, что ее признают, ты завидуешь, что ее узнают. Потому что ты сам — ничто.



Тебе пишу я, новый дух Норвегии! Я написал это во время чумы, ради чумы. Я не могу остановить чумы, нет, ее уже не побороть больше, она царит под защитой нации, среди тарарабумбии. Но когда-нибудь она прекратится. А пока я делаю то, что могу, восставая против нее. Ты делаешь противоположное.

Конечно, я говорил на площади, а потому мой голос звучал иногда сипло, время от времени, быть может, он даже изменял мне. Но это еще не худшее. Хуже всего, если бы он совсем не звучал. Разве в этом была бы опасность? Нет, дружок, не для тебя, ты будешь жить, пока не умрешь, успокойся.

Но почему писал я именно тебе? Да, как ты думаешь? Ведь тебя не переубедить и не заставить поверить в истину моих умозаключений. Но я все-таки заставлю тебя понять, что я близок к истине. В таком случае я сделаю тебе уступку и не назову тебя идиотом.



**ПОСЛЕДНЯЯ  
ГЛАВА**



Да, мы странники на земле. Мы бредем по дорогам и пустырям, порой мы пробираемся ползком, порой мы идем с гордо поднятой головой и топчем друг друга. Как видел теперь Даниэль, он топтал других и сам подвергался той же участи.

Ничего не стоит нынче подняться в Торахус, где он жил; но выдался как-то год, когда это было опасно, нужно было иметь ружье при себе и поглядывать внимательно вокруг. Это продолжалось всего несколько дней каких-нибудь, но он чувствовал себя полновластным хозяином плоскогорья в тот раз и стрелял в людей,— давно это было, когда все мы были помоложе.

Когда-то Торахус был сэтером\* при усадьбе его отца; хозяйство на нем велось плохо и под конец он был заброшен, много лет он оставался в запустении. Отец его плохо управлялся со своим имуществом, в том числе со своей усадьбой, и даже с самим собой. Легко, конечно, так сболтнуть о человеке, но ведь была, конечно, и на это своя причина. Бедность началась, когда умерла у него жена, и бедность все увеличивалась, пока, наконец, лет через двадцать, он сам не умер от пьянства и усадьба не была продана. Даниэль спас сэтер и пару коров, переехал туда и зажил там. Жилось ему недурно, он был здоров, силен, молод — двадцать лет с небольшим. Старая служанка с усадьбы из преданности последовала за ним.

---

\* Сэтерами называются в Норвегии горные земельные участки, служащие обычно пастбищами для скота. На участках этих обычно воздвигают хижины для пастухов, проводящих здесь лето, пока скот пасется в горах.

Скоро сказка сказывается, но на деле долго и мучительно было оставлять село на глазах у всех и переселяться на сѣтер, и нелегкая предстояла Даниэлю работа на новом месте. Он взялся за нее, как следует настоящему мужчине: разрыхлял почву, выкорчевывал сосновые пни, изменил течение ручья; невероятную массу камней приходилось поднимать из земли. Никто бы не поверил, что Даниэль мог так приналечь на работу,— он не слишком-то много работал в свое время на усадьбе, должен быть, оттого, что находил это дело безнадежным. Когда ему пришлось теперь самому устраиваться, он показал себя совсем с другой стороны; он стал работником, он сделался в известном смысле сам себе хозяином и выполнял свои повседневные обязанности, какую бы внутреннюю побудительную причину к этому он ни имел. А нужно сказать, что такая причина у него действительно была.

Прошло года два; Даниэль был доволен и покладист; скуповат, быть может, немножко в одежде и речи, но уж положиться на него в его деле можно было. Войны, эпидемии и землетрясения,— там в мире,— его не касались, он ничего не читал.

Спустя несколько лет, место под хутором расширилось, Торахус стал усадьбой в миниатюре, Торахус — обитель громов. Он не томился здесь, наверху; жизнь эта была ему по сердцу. Одиночество было здесь, но не пустота. Вид был великолепный — на целые мили тянулось плоскогорье, а между ним и хутором зеленела лесная чаща. Работа занимала его. Когда он чувствовал жажду, он спускался к ручью со своим жестяным ведром, пил, сколько хотел и, наполнив его, захватывал с собой. Тихо было здесь, так красивы были здесь звезды, но не позолоченные бляхи, которые можно было видеть там, внизу, на вечно окутанной туманом, отцовской усадьбе, а такие красивые мерцающие свечечки. Такие славные были они: что-то милое было в них, совсем словно маленькие девочки. Он не чувствовал себя бедным и одиноким, каким в сущности был; ведь камни, которые он выворачивал из почвы, толпились, словно люди, вокруг него; у него были чисто личные отношения к каждому камню,— то были все старые знакомые. Он осилил их и заставил их выйти из земли.

Он имел привычку выходить снова из дому после ужина и блуждать вокруг, глядеть на красиво растущий лес, осматривать торфяники, которые следовало разработать; если бы у него было достаточно средств, он завел бы

лошадь, да. Но это придет со временем, конечно; в один прекрасный день будет и это, а местечко уж больно красивое.

Когда старая служанка совсем уже уляжется в каморке, а скот уснет в закуте, он снова входил в хижину. Изба встречала его, как встретила бы всякого другого, совершенно беспристрастно, но то была его изба, его и ничья больше. Она давала ему кров, и как бы укрывала его, такая она была тесная и маленькая. Тесные стены, низкая крыша; он входил в нее, продрогший на воздухе, а тут на очаге тлел огонь, чтобы было потеплее на ночь. Он невольно ухмылялся под влиянием приятного самочувствия и мог это делать — ведь никто его не видел. Там, снаружи, было одиночество. Ручеек журчал в нескольких шагах от строений. Он мирно укладывался в постель.

Так прошло года два; но, понятно, это не могло продолжаться до бесконечности.

На третий год он начал чаще навещать в село, к знакомым и на небольшие посиделки, в церковь, на аукционы. Там внизу жила также и его зазноба. Он был еще мальчишкой, слишком пылкого нрава, чтобы все время идти шагом, поэтому он бегом бежал к своей зазнобе. Расстояние было не маленькое, но и не непреодолимое. Еще детьми они нашли дорогу друг к другу, — она из своего дома, он — из своего. В лесу было полным-полно маленьких пригорков, через которые было так весело перескакивать; то и дело встречались красивые местечки в чаще, с зеленеющим орешником, белки, муравейники и душистая черемуха. Той же тропинкой ходил он и теперь, уже взрослым. Ему было по душе здесь и он мурлыкал себе под нос при виде знакомых камней и кочек, голова у него кружилась и, случалось, он начинал бежать вприпрыжку и вести себя так, как будто бы ему оставалось сделать всего несколько шагов, а не целых полмили. Порою он встречал ее по дороге, оба они конфузились того, что вышли друг другу навстречу, и придумывали различные объяснения, из которых ничего не выходило. Так было во времена вслед за окончанием школы и конфирмацией. Позже больше серьезности и меньше шуток закралось в их отношения: с усадьбой его отца дело было неладно, и она, с своей стороны, начала втихомолку подумывать, что водить с ним компанию выходило дело-то не очень надежное. Не из-за чего-нибудь такого, женихом и невестою они никогда не были раньше, как и теперь также, просто у них были хорошие отношения друг к другу, как и прежде.

Заглянули как-то в один прекрасный день двое чужих в Торахус. Они охотились на плоскогорьи. Один назвался доктором, другой — адвокатом. Они болтали с Даниэлем и смотрели, как он работает.

— Да у него тут целая маленькая усадьба,— сказал один из них.

Даниэль ухмыльнулся слегка при мысли, что не такая уж важная была эта усадьба, пара коров всего.

Но если приналечь еще в таком же роде, как он начал, так, пожалуй, и еще парочка коров прибавится.

О, да, Даниэль не считал этого таким уж невозможным.

Они были приглашены в хижину и получили молока; пили его, отдувались и принимались пить снова. Старая служанка получила целых две кроны. Славные малые, богатый народ. Даниэлю понравилась их компания. Он увязался за ними и снес их пожитки вниз, на село.

По дороге они разговорились обстоятельнее о Торахусе и поинтересовались, достаточно ли было леса на его земле.

— Это на топливо-то? Во много раз больше, чем надо.

Сколько у него было земли здесь на плоскогорьи?

Даниэль показал пальцем: полмили добрых в эту сторону, да столько же в другую, по дороге к соседнему сэтеру, другому Торахусу.

Перед расставаньем на селе, господа спросили:

— Не продашь ли ты свой сэтер?

Даниэль переспросил:

— Продать? Господа шутят, конечно,— это веселый, приятный народ...

— Мы не в шутку это,— сказал тот, который был доктором.

— Продать? — протянул Даниэль.— О, нет, уж позвольте оставить его за собой.

Они разошлись, каждый в свою сторону. Даниэль отправился домой. Он получил целых пять крон за услуги от того, который был адвокатом.

Нет, конечно же, он не мог продать Торахус, ведь это было его наследственное имение, у него не было никакого другого. Но он отлично понимал, что Торахус был таким местом, что и другим могло захотеться владеть им. Он подновил строения, хлопотал и привел все в порядок: поставил на ручье новый желоб, устроил длинную ограду из камней,— нельзя сказать, чтобы он не усердствовал у себя дома. И, когда он спускался вниз, на село, он вполне мог пригласить кой-кого заглянуть к нему, наверх. Они уж, конечно, не умерли бы там с голоду. Но деревня

необычайно медленно переходит от одного какого-нибудь старого, вкоренившегося представления к другому, новому: Даниэль был единственным сыном владельца усадьбы, а оказался при одном сэтере. Такова уж была, значит, его судьба и от этого ему уж было не отделаться.

Девушку звали Еленой.

Красавицей какой-нибудь она отнюдь не была, далеко нет,— у нее было прыщеватое лицо и бледный, от малокровия, цвет кожи. Но в общем она была хорошо сложена и так мило прислушивалась, когда он болтал с ней. Ведь, есть разница — слушать со вниманием или с видом превосходства. Что-то слегка ленивое, какая-то медлительность чувствовалась в ней. Казалось, она внимательно обдумывает его слова; этим-то она и производила хорошее впечатление на него. И, в общем, она была достаточно-таки хорошенькою. Он охотно взял бы ее за себя, сказал он.

Она раздумывала об этом.

Ведь он имел теперь свой собственный участок, и недурной. К тому же он мог ведь и обстроиться еще со временем, поставить избу, например.

— Ты не собираешься в скором времени вернуться со своего сэтера? — поинтересовалась она.

— То есть, как это?

— И зажить опять здесь, на деревне?

— Нет. Что у меня есть, то и есть. Разве этого мало тебе?

— Да,— сказала она задумчиво.

Много раз говорили они друг с другом таким образом, ни на чем не порешив. В конце концов, он все же добился от нее, что она, конечно, могла бы выйти за него; но она украдкой терла глаза, чтобы они стали влажными, и старалась изобразить слезы.

Он не принял это за отказ. У него и в мыслях не было отступить и умереть потом на ее могиле или что-нибудь в этом роде. Наоборот: он полагал, что добился того, чего хотел.

С неделю после этого, он был как-то внизу на базаре и повстречался там с Еленой, проводил ее домой и спросил ее, когда же она думает собраться к нему. Он подразумевал, срок, когда они поженятся.

Она не знала этого. Это от многого еще зависело.

Ну, если он ей не более противен и страшен, чем кто-либо другой, так она вполне могла бы пойти за него, и дело с концом.



Она улыбнулась на эти слова; ей представилось лишь забавным, что он мог бы быть ей противен или страшен. Она не стала вдаваться в рассуждения о сроке, — она уклонилась. То была, конечно, форма мягкого отказа. Она не говорила этого напрямик, но ведь должен же он был понять это: ей не хотелось переходить с усадьбы на сзетер. И чего он так пристаёт? Вся ее манера держаться за последнее время так ясно говорила, что если он останется при прежних своих условиях, так она и знать его не хочет. Не мог он, что ли, в конце концов, понять это!

Прекрасно. Но и на этот раз она прислушивалась к его словам с известною нежностью и, когда они расставались, ему почудилось, что она будто бы сделала ему глазки, или даже, пожалуй, не сделала глазок, но медленно опустила ресницы, словно в знак легкого огорчения по поводу разлуки.

Итак, ладно — Даниэль, довольный, направился домой, начав без всякой особой причины напевать себе что-то под нос.

Недели две спустя, когда весна уже была в полном разгаре и гусенята вылупились из яиц, Даниэль услышал достопримечательную новость:

— Ну, она все-таки окрутилась с ленсманским писарем...

— Кто?

— Кто? Не знаешь, что ли? Елена.

Даниэль не мог понять, — не верилось как-то, — Елена!

— Выкличка им была в последнее воскресенье.

— Елена? В это воскресенье? Правда?

— Он теперь к ленсману в секретари метит, а современем будет и ленсманом. Вот-то важной дамой станет Елена, я тебе доложу.

— Так и думал, что услышу какую-нибудь новость сегодня, — заставляет себя сказать Даниэль. — Дрозд кричал мне по дороге под ухо все время.

И он улыбается побелевшими губами.

Он отправился в Торахус с закупленными для своей экономки припасами и сразу же вернулся обратно на село. Недолго он был в пути. Что же ему собственно опять понадобилось внизу, на селе? Он сам не знал этого: он просто шел, бежал, останавливался на мгновение и принимался бежать дальше. Что-то бессмысленное было в его действиях. «Позабыл, что ли, что?» — сказали они ему, когда он вернулся обратно. «Да», — отвечал он. Он повстречался с сыном соседа, пригласившим его составить

ему компанию. У лавочника была каморка позади, они зашли туда и заказали выпивку. То был добрый приятель,— Гельмером звали его,— с которым он дружил по-соседству в течение всего детства,— ровесник ему, молодой парень. Они просидели там некоторое время, подошел еще кое-кто, составила небольшая компания, беседовавшая о всякой всячине; один рассказывал о том, что он переменит место после Юрьева дня, другой, что ему нужно отправить телятину своему брату, живущему в Христиании. Да, беседа вертелась на разных мелочах их скромной жизни.

Все они украдкой поглядывали на Даниэля. Они знали, что приключилось с ним. Известное ведь было дело, что он должен был взять за себя Елену, а теперь вот потерял ее. Бывает такое, такова уж жизнь. Они избегали упоминать ее имя, вместо этого они выказывали свое сочувствие тем, что учащенные чокались с ним, приглашая выпить вместе, и заводили разговор об его сэтере, о Торахусе, из которого ведь он сделал целую усадьбу. Молодец он был парень в своем роде.

Сам Даниэль сидел молча и позволял обходиться с собою, словно с больным. Это внимание со стороны знакомых было ему очень приятно. Не без того было, пожалуй, что он немножко и представлялся и старался казаться больше повесившим голову, чем был на самом деле. За два свои путешествия на плоскогорье и обратно он уже успел поостыть от охватившей его было первоначально горячки, да к тому же начинала оказывать свое действие и выпивка, делая его развязнее. Наконец, не в состоянии сдерживаться более, он спросил:

— Был кто из вас в церкви в прошедшее воскресенье? Да, многие были. Почему это он спрашивает?

— Да, так, ни почему.

Трое крестин было, да одни похороны.

— Да, и было оглашение ленсманского писаря,— сказал кто-то наконец.

Другой хочет замять разговор, он обращается к Даниэлю:

— Слышал я, что у тебя пара коров есть в Торахусе. Лошадь-то будешь заводить?

Долгая пауза. Они начинают понемногу заговаривать о других вещах, наконец, Даниэль отвечает:

— Буду ли я заводить лошадь? А на что мне она? На что мне весь Торахус теперь?

Он сидел в компании товарищей и ровесников на селе. Быть может, не следовало ему слишком-то уж представляться; эти молодые парни были простыми крестьянами, они желали ему всяческого добра, но они понять не могли, как это скорбь по зазнобе может обесценить сѣтер, хутор на плоскогорьи. Он вскоре стал надоедать им со своим понурым видом, и Даниэлю пришлось, для сохранения достоинства, прихвастнуть немножко. К черту всю эту историю, конечно! Но пусть немного его поберегутся, кое-кому не мешает быть настороже.

— Да,— сказали с равнодушным видом парни,— за твое здоровье! — прибавили они и более уже не возвращались к этому предмету.

Затем, по одному, они ушли, когда стало делаться скучно, а тот, который должен был отправить с поездом телятину, пошел искать лавочника — помочь ему в этом деле. Даниэль и Гельмер остались одни со своими трубками.

— Гельмер, пойду-ка я, да подложу огоньку под один домик,— говорит Даниэль и, как ни в чем не бывало, продолжает курить.

Собеседник разинул рот от изумления.

— Э, нет,— отвечает он, наконец, улыбаясь и отрицательно покачивая головой.

— Сделаю так, увидишь,— говорит Даниэль.— Пусть погреемся хорошенько.

— Нет, глупости все это!

Даниэль только кивнул головою. Товарищ нашелся и сказал:

— Да и до ленсмана далеко.

— То есть, как это?

— Ты должен же явиться к ленсману после того, как сделаешь это.

— Зачем это? — спрашивает заинтересованный Даниэль.

— Потому что иначе тебя схватят, посадят в тюрьму и приговорят к смерти.

— Пусть попробуют.

— Нет, опасно затевать такие штуки, когда живешь далеко от ленсмана,— заключает Гельмер. И чтобы разубедить собеседника еще более, он прибавляет; — Да и к тому же, разве ты думаешь, что она стоит того? Ну, идем, что ли.

Они пошли вместе до перекрестка, затем распрощались.

— Слушай, Гельмер,— крикнул ему вслед Даниэль,— я сделаю это.

— А, глупость! — бросил через плечо Гельмер.

Затем один из них отправился домой, а другой пошел поджигать дом.

Он был на месте часам к девяти вечера и уселся на закраине участка — подождать, пока смеркнется. Погода была, как обычно случается раннею весною, свежая; к вечеру подморозило, но выпивка так разогрела Даниэля, что он не чувствовал холода. Из трубы дома, стоявшего перед ним, еще вился дымок, но на дворе не видно было ни души, все ужинали. Вид этого дома, знакомого окна в горнице, воспоминания, неперебродивший еще хмельной угар заставляли сердце Даниэля обливаться кровью. Он всхлипывал и с потерянным видом качал головой. Под конец он заснул.

Он проснулся, продрогши до костей. Введенный в заблуждение сумерками, он решил, что это рассвет. «Слишком поздно предпринимать что-либо», подумал он и побрел домой. Он прошел уже добрую часть пути, как вдруг остановился, как вкопанный: да ведь это вовсе не утро, а наоборот, сейчас около полуночи, как раз подходящее время. Если бы то была утренняя заря, так ведь птицы пели бы. Экий он дурак-то! Но возвращаться сейчас, проделать еще раз эту дорогу — этого он не мог, слишком усталым и подавленным он себя чувствовал. Приходилось отложить это дело до другого раза.

Ничего не вышло-таки из этого поджога, нет, нет, ровно ничего, одна болтовня только и бахвальство. Но о Даниэле пошла молва из-за этой болтовни. Его фразы распространились и засели в памяти у жителей села: подумать только, что такое могло приключиться с Даниэлем, парнем из хорошего, зажиточного дома...

Они с опаскою поглядывали на него, когда он спускался вниз, на село. Даниэль хорошо заметил, что он потерял бывшее расположение к себе своих знакомых. Соседский парень, Гельмер, был, правда, тем же, что и раньше, и опровергал сплетни, как только мог; но деревня не любит изменять раз установившейся точки зрения и всегда склонна более верить худшему.

Таким-то образом Даниэль вновь стал более придерживаться дома, работал и выполнял труд настоящего мужчины. На дворе была весна, а так как у него были одни руки, то дела у него было вдосталь. И кто поверил бы этому? Даниэль скоро-таки преодолел свою сердечную тоску: он не потерял ни сна, ни аппетита. Нельзя сказать, чтобы он не погорячился сначала; но то была особая

статья; он образумился, взял себя в руки и почувствовал, что каким он был, таким и остался. Сорви, понюхай и вон выбрось — вот, что такое ее любовь. А эта вероломная манера тянуть дело годами с разными там улыбочками и поддакиваниями, а не раз и с поцелуями и прочим милованием, не считая, что это всерьез, на всю жизнь. Но все равно, пусть. Он задумал пристройку к своему домику на сэтере; он сделает ее, видит бог, ничто не остановит его. Разве дерево для нее не лежит у него, бревно здесь, другое там, рассеянными по Торахусскому лесу? Он валил эти деревья по вечерам, поодиночке, гуляя по лесу после дневных работ; то была сплошь горная сосна, звеневшая под топором, словно железо, — несокрушимое дерево.

Да, будет пристройка. Это будет, может быть, не таким уже бессмертным подвигом, просто результат честолюбия, забравшегося ему в голову. По-видимому, ему и не требовалось большого дома теперь, когда Елена порвала с ним — совершенно правильно; ну, а все же, домик-то будет, да!

Молодой, сильный парень не может же просидеть весь свой век слепым, когда он зрячий. Протухнуть ему, что ли, здесь, на плоскогорьи, без толку? Он ведь годами видел в своем воображении перед собою этот дом; никому не должен был он глаз колоть ненужными выкрутасами; но он должен был быть как раз такой величины, как нужно, в один этаж, с тремя окнами на село.

По осени явились опять оба охотника, адвокат и доктор.

Для виду были при них ружья и прочая охотничья снасть, но собаки с ними не было и дичи никакой они не стреляли.

Они спросили Даниэля, не хочет ли он продать свой сэтер, свою усадьбу.

— О, нет, — повторил он свой ответ, улыбаясь.

— И в этом году нет?

— Нет.

Да ведь может же он сказать, сколько он желал бы получить, может назначить цену?

— Нет.

— Ага, — сказали они. — Это крестьянин, он уперся на своем, — подумали они вероятно. Тогда они попытались раздражить его тем что ведь они могли купить соседний сэтер, другой Торахус.

Против этого Даниэль ничего не имел.

Там было столько же земли, он только лежал немного выше, на ровном месте, а не на склоне, вот и все неудобства, которые были в нем.

— Разве это не все равно? — спросил Даниэль.

Не для той только цели, для которой они, эти господа, хотели приобрести его.

Пауза.

— Но, — говорили они, — и местность была такая же, как и здесь, то же самое Торахусское плоскогорье, лес на топливо, вода, вид, те же четыреста метров высоты.

— Да, — подтвердил Даниэль.

Пауза.

— Так, следовательно, никакого дела с ним не выйдет?

— О, нет.

При том дело и осталось.

Несколько дней спустя, по селу разнесся слух о том, что соседний сэтэр, правда, был продан. Эти два господина говорили, значит, правду. Они хотели устроить санаторию там, наверху — приют для больных и слабых. То не были спекулянты, то были благодетели и друзья человечества с широкими планами. И однажды, недели две спустя, когда Даниэль ломал камни на поляне, до него донесся звук топора в направлении с соседнего сэтэра. Он пошел на звук и наткнулся на четырех рабочих, прокладывавших дорогу по плоскогорью.

То были люди из села; Даниэль знал их и пустился в беседу с ними.

Да все, что ты слышал, было верно, пошла нынче суматоха на Торахусском плоскогорьи, сохрани нас боже. Они показали через плечо, что там, в стороне, рыли землю и закладывали фундамент для огромного дворца.

Даниэль выложил им, что господа эти были сначала у него, но он не согласился продать.

— Ну, и дурак же ты был, — решили эти люди, — ведь господа-то отвалили целую кучу денег за этот сэтэр, а выгон-то на всем плоскогорьи так и стоит нескошенным.

— Сколько же дали господа?

Люди назвали не слишком уж сумасбродно-высокую цифру.

— Ну, видно, нужны ему были очень деньги, тому, кто получил это (а был это владелец его соседской, по-старому, усадьбы, отец Гельмера). Что-ж, желаю ему счастья.

Даниэль пошел домой, размышляя по дороге о происшедшем. Да, большая перемена, но что же из того? Он,

который не пошел навстречу желаниям Елены, неужели он должен был продать и покинуть свой Торахус, свою маленькую усадьбу, и вернуться обратно на село бездомным? Разве Торахус по-прежнему не был достаточно хорош для него? Он еще покажет им современем. У него были свои планы.

Так как плотники внизу, на селе, раз за разом все обещали ему прийти на постройку и не приходили, то Даниэль достал двух людей из соседнего села. Он сам заранее тесал и стругал бревна. Два плотника взялись ретиво за дело и сложили постройку в две недели. Получилась новая изба и новая клеть при ней; все было так ладно и просторно, как раз по нему, такая красивая и белая изба получилась. Две двери и три окна плотники должны были сделать дома и привезти их готовыми по первопутку. Все шло так, как ему хотелось. Во всем, в каждой мелочи, казалось, был заложен особый смысл и значение. Все шло прекрасно; к лету корова принесла теленка, так что у него стало уже три коровы. Лошадь? Ну да, когда у него будет четыре коровы, он начнет подумывать о лошади, а до того времени он сам себе отлично послужит лошадью.

Порядочно работы было у него с лугами, но зато предвиделись большие выгоды. То были болота, очень топкие, но с такой дивной землей; тут нужно было провести каналы. Даниэль ретиво взялся за дело.

## ГЛАВА II

---

Воз за возом тянулись по плоскогорью всю зиму,— караваны возов с тюками для санаторского врача. Все лошади на селе были в работе. Да, многие даже прикупили лошадей ради этого извоза и продали их, когда пришла к концу зима, а с нею и перевозка.

Некоторые люди покачивали головой при виде всего этого мощного аппарата; но то были люди, ничего ровно не понимавшие. Знали они, что ли, что было нужно, чтобы воздвигнуть такой дворец! Одних бревен сколько, досок, цемента, гвоздей; а все эти насосы, краска, черепица для крыш! Ведь там было двести окон в одном главном корпусе; а ведь еще было пять пристроек со всякой всячиной, сколько это возов-то с одним оконным стеклом выходило! А прибавьте к этому еще с полсотни печей, сколько это возов-то выйдет! А что касается внутренней обстановки,

так там была всякого сорта мебель, половые ковры, лампы, постельное белье, обои, столовое белье, стекло, тысячи вещей, много тысяч вещей. Под конец прибыли съестные припасы. Они прибыли с новым караваном в ящиках и бочках и в виде живого скота. Пригнали целое стадо коров, свиней и птицы. Теперь оставалось ожидать лишь гостей, пациентов, и, после торжественного открытия санатории, прибыли также и они. Но чего только стоило все это устроить, этот дворец со всем его содержимым, все эти пристройки, так называемые «аннексы», дорожки и террасы вокруг! Дух захватывало, если только сообразить всю эту стоимость. Но, по-видимому, это не играло большой роли ни для кого. Предприятие было так прочно обосновано: тысяча акций по сто крон каждая, вполне покрытый подпиской основной капитал; общее собрание акционеров и собственный устав. Ни в чем не чувствовалось нехватки во всем этом, в совершенстве оборудованном, деле, и, когда вся прислуга была уже на месте, начали прибывать и гости. Все колеса завертелись сразу и с такой ужасающей быстротой, что спицы слились в них в сплошной круг, они стали похожи на широко раскрытые глаза — эти колеса, так быстро вертелись они. Люди взбирались сюда, наверх, из села по воскресеньям и осматривались кругом и не могли в себя прийти от смущения; они не могли вместить всего этого, масштаб их был слишком мал. Они никогда не видели раньше таких опасных скатов на крышах человеческого жилья и никогда не приходилось им видеть прежде столько колонн в одном месте, и колонны-то эти поддерживали балконы вплоть до самого чердака. А на самом коньке крыши тянулся к небу небольшой флагшток, со своим блестящим шаром из посеребренного стекла. Одним словом, эти строения как-то не укладывались в крестьянском уме, эти балконы, стоявшие на колоннах, на спичках каких-то, напоминали им о карточных домиках. В них не было ни прочности, ни стильности, ни характера. Уж эти крестьяне! Они лежали на брюхе, там внизу, на пригорке, и глазели вверх на дворец, и им казалось, что все, что они видели, было лишь каким-то маревом: разве возможно, чтобы эти строения не были населены! Пристало ли домам вырастать таким образом из-под земли, быть отделанными и потом быть брошенными ни к чему? Ведь, они стояли без людей. На хлеву был большой купол, но в нем не было никакого церковного колокола; амбар на столбах в норвежском стиле был снабжен башней, но не было обеденного колокола. Эти колокола, быть может,



имелись в виду, но должны были прибыть позднее. Но едва ли могло прибыть еще что-нибудь дополнительно, ведь строительная смета давно была превышена, как говорили. Впрочем, это по-видимому, не играло особенно большой роли, Торахусская санатория, конечно, могла выдержать всякую ревизию.

И порой им, этим сельским обывателям, лежавшим на брюхе на пригорке и мирно глазевшим, начинало чудиться, что и люди-то, бродившие здесь по дворам и дорожкам, были словно какие-то не настоящие люди. Боже ты милостивый, многие из них были прямо тени какие-то, почти ни одного здорового не было видно. Тут были люди с синими носами, хотя не было мороза; зато были здесь и дети с голыми коленками, хотя погода была еще прохладная. Что бы могло все это обозначать? Были там и дамы, визжавшие истерически, если увидят муравья у себя на рукаве.

О, людей там было много! Недостатка в них не было. Они бродили кругом, они говорили, они были одеты; некоторые из них кашляли так, что слышно было издалека. Некоторые были тощи, словно привидения, им нельзя было работать физически, и должны были смиренно сидеть на солнышке; другие возились над какой-то машиной, там на горе, над так называемым «силомером», чтобы согнать с себя жир. Все страдали тем или другим, так уж бог определил. Хуже всего было с нервно-больными: эти страдали всеми болезнями, существующими в поднебесной, зараз, и с ними приходилось говорить, словно с детьми. Там была, например, некая фру Рубен, она была так толста, что еле могла протиснуться в дверь собственной комнаты, но она совсем не плохо встречала тех, кто сводил ее толщину до общепринятых размеров. Даже тех, кто прямо-таки отрицал, что она вообще была толста — нет, она только конфузливо улыбалась при этом; но когда доктор выражал сомнение в ее бессоннице, когда он позволял себе какую-либо шутку по поводу ее нервов, она приходила в ярость и глаза ее сверкали. В один прекрасный день доктор обронил как-то мимоходом:

— Замечательно, как вы поправились здесь, фру Рубен. Вы теперь выглядите вполне здоровой.

Фру Рубен не ответила, лишь плюнула вслед доктору и пошла своим путем.

Впрочем, многие плевали ему вслед; многие презирали этого человека, по какой бы то ни было причине. Непоседливый он был человек. С пол-беды еще было, что

он не прописывал капель и медикаментов; не потому, что знал, что они не помогут; он делал ведь это из услужливости и любезности, он так охотно шел навстречу желаниям своих пациентов. Так ведь это был человек, который вместе с адвокатом Робертсеном вызвал из земли всю эту санаторию, так можно ведь ждать достоинства и солидности в его манере держаться. Но нет! Он издалека уже кричал встречным «доброе утра» и так преувеличенно низко опускал шляпу, что, казалось, он собирается подметать дорогу ее пером. И не следует думать, что тут было какое-нибудь паясничество, нет, то была лишь любезность, фамильярность. Многие отворачивались, чтобы только избежать этой навязчивой вежливости, но это не помогало: доктор кричал им вслед. Ему также страшно хотелось быть остроумным и отпускать тонкие и вежливые шуточки, а выходило-то это у него так безнадежно слабо. Нет, он был попросту смышленным деревенским парнем, сделавшимся доктором. Но не было сомнения в том, что намерения-то у него были хорошие, это он выказывал в своих заботах о пациентах. Кто бы мог быть таким всеобщим другом, как он? Не раз он пересаливал в этом и унижал себя, чтобы послужить на пользу ближнему. Да, для пользы ближнего он умалял иной раз свое значение врача и говорил так: «Этот изъясничик, господин Бертельсен, при вашем уме и интеллигентности, вы гораздо легче могли бы излечить массажем, чем я своими каплями». Может ли врач говорить таким образом, не подрывая своего авторитета? В результате господин Бертельсен, веривший в капли, переставал верить в врача. Недостатком доктора Эйена было то, что он слишком много говорил, а не держался молчаливо и таинственно. Доктор должен казаться чем-то выше понимания обыкновенных смертных, он должен давать понять, что он знает несколько побольше, чем «отче наш», а что мог дать понять доктор Эйен?

В один прекрасный день прибежали бегом из лесу господин и дама, и господин этот был не кто иной, как господин Бертельсен, дама же была фрекен Эллингсен, красивая, высокая дама, слегка только переутомившаяся за телеграфным аппаратом. Эта пара прибежала бегом и пустилась в поиски доктора. Не без того было, что господин Бертельсен бормотал сквозь зубы: «В кои веки раз потребуется доктор, так вот тут его как раз и не найти». По-видимому, господину Бертельсену было к спеху, он держал у щеки носовой платок, слегка ныл и выказывал признаки беспокойства. «Это, должно быть, муравей его

укусил»,— сказал кто-то насмешливо. Когда господин Бертельсен нашел, наконец, доктора, то, оказалось, что это не муравей укусил его, а щека его была уколота шляпной булавкой, шляпной булавкой фрекен Эллингсен. Опасным выглядело это ранение,— смертельным прямо; щека вздулась горой. Фрекен была в отчаянии:

— О, это заражение крови,— всхлипывала она.

— Позвольте мне посмотреть,— сказал доктор.— Шляпной булавкой, говорите вы? Ну, так это пустяки.

— Нет, нет, это несомненно заражение крови,— настаивала дама.

Вместо того, чтобы тут-то и напустить на себя загадочный вид и побегать в аптеку за дезинфицирующей жидкостью и перевязочным материалом, доктор отвечает на все это улыбкой и говорит пациенту:

— Спуститесь-ка к ручью, господин Бертельсен, и промойте вашу щеку холодной водой. Но вы можете и этого не делать, впрочем; опухоль спадет сама собой через сутки.

Это уж было, поистине, легкомысленное отношение к делу. Господин Бертельсен был разочарован. Ему не хотелось вовсе показать, что он испугался из-за пустяков, и он переспросил:

— Так, значит, вполне исключается возможность заражения крови? Ведь такая сильная опухоль. Я думаю, что острие булавки...

— Совершенно исключается.— Шаловливый бесенок вновь играет в глазах доктора Эйена, ему необходимо проявить себя и он говорит:— Никогда не поверил бы, что в вас есть что-то ядовитое, фрекен Эллингсен, вы совсем не так выглядите.

Остановись он на этом месте и не заходи дальше, он, может быть, ничего и не потерял бы; но он пустился изощрять свое остроумие, он сделал из шляпной булавки стрелу амура, выпущенную фрекен Эллингсен. Становилось все более и более невозможным слушать его, и господин Бертельсен обернулся к своей даме со словами:

— Пойду-ка я, на всякий случай, примочу борной водой.

— Нет, этого не требуется,— сказал доктор. Он начал пояснять случившееся:— Ведь здесь несомненно имело место кровоизлияние, вздувшее щеку. Но кровоизлияние это было только подкожное. Если он теперь опять разбередит ранку, то кровь выйдет и опухоль опадет, но как только ранка вновь затянется, кровь соберется снова.

Оставьте щеку в покое,— убеждал он,— тогда кровь вернется обратно туда, куда ей следует.

Слова, слова. Все это было верно, совершенно правильно сказано — и все же это были только слова.

— Так мы пойдем? — спрашивает господин Бертельсен свою даму.

И доктор подрывает свой авторитет еще более, крикнув вслед этой паре:

— Впрочем, можете примачивать и борной, вполне. Компресс из борной воды отлично поможет.

— Ну, слыхивали ли вы что-нибудь подобное? — говорит господин Бертельсен своей даме и сердито фыркает.

Господин Бертельсен недоволен сам собой и всей этой историей. Он прекрасно слышал, как местные остряки говорили об укусившем его муравье; но это говорилось просто из зависти, так как он был богатым молодым человеком, членом лесопромышленной фирмы «Бертельсен и сын», первое лицо здесь в санатории, местный лев, которому по праву должна была достаться красивейшая дама. Шутники ничего не могли изменить в этом положении вещей, его нельзя было оттереть в тень. Ко всему прочему присоединилось еще и то обстоятельство, что именно его фирма поставляла лесные материалы для постройки санатории и могла по этому случаю приобрести добрую долю ее акций. Как же можно было оттереть молодого господина Бертельсена? Ведь в действительности то по его именно милости шутники получили возможность пребывать здесь, одно мановение его руки — и всей этой толпы не было бы. Он не делал этого — он был снисходительный человек.

Отношение господина Бертельсена к санатории отнюдь не составляло тайны; он сам не скрывал его, и в этом месте, где нечего было делать, как только сплетничать друг о друге, оно получило широкую огласку.

Можно было бы подумать, что завистливые шутники будут, узнав это, благодарны за его корректное и снисходительное отношение к ним, но нет.

— Ну посмотрите,— говорили они,— что такое нужно было делать этому Бертельсону так близко от шляпной булавки фрекен Эллингсен? Какого черта ему там понадобилось! Ну, оцарапать руку, это еще можно себе представить: ее шляпа могла зацепиться за какую-нибудь ветку в лесу, но щеку, рожу свою! Тьфу, черт, что за противный малый! — И ведь нисколько не помогало то обстоятельство, что он ходил с аккуратно заглаженной

складкой на брюках и в белых гамашах, и жил в наиболее шикарной комнате в санатории — ведь, все это было только потому, что отец его был крупный торговец лесом, сам же он был всего только какой-то мелкой сошкой в предприятии.

— Но ведь он же является соучастником фирмы,— попробовал возразить кто-то.

— Ну и что же? — перебили прочие, яростно воззрившись на него.

— Да, ничего. Я только упомянул кстати. Он является, следовательно, совладельцем предприятия.

— Ну и что же из того? — переспросили они вновь.

— Когда старик отец умрет, он станет ведь владельцем всех его досок.

Они не могли понять, какую связь имело это с предметом разговора.

Но у человека, отколовшегося, таким образом, от компании злословивших, была, быть может, своя особая цель при этом, свой собственный план, бог его знает. То был молодой человек, игравший на фортепиано, Эйде, при крещении получивший имя Сельмер, Сельмер Эйде, следовательно,— очень красивый малый, но с синюшным цветом лица, изящный, хоть несколько хрупкий на вид. Когда он сидел за фортепиано и видно было только его худощавую спину, он производил болезненное впечатление. Но во время игры он был весь воодушевление. Для пациентов, когда они собирались вместе по вечерам в салоне, он был незаменимым человеком. Фру Рубен просила Чайковского, и он играл; фрекен Д'Эспар просила Сибелиуса — и он играл. Он готов был услужить всем и в награду за это жил за полцены в санатории.

Эта фрекен Д'Эспар только что приехала, у нее был отпуск. Она вовсе не являлась пациенткой,— это была жизнерадостная, веселая барышня, с ямочками на щеках и темно-кариими глазами. Что ей здесь собственно понадобилось? Рассказывали, что семья ее видала лучшие дни, но сейчас впала в бедность. Отчасти это было правильно. В один прекрасный день некий иммигрант прибыл в эту страну, где все чужое в большей чести, чем национальное. Ему было достаточно лишь поместить свой адрес на визитной карточке, чтобы стать здесь чем-то. Об этом загадочном господине Д'Эспар знали только, что он перебивается чем придется, большею частью, уроками французского языка. Таким путем он получил доступ в хорошие дома, приобрел положение, работал усердно и

заставил всех проникнуться к нему уважением только на основании того, что он был иностранцем. С течением времени был он помолвлен. Все, казалось, шло хорошо. Он, несомненно, и женился бы, но тут запротестовала его жена, оставшаяся на родине, и после этого ему пришлось ступеваться.

Таков был родоначальник. Но его норвежской невесте пришлось остаться на родине со своим позором и все растущим животом,— она должна была сделаться матерью.

Ребенок уродился, как две капли воды, похожий на отца. Он,— это была девочка,— получил в наследство от д'Эспара эту достопримечательную фамилию, не унаследовав больше ничего от своего блестящего отца. Матери ее пришлось спуститься ступени на три по общественной лестнице, чтобы, вообще, выйти замуж, ну, а у маленькой Юлии д'Эспар своя фамилия, которая поднимает ее ступени на две вверх. Она сидит в конторе в Христиании, потому что носит фамилию д'Эспар, путешествовала и училась по-французски. Не знает она толком ничего, говорит по-норвежски простым языком среднего класса, поет не лучше других, не училась домоводству, не умеет делать повседневной работы, даже сшить себе кофточка не может, но зато может стучать на пишущей машинке и училась по-французски.

Бедная Юлия д'Эспар!

Но она такая хорошенькая, черноглазая и бойкая; она, быть может, прилагает немного старания к тому, чтобы казаться более живой, чем она есть на самом деле. Чем другим она могла дать понять, к какой нации она принадлежала? Она ведь француженка, не просто француженка, в ней кровь француженки-южанки. Будь там как угодно с ее незаконным происхождением, во всяком случае она дитя любви. Счастливая Юлия д'Эспар! И как это удивительно всегда все выходит: с самого того дня, как она прибыла в санаторию, она уже приобрела здесь известное значение. Фрекен Эллингсен не была уже более единственной в своем роде жемужиной в Торахусе.

Фрекен д'Эспар могла делать то, чего не делали другие. Она могла прекраснейшим образом отозваться о салате за обеденным столом, что он здесь совсем не такой, как во Франции, о, большая разница! Когда дамы сидели и слушали музыку, они предоставляли пианисту самому выбирать, что он желает сыграть, и охотно переносили, когда фру Рубен просила сыграть что-нибудь из Чайковского, потому что она была нервно-больная и богата. Но

фрекен д'Эспар,— она просила сыграть что-нибудь из Сибелиуса, хотя была и здорова и бедна, бедовая девица! И что она понимала в Сибелиусе? «Не попросить ли нам лучше господина Сельмера Эйде сыграть, что он хочет?» — процедила одна раздраженная старая дева. «Да, да,» — присоединились другие. И затем они начали вполголоса сплетничать по этому поводу. Но все ведь отлично понимали, почему фрекен д'Эспар просила Сибелиуса: это было потому, что она сидела на диване вместе с одним финляндцем, ее кавалером, аристократом из древнего рода, Флемингом; это ему она хотела оказать внимание. Бедовая девица, эта д'Эспар! После музыки было как раз подходящее время идти спать, но фрекен д'Эспар отправилась гулять. Притом отправилась не одна, а потащила с собой финляндца Флеминга, которому запрещено было, с его грудной болезнью, находиться на холодном вечернем воздухе. Они отправились и посмотрели по дороге на барометр, висевший в ящичке под стеклом,— он стоял, насколько они могли разобрать в сумерках, на черте: сухая погода.

— Да, но холодновато,— сказал господин Флеминг, поднимая воротник пальто.

Фрекен заметила, что им нужно идти побыстрее. Она сама была одета до смешного легко, а на шее так ровно ничего не было.

Но господин Флеминг поинтересовался, не висело ли в коридоре объявление, предлагавшее гостям ложиться в постель в десять часов.

Да, там было такое. Здесь ведь развешаны всевозможные объявления.

Господин Флеминг улыбнулся и сказал, что она утомила его. Он с трудом дышал, держался за грудь и покашливал.

Они присели отдохнуть.

— Это было тоже запретною вещью,— пояснил он.

— И это также?

— Да. И быстро ходить, чтобы не возбуждать кашля, и садиться отдыхать.

— Все запрещено,— сказала она вполголоса, как бы про себя. Затем она объяснила, что то объявление в коридоре было вывешено собственно только для стариков, мучившихся бессоницей. Оно предназначалось не для них, молодежи.

Она встала, и они отправились дальше. Они шли по направлению к Торахусскому сэтеру и увидели перед собою маленькую усадьбу Даниэля с ее низенькими строениями.

Здесь стояла такая тишина, ни собаки, ни дыму из трубы. Люди крепко спали, скот в хлеву также.

— Подумать только, что и здесь живут люди! — задумчиво изрекла фрекен.

— Да. И кто знает, не живут ли они счастливо здесь, — отозвался господин Флеминг.

Фрекен в полумраке прошла немного вперед, чтобы получше разглядеть все: некрашенные, тесанные стены, никаких занавесей на окнах, торфяная крыша на каждой постройке. Почему же они не повесили белых занавесей хотя бы в этой новой избе? Ведь она так нарядно выглядела со своими тремя окнами. Люди этого сорта не умели устраиваться уютно.

— Они, конечно, устроились по собственному вкусу, — заметил Флеминг. — И Бог знает, не есть ли это именно истинный вкус: уют скромного довольства.

Они разговорились об этом по пути домой. Господин Флеминг был весел и ласков, с тем налетом легкой разочарованности, который свойственен большим в первом периоде болезни: они стряхивают с себя это настроение впоследствии и мужественно борются за то, чтобы не умереть; но в первой стадии у них наблюдается упадок духа и подавленность. Чтобы подбодрить его, фрекен просила его рассказать ей что-нибудь об его родине, об его большом поместье в Финляндии, имении с каменным дворцом, окруженным тянувшимися на милю вокруг лесами и полями. Они вернулись домой около полуночи, идти было довольно далеко, и господин Флеминг немного покашливал. Вход был заперт, но господин Флеминг постучал слегка своим бриллиантовым перстнем в окно, и им открыли.

Все могло бы сойти отлично, им вовсе не нужно было беспокоить страдавших бессонницей стариков, но фрекен д'Эспар понадобилась книжка, которую она, конечно, оставила в салоне или в каком-либо другом месте. Она отправилась в странствие, открывая скрипевшие двери; она нашла одну из своих книг, но эта была не та, которую она искала, и она отправилась дальше. Она нашла еще одну, но и эта оказалась не той, так что ей пришлось вернуться и удовольствоваться первой книжкой.

О, эти книжки фрекен д'Эспар! Они оставались брошенными везде, где она сидела и читала, исключительно французские книжки, романы, желтые томики на дешевой бумаге. Все эти литературные ценности средней руки составляли важнейшую часть багажа фрекен; книги-то и



делали его таким тяжелым, что кучер надрывался над этим чемоданом. На каждой книжке была надписана фамилия фрекен Жюли д'Эспар, чтобы не произошло никакой ошибки, кто именно в санатории знал по-французски. Ее спрашивали не без ядовитости, не читает ли она несколько книг зараз, так много их валяется кругом. Нет, этого она не делала. И она добавляла на своем норвежском диалекте: «Но я думала, что если кому захочется взять почитать французскую книжку, так она к услугам, пожалуйста». — «Я, со своей стороны, не прочел и двадцатой части наших собственных книг», — был ответ. — «Что вы, даже норвежских?..» — сказала фрекен д'Эспар.

Это было глупо, но многие негодовали на фрекен; такой иностранкой она выглядела, так веяло от нее духом какого-то превосходства, и так она не считалась с местными условиями. Пасторские дочери, старые девы, так те думали, что вполне достаточно верить в Бога и показываться на люди прилично и скромно одетыми, — так ведь нет. Они не шатались и не скрипели дверями по ночам, а фрекен д'Эспар делала это. На утро они пожаловались инспектору, инспектор поговорил по этому поводу с заведующей, заведующая пошла к доктору. Да, доктор обещал подумать об этом и вполне согласился, что такой беспорядок следует устранить. Со своей обычной, легкомысленной и жизнерадостной манерой он затрагивает эту тему со старухами, не упуская случая расхвалить их за то, что, несмотря ни на что, они так отлично поправляются в Торахусе, а фрекен д'Эспар он предостерегающе грозит пальцем, заставляя ее рассмеяться. С ней он не говорил об этом, так как она пользовалась симпатиями мужчин. Он пошел к господину Флемингу; слабогрудый больной должен находиться в постели по ночам.

— Вам следовало бы лучше выходить гулять днем, — сказал доктор господину Флемингу.

— Да.

— Днем при солнышке.

— О, да, но к чему все это, зачем бороться? — спросил господин Флеминг, бледный от утреннего холода и уныния. — Посмотрите на мои ногти, какие они стали синие.

— Ногти? Ерунда. Вам следует пойти поудить форелей там наверху.

— Да форели не ловятся на солнце.

— О, нет. Отчего же? На муху. Тут есть и другие люди, кто удит на муху, например, Даниэль с сэтера. Мы найдем, погодите, хорошенькое местечко. Я пойду с вами.

— Знаете ли что, доктор, я сегодня ночью опять обратил внимание на свою грудную клетку: левая сторона западает.

— Ха-ха,— засмеялся доктор.— Ни у одного человека грудь не бывает одинаковой высоты с обеих сторон, ни у одного. Не думайте только об этом. Ведь кровь у вас горлом не идет?

— Глубоко запала,— повторяет господин Флеминг.— И по ночам я потею.

— Но кровь горлом у вас не идет?

— Но я кашляю. Я кашлял ночью, когда гулял.

— Ну, конечно,— воскликнул доктор.— Это фрекен д'Эспар сделала вас таким легкомысленным.

— Нет, нет, я сам этого хотел: я ищу ее общества.

— Ну, что ж, и прекрасно. Ищите его себе на здоровье, только днем.

— Раз вы упомянули о фрекен д'Эспар,— сказал господин Флеминг,— то должен сказать вам, что я так благодарен ей за то, что она составляет мне компанию. Она такая веселая и добрая, она служит мне опорой. Мы так много говорим, я рассказываю ей о своей родине.

— Послушайте,— сказал доктор, чтобы положить конец этому.— Вы должны ложиться в постель в 10 часов вечера, и вы будете опять здоровы.

Господин Флеминг принимает это с недоверчивой улыбкой:

— Опять здоров?

— Опять здоровы,— сказал доктор уверенным тоном и кивнул в подтверждение головой.— А теперь я дам вам капли от кашля.

Надежда загорелась в глазах господина Флеминга, его губы дрожат, когда он задает вопрос:

— Но ведь вы не думаете же, что я могу поправиться?

Доктор смотрит на него в изумлении:

— Вам не поправиться? Да вы с ума сошли!

— Это было бы слишком большим счастьем — слишком большим.

— Так! Ну, пойдите, я дам вам капли.

По дороге господин Флеминг начинает цепляться за слова доктора о том, что он может поправиться.

— А ведь у меня действительно не идет больше кровь горлом,— говорит он,— в этом вы правы. Отчего бы это?

Месяц тому назад она шла, не так много правда, с глоток один, а ведь крови-то в нас несколько литров, ну что значит один глоток! А с тех пор, как я приехал сюда, кровотечений больше не было. Вы думаете, процесс приостановился?

Доктор останавливает господина Флеминга, просит его стоять прямо и смотреть себе в глаза. Это было, конечно, докторское вдохновение или просто он хотел произвести сильное впечатление. Внезапно он весело рассмеялся и сказал:

— Вы, с вашим сильным сложением, вы богатырь, представитель старой кряжистой расы. Я не знаю никого лучше одаренного от природы. Мы подлечим вам только верхушку левого легкого, и вы будете опять здоровехоньки.

Господин Флеминг расцвел от удивления и благодарности.

— Спасибо, спасибо,— сказал он.

— Но никаких прогулок по ночам, по резкому воздуху,— запомните это.

Они пошли за каплями.

Да, это было совершенно правильно. Господин Флеминг был действительно хорошо одарен от природы. Но природа, казалось, взяла затем свои слова обратно, отказалась от обещаний, данных ему. Положительно жаль было видеть молодого человека, в такой степени истощенного. Докторское утешение пришлось ему весьма по сердцу, он нуждался в нем и был весь этот день в более веселом настроении. Вот была бы штука, если бы ему удалось надуть свою судьбу, поистине блестящая штука! Он уселся писать радостное письмо домой; замечательное место этот Торахус в Норвегии, больные выздоравливают здесь один за другим. Но зато и доктор же здесь был, действительно понимавший свое дело, какие капли от кашля он давал, какая печать уверенности и знания лежала на нем! — писал он.

Вечером, когда господин Флеминг ложился спать, ему с такой отчетливостью показалось, что грудная клетка его опустилась еще более; отчего бы это могло быть? Он исследовал себя в зеркале, тщательно прикидывая на глаз, давил правую сторону, чтобы сообщить ей одинаковую высоту с левой, но левая была и оставалась ниже. Не так на много, чтобы об этом стоило говорить, так, на палец от верхушки легкого вниз, но все же достаточно, чтобы вновь вселить в душу господина Флеминга сомнение. Он улегался, но долгое время не мог уснуть из-за назойливо лезших ему в голову мыслей. Ему пришла в голову

странная идея, что фрекен д'Эспар вылечила бы его, если бы была врачом; он женился бы на ней, и она, конечно, исцелила бы его.

Его мысли уводили его все дальше, и, как всегда по вечерам, после того, как он ложился, становились все возбужденнее и возбужденнее, становились опасными и нескромными, необузданными; он вертелся в продолжение нескольких часов, пока заснул. Когда он проснулся среди ночи, он был весь в поту.

Наступил рассвет. Был ли он одним из тех созданий, что не могут раскрыть глаз без того, чтобы не засмеяться и не запеть? Нет, нет, какие бы причины у него были к этому? Он занял свое место за столом, накрытым к завтраку, без бодрости и без малейшего аппетита. Он взглянул на тарелку фрекен д'Эспар, она еще не ела. Чего он добивался от нее? Ничего. Она выслушивала его, не избегала его, но и не представляла его участи, она была красива и здорова, была похожа на такой освежающий плод. Когда она пришла, он устал от мыслей о ней и весело поздоровался.

— Спали хорошо? — спросила она.

Он только покачал головой.

— Мы немного пройдемся, — сказала она.

### ГЛАВА III

---

Дела в Торахусском санатории шли своим ходом. Они, быть может, шли не совсем так, как надо, с полным блеском, оркестром музыки и процентами на затраченные деньги, но нельзя этого и было ждать вначале, это должно было прийти впоследствии. Правление обнаруживало полнейшее желание послужить доброду делу. Доктор был душа-человек и принимал живейшее участие в самочувствии каждого, заведующая была дамой опытной в домоводстве и уходе за больными, инспектор — старый моряк — ядреный мужчина, не отказывавшийся от партии в карты, а порой распивавший и стаканчик с пансионерами, жаждавшими подкрепиться.

Здесь находился сейчас и адвокат Робертсен, тот, который вместе с доктором был душой всего дела. Да, он не раз наведывался в Торахус, осматривая все устройство и просматривая книги, так как он был главою предприятия. Хорошая голова, выдающийся человек. Он первым кланялся прислуге, хотя ведь именно он был хозяином. Он не

задирал носа перед пансионерами, но уступал им дорогу и придерживал дверь, когда проходила дама.

В этот последний раз он прибыл в санаторию в аристократической компании, а именно с женой английского министра и ее служанкой-норвеженкой. Адвокат Робертсен низко кланялся, устроил ей помещение, отдал приказание прислуге — словом, сделал все возможное для супруги министра. Она со стороны принимала всякий знак внимания, как должное, и благодарила соответственно этому. То была дама в годах, в разводе с мужем, но с еще неизрасходованными резервами, пудрой на лице, затянутая в жесткий корсет и с официальной улыбкой. Адвокат был горд этой гостьей и просил заведующую позаботиться о ней — ей нужно было только спросить служанку-норвежку, ее переводчицу, не нужно ли ей чего-нибудь. Не потому, что леди была бы чем-нибудь больна, это была просто знатная дама, которой пришлось в голову пожить в горах, в Норвегии, а средств на это у нее было достаточно, если судить по ее багажу и драгоценностям. На всякий случай, впрочем, адвокат Робертсен поговорил о ней и с доктором, сказав, что он должен сделать ей визит, что она представляет собой магнит, который притянет много гостей в санаторию. Да, адвокат зашел даже так далеко, что заставил инспектора стаскивать с себя шляпу и стоять с непокрытой головой, когда супруга министра садилась в коляску. И инспектор Свендсен, этот подхалим, — он был когда-то матросом и умел говорить на языке миледи, — сказал: «Very well».

Так управился адвокат Робертсен с этим делом.

Тут подошел к нему Сельмер Эйде, пианист, и попросил разрешения сказать ему пару слов перед отъездом. Адвокат прекрасно знал, чего хочет господин Эйде, но все же ответил:

— Пожалуйста, господин Эйде.

Они отошли вместе в сторонку, и пианист посвятил его в свое дело: то была старая песня о том, что ему было совершенно бесполезно сидеть здесь, что ему следует и обязательно нужно уехать. Проходят дни и целые недели, а он все не может попасть в Париж. Не знает ли господин адвокат каких-нибудь способов устроить это ему?

— В Париж, да. Скажу сейчас, как говорил и раньше, что я одобряю ваше решение. Но разве здесь нет никого, к кому бы вам обратиться? Ну, в течение лета несомненно такие найдутся, в такую большую санаторию, конечно, приедут зажиточные люди, будьте уверены.

— Я подумал о господине Бертельсене,— заметил пианист.

— Вы говорили с ним?

— Нет. Мне пришло в голову это только на днях.

— Да, да. Подождите только до осени. Выход найдется, я знаю.

И хотя адвокат имел при этом вид человека, знающего гораздо больше, чем он хочет сказать, господин Эйде нетерпеливо перебил его:

— Нет, до осени осталось ведь несколько месяцев, я должен уехать теперь, время идет.

— Теперь? Нет. Этого вы не можете. Знаете ли вы, кто как раз теперь прибыл сюда? Супруга английского министра. Смотрите, вот это публика, для которой стоит играть. Она в состоянии заинтересоваться вами.

— Ну, англичане не очень-то ценят музыку,— сказал снисходительным тоном господин Эйде.

— Вы думаете? Во всяком случае, это выглядело бы недурно, нечего сказать, если бы вы уехали как раз, когда приехала она. Она, быть может, тоже захочет музыки, а вас-то и не будет.

— Ну, ведь здесь найдется кое-кто из дам побренчать.

— Да, но она, конечно, пожелает услышать хорошую музыку, должен я вам сказать, насколько я ее понимаю. Послушайте,— говорит внезапно адвокат,— итак, значит, решено: вы остаетесь в санатории до осени, а одно лицо, здесь же в санатории, дает вам стипендию.

— Кто? — спрашивает разом оживившийся пианист.

Адвокат отвечает:

— Я собственно не должен был бы говорить этого. Но поговорите теперь же с господином Бертельсеном. Вы ведь знаете, кто такой господин Бертельсен — фирма «Бертельсен и сын» — очень богатый и понимающий в искусстве человек. Кланяйтесь ему и скажите, что говорили со мною.

Как это могло случиться, что адвокат Робертсен договаривался с этим пианистом так, как будто бы он был какою-то незаменимою служанкою? Ведь этот молодой человек и впрямь мог забить себе в голову представление, что он что-то особенное, не как все, что он единственная личность в своем роде, которой не подыщешь равного на этой грешной земле. Он был довольно бесцеремонен, его тон удивительно фамильярен, как будто бы ему не раз было обещано что-то, чего он не получал. И адвокат терпел это. Если что и крылось под этим, то оно во всяком

случае не проявилось, потому что ведь адвокат-то затем уехал.

Чуда, конечно, здесь никакого не таилось. Попросту сказать, адвокат Робертсен заговаривал зубы, умасливал и совсем не хотел быть с кем-либо не в ладах, хотя бы даже с пианистом в санатории. Он отыскал этого заносчивого малого и не хотел иметь хлопот, меняя его на кого-либо другого. Адвокат был прирожденным хозяином, умевшим жить и ладить с людьми.

Когда он сидел уже в тележке, его отозвали снова, чтобы уладить еще пару дел: дело шло о почте для гостей — нужно было завести постоянного почтальона с галуном на кэпи, а также о кегельбане, средняя доска которого покосилась, вследствие влажности почвы, и которую следовало исправить. Поступали жалобы на это.

А затем адвокат уехал.

Всего лишь двенадцать — пятнадцать пансионеров было в Торахусе, так что большая столовая на 80 персон стояла без употребления. Это должно было пригодиться впоследствии. Если же в дамском салоне, комнате, где дамы никогда не сидели, так как они предпочитали мужскую курилку. Там они и сидели, попивая свой кофе и перелистывая какую-нибудь газету, покашливая от дыма. Миледи, как ее прозвали, напротив, держалась вдали от всех, и так как и ела она не в те часы, как все прочие, то видно ее было мало. Обедала она часов в восемь вечера, чай пила в самое разнообразное время дня. Ее пищу составляли, главным образом, ветчина и яйца с поджаренным хлебом.

Так копошились эти двенадцать — пятнадцать человек бок-о-бок во время пребывания своего здесь, болтая о насущнейших вещах и сообщая друг другу о своих болезнях. О, вовсе не зря они пробовали горный воздух, они принуждены были к этому, они испробовали другие средства уже раньше. Один испортил свой желудок и теперь принимал пилюли и слабительную соль за каждой едой, у другого была подагра, третий ходил с язвой на лице, четвертый харкал кровью. Когда они выходили за дверь, они укутывались каждый по своему: кто закутывал грудь, кто ноги, кто спину. Шарф здесь, мех там. У некоторых были черные наушники на ушах, у других синие или дымчатые очки на глазах. Все берегли себя, никому не хотелось умереть.

Да, но был все же здесь один, который хотел умереть. Его нельзя было терять из виду: у него была определенная тенденция к самоубийству. Временами он был оживлен и

задорен, временами погружался в молчаливость и раздумье. Доктору приходилось серьезно говорить с ним время от времени. Ему, собственно, следовало бы быть в более подходящем заведении, но у него были деньги и он мог платить за себя. Доктор не думал, впрочем, что он намерен наложить на себя руки.

Ничего не было красивого в этом человеке. Он был такой нескладный, широк в плечах, но с тощими ногами. Он выглядел так, словно был зачат каким-нибудь учеником, новичком в этом деле, и выношен горничной. Деньги свои он получил по наследству. Пансионеры звали его попросту Самоубийцей.

Когда доктор заговаривал с ним, Самоубийца никогда не лазил в карман за словом. Доктор по началу хотел было взять с ним тот же легкий и шуточный тон, что и с остальными, но ему пришлось вскоре это оставить.

— А ведь оно выйдет,— сказал Самоубийца, кивая головой.

— Что выйдет? — спросил доктор.

— То, о чем я думаю. Уж удастся мне дойти до этого, не сегодня, так завтра.

— Вы подразумеваете самоубийство?

— Ну, конечно. Ведь об этом мы с вами говорили. Уж я измыслю способ.

Доктор улыбается и спрашивает:

— Вы думаете, что можете приучить себя к этой мысли?

Самоубийца с обиженным видом заявляет, что это вещь, которой доктор не понимает.

— Я ищу подходящую форму для этого. Я вовсе не собираюсь просто покончить с собой, так, здорово-живешь.

— В этом вы правы.

Самоубийца с яростью посмотрел на него.

— Замолчите, доктор. Вы являетесь с вашими бабьими взглядами ко мне и беретесь рассуждать о вещах, одетых покровом тайны. Это не шутка — накинуть себе петлю на шею; но приходило ли вам в голову, что способ самоубийства может унижить самую идею убийства?

В ответ на это сногшибательное соображение доктор Эйен замолчал.

— Вот видите. Не понимаете вы, что ли, что такая мысль может удерживать человека? Ведь повеситься-то пустяки, каждый может это сделать над собой. И вы можете это сделать.

— Нет, спасибо.



— Вы могли бы поупражняться. Тогда это было бы совсем легко.

— Но послушайте вы,— сказал доктор, пытаясь говорить логично.— Разве вы не можете бросить весь этот вздор, господин Магнус? В этом пустяке, называемом смертью, кроется гораздо больше, чем вы, может быть, думаете. Мы, врачи, достаточно видели примеров тому.

Самоубийца моментально парирует:

— «Мы, врачи», совсем не видели того, о чем я думаю.

— Да знаете ли вы, что это такое — умереть?

— Нет,— отвечает Самоубийца,— по собственному опыту, нет.

И он делает доктору знак, чтобы тот ушел.

Казалось, словно он наслаждался своим ответом. Вполне возможно, что его болтовня о самоубийстве, как позоре для убийства, была только блефом, предложением для себя самого, чтобы не повеситься. В общем, речи Самоубийцы не всегда звучали искренностью, в них было слишком много деланного. Но он в то же время производил впечатление человека измученного. Его молодое лицо было измощено самоанализом и страданием.

Делать пациентам было нечего. Им предоставлялось бродить по окрестностям и читать плакаты и указатели дорог, объединяться за стаканчиком или висеть в гамаках на длинных верандах на солнце, болтая о своих болезнях. Они всегда старались вызвать симпатию в других, и, обычно, не нужно было много времени, чтобы подходящие люди нашли друг друга и почувствовали себя старыми знакомыми. «О,— пожаловался, например, один,— если бы освободил создатель меня от этой подагры». — «Да, скверная штука эта подагра,— вторил другой,— это одна из наихудших мук, какие только бывают». Это помогало, это облегчало страдания. Второй тоже, в свою очередь, рассчитывал вызвать к себе сочувствие.

Немного своеобразия было в них, пациенты все одинаковы. Самоубийца был, быть может, самой своеобразной личностью. Вторым странным типом был человек с язвами на лице. Его язвы начали образовываться недавно. На коже у него возникали опухоли и твердые узлы, они росли и превращались в язвы. Пройдя в одном месте, язвы возникали в другом, в конце концов они появились на глазах, повлияли на зрение, казалось, словно весь его организм был отравлен каким-то ядом. Человек этот был в одних годах с Самоубийцей, молодой человек тоже, ему не было еще тридцати лет, и они оба сошлись.

Человек с язвами был тоже далеко не глуп. Он умел смеяться и над другими гостями, и над самим собой, и над своими язвами. Он был сыном оценщика при аукционах, по его словам, и денег у него было негусто, но он платил в санаторию, — за этим задержки не было, — и нередко получал письма с добавочным десятком-другим крон от своего отца, — на карты. Здесь он вел себя, как и все прочие, и отстаивал свою жизнь при помощи горного воздуха и докторского надзора.

Одевался он в достаточной мере неэлегантно — в коричневую куртку и спортивную рубашку, зашнурованную на груди желтым башмачным шнурком с металлическими концами. Звали его Антон Мосс. Он упрекал Самоубийцу в том, что тот слишком много пьет, хотя этот бедняга никогда не пил, разве изредка стакан грога.

— Как вы можете рассчитывать разделаться с вашей навязчивой идеей, раз вы пьете? — говорил Мосс.

Самоубийцу легко было вывести из себя; он отвечал сердито, что, во-первых, у него не было никакой навязчивой идеи, во-вторых, он вовсе не намерен был избавиться от нее, а в-третьих, он и не пил.

— Посмотрите лучше на собственную физиономию с ее лишаями и придержите язык! — сказал он.

— Моя сыпь только на коже, а у вас болезнь внутри.

— Ничем я не болен.

— Вот как! Для чего же вы здесь?

— Замолчите!

— У вас, должно быть, что-нибудь неладное с головой, с мозгом.

— Вы совсем совесть потеряли, кажется, — воскликнул Самоубийца. — Это ваша голова, действительно, не в порядке. Подите, посмотритесь в зеркало!

Мосс сразу уступает; он опускает свою распухшую физиономию, умолкает на мгновение. Только на одно мгновение, — затем он снова становится таким же, как был.

— У меня, так сказать, единственный нарыв, не желающий назреть, и это вот этот, — говорит он и показывает палец с забинтованным концом.

Самоубийца взглянул с отвращением на палец и сделал глоток из своего стакана.

— Это у меня в своем роде парадная язва.

— Ха-ха! — рассмеялся Самоубийца.

— Я думаю, мне чего-нибудь не хватало бы, если бы у меня не было этого пожизненного бандажа на пальце. Снять его и показать вам?

Самоубийца взглянул искоса на страшный палец и принужден был тотчас же сделать еще глоток из своего стакана.

Мосс продолжал на ту же тему:

— Обратите внимание, что это не обыкновенная тряпка; я получил ее от своей матери. Хотя это и дорого, но она шелковая, когда-то была красная. Теперь она малость повыцвела, да, как и я сам. Вы тоже повыцвели. Впрочем, что касается вас, то вы сегодня восхитительно выглядите. Должно быть, отлично выпались.

Эта незначительная лесть, по-видимому, произвела благоприятное действие; Самоубийца кивнул утвердительно головой; да, он выпался отлично. Они начали толковать серьезно об этих вечных язвах, что бы это была за штука такая, в самом деле? Такой скверный вид это имело. Вот сейчас, например, сочилась кровь из ушей.

Мосс кивает утвердительно:

— Да, из ушей сочится.

«Должно быть, он содрал струп ночью», думает он.

Мази он никакой не получал?

Да, Мосс получил мазь. Но в общем-то это был случай, к которому доктор Эйен собирался применить выжидательный метод. Он намеревался ожидать, что будет дальше. Но, впрочем, Мосс все же получил мазь, попросту сказать, вазелин.

— Удивительно!

Да, но это доказывает лишь, какая это невинная вещь в общем. Он, должно быть, получил-то ее первоначально, чихая против ветра.

— Ха-ха,— рассмеялся Самоубийца,— хотите стакан грога?

— Да, спасибо.

Так не раз препирались эти два человека, и вновь заключали мировую. Они никогда не ссорились всерьез и не могли обойтись друг без друга в течение более или менее долгого промежутка времени. Антон Мосс спускался иной день вниз из своей комнаты по утру, с лицом, особенно изуродованным за ночь, но он мало беспокоился об этом и, встретив Самоубийцу, мог прекраснейшим образом спросить у него:

— Ну, что, вы и в эту ночь не сделали этого?

— Заткнитесь!

— Нет, не такая это легкая штука повеситься. Во-первых, нужно найти крепкий гвоздь...

Они выходили на веранду. Здесь обыкновенно кто-нибудь уже был налицо. Среди больных была дама, которая вечно вертела что-нибудь в руках. Она вертела свой носовой платок и перчатки; все, что попадало ей в руки, превращалось в веревку. Это была особого рода нервность. Она, может быть, и не представляла себе, какой смешной и никчемной являлась ее привычка, но проделывала это с таким усердием, словно то была какая-нибудь работа. Если у ней не было ничего в руках, она начинала ломать свои пальцы, так что они хрустели.

Антон Мосс говорил самоубийце:

— Пойдите, скажите этой даме, чтобы она перестала.

— Я? Нет.

— Это поможет ей на время. Жаль ее, право!

— Пойдите сами,— говорил Самоубийца.

Госпожа Рубен вышла на веранду, подыскала самое просторное кресло и уселась в нем, как дома. В Алжире она наверное была бы местной красавицей. У нее темные, дивные глаза, и она так нечеловечески толста. Ее жирные, смуглые пальцы с бриллиантовыми перстнями кажутся совершенно лишенными костей.

— Гулять? — спрашивает она даму, которая вертит свои перчатки.

— Да, если найдется компания. Не пойдете ли вы тоже, фру Рубен?

— К сожалению, я так мало могу ходить.

— Да ведь вы очень похудели, фру Рубен.

— Вам кажется? Да, я сама замечаю, как будто бы я похудела, но вчера, когда я взвешивалась, вес оказался тот же самый. Но, быть может, это оттого, что я была тяжелее одета, более тяжелые сапоги были на мне. Так, значит, вам в самом деле кажется, что я похудела, фрекен?

— Безусловно. Да это сразу видно. Мне кажется, что вы могли бы пройти со мной, фру Рубен.

— Нет, на что это было бы похоже! Вы, фрекен, такая юная и бодрая, не поплететесь со мной. Инспектор, пойдите сюда,— позвала она.

Инспектор подошел, снял шляпу и осведомился:

— Хорошо почивали эту ночь, фру?

— Нет,— ответствовала фру Рубен.— И в эту ночь, как всегда.

— Так вам не стало лучше?

— Лучше? Почему бы мне могло быть лучше? И потом я должна сказать, что решительно не могу выносить, чтобы меня пугали по ночам до полусмерти. Решительно!

— Но...

— Да. И вчера ночью девушки опять подняли такую кутерьму на чердаке над моей комнатой. Я думаю положительно, что они взбесились.

— Но ведь, фру...

— Что? Вы собираетесь отрицать это? Но знайте же, что я могу умереть в любую минуту из-за этого шума на чердаке. Да. И я опять не спала в прошлую ночь из-за этого шума на чердаке.

Собственно-то говоря, девушки не спали на том чердаке, о котором говорила госпожа Рубен, там вообще никто не жил; но инспектор был умудрен опытом. Как только он получил возможность вставить слово, он сообщил попросту, что девушки теперь переселились.

— Они переселились? — заинтересовалась фру.

— Переведены вчера. Они помещаются теперь в пристройке, вон в том здании, там поодаль.

— Ну, и что же?

Инспектор молчал.

Но тут подоспела фрекен д'Эспар. Эта бессовестная фрекен д'Эспар, которая была пренеприятным человеком, — и нравилась только мужчинам, — да; и она-то как раз и оказалась здесь. Она остановилась и слушала эту беседу.

— Что... Что? — переспросила она, недоумевая.

Фру Рубен смерила ее взглядом:

— Что вы хотите сказать?

— Я хотела только сказать, что инспектор верно вас не понял. Вы не спали эту ночь, хотя служанки переехали еще вчера?

Фру Рубен стала соображать.

— Да, верно это было в предыдущую ночь, — сказала она.

Как бы там ни было, она была совершенно сражена. Другая, может быть, ударилась бы в слезы, но фру Рубен этого не сделала; лишь лицо ее побагровело. И тут-то и случилось, что дама, вертевшая свои перчатки, поднялась и выручила ее:

— Виновата, — сказала она, — в вашем кресле торчит маленький гвоздь, я разорвала о него свою блузу сегодня. Вот он.

— Спасибо,— сказала фру Рубен. Но теперь она уже оправилась и крикнула вслед инспектору: — Так вы действительно перевели горничных?

— Они переехали,— отвечал тот.

— Давно пора.

У всякого была, следовательно, своя забота: навязчивые идеи, воображаемые страдания и действительные болезни. Ах, все эти болезни были в достаточной мере действительны, все они несли страдания и были неисцелимы. Больно было видеть это собрание всевозможного рода недугов.

Дама садится опять и терзает свои перчатки. Антону Моссу становится, по-видимому, больно за нее, и он говорит:

— Она перестала вертеть в то время, пока говорила с госпожой Рубен, теперь она опять вертит. Нет, я не могу пойти и сказать ей, у меня неподходящий вид. Но вы могли бы сделать это.

— Это безразлично,— отвечает Самоубийца коротко. Он сидит сейчас и курит без конца. На него опять напало мрачное настроение; смешно предпринимать что-нибудь, бесполезно делать какие-нибудь движения, подниматься, говорить.

— Замолчите! — говорит он Моссу.

Мосс говорит:

— Посмотрите на того человека, который идет сюда!

Самоубийца не подымает глаз.

На веранду вышел, приветливо раскланиваясь с фрекен д'Эспар и прочими, господин Флеминг, слабогрудый, изящно одетый финляндец. Едва ли он провел хорошую ночь, под глазами у него были темные круги; но он и виду не показывал, улыбался, был вежлив по отношению к пианисту и предложил ему папиросу из своего изящного дорогого портсигара.

Фрекен д'Эспар подходит и протягивает ему руку. Господин Флеминг пожимает ее, но не обрывает своей беседы.

— Доброго утра,— здоровается она.

— Доброго утра,— отвечает он.

Господин Флеминг болен грудью и легко раздражается. Он знает уже хорошо фрекен д'Эспар и ему нет надобности рисоваться перед ней. Он рассчитывает на то, что она снисходительна к нему, впрочем, он сам просил ее об этом. И он совсем не хотел бы потерять ее, она была далеко не бесполезна для него, она была единственным человеком, который был ему безразличен, но она не

кокетничала с ним, эта фрекен д'Эспар, не играла в умышленную недоступность; нет, и в результате получилось то, что он по временам — как сейчас после бессонной ночи — обнаруживал при ней дурное настроение духа. Не потому, что ему хотелось дать ей почувствовать свое неудовольствие, что ее не было видно на веранде, когда он вышел. Было глупо, что она так сделала, потому что он был болен и вследствие этого раздражителен. Славный человек была эта фрекен д'Эспар, выносившая его во всякое время!

Они спустились вместе по лестнице и ушли из санатории.

Куда же они пошли? Опять к Даниэлю, как почти каждый день? Что нужно им было там?

То была выдумка господина Флеминга; его тянуло к Даниэлю и его сэтеру, так все было там миниатюрно и на виду, приходилось слегка нагибаться, входя в двери, в хижине была кровать, стол, пара стульев и очаг, на котором можно стряпать — обстановка эпохи каменного века. «Будьте любезны, не угодно ли даме и господину пройти лучше в новую горницу?» Нет, спасибо, большую грудью господин предпочитал эту старую, типичную пастушескую хижину. Здесь садился он на деревянный стул и получал молоко в крынке или простоквашу в деревянной чашке. Эти яства давали привкус детства, чего-то давно прошедшего. Они нравились и даме, городской жительнице, стучавшей на пишущей машинке и знавшей по-французски. Они беседовали все вместе, Даниэль и его экономка, с одной стороны, и оба санаторских гостя, с другой, о разных пустяках, — благословенное незнакомство с загадками жизни. Особого глубокомыслия не развивалось здесь. Было так легко сидеть здесь и говорить, что придет в голову, о погоде, о ветре, о дорогах. Получался такой резкий контраст в сравнении с ночью, когда было никак не заснуть от дум: куда идти? Некуда. Но где же дорога обратно? Нигде.

Он платит, платит очень щедро за молоко и просит разрешения абонироваться на простоквашу. Пожалуйста, с величайшей охотой. Он покоряет сердца обитателей этого дома своим учтивым обхождением и серебром. Можно ли ему приходиться сюда каждый день? О, да, конечно, если он не погнушается. «Позвольте мне не уходить отсюда сейчас же», — говорит он, — «позвольте мне побыть здесь немного. Мне хочется посидеть здесь за столом, подумать кое-о-чем, быть может, написать пару слов домой. Фрекен, вы уж объясните им все это».

Он остается один и, как будто он уже передумал все, он начинает раздеваться, всхлипывая от сентиментальности и чувства жалости к самому себе — он болен и не спал ночь. Он ли это? Верный инстинкт увел его, в таком случае, от людей и огромных зданий, назад, к потаенным пещерам?

Он улыбается, улыбается сквозь слезы. О, боже, до чего он устал и ослаб. Но здесь чувствуется что-то целебное в самом воздухе этой избы. Быть может, какие-нибудь благодетельные бактерии сидят в старых стенах, бог знает, какое-нибудь снотворное средство, бродильный фермент, красные кровяные шарики, здоровье и жизнь.

Его не стесняет, что окно в хижине без занавесей, он ложится в своих голубых шелковых кальсонах под овчину.

О, да, конечно, фрекен д'Эспар объясняет хозяевам, что он за человек: важный барин, граф, у которого есть настоящий дворец, он говорит по-французски, да, даже по-русски. У него только немного нервы слабы, но это пройдет со временем. А видели вы перстень у него на пальце? Если бы тебе такой перстень, Даниэль, так тебе не нужно было бы работать всю твою жизнь.— «А что ж бы я тогда делал?» — спросил Даниэль с недоумевающим видом. Нет, этого он не понимал.

Фрекен увязывается за Даниэлем, когда он уходит на работу, и смотрит, как он ставит изгороди. Да, поясняет он, изгородь никогда не сделаешь достаточно высокой и достаточно крепкой. Эти изгороди являются вечным его мучением. Козы обглаживают их, коровы перескакивают через них, а свиньи продираются насквозь. Он дает эти пояснения шутивным и несколько снисходительным тоном. Ему ведь тоже хочется показать, что он умеет кое-что делать. О, конечно, не такие изящные вещи, как она, нет, нет; но уж зато, что ему нужно уметь, это уж он изучил до тонкости. Можно понять из тона его слов, что там, внизу, на селе, нет ни одного человека, который мог бы поучить его чему-нибудь, касающемуся хозяйничанья на этом сэтере. Он охотно говорит о своей земле, о Торахусском сэтере, о горах и лесе, которые, как он говорит, насколько видно кругом, его собственное. Все? — спрашивает она, пораженная и, принаравливаясь к его языку, восклицает: «Создатель ты мой!» Это поддает ему жару, и он начинает разглагольствовать дальше. Этому одинокому малому не с кем ведь было общаться на своем плоскогорье. Он пользуется этим редким, выпавшим на его долю, счастливым случаем пустить в ход свой язык, он охотно отвечает на все ее участливые вопросы.



Фрекен интересно слушать его. Он так занятно болтает. Он к тому же бойкий малый и трунит над своей израненной рукою. Фрекен не может усмотреть комизма в израненной руке, и тогда он начинает подтрунивать еще более. Так как она, видимо, интересуется такими пустяками, он рассказывает ей, как его рука попала между камней в ограде и была защемлена до крови. Могло бы быть хуже, да он предотвратил беду при помощи другой руки и колена. Такие вещи случаются часто при этой работе на дворе!

Ему, Даниэлю, не следовало слишком-то задаваться. Да он, может быть, и не задавался вовсе, а просто был благодарен судьбе за слушателя. Он ведь сделал бы, конечно, ошибку, вообразив, что она слушала его из интереса к нему самому. Конечно, на самом деле, это было для того, чтобы дать покой пациенту, там, в избе. Она раза два подходила к окошку и не могла различить его. Наконец, приложившись лицом к стеклу, она увидела, что он улегся в постель и спит. Она возвратилась к Даниэлю и возобновила болтовню. Даниэль ходит в рубашке, штанах со старыми кожаными помочами на плечах и в деревянных башмаках без чулок. Это все, что было на нем. Упорен он в работе. Камень-то ведь — он уж всегда камень и есть, и он не бросал его, хотя бы он порою и оказывался немного тяжеловат. Внезапно лопается одна из его подтяжек. Но, впрочем, это оказывается пустяками. Он просто отстегивает ее и устраивается с одной оставшейся. Фрекен д'Эспар смотрит, и ей нравится эта находчивость. Если бы этого молодца хорошенько отмыть! Рот широковат немного, но зубы красивые; волосы на голове густые и жирные, не особенно чистые. Бог знает, во фраке и в крахмальном белье не казался ли бы он попросту обезьяной?

Прибегает экономка со всеми признаками растерянности:

— Он улегся в твою постель! — кричит она.

Даниэль поднимает голову.

— Разделся и лег! — повторяет старая служанка.

Фрекен д'Эспар представляется также изумленной:

— О, значит, он очень устал!

Даниэль начинает смеяться, но экономка ворчит себе под нос: «Без простыни, безо всего».

— Это ничего, — говорит фрекен д'Эспар, — оставьте его только в покое, он, должно быть, до смерти устал.

Экономка уходит.

— Да, но ведь он мог бы улечься в новой горнице и получить простыни,— говорит Даниэль в свою очередь.— У меня ведь есть простыни дома,— прибавляет он.

Он не конфузится и не выражает сожаления о случившемся. Он просто хочет дать понять, что у него не одна простыня. О, Даниэль не беден, он живет в достатке. Помнит он кое-что про прежнюю свою разоренную отцовскую усадьбу, знает хорошо и то, что у него сейчас есть, и довольно с него. Там, внизу, на селе, есть усадьбы побольше, очень большие усадьбы, но на них лежат долги... Сэтер Даниэля, горы и лес, чисты от долгов... Он чистосердечно болтает и вновь берется за работу. Фрекен занимается его своими вопросами.

Нет ли у него какой девушки внизу, на селе?

— Ха-ха! О, да, почему бы и не нет?

Ну, да, ведь он предназначал же наверное к чему-нибудь новую избу?

При этом замечании он проникается почтением к смелivosti дамы и соображает, что он отлично мог бы рассказать ей всю эту историю. О, нет, никакой девицы-то, положим, у него нет. Но затем он пробалтывается, что — да, план-то свой у него был с этой новой постройкой, потому что была у него в свое время на примете одна девица, Елена, из одной тут усадьбы девушка, но только ничего из этого не вышло. Все одно, впрочем. Даниэль красен до самой макушки, начинает работать с каким-то остервенением, конечно им овладевает досада. Но и в этот момент он не может удержаться от соблазна похвастаться своим счастливым соперником: ведь это был ленсманский писарь. Он сам собирался стать ленсманом и сделать из Елены важную даму. Так что она была не из каких-нибудь захудалых. Да ведь иначе бы он, Даниэль, никогда и не посмотрел бы на нее.

— Конечно, нет.

«Он принимает свой жребий, как мужчина», думает фрекен д'Эспар, и, когда она хвалит его за это, он принимает свой жребий даже более, чем мужчина, и заговаривает снисходительным тоном:

— Да, Елена будет вскоре супругой ленсмана, а он — Даниэль — будет коптеть здесь на Торахусе — завтра, как сегодня, как всегда. А что поделаешь? Что ж ему, валять дурака, что ли, и тосковать по этой девчонке? Никогда! Был тут один малый на селе. Им пренебрегли, и он не мог перенести этого, все худел и худел в теле. Прошло

несколько лет, и он оказался на столе. Недурно сделал, нечего сказать! Ведь он мог жить еще!

— Он умер?

— Прямо извелся. В один прекрасный день с ним было все кончено,— и Даниэль принимает умудренный знанием жизни вид. У него вырывается случайное изречение: — О, нет, чтобы устоять в жизни, нельзя быть слишком большим неженкой.

Фрекен д'Эспар нравится это изречение. Она считает его, быть может, частью его собственного оригинального мировоззрения. Это, конечно, было не так, но было равносильно тому. Ей не приходилось говорить с народом там, внизу, на селе, и она не знала, что среди них было в ходу много таких мудрых поговорок.

В свою очередь Даниэль, в знак внимания со своей стороны, спрашивает ее о графе, что спит там, в горнице, не милый ли это ее, и фрекен не отрицает этого безусловно. Но, нет, собственно, милым-то ее он не является, они просто встретились здесь в санатории и с первого же дня стали держаться вместе. У них было так много общего.

— Ну, так из этого со временем что-нибудь выйдет,— говорит Даниэль, поощрительно кивая.

И фрекен д'Эспар отвечает:

— Что может выйти со временем, я не знаю, но, во всяком случае, сейчас ничего нет. Да и что могло бы выйти-то, впрочем? Нет, ничего из этого не получится.

Но вот Даниэль зевнул несколько раз подряд, а это знак, что он голоден. Он смотрит на солнце и дает понять, что время обедать. Пока они идут домой, к строениям, Даниэль спрашивает, как там у них, в санатории, наверное шикарно очень?

— О, да! Ну, конечно не то, что за границей, но...

— Английская принцесса приехала ведь, слышал я?

Фрекен д'Эспар ничего не имеет против того, чтобы обитать под одной крышей с принцессой, и отвечает:

— Да, так говорят.

— Да, и подумать только, что из этого старого сэтера мог получиться дворец и королевское местопребывание,— говорит Даниэль, покачивая головой. И он опять пускается в рассказы о том, что это собственно ему первому было сделано предложение, что его-то именно сэтер сначала собирались купить. Он, по-видимому, не жалеет, что оказался несговорчивым и не продал, но пусть люди знают, что именно Торахусский сэтер, его горы и лес, были первоначально намечены под санаторию. Оно и понятно.

Ведь настоящее-то место ему было здесь. Там, на соседнем этере, были лишь горные кручи и северные ветры.

Экономка встречает его заявлением, что Даниэль должен обедать в новой горнице. Там были поданы: холодная каша, холодное молоко, холодный картофель, копченая селедка. Она ничего не могла сварить. Ведь чужой-то спал в той комнате, где был очаг.

— Так он спит еще?

— Спит. Он и не шевельнулся!

Даниэль улыбается добродушно и идет к своему холодному обеду.

О, да, поистине, фрекен д'Эспар бесподобный человек. Она терпеливо переживает все это обеденное время и, когда обед кончен, вновь следует за Даниэлем на работу. Кто другой, кроме любящей женщины, мог выдержать такое испытание? Когда господин Флеминг, наконец, спустя порядочное время после обеда, встает, он видит прямо перед собой радостное лицо фрекен. С улыбкой качает он головой по собственному адресу, в качестве извинения, как будто бы не находя слов для него.

— Хорошо выспались? — спрашивает она.

— Да, — отвечает он. Затем благодарит Даниэля за помещение и дает ему кредитный билет. Он положительно рассыпается в похвалах. Ему никогда не приходилось так выспаться, с самого детства.

— Можете вы понять это, фрекен? И можно ли прийти как-нибудь опять, Даниэль? Нет, пожалуйста, никаких там простынь, никаких приготовлений, совсем так, как было сегодня. Спасибо!

По дороге домой он распространяется вновь об этом сне. И, подумайте, он голоден! Он, не чувствовавший аппетита перед обедом бог знает, сколько времени, способен был теперь жевать черствый хлеб. Это все сон сделал. Сколько часов, ради самого создателя, проспал он? И не вспотел даже, даже тело почти не увлажнилось.

Фрекен д'Эспар видит, конечно, эти потеки пота, который бежал по его вискам, а теперь высох, она поддакивает ему и только торопит идти скорее, чтобы он не простудился.

— О, я наверное поправлюсь, фрекен, я чувствую это, я становлюсь все крепче. Да, правильно, давайте поторопимся. Ведь вы голодны, мы оба проголодались.

Они опаздывают к обеду в санатории, но фрекен д'Эспар вовсе не такая дама, которая не может достать обеда в не положенное время — она помогает сама носить блюда

из кухни. Они закусывают и выпивают вина на придачу, в сердце больного человека царит радость, он оживляется, щеки получают окраску, глаза — блеск.

День проходит. В сердце господина Флеминга свила себе прочное гнездо радость, и к вечеру парочка эта подкрепляется еще слегка вином. К вечеру ему кажется, как будто бы не может быть и речи о том, чтобы расстаться, хотя фрекен и выказывает признаки усталости, — нет, потому что он сам бодр и выспался. Предстоит долгая ночь, что ему делать? Они сидят и обсуждают это. Сама процедура раздевания кажется ему непреодолимой — развязать шнурки у сапог, например. Она смеется по поводу этого. Они сидят так долго в курительной комнате, что последние пансионеры покидают их, отправляясь спать. Наконец, они и сами встают и поднимаются по лестнице — у фрекен глаза слипаются.

Он берет ее руку и она произносит:

— Покойной ночи! Доброго сна!

Нет, не в том дело. Он желает остаться с ней и дольше, увести ее в свою собственную комнату.

Этого она не хотела.

Но ведь ночь будет такой долгой для него, такой безотрадной, какой-то бессонной пустыней. И, знаете ли, он велел подать к себе в комнату вина, они могут продолжить беседу за вином.

— Спасибо, но только не сейчас! Нет, спасибо!

Нельзя ли ему в таком случае пойти с ней в ее комнату? Они могли бы посидеть там. А то ведь ночь такой длинной будет!

— Нет, — покойной ночи, — говорит она. — И вам тоже спать следует. Но, впрочем, я могу проводить вас и снять с вас сапоги.

— О, тысяча благодарностей! Вы слишком любезны.

Войдя в комнату, они из предосторожности говорят оба шепотом, но она не позволяет ему закрыть дверь на ключ.

— Это ведь только для того, чтобы служанкам не давать повода заглянуть в комнату, — объясняет он.

— Да, но ведь я сейчас же уйду. Ну, садитесь же!

Она развязывает шнурки его сапог и на мгновение замирает в изумлении — в чем, может быть, и заключался его умысел: этот важный барин носил шелковые носки и, насколько она понимала, очень дорогие шелковые носки. Чтобы дать себе время справиться со своим изумлением, она говорит равнодушным тоном:

— Вы носите слишком тонкие носки для здешних гор.

— Вы думаете?

— Да. Здесь нужно носить шерсть. Ну, вот, остальное вы можете сами сделать.

Она поднимается, идет к дверям и исчезает.

#### ГЛАВА IV

---

По прибытии в санаторию, адвокату Робертсену приходится многое регулировать в ходе дел. Здесь нужно подбодрить, там дать совет. Его терпению и благодушию находится здесь применение. Он был так любезен, что лишь изредка применял свою власть.

Первою, о ком он осведомился, была миледи. Да, спасибо, она чувствовала себя хорошо. Это была важная, недоступно державшаяся дама, читавшая английские журналы, купавшаяся, совершавшая небольшие прогулки со своей переводчицей, девушкой-норвежкой, встававшая с постели в полдень и обедавшая отдельно в восемь часов вечера. По-видимому, она чувствовала себя здесь отлично. О, у миледи было, конечно, также кое-что на душе. Больна она не была, но ее служанка рассказывала, что по временам она плакала и приходила в мрачное настроение. Так что, верно, и миледи в чем-нибудь не повезло.

— Счет-то ее порядочно-таки вырос,— сказала заведующая.

— Так? Великолепно! — ответил адвокат Робертсен.— Чем больше, тем лучше.

С этим делом он покончил, можно сказать, мимоходом. Другие оказывались гораздо более запутанными. Доктор рассказывал ему о Самоубийце. Но этого чертова Самоубийцу напала опять меланхолия: зачем ему вставать с постели, зачем одеваться, зачем есть, говорить, передвигать ноги? Ведь рано или поздно ему предстоит умереть. В другое время он обычно бывал в прекрасном расположении духа и даже мог катать шары в кегельбане. Человек он был аккуратный и счета свои оплачивал.

— Да, в таком случае я не вижу, что еще мы можем сделать для него — говорит адвокат.

Доктор отвечает, что, конечно, ничего они сделать не могут. С другой стороны ведь он порою опять начинает носиться со своими дурацкими идеями и высказывать намерение покончить с собой. Никогда нельзя быть уверенным.

— Покончит ли он с собой здесь или в другом месте — выходит в общем одно и то же. Таково мое мнение. Но он может повредить санатории.

— Вот именно,— отвечает доктор.— Если он сделает это всерьез, то это смутит гостей, и наша санатория потеряет репутацию.

— Сами-то вы верите в то, что он повесится?

— Не в то, быть может, что он именно повесится. Это сомнительно. Есть ведь другие возможности. Сам он носит с идеей изобрести какой-то необыкновенно утонченный способ смерти.

— Как это?

— А, все это одна болтовня. Самоубийство кажется ему стоящим ниже убийства. Поэтому нужно, мол, изобрести свой особый способ самоубийства.

— Он так говорит?

— Нечто в этом роде. Изобретя его, он поднимется на одну высоту с убийством.

Оба, и доктор и адвокат, смеются, смеются естественным смехом понимающих друг друга людей.

Согласились оставить этого курьезного типа еще на некоторое время в санатории, и посмотреть, что из этого выйдет.

Следующим попал на обсуждение его загадочный приятель, Антон Мосс, человек с сыпью. Не особенно-то приятно было его видеть разгуливающим здесь. Его физиономия отнюдь не украшала собою веранду или столовую, но он не причинял никому никакого вреда, а прочие пациенты не выказывали намерения перебраться из-за него в другое место. Инспектор Свендсен ценил его очень высоко за то, что тот мог иной раз помочь ему вечерком в ведении книг, а попозже составить маленькую партию в карты, когда кто-либо из гостей выразит на то желание.

Один за другим, санаторские пациенты были подвергнуты обсуждению и оценке, и адвокат остановился опять на миледи, супруге английского министра: она-то как, недурно пока себя чувствует?

О, да. Доктор дал ей и мышьяковые пилюли для возбуждения сил, и порошки от бессонницы. Душевно она не совсем здорова. Доктор не раз был призван к ней и вынес известное впечатление от ее состояния: один раз как-то она была возмущена тем, что санаторский почтальон стоял перед ней в шапке, в другой раз она разгневалась из-за какого-то белья, вывешенного для сушки так, что

оно было видно из ее окон. Ни один из этих пустыков не был ведь таким важным событием, и больше не повторялся. В общем же миледи была покладистым гостем, держалась особняком, гуляла всегда в сопровождении своей горничной и никого не беспокоила. Когда для доктора Эйна становилось затруднительным объясняться с ней, в беседу вступала переводчица, и все шло прекрасно. Эта норвежская девица мастерски переводила ее ответы. В общем же, большей частью, сама миледи вела разговор: она сказала, что это ниже белье и эти простыни на веревках прямо-таки заставят ее поседеть. В другой раз как-то при случае она объяснила, почему она лежит в постели до обеда. Это потому, что утренний свет положительно резал ей глаза, что-то резкое, кричащее есть в нем. О, это так жестоко! «Вы представьте себе только, доктор, утро после бала: прелестный вечер, знойная, опьяняющая ночь и — проснуться на утро при дневном свете».

— Что касается общего состояния ее здоровья, то она сама вполне сознает, что оно в упадке. Она переутомлена, но она отнюдь не собирается умирать. Она улыбается, говоря: «Умереть? — это так непохоже на меня».

— Интересовалась она музыкой? — спрашивает адвокат.

— Напротив того, она совсем не пожелала музыки. Не в том смысле, чтобы она хотела запретить другим гостям наслаждаться музыкой. Но когда пианист Сельмер Эйде спросил было у нее, не пожелает ли она какого-либо особого сорта музыки, например, прослушать что-либо из произведений дворянина и англичанина Сюзливана, то получил в ответ, что она совсем не желает музыки. Так что в таком случае Сельмеру Эйде нечего здесь делать больше, — заключает доктор. — И этот Эйде, нужно сказать, бродит теперь здесь крайне недовольный, хотя и живет за половинную плату.

— По-моему мнению, — говорит адвокат, — Эйде очень полезен здесь. Мы имеет то преимущество перед другими санаториями, что у нас есть постоянный музыкант для гостей. Вы согласны со мной, не правда ли?

— Да, — поддакивает доктор. — Для этого, ведь он и был здесь.

Адвокат Робертсен протянул ноги и сказал:

— Я уже рекламировал, что у нас свой музыкант. Это будет помещено на днях в газетах.

Доктор улыбнулся, кивнул головою и выразил свое почтительное удивление. И адвокат расхвастался еще более:



— Мы сделаем Торахус фешенебельным местом, пер-вокласным курортом. Устроить все это — интересная работа. Не правда ли, ведь чувствуется удовлетворение, когда в результате твоей работы видишь прогресс и процветание. На мне лежит практическая сторона дела, вы вносите в него свои знания. Дело у нас пойдет!

— Конечно, пойдет.

— Да, переходя совсем к другому: я не мог никак найти миледи в готском календаре.

Доктор спросил наивно:

— Ну да, там ее нет! Так что ж?

— Ну да, в этом-то вы правы, что в том? И следа нет!

Адвокат развивает свою точку зрения также и по поводу этого вопроса: во всяком случае она жена министра, он даже поместил в газетах: «принцесса». Они должны использовать пребывание миледи в Торахусе, — оно несомненно оплатится. «Принцесса такая-то с прислугою». Газеты были очень предупредительны. Если бы только можно было что-нибудь еще сделать для нее, такое особенное. Нельзя ли было раздобыть для нее крестьянскую свадьбу с поваром, скрипачом и национальными костюмами?

Доктор сомневается, чтобы это могло прельстить миледи. Она совсем не интересовалась здешними людьми, из нашей страны.

— Разве она никогда ни с кем не разговаривает?

— Да, с фру Рубен иногда. Удивительно, но именно с фру Рубен. Она даже навещала фру Рубен в ее комнате.

— Ну, — замечает адвокат, — это не так уж, положим, удивительно. Ее тянет туда, где и ее язык и ее саму легко поймут. Фру Рубен ведь космополитка.

— Но ведь здесь есть же и другие. Почему бы ней не разговаривать, например, с господином Флемингом?

— А бог ее знает! Кстати, мы забыли о господине Флеминге. Ну, что он, поправляется?

— Он, собственно говоря, не поправляется, — ответил доктор. — Он, можно сказать, лишь вспыхивает по временам и затем начинает угасать вновь — это не есть прочное улучшение. Не хорошо было бы, если бы этот видный гость продолжал бы жить здесь, а между тем ему делалось бы все хуже и хуже. Здешний воздух слишком резок для него, он ведь, почем знать, может и умереть.

— Не посоветовать ли ему уехать? Но под каким предлогом? Что место ему не подходит? Да ведь ни одна санатория в мире не выпроводит дорогого гостя под таким

предлогом. Что ж, он не жилец на белом свете, этот господин Флеминг, что ли?

Доктор пояснил, что за последние дни господин Флеминг поправляется, настроение духа его улучшилось — он сообщил сам, что спит теперь лучше. Чудак тоже этот господин Флеминг, в своем роде. Он ежедневно ходит на соседний сэтэр и пьет кислое молоко. Он даже высыпается там иногда. Короче говоря, последние дни принесли ему пользу. Заведующая упоминала как-то, что он все же немножко приударяет за девицами. Ну да это, собственно, только за фрекен д'Эспар.

— О, черт возьми,— говорит адвокат.— Значит, вот как он не жилец на белом свете!

Они соглашаются на том, чтобы задержать его в санатории возможно дольше.

Несколько времени спустя адвокат улучает однако, минуту побеседовать с ним лично и выносит прекрасное впечатление от его состояния духа. Так, господин Флеминг оказывается способным острить по поводу того, что он сделался постоянным абонентом на простоквашу в соседнем сэтэре. Она приносила ему пользу, по его словам, он здоровел от нее. Единственно, чего ему не хватало там, у Даниэля,— это молоденькой и хорошенькой экономки.

Одним словом, прямо-таки воплощенные остроумие и жизнерадостность.

После этой беседы адвокат так воодушевился, что устроил дела и Сельмера Эйде, пианиста. Это далось ему легко, ему пришлось пустить в ход свой обычный способ действий.

Бертельсен попался ему навстречу вне себя, побледневшим даже от обиды или ярости, кто его разберет. Он не ответил на приветствия, был груб даже.

— Попрошу вас не навязывать мне на шею просителей,— оборвал он.

Оба они были хорошо знакомы друг с другом по Христиании и адвокат решил, что можно будет еще попытаться. Он спросил:

— Вы что? Не получили вашей утренней кружки пива?

— А вам-то что? — откликнулся Бертельсен.— Вы науськиваете на меня этого изголодавшегося пианиста, который желает получить с меня стипендию на поездку за границу.

— А, Эйде! — восклицает адвокат.— Я не мог понять, на что вы намекаете. Вы говорите, он был у вас?

— Да. И он пришел от вас, по его словам. Но я прямо-таки не желаю иметь таких посланцев от вас, так и знайте.

Адвокат согласился с ним:

— Ну, понятно. Этот молодой человек немного навязчив, горячий такой артист, ни минуты подождать не может. Я совсем не посылал его к вам, конечно. Он сам упомянул о вас.

— Молодчик заявился ни с того ни с сего ко мне и спрашивает, как обстоит дело со стипендией и когда он может получить ее.

— Ха-ха-ха,— смеется адвокат,— он немного помешан на этом пункте. Впрочем, я уважаю этот обуревающий его благородный пыл, побуждающий его стремиться уехать. И я уверен, что и вы также это уважаете.

— Да, но он поедет не за мой счет, черт его возьми совсем! — шипит раздраженный Бертельсен.— Мне кажется, оба вы немножко рехнулись. Он сказал, что пришел от вас.

В этот момент адвокат замечает приближающуюся фрекен Эллингсен, а немного позади фрекен д'Эспар и господина Флеминга. Подкрепление.

Адвокат сказал:

— Он, конечно, явился к вам не от меня. Но когда этот человек сам упомянул о вас, сказав, что он попробует обратиться к вам, то я, вероятно, ответил ему что-нибудь в таком роде: «Да, сделайте это». Да ведь это притом и не в первый раз, что к господину Бертельсену обращаются таким образом. Что-нибудь в таком роде я ответил, вероятно.

Бертельсен слегка смягчается и говорит:

— Во всяком случае, это свинство заявляться так, без всяких церемоний, и навязываться мне.

— Добрый день, фрекен Эллингсен,— здоровается адвокат.— Мы стоим здесь и говорим о музыканте Эйде.

Бертельсен оборачивается, в свою очередь замечает ее, но не здоровается.

Спустя минуту, к компании присоединяются фрекен д'Эспар и господин Флеминг. Теперь уже пять человек вовлечено в обсуждение вопроса о музыканте. Адвокат горячо принимает его сторону; какая бы побудительная причина ни была, он вновь расписывает пыл, воодушевляющий этого молодого человека, и свидетельствует свое уважение по адресу его. Как вам кажется, фрекен Эллингсен?

— Да я совсем не по поводу его пыла извелся,— перебивает Бертельсен,— а по поводу его образа действий. Что мне за дело до его стипендии?

— Ну, ну, не представляйтесь хуже, чем вы есть на самом деле,— нежно говорит адвокат и выжидает.— Вы ведь хорошо знаете, что не в первый раз люди обращаются к вам. И, насколько я знаю, вы не в первый раз приходите на помощь таланту. Прошу вашего извинения в том, что я разоблачаю эту особенность вашего характера перед этим обществом.

Бертельсен совершенно смягчен теперь; этот чертов адвокат объехал его совсем и сделал из него нечто большее, чем обыкновенного лесопромышленника. Он украдкой взглядывает на присутствующих и опускает затем глаза вниз.

— Он великолепно играет,— говорит фрекен д'Эспар о Сельмере Эйде. Она понимает, вероятно, меньше всех в этом и поэтому-то и болтает больше всех.— Не правда ли? — спрашивает она, обращаясь к фрекен Эллингсен.

— О, да!

— Но в чем же, собственно, дело?

Адвокат отвечает:

— Дело идет о стипендии, о поездке в Париж для усовершенствования.

— Дело идет не о такой маленькой сумме,— говорит Бертельсен.

Господин Флеминг внезапно спрашивает:

— Как велика сумма?

Все молчат минуту, затем адвокат начинает вполголоса высчитывать: годовой пансион, дорога туда и обратно, плата за учение, мелкие расходы...

Но тут господин Бертельсен начинает словно чувствовать что-то неладное. Выходит так, словно господин Флеминг собирается вмешаться и похитить у него лавры. Он говорит поэтому твердым и решительным образом:

— Ладно, я дам ему стипендию.

Все устремляют свои взоры на него. Краска заливает лицо Бертельсена, и адвокат приходит ему на помощь, пробормотав:

— Я знал это. Да, я знал это наперед.

— Но на том условии, чтобы он ехал сейчас же,— говорит Бертельсен.— Чтобы он убрался отсюда немедленно.

— Это-то он, наверное, сделает более чем охотно,— отвечает адвокат.— Но почему это?

— Почему? Да потому, что я не желаю, чтобы этот молодчик бегал за мной по пятам. Я не хочу, чтобы он день за днем шпынял меня вопросами, когда же он может получить эту стипендию. Ведь это вышло бы то же самое, как будто бы я не мог выплатить ее. Он может получить эту стипендию тотчас же, я выпишу чек.

— Великолепный поступок, необыкновенный поступок! Позволю себе поблагодарить вас от его лица.

— Ну, не будем говорить об этом,— заключает Бертельсен.— Скажите, сколько ему понадобится на годовое пребывание в Париже?

Все смотрят один на другого и по-прежнему хранят молчание. Фрекен д'Эспар, бывавшая во Франции, собирается начать говорить, но адвокат предлагает отправиться всем вместе в комнаты и обсудить этот вопрос.

Они так и делают и идут в комнату Бертельсена, самую большую и самую дорогую в этом здании, представляющую маленький салон с альковом. В ней имеются картины масляными красками в золоченых рамах по стенам, занавес, прикрывающий альков, позолоченная бронзовая лампа над столом, пышные занавеси, почти затемняющие комнату, ковер на полу, оттоманка, плюшевые стулья.

— Милости прошу, господа, садитесь.

Бертельсен, владелец роскошнейшей комнаты в санатории, велит подать вина и пирожных. Он выказывает себя также щедрым по отношению к музыканту и выражает намерение дать ему приличную стипендию.

— Я это предугадывал, узнаю его в этом,— говорит адвокат, этот пройдоха.

После того, как на словах и при помощи чековой книжки все улажено, общество по-прежнему осталось сидеть вместе. Кажется, словно эти люди лишь сейчас впервые нашли друг друга. Беседа, конечно, коснулась и других гостей и пациентов, и по адресу их высказались далеко не пустяковые и не невинные вещи. Бертельсен проявил большую свободу в своих отзывах о миледи и о фру Рубен. Эти две дамы колот ему глаза: одна своим аристократизмом, другая — своим дородством. «Господи, ты Боже мой,— сказал он,— ну, что это за манеры? Мы-то, прочие, ведь тоже люди. Ну что нам во всей этой чванности и дородстве?» Фрекен д'Эспар, по-видимому, единственная, усматривающая логику в этом. Она рассмеялась и воскликнула: «Правда! Правда!» В общем, Бертельсен и фрекен д'Эспар все более сходятся во вкусах и симпатиях. Это

распространилось на театр, язык, на самые принципы жизни. Между ними установилось полное единодушие.

Принесли еще вина и пирожных. Бертельсезу приходится весьма по душе эта случайная пирушка, и хотя и адвокат, и господин Флеминг поглядывает на часы, их просят сидеть, потому что господину Бертельсезу приятно видеть их у себя.

— Нам ведь так хорошо здесь,— говорит и фрекен д'Эспар, опять оказывающаяся одного мнения с ним.

Бедная фрекен Эллингсен чувствует себя несколько лишней среди всего этого единодушия. Бог знает, быть может, что-нибудь вышло сегодня между нею и Бертельсеном, иначе едва ли бы он мог так не замечать ее. Было заметно для всех, что он не давал себе труда вслушиваться в ее слова, перебивал ее и не давал другим слушать ее. Он даже не находил нужным противоречить ей. Правду сказать, фрекен Эллингсен ничего не потеряла от этого, господин Флеминг принял на себя обязанность занимать ее. Это выходило у него так изящно и естественно, он был мастером своего дела. Но фрекен Эллингсен не могла успокоиться и была рассеянна. Фрекен д'Эспар перешла на французский язык и начала беседу с лесопромышленником, и ведь тут уж, господь знает, что она могла сказать. Фрекен Эллингсен не улавливала смысла.

— О чем они говорят там? — спросила она с равнодушной улыбкой.— Что это у них за секреты?

Господин Флеминг ответил с такой же равнодушной улыбкой:

— Они просто упражняются.

Но, очевидно, черт вмешался во все это дело. Что-то, видимо, нашло и на господина Флеминга и его даму. То был, по-видимому, несчастливый день для влюбленных пар. В воздухе носились оскорбление и обида. Господин Флеминг сумел притвориться равнодушным, как ни в чем не бывало, но он не мог вполне скрыть, что поведение фрекен д'Эспар интересовало его. Шельма эта фрекен д'Эспар, и темпераментная штучка, девочка из тех, какие нравятся мужчинам. Она умела изгибать свой стан по направлению к собеседнику и заставить его почувствовать кое-что при этом. Она могла, как ни в чем не бывало, взять шляпу Бертельсена, висевшую на спинке стула, посмотреть на нее как бы в задумчивости и повесить ее обратно. Но ведь этим она кое-что сделала для Бертельсена, выказала нежность к Бертельсезу. В этом была тайна ее очарования.

— Я умею немного читать по-французски,— сказала фрекен Эллингсен, чтобы не отставать.— Но, к сожалению, я не могу говорить на этом языке.

— Ну, конечно, вы знаете по-французски,— заметил адвокат.— Иначе как же вы сделали бы телеграфисткой?

Бертельсен и фрекен д'Эспар в этот момент обменялись улыбками и фрекен Эллингсен словно толкнул кто-то. Она задала им прямой вопрос, над чем они смеялись, чтобы и она могла посмеяться вместе с ними, но не получила никакого ответа. Тогда фрекен Эллингсен в отчаянии обратилась к господину Флемингу и намекнула ему, что уже она соскучилась по работе, по своему телеграфному столику. Он не должен думать, что это что-то неинтересное. Нет, нет она предпочитает это здешней праздной жизни. Телеграф — ведь это была сама жизнь в экстракте. Ей ежедневно приходилось быть соучастницей людского горя и радости. О, телеграфный столик — ведь это был настоящий кладезь тайн!

— Смеею надеяться, что фрекен знает не слишком много плохого обо мне,— пошутил господин Флеминг. Но в то же время слабый румянец проступил на его лице.

— Надеюсь, и обо мне тоже,— сострил адвокат Робертсен.

Она отрицательно покачала головой.

Нет, ничего плохого о вас, господа. Но они должны были поверить, что она знала многое. Государственные тайны? Ну, конечно, не государственные тайны. Но, не правда ли, ведь это могут быть, во всяком случае, серьезные дела. Случалось, мороз подирал ее по коже, когда она сидела передатчицей,— служила таким маленьким ничтожным орудием между каким-нибудь из наших послов и министерством иностранных дел. Мужчины стали прислушиваться.

— Но,— продолжала фрекен Эллингсен,— самым интересным являлся, быть может, обмен депешами между полицией различных стран: выслеживание убийц, фальшивомонетчиков, мошенников, воровских шаек. Тут были замешаны и светские дамы, и знать, и французские политические деятели, и банки, и яд, и политика.

Мужчины прислушиваются уже с явно изумленным видом. Эта фрекен Эллингсен, которая до сих пор бродила только в санатории как рослая, красивая кукла, от которой слова не добьешься, которая почти внимания не стоила, она оказалась вдруг окруженной каким-то сиянием, каким-то ореолом. У ней сказывался налицо сценический

талант: сдержанная жестикуляция ее рук усиливала эффект ее слов, глаза ее были опущены долу, словно она извлекала слова из какой-то неведомой глубины.

— Да,— говорила она,— жизнь идет своим ходом, и Бог располагает ею. Некоторые люди совершают длинные путешествия с железнодорожным билетом, некоторые — еще более длинные при посредстве револьверной пули.— Она рассказывала любовные трагедии, воссоздавала целые повествования, где телеграф являлся участником и посредником. Такова была, например, история о двух иностранцах и охотничьем экипаже.

— Да, так вот однажды прибыли в Норвегию два иностранца, господин со своим слугою. Они выражали намерение поохотиться в нашей стране, у них был с собой собственный охотничий экипаж и они собирались разъезжать самостоятельно по нашим долинам и лесам. Через несколько дней телеграф бьет тревогу: наблюдать за господином и его слугой. Они находились в тот момент в той или другой долине. Иностранцы думают, что наши долины существуют для того, чтобы в них прятаться, вся страна наша какой-то потаенный закоулок, долины наши и не разыщешь никак. Прекрасно. Но господин, его слуга и охотничий экипаж находились в Халлингдале. Спустя неделю прибывает из-за границы еще один господин, посланец за теми двумя. Он получает с родины по телеграфу следующее приказание: не препятствуйте господину и слуге бежать, но арестуйте охотничий экипаж. Наша полиция сопутствует ему: указанных личностей находят, но экипаж исчез. Посланец телеграфирует домой: экипаж пропал,— предполагается, украден цыганами. Следует погоня за цыганами. Их находят на переходе в Вальдрес и при них действительно находится экипаж. Да, и это действительно, как раз тот самый экипаж и есть, но цыгане утверждают, что получили его от господина и его слуги. Посланец покупает у них экипаж и доносит на родину, что экипаж был отвезен в укромное место и там вскрыт, прямо-таки разобран на составные части,— но оказался пустым. Экипаж был обобран ранее того, чем его получили цыгане. Из рапорта вытекало, что экипаж содержал не золото, не драгоценные камни, а документы, да, только документы, подумайте, просто такие черные точки на белой бумаге, но стоившие дороже всяких драгоценностей, необычайно важные. От них зависела судьба многих лиц, в них была жизнь или смерть. И вот документы эти пропали.



Здесь фрекен приостанавливается и спрашивает:

— Угодно ли вам услышать дальнейшее?

Что она хочет этим сказать? Им, конечно, хочется услышать продолжение.

Напряжение как раз достигло наивысшей точки.

— Ну, ладно, хотя рассказывать-то остается немного. Посланец и полиция принуждены были вернуться в Халлингдаль, они обшарили все поля и леса — все было напрасно. В конце концов им пришлось обратиться к господину и его слуге, чтобы получить сведения о тайнике. И они *купили* у них эти документы.

Слушатели были слегка разочарованы:

— Так они, значит, купили документы?

— Да.

Какая-то перемена произошла с фрекен. Она словно потеряла нить, ее уже не было у нее в руках. Отчего бы это могло случиться?

Господин Флеминг спрашивает с деликатной сдержанностью:

— Но почему же они не арестовали немедленно господина и его слугу?

— Не знаю, — неуверенно отвечает фрекен.

— Они были, может быть, в близком родстве с обокраденными?

Молчание.

— Ну, а слуга? — спрашивает господин Флеминг.

Фрекен словно потеряла почву под ногами; но делает последнее отчаянное усилие ухватиться хоть за что-нибудь.

— Слуга? Да ведь это была дама, — отвечает она.

Это слегка спасает положение и мужчины невольно восклидают:

— Ах!

Но сейчас же вслед за этим оказывается, что они все же не усвоили связи во всей этой истории, и они начинают засыпать ее вопросами:

— Ну, а где же связь-то? В чем собственно, идея-то тут? Охотничий экипаж? И почему не арестовали заговорщиков?

Фрекен Эллинген не знает, говорит она, совсем не знает. Она производит впечатление беспомощности. Внезапно она словно находит другой выход и говорит таинственным тоном:

— Почему они не были арестованы? Да ведь это могло быть и потому, что их правительство хотело предоставить

им возможность застрелиться из своих собственных охотничьих ружей.

— Так! Да, это, конечно, было возможно.— И мужчины сделали вид, что удовлетворились этим. Им было жаль фрекен, им не хотелось мучить ее. Чтобы выручить ее, они начали переводить разговор на другие темы. Адвокат выдвинул снова на первый план миледи и спросил господина Флеминга, нет ли у него, как у дворянина, экземпляра готского альманаха?

Господин Флеминг, по-видимому, приходит в легкое замешательство при этом вопросе и переспрашивает:

— В чем дело? Зачем?

— Нет ли у вас экземпляра готского альманаха? Будьте так любезны заглянуть, стоит ли в нем миледи. Я сам не мог найти ее там.

Господин Флеминг улыбается с видом облегчения и отвечает:

— Я даже не знаю, стою ли я-то сам в нем. Можно быть князем или княгиней не будучи помещенным в нем. Нет, у меня нет готского альманаха.

Но фрекен по-прежнему сидит, никем не замечаемая, и господин Флеминг рассказывает ей теперь о быке с соседнего сэтэра, о Даниэлевом быке. Не случилось ей встречаться с ним во время ее прогулок?

— Нет.

— Это к лучшему; он опасен, во всяком случае — небезопасен, лучше обходить его. Да, это был Даниэлев бык — форменный буйвол, двух-трех лет, рожища вот какая, белый с коричневым и с необычайно отвратительными глазами. Даниэль сам говорил про него, что он совсем бешеный и шутки с ним плохи.

Нет, благодарение Богу, фрекен на него не натыкалась. Она вздрогнула.

— Раз это животное является опасным для пансионеров здешней санатории, то Даниэль должен расстаться с ним, — говорит адвокат.

— Он хочет додержать быка до осени и затем продать его на убой, — поясняет господин Флеминг.

— Я пошлю туда нашего сыровара купить его теперь же, — решает адвокат. — Никто из гостей не должен ходить здесь в страхе перед этим животным. Это было бы лишено всякого здравого смысла.

Не без того было, чтобы и адвокат не почувствовал себя в данную минуту своего рода меценатом, благодетелем по отношению ко всей санатории, и когда фрекен

Эллингсен в двух словах благодарит его, он решает, конечно, что одна признательность стоит другой. Он заявляет поэтому фрекен:

— То, что вы рассказывали — это замечательное происшествие с охотничьим экипажем, — жаль, что вы не описали его.

— Я? Нет.

— Вы должны были записать его. Рассказ этот так интересен и в нем столько жизни. Не правда ли? — спрашивает он господина Флеминга.

— Да.

Господин Флеминг кивает в знак согласия.

Фрекен вновь собирается с духом. Рассказ ведь не совсем удался ей, но теперь она приободрилась! Нет, нет, она не умеет писать, она сама улыбается при этой мысли извиняющейся улыбкой. Она может только сидеть за телеграфным аппаратом и слушать. Ни к чему другому она не способна. То, что она слышала, она обдумывает потом наедине. Это имеет свое значение для нее, служит для нее своего рода духовной пищей.

— Ну, так значит, записываете это?

— Да, возможно, — соглашается фрекен. Конечно, она делала опыты, и у нее лежит несколько рукописей, она не хотела этого отрицать. — Но как вы, господа, узнали об этом?

— Да ведь это было нетрудно угадать. Такая легкость изложения...

Фрекен Эллингсен сидит теперь такая счастливая этим одобрением, изумляясь той прозорливости, с какой ее поняли. Она забывает на время тех двух, болтающих по-французски. Да, ведь она все же заставила их немного прислушаться к ее словам.

Она раздражается внезапно самыми убедительными, по ее мнению, доводами, словно дело идет о чем-нибудь очень серьезном.

— Нет, что действительно интересно на телеграфе, так это не мелкие, жалкие преступления, случаи, когда один надувает другого на какой-нибудь партии леса, — это все только фокусы и деловые уловки. Но порой на аппарате начинает выстукиваться совсем иное: срочная телеграмма из Англии: герцогиня такая-то исчезла, бежала или похищена.

Снова длинный рассказ. Он кончается только, когда фрекен опять споткнулась, она не может развить его дальше.

Все слушали. Бертельсен и фрекен д'Эспар не болтали больше друг с другом. Они тоже слушали. Лесопромышленник Бертельсен прерывает ее один раз вначале, пояснив, что с партией леса невозможно делать каких-либо фокусов и мошенничества здесь не бывает. Ну, конечно, нет, подтверждает и фрекен, и извиняется. Она просто так это сказала, для примера. Она могла бы упомянуть о другой торговле, о торговле лошадьми, например. Спустя некоторое время, при дальнейшем ходе рассказа, Бертельсен вдруг поинтересовался:

— Но разве вы не приносили присяги?

— Присягу? Да.

— Присягу не разглашать тайн корреспонденции?

Вопрос этот приводит ее в некоторое замешательство. Она лепечет:

— То есть, как это? — Да, она подписывала инструкцию. Ради всего святого в мире она не согласилась бы нарушить своей присяги. Разве она сделала это?

— Нет, — ответил господин Флеминг.

— Кроме того, — продолжает Бертельсен свой вопрос, — я не улавливаю смысла всей этой истории. Что, эта герцогиня была здесь, у нас в Норвегии?

— Здесь?

— Мне помнится, я читал что-то похожее в одном детективном романе. Не в этом ли роде что-нибудь вы нам рассказываете?

Фрекен Эллингсен горячо протестует, при чем густой румянец заливает ее лицо. Совсем нет. Она прочла очень мало детективных романов в своей жизни. Но ведь такова уж нынешняя жизнь. Детективные истории просачиваются в повседневную жизнь. Телеграф заполнен историями такого рода. А что касается присяги, то ведь она не называла ни имен, ни мест. Герцогиня могла быть какая угодно. Они ведь, конечно, заметили, как она вдруг замолчала и не рассказывала дальше. Это она сделала умышленно, так как не могла продолжать, не нарушив присяги.

Бертельсен был безжалостен:

— Странно, — съязвил он, — в истории об охотничьем экипаже вы только что упоминали как раз названия городов: Христиания, Халлингдаль...

Для фрекен Эллингсен это оказывается уже слишком, и она разражается рыданиями. Она не поднимается и не уходит, она только вся поникла на стуле, словно

подавленная и приниженная словами Бертельсена. Ее подергивает истерическая дрожь.

— Господи ты, боже мой! — восклицает Бертельсен, и спешит к ней. — В чем дело? Ну, есть из-за чего плакать! Я не подумал, но, конечно, глупо было так говорить. Черт возьми совсем! Ну, что я там понимаю во всех этих ваших присягах и тому подобном? Вы в этом разбираетесь, а не я. Мне хотелось бы только, чтобы вы перестали и думать об этом. В самом деле, хотелось бы. Ну, бросьте же это, успокойтесь!

— Ничего! — всхлипывает она. — Нет, сядьте, слышите, это ничего! Не утешайте меня! Вы правы отчасти, в большей части, быть может, совершенно правы, с вашей точки зрения. У меня просто в глазах потемнело. Оставьте меня только в покое, на минутку, и все пройдет. Мне немного дурно стало, голова закружилась.

Мужчины отходят в сторону, чтобы дать фрекен время прийти в себя и успокоиться. Адвокат выражает свое удивление по поводу хорошего внешнего вида господина Флеминга, здорового вида. Как он приосанился, как поправился! И господин Флеминг отвечает, что, да, слава Богу, скоро он совсем поправится, остается только обзавестись невестой, хе-хе!

Фрекен д'Эспар наблюдала злополучную сцену с фрекен Эллингсен издали, с полуудивленным, полунасмешливым выражением лица. Но вот она встает, подходит к обиженной девушке, шепчет ей что-то и гладит ее по голове. Мужчины осушают свои стаканы и стараются говорить громче чем нужно, чтобы вновь поднять настроение. И это удается. Дамы постепенно присоединяются к ним, пиршество начинается вновь, приносят еще вина и закусок. Все идет прекрасно. Между Бертельсеном и его дамой, не остается и тени недоразумения. Он пересел вплотную к ней и занимает ее теперь разговором. Он требует слова и произносит речь в честь этой местности, в честь Торахусской санатории; адвокат Робертсен, в качестве хозяина, благодарит его. Господин Флеминг делается все оживленнее и оживленнее; он откидывается на спинку стула, натягивает на свой впалый живот жилет и бьет себя в грудь: смотрите, что он может делать! Он не мог этого делать еще несколько недель тому назад, вот здесь поселилось здоровье. Он просит общество присоединиться к радостной телеграмме его матери.

Всегда при упоминании о доме и о своей матери сильное душевное волнение отпечатывалось на его лице, настоящее

воодушевление. У него была такая славная мать. Никто и представить себе не мог, какая это важная дама, если бы только они знали! Он уселся писать телеграмму с высоко вздымающейся грудью, и общество подписалось.

— Спасибо! — сказал он. Они должны были служить свидетелями, что его матери нечего беспокоиться за него.

Он сумел даже затеять разговор с фрекен Эллингсен в таком тоне, как будто бы с нею ничего и не произошло; да, он даже прямо-таки завел речь о герцогине и сказал фрекен комплимент по поводу ее рассказа. Он сделал это так изящно, без всякого преувеличения.

— О, я знаю гораздо больше, — подхватила она, — я могла бы рассказать, что случилось с нею в конце концов, если бы смела. Но ведь я связана присягой. Вы не заметили разве, что я должна была остановиться?

— Да, и я дивлюсь вашему самоотречению — не закончить такую интересную историю.

Грохот колес экипажа донесся снизу, со двора, и Бертельсен сказал в шутку:

— Ну, теперь вам нужно бежать вниз, Робертсен, принимать гостей. — Но так как никаких гостей в санатории не ждут, то адвокат рассмеялся только и остался на месте.

— Не шутите очень-то, — сказал он, — я поместил в газетах, что у нас здесь имеются граф и принцесса. Это уж, наверное, подействует.

Но в этот момент произошло нечто: граф сделал судорожное движение головой, как будто бы у него в горле что-то застряло. Он выхватывает из кармана свой носовой платок и подносит его ко рту, затем смотрит в него и словно не верит тому, что он видит, встает, подходит к окну и смотрит на него еще раз.

— Что это? — спрашивает фрекен д'Эспар с испугом.

Господин Флеминг не отвечает.

— В чем дело? — переспрашивает она и вскакивает из-за стола.

Господин Флеминг отирает рот и прячет носовой платок.

— Пустяки, — говорит он и садится обратно на свое место.

Но все видят, что что-то такое произошло, этого нельзя скрыть. Господин Флеминг поднимает бокал и осушает его. Лицо у него очень серое, бледное.

— У вас маленькое пятно здесь, — говорит ему фрекен д'Эспар, показывая пальцем.

— Где?

— Да вот здесь, у самого угла рта. Если хотите, дайте мне ваш носовой платок.

— Спасибо, я могу сам.— Он встает, идет к зеркалу и приводит себя в порядок. Фрекен д'Эспар следует за ним глазами. Внимание других также возбуждено.

Держится он прекрасно, его слова и движения не носят отпечатка никакой суетливости, но лицо его словно осунулось и похудело. Прочие члены общества стараются не дать заметить, что они чувствуют что-то недоброе, но Фрекен д'Эспар устлавляется полными ужаса глазами на больного и в порыве безотчетной нежности кладет свою руку на его руку. Их взоры встречаются. «Спасибо!» — шепчет он. Если на нити, соединяющей их, запутался сегодня узелок, то теперь он развязался.

— Я сбегая за доктором,— говорит она.

— Доктором? — переспрашивает он, пытаясь представиться удивленным.— Совсем не к чему, это пустяки. Но раз вы об этом заговорили, так единственное, что может быть нужно было бы,— это немножко льду.

— Вам не по себе? — осведомляется адвокат.— Доктор явится моментально.— Он встает, звонит и дает горничной приказ отыскать доктора.

В то время, как они ждут, все стараются быть веселыми и беспечными. Господин Флеминг противится тому, чтобы покинуть компанию и пойти лечь в постель: «Почему это мне первому нужно расстраивать общество?» Ему приходится, однако, еще раз прибегнуть к помощи носового платка и пойти к зеркалу обтереть лицо. Он так же спокоен и так же владеет собой, как и в первый раз. Он не вносит никакого замешательства. Но в комнате Бертельсена уже нет больше прежнего веселья, праздник кончился.

Инспектор Свендсен постучал в дверь, вошел и сообщил, что консул сейчас сидит внизу; не желает ли господин адвокат поздороваться с ним.

— Кто?

— Консул Рубен, этот самый, муж фру Рубен; он приехал.

Адвокат ничего не знал о том, что должен приехать консул Рубен, но он тотчас же встает и просит общество извинить его. Он обращается к Бертельсену и повторяет то, что он говорил уже раньше:

— Не шутите над тем, что будут новые гости, вот уже начинают приезжать консулы.

Инспектор было уже ушел, когда господин Флеминг позвал его обратно. О, господин Флеминг выглядит, как сама смерть, но он еще жив, он еще мыслит и чувствует. Он моргает, дышит, находится в полном сознании. Он сжимает и разжимает руки как хочет, он не умер. И он протягивает инспектору телеграмму, адресованную матери, в Финляндию, и поручает ему послать ее на станцию сегодня же, немедленно.

Она уже не соответствовала более истине, эта телеграмма,— сейчас господин Флеминг не мог уже со спокойной совестью хвастать своим вновь обретенным здоровьем. И все же он отправил эту телеграмму своей матери. И его совесть-то, по-видимому, и вдохновила его на этот шаг.

## ГЛАВА V

---

Много чего стало случаться теперь. Люди копошились друг возле друга. А тут еще начала хозяйничать смерть. Она выбирала свои жертвы по произволу, как попало.

Господин Флеминг лежал в постели — вначале со льдом и во рту, и на груди, из-за своих кровотечений. Но когда они прекратились, он опять поправился и сидел на кровати, убивая время и раскладывая пасьянсы. Фрекен д'Эспар побывала с весточкой от него у Даниэля и передала ему поклон от господина Флеминга, сообщив ему, от имени больного, что он простудился и в ближайшем будущем не может явиться за своей простоквашей, но, как только поправится, непременно заглянет опять.

Как раз на этой прогулке фрекен д'Эспар и попался бык. С мычанием бежал он вслед за ней, и фрекен, сильно запыхавшись, прибыла обратно в санаторию.

Да, бык расхаживал все по-прежнему в тех местах. Санатория пожелала было купить его немедленно, но Даниэль и слышать не хотел о продаже его до осени, когда он выводится как следует на подножном корму, прибавит в весе и станет полноценным. Так проходил день за днем, а дело все оставалось не решенным. Адвокат Робертсен также уехал опять в свою контору в Христианию. Особенного внимания не вызвало и то обстоятельство, что фрекен д'Эспар подверглась преследованию быка. Фрекен отнюдь не пользовалась таким всеобщим расположением, чтобы кто-нибудь взял ее сторону. Наоборот, другим дамам казалось, что фрекен д'Эспар отлично могла бы обойти место, где пасся бык. Что ей там нужно было!



Прибывали гости. Прибыл консул Рубен, за ним последовало в тот же день два-три других пансионера. Наконец, в конце недели, приехало, через Дувр, целое общество, несколько человек, и поселилось в Торахусе. По-видимому, предсказание адвоката Робертсена начинало сбываться; реклама о постоянном пианисте и знатных гостях, графе и принцессе, подействовала в смысле привлечения публики в заведение. «Где здесь граф?» — спрашивали дамы. «А где принцесса?» — спрашивали и дамы, и мужчины. Эта горная санатория становилась людной, делалась большим курортом. Зданию угрожала опасность быть переполненным, и что будет тогда?

Оказалось, что к осени придется отделать еще много комнат, чтобы санатория могла встретить в полной готовности ближайшую весну. Пока что комнат здесь было достаточно, но не все были готовы; в них не хватало обстановки, в некоторых комнатах не было печей. Тесноты еще не было, некоторые из гостей не имели времени, другие — средств на более продолжительное пребывание в Торахусе. Они уезжали после нескольких дней или какой-нибудь недели пребывания и уступали место новому потоку. Постели меняли владельцев, не успевая даже остыть.

Консул Рубен приехал навестить свою жену. Он был из тех, у кого всегда мало времени, и не мог оставаться здесь долго. Уже в первый вечер, сидя в комнате своей жены, он выказал признаки нетерпения. Он спросил свою жену о даме — где же эта дама? — поинтересовался он.

Фру Рубен, необъятно толстая, с трудом дыша, встала и пошла к двери. О, она была так тучна, она переваливалась на ходу как утка. Даже когда она спускалась с лестницы, она отдувалась, словно подымаясь по ней. Она открыла дверь, выглянула в коридор и закрыла дверь вновь. Все было спокойно.

— Здесь так слышно, — предупредила она, — говори тише! Эта дама? Да ведь это вовсе не какая-нибудь обыкновенная дама. Она придет, когда сама того пожелает, или совсем не придет. Мы не можем послать за ней.

Консул недоволен этими церемониями и всем вообще:

— Зачем ты велела поставить здесь эту добавочную кровать? Разве я не мог получить отдельной комнаты?

Жена отвечает уклончиво:

— Это горничная. Я не знала — здесь, может быть, все занято.

— Вздор! Здесь задохнешься, в этой конуре. Я спрашиваю, чего хочет эта дама?

— Чего она хочет? — фру Рубен начинает говорить и разъясняет положение дамы.— Она попала в крупные затруднения, она не спит по ночам, ей приходится вести бродячий образ жизни, несчастный она человек, в разлуке со своим мужем; нет у нее дома, негде преклонить голову...

— Это тяжело! — говорит консул.

— Дама эта была здесь много раз, она стучалась в эту комнату, улыбалась и просила извинения. Больше она ни с кем не говорила.

Фру Рубен была так смущена в первый раз, что забыла даже встать и сделать реверанс.

— Откуда она? — задал вопрос консул.

— Из Англии. Разве вы не знаете этого? Она леди, муж ее лорд, министр, он занимает место в правительстве.

— Ну,— замечает консул,— так это я о ней читал!

Но консул не придает этому особого значения и не проявляет больше интереса.

Жене приходится возбудить его любопытство, она говорит напрямик, чего она хочет. Она в затруднительном положении, ей нужны деньги.

— Они всем нам нужны,— отвечает консул.

— Жаль ее, право, она совсем завязла, она ниоткуда не получает помощи.

Консул наклоняется, уставившись на руку своей жены:

— Новое кольцо? Дай мне взглянуть!

О, фру только что проводила по своим волосам и поправляла их этой самой рукой. Муж не мог не заметить этой изящной драгоценности.

— Разве это не восхитительно! — сказала она.— Я не хотела принимать его, видит Бог, не хотела, но она заставила меня. Видал ли ты когда-нибудь такую глубину?

Консул только кивнул головой и сказал:

— Ну, и что же? Она собирается продать много таких колец?

Фру обиженно ответила:

— Ты шутишь! Понятно, она не собирается продавать колец, она обращается к нам совсем не за этим. Она обращается к тебе, как к консулу, это совершенно другое дело. Так как она не может или не хочет прибегнуть к помощи своего собственного консула, она обращается к тебе. Нет, ей нельзя обратиться к своему собственному консулу, ведь он всегда станет на сторону ее мужа и министерства — это понятно,

— У нее должны же быть близкие. Что, муж совсем отвернулся от нее?

— Я не знаю, можно ли так сказать; я слышала от нее только хорошие отзывы об ее муже.

— О, да, так всегда бывает!

— То есть, как это?

— Что отзывы становятся все лучше после развода — когда начинают сожалеть о случившемся.

Госпожа Рубен вновь обижена. Ведь не о какой-нибудь обыкновенной даме речь идет, а о леди. Консул слишком далеко заходит, предполагая, что все эти дамы похожи на машинисток в его конторе. Да, от нее можно было услышать только лестные отзывы о муже, настаивает фру Рубен, а он, в известном смысле, сделал все от него зависевшее, он собственно и не чинил ей нынче никаких препон, он держался непримиримо и никогда не отвечал ей. Ну, что это за манера такая! А близкие? Она, конечно, утратила симпатии со стороны семьи ее мужа; у самой же нет близких, которые могли бы помочь ей.

— Так она, значит, происходит совсем из низов?

Фру Рубен стала защищать ее. Что значит «из низов»? В Англии, где всякий может жениться на ком угодно! Король может жениться на любой мещанке, если захочет. Так неужели лорд не может жениться на актрисе?

— Так вот она, значит, кем была!

— Да, чем-то в этом роде; кажется, танцовщицей.

— Час от часу не легче! И, значит, теперь я, в качестве консула, должен вмешаться? Этого я, конечно, сделать не могу, об этом и речи быть не может, это не в моей власти. Вы обе одинаково рехнулись, предполагая это.

Фру Рубен отказалась от мысли воздействовать на тщеславие своего мужа. Он ведь должен сообразить, что когда к нему обращается леди, то она отличает его перед другими; иначе этого нельзя понять. Она делает его почти своим поверенным, дружески беседует с ним о том или о другом, ставит себя временно на равную с ним ногу. Но так как этот знак внимания не произвел на консула Рубена никакого заметного впечатления, то фру Рубен пришлось испробовать другой метод.

— Итак, значит, ей нужны деньги, — спокойно продолжает она, не слушая возражений мужа, — и деньги она получит, несомненно. Ведь у ней ценностей и не на такую сумму!

— Как велика сумма?

— Зависит от того, во сколько ты оцениваешь английского министра. Здесь речь идет о благосостоянии или разорении, жизни или смерти.

— Это чем-то серьезным пахнет. А что же это за ценности?

— Документы. Письма.

Если фру рассчитывала добиться какого-либо особого эффекта этим сообщением, то она просчиталась. Консул даже головы не поднял,— он зевнул. Это не смутило ее. Странное дело, она взяла на себя обязанность покровительствовать этой чужеземной даме и этого она хотела добиться. В чем крылся источник этой настойчивости? Этот человек, эта госпожа Рубен вечно страдала от хронического расстройства нервов, она погибала под бременем жира, ее тяжеловестность обрекала ее на бездеятельность, не в качестве наслаждения, а в качестве тяжелого бремени. Да, все это было так. Но фру Рубен умела в то же время проявлять доброту и услужливость по отношению к другим. Что ей было за дело до этой английской леди? Расовая симпатия? Быть может. Но в таком случае ведь и лорд принадлежал к той же самой расе, а она работала как раз против него!

Консул зевнул:

— Я не могу взять на себя это дело только потому, что ты получила какое-то там кольцо.

— Ну, конечно, нет,— подтверждает и фру, зевнув в свою очередь. Кольцо — это пустяки, оно порадовало ее в первый день, но не больше. Она взяла его, потому что дальнейший отказ был бы уже невоспитанностью. И разве принято отказываться от подарков высокопоставленных лиц? У фру Рубен были и до того кольца, слишком много даже, они были в тягость и мешали ей. Как он сам видит, ей пришлось надеть их все на мизинцы.

— Да, после того, как все остальные пальцы стали похожими на большой.

Фру опускает свою голову и отвечает:

— Когда мне было восемнадцать лет...

— Ну, да, я знаю эту песню наизусть,— перебил консул.— Но тебе не восемнадцать лет, а вдвое больше! А вот поумнеть-то ты не поумнела!

— Когда мне было восемнадцать лет,— настойчиво продолжает фру,— у меня были такие же тонкие пальцы, как у твоих машинисток! — Во второй раз упоминала она о машинистках, не только мимоходом, но с определенной интонацией, как будто эти слова имели свое особое

значение. И во второй раз консул выслушал это с равнодушной миной, пожимая плечами.

— Эти бумаги,— процедил он,— частные письма. Я консул; письма — это значит скандал, шантаж — нет, я и не притронусь к ним.

Фру настаивала, что скандал будет меньше, если такая важная особа, как консул, осторожно воспользуется этими письмами, чем если бы леди действовала сама и этим несомненно способствовала падению своего мужа.

И была ли то лесть, заключающаяся в словах о «такой важной особе», или в последнем аргументе жены скрывалась известная логика,— консул спросил как будто бы для того, чтобы положить конец этому разговору, где бумаги.

Просмотр их затянулся далеко за полночь. Во время чтения он порою покачивал головой, вытягивал внезапно ноги, как бы в состоянии известного волнения, барабанил пальцами по столу, хмурил брови,— чтение его захватывало. Да, этот полнокровный человек с короткой шеей получил здесь все, чего только мог пожелать, по части грязных мыслей и интимных излияний. Почему так мало деликатности, так много прямо-таки грубости в этих письмах? Это был какой-то ушат с помоями, в который приходилось окунаться консулу. У бывшей танцовщицы были, вероятно, какие-нибудь совсем особые причины терпеть легкомыслие своего мужа, не зажимая при этом носа. Тут были письма из Индии и из других стран, политика, египетские оргии, личные счета с администрацией, частная торговля сомнительными товарами, покупка титула лорда, поставки в армию — все в одной куче, и от всего этого невыносимо дурно пахло.

Фру Рубен в молчании наблюдала своего мужа. Письма становились все короче и короче. Казалось, словно автор писем уже не питал полного доверия к своей жене, или что он нашел другого поверенного. Последние письма содержали намеки на возвращение леди к ремеслу танцовщицы, на какую-то поездку в Шотландию с каким-то темным директором одного увеселительного заведения. Леди, по-видимому, отрицала это, но следующее письмо от мужа неопровержимо устанавливало обвинение и кончалось разрывом. Два эти последние письма были, в конце концов, решающими. Баста!

Фру Рубен уловила, что интерес консула заметно падал по мере того, как он заканчивал чтение писем. Здесь больше уже ничего не было для него, но, казалось, было что-то как раз для нее. Этот добрый лорд начал свою

карьеру при помощи приданого жены, танцовщицы; это она вывела его на дорогу при посредстве того маленького состояния, которое она собрала своими танцами, своими ногами. Он претворил ее мысль в действие, и оно открыло им обоим путь. Но к чему было теперь все это!

Фру Рубен сидела, словно перебирая свои собственные мысли и воспоминания. Не была ли она сама в таком же положении, как эта леда, покинута, оставлена без внимания своим мужем? Разве нет? Было бы слишком несообразно, чтобы она из чистого альтруизма заинтересовалась судьбой этой чужой для нее личности, хотя бы в данном случае дело и шло о расовой соплеменнице. Консул, по-видимому, не чуял ничего недоброго. Если бы он случайно поднял глаза, его охватило бы подозрение при виде все более и более загорающихся глаз его жены. Она сидела и наблюдала его со стороны. Ее миндалевидные глаза приняли испытующее выражение и засверкали недобрым огоньком, указывая на усиленную внутреннюю работу в этой жирной голове.

— Фу! — отдуваясь, сказал консул, — какая грязь! Сколько ей лет?

— Да, грязь, — ответила фру.

— Мне здесь делать нечего.

Фру молчала.

— Сколько ей лет?

— Ну, ты мог бы сделать что-нибудь, если бы захотел.

Консул, с внезапным порывом раздражения:

— Сколько ей лет, спрашиваю я? Черт побрал бы это скрытничанье!

Фру криво улыбается:

— Сколько ей лет? Я ее не спрашивала. Я не знаю даже, можно ли назвать ее красивой, с твоей точки зрения. Не все ли равно, впрочем, ведь не это интересует тебя.

Консул в полном раздражении:

— Да, это меня совсем не интересует! Я не интересуюсь ни этой дамой, ни ее скандалами. Послушай, это, наконец, в высшей степени сумасбродная идея с твоей стороны велеть внести добавочную кровать в эту конуру. Хорошо, что только на одну ночь. И вообще-то я не понимаю, зачем ты вытребовала меня сюда в горы.

Да, никакого сомнения быть не могло, что фру следовала какому-то определенному плану и работала на свой счет, иначе она не говорила бы того, что сказала. И она, по-видимому, решила добиться чего-то. В самом

безнадежном на вид положении она упорно сохраняла свою позицию, будь что будет!

— Так я, значит, причинила тебе хлопоты там, дома? — спросила она. — Ты не наделал мне хлопот, приехав.

— Не можешь ты разве понять это? Что у тебя здесь, дело, почта, контора, большой персонал?

— Нет, у меня ничего нет, только я сама, всегда только я сама! — она жалобно продолжала. — Я выехала сюда в один прекрасный четверг и тотчас написала. Проходит четверг за четвергом, но от тебя не было ни слова. Я писала снова и снова. Нет. Ну, в конце концов я телеграфировала.

— Ты этого не понимаешь — ответил он, — но у меня времени не было, как раз теперь у меня масса дела. У служащих очередные отпуска, их работу кто-нибудь должен же делать. Надо же мне время, чтобы поесть, должен же я поспать хоть когда-нибудь.

Молчание.

— Но ты этого не понимаешь, — повторяет он и начинает раздеваться.

— Если ты это говоришь, значит, это верно, — отвечает она.

— Это так. И поздно уже сейчас, давай ложиться! Нет, в эту аферу с танцовщицей я не могу ввязываться. Ты ведь понимаешь меня, надеюсь?

Молчание. Фру говорит, наконец:

— Она должна получить ответ от мужа, между ними не все еще решено. Она слишком отяжелела, чтобы вернуться к танцам, и не может начать свою карьеру сызнова. Она не получает ответа по поводу маленькой фермы для разведения кур и кроликов. Почему он не отвечает? Лорд влиятельный человек сейчас, а между тем только отмалчивается. Ее собственный адвокат стал что-то малодетелен и видимо переметнулся на противную сторону. Куда же ей теперь обратиться?

— Мне пришло внезапно в голову, — говорит консул, — а что это, подлинные письма?

— Ну, конечно. Почему же нет? Почему ты это спрашиваешь? Ты ведь не заподозрил же письма?

— Нет. Ну, ложись-ка и ты.

Фру остается сидеть некоторое время, потом идет к своей постели и возится еще там порядочно времени, между тем как консул лежит, пыхтит и вертится в кровати.

— Ты не ляжешь, что ли, сегодня ночью? — спрашивает он.

Никакого ответа.

Быть может, у него мелькнула догадка, что он был нелюбезен, он говорит:

— Послушай, ложись сейчас и погаси лампу. Ведь нужен же и нам когда-нибудь покой.

— Да, вот будет тебе покой! — отвечает она как-то разом, резко и неожиданно.

Разыгрывается сцена. Консул, должно быть, встревожился, он предчувствует что-то неладное. Ответ фру был такой странный; он поворачивается на спину и впервые смотрит своей жене прямо в лицо. Какого дьявола она задумала? Она стояла у своей кровати, теперь она внезапно делает пару быстрых шагов к нему. Она хочет, быть может, бросить ему в лицо несколько злых, оскорбительных слов и забывает, что идет с подушкой в руках. Что он мог подумать? Большая постельная подушка в ее руках. При свете лампы видно ее искаженное лицо, глаза ее перекошены как в истерии, как в припадке безумия. Конечно, она была вне себя, так как ничего не сказала даже, ни одного слова. Консул разом, судорожно подымается на постели, едва ли для того, чтобы лучше рассмотреть ее, скорее для того, чтобы защититься; но в тот же момент в нем происходит странная перемена. Лицо его как-то побледнело и осунулось, руки повисли, тяжело и безжизненно падает он навзничь и стучается затылком о спинку кровати. В таком положении он и остается лежать.

Ну, перемена, крах! Фру сдерживает себя и останавливается. Ей необходимо время собраться с мыслями и вернуть себе ясное сознание. Она не ищет стула, чтобы упасть на него, она нисколько не растерялась, она как будто хочет сказать: «Ага, видишь!» Она не сделала никакой глупости. То, что произошло, случилось кстати. Это было справедливым возмездием судьбы. Она прекрасно понимает, что в этом уже нет никакого смысла, но она как бы говорит мужу: «Ну вот, довольно!» Так как он не двигался и не подавал признаков жизни, она продолжала вести свою линию. Из одного уха у него течет кровь. Быть может, и из другого, которого она не видит. Она вспоминает тогда о докторе и оглядывает комнату — все ли в порядке к его приходу.

— Отвечай же, слышишь! — говорит она громким голосом мужу. Она видит, что голова его лежит неудобно, на спинке кровати, с подбородком, упертым в грудь, но она не поправляет ее. Она относит вместо того свою подушку обратно на ее место, прячет связку писем миледи,



лежащую на столе и, переваливаясь, выплывает за дверь, за доктором.

Первый смертный случай в Торахусе!

Почти случайность: человек приезжает налегке, с маленьким саквояжем для зубной щетки и ночной рубашки в руках, он хочет навестить свою жену, которая гостит в санатории, остается здесь на несколько часов — и его постигает смерть!

Нет ничего удивительного, если жена его, быть может, находила эту случайность немного неестественной, какой-то глупой шуткой судьбы, чем-то почти предначертанным. Муж-то, пожалуй, стал бы утверждать, что у него была вполне основательная причина умереть: его мучили далеко за полночь английским скандальным делом и он, следовательно, был вполне подготовлен, чтобы истолковать в неправильную сторону поведение своей жены, направившейся к нему с подушкой в руках. Вероятно, это ему показалось очень страшным, он вообразил себе что-то вроде удущения. Истерический вид жены лишил его здравого рассудка — и он хорошо сделал, что умер не от какой-нибудь безумной выходки.

С другой стороны, жена могла доказать, что ничего такого не предполагалось. Катастрофа была, во всяком случае, тяжелым ударом. Когда она вспоминала себя самое, с этою невинной подушкой в руках, она не могла оставаться в серьезном настроении. Случай этот был комичен, ей хотелось смеяться, ха-ха! И в том же смысле можно было сказать, что налет комизма был в торопливости, с какою он собрался домой, уже через день, завтра, а вместо этого умер. Да, в жизни есть свой комизм, в смерти тоже.

Доктор Эйен и другие служащие санатории старались замолчать этот необычайный смертный случай, но это совсем не удалось. Новость переходила из комнаты в комнату и достигла наконец больного — господина Флеминга. Как могло это произойти? Фрекен д'Эспар просиживала несколько часов в день возле него и оберегала его. Он, должно быть, услышал об этом через стену соседней комнаты, где ходила взад и вперед дама, вертевшая свой носовой платок, свои перчатки, свои пальцы и разговаривавшая громко и с отчаянием в голосе сама с собою.

Господин Флеминг сказал фрекен д'Эспар:

— Я могу рассказать вам новость: здесь умер, ночи две тому назад, пансионер.

Он сообщил это спокойно и сдержанно, как что-то неважное.

Фрекен д'Эспар внезапно встала, сняла с себя шляпу и повесила ее. Отвернувшись к стене, она ответила:

— Вот как, пансионер? Он умер? Но, может быть, это была дама?

— Дама? Нет... Не был ли это какой-то чужой, консул из Христиании? Я не знаю. Вы не слышали об этом? Это он и приехал, когда мы были в комнате Бертельсена несколько дней тому назад.

— Нет, я не слышала этого.

— Ну, так садитесь, фрекен, сегодня я постараюсь быть непобедимым.

И они уселись за обычный безик.

В качестве стола они пользовались куском папки, который они клали поперек постели господина Флеминга.

Он добросовестно следил за игрой, тщательно подсчитывал суммы и переставлял метки на своей доске. Ничто не указывало на рассеянность, нет. Ведь господину Флемингу уже дня два как стало заметно лучше. Он чувствовал себя почти здоровым опять, ощущал новый прилив мужества и этот смертный случай представлялся ему чем-то его не касавшимся.

Разочаровало ли фрекен д'Эспар, что он отнесся так спокойно к смерти консула? Или она побоялась, что он не заметит выказанной ею заботливости и деликатности, когда она вешала шляпу и говорила, оборотясь к стене. О, человеческое лукавство!

— Здесь, в санатории, по-видимому, такое возбуждение в последние дни! — вопросительно сказала она.

Господин Флеминг пробормотал равнодушно:

— Это, наверное, по поводу смертного случая.

— Наверное. И раз вы уже заговорили об этом — мне кажется, я что-то слышала. Но, — обрывает она сама себя, — все равно! Вы хорошо спали сегодня ночью?

— Да, спасибо, я теперь каждую ночь отлично сплю.

Молчание.

— Да, пожалуй, он был консул, — замечает фрекен. — Но он умер от удара, не от болезни.

— Это одно и то же... Позвольте мне взглянуть — четыре валета!

— Подумать только, он приехал днем, а ночью умер! Я не упомянула бы об этом, но раз вы знаете...

— Знаю? Что? Ах, да. Я не был знаком с этим человеком. Вы его знали?

— Нет. Знала, конечно, кто он был — важная персона в Христиании, большая контора — я знаю нескольких дам, служащих у него. Да, какая ужасная судьба!

— Вы действительно играете в тузах? — осведомляется господин Флеминг.

— Нет, простите! Консул Рубен был, стало быть, муж госпожи Рубен. Знаете, та толстая дама, которая жила здесь. Теперь она уехала с телом.

— Так.

— И миледи отправилась с ними. Миледи со своей горничной. Теперь конец, значит, постоянному чаю и постоянному ленчу здесь в санатории... И мы можем, значит, опять играть на рояле...

О, да, они играли на рояле и напевали на лестницах и пытались беззаботно смеяться за обеденным столом, но из этого ничего путного не выходило. Прошла уже неделя, как дамы и гроб уехали, а гости все еще продолжали говорить о злополучном происшествии. То была бомба, разорвавшаяся в толпе полубольных людей. «Первый смертный случай!» — сказал Самоубийца и кивнул головой, совсем так, как если бы у него было еще несколько в запасе. Эта зловещая фигура вообще не могла содействовать подъему настроения в курорте.

Никто из гостей не испытывал собственно особой скорби по поводу отъезда этих двух дам, но после них осталась все же брешь в виде трех пустых комнат. Ну и что же? Все было сделано вполне корректно, они заплатили, что с них следовало, и уехали, никто из них не сбежал тайком — не такого рода это были люди. Миледи сама расплатилась по своему счету и дала щедрые чаевые, прямо бешеные деньги. Ведь консул Рубен, уезжая из дому, запасся толстым бумажником, помещавшимся во внутреннем кармане его жилета, с левой стороны, у самого сердца. Теперь этот бумажник пригодился дамам, когда они рассчитывались — фру Рубен заплатила за всех. Нет худа без добра.

И когда прошло с неделю времени, прибыл опять целый ряд новых гостей. Они наполнили пустые комнаты, запрудили санаторию и создали жилищный кризис. Дело зашло так далеко, что и доктор, и заведующая, и инспектор должны были ломать себе головы, изыскивая какой-нибудь выход.

Инспектор был послан в обход. Он отправился в комнату № 7. Фрекен была дома. Дело, по которому он пришел, было в следующем: не будет ли фрекен так любезна на короткое время переселиться в другую комнату?

— Что?

— В другую комнату.— Она была без печки, но, впрочем, такая же светлая и уютная, как и эта. Они поставили бы там для нее походную кровать. Не позволит ли она показать ей эту новую комнату?

Фрекен начала ломать пальцы и спросила, почему она должна переехать?

Да оттого, что санатория сегодня к вечеру переполнилась, не хватает комнат, они не знали, как им управиться.

Фрекен схватила свои перчатки на столе и завертела ими тоже. Лицо ее слегка посинело и осунулось. Во взгляде, устремленном на инспектора, чувствовалась растерянность.

Они не попросили бы ее об этом,— сказал он,— им и в голову не пришло бы. Но как раз, когда уже все было полно, прибыла еще небольшая партия, между прочим, один священник со своими двумя сыновьями. Они мерзли и просили комнату с печью.

— Да,— сказала фрекен.— Да, да,— сказала она и покачала головой. Она не была несговорчивой, она сдалась. Не следовало, в самом деле, чтобы кто-нибудь мерз.

— Не правда ли! — подтвердил и инспектор в свою очередь. И ведь ей, в случае чего, нужно было только пойти туда, где было тепло и сидеть там, например, в салоне. Впрочем, и перемена была лишь на короткое время, обещал инспектор и сердечно поблагодарил фрекен. Затем он показал ей новую комнату.

Ободренный своей удачей, инспектор направился дальше и отыскал Самоубийцу. Тот сидел на большой веранде, вместе с Антоном Моссом, человеком с сыпью, и они болтали. Инспектору приходилось поигрывать в карты с этими двумя приятелями, и поэтому он мог позволить себе некоторую развязность. Он пришел с печальной вестью, сказал он шутливо. Но, заметив, что Самоубийца был совсем не в духе, он переменял тон и спросил, не имеют ли господа чего-нибудь против того, чтобы оказать ему и всему заведению большую услугу?

Оба приятеля воззрились на него.

— Не согласятся ли они переменить комнаты на короткое время?

— То есть как? Почему это?

Получив объяснение, Самоубийца наотрез отказался выказать предупредительность. Ему даже и в голову этого не приходило. Видали ли вы такие выдумки и нахальство! Мосс попросил более подробных разъяснений, и на этот раз инспектор выволок на сцену трех учительниц. Они

приехали после обеда, когда все уже было заполнено, и что делать с ними? Подумайте, три молодые, красивые дамы. Они приехали через горы, промерзли бедняжки, и проголодались. Они так умоляли о двух комнатах с печами.

— Так, значит, было предположение перевести меня в комнату без печки? — спросил Самоубийца побелевшими губами.

— Лишь на короткое время, может быть, только на день, кто-нибудь наверное скоро уедет. Сюда вот, например, приехал священник со своими сыновьями. Они, наверное, уедут через неделю.

Самоубийца пришел в ярость. Ну разве можно поступать так? Разве он попал в разбойничий притон? Дерзость-то какая, нахальство! — О, этот Самоубийца! Он казался просто молодым человеком, который от чистого сердца радовался тому, что существует на свете.

— Нет, не задирайте так носа, господин инспектор! — сказал он. — Не заноситесь так высоко, землицы лучше придерживайтесь!

— Ну, полно! — ответил инспектор, добродушно улыбаясь.

— Это неслыханно! — настаивал Самоубийца. Курорт, санатория, которые хотят заморозить его досиня и сделать его непохожим на человека!

Мосс также рассмеялся над раздражением Самоубийцы и над курьезным подбором его выражений.

— Моя комната к вашим услугам! — сказал он инспектору.

— Да, не правда ли! — возопил Самоубийца. — О, мне стыдно за вас. Вы какая-то вошь бескостная! Слушайте, слушайте, господин инспектор, его комната к вашим услугам! Ну, а для сыпи-то его будет полезна холодная, как ледник, комната?

— Я, во всяком случае, на печке не лежу, — возразил Мосс.

— Ну да, то-то вы так и выглядите, это может быть от мороза у вас и сделалось-то. На печке-то и я не лежу, конечно. Но если завтра или послезавтра наступят холода?

— Ха-ха-ха!

— Да, ха-ха-ха! — передразнил Самоубийца. — Тьфу, черт! Эти бабы умеют говорить вещи, заставляющие мужчин опускать глаза. Хохотать во все горло, разве это ответ? Вы — баба.

— Пусть дамы займут мою комнату, — повторил Мосс. Инспектор поблагодарил и ушел.

Молчание.

— Нет, забыть этого не могу! — разразился Самоубийца. — Я должен ждать, пока какой-то там священник и его щенки уедут, чтобы получить обратно свою комнату! Не вашу комнату, не комнату этого священника, а свою собственную комнату!

— Вы забываете этих трех учительниц.

— Ну, и что же?

— Подумайте, три молодые, красивые дамы на краю гибели. Разве вы не кавалер и не рыцарь?

— Нет! — кричит Самоубийца.

— Ха-ха-ха! Да я не к тому. Вы по чести достойны комнаты с печью, но эта санаторская администрация не понимает этого. Они даже не расчихали, что вы ведь, собственно, приехали сюда для того, чтобы лишить себя жизни.

— Оставьте это в покое, не вмешивайтесь в это, — отечески предостерег Самоубийца. — Если вам кажется, что в вашем состоянии вы можете быть кавалером, так будьте им!

Мосс умолк на мгновение, затем сказал:

— Факт-то тот, что вы бросили эту идею. Вы хотите жить, вы начали подумывать о богатой вдове.

— Что это еще за богатая вдова?

— Да фру Рубен, конечно.

— Вот как, фру Рубен! — Самоубийца зевает, он устал пикироваться. За возбуждением следует реакция и, он погружается в задумчивость.

— Да, она как раз для вас, женщина в соку, объем двуспальный, богата, крупное дело...

— Она и вам подходит. Что вы знаете об ее богатстве? Молчите!

— Этого сорта люди всегда богаты.

— Заткнитесь!

Мосс посидел некоторое время, затем встал и ушел. Самоубийца смотрит ему вслед и тащится сейчас же за ним. Они не могут долго пробыть один без другого. Они растянулись на пригорке, припекаемом солнцем, и не разговаривали больше. О, как общее несчастье привязало друг к другу этих двух людей, двух потерпевших кораблекрушение, выброшенных на один и тот же берег! Мосс заснул. Он положил себе на лицо шляпу, чтобы предохранить свои язвы от мух.

Когда он проснулся, Самоубийца лежал по-прежнему с открытыми глазами и не спал. Он сказал:

— Вы спали?

— Да. Солнечный зной сморил меня.

— Это от слабости. Мы получаем здесь такое жалкое питание, одни консервы. Мы на ходу засыпаем.

— Ну, я этого не замечал, — ответил Мосс. — Разве нам только консервы дают?

— Почему, черт возьми, не дадут нам как-нибудь быка? — спрашивает вдруг Самоубийца. — Это я хотел бы знать. Разве они не обещали нам быка?

— Спросите инспектора!

Самоубийца свистит насмешливо:

— Инспектора! Нет, подымайтесь, пойдем прямо к доктору.

Но Мосс не хочет, не может, не решается.

— Да, это опять-таки от слабости, я худею с каждым днем. И жить-то здесь никому не следовало бы.

— Вы думаете уехать?

— Уехать? Да, очень возможно. Почему вы спрашиваете об этом? Я не уеду, не воображайте, пожалуйста. Инспектору посинеть придется, прежде чем он меня уломает, хотя бы он явился с двумя попами! Я им покажу! — Он возымел зуб против этого священника, который своим прибытием лишил его спокойствия за собственную комнату.

Дело не улучшилось и тогда, когда вечером они уселись за ужин и пастор со своими малышами, по иронии судьбы или, быть может, по коварству инспектора, были помещены рядом с Самоубийцей. Пастор поклонился своему соседу и Самоубийца ответил также легким кивком, крайне скупым и экономным. Ведь если являешься старожилом здесь, так можно заставить новичка немножко потесниться и нечего перед ним расстилаться-то очень.

Чужой сказал пару слов. Самоубийца не отвечал, но Мосс, сидевший с другой стороны от него, щебетал что-то громко и любезно.

Неизвестный назвал свою фамилию:

— Оливер.

Самоубийца не обратил внимания на это и назвал его Йенсеном.

— Йенсен? — переспросил чужой.

— Да может быть, это выговаривается Николайсен?

На лице чужого отразилось недоумение и он принялся снова за еду.

— Приятно получить подкрепление в деле уничтожения консервов в санатории, — сказал ему Самоубийца.

Чужой пропустил это мимо ушей и храбро принялся за мясные котлеты,— он был голоден.

Самоубийца спросил:

— Вы приехали через горы, господин пастор?

Чужой уставился на него:

— Это вы про меня? Я не пастор, я — ректор.

Самоубийца в замешательстве:

— Ректор?

Чужой достал свою карточку и передал ее Самоубийце.

Тот читает:

— Франк Оливер, доктор филологии, ректор.

— Виноват! — изворачивается Самоубийца.— Это болван инспектор сделал из вас священника.

Все равно Самоубийца уже раз навсегда возымел зуб против этого новичка и перенес ее со священника на ректора. Ведь это было во всяком случае то самое лицо, которое хотело сделать это бездомным. За все время, пока ректор жил в Торахусе, Самоубийца не раз находил случай показать ему свое недоброжелательство.

Этот бедный ректор Оливер не делал, впрочем, ничего плохого: если о нем нельзя было сказать много, так и против него ничего нельзя было сказать. Он был худ от учености и плохого питания, пальто висело на нем, как на вешалке, у него были жидкие волосы и редкая борода, седые при этом — все это так. Но это еще не все. Внутренние достоинства побуждали его высоко держать голову. Он не прятался, было что-то наивное в его солидном самомнении, он спешил назвать свою фамилию и титул, чтобы внушить уважение. Вполне понятно! Разве ректор Оливер не достиг высшей цели в жизни? А кто достиг ее? Он достиг того, к чему столь многие стремятся совершенно бесплодно. Он занимал значительное положение в школьном мире и сам питал неподдельное уважение к этому положению; это делали, конечно, и все другие люди, без всякого исключения. В чем было его призвание, его деятельность? Разве он не принимал участия в создании народной культуры? Разве не приобщал он весь средний класс к школьной цивилизации? Прекрасно. Если юношество перестало быть невежественным, то оно обязано было этим ему, он распространял свет своего знания, искоренял безграмотных, и Норвегия просвещалась.

В своей повседневной жизни ректор Оливер нынче уже ни к чему не стремится, но ничего и не избегает, каков он есть, таков и есть. Судьба его завершена, корабль его в гавани. Отныне он невозмутимо живет год за годом, он



уже не изменяется. Законы страны позволяют ему зарабатывать свой хлеб тем, что он делает. Он глава школы: слово ректора — закон!

Ему слегка непривычно, правда, поселиться в доме, обитаемом полусотнею незнакомых людей, но не прошло и нескольких часов, как его уже знали, здоровались с ним, внимательно прислушивались к его словам, вставали и предлагали ему свой стул. Чтобы приобрести расположение ректора, публика занималась также его детьми и проводила целые часы в болтовне с ними.

Но Самоубийца косился на него.

— Знаете что,— сказал он Моссу.— Этот поп — этот ректор — он, понятно, выдал себя за священника, чтобы получить комнату. Ловко придумано; но меня-то он не провел.

Зашли, наконец, опять разговоры о покупке Даниэлева быка для санатории.

— Почему сейчас? — спрашивал Самоубийца.— Почему не раньше? Как раз теперь, когда мы заполучили публику, которая может жить котлетами из консервированного мяса,— теперь-то мы и получаем быка!

Он совсем переменял направление, с быком время еще терпело, он агитировал и среди гостей, и среди персонала за отсрочку покупки. Ее можно было отложить до отъезда ректора, надолго ли хватило бы в противном случае бычьей туши! Ну, видано ли было столько жадности и негостеприимства, как у этого Самоубийцы! Впрочем, никто и не обращал внимания на его болтовню.

— Вы разве не собираетесь умереть? — спросил его с улыбкой инспектор.— Чего вы так хлопчете об еде?

Бык был куплен.

Они не сделали бы этого, если бы предвидели последствия, в этом их оправдание; большим грехом и тяжелой ответственностью было бы меньше у них на душе, если бы они бросили это дело. Они могли рассуждать по этому поводу потом, пререкаться, сваливать вину друг на друга — того, что произошло, переделать было нельзя. Им оставалось лишь ломать себе руки и причитать.

Да, Даниэль теперь вполне мог продать этого быка в санаторию. Несколько сотен крон составляют деньги для человека, живущего на Торахусском сэтере... И в лесах, и в горах деньги найдут себе применение. Многое, с его точки зрения, говорило в пользу совершения сделки именно сейчас: лето шло к концу, трава на выгоне становилась хуже, цена была высокая. К тому же маленький бычок

хорошо подрос за лето и мог теперь заступить место большого.

И вот два человека отправились на Даниэлев сэтер, чтобы привести быка в санаторию — то были скотник и почтальон. У них была веревка, которую скотник искусно замотал вокруг шеи и морды быка.

— Немножко жидка веревка-то, — сказал Даниэль.

— Вевка толстая, — успокоительно заметил скотник.

Однако еще до того, как они начали свое странствие, у Даниэля зашевелились сомнения и он сказал:

— Неизвестно, удастся ли вам привести быка домой.

Скотник присвистнул и изрек, что это не первый бык в его жизни, с которым ему приходится иметь дело.

Все шло прекрасно, пока они не свернули на дорогу к дому. Вдруг бык рванулся, остановился, уткнул морду в землю и потряс головою... Вероятно он понял, что попал на незнакомый ему луг; люди были также чужие для него и никакой черт не заставил бы его идти на этом шнурке, на этой веревке! Ласковые слова и похлопывания не производили на быка никакого впечатления. Не подействовало также, когда почтальон испробовал на его боках палку. Он только отфыркивался. Ну, не стоять же им было без конца на месте? Скотник перевязал покороче веревку.

— Не можешь ли ущипнуть его слегка за самый кончик хвоста, — распоряжается он, — подожди только, пока я покрепче ухвачусь. Ну!

Но это не помогло. Был стоял на месте.

Скотник кричит раздраженным тоном:

— Да ущипни еще немного!

О, да, почтальон принажал добросовестно.

Ну, теперь сохрани ты, боже милостивый, скотника; то, что произошло, можно уподобить взрыву. Почтальон оказывается стоящим одиноко и видит, как бык уносится вместе со скотником, не разбирая дороги, через кустарники и горы. Сначала почтальону кажется, что это самая забавная штука, какую ему когда-либо приходилось видеть. Скотник болтался на веревке, как приманка на удочке; бык тащил его то по воздуху, то по земле и на топких местах от них обоих во все стороны летели брызги.

Почтальон прямо задыхался от смеха. Внезапно он слышит крик, зов на помощь и бежит на него. Бык стоит, дерево остановило его. У дерева стоит и скотник. Одна рука его ущемлена. Вевка замоталась накрепко.

— погоди, я перережу! — говорит испуганный почтальон и лезет за ножом.

— Нет! — шипит скотник. Он вне себя, в дьявольском настроении, скрежещет зубами. — Распутай, сними вот эту петлю, но не выпусти быка!

Высвободившись в конце концов, он дрожит с ног до головы, рука его посинела и вспухла, два пальца ободраны в кровь. Он машет несколько времени рукой и говорит, с ненавистью в голосе:

— Просил я тебя открутить ему хвост начисто?

Почтальон бормочет только:

— Начисто? Нет?

— Ах, ты, рыло!

— Тебе следовало бы выпустить веревку, — ответил почтальон.

— Не выпущу! — орет скотник.

— Тише! Не видишь разве, что пугаешь животное таким криком?

Хотя скотник принужден теперь понизить свой голос, раздражение его не уменьшается, и он основательно разносит своего товарища.

На дороге показываются люди, пансионеры из санатории, слышавшие о том, что должно произойти, и вышедшие навстречу шествию. Порядочно там было народу, были там и дамы, был и господин Бертельсен, даже господин Флеминг вышел в первый раз на воздух после своего лежания в постели. О, это было, возможно, не только одно прирожденное мужество, которое проявил скотник, не выпустив веревки; у него, конечно, было и свое тщеславие, желание показаться настоящим мужчиной в глазах всех этих гостей и зрителей.

— Давай попробуем снова! — говорит он громко.

Почтальон бормочет что-то, предостерегая.

— Ты — старая баба! — раздражается скотник. — Разве это не бык, разве это не туша убоины? Что ж нам, уступить ему? Ха-ха!

Бык не идет.

— Погляди-ка на его глаза, — говорит почтальон, — они красные.

— А, к черту! — отвечает скотник. — Ну тяни!

Но бык не идет.

— Иди сюда, — командует скотник, — возьми покрепче за веревку у самой морды, и ты также — нет, с другой стороны, конечно! Выйдем же снова на дорогу со скотиной, а не будем стоять здесь.

Они стараются приловчиться. Бык стоит, между тем, словно чего-то ждет, уткнув морду в землю, косясь налитыми кровью глазами и изредка пофыркивая.

Приготовления кончены. У обоих есть точка опоры под ногами. Скотник крепко ухватывается одной рукой и наносит другой быку укол в зад — сравнительно невинное средство, чтобы заставить его двинуться с места — булавочный укол.

У, опять взрыв! Почтальон уже не смеется, не помирает со смеху, земля исчезает у него из-под ног, он и его товарищ оказываются на воздухе. О, что такое человеческие силы против подавляющей силы быка! Мгновение — и они лежат на земле оба, разметанные в стороны. Скотник еще держит все же в своих руках веревку, он опять-таки не выпустил ее, — это была большая храбрость, но веревка-то оборвалась.

Да и бык вырвался.

На полной свободе теперь этот зверь, со своей пестрой бело-коричневой окраской, со своей многопудовой тушей, покоящейся на коротких ногах. Необъятная шея почти такой же толщины, как само животное, в ней сила локомотива. На животное это стоит посмотреть.

Да, здесь есть, на что поглядеть. Но люди не выносят этого зрелища. Ведь эти люди — гости из санатории. Они испускают стон, у них, можно сказать, ноги подкашиваются, они испуганы. Среди них поднимается такая сумятица; хотя животное и белое с коричневым, от него веет холодом и опасностью... Людям не по себе. В этот первый момент два малыша единственные, которые трогаются с места. Они не могут сдержать любопытства, но карабкаются на гору, чтобы лучше видеть. И как будто бы это было сигналом, и другие начинают взбираться вслед за ними на гору. Здесь они могут отдышаться. Люди вновь набираются мужества — они зрители, зрители в цирке.

Почтальон собирается с силами и ощупывает свои члены, чтобы убедиться, что они целы. Скотник, слегка обалделый, слегка прихрамывая, уже исследует веревку, связывает ее снова и идет за быком. Он все также разозлен и все также делает вид, что он неустрашим. Одна из дам стоит и вертит изо всех сил свои перчатки и просит его оставить в покое быка; он не слушает этого; но когда Бертельсен, лесопромышленник Бертельсен, которому принадлежит часть санатории — когда также и он обращается к нему с просьбой подождать, скотник останавливается и спрашивает:

— А чего мне ждать-то?

— Да подождите немного,— отвечает Бертельсен,— фрекен д'Эспар пошла на сэтэр за Даниэлем.

Нет, когда скотник слышит это, он совсем уже не желает ждать. Плевать ему на Даниэля, плевать ему и на быка-то этого, он пойдет в санаторию! Он оглядывается, ища почтальона, и зовет его. Почтальон отошел далеко назад, в поисках своей шапки с золотым галуном, знака его достоинства. Скотник ждет и зовет его вновь:

— Ты что? Быка испугался что ли, теленка? У него даже и рогов-то настоящих нет, так торчки какие-то на голове. Тьфу!

— Трехгодовалый бык вовсе не теленок,— отвечает обиженным тоном почтальон.— Не хочу я больше иметь с ним дело. Так и знай!

Время идет, пока они перебраниваются. Бык начинает выказывать признаки ярости, он бодает пни и кочки, роет землю передними ногами и испускает громоподобное мычание. Внезапно он замечает скотника и галопом пускается к нему; у него такой могучий вид, когда он бежит, раскачиваясь на поворотах. Скотник быстро спасается на гору, как и прочие, и говорит:

— Если вот он, эта фигура, не пойдет со мной, придется бросить это дело! Нашейте ему еще один галун на шапку, может он тогда смелее будет!

Он валит всю вину на почтальона.

Подходит Даниэль. Эта фрекен д'Эспар! Неприятная, непопулярная она была, но все же она была чертовски догадливая девица. Вот опять она сделала единственно разумное и привела Даниэля. Он идет с надежной веревкой в руках; приближается к быку с дружелюбными и льстивыми словами. Своей протянутой рукой и ласковыми уменьшительными именами он дает понять, что пришел по добру, как всегда, но бык только настораживается и роет землю передними ногами.

— Нет, они раздражили животное! — говорит Даниэль, раздосадованный.

— Нас здесь довольно много народу, чтобы спутать его,— предлагает скотник. Да, народу-то было довольно, недостатка в людях не было, и скотник может быть имел достаточно решимости на это. Но... этого нельзя было сделать. Взять разъяренного быка и спутать! Когда он был бы окружен, худшее уже было бы позади.

А они стоят и не могут найти никакого выхода.

— Я думаю, кому-нибудь нужно будет сбегать за Мартой,— говорит Даниэль.— Ее-то он лучше всего знает.

Марта была старая служанка Даниэля.

Отлично. Кому-то надо идти за Мартой. Так как никто не выказывает охоты к этому, а все только ссылаются на то, что они не знают дороги, то идет снова фрекен д'Эспар. Она вешает только свою шляпу обратно на дерево и сходит с горы. Все-таки дело-то сделала фрекен д'Эспар. Прочие же только стояли, смотрели и боялись.

Тем временем скотник стоит и проахивается поле-гоньку по поводу того, что и Даниэль не совладал с быком. «Видите, и он не может!» Но никто бы не усомнился в мужестве скотника, если бы он и молчал. Если смотреть на дело беспристрастно, так ведь он, а не кто другой, ввел их в эту беду. Замолчи, скотник!

Бертельсен говорит:

— Я стою и думаю, не сбегать ли мне домой за своим ружьем и не пристрелить ли эту бестию.

— Да, сделайте это! — восклицает дама, крутящая свои перчатки.

Бертельсен осматривается, отыскивая безопасный спуск, и, по-видимому, не может найти его. Ведь можно где угодно столкнуться с разъяренным животным. Фрекен Эллингсен берет Бертельсена за руку и просит его бросить это; скоро, слава богу, придет Марта!

Даниэль снова пробует поймать быка; но когда это не удается, он также поднимается на гору. Теперь все собрались здесь. Бык продолжает свое дело, взглядывает иногда вверх, мычит и продолжает опять копать. Его словно не касается, что толпа заинтересованных людей находится поблизости. Это что еще? Крик из рощи. Это новые гости и зрители из санатории. Они спрашивают, можно ли подойти поближе. Нет, нет, бык сорвался! — отвечают разом все собравшиеся на горе.

— Идите домой сейчас же, моментально! — кричит Бертельсен им и гонит их обратно. Эти крики, по-видимому, разъяряют быка, он останавливается на мгновение, дрожит, и потом происходит то, чему суждено было случиться.

Бык испускает короткое и неестественное мычание, зловеющий звук, напоминающий душевно больного, и внезапно, словно после нового укола, поворачивается и бежит галопом в гору. Многоголосый вопль человеческого ужаса, дикое бегство во все стороны, и гора покинута, гора словно выбрита. Только одна дама остается стоять

там. Она не крутит уже больше своих перчаток, она парализована, она шатается, опускается на колени и падает. Бык подхватывает ее на рога и сбрасывает ее, как какой-нибудь тюк, с горы. Готово!

Но там остается еще скотник. Скотник все же не хотел бежать, как другие. Он с ловкостью обезьяны вскарабкался на дерево. Чертов этот скотник наверное придумал этот способ спасения заранее. Иначе он не оказался бы так находчив и хитер. А теперь он сидит в своем убежище и не боится. Даже когда бык замечает его, не боится он ни капельки. Но это продолжается одну минуту, затем бык набрасывается на дерево. Похоже на то, что в этот момент он способен на все.

Теперь храбрость уже не может помочь скотнику, его можно считать погибшим. Дерево трещит и качается. Он кричит вниз на животное, проклинает его, ругает его, но когда он убеждается, что жизнь его в опасности, он умолкает, и начинает просить Бога помочь ему.

Беглецы наблюдают с почтительного расстояния его положение и кричат ему, чтобы он уходил. Они не понимают, что это невозможно, что у него нет выхода. Изредка из пасти быка вырывается громовое мычание. Бык налегает всей тяжестью на ствол и наклоняет его. Шляпа фрекен д'Эспар падает с ветки, бык втоптывает ее в землю, топчет ее, увлекается этим делом; шляпа спасает человека. В тот момент, когда все внимание быка поглощено шляпою, скотник, совсем как обезьяна, соскальзывает на землю и бежит, бежит.

Чудо спасло его.

Он прибегает к другим и сообщает тотчас же, что наделал бык: убил человека, даму, она лежит на горе, тут совсем близко, по другую сторону горы. Она, может быть, умерла, но нужно посмотреть, они должны попытаться!...

О, скотник опять вошел в свою роль, этот пройдоха уже опять все сообразил, он требует помощи, чтобы спасти даму.

Он заявляет, что только за этим он и пришел, чтобы сказать это, а то он сидел бы себе на дереве и ему было бы великолепно!

Даниэль спешит с ним обратно. Бертельсен с благородной неосторожностью собирается присоединиться к ним, но фрекен Эллингсен удерживает его. «Оставайтесь здесь, подождите», говорит она. «Я сейчас приду!» С этими словами она пускается бегом вслед за теми двумя. Прекрасный поступок! В ее воображении витает, быть

может, фантастическая мысль о том, что она своей красной блузой может отвлечь внимания быка от тела.

Да и некогда было терять времени. Бык вспомнил о своей жертве, о распостертом теле, и отыскал его. Он был всецело занят терзанием его, когда подоспели люди, спешившие на помощь. Они поднимают крик, шумят, но животное работает словно в припадке иступления и не обращает ни на что внимания, пока с дороги не раздастся голос, ласковая речь, знакомая быку, — то идет Марта. Она несет ушат, подходит почти вплотную к взбешенному животному и протягивает ему мучное пойло. Это удается. А тут подоспевает и Даниэль с веревкой.

## ГЛАВА VI

---

В санатории царили беспокойство и смятение.

Такое прискорбное событие не могло не обсуждаться сутки напролет, день и ночь — без этого было не обойтись. Как все это произошло? Доктора разрывали на части просьбы об успокоительных каплях, скотник и почтальон не могли показаться без того, чтобы на них не набрасывались. Даниэля серьезно допрашивали — нет ли у него еще нескольких бешеных быков? Еще один или два? Правильно ли все делается? Ведь надо убрать и похоронить тело? Не надо разве зарезать быка? Не лучше разве сделать это поскорее?

Адвокат Робертсен должен был бросить свою контору и городские дела и, в качестве шефа, прибыть в Торахус для приведения всего в порядок. Ему пришлось много поработать, чтобы успокоить недовольство; пациенты были до такой степени напуганы — разве в таком месте можно быть спокойными за свою жизнь и целостность своих членов! Скотник, конечно, был убийца, но тут еще Даниэль со своим бешеным быком — он разве так-таки совсем не виноват? А адвокат-то с доктором сами, устроившие санаторию в ближайшем соседстве с бешеным быком? И как надо понимать наконец — чудовище-то это и посейчас живо? Стоит себе в хлеву, санатории, и есть сено!

Самоубийца кивнул головой и пророчески изрек:

— Второй смертный случай!

Желаниям Самоубийцы соответствовал такой ход дела: чем на большее число дней будет откладываться убой быка, тем меньшее количество свежей говядины достанется



ректору — по человеческим расчетам, скоро будет сэкономлен весь бык.

Но адвокат разрушил все эти расчеты.

Он сидел и беседовал с доктором, обсуждая положение. Доктор стал немного беспокоиться в конце концов: два смертных случая один за другим и притом в одном случае жертвою был видный консул — пусть это несчастный случай, но, как ни как, это не реклама для санатории.

— Меч разит везде, — ответил адвокат.

— Вновь прибывшие гости спрашивали относительно постоянного музыканта, — рассказывал дальше доктор. — В газетах ведь было напечатано, что в санатории есть постоянный пианист, — где же он?

Адвокат ответил, что пусть себе было напечатано в газетах, нельзя так вполне полагаться на то, что пишут в газетах.

— Наш музыкант в отпуску, — сказал он, — мы его послали за границу для дальнейшего усовершенствования. Очень просто — он вернется к нам достигшим высокой степени искусства, настоящим артистом. Я ведь все время говорил, что уважаю в этом молодом человеке такое стремление. Это хорошо известно.

— Гости спрашивают также про принцессу. О ней тоже было в газетах. Где она?

— Да вот где она, черт ее знает! — откровенно сказал адвокат. — Может быть, и она тоже умерла или сбежала, или арестована, я не знаю. Она здесь жила, по ее счету было уплачено.

Оба деловых человека задумались.

— Но во всяком случае, у нас есть граф, — нарушил молчание адвокат.

— Граф! — возразил доктор, качая головой. — Он теперь болен. Его не стоит показывать.

Адвокат не унывал:

— У нас есть еще ректор Оливер.

— Да. Да, да.

— Известный в стране человек, ученый. Я пойду к нему поздороваться.

— Он останется еще всего только не более недели.

— Я с ним поговорю, — отвечает адвокат, — выражу удовольствие, что он к нам приехал, и надежду, что он здесь поправится, спрошу, имеет ли он что-нибудь против того, чтобы я упомянул о нем в газетах. Это, может быть, произведет свое действие.

Доктор ободряется и смеется энергичной находчивости адвоката. Ведь они вполне чистосердечно ломают себе головы, и вреда никому от этого нет, а только польза для санатории Торахус.

— Я вот о чем думаю — не учились ли мы с ректором вместе в гимназии? Что-то мне кажется, как будто мы с ним были близкие приятели.

Доктор еще больше рассмеялся.

Адвокат хмурит брови и серьезно говорит:

— Во всяком случае мы будем держаться за него, пока не получим кого-нибудь другого. Если он стеснен в деньгах, то может жить здесь даром...

И ректор Оливер со своими мальчуганами остался еще на две, на три недели. Бык сейчас же был зарезан и превращен в снесь; консервы сменились деликатными ростбифами и биштексами, и общее благоденствие возросло. Да, ректор чувствовал себя хорошо и пополнил; он лентяйничал.

Он читал французские книги фрекен д'Эспар и затем обсуждал с нею содержание их; для него было целым событием встреча с такой образованной женщиной; у себя в родном городе он совершенно лишен был подходящего общества.

Но Самоубийца скрежетал зубами.

Самоубийца прекрасно соображал, что ректора нельзя выгнать; дамы, выехавший из-за него из комнаты, уже не было на свете, и ректор никого больше не вытеснял. Но этим не прекращалась неприязнь Самоубийцы и его раздражение против этого человека, приехавшего сюда и потребовавшего комнату с печью. Кто за ним посылал? Какое основание к тому, чтобы носиться с ним? И аппетитище у этого школьного учителя! Самоубийца сказал своему приятелю Антону Моссу:

— Я все делаю, чтобы избегать этого человека, но от столкновения с ним я не уклонюсь.

И началось с того, что Самоубийца уселся в один прекрасный день в курительной комнате и стал ждать. Он ждет газет, которые должны принести из почтового отделения. Ну вот, газеты принесли. Тут между тем воцарилось правило, что ректор, как наиболее осведомленный и наиболее интересующийся читатель, первый получал газеты на просмотр; все гости находили это в порядке вещей, но это раздражало Самоубийцу. Когда подали газеты, он поспешил разбросать их по столу и перемешать с разными давно прочитанными старыми газетами; сам же

уселся с английской газетой в руках, выписанной ради миледи. Все было готово.

Ректор пришел.

Между обоими мужчинами в один миг возникло неприязненное настроение. Не найдя новых газет, ректор принялся пересматривать номера и числа старых; он спросил Самоубийцу:

— Какой у вас номер?

Самоубийца, как будто ровно ничего не поняв, ответил:

— Какой номер? У меня никакого нет номера, у меня есть буквы, мое имя — Магнус.

Ректор продолжал разбираться в газетах, повторяя:

— Никогда не видал ничего подобного.

— Что такое? — спросил Самоубийца.

— Что такое? — возмущенно воскликнул ректор. — Зачем вы тут перепутали газеты?

На это Самоубийца задал следующий ошеломляющий вопрос:

— Вы об этом сами догадались?

Ректор промолчал. Может быть, ему пришло в голову, что он имеет дело с сумасшедшим. Он сел и стал просматривать газеты, которые ему удалось привести в порядок.

Но сумасшедший обнаруживал намерение не уходить отсюда.

Ректор просмотрел газеты два, три раза, но этому не было конца; сумасшедший продолжал крепко держать английскую газету, точно он догадался, что именно ее-то ректор и ждет. Да, потому, что это действительно было так: ректор Оливер интересовался иностранными газетами, это было его величайшее наслаждение, его пристрастие с юных лет.

— Не будете ли вы так любезны поменяться со мной газетами? — спросил он, доведенный до отчаяния.

Никакого ответа.

— Я вижу, что вы вовсе не читаете, вы не поворачиваете страниц.

Это было сказано ясно, но тоже не произвело на сумасшедшего никакого впечатления.

В комнату вошла фрекен д'Эспар и почтительно поздоровалась:

— С добрым утром, господин ректор.

Ректор тотчас же стал делать намеки относительно газет, — что они приведены в какой-то дикий беспорядок, что он не может в них разобраться.

Фрекен немедленно принялась наводить порядок; это заняло у нее всего несколько минут, все у нее кипело в руках, она все делала ловко. Затем она подошла от стола к Самоубийце и мягко, просительно сказала ему:

— Не уступите ли вы мне на минутку вашу газету?

Чертова девица, ее так не любили дамы, но зато мужчины ценили ее приветливость и обходительность. Она стояла тут такая милая, подошла к Самоубийце ближе, нагнулась над ним.

— Но вы, может быть, не прочли еще ее? — спросила она.

— Нет, — отвечал он, подавая ей газету, — я не читаю. Я не могу этого прочесть.

Но тут ректор Оливер, получив газету, начал проявлять свое раздражение:

— Вы не можете этого прочесть? Вы, верно, не умеете читать по-английски? Но зачем же вы так долго задерживали газету? Не понимаю!

— Если я скажу, что плохо вижу, и потому не мог прочесть газету, — отвечал Самоубийца, — то это будет неправда. Я прекрасно вижу, это мой приятель Антон Мосс, к сожалению, плохо видит.

— Что такое? — ошеломленно спросил ректор.

— Ничего. У него сыпь на лице, и это начало влиять на зрение.

Ректор отступился от него. Он бросил вопросительный взгляд на фрекен д'Эспар. Она сказала:

— Он знает по-английски.

— Нет, не знаю, — решительно отрезал тот.

Ректор и фрекен принялись читать. Но привычки ученого человека были нарушены, он был выбит из колеи и не мог подавить в себе раздражения:

— Подумайте, по-английски не знает! — сказал он, обращаясь к фрекен. — Он, верно, и никаких языков не знает. Мои мальчуганы уже довольно хорошо знают языки.

Фрекен ответила:

— Так ведь у них то преимущество, что они сыновья самого ректора Оливера.

— Это правда, в наше время не все считают преимуществом быть образованным человеком и знать языки.

Они снова стали читать. Ректор в конце концов смягчился от слов фрекен и, когда увидел этого невежественного человека одиноко сидящим в уголке без газеты, у него появилось к нему как бы сострадание. Он — ректор, он — учитель, он должен быть выше этого. Конечно, не

все оказываются при рождении в одинаково счастливом положении; его сыновья поставлены в более счастливые условия, чем другие! Он говорит несколько слов в этом смысле и снова продолжает читать. Фрекен что-то пишет, делает какую-то пометку на клочке бумаги и подает ректору. Кажется, это по-французски. «Вот как! — говорит ректор, кивая головой, — да, да, так, так», — добавляет он. В нем как будто произошло просветление, и он понимает, чего раньше не понимал, что-то ему открылось. Он встает, ставит себе стул подле Самоубийцы и дружелюбно обращается к нему:

— Мне пришло в голову — я ведь учитель, как вам известно, если хотите, я с удовольствием позаймусь с вами иностранными языками, пока я тут. Что вы на это скажете?

Самоубийца смотрит на него.

— Ректор вовсе не невыносимый человек, можете мне поверить. Если бы вы жили в моем родном городе, я бы давал вам безвозмездно частные уроки.

Самоубийцу не проведешь:

— Это, конечно, не буквально надо понимать, — говорит он, — в этом есть, вероятно, какой-то высший смысл?

— О, нет, я далек от этого, — отвечает, улыбаясь, ректор, — у меня нет никакой задней мысли. Я с удовольствием поучил бы вас тому, чего вы не знаете.

— Газеты, из-за которых вы подняли такой шум, — говорит вдруг грубо Самоубийца, — вот в таком виде, как вы их сегодня нашли, мы находим их после вас каждый день.

Ректор сражен.

— Не может быть! — он беспомощно смотрит на фрекен д'Эспар и спрашивает:

— Может ли это быть? Неужели я оставляю газеты в таком беспорядке? Если так, то это очень дурно с моей стороны.

Фрекен д'Эспар заступает за него перед Самоубийцей:

— Ректор ведь ученый, вы это знаете, он не может быть таким аккуратным, как мы.

— Нет, нет, — протестует ректор, — нет, я буду, конечно... это не должно повторяться.

— Дама, которая умерла, — упрямо продолжает Самоубийца, — знаете ли вы, что вы выгнали ее из ее комнаты и сделали ей жизнь невыносимой? Она не один раз желала себе смерти.

— Ровно ничего не понимаю. Какая дама?

— Фрекен — та! Ей отвели комнату без печи и она желала себе смерти. И тогда ее убил бык.

Тут фрекен д'Эспар громко рассмеялась словам Самоубийцы, не принимая их всерьез. Каким он вдруг сделался шутником, что за изобретательность! Сидит сам с таким серьезным и бессердечным видом, как будто совершенно не намерен отказаться от своего упрямства. Что он хочет показать своим нелюбезным поведением? Этим он ничего не достигал; его слушатели становились к нему только все снисходительнее, улыбались ему и проявляли ему сочувствие. Он кончил тем, что встал и ушел.

— Так вот оно что, он не вполне нормален, у него пунктик? Хорошо, что вы посвятили меня в это. Подумайте, *suicidant!* — сказал ректор и еще раз перечел полученный от фрекен клочок бумажки. — Скажите, пожалуйста!

— Да, но ведь это, может быть, просто пустая болтовня с его стороны. Доктор этому не верит.

— Я ведь с ним хорошо обошелся, не правда ли?

Да, в самом деле, ректор был с ним очень любезен, и учить его предлагал, и все вообще.

— Да, но вы слышали, он на это не реагировал, даже не поблагодарил. Это мне знакомо. Но — что я такое хотел сказать? — да: посмотрите, какая хорошая вещь знать языки. Если бы вы написали это по-норвежски, могло бы случиться, что он сам увидел бы это и прочел.

— Да, — говорит в свою очередь фрекен, — мне от моего французского языка не раз были польза и удовольствие.

— Но ведь вы слышали, — безутешно повторил ректор, — у него нет ни малейшего желания учиться. К таким людям никак не подойдешь, я это испытал, учиться они не хотят и спасибо не скажут.

— Да, вот именно так, — преувеличенно поддакнула фрекен, как будто ректор как раз попал в точку.

— О, поверьте мне, я это испытал, и еще с самыми своими близкими! У меня, например, в моем родном городе брат есть. Он кузнец. Очень хороший, умелый кузнец, и голова у него по-своему хорошая, но он совершенно невежествен и необразован. У нас нет ничего общего, вы хорошо понимаете, что интересы у нас совершенно различные, мы почти никогда и не видимся. Я его не осуждаю, совсем нет, он не компрометирует меня, он хорошо зарабатывает, у него и состояние есть, и он пользуется всеобщим уважением — но мы не видимся. Когда он выбран был городским представителем, я ему

послал визитную карточку, но он мне и не ответил. Два два мы с ним разговаривали; раз, когда мне нужно было, чтобы он помог мне, дал бы мне денег в долг. Он это сделал, да, но с таким видом, с каким помог бы кому угодно другому. Никакой особой готовности, наоборот: он как будто колебался. Он заставлял своих детей бросать школу сейчас же после конфирмации, хотя у них были способности, и я хотел, чтобы они продолжали учебу и вышли бы в люди. Нет. И вот мой милейший братец, Авель, принялся меня отчитывать, прямо-таки отчитывать.

— Выйти в люди! — насмешливо фыркнул он. — А я, мол, что такое делаю, над чем работаю? Над чем-то холодным и мертвым, — учу детей языкам и иностранным словам и всему выдуманному и неестественному! Сколько времени это отнимает у детей, и какая требуется затрата душевных сил в молодые годы. Это все равно, что даром брошено, — представьте себе! И вы не подумайте, что это была шутка, нет, он это думал. Я работаю по дикой и бессмысленной системе, — прибавил он, — я и мои коллеги — ученые, но слепые; и мы сами не удивляемся пустоте и душевному мраку, в которых живем. За чем я гонюсь? — спросил он. — Чтобы моим именем была названа улица в нашем городе — улица Оливера? Я осужден прожить всю жизнь в телесной и духовной нищете. И в духовной, — он так и сказал.

Фрекен всплеснула руками.

— Да, — сказал, улыбаясь, ректор, — можете поверить, это-таки надо было вынести! И это оратор, его слушает народ; это он в общинном управлении научился такой манере говорить, и народу кажется, что то, что он говорит — это здравый смысл. Ну, в следующий раз мы с ним разговаривали, когда мне надо было получить докторскую степень, и я опять нуждался в небольшой помощи. Он опять ничего не понимал: «Степень доктора? Это что такое?» — спросил он. — «Опять с какой-нибудь мертвечиной возишься?» «Нет, — отвечал я, — это живое, то, что я делаю, это — наука, научное исследование, нечто такое, что никогда не умирает!» — «Ну, а что же это такое? Что-нибудь такое, чего раньше не знали?» И он принялся перебирать. Что-нибудь живое? Искусственное удобрение? Весть со звезд? Рыба со дна моря? Музыка? Средство против тлей на розах? — он любитель цветов, и у него есть сад — короче говоря, есть ли это что-нибудь, связанное с любовью и розовыми щеками? Вот как он научился разговаривать! «Нет, — сказал я, чувствуя себя

совершенно нищим и стоя, как школьник, перед моим братом-кузнецом.

— Нет, в моей работе не было ничего такого, то был философский трактат о Батрахомиомахии, это исследование в области языкознания, важное открытие, Margites, Номопіті и так далее.— Но для чего это? — спрашивает он.— Для чего? — говорю я,— кто же может на это ответить? Но не понимаешь ты разве,— если автор этого древнего сочинения не Гомер, то это вполне может быть Пигр Карийский? — Нет, этого он не понимал.— Возишься опять со своей мертвечиной,— повторил он.— Все это были для него совершенно бесполезные глупости, брошенные деньги,— сказал он, давая мне их. Я на это ничего не ответил. Я поставил себе за привило никогда с ним не спорить — это безнадежно. Он опять вернулся к тому, что моим именем назовут улицу в моем городе; но тогда я ответил, что в этом нет нужды, так как со временем, может быть, в самой Христиании будет увековечено мое имя.

— Да, это, конечно, будет! — воскликнула фрекен д'Эспар.

— Ну, это покажет будущее, от настоящего я многого не жду. Так вот, это были два раза, что я разговаривал с братом Авелем. Потом у нас раз испортился замок, и я телефонировал ему, чтобы он пришел и починил его. Я сказал, что это, наверное, серьезное повреждение, потому что ключ никак не попадал, куда нужно. Вы думаете, он пришел сам? Прислал одного из своих мальчиков, и даже еще не старшего! Ну, мальчик починил, вывинтил замок, разобрал его и привел в порядок, надо правду сказать: мастерству эти мальчики хорошо научились. Но мои-то мальчики, выученные языкам и математике, должны были стоять и смотреть на это! Нет, на деликатность тут рассчитывать не приходится. При этом замечательно то, что весь город стоит на стороне моего брата, на стороне кузнеца против ректора; когда про нас говорят, то выражаются так: разница между братьями та, что один умный, а другой ученый! При этом ученость считается за меньшее,— добавил ректор, улыбаясь.

— Да, это ясно,— сказала, тоже улыбаясь, фрекен д'Эспар.

— Да, большого понимания у себя в городе не встретишь, это иногда действует удручающе! — Тут внезапно ректор кивнул несколько раз головой и сказал: —



Он, конечно, при первой возможности получит обратно свои деньги.

— Разумеется.

— Непременно получит. В ученом мире должны же, наконец, понять, что я заслуживаю стипендии.

Бедный ректор Оливер, ему тоже плохо приходилось, его затирали и держали в черном теле. Его права были ясны, как день, но попирались мнением невежественной, необразованной толпы. Неужели же он должен был сдаться? Нет, ему оставалось держаться крепко и отстаивать место для себя и своих. Было извинительно, если он несколько преувеличивал познания своих мальчуганов в языках и математике,— в действительности они знали очень мало, не хотели учиться, но постоянно торчали в дядиной кузнице или пускались в поиски приключений. Не хорошо это было для ректора, он не видел результатов своих напряженных трудов.

Вошел господин Флеминг, усталый, с впалой грудью; но он улыбался и любезно раскланивался; больной легкими пациент, он тем не менее был элегантно одет, как истинный кавалер:

— С добрым утром, фрекен! — он поклонился и ректору.

— Мы тут сидим и болтаем,— сказала фрекен.— Ректор был любезен, рассказывал мне об условиях жизни в его родном городе.

Господин Флеминг сел и, окидывая взглядом стол, спросил:

— Ничего сегодня нет нового в газетах?

— Ничего, кажется,— ответил ректор.— Я, впрочем, еще не все прочел.

— Ректору сегодня немного помешал наш друг Самоубийца,— объяснила фрекен.— Он тут сидел и обвинял ректора, что он был заодно с быком в убийстве нашей дамы.

Они все улыбнулись и продолжали разговор на ту же тему; поговорили о случившемся великом несчастье, и ректор выразил удивление, как это бык, четвероногое животное, мог взять приступом холм. Господин Флеминг с такой осведомленностью, точно он был крестьянин, объяснил:

— У этого животного роговые копыта, могущие до известной степени заменить когти, и так как он был разъярен и так бешено мчался, то в несколько секунд вскарабкался на холм.

— Вы тоже там были?

— Нет,— ответил господин Флеминг,— фрекен д'Эспар с самого начала прогнала меня домой.

— Да, потому что вы были тогда совсем еще слабы,— промолвила фрекен.

— Я так боялся за своих мальчиков,— сказал ректор,— но что я мог поделать? Потом я их наказал, как они заслуживали, но уж это что. Надеюсь только, что они с этим пор будут держаться подальше от опасностей. Насколько возможно, дальше от опасностей.

— Они шустрые мальчуганы,— возразила фрекен,— они первые вскарабкались на гору и показали нам дорогу. Если бы на это, дело обошлось бы хуже. А так погибла одна человеческая жизнь и одна дамская шляпа.

По лицу господина Флеминга прошла тень от легкомысленного тона фрекен, и он спросил:

— Идем, может быть?

Фрекен сообщила, вставая:

— Подумайте, господин Флеминг обещал мне новую шляпу! Я с большим нетерпением жду ее. Да, да, пойдете.— И она пояснила ректору: — Мы опять наверх, в луга к Даниэлю, за простоквашей для господина Флеминга.

И они пошли.

Когда они вышли за пределы санатории, у них изменился тон. Настроение было такое, что они замолчали. Люди не могут всегда играть на одной струне, иные струны рвутся, бывает, что они играют на последней. Фрекен д'Эспар так легко говорила обо всякой всячине,— почему она теперь ничего не говорила? Это должно было удивить господина Флеминга. Сам он никогда не был особенно разговорчив, не блистал красноречием, но любил, чтобы его занимали. Он вмешивался удачно время от времени в разговор метким и тонким замечанием и предоставлял затем дальнейшее другим,— это была его манера. Но фрекен д'Эспар!

Наконец, она сказала нечто, о чем уже больше нельзя было умалчивать: что сегодня она наверное в последний раз провозжает его в горные луга.

Это произвело впечатление: — Вот как! Почему? — спросил господин Флеминг. Вот сюрприз, он к этому совсем не был подготовлен.— Вам необходимо уехать? — спросил он.

Да, потому что ей прислали повторное требование явиться в контору.

— Так...— Господин Флеминг очень задумался: — Я ничего не знал о первом разе,— сказал он.

— Зачем вам было знать? Вы еще тогда были слабы,— и не за чем было говорить вам.

Господин Флеминг еще больше задумался. Оба молчали.

Была чудная погода, бабье лето; перед ними был вид на простиравшуюся внизу обширную долину. Они шли, оба молодые, жизнерадостные, и оба молчали. Фрекен д'Эспар с полным самообладанием отнеслась к серьезному осложнению своей судьбы. Она ведь уже две недели тому назад получила предписание вернуться к исполнению своих обязанностей, но не поехала,— не могла же она бросить больного человека, нуждавшегося в ее поддержке? А теперь дня два назад она получила уведомление о своем увольнении. Об увольнении. Она это перенесла спокойно, и по той или иной неизвестной причине ничего не сказала об этом господину Флемингу, и вдобавок еще сегодня утром, забыв собственные неприятности, внимательно слушала об огорчениях ректора Оливера. Эта девушка не из ноющих! Но теперь у нее деньги подходили к концу, и она, наконец, вынуждена была сказать об этом.

— Сколько раз предупреждают? — спросил господин Флеминг: он надеялся, что может быть отсрочка.— Три раза? Три предупреждения?

— Нет,— ответила она, улыбаясь,— больше не будет. Только вот теперь.

— Ну! Неужели? Значит, нет никакого выхода? Вы завтра уезжаете?

— Да, завтра.

Они снова смолкли. Господин Флеминг остановился, у него было такое чувство, что уже не стоит больше идти дальше.

Фрекен пришла ему на помощь:

— Это что за дом? — сказала она.— Его раньше не было. Давайте, посмотрим.

Они подошли к стоявшей на лугу небольшой постройке; это был сарай, только что поставленный Даниэлем для хранения в нем сена с дальних лугов, и так как он был такой новенький, и в нем было такое свежее сено, то они зашли в него, чтобы отдохнуть. В строении нет двери, солнце светит в него сквозь широкое отверстие, воробьи влетают в него и опять вылетают в погоне за мухами. В душе господина Флеминга шевелятся, может быть, воспоминания; он становится сентиментальным и грустным и начинает говорить о своем родном доме,— он вовсе не

велик, это в сущности вовсе не именье, не замок, нет, это просто изба, вовсе не богатство, какое там!..

— Вы, конечно, видите сейчас все в слишком мрачных красках,— утешает она.

Ну, может быть, он немного и чересчур мрачно смотрит, во всяком случае там есть кое-какие деревья, лес, пахнет сеном, ручей бежит, через него был досчатый мостик, и на этом мостике он не раз леживал, ловя рыбу удочкой, у которой крючок был сделан из булавки. Детские воспоминания и грусть, печаль и поэзия молодого человека с больными легкими, переехавшего из одной страны в другую. Он намекнул, что надо бы ему ехать домой, но хочется еще побыть здесь в горах некоторое время, попытаться опять стать здоровым. Он не раз бывал угнетен и сомневался в своем выздоровлении, но вот тогда фрекен д'Эспар подбодряла его и вновь зажигала в нем надежду. Нет, нет, она не должна противоречить и преуменьшать сделанное ею, он благодарен ей за все, что она сделала, и не представляет себе, как прошло бы для него время без нее.

Вот, о чем говорит он.

Она слушала его с радостью; тон их разговора становится интимным и нежным, они открывают друг другу свои души, улыбаются и одобряют все, что говорит другой. Когда она снова напоминает, что завтра они должны расстаться, он весь как-то поникает, углы рта его опускаются; тогда она говорит:

— Не пора ли идти за простоквашей?

— Нет. Сказать правду, теперь мне все безразлично.

— О, что за пустяки! Я вас не узнаю!

— Да, все равно, будь, что будет,— повторяет он.

Молчание. Каждый думает о своем — может быть, они думают об одном и том же. Вдруг фрекен д'Эспар приходит ему на помощь:

— Вы за меня боитесь? Не беспокойтесь об этом. У меня достаточно денег, чтобы пережить затруднительное положение.

Он очень удивленно ответил: помилуй бог, вовсе он не о том. Что об этом думать? Деньги? Их она может от него получить. Но каково будет ему одному?

Молчание. Она сидит и смотрит на его тонкие пальцы, кольцо, кажется, вот-вот упадет с пальца. Эти пальцы ни на что не годятся,— думает она,— может быть, они не могут ни ударить, ни схватить, нет, они такие беспомощные и неспособны ни пошлепать, ни приласкать. Она видит

опять шелковые чулки на икрах его ног и вспоминает, как во время болезни он менял свою тонкую ночную рубашку, если только на ней оказывалось кофейное пятно, величиной хотя бы с булавочную головку. Так уж, верно, полагается у графов. Два раза было, что он позволил себе лишнее, и держал себя более интимно, чем она могла допустить, да, да, при чем глаза его так и впивались в нее. Совершенно верно. Но это было от болезни; теперь она была более готова извинить это, потому что в общем она больше привязалась к нему с тех пор.

— Я не знаю, что же нам делать? — сказала она. — Может быть, я могла бы побыть здесь?

Это было сказано мило и доверчиво. Он тотчас же спросил:

— Могли бы вы бросить ваше место в городе?

— Да, — ответила она.

— Так бросьте! Остальное я все устрою.

Они оба оживились после этого решения; он отбросил всякое стеснение и стал очень ласков, снимал травинки сена у нее с груди, осыпал ее колени сеном, ласкал ее, похлопывал, обвил ее руками. Иные называют это развязностью...

Потом они пошли к Даниэлю. Удивительно, какой тихой стала их радость, они говорили пониженными голосами, не шутили больше друг с другом, но смотрели в землю. Стало лучше, когда они пришли в избу и были встречены приветом и крынкой простокваши; старая ключница отклонила слишком щедрую плату, но потом, в конце концов, приняла ее и поблагодарила, пожав им руки. На лице господина Флеминга выразалось довольство.

На обратном пути, когда они поравнялись с сарайчиком в поле, господин Флеминг сказал:

— Войдемте и отдохнем опять.

Фрекен, смотря в землю, последовала за ним.

С эти пор они стали каждый день ходить в луга за простоквашей и леченьем для больных легких. Все снова пошло хорошо. Здоровье господина Флеминга так наглядно улучшалось, что его настроение начало становиться веселым, цвет лица делался нормальным; в то же время он стал проявлять больше интереса к окружающему; с любопытством расспрашивал, что нового в газетах, и сам спешил просмотреть телеграммы. Доктор снова начал держать себя с ним с вновь вернувшейся авторитетностью и кланялся ему издали, подметая землю пером своей

шляпы. Когда доктор ничего не имеет против того, чтобы больной пил в меру вино, — он пьет усердно, и подчас сверх меры. В конце концов, от этого никому нет ничего худого, он не шумит, но держит себя очень мило, только взор его становится несколько неподвижным, и ходит он, точно по проведенной мелом полосе. Фрекен д'Эспар составляет ему компанию.

Но потом, в один прекрасный день господин Флеминг стал вдруг беспокоиться о репутации фрекен д'Эспар и попросил ее привлечь в их компанию фрекен Эллингсен; таким образом их стало трое, и старые ядовитые пасторские дочки не могли ничего сказать.

Может быть, это было умно придумано господином Флемингом, а, может быть, вовсе не были придумано, а просто явилось результатом внезапной потребности в некотором разнообразии. Эта совместная жизнь, эта неразлучность начали, может быть, мало-по-малу надоедать ему по мере того, как он поправлялся и не нуждался больше в такой степени в уходе фрекен; в конце концов, казалось даже, как будто она утомляла его своим французским языком. Разумеется, он знал этот язык и понимал все, что она говорила, нельзя было и предположить, чтобы это было иначе; но случалось, точно его раздражала ее французская болтовня, и особенно, когда она обращалась прямо к нему с громким вопросом и ждала ответа. Он тогда совершенно не отвечал на вопрос под предлогом, что не понимает по-французски — на что все улыбались, как на шутку.

Фрекен д'Эспар все больше и больше привыкала смиряться, примирилась и с третьим лицом в их компании. Она была несколько озадачена и размышляла, что бы это могло значить — почему именно фрекен Эллингсен? Она была высокая и красивая, о, да, но у нее были косо поставлены глаза, а разве это так привлекательно? И вообще — зачем понадобилось третье лицо? Фрекен д'Эспар не сделала никаких возражений, она привлекла и ввела в их общество это третье лицо, но думала при этом: она не вертушка, а верно предана одному, не флиртует, не пьет, а только сидит и смотрит все время на человека, который пьет — на что тут досадовать? Но, очевидно, это все понятно графу. Фрекен Эллингсен недолго должна была еще оставаться в санатории, может быть, всего еще только одну неделю. Так что прекрасно, милости просим, фрекен Эллингсен, пожалуйста, к нам в компанию! Рюмку вина? Конфет? С удовольствием, пожалуйста! Но чтобы ты была

особой красавицей, чтобы ты была хоть самую малость лучше меня самой — нет! Кроме того, ты сидишь и вдруг начинаешь плакать, и интересничаешь, рассказывая разные истории, и умеешь врать...

Таким образом их стало трое, а когда к ним присоединился кавалер фрекен Эллингсен, Бертельсен — то четверо. Готовая партия в безик. Эта компания могла теперь без всякого неудовольствия с чьей бы то ни было стороны занять уголок в курительном зале.

Все пошло хорошо. Они выражали друг другу досаду, что не додумались до этого раньше, чокались и чувствовали себя прекрасно. Бертельсен, лесопромышленник, не был, конечно, дворянского происхождения, но он был богатый человек, получил образование за границей, в Соутгемптоне и в Гавре; кроме того, он был почти собственником санатории Торахус и мог бы, если бы хотел, иметь тут большой вес. И потом, как же, ведь у него был стипендиат — музыкант, отправленный в Париж. Бертельсен своим присутствием компанию не унижал. Он пожелал также своей очереди платить за вино.

Иногда компанию устаивал своим обществом ректор Оливер и выпивал с ними стакан вина, хотя он и был самого умеренного и строгого образа жизни. Карты тогда откладывались в сторону, ректор брал стул, садился и начинал говорить. О, ректор Оливер был не заурядный филолог, он был специалист, знал то, что другие редко знают. Этот всецело поглощенный наукой человек никогда не смеялся; он был так начинен тем, что иные называют уродованием природы, что стал слеп для мира, оживляющего чувства и радующего взоры. Но у него были свои заслуги: он был всю жизнь усердным тружеником, всегда был до крайности умерен в своих потребностях, никогда не кутил, не пил и не играл. Своих детей он учил такой же умеренности. По утрам он вырезал перочинным ножиком из газеты четыре одинаковых куска бумаги для известного употребления. Дети как-то раз спросили его, почему должно быть всегда четыре, и отец ответил:

— Мне больше не надо, четырех достаточно, пускай и на это будет правило.

Нет, он не был ни кутилой, ни мотом, но всегда был доволен дешевым табаком, кушаньем дома, у жены, и до блеска потертой одеждой на своем теле. Он удовлетворен был уважением, окружавшим его имя. Завистливые коллеги красноречиво обрушились на его докторскую диссертацию, и он тогда, как добросовестный человек, пересмотрел все

свое исследование. Он колебался, но устоял и мог сказать сам себе: «Я был в сомнении, ученый ли я, но мои многочисленные книги показали мне, что да. Посмотрите тоже на мою докторскую диссертацию, в ней целых две страницы указаний на источники». Его сомнение было побеждено.

Когда ректор Оливер приходил и садился в какую-нибудь компанию, он всегда был в полной уверенности в превосходстве своих знаний. Он мог померяться, с успехом мог померяться с кем бы то ни было, и когда он открывал рот, другим оставалось молчать. Его речи бывали всегда удобопонятны, он наизусть знал все объяснения слов в словарях и говорил толково, не употреблял иностранных слов неправильно. Конечно, это уже было много; но это было не все. К нему можно было обратиться в спорных случаях и получить авторитетное решение вопроса, он был на высоте знания. И он так охотно отвечал, он был счастлив поучить «языку», он сиял от удовольствия. При этом он пользовался случаем поговорить о самом себе, но всегда самым невинным и приятным образом, он был требователен только тогда, когда дело касалось справедливости.

У него возникли некоторые сомнения относительно Самоубийцы: этот человек должен был несомненно знать по-английски; ректор застал его как-то сидящим в совершенном одиночестве у инспектора, со старым номером английской газеты в руках; на каком же основании?

В Самоубийце было что-то загадочное, это всякий мог заметить.

— Да,— сказала фрекен д'Эспар,— об этом человеке многое можно предположить.

А так как все были согласны по этому вопросу, Бертельсен счел своим долгом усилить впечатление ее слов, сказать что-нибудь большее.

— Он, наверное, знает больше, чем мы думаем, он только немного чуждаковат. Я не сомневаюсь, что он и французский знает, и другие языки!

Ректор смутился; ему было неприятно, что он предложил Самоубийце заниматься с ним, и он не представлял себе, каким образом ему это исправить. Он совсем разнервничался. Остальные должны были его успокаивать и дать ему понять, что он не сделал ничего худого. Желая отвлечь его от этого, они перешли к общей болтовне о новостях дня, о книгах, модах, образовании, заграничных образовательных учреждениях для молодых девушек —



ректор опять был в своей сфере и углубился в рассуждения.— «Идем ли мы вперед? Конечно, идем! Сравнения быть не может с тем, что было раньше. Какие у нас были санатории и загородные гостиницы, даже, когда я был ребенком? А теперь скоро на каждой горе по одной будет. У меня такое чувство, словно мы передвинулись на целое столетие вперед, мы начинаем приближаться к Швейцарии. Много ли было у нас школ, и как стояло народное образование? А теперь? Ничего нет удивительного, что нас считают одним из наиболее передовых народов мира. У нас есть врачи, пасторы, юристы и профессора, каких жаждали бы иметь многие другие страны; наша наука усваивает тотчас же все, что появляется у великих народов, мы хорошо следим за всем. О да, мы идем вперед. Вот тут сидят две молодые дамы, они обе воспользовались благами, проистекающими от общего подъема образования, доставляемого книгами. Одно из самых отрадных явлений в нашем развитии — это несомненно улучшение положения женщины; она может стать в общественном положении наряду с мужчиной и с таким же успехом, как он, может сама избирать свой жизненный путь. Очень было несправедливо, когда в свое время некоторые завистники выставили меня, как человека несвободомыслящего, как ретрограда, как педанта, копошашегося в прошлом. Да, вы смеетесь, а ведь это действительно было. Особенно один был такой, его звали Рейнерт, сын пономаря у нас в городе; он злился на меня, потому что не мог мне простить моей докторской степени. Мы с ним были товарищами по школе и одновременно поступили в университет; но я все время шел несколько впереди его, и это было ему досадно. Он был дорого стоящий молодой человек, разорвавший своего отца — в конце концов старый пономарь должен был занять деньги под будущие рождественские доходы, чтобы его расточительный сын ни в чем не нуждался. Словом, молодой человек не занимался так, как должен был, ему понадобилось на два года больше, чем мне, чтобы сдать экзамены, хотя у него и был для поощрения мой пример. Теперь он сидит учителем в одном маленьком городке Вестландии\* и, вероятно, никогда ничем другим и не будет. Но у него было достаточно зависти и желчи, чтобы напасть на меня. Он написал, что я нагромоздил в моей докторской диссертации две страницы указаний на источники единственно только для того, чтобы притворить-

---

\* Местность западнее мыса Линдеснеса.

ся ученым, а что большинство этих источников не имело никакого отношения к моему исследованию,— так говорил он. Я спокойно ответил по существу дела и добавил, что он производит впечатление человека, ослепленного личной ненавистью ко мне. Тогда ему пришел на помощь один коллега. Это был тоже не ахти кто, радикал какой-то и довольно беспутный человек,— так вот он-то обвинил меня в устаревшем толковании науки и в несовременном образе мыслей. Это меня-то! Меня, который только и делал, что облегчал всем и каждому доступ к высшему развитию. Смею сказать, у меня чистейшая совесть в этом отношении. Я даже начал было ряд публичных лекций для моих сограждан — правда, это не пошло, но то была не моя вина. Представьте себе, стою я и привожу данные относительно одной подробности из истории эллинов, и называю при этом Фукидида\*. И вдруг один шалый парень на одной из скамей аудитории прерывает меня со смехом и спрашивает, не толстяк ли это Дид! Ну, что же мне тут было дальше делать? Вся аудитория покатила со смеху, я сошел с кафедры и отказался от дальнейших лекций. Это была безнадежная затея. Но, не правда ли этого можно было избежать, если бы мои слушатели дольше были в школе,— ведь хорошо известно, что Фукидид не толстяк Дид. Больше школы, больше школы! И я все время, можно сказать, всю мою жизнь усердно ратовал за народное образование, я считал бы уместным, чтобы каждая простая служанка имела аттестат зрелости и была бы образованным человеком. И я признаю самые передовые мнения в области, например, женского вопроса: предоставьте им развиваться, предоставьте им равную долю жизненных прав — тогда из этого создастся, как говорит один великий англичанин,— удвоенное человечество! И так должно быть по всей линии: школы и курсы для малых и больших, для мужчин и женщин, всевозможные школы, всевозможные учебные заведения. И идет к тому, что так и будет. Женщина может теперь быть всем, чем она желает; женщин-студенток сейчас повсюду полным-полно; они могут быть судьями, врачами и учителями, у нас для всего есть школы — промышленные школы, рисовальные школы, торговые школы, курсы языков, семинарии, школы для дефективных, где даже идиоты учатся читать,

---

\* Непереводимая игра слов: по-норвежски Фукидид — Тукидидес — тюк, толстый.

учреждения, где безрукие калеки могут выучиться тому или иному ремеслу и работать ногами, школы, школы...»

Ректор совсем разошелся, но был прерван одной случайностью: собеседники увидели в окно двух приятелей: Самоубийцу и Антона Мосса, которые сидели на воздухе в креслах и, казалось, зябли. Первый обратил на них внимание ректор; он отодвинулся и сказал:

— Вон эти двое!

Бертельсен подал мысль пригласить их сюда и предложить им по стакану вина, и фрекен д'Эспар пошла позвать их. Фрекен д'Эспар такой человек, который сумеет сделать это. Компания ясно видела в окно, как изумились приглашению оба друга, видела, что они обменялись между собою несколькими словами, как будто один спрашивал другого, что он об этом думает; а фрекен д'Эспар стояла там, склонив голову, и улыбалась. Наконец, они пришли все трое.

Гостей усадили, подали им вина, предложили сигар, пододвинули к ним ближе пепельницу; но гости со своей стороны ничем не проявили себя, то есть — решительно ничем. Бертельсен, наверное, ждал развлечения от Самоубийцы, какого-нибудь особенного разговора, какого-нибудь проявления расстройств его рассудка, — но нет. Приятель его, Антон Мосс, чувствовал себя, казалось, скверно в таком воспитанном обществе, старался спрятать тряпки на своих пальцах, мрачно смотрел и опрокинул свой стакан.

— Это ничего! — сказала фрекен д'Эспар.

Все были доброжелательны к ним, и не меньше других ректор; он спросил, чтобы завести разговор:

— Вы, господа, с воздуха пришли, не попадались вам там на глаза мои мальчуганы?

— Да, — ответил Самоубийца, — они пошли ловить рыбу.

— Ну, конечно! А эти горные воды такие коварные и опасные, — по крайней мере я так всегда слышал. Я запретил мальчикам ходить туда. Они одни пошли?

— Нет, с ними был один человек, который назвал себя ленсманом. Молодой человек.

— Ну, конечно, они со всякими дружбу водят.

Бертельсен спросил тут:

— Ленсман? Что тут нужно высокому представителю полиции?

— Он нас спросил, кто тут живет, и я, и мой товарищ всех ему перечислили.

Господин Флеминг вдруг как-то резко вздохнул и в то же время нагнулся и стал что-то делать под столом со своими башмаками.

— Нет, на этот раз ничего,— сказал он фрекен д'Эспар. Она наверное испугалась, что у него опять кровь пошла. Но между тем все же было что-то такое; господину Флемингу было нехорошо, его улыбка стала какая-то растерянная, и он погрузился с этого мгновения в полнейшее безмолвие. Фрекен д'Эспар, чтобы оживить его, сказала бодрым тоном:

— Ну, господин ректор, если при ваших мальчиках состоит полиция, вы несомненно можете быть совершенно спокойны!

— Нет, я неспокоен,— настойчиво повторил ректор. Он встал, поблагодарил компанию и добавил, что он запретил им это, строжайшим образом запретил!

— Как он строг со своими мальчиками! — заметил Бертельсен, когда ректор вышел.

— Это неудивительно,— ответила фрекен д'Эспар.— Он, видимо, примерный отец.

— Великий человек! — заявил Бертельсен, стараясь выразиться сильнее ее.— Сколько он учился! Сколько он знает!

Господин Флеминг поднялся; оба приятеля приняли это, видимо, за сигнал и тоже встали, поблагодарили и ушли. Нет, они не приобретение для общественной жизни, эти двое. Что за человек Самоубийца? Наступила ли у него перемена, легкое безумие, припадок ярости? Или он все сидит вот так, погруженный сам в себя, как какая-то редкостная, очаровательная певчая птица? Приятель его гораздо симпатичнее, но просто стыд и срам, как этот человек выглядит, весь в ранах и нарывах. Бертельсен сказал, что и шепотом не может высказать свое предположение о том, что может быть за болезнь у Антона Мосса. Веки у него слипаются, рот скривился.

— До свиданья,— сказал господин Флеминг, и вышел.

Фрекен д'Эспар пошла за ним следом. Она нашла господина Флеминга — он ждал ее, она опять стала ему необходима, в высшей степени необходима, он не мог обойтись без нее, он нуждался в ее уходе. Несомненно, что-то было тут. Господин Флеминг был видимо беспокоен, он — всегда державшийся изящно, граф — имел теперь совершенно другой вид и крайне нуждался в ободрении.

Они поднялись по лестнице и вошли в комнату господина Флеминга; он сказал:

— Ничего особенного, худой только день сегодня.

— Вы все еще не окрепли, как следует,— сказала она, оправдывая его.

— Нет.— И господин Флеминг нервно схватился за карман на груди и сказал:— Видите ли, на случай, если что-нибудь случится, что бы то ни было, никогда нельзя знать...

— Вам надо только опять стать здоровым и бодрым.

— Дело не в том, что я умру. Хотя и это тоже. Вы можете себе представить, как я мало расположен умирать! Я готов был бы в рабство пойти, чтобы только сохранить жизнь, я мог бы убить, чтобы сохранить жизнь. Но теперь дело не в том. То есть, оно в том. Я говорю несвязно, но оно так. Если меня вдруг посадят за решетку, я умру.

Несколько ошеломленная, она ответила:

— Но вас же не посадит никто. Что за ерунда!

— Я получил предупреждение там, внизу. Видите ли, дело в том, что у меня не только одни друзья, есть и враги, которые меня преследуют. Можно мне откровенно поговорить с вами?

— Да,— отвечает она, чувствуя себя на небесах, и улыбается.

Господин Флеминг не мог бы найти никого лучше, кому довериться. Фрекен д'Эспар не маленькая девочка, заблудившаяся в большом лесу и не могущая найти из него выхода, нет, нет. И она села.

— Я безупречный человек,— говорит господин Флеминг и жалобно улыбается.

Фрекен д'Эспар милосердно приходит на помощь, отвечает:

— Так и я тоже нет. Безупречного никого нет.

Путь проложен.

То не было случайной ошибкой, нет, нет, это был вполне обдуманный поступок, он мог бы еще раз сделать то же самое. Началось с того, что перед ним встала смерть. Это было так неожиданно и так необычайно страшно, это было прямо несправедливо, он истекал кровью, он погибал — за что он должен был истекать кровью и погибать? Чтобы остаться в живых, у него не было никакого другого выхода, как только — немедленно достать денег. Понимает ли она?

Она поняла.

Он взял деньги и сделал это так ловко, что только самая подозрительная ревизия могла бы найти в одном месте невинную описку, сущий пустяк, ничто. И он уехал,

и приехал сюда, в санаторию. То ли это место, которое ему нужно? Найдет ли он здесь то, чего искал? Его положение улучшалось и ухудшалось, улучшалось и ухудшалось. Бог ведает, может быть, он на неправильном пути. И при этом все время над ним что-то висело, какой-то гнет, какая-то мука. Он не зря спрашивал, какие новости в газетах, и рылся в телеграммах. И надо было не слишком рыться, это никому не должно было показаться странным, никто не должен был подметить, что у него есть какая-то тайна. Он жил на зыбкой почве.

Это не сразило фрекен д'Эспар, это маленькое мужественное сердечко, она не посмотрела на дело мрачно. Наоборот, она, по-видимому все прекрасно понимала, и извиняюще улыбалась. Уже та бодрая манера, с которой она приняла это, оживила беднягу, он не чувствовал себя больше погибшим, она будет ему опорой.

И он еще пояснил: когда его легкие будут излечены, и силы его восстановятся, он тогда сам сознается и понесет заслуженное наказание — видит бог, — да, и с бесконечным удовольствием, с миром в душе. — Только бы мне дали время! — воскликнул он, — только бы я был в состоянии перенести лишения и страдания, только бы не убили меня прежде, чем я попробую это лечение!

Фрекен, конечно, еще было неясно кое-что, и он бодро и решительно сознался: вовсе он не помещик финляндский, здесь его родина, — маленькая усадьба с лошадьёю и четырьмя коровами — и что только для него значит быть на свежем воздухе! Но он прослужил шесть лет в одном банке, и там у него не было ни одного радостного дня, он крестьянский сын, хорошо знающий, что бык — животное с роговыми копытами; его тянуло обратно на родину. Не без основания его влекло к сэтеру Даниэля, к маленьким домикам, крынкам с простоквашей, к постели с одеялами из шкур — ведь это было то, что должно было вернуть ему здоровье, не правда ли?

— О, да.

То, что должно было вернуть ему здоровье, черт возьми... Но эти идиоты не хотели понять этого, они хотели только схватить его при первой возможности. Но ведь, правда же, у него не было никаких барских причуд, он ведь не поехал в Париж, в какую-нибудь большую гостиницу, чтобы прокутить там свою добычу, он искал свежего воздуха, гор и неба. Почему он выдавал себя за графа? Это нетрудно понять: конечно, ради того, что это давало ему больше безопасности. Не так скоро

заподозрят Флеминга, как какого-нибудь Аксельсона.— Дома мы дважды в день, утром и после полудня, ходим в хлев,— сказал он:— моего отца нет в живых, мать мою зовут Лизой. Для нее такая великая радость, прямо милость божия слышать, как хорошо ее сыну здесь в горах; она хвастает мною перед другими женщинами, она всегда гордилась тем, что я попал на службу в банк. Если бы только она умерла вовремя и катастрофа миновала бы ее!

Это было, правду сказать, точно внезапный гром и для фрекен д'Эспар, но она сказала тем не менее:

— Ну, ну, не надо так к этому относиться.

Да, он был совершенно готов к тому, что в один прекрасный день его арестуют, это был только вопрос времени; там внизу, когда они сидели вместе, одно слово запало ему в душу, как искра.

Господин Флеминг действительно опустил теперь руку в карман, достал бумажник и вынул пакет, как бы письмо:

— Я хочу подготовиться,— сказал он.— Это вот деньги. Что мне с ними делать? Сжечь?

— Вы это не всерьез!

— Да, я этого не сделаю. Но уже нет времени унести их отсюда; в эту минуту, меня может быть, уже подкарауливает кто-нибудь. Вы понимаете, кого я имею в виду.

— Я их спрячу,— говорит фрекен.

— Да, вы согласны! Вы не боитесь?

Она только кивнула беззаботно головой и улыбнулась.

— Да, дело-то в том, что и вы тоже не совсем можете быть покойны, это мне пришло в голову несколько дней тому назад. Мы так много бывали вместе, что подозрение может пасть и на вас. По существу это ведь и было основанием, почему я побудил вас привлечь фрекен Эллингсен в нашу компанию, а через нее потом и этого оптовика Бертельсена.

Фрекен д'Эспар взяла со стола толстый конверт и сунула его за лиф, прямо на обнаженную грудь.

— Пока! — сказала она.

— Ну вот, прекрасно. Я мог бы, конечно, сжечь деньги,— продолжал он. Но ведь может случиться, что он и не умрет, что он неожиданным образом переживет свое наказание; его болезнь — капризная болезнь, у нее может быть самый неожиданный исход. Если он перенесет заключение...

Фрекен д'Эспар закивала головой, выражая, что не за чем говорить дальше, что она сама рада была бы найти порядочную сумму денег после тюремного заключения.

— Я вот еще что хочу сказать,— продолжал он.— Чтобы вам не слишком рисковать здесь из-за вашего знакомства со мной, я, конечно все буду отрицать. Понимаете? Все до последней малости буду отрицать. Даже если я буду осужден, я все буду отрицать. Что мне другое делать? Да и в самом деле, я не совершил никакого преступления, я только хотел создать себе возможность сохранить жизнь.

— Да, конечно.

Они были так единодушны в этом деле, так согласны; деньги сосчитаны не были, не была названа сумма. Уходя из комнаты, фрекен унесла половину тяжести с груди господина Флеминга. Все произошло так просто и естественно.

Она почти сейчас же опять постучала к нему в дверь, вошла и сказала:

— Здесь не лесман, а его писарь.

Господин Флеминг испугался, что она ходила вниз к прислуге и задавала ей неосторожные вопросы, но она успокоила его с лукавой улыбкой.

— Я спросила про ректорских детей,— пояснила она.

— Так, стало быть писарь — какой такой?

— Тот, который сбежал с возлюбленной Даниэля.

Господин Флеминг подумал: лесман или писарь — одно и то же, это только вопрос времени. «Сегодня среда, я должен уехать».

Господин Флеминг мог бы быть совершенно спокоен сегодня: писарь, вернувшись с рыбной ловли, покинул санаторию и отправился домой; фрекен д'Эспар сама видела, как он ушел. Если у него и было какое-нибудь намерение, случай помешал этому. Население санатории полно было разговоров о полицейском слугителе: он побывал в воде и пришел насквозь промокший сверху донизу, даже его фуражка с золотой лентой и золотым львом была похожа на тряпку.— Что там с вами случилось? — спросили его некоторые, в том числе фрекен д'Эспар.— Не болтайте об этом,— ответил он,— такая напасть, оступился на скользкой горе, и покатился на дно!

Ему невозможно было скрыть, что его спасли маленькие мальчики.

Замечательные мальчуганы, они сначала бросили ему палку, но так как полицейский все лежал в болоте и не



вылезал, то они спрыгнули вниз и вытащили его на свет божий. Такие чертовы ребята у ректора, озорники, любители приключений, но настоящие мужчины. Он теперь в постелях, пока их платье сушится.

Господин Флеминг и фрекен д'Эспар могли свободно передохнуть; они выпили вина, оживились, сидели, протянув ноги, и постукивали башмаками. Это было веселье приговоренных к смерти.

Она подшучивала над его страхом перед писарем, — рыбак, свалившийся в воду головой вниз, вот так уж можно сказать!

Господин Флеминг заразился на некоторое время ее беззаботностью и добавил со своей стороны с непринужденной веселостью:

— На этот раз пришлось ему уйти, несолоно хлебавши.

— Побрел домой, как мокрая курица. Я его видела.

— В сущности, — сказал он, смеясь, — в его поведении была какая-то деликатность, потому что, если бы ему пришлось пустить в дело наручники, то мокрые наручники испортили бы мне манжеты.

— Ха-ха-ха! — рассмеялась фрекен; она делала, что только могла, чтобы поддержать бодрость смертельно больного человека. И когда у нее истощился весь запас, она пустила в ход шутки, к которым обычно прибегала, когда хотела рассмешить кого-нибудь — французский язык в исковерканном виде: кофе с *avec, lit de parade* ная постель.

— Вы не должны говорить со мной по-французски: — сказал он с улыбкой, желая уничтожить всякие недоразумения между ними. — По некоторым причинам! — добавил он.

Попозднее, в сумерках, он попросил ее, чтобы она дала ему обратно часть денег, они ему понадобятся. При этом случае ему пришлось расстегнуть ей блузку на спине; это превратилось в ту же минуту в горячее объятие, в опьянение нежностью, с поцелуями и слезами, и чуть ли не истерикой. Пережитое напряжение разрежало их обоих. Если она, может быть, и испытала небольшое разочарование, что он не был ни помещик, ни граф, то она была достаточно умна, чтобы скрыть это, да и он стал гораздо ближе ей, благодаря своему признанию, он остался в ее глазах изящным и благородным человеком, это было у него врожденное; и во всяком случае, у него было драгоценное кольцо и конверт с деньгами.

Относительно денег он еще раз внушил ей, чтобы она была осторожна и в случае опасности сожгла их.

— Ни за что на свете! — ответила она.

Они простились друг с другом торжественнее обыкновенного, так он хотел. Они объяснились друг другу в любви, целовались, давали взаимные обещания на всю жизнь. Покойной ночи! Кстати: ей можно было бы взять это кольцо, но оно ее скомпрометирует. Новые поцелуи, повторные пожелания покойной ночи. И они расстались, при чем он так и не открывал пакета с деньгами и ничего оттуда не вынул. Может быть, это был только предлог.

Утром она подошла к его двери и прислушалась. Его сапоги стояли в коридоре. Она постучала тихонько и подождала, чтобы он открыл ей и опять лег. Нет. Она опять постучала. Нет. Она толкнула дверь — дверь была не заперта, и она вошла. В комнате никого не было. Все было в порядке. Кровать стояла нетронутая. На стене висело платье, на полу стояли два сундука с ключами, вставленными в замки, один ручной чемодан исчез.

Фрекен д'Эспар окинула комнату взглядом и поняла, что произошло, может быть, она даже уже и ожидала этого. Первое, что она сделала — заперла дверь, как она часто делала, когда господин Флеминг бывал нездоров и лежал в постели. Когда горничная постучала перед завтраком, фрекен объявила через дверную щелку, что господин Флеминг опять простудился, и чтобы она принесла завтрак для них обоих наверх, как делали это раньше. Когда она принесла, заказанное, фрекен взяла у нее поднос в дверях. Теперь ей нужно было только поесть, как будто двое ели.

Она проделывала это трое суток, выходила на ночь, чтобы идти спать в собственную комнату, а днем опять занимала свое место в комнате господина Флеминга. А его сапоги продолжали стоять перед дверьми.

Она сидела там, погруженная в тысячи мыслей. Какой будет этому конец! Она не робела, и — странно, но она ощущала тайное спокойствие состоятельного человека при мысли, что у нее хранится известный пакет. Она запрятала его на время в спинку мягкого кресла впредь до того времени, когда можно будет выйти в поле.

Только бы господин Флеминг имел возможность попасть на поезд! Только бы он прежде всего попал в поезд, а не умер бы по дороге. К нему еще не вернулись силы, у него легко появлялась испарина; разве только его поддержит его желание жить, энергия, загорающаяся перед опасностью. Бог знает.

Однажды она опять увидела в окно писаря, появившегося в пределах санатории.

Платье на нем теперь было сухое, и фуражка была заново выутюжена. Может быть, теперь он пришел по обязанностям службы и имея в виду создавшееся положение? Но, по-видимому, он получил неудовлетворительные сведения; во всяком случае, пообедав, он опять покинул санаторию.

— Да,— подумала фрекен д'Эспар,— больного, лежащего в постели человека, оставляют в покое.

На третий день случилось две вещи: во-первых, почтальон пришел с большим круглым ящиком для фрекен, это была шляпа. О, это шляпа, обещанная ей господином Флемингом, он не забыл о ней.

Она глубоко вздохнула, почувствовав что успокоилась.— Это было наглядное доказательство, что он добрался до Христиании; а то, что он подумал о таком пустяке, как дамская шляпа, указывало также, что в его положении в данную минуту не произошло ничего серьезного.

И фрекен стало так легко и спокойно на душе, что она тут же на месте в этой комнате, где она была на страже, открыла ящик и с напряженным интересом примерила новую шляпу перед зеркалом. Это был дивный подарок, роскошная ведь, только уж слишком дорогая.

Другое важное обстоятельство состояло в том, что адвокат Робертсен опять прибыл в Торахус; это имело своим последствием освобождение фрекен д'Эспар от ее обязанностей. Несомненно, что сейчас же по прибытии адвоката дошло до его слуха о повторном посещении писаря и об его расспросах.

Адвокат поднялся наверх и постучал в дверь к господину Флемингу. Еще перед запертыми дверями он дружелюбно крикнул, кто стучит, и попросил позволения навестить больного.

Фрекен д'Эспар открыла дверь. Решение было ею принято. Она была развязна, смела и очень ловка.

Адвокат огляделся; его удивление было, может быть, несколько искусственное.

— Но где же больной? — спросил он, нахмутив брови.

— Не знаю,— ответила фрекен, глядя ему прямо в лицо.

— Вот как! Ну, а кто же знает это?

— Может быть, он сам,— ответила она.— Будьте добры, пожалуйста, присядьте.

— Что все это значит? Что граф сбежал?

Фрекен ничего не могла на это сказать. Все, что она знала, это то, что когда она вошла сегодня утром сюда в комнату, господина Флеминга здесь не было.

Адвокат спросил:

— А вы знаете, что он натворил?

— Нет, не знаю. А разве он что-нибудь натворил?

— Я ничего не знаю. Он заплатил по счету, и его нет в санатории. Где он? Вы с ним поссорились, и он ушел к Даниэлю на сэтэр?

— Мы никогда не ссорились, — коротко ответила она. — И он наверное не у Даниэля.

— Не обижайтесь на мою шутку, — сказал адвокат, — я думал, так, маленькое недоразумение.

— Между нами никаких недоразумений не было. И мы вовсе не были так близко знакомы, мы просто беседовали, когда представлялся случай.

— Меня чрезвычайно огорчает то, что случилось, — заявил адвокат, — если только он не отправился на прогулку и скоро не вернется. Такое место, как наше, страдает от всего нарушающего порядок, это сейчас попадает в газеты и на языки, это вредит нашей репутации.

— Да.

— Не правда ли, фрекен, вы понимаете это?

— Да. Я как раз думала об этом и оттого именно и сидела за запертой дверью, пока вы не пришли.

Адвокат взглянул на нее. Ну, в прямом соглашении с этой дамой он тоже не мог быть: поэтому он сказал:

— Не представляется невероятным, что ленсман может прийти сюда и вас допросить. Но вы не принимайте этого близко к сердцу. В конце концов, может быть, господин Флеминг и вернется; хороший признак, что его вещи тут.

— Конечно.

— Мы должны будем тем временем запереть его сундуки и ждать. Если с ним неблагополучно, — я вовсе не говорю, что это так, этого даже и не думаю, господи, Боже мой; если бы я думал, что у графа Флеминга какие-то счеты с правосудием, я первый пошел бы заявить о нем. Но он в моих глазах чистый и благородный дворянин. С другой стороны, вполне возможно, что за ним следят по какому-нибудь совершенно неосновательному подозрению; к сожалению, и в таком случае, все равно, это ложится на санаторию пятном. Я совсем не желал бы, чтобы его схватили где-нибудь тут, поблизости. Подождем немного.

Адвокат имел основание быть осторожным. В санатории Торахус, в этом с иголки новом учреждении, несколько

раз уже бывало неблагополучно — сначала благодаря двум компрометирующим смертным случаям, потом из-за какой-то английской принцессы или жены министра, которую как будто никто больше признавать не хотел, — санатория не могла подвергнуться новым потрясениям из-за финского графа. Адвокат не стал вступать в объяснения с фрекен д'Эспар по поводу того, что она принимала участие в побеге господина Флеминга; подобного рода объяснения были не в его натуре, он был здесь хозяином, как бы опекуном всех, для него дело было в том, чтобы найти выход из затруднительного положения.

Пораздумав об этом несколько времени, он сказал:

— Вы не нашли его здесь сегодня утром, таким образом у него было восемь часов времени выгадано. Это довольно мало; не хотел бы я, чтобы его привели сюда обратно — за исключением, конечно, того случая, если он сам сюда приедет.

Значит, восемь часов; утренний поезд отходит в 6 час. 15 мин.

Подожду — если, конечно, господин Флеминг не появится, здесь в течение дня, — я подожду до завтра.

— Да, — говорит тоже фрекен.

— Да, так и сделаю, подожду до завтра. Но знаете, фрекен, что я тогда сделаю? — спросил он с решительным видом. — Я тогда сам пойду к ленсману дать показания. Это избавит нас от того, чтобы видеть его здесь, у нас, это безусловно гораздо приятнее для всех нас. Если все хорошо взвесить, то не в интересах ленсмана или села предпринимать что-нибудь против нас: мы тут крупные плательщики налогов, мы доставляем работу крестьянам, скупаем их продукты и их живность, мы распространяем известный блеск на всю округу.

## ГЛАВА VII

---

Ректор со своими мальчиками уехал, лесопромышленник Бертельсен уехал, фрекен Эллингсен уехала. Да, дело шло к осени, кончились каникулы для отдохнувших в горах дачников.

Но еще оставалось много гостей — мелкие рантье, вдовы пасторов, жены мелких купцов, страдавшие нервами и все никак не могшие поправиться, кое-кто из спортсменской молодежи, повредившие себе так или иначе при занятии любимым делом и вынужденные полечиться — народу,

таким образом, было еще довольно. Кроме того, на места тех, кто покинул санаторию, наезжали проездом другие; правда, то были люди, переезжавшие с одного горного места на другое, останавливающиеся обыкновенно только на одну ночь и не заслуживавшие, чтобы адвокат упоминал о них в газетах для рекламы; но то были желанные посетители, санатория зарабатывала на них лучше, чем на постоянных пансионерах.

Из первоначальных гостей двое — Самоубийца и его приятель с сыпью — не собирались уезжать. Они были, может быть, наименее уважаемыми посетителями, один за свое внутреннее содержание, а другой за свой внешний вид; но, из преданности ли месту, или по упрямству, они не трогались отсюда.

Худого они тоже особенного ничего не делали, не шумели и не возвышали голоса, это были незначительные, жалкие люди. Жизнь проходила у этих двух день за днем уныло и бессмысленно; они читали вывешенные на столбах объявления, изучали барометр, играли по вечерам в карты с инспектором и скотником, во время еды сидели за столом с нервными больными, принимавшими по часам пилюли и лекарства. Так проходили их дни.

Но в конце концов Самоубийца для разнообразия стал лазить по горам для укрепления здоровья. Удивительный человек! Он, который, казалось, всю жизнь с тех пор, как еще под столом пешком ходил, не имел другой цели, кроме самоубийства, изменился. Не высказывал ли он определенное намерение лишить себя жизни, как только найдет способ, не позорящий убийство? Он ел и одевался, да, и принимал вообще участие в жизни; в то же время прекрасно сознавал всю глупость такого поведения, смотрел с презрением и плевал на самого себя. Теперь же это изменилось. Подействовал ли тут воздух санатории Тораксус, или в него проникла новая мудрость? Он стал мягче и сам с собой, и с другими, уступал дорогу, когда кто-нибудь встречался с ним в дверях, начал говорить о своем самоубийстве с сомнением. Когда его приятель Антон Мосс высмеивал его, Самоубийца утверждал, что всякая точка зрения, на которой стоит человек, и всякое мнение — нечто преходящее.

Удивительно. Человек, спасенный для себя и для других! Как бы только жить,— как бы стать бессмертным! Если бы он был певцом, он пошел бы в горы и громко, радостно распевал бы там. Вопрос только в том, долго ли продержится такое светлое настроение.

— Вы женаты? — подозрительно спросил его приятель.

— Женат? Нет.

— Вы были женаты?

— Что вам нейдет? — резко ответил Самоубийца.— Я вас не спрашиваю, страдаете ли вы одной болезнью, которой я не хочу назвать.

Мосс смутился, но потом продолжал:

— Насколько я понимаю, вы уже побороли это. Да и какой черт станет стреляться из-за женщины!

Самоубийца, как будто пойманный врасплох, говорит:

— Я вас не спрашивал о том, что мне делать.

Молчание.

С дрожащих губ Самоубийца готово как будто сорваться признание, он словно сам не свой.

— Откуда вы это взяли? — воскликнул он.— Что вы ходите и подслушиваете? Может быть, вы от горничных слышали, что я во сне говорю? Чему только не подвергаешься в жизни!

В общем Самоубийца довольно-таки несложная натура; но если он хранит тайну, то он желает, чтобы она была скрыта. В самом деле, он не хочет, чтобы о нем говорили, что у него трагическая судьба, что его, например,— биржа разорила, или жена обманула. Почему в нем так меняется настроение? Или действительно задета в нем какая-то струна? Он опять заговорил — это было мудрствование и философия, отчасти общие места и напускной цинизм.

— Вы правы в конце концов, какой черт станет стреляться из-за женщины! Лишать себя жизни, чтобы отомстить женщине — это только делать из себя посмешище. Небольшое потрясение дама, правда, испытает на мгновение, но потом ей сейчас же становится это безразлично, она ест и пьет, помнит о своей прическе и о своих нарядах. И еще испытывает некоторое время чувство гордости, что оказалась стоящей револьверного выстрела, находит сама себя интересной оттого, что кто-то лишил себя жизни из-за нее, величается этим. Не поймите меня только превратно, я говорю не о какой-нибудь определенной женщине, а вообще о женщинах.

— Ну, конечно,— ответил Мосс. Но, должно быть, он уловил на этот раз что-то чуждое в голосе своего собеседника. У Мосса было плохое зрение, но прекрасный слух, он испугался, может быть, как бы из этого не вышло душевного излияния и всякой там сентиментальности, и прибег по обыкновению к шуточкам, к насмешкам. Ну,

совсем-то отвергать самоубийства тоже не следует, оно имеет цену и как подвиг, и как моцион.

— Вы обезьяна,— ответил Самоубийца, искоса взглянув на него.

Воздух вокруг них опять стал чист, они воздали друг другу по заслугам и злились от всего сердца. Но в подобных схватках Антон Мосс обыкновенно долго не выдерживал и всегда оставался побежденным.

— А вы-таки проиграли вчера целый шиллинг,— сказал он.

— Да, а вы за меня заплатили?

— Нет, но меня злит, что вы так глупо играли. Проиграть почтальону — это, может быть потому, что у него блестящий галун на фуражке? Вы всегда проигрываете почтальону.

— Это не должно огорчать вас. У почтальона нет средств, чтобы проигрывать.

— Ну? Так это вы потому?

— Нет. Вы обнаруживаете опять невероятную ограниченность. Вовсе это не потому.

— Ограниченность? Вы, может быть, потому хотите издеваться надо мной, что я подвернулся вам под руку, когда вами овладела ваша навязчивая идея.

— Действительно,— у вас лицо изъедено,— воскликнул с выражением отвращения Самоубийца.— Нет, вы и говорить-то уж больно ясно не можете, потому что у вас язвы на губах.

— Ха-ха-ха! — сказал Мосс. Он не засмеялся, он это проговорил.— Вот пустая-то болтовня,— добавил он.— Но он был в достаточной мере оглушен и нашел только самый жалкий отпор: — Я процветаю и толстею, а у вас все больше глаза проваливаются и вы все худеете. Удивительно, что вы не носите соломенной шляпы.

— А вы теперь уже всегда небриты,— продолжал Самоубийца.

Тут Мосс должен был сдаться; вид у него был некрасивый и не презентабельный, из-за ран на лице у него росла ключьями борода и это угнетало его, он даже избегал людям в глаза смотреть.

— От вашей веселости меня жуть берет,— сказал он.— Вы могли мы с таким же успехом заняться торговлей скотом. Я не могу больше бриться, у меня от этого делаются раны на коже. Но я часто подстригаюсь, это то же самое. Коротко, коротко подстригаюсь, маленькими ножницами. Всякий другой понял бы это.



Теперь была очередь Самоубийцы быть настороже, он сказал:

— Молчите уж вы, не расплачьтесь только.

— Ха-ха-ха,— сказал опять Мосс.

Они оба погрузились в молчание, сидели, молчали и думали каждый о своем, подымая время от времени голову и откашливаясь, чтобы придать себе мужества.

— Холодно сегодня,— сказал Самоубийца,— скоро снег выпадет. Да, что я хотел сказать — это в конце концов безразлично, но вы вот, чуть-что, выдаете себя за человека, понимающего тайны жизни. А понимаете вы сами себя?

— Самого себя? — повторил Мосс.— Я скоро ослепну, вот это я понимаю.

— Какой черт станет стреляться из-за женщины! — говорите вы. Да, верно. Но, если бы вы были беспристрастным человеком, вы поняли бы, как поверхностна ваша болтовня. Разве, например, суть только в мужчине и женщине? А ребенок? Поймите меня правильно — ребенок вообще.

Мосс потрянул головой и ответил:

— Я не знаю, что вы такое болтаете. Все, что вы говорите, совершенно ни к чему. Я вовсе не хочу быть вынужденным спорить с вами.

— Как хотите.— Но Самоубийца продолжал, точно это было необходимо для него: — Так вот, ребенок, мальчик или девочка, ну, пускай это будет девочка. Если ей, например, три месяца, вы не уверите меня, что вы ее не видели и не нашли ее изумительной. Что делает мать? Что делает мать три месяца спустя? Ну, ладно. Но ребенок лежит и держит вас за палец, крепко держит, не выпускает. Думаете, вы, что сами вы отпустите? Я говорю так, вообще...

Их разговор был прерван, кто-то пришел и рассказал о том, что случилось ночью — случилась неожиданная смерть. Это не было какое-нибудь огромное несчастье и утрата для мира и не отвлекло Самоубийцу от его гигиенического лазанья по горам, — но происшествие все же было такое, что он кивнул головою: вот, мол, еще один смертный случай. И это произвело жуткое впечатление на обитателей санатории.

Удивительно, как много могло произойти от того, что горничная санатории уселась в незанятой комнате второго этажа и совершенно одна сидела там.

Заведующая нашла ее там ночью, в темноте. Она обходила по долгу службы дом и осматривала его после

того, как все улеглись; чиркала спичкой, освещала и шла дальше, и вот нашла эту горничную сидящую около незапертой двери, как будто у нее тут было какое-то дело, она не плакала и не раскачивалась, напевая; наоборот, старалась делать как можно меньше движений, сидела и прислушивалась, стараясь еле-еле дышать.

Заведующая так была поражена, что только спросила ее едва слышно от дверей:

— Что это ты тут сидишь?

Горничная поманила заведующую, чтобы та вошла. Они стали прислушиваться обе — прислушиваться к какому-то тревожному шуму в соседней занятой комнате — слезы, тихие жалобные слова, очевидно, какое-то горе. — «Это фрекен д'Эспар, — думает заведующая, — что-нибудь с ней случилось».

— Давно это она? — чуть слышно спросила она девушку.

— Да уж с вечера. Вот уж с неделю, как она каждый вечер плачет. Она и не ест ничего больше, и рвет ее от самой простой еды.

Заведующая вышла в коридор, постучала к фрекен д'Эспар и спросила:

— Что, с вами не хорошо, фрекен, да?

— Со мной? — бодрым голосом ответила фрекен. — Нет, я просто только читаю вслух французскую книгу.

У заведующей вытянулось лицо в темноте.

— Извините в таком случае!

Горничной она велела сию же минуту идти спать.

На следующую ночь горничная опять пришла туда. О, она уж очень ясно слышала, что из французской книжки вычитывались норвежские жалобные слова, и ее любопытный нос учуял, что тут что-то кроется, она уселась в пустой комнате, предоставив опять мраку поглотить себя. И тогда случилось следующее: в дверях появилась одетая в белое фрекен д'Эспар и осветила комнату спичкой.

Горничная вскрикнула сдавленным голосом, схватилась руками за лицо и, спотыкаясь, бросилась мимо фрекен в двери, затем дальше по коридору. На черной лестнице раздался вскрик и звук падения, и ничего больше не стало слышно во мраке...

Но эта смерть — как случайна и маловажна она ни была, — казалось, напугала фрекен д'Эспар. Молодая девушка, служившая в конторе машинисткой, положительно не могла больше выносить никаких дальнейших потрясений, ей было достаточно прежних, о, более, чем достаточно.

Пребывание в санатории перестало быть для нее отдыхом, перестало быть уютным. Она подозревала горничных, что они разводят сллетни по поводу ее болезненности по поводу того, что она не выносит никакой еды и, мало того, требует каких-то неслыханных кушаний, какие-то все собственные фантазии, вроде копченой селедки с пирожным, или тарелки сырого гороха. А теперь еще обнаружилось, что горничные караулили в коридорах и в соседних комнатах и шпионили за ней. Можно ли это вынести?

Она ведь была покинута, брошена, ее друг уехал от нее, ей одной приходилось нести свое бремя. Бремя? Какое такое бремя? Что горничная шею себе сломала? Вовсе нет! Так как ее никто не расспрашивал об этом ничего не значащем приключении, то и она молчала о своей роли в нем. Ну да, она слышала какой-то крик в то время, как лежала за чтением французской книги, но это все.

Она вышла в поле, чтобы зарыть в верное место известный пакет. До сих пор она заботливо стерегла спинку одного мягкого стула, полную денег, и была далека от того, чтобы присвоить себе что-нибудь из них. Это была честность относительно господина Флеминга, великодушие к своему больному другу, а, может быть, и что-нибудь другое, может, любовь, надежда на свидание, многое могло тут быть!

От ее внимания не ускользнуло, что Самоубийца принялся последнее время бродить по горам и тропинкам, и ей хотелось бы знать, что он где-нибудь далеко, когда она отправилась в свою таинственную экспедицию. Она нашла подходящее место — о, тут в полях довольно было верных местечек, особенно в сторону фермы Даниэля, в окрестностях так хорошо знакомого ей маленького сарайчика.

Ну, хорошо.

Но в то время, как она держала в руках толстый пакет, ей вздумалось открыть его и посмотреть туда прежде, чем положить его под камень. Это пришло ей в голову в первый раз. Напряженная тревога по поводу бегства ее друга и позднее некоторые собственные тайные муки не оставляли ей раньше времени для такого любопытства. Она увидела в конверте письмо — адресованное ей; это была дарственная записка: лежащие тут кредитные билеты принадлежат ей — он ведь обещал ей поддержку в возмещение за место в конторе, которого она лишилась из-за него; у самого у него еще довольно денег. Она

должна только соблюдать величайшую осторожность и, в случае опасности, сжечь деньги.

Фрекен д'Эспар коснулась рукой лба, глаз, и мысли ее словно просветлели, в следующие минуты чудесным образом исчезли все ее муки. Как это тонко сделано, как деликатно, так по-настоящему по-графски, или кто бы он там ни был! Это уже не было больше для Фрекен д'Эспар краденое добро, которое она хранила у себя на груди,— это был прощальный дар, подарок на память, сделанный ей благородным человеком. Она стала считать бумажки — нет, она не сосчитала их, она только просмотрела их поверхностно: ценные бумажки, и крупные, несколько тысяч, не такие суммы, которые она часами выписывала в конторе на машинке, нет — но несколько тысяч, много тысяч, целое богатство. Были тут и менее крупные, и мелкие бумажки — словно он позаботился, чтобы ей не пришлось менять в ближайшее время. Обо всем он подумал.

Она сидела и размышляла. Разве было у нее теперь основание ломать себе руки и стонать, и жаловаться по ночам? Конечно, да, все та же была причина, в этом-то и беда! Но деньги — это деньги. И вдруг ее как будто осенила какая-то хорошая мысль. Она порывисто встала, опустила опять деньги глубоко вниз, на грудь и, застегнув с трудом кнопки на спине, ушла.

Она предпочла бы теперь иметь возможность сейчас же беспрепятственно вернуться домой, в санаторию, но вдруг вынырнул перед ней Даниэль и увидел ее; у него в руках веревка и передник — один из передников Марты — по-видимому, он собирался носить домой сено из маленького сарая; да, и он кланяется уже издали, и фрекен должна поговорить с ним. Даниэль сейчас же узнал ее и выразил радость, что видит ее.

Он так давно ее не видел, говорит он, он думал, что она уехала.

— Нет.

— Так, так. Ну, а граф что? Где граф?

— Граф уехал. Может быть, он вернется, но сейчас стало как раз слишком холодно здесь для его больных легких.

— Понятно,— говорит сочувствующе Даниэль. И теперь, значит, она гуляет совсем одна! Но наверное это будет недолго.

Она, молча, закинула руку за спину, расстегнула опять несколько кнопок; когда она извлекла пакет с деньгами, глаза Даниэля широко и недоверчиво раскрылись — она

достала у него на глазах бумажку в десять крон и подала ее ему со словами:

— Это вам; граф просил меня передать вам это. Так удачно, что я вас встретила.

— Нет, нет, нет,— сказал Даниэль, отступая,— может ли это быть? От графа?

— От графа. О, он обо всех подумал!

И они с увлечением заговорили оба о графе — это замечательный человек, дня не проходит, чтобы Марта не вспомнила его. Это прямо жалость, что такой человек хворает.

Фрекен сказала:

— Не можете ли вы мне застегнуть лиф на спине, мне не достать.

Он бросил веревку и передник на траву и ответил:

— Уж не знаю, смогу ли — такое тонкое дело.

Дело пошло, она почувствовала у себя на спине его руки и услышала, что кнопки застегиваются. Да, дело шло; она заметила, что он искренне боится коснуться ее слишком грубо.

Они пошли дальше по тропинке к сенному сарайчику. Фрекен д'Эспар заглянула туда, у нее были при этом, конечно, свои мысли. Много раз проводила она здесь хорошие минуты со своим другом, он целовал, обнимал ее тут. О, они оба, конечно, боялись последствий, и всегда боялись их. Нет, это был не спорт и не состязание, это был голос крови, неизбежная глупость, безумие, существующее с тех пор, как стоит мир; может быть, и что-то яркое, может быть, любовь, много, много могло тут быть всего вместе.

— До свидания,— сказала фрекен, и покинула Даниэля с его сеном.

Вернувшись в санаторию, она уложила свои вещи, собрала свои французские романы, сложила их на дно сундука и заперла, потребовала счет и уплатила за него несколько бумажек, вынутых ею для этой цели. Она проявила при этом достаточную щедрость, и когда счет за один день оказался меньше обычного, то отослала его для исправления; она также щедро раздала чаевые. Могущественной таинственной поддержкой было сознание, что у тебя на груди пакет с деньгами.

Пришел доктор. Если он и понял из ее внезапного отъезда несколько больше, чем нужно, он был на этот раз достаточно умен, чтобы притвориться не знающим — нет, в конце концов, наверное, ничего доктор Ойен и не

понял.— И ты, Брутиха! — сказал он, шутливо, и, по той или иной причине довольный этим своим словечком, сам засмеялся ему. В общем, его не удивляет, что она уезжает, в горах начало становится холодно. Он сам с удовольствием уехал бы. Не забыла ли она чего-нибудь, ту или другую книгу?

Ничего: если и забыла, она скоро вернется, ей надо только не надолго в Христианию, она и сундук здесь оставляет.

Неожиданная радость для доктора.

— Вот это хорошо, фрекен, сердечно буду рад вашему возвращению! Вы нам вдвойне дороги, как один из самых верных, один из самых первых наших гостей.

Пришла заведующая. Те же любезности, та же вежливость.

Выходя из дома санатории со своим маленьким чемоданчиком в руках, фрекен д'Эспар прошла через гостиную. Это было сделано преднамеренно. Она очень хорошо знала, что другие дамы, жившие в санатории, не любили ее и хотела показать им, как и прежде, свое к ним равнодушие. Они не должны думать о ней ничего дурного, пусть смотрят, пожалуйста! Разве величайшая дерзость не была величайшей осторожностью! Она прошла через гостиную, как будто бы была процессией, проходящей между двумя рядами зрителей, и еще слегка почесала мизинцем в ухе. Никто не мог быть более дерзким, чем она.

В поезде никто не знал ее.

В первый же день по прибытии своем в Христианию она встретила с мужчинами из своей прежней конторы. Встречали ее любезно, пригласили посетить известные ей холостые собрания, на которых она бывала раньше. Да, спасибо, она придет, но только ей надо побывать в городе.

Она нарочно устроила так, что встретила с лесопромышленником Бертельсеном. Этот господин никогда не посмотрел на нее косо в санатории, наоборот, показывал, что ценит и уважает ее. И как-раз в веселую минуту легкого опьянения слегка пожал ей под столом ногу.

Она спросила его о фрекен Эллингсен.

Да, он видится с ней довольно часто, она себя хорошо чувствует. Он спросил в свою очередь о господине Флеминге. А не зайти ли им лучше в кафе, чем стоять тут посреди улицы?

Да, спасибо, если он протелефонирует фрекен Эллингсен и пригласит и ее.

Он пообещал это, и они пошли в кафе, спросили себе поесть и выпить. Бертельсен рассказал про фру Рубен, что она очень похудела, могла ходить теперь; она ведь помнит фру Рубен? Ну, теперь ее не узнать; от горя ли это из-за смерти мужа, или по какой-либо другой причине.

— А помните вы миледи, англичанку, жену министра? Вранье ведь это все, я недавно узнал из Швеции, она опасная мошенница. Но послушайте, фрекен, не взять ли нам автомобиль и не проехать ли ко мне? Там уютнее будет посидеть и поболтать.

— Да, хорошо, если вы протелефонируете фрекен Эллингсен, чтобы она пришла.

— Фрекен Эллингсен — да — нет, она дежурная, ей нельзя освободиться.

Тут вдруг фрекен д'Эспар оскорбилась. Она вовсе не влюблена в фрекен Эллингсен, но ее лицо вдруг совершенно побелело от гнева, что Бертельсен одурачил ее. О, она стала такая раздражительная, нужно было немного или даже ничего, чтобы вывести ее из равновесия, она была в каком-то необычном душевном настроении. Что в этом такого, разве фрекен д'Эспар не понимает, что он предлагает? Она не школьница. Но к тому она всего менее расположена, что он предлагает, она готова была бы плюнуть на прогулку с ним в автомобиле. Конечно, она сейчас же стала мягче и поблагодарила его за приглашение, но, выйдя из кафе, они расстались и пошли каждый своей дорогой.

После обеда она зашла к фрекен Эллингсен и нашла ее не изменившейся, полной романтики, разбойничьих рассказов и поэзии; голова ее была набита дюжиной занимательнейших рассказов, которые она собиралась писать, даже уже и писала. Из этого несомненно должно было выйти что-то, это все говорили. Скучно было только то, что она была связана обетом молчания, своей присягой.

Фрекен д'Эспар хотелось спросит эту особу, как осведомленную в области телеграфных сообщений, об одном беглеце, одном большом аристократе, но она не решилась. Слава Богу, он наверное, ведь еще не арестован, может быть, он уехал по одной из океанских линий в Австралию, в Южную Америку.

Не поедет ли с ней фрекен Эллингсен сегодня вечером к шефу конторы в его холостую квартирку?

— Спасибо, да. А, может, и Бертельсену приехать туда?

— Бертельсен — н-да... — хорошо, надо, чтобы они позвонили ему.

Фрекен д'Эспар зашла за ней вечером, и они поехали на холостяцкую квартиру. Но весело там не было. Собравшиеся старые товарищи были точь-в-точь такие же, как и раньше, но фрекен д'Эспар изменилась. Господи Боже мой, что ей за интерес слушать о том, как идут дела в конторе, и о том, что, сам управляющий ухаживает за новой машинисткой!

— Говорит она по-французски? — спросила фрекен д'Эспар.

— Как сказать, говорит — говорить можно по-разному. Не так, конечно, бегло, как вы, но все-таки.

Фрекен д'Эспар улыбнулась, но в сущности все это было ей совершенно безразлично.

— Она приглашена в контору по фотографии, — сказал один из присутствующих.

И это тоже ей было безразлично.

— Ей уж и жалованье прибавили.

Все равно, все равно. У фрекен д'Эспар другое было в голове. То был инстинкт самосохранения, и тут надо было не шадить себя. Посмотреть вот на фрекен Эллинген, как она себя прекрасно чувствует; но она не в таком положении, что над ней каплет, что она не должна терять ни минуты в борьбе за существование. Вот, сидит она себе, крупная и красивая — очень представительная особа, но она ничего с собой не делает, потому что ничто ее к этому не принуждает. Мужчины начинают восхищаться всем ее существом; глаза ее, поставленные слегка вкось, придают что-то своеобразное ее взгляду; у нее очаровательный большой рот, чудесные каштановые волосы — и тем не менее она не пользуется ничем этим, она ни в чем не принимает участия, она не живет. Она стала просто механизмом: заведи ее, и она будет рассказывать и сочинять, спустит с привязи пленную свою фантазию и даст ей полную свободу, пока она сама собой не остановится. Но ведь у нее глаза блестящие и щеки розовели, когда она рассказывала свои бредни и поэтические измышления? Совершенно верно, механизм нагревался, работая. Потом в ней начинало что-то дребезжать, и она останавливалась. Потом начинались слезы.

«Треска сушеная» — подумала фрекен д'Эспар, и сказала:

— Ваше здоровье, фрекен Эллинген.

— Благодарю, ваше также!

Фрекен д'Эспар поглощена своим и делит свое внимание между товарищами, рассматривая их. Они все более или



менее плешивы, утомлены от постоянного стоянья и писанья за конторками, отцветшие в этом бесцельном ремесле: шеф конторы всех хуже — стареющий господин, он сам подсмеивается над своим голым черепом, проводит по нем ладонью и, указывая на него, говорит:

— Семейный недостаток!

Жизнерадостный господин, с перстнем с печатью на указательном пальце, он слышит среди кутил за независимого бонвивана и прожигателя жизни, не сданного еще в архив. При этом его домашняя обстановка соответствует его положению, две комнаты с портьерой посредине. Но для фрекен д'Эспар он не тот мужчина, который ей нужен; он слишком неоснователен и легкомыслен, без почвы под ногами, он ей не годится.

— Мы не позвоним по телефону? — шепчет фрекен Эллингсен.

— Позвоним? Ах, да, Бертельсену, — ну, да.

Но фрекен д'Эспар занята своим, все остальное может потерпеть. Она сосредотачивает свое внимание на одном из служащих конторы, одном из самых молодых, человеке самой обыкновенной внешности, совсем еще не облысевшем. Он происхождением из деревни, крестьянский сын, служит в деле седьмой год; жалованье у него теперь вполне достаточное, но ему не удастся ничего откладывать. Фрекен д'Эспар знает, что он занимается понемногу посторонними спекуляциями и смышлен в достижении своих целей, крестьянин до мозга костей. Он благодарен, что шеф и его пригласил сегодня на вечер, пьет с осторожностью и держит себя все время почтительно.

Время идет. Бутерброды, водка, пиво, болтовня и содовая вода с коньяком, трубки и папиросы — нет, при других условиях это не раздражало бы фрекен д'Эспар, но теперь у нее было другое, о чем ей надо было думать. Когда подали кофе с монашеским ликером, она внесла в общество нотку оживления своим «кофе с авес».

Фрекен Эллингсен опять прошептала:

— Нельзя ли позвонить по телефону?

— По телефону? Да, да. Только я не знаю, знаком ли Бертельсен с этими господами.

Фрекен Эллингсен добавила, упав духом:

— Бертельсен не любит, чтобы я бывала где-нибудь без него.

Но, тут фрекен д'Эспар пришла ей на помощь и громко спросила:

— Можно нам пригласить по телефону Бертельсена?

— Бертельсена?

— Знаете, «Бертельсен и Сын». Так это сын.

— Да, его знают все, шеф его знает. Сделайте одолжение — телефон там, в той комнате.

Дамы ушли за портьеру и стали звонить. Бертельсена нет в конторе и нет дома, он где-нибудь в кафе. Фрекен Эллингсен становится все более и более огорченной.

— Пойдите вы туда назад и посидите там,— говорит тогда фрекен д'Эспар,— я уж найду его.— Она выпроваживает фрекен Эллингсен прочь из комнаты и зовет конторщика крестьянского сына: — Подите сюда, помогите мне. Вы всегда так хорошо управляетесь с телефоном, я помню.

Они телефонировали вдвоем в разные места в полутемной спальне, а когда дело было сделано, и Бертельсена нашли, фрекен д'Эспар занялась немного своим собственным делом и, обняв крестьянина стала гладить его по голове, по всем его сохранившимся кудрям. Черт возьми, он никогда бы этого не предположил — никак не ожидал.

Ну да, а она вот помнила о нем все время.

Он растерян и несколько испуган; что-то чуждое, кроющееся в этом переживании, вызывает в нем сдержанность,— он, разумеется, целует ее, но не без недоверия. «Что такое за притча — фрекен д'Эспар, за которой сам шеф приударял»...

— Послушайте, нам надо бы вернуться к другим,— говорит он.

Да, но вот он знает теперь, что она думала о нем, что она — сказать прямо — не могла забыть его. Что же он на это скажет?

Гм! Он ведь, никогда и не мечтал об этом, никогда. И он до такой степени совершенно не достоин ее, он такой незначительный человек — жалкий конторщик безо всякого будущего.

О, но у нее есть кое-что у самой. Больше она ничего не хочет говорить, но у нее есть деньги, наследство от ее французских родных, как бы Божий дар. Но, точно для того, чтобы оставить себе лазейку, она говорит под конец:

— Вы не должны были целовать меня, если вы меня не любите. Ух, как у меня голова кружится!

Когда они вошли опять в комнату к остальным, у крестьянского парня был несколько одурелый вид; фрекен д'Эспар лучше вышла из положения и поправила дело — может быть, потому что ей необходимо было это сделать — она прикрыла глаза рукой и воскликнула:

— Ой, как здесь светло! Ну, мы разыскали вам Бертельсена, фрекен, он сейчас придет.

И Бертельсен пришел — бросил свою компанию, по его словам, и пришел. Он оживлен и болтлив, в голове у него минутами несколько шумно, он, должно быть, весь день сегодня провел, странствуя по кафе. Он моментально подсаживается к фрекен д'Эспар, пользуясь завязанным с нею в санатории знакомством. Граф ведь положительно не подходящий для нее человек, не тот, кого ей было нужно — человек на краю могилы; может быть, он даже вовсе и не граф, не дворянин.

— Может быть, он и не из досчатого дворянства, нет, — раздраженно отпарировала фрекен д'Эспар.

Лесопромышленник очень мило принял эту грубость и обезоружил ее.

Не следовало бы плевать на доски, на деньги, и на добрый свет. Он со своей стороны приходил, случалось, на помощь своим друзьям, у него есть ведь тоже — хотя самому и не годится говорить об этом — есть стипендиат в Париже, музыкант один.

— О, да, мы это знаем! — восклицает фрекен д'Эспар с раскаянием. — Это, действительно, такая великодушная щедрость!

— Ну, не будем преувеличивать, — остановил ее Бертельсен. — Вы придаете этому слишком большое значение.

— Вовсе нет! — И в своем стремлении быть опять доброй и милой, она еще усиливает сказанное: — Я знаю, что вы уже не в первый раз выступаете благотворителем.

Бертельсен с притворным изумлением обвел взором присутствующих и сказал:

— Она в бреду! А относительно вашего графа, фрекен д'Эспар, я отнюдь не хотел сказать ничего неблагоприятного, он был очень милый господин, мы с ним в карты играли и вино вместе пили, он несомненный джентльмен. Досадно только, что его песенка спета. Вы обручены с ним?

— Я? Нет. Что вы болтаете!

— Болтаю, ладно. Но вы можете сердиться и толковать это, как хотите — люблю-то вас я!

Все рассмеялись на это, приняв это совершенно не серьезно, только фрекен Эллингсен сидела мрачная, одинокая и нерадостная.

Бертельсен продолжал развязно и неустанно болтать — опять теперь о фру Рубен; он ее на днях встретил, наверное она прошла какой-нибудь курс лечения, так сильно

изменилась она. Богатая барыня, колоссально богатая, и красивая тоже в своем роде, чудесные глаза — как миндалины.

— Слышали вы об адвокате Робертсене? Его ведь теперь зовут Рупрехтом — он обращался к королю с прошением, чтобы иметь право называться Рупрехтом. Вот дурак! Неужели я пойду к королю, чтобы меня звали Бертильон? Jamais!

Бертельсен пил все больше и больше; он был крепкий парень и много мог вынести, не сваливаясь от этого, но немножко шумел, как богатый человек, и был не из привлекательных. Фрекен д'Эспар, не стесняясь, пренебрегала его разговором и старалась перенести часть его внимания на фрекен Эллингсен, но на Бертельсена это не действовало. Он, между прочим, снял свой входной ключ с кольца и хотел в своем опьянении всучить его фрекен д'Эспар — он был совершенно невменяем.

— Я должна взять его? — спросила она.

— Пусть он будет у вас.

— Зачем же это? Нет, я вовсе не хочу.

Шеф конторы пришел на помощь:

— Подождите-ка, дайте мне этот ключ. У господина Бертельсена наверное много всякого серебра дома.

— Ха-ха-ха! — рассмеялись все. Но фрекен Эллингсен, рослая и красивая, сидела и молчала. Как ей не стыдно, она все переносила и пребывала неизменной. Проходила в жизни, высоко подняв голову, не слышала и не видела, недоступная и нетронутая, скучная и красивая. Она наверное умела также вязать крючком и играть на фортепиано. Вся ее страстность ушла в литературу и сплетни по телеграфной линии, в мечты и фантазии. «Треска сушеная!» — подумала фрекен д'Эспар.

— Фрекен Эллингсен, еще раз — ваше здоровье! Вы такая молчаливая!

— И ваше также!

Бертельсен не унимается, упорно продолжает держаться подле фрекен д'Эспар, становится фамильярным и называет ее Жюли, — Шюли.

Фрекен д'Эспар отодвигается внезапно от стола и беспощадно говорит:

— Вы то и дело не туда ноги ставите, куда надо, господин Бертельсен!

Ничто не помогает, ничто его не трогает.

Фрекен д'Эспар встает и говорит крестьянскому сыну, сохранившему все свои волосы:

— Поздно. Пойдемте, помогите мне вызвать по телефону автомобиль.

Крестьянин смотрит на шефа, своего начальника, и идет опять за портьеру.

Фрекен д'Эспар почти в истерике, она вся искрится от безнадежности и стремления выйти замуж. Она атакует его и спрашивает напрямик. Он сопротивляется ей — она мешает ему телефонировать, и ему приходится звонить снова. Собравшись несколько с духом, он говорит ей, что он же ведь ничто по сравнению с нею как по внешности, так и по всему остальному. В конце концов, она сама не захочет его, вот она увидит.

Она понимает, что не добьется толку, что ничто не действует, и спрашивает коротко:

— Вызвали вы автомобиль?

— Сейчас будет тут! — у него вдруг явилось желание разузнать поподробнее. — Я не знаю, что мне сказать, но во всяком случае это большое счастье, что вам достались эти деньги, это наследство. От души желаю вам удачи!

— Благодарю, — говорит она: — Вы мне, конечно, не верите, но вот троньте!

Она дает ему тронуть свою блузу на груди, и он восклицает:

— О! А вы так это и носите на себе? Вы сейчас же должны внести это на хранение, сейчас же это надо в банк. Сколько тут?

О, теперь настала минута — она не на все молчит, не все терпит. — Так сейчас и узнаете! — отвечает она. И вдруг точно что-то овладело ею, она прошипела ему в лицо: — Вы очень бы не прочь это узнать, да? Можете облизнуться! Что вы думаете, я стала бы целоваться с вами, если бы не была пьяна? Подите вы к черту!

Остановится ли она на этом? Она еще продолжает безумствовать, но так как она сообразительна и умна, то стремится теперь прикрыть свое поражение — она начинает точно читать, подавляет его громкой французской болтовней, которой он не понимает, говорит, разводит руками, он не может понять, в шутку это, или всерьез — но она говорит и говорит, не переставая, пока не откидывает портьеру и не возвращается к остальным.

Присутствующие удивленно смотрят на нее, и шеф шутливо говорит крестьянскому сыну:

— Отвечайте же ей, чего вы не отвечаете?

Фрекен д'Эспар заявляет:

— Я к нему посваталась, но он не хочет меня. Едемте со мной, фрекен Эллинген?

Она подходит к хозяину, шефу конторы, и благодарит его, прощается также с остальными, в том числе и с крестьянским сыном, протягивает ему руку и говорит:

— Благодарю за вечер! Так едем, фрекен Эллинген?

— Да... я не знаю.

— Вы же видите, Бертельсен заснул.

— Да, но...

— Автомобиль гудит. Так большое спасибо всем за вечер!

Но внизу, в автомобиле она не могла больше держать себя в руках и расплакалась.

Приехав в гостиницу, она распорядилась, чтобы ее разбудили в определенный час, и легла в постель. Не было, конечно, и речи о том, чтобы заснуть, она изнемогала и терзалась от страха за будущее. Ее поездка в Христианию видимо останется бесплодной, она ничего не устроила, ничего не достигла; душа ее была истерзана, и снова она плакала.

В каком обществе она провела время! Очень может быть, что она несправедлива к крестьянскому сыну с кудрями, но у нее получилось впечатление, что он проявил свинское отношение, что он хотел бы получить ее деньги, что он хотел знать, сколько она может предложить ему. Прекрасно. Ну, а потом, когда появится ребенок, а деньги будут вложены в то или другое предприятие — что тогда? Не выкажет ли он себя с другой стороны?

Она была очень несчастна, плакала и скрюченными, как птичьи когти, пальцами впивалась в одеяло; она перебирала одного за другим ряд своих знакомых мужчин, не останавливаясь ни на одном из них.

Она могла бы выйти замуж за господина Флеминга — конечно, но тогда она была бы замешана в его дела, а он явно хотел уберечь ее от той судьбы, которой она могла избежать. О, но если бы он только знал, от чего он уберег ее! Ко всему остальному присоединилось еще то, что ее наружность пострадала; она вскочила с постели и стала смотреться в зеркало, увидела, что подурнела в последние дни, что лицо ее посерело и обрюзгло. Лучше как можно скорее уехать прочь отсюда. Здесь нет даже и леса, нет верного местечка, чтобы спрятать ее деньги, здесь кишат люди, которые сейчас уже увидят ее, когда она пойдет зарывать их.

Утром, после почти бессонной ночи, она с некоторым чувством облегчения села опять в поезд. Она действовала безо всякой обдуманности, ее поездка была без плана, она хотела только прочь из Христиании и думала, что, может быть, лучше всего будет поехать опять в санаторию Торахус. Почему? Для чего? Бог знает! Во всяком случае там был лес. Она руководилась своим безволием, разумом, существующим в природе, скрытой мудростью.

Она вышла из поезда отнюдь не в таком настроении, чтобы торжествовать над кем-либо, она ведь вернулась из своей поездки, ничего не сделав. Снова жившим в санатории дамам был предоставлен полный простор. Вообще за эти немногие дни их стало меньше; то, чего она раньше не замечала, поразило ее теперь: в санатории было теперь мало пансионеров, и она начинала производить впечатлительные пустыни. Появился свежее выпавший снег и холод тут наверху, не было жизни, ни лыжников, ни одного ребенка. Кое-где на тропинках виднелись следы людей, побывавших около того или другого столба, чтобы прочесть бюллетень о погоде или какое-нибудь новое объявление.

Она заняла опять свою прежнюю комнату и вынула свои дешевые французские книги в желтой обложке, свои вещи — былую свою гордость — теперь все это стало ей безразличнее, не оживляло ее, не помогало ей.

И потекли дни и ночи все в той же муке.

## ГЛАВА VIII

---

Доктор держал совет с инспектором о том, чтобы устроить какое-нибудь развлечение для гостей, что-нибудь оживляющее, увлекательное — бег по горам на лыжах, катанье на коньках на одном из горных озер. Да, это надо сделать. Но инспектор Свендсен, старый матрос, был плох по части спорта на суше и должен был обратиться за помощью к почтальону и скотнику. Они отправились втроем, чтобы высмотреть подходящую горку для лыж, а когда лед достаточно окреп, то сгребли и смели с него снег, превратив его в блестящий каток для конькобежцев. Адвокат Робертсен опять проявил тут любезность и способности хорошего хозяина: он послал в санаторию несколько пар лыж и коньков для бесплатного пользования пансионерами. В приложенном к этому послании, которое было затем прибито к одному из столбов, он шутовски советовал не ломать ни лыж, ни шей. Послание было подписано: «Руппрехт».

Полубольные гости и пациенты, которые ни в каком случае не могли принять участие в этих развлечениях, хоть следили за подготовительными работами; более молодые и более смелые время от времени участвовали в них, более пожилым дамам совсем нечего было тут делать, разве только кататься на салазках; но так как они были не дети, то и салазки для них должны были быть достаточных размеров.— Well,— сказал инспектор Свендсен,— достанем подходящие сани.

Пока для лыж не было достаточно глубокого снега, но для конькобежцев лед был хорош; крепкий, как сталь, насчитывавший пять морозных ночей, опасный только в одном месте: около ручья, сбегавшего на луг Даниэля.

Гостям надо было запастись одеждой для суровой зимы, некоторые предпочли отправиться восвояси. Стало еще пустее в главном здании и в двух флигелях. Самоубийца, как человек состоятельный, выписал себе и зимнее пальто, и ульстер, но так как не мог употреблять обе вещи сразу, то уступил ульстер Моссу, у которого ничего не было.

— Почему вы не уезжаете? — спросил его Самоубийца.

— Я скоро уеду,— отвечал Мосс.

— Я тоже скоро уеду.

Ни один из них не уезжал, и у них были, может быть, для этого свои основания: Самоубийца, видимо, приехал сюда только для того, чтобы не быть дома, ни по какой другой причине — как же ему было возвращаться обратно?

Они ходили смотреть на конькобежцев,— делать им было почти нечего.

С тех пор, как зрение Мосса ослабело, он ходил с палкой, слегка нащупывая ею перед собой почву, но все же верно следовал повсюду за товарищем, даже и в горы, даже на каток.

Деятельными участниками развлечений оказались скотник и почтальон; иногда они брали кого-нибудь из дам за руки и уносились вместе с ней, потом стали брать и других пробовать счастье; одна вдова пастора из более молодых и один мелкий коммерсант привинчивали коньки и, пошатываясь, катались самостоятельно. На льду слышались крики, легкие взвизгивания, шум падений и треск.

Вечером Самоубийца и Антон Мосс, возвращаясь домой, встретились с фрекен д'Эспар. Она закуталась, казалось, во все, что только у нее было из одежды, надев одно на другое, но ногам было плохо.



Оба приятеля поклонились. Они были расположены к этой даме, все началось с того дня, когда она пригласила их на вино и печенье в хорошую компанию.

— Холодно на льду,— сказал Самоубийца, бросив взгляд на ее одеяние.

— Да,— ответила она,— и у меня совсем нет соответствующей одежды, но что же делать.

Мосс расстегнул ульстер и начал его стаскивать.

— Что вы делаете? — воскликнула она.

— Не хотите ли вы его надеть?

— Нет, что вы! Благодарю вас, нет.

— Я же домой иду,— возразил он.

— Нет, все равно. В конце концов я и сама пойду домой. Конечно, пойду. Нет, как глупо, я ведь могла взять с собой теплые вещи, когда была в Христиании, но не подумала об этом. Я теперь написала, чтобы мне выслали плащ и длинные теплые чулки.

Они пошли вместе обратно в дом. Фрекен откровенно призналась, что она хандрит, не в духе и сама себе надоела, что в горах стало пустынно, тоскливо. Что, они не думают уезжать отсюда?

О, да, они уедут. Но нельзя быть уверенными, что в другом месте будет лучше.

— Да,— сказала и она, соглашаясь с ними, и затем добавила в качестве личного опыта, что собственно не стоит быть не в духе, от этого веселее не будет.— Верно?

Приятели исходят из предположения, что ей не достает господина Флеминга, и понимают, что она от этого страдает. Мосс, опустив глаза, говорит, чтобы подбодрить ее:

— Какого черта хандрить!

По его виду несомненно, что меньше всего причин для довольства у него. Фрекен д'Эспар стало жаль его, и, чтобы его утешить, она от всего сердца выразила свое полное согласие с ним:

— Действительно, вы совершенно правы. Что там много раздумывать, нет никакой пользы от того, чтобы сидеть у себя в комнате, самого себя ощупывать и собственных глаз не находить. Какой в этом смысл?

Самоубийца был настроен более критически.

— Это все смотря по тому,— возразил он,— если долго все обдумать и взвесить, может быть, и можно найти какой-нибудь светлый выход. Я не знаю.

Они вернулись домой. Этими двумя пренебрегать не следовало. Они не несут пьяного вздора и не лезут

ухаживать, это уже кое-что. В следующие дни фрекен стали часто видеть в их обществе. Рыбак рыбака видит издалека. Теперь, когда она в несчастьи, два приятеля отнюдь не недостойное общество для нее, они подкрепляют ее некоторым своим превосходством в манере думать и добрым тоном и иногда смешат ее. Непокорные они головы, но тоже оба, каждый по-своему, потерпели от ударов судьбы. Самоубийца отнюдь уж больше не сумасшедший. Он — сумасшедший? Ни малейшего следа. Он очень хорошо понимает каждый вопрос и отвечает на него логично и правильно. Антон Мосс держит себя потише и стесняется, он симпатичный и был бы недурен собой, если бы не эти раны на лице, и если бы не возрастающая слепота.

Других недостатков у него не было. Своеобразные молодые люди, и презанятные; они немного форсили своими остротами — своим юмором приговоренных, но это их поддерживало. Не было, конечно, того, чтобы они могли преодолевать все препятствия — избави нас боже от мушкетеров! Были ли они бесшабашно смелы, могли ли рубить саблями свои заботы? Когда им чего-нибудь хотелось, могли они пойти и купить себе это, занять для этого или украсть? Нет. Могли они постоять за себя? Были они господами положения? Приходили они в радостный подъем, показываясь в каком-нибудь затруднении, могли энергично взяться за его разрешение и защитить себя? Нет.

Нет, они были, каждый по-своему, пропащие люди, даже ночной сон и аппетит были у них притворные. Но надо было иметь крепкую голову, чтобы таить это все про себя.

Один случай создал еще более глубокую связь между фрекен и двумя приятелями.

Пришел ленсман — это был собственно писарь ленсмана, но его везде называли ленсманом. Это был тот молодой человек, который теперь был уже женат на возлюбленной Даниэля; он-то и пришел снова в санаторию Торахус. Под мышкой у него была заготовленная для писанья протокола бумага, он имел разговор с заведующей и инспектором и расспрашивал их о господине Флеминге.

Заведующая ничего не знала, инспектор ничего не знал, а в общем — что случилось с господином Флемингом?

— С ним, оказывается, не совсем ладно: он арестован.

— Господи спаси и помилуй!

Да, и ленсман вот получил распоряжение расспросить кое-кого в последнем его местопребывании, в санатории Торахус. Робертсен заявлял в свое время, что тут осталось два сундука, принадлежавших господину Флемингу. Где они?

Инспектор поднялся с ним на чердак, и сундуки были перерыты; там была одежда и белье, частью дорогое, шелковое, но больше ничего. Ленсман опять замкнул их, положил еще печати, но оставил ключи висеть там. Затем он стал писать протокол.

Но два сундука с одеждой ничто по сравнению со значительной суммой денег, которую господин Флеминг, по-видимому, позаимствовал или взял в одном банке в Финляндии. Где деньги?

Заведующая и инспектор не знали этого. Был приглашен доктор, он тоже ничего не знал.

— Не отдавал ли господин Флеминг на хранение, не клал ли в несгораемый шкаф санатории несколько крупных тысячных бумажек?

— Нет.

Ленсман записал.

Доктор подвергся дальнейшим расспросам в качестве врача, лечившего этого знаменитого пациента. Доктор решительно ничего не мог сообщить кроме того, что все знали — что господин Флеминг был болен легкими, что от времени до времени у него наступало улучшение, но что он был неосторожен, простужался, наступал новый возврат заболевания, и приходилось опять с трудом добиваться нового улучшения. Временами он впадал в меланхолию, в другое время, наоборот, чрезмерно бывал полон надежд, то одно, то другое; он пил немного, но не отличался расточительностью, что могли доказать счетовидные книги санатории. При этом доктор не видал больного во время последней простуды. За ним ухаживала фрекен д'Эспар, она сидела у него и последняя его видела.

Ленсман записал. Окончив, он спросил о фрекен д'Эспар.

— Позвать ее? — спросила заведующая.

— Она тут живет? Пойдите! Я тогда предпочитаю, чтобы меня прямо провели к ней в комнату.

Фрекен д'Эспар была, видимо, очень удивлена, что какой-то мужчина постучал к ней и вошел с протоколом в руках и золотым галуном на фуражке — он и фуражку сразу не снял, чтобы она произвела впечатление. Через мгновение она его узнала.

— Извините, фрекен, я пришел узнать от вас, что вы знаете о господине Флеминге, недавно тут жившем. Я здесь по долгу службы.

— Господин Флеминг... о — он умер?

— Нет, нет. Ну, а если бы? Но нет, дело не в том.

Фрекен д'Эспар бывала не в одних только беспечных положениях, жизнь слегка сделала ее с течением времени находчивой и ловкой, в смысле самообладания она — герой. Она говорит:

— Всегда неприятно узнать о чьей-нибудь смерти, у меня это и выразилось.

— Вы ведь знали этого человека, вы последняя видели его перед тем, как он бежал?

— А он бежал?

— Ну, перед тем, как он ушел отсюда. Желаете вы ответить мне на мой вопрос?

— Что значит — знали? — говорит она. — Господин Флеминг часто бывал болен, и я сидела иногда подле него; постольку я его и знаю.

— А не ближе того? Не иначе? — ленсман перелистывает протокол, возвращаясь к началу, и делает вид, как будто нашел там что-то. — Вы были с ним вместе, можно сказать, постоянно, мне так говорили.

Фрекен в ответ улыбается — несколько бледной улыбкой — но улыбается и говорит:

— Как часто и как долго я бывала с ним? Я думаю, могу сказать, ежедневно, но не целый день, мы оба жили тут в санатории и, встречаясь, разговаривали.

— Вы пользовались его доверием?

— Мы беседовали. Я ведь больше француженка, чем норвежка, господин Флеминг образованный человек, и мы разговаривали по-французски, — пояснила она.

— Вот как? — говорит ленсман; это действует на него несколько сдерживающе, импонирует ему немного. — По-французски?

Фрекен показала рукой кругом на свои книги:

— Я читаю почти исключительно по-французски. И мы с господином Флемингом разговаривали о книгах, которые читали оба, — вы это называете близкими отношениями?

— Спрашиваю я, фрекен, — веско сказал ленсман. — Я здесь для того, чтобы снять допрос.

Фрекен:

— Я буду вам отвечать.

— Благодарю. Дело, стало быть, в том, что господин Флеминг арестован.

— Что он сделал?

— Да подлог, воровство в одном банке, или как уж там выяснится, говорят о большой сумме. Вот, как обстоит дело. И теперь я хотел бы спросить вас: вы не знаете, куда он зарыл эти деньги?

— Я? — фрекен громко и звонко рассмеялась. — Вы это нашли у него в карманах?

Ленсман покраснел и сердито сказал:

— Вы лучше сделаете, если ответите мне на мой вопрос.

Фрекен продолжала смеяться, не обнаруживая никакого испуга, и сказала, смеясь:

— Простите, я не могу не смеяться. Это так комично.

Но на этот раз в ее веселости слуху ленсмана почудилась неестественность, и, сосредоточившись для нападения, для внезапного удара, он спросил вдруг коротко и резко:

— Так где же деньги?

О, а она-то сидит с ними у себя на груди, и дверь заперта. Ну хорошо, пакет с деньгами лежит у нее, он почти слился в одно с нею, он изогнулся и приобрел форму по линиям ее тела, он несколько недель покоится на этом теплом месте. Фрекен д'Эспар мужественна, как герой, она сознает, что ее положение плохо, но не сдаст позиций; нет, она опирается на грубость вопроса ленсмана, да, она глубоко оскорблена им, и это не должно его удивлять. И она вдруг внезапным движением бросает перед ним на стол ключ от своего сундука и вскакивает, восклицая:

— Сделайте одолжение, обыщите мою комнату и мой сундук, я вам мешать не буду!

И с этими словами она порывисто открывает дверь и вылетает из комнаты!

Она летит дальше по коридору, спасается вниз по лестнице, влетает на веранду. Там сидят Самоубийца и Антон Мосс.

По пути она расстегнула кнопки у себя на спине и выхватила толстый конверт. Она протягивает его вперед в величайшем негодовании и говорит: — Полицейский тут, он хочет его взять! Спрячьте его; это письма от графа, от господина Флеминга, только одни письма.

Сидящий ближе к ней Мосс хватается пакет — он плохо видит, но видит, что она загнана, что у нее расстегнута блуза, слышит, что она полна страха, он не рассуждает,

расстегивает ульстер и куртку, прячет пакет и опять застегивается.

— Ох! — глубоко вздыхает она и бросается в соломенное кресло.

— Что случилось? — спрашивает Самоубийца.

— Почему я знаю. Да, это по поводу господина Флеминга, он будто бы должен какие-то деньги, взял будто бы какие-то не принадлежащие ему деньги, почему я могу это знать! И теперь он утверждает, этот полицейский, что я должна знать, где он спрятал эти деньги.

— Он делал у вас обыск? — спросил, готовый не верить своим ушам, Самоубийца.

— Да. То есть, хотел. Но он не получит этого пакета, этих писем. Или получит?

— Нет, — сверхъестественно спокойно ответил Мосс.

Самоубийца тоже вспыхнул, как раскаленный уголь и с появившимся у него вдруг непобедимым видом обратился к товарищу:

— Одолжите-ка мне вашу толстую палку, Мосс! Пусть она будет у меня на случай надобности.

— Я сам без нее не могу, — отвечает Мосс. — Я первый начну.

— О, благодарю, благодарю, — плачет и смеется фрекен. — Я все, все вам буду делать, о чем вы меня попросите. — Она таки сама испугалась своей храбрости; можно быть шустрым и находчивым, но долго так не выдержать, особенно, если человек уже раньше ослаблен заботами и несчастиями; нет, тогда становишься просто-на-просто птенчиком и прячешься в кусты.

И вот она под охраной и защитой у двух больных, таких же бедных, как она сама, таких же несчастных. Они сидят тут, потому что им все равно, где ни быть; они живут изо дня в день, и никто ими не интересуется.

В данную минуту Самоубийца настроен воинственно:

— Где этот франт? — спрашивает он.

Фрекен плачет и смеется в ответ — от благодарности этой неукротимой силе, называющей полицейского франтом, и поясняет:

— Он в моей комнате. Я попросила его — сделайте одолжение, обыщите мою комнату и мой сундук, — и дала ему ключ.

Друзья находят ее грандиозной, блестящей, так этому франту и надо! Они не высказывают этого, но выражают, кивая головами. Следующее, что провозносит Самоубийца, это сомнение в том, осторожно ли оставлять совершенно

чужого человека одного в комнате, да еще перед незапертым сундуком? — Пойду-ка я туда наверх,— говорит он, вставая.

Фрекен хватает его за руку и просит этого не делать: — Он ничего не найдет, там нет ничего. Нет, ради бога! — Но она не может удержаться от того, чтобы опять не рассмеяться и не постонать немного от восхищения перед великолепной выдумкой Самоубийцы — заподозрить полицию, саму полицию! Мало-по-малу ее возбуждение утихает, и нервы ее успокаиваются. Она прислоняется к спинке кресла, чтобы скрыть расстегнутую блузу, приятели высказывают предположение, что она адски озябла и должна идти в комнаты, но. — Нет, нет,— говорит она, она будет сидеть тут, пока не придет тот человек, она хочет видеть его усмирленным как следует быть, ей не холодно. Блестяще опять-таки: у нее совесть чиста, она не будет убежать!

Ленсман пришел. Он был смирен и миролюбив, его военная хитрость ни на что ему не послужила.

— Вы меня неправильно поняли, вам незачем было уходить, фрекен,— говорит он.

Фрекен смотрит на него и молчит.

— Я не делал у вас, конечно, никакого обыска, ваш ключ от сундука лежит там, где вы его положили. Я посидел там только и занес в протокол ваше показание.

Фрекен молчит. Но она очень боится, что ее приятели заговорят, что Антон Мосс ударит рукой по своему карману на груди и скажет: — Вот тут письма графа к фрекен, попробуйте-ка взять их.

Самоубийца прерывает свое молчание и говорит:

— Оказывается, опасность угрожает тем, кто жил под одной кровлей с графом Флемингом и разговаривал с ним.

— Как? Что такое? — бормочет захваченный врасплох ленсман.

— Я тоже один из тех, кто с ним разговаривал.

— И я тоже,— говорит Мосс, не поднимая глаз.

Фрекен испуганно:

— Не надо! Бросьте!

— Вы говорите — граф; он разве граф? — спрашивает ленсман.

— Вы даже этого не знаете? — спрашивает в ответ Самоубийца, обнаруживая своим видом, что никогда в жизни не встречал подобной неосведомленности.

Поверил ленсман в графа, или не поверил, но во всяком случае он понял, что перед ним враждебно настроенное

общество, и сказал в заключение: — Ну, моя обязанность здесь окончена, — после чего он поклонился, приложив руку к фуражке с золотым галуном, и ушел.

Его уход был несомненно мил, и это в значительной степени примирило с ним общество. К тому же ведь ему надо было выслужиться, заслужить производство — фрекен д'Эспар знала это от Даниэля — ему надо было постараться самому быть назначенным в ленсманы и сделать свою жену Елену дамой; все тут было одно с другим связано.

Возвращая толстый пакет с бумагами, Мосс сказал, шутя, не отрывая глаз от пола: — Приходите с ним опять, когда только вам угодно! Я ничего не имею против того, чтобы хранить его, мне это дает ощущение, что у меня что-то есть в кармане, вообще, что у меня есть что-то! — И он улыбнулся при этом своим печальным ртом.

Эта улыбка — в связи с его необыкновенной подавленностью и обезображенностью — произвела впечатление на фрекен д'Эспар; она была в размягченном состоянии духа от пережитых душевных волнений и готова была в эту минуту броситься на грудь к этому человеку, больному кожной болезнью, и приласкать его. — Чем бы мне отслужить вам обоим в благодарность? — спросила она. Но так как они совершенно не были кавалерами, то не сумели ответить на это особенно тонко и просто отклонили от себя ее благодарность, сказав, что ровно не за что, а Мосс еще пробормотал неуклюже: — Это нам надо благодарить!

После этого фрекен д'Эспар стала часто встречаться с обоими приятелями для дружеской беседы; мужчины ведь всегда находили ее привлекательной, а они со своей стороны, сами того не зная, поднимали в ней бодрость духа и освежали ее. Она пробовала было завести речь о ранах на лице Антона Мосса, но он не шел на этот разговор, отстранял его — она могла бы испробовать на нем всевозможные лекарства — но он уклонялся.

День проходил за днем, приятели поддерживали в ней бодрость, это правда, но дни то все же шли, бежали, и их мало оставалось до того времени, которое должно было наступить. Она в беспомощности, не зная что делать, проводила время в обществе обоих пациентов в курительной комнате, слушая, как они ссорятся между собой и обвиняют один другого бог знает в чем. Они напрактиковались, они были невероятно дерзки по отношению друг к другу, и никогда фрекен не слыживала, чтобы люди хуже бранились в шутку. Да шутка ли была это?



Мосс мог без всякого стеснения прямо издеваться над Самоубийцей, что он все еще жив и ходит по земле.

— Вы, очевидно, просто не смеете покончить с этим,— говорил он.

— Подождите немножко, пока я это основательно обдумаю — отвечает Самоубийца.— Я попробую объяснить вам все сразу.

Фрекен д'Эспар сидит красная от смущения. Что же сейчас будет?

Мосс без стеснения продолжает:

— Дело в том, что вы еще не обнаружили собственной своей ни на что ненужности, совершенной непригодности вашего существования на земле.

Это видимо задело. Самоубийца сказал:

— Не верьте ему, фрекен, всё я не это еще обнаружил. Нет, кое-что другое. Я вдруг совершенно не стал представлять себе, почему я должен толкать самого себя на то, чтобы расстаться с жизнью.

— Нет,— говорит тоже фрекен. И она не понимает, как может Мосс быть таким грубым.

— Ну, вы не то что не хотите толкать себя. Вы не смеете.

Молчание.

Мосс продолжает задирать на ту же тему, изображая очень заманчивую и привлекательную картину:

— Если бы вы обделали это ночью, то утром проснулись бы на небе с арфой между колен.

Для фрекен д'Эспар загадка, что можно говорить все это. Из какого теста сделан Самоубийца, что не парирует этого! Он сидел себе, посмеиваясь, она находила, что он уж слишком терпелив.

Но это было только первое нападение, следующее было со стороны Самоубийцы. Бедняга Антон Мосс, он представлял слишком благоприятную почву для злобных выходов.

— Можно ли поверить, что у слепого человека может быть столько желчи? — говорит Самоубийца.

— Я не слепой,— протестует Мосс.

— Вы не можете читать.

— Как это не могу? — Мосс встает и хочет подойти к столу за газетой, чтобы доказать свое хорошее зрение, натывается на стул и опрокидывает его.

Самоубийца подхватывает стул, ставит его на место и говорит:

— В видах сохранения обстановки в целостности я рекомендовал бы вам выйти во двор.

— Бедный, он верно не видел стула,— вмешивается Фрекен.

— Да, но читать я вижу,— настаивает Мосс.— Это пустая болтовня!

— Смотрите, пожалуйста! — восклицает Самоубийца,— теперь вы сорвали эту ужасную тряпку у себя с пальца. Вот она лежит. Да садитесь вы, я вам подниму, вы же не видите. Вот, напяливайте ее опять на палец. Все-то вам надо сказать, вы точно маленький, мне тошно смотреть на вас. И носитесь вы с вашим пальцем, болтающимся на руке, точно это ваша возлюбленная. Отрежьте его ножницами.

— Ха-ха-ха! — говорит Мосс.

Очевидно, между этими двумя людьми сложные какие-то отношения. Казалось, что они схватываются, чтобы не упасть духом, эта манера выработалась точно по взаимному соглашению: у одного душевные страдания, у другого физическое заболевание — болезнь кожи, молодость обоих загублена.

Но как они бранились! Самоубийца высмеивал товарища за его вид, начиная с одежды:

— Ваша куртка стала на спине желтая с красным, так что нельзя сказать, чтобы она была когда-нибудь одного цвета. Вы должны были обнаружить это вашим зорким взглядом.

— Вы все только ворчите и ворчите,— отвечает Мосс,— вы так полны отвращения к жизни, ни что вам не по нраву. Нужно быть очень снисходительным к самому себе, чтобы вечно бранить остальных.

Самоубийца кровно оскорбляется:

— Да, мой милый, а на вас даже и смотреть опасно. Вы не находите этого, Фрекен?

Фрекен в ужасе:

— Но послушайте же, послушайте вы оба...

Самоубийца опять обращается к Мессу:

— Вы бы попробовали попудриться. Или вы, может быть, слишком религиозны для этого?

— Ха-ха-ха! — говорит Мосс.

Фрекен вынуждена тоже прибегнуть к улыбке, но в то же время она всплескивает руками и восклицает:

— Нет, Боже мой, что вы за сумасшедшие!

Они все продолжают и продолжают пикироваться — прервут на время и опять принимаются. Конечно, они

несчастные, они глубоко и жестоко сражены судьбой, шутка на их устах звучала не мягко, улыбка была не неподдельная. Нет сомнения, они поддерживали в себе желчность и грубость, чтобы не стонать, скалили зубы, чтобы не разрыдаться.

Своеобразно для обоих было то, что в то время, как Самоубийца часто вовлекал фрекен в разговор, непосредственно обращаясь к ней, Мосс никогда не позволял себе этой вольности. Он сидел и смотрел вниз, глубоко склонившись своим страшным лицом.

Но бывало, что они беседовали втроем, как будто ни с кем из них ничего не случилось, каждый из них как-то забывал на время свои невзгоды, спрашивал и отвечал без задней мысли. Эти минуты были не без значения для фрекен д'Эспар, и она ведь тоже изменилась, пережитое сделало ее более молчаливой, она начала думать серьезнее.

Как это все перевернулось! Вот, жил тут господин Флеминг, только что пользовавшийся всеобщим уважением — бриллиантовое кольцо, шелковое белье, граф, свободный человек — и вдруг в тюрьме! Сама она, Жюли д'Эспар, извлечена в одно мгновение из бедности, чтобы в ближайшем будущем рухнуть в гораздо худшую и более глубокую бездну! Что ей делать — ходить тут, как на углях, со своим дарственным письмом и своим богатством и в то же время терзаться тайным несчастьем, которое она едва смела поверить самой себе? Ее собственные затруднения были настолько серьезны, что она, благодаря этому, только от времени до времени думала о господине Флеминге, он уплывал от нее все дальше и дальше; она жалела его, желала ему счастья — чтобы он избежал наказания или имел настолько сил, чтобы перенести его, — но она уже не несла ему больше в дар верность и нежность. Тут не было ничего удивительного, она далеко не была человеком без сердца, но совершенно не расположена была к любви в это время. Самоубийца и его друг были для нее хорошим обществом.

Они сидели как-то и разговаривали о школе и преподавании, и фрекен упомянула о ректоре Оливере. Самоубийца сделал гримасу.

Антон Мосс сказал:

— У него были два славных молодца мальчугана.

— А сам-то он? — сказала она.

— Человек, которого изобрели люди, — сказал, вмешавшись Самоубийца.

И после всего этого почти только он один и говорил. Вот, был бы здесь лесопромышленник Бертельсен, он был так одержим стремлением присутствовать при каких-нибудь проявлениях тронувшегося человека; да, пусть бы он был тут, он услышал бы о том или другом, что есть на свете между небом и землей,— некоторые вещи, может быть, совершенно ясные, другие неожиданные и сомнительные,— обо всем понемножку, видел и безумие, и солидную основательность: ректор Оливер — человек с головой, набитой прочитанными им словарями, и из этого хаоса звучит беспомощное: где его кормилица, где его склянка с молоком? Сбившийся с толку человек, воображающий, что можно развиться в человека при помощи книг — ну, а откуда же возьмется характер, откуда возьмется личность? Чего только не переймет говорить попугай, чего не вычитает человек из книг! Но он останется только кастовым человеком, так же, как ректор Оливер принадлежит к касте филологов, он знает «языки» и ничего больше.

Это несколько задело фрекен лично, и она вставила, исходя из обыкновенной гимназической точки зрения:

— Но это не так плохо — языки; я бы очень хотела знать их несколько.

— Зачем? На что? — спросил он.

— Зачем? Да зачем языки учат? Вероятно, чтобы развить свой ум, чтобы следить за иностранной литературой, чтобы быть образованным человеком.

— Я не справляюсь и с тем, чтобы за своей литературой следить, — сказал он.

— Ну, наша литература! — ответила она по обыкновению.

Он вдруг начинает горячиться и становится неприятным, воинственным:

— Языки, иностранные книги — что за чепуха! У нас на норвежском языке есть миллион книг, через которые мы перескакиваем, чтобы добраться до «заграничных». Разве наши не так же хороши? А, может быть, они в некотором отношении и лучше, прежде всего потому, что лучше усваиваются! Ну, а что касается умственного развития, какое должно воследовать от изучения языков — взгляните вы на этого филолога, на этого ректора: обыкновенный тип, совершенно не отличный от большинства других — не хуже, нет, этого я вовсе не хочу сказать; но чем он лучше? Более он высокого полета, более тонкой мыслительной жизни, глубже в своих

знаниях, спокойнее при несчастиях, счастливее, глаза его более подобны звездам? А что от него можно ждать? Его внутренняя сущность наполнена хламом, словами, словами и словами.

Это было не в бровь, а в глаз!

Просто непостижимая вещь, нельзя судить по уважению к нему толпы. Люди смотрят на эту невероятную фигуру, голова у него битком набита словарями, он поставил свое идиотство на твердую почву, и люди кричат и аплодируют ему: попробуй разобраться в двух словарях, всего в парочке — смотрите, пожалуйста, браво, заплатим за это! И все это потому, что он может устроить лавочку, школу, он должен снабжать учеников, человеческих детей, своим хламом.

— Как же ваше мнение: не должно быть вовсе учителей языков? В школах не надо преподавать языки?

— Может быть, и не надо, может быть, вовсе не надо, что вы думаете? Сколько можно прибавить в то время, которое будет выиграно на «языках»! Жизнь так коротка, на попугайство нет времени у людей. Учиться языкам должны вовсе не вы и я, и все и каждый, а только люди особенно для этого подходящие и занимающиеся потом дальше — те, из которых вырабатываются специалисты, переводчики, толмачи, драгоманы. Из этого исключаются, конечно, великие гении языкознания, делающие открытия. Речь идет о нас, об автоматах, кивающих головами. Мы начали ведь сомневаться в производительности того, чтобы все и каждый учились играть на фортепиано, но мы все-таки не отрицаем, что музыка — это особенная милость божия. Верно?

— Но что же останется от школ, если оттуда изъяты будут языки?

— В этом вы правы: что останется от школы? Несколько никому не интересных хронологий, касающихся королей и войн, кое-какие выдумки с гимнастикой вместо полезной работы, шутовская игра в математику с двенадцатилетними детскими мозгами — это вот останется. Что такое школа? Школа — это каждодневное воспитание матери, каждодневное поучение отца; книжная школа, наборот, это нечто выдуманное, учреждение, намеренно усложняющее жизнь и принуждающее человека к напряженной работе с семилетнего возраста до могилы. Книга, печатное слово, для всех и каждого наполняет мир неудовлетворенностью и несчастиями, образованием по количественному признаку, цивилизацией.

— Разве не хорошо, что все люди в общем — да, я хочу сказать, все люди — смотрят снизу вверх на тех, кто чему-нибудь учился, и особенно на тех, кто учился много, на ученых?

— Вы думаете, не должно ли это заставить меня задуматься? О, нет. Мы смотрим снизу вверх на что придется, на лошадь, взявшую приз на бегах, на сегодняшнего короля лыжников — в обоих случаях мое уважение смешивается с состраданием к животному. Мы встаем и даем свой стул калеке, мы терпеливо слушаем, пока зайка выколотит из себя свои ничего не говорящие речи, мы открываем дверь даме, точно у нее самой нет рук.

Он смолк.

— Ну, что же еще? — спросила она.

— Я только так говорю это, ничего больше, — ответил он. — Жил однажды на свете флейтист, виртуоз, он кончил тем, что впал в такую тоску и пресыщение, что швырнул свои ноты под пюпитр и стал выдувать своей флейтой мыльные пузыри. И это я тоже просто только так говорю.

И он смолк окончательно. Молчали оба.

Мосс прервал это молчание:

— Вы в повышенном состоянии, — сказал он.

Самоубийца посмотрел на него, задумчиво прищурив глаза.

— Чрезвычайно захватывающе было слушать, порою казалось, точно все это стихи, — сказал Мосс.

Фрекен опять слегка улыбнулась, но так как казалось, что Самоубийца и теперь еще ничего не слышит, Мосс не стал несколько раз вызывать его на разговор, встал, посмотрел некоторое время в окошко и вышел из комнаты.

Остальные двое продолжали сидеть. Начинало смеркаться.

Произошла как будто какая-то перемена, когда они остались вдвоем. Дама, обладавшая свойством нравиться мужчинам, сидела, склонив голову на бок, и раздумывала о том, что он сказал, — имела во всяком случае такой вид, что раздумывает. Этот человек отнюдь не сумасшедший, и это уже кое-что. Из различных признаков и наблюдений она заключила тоже, что он не откажется себе в необходимом, он покупает, что ему нужно, — что такое могло быть с ним? Есть ли у него в городе какое-нибудь предприятие, или он живет на доходы с капитала? Но прежде всего, — что такое надломилось в нем? Она сама была в таком положении, что ей интересно было знать,

каким образом человек, пораженный несчастьем, мог отказать от мысли о самоубийстве.

Она снизошла до того, что попросила у него извинения за то, что изводила его своими глупыми замечаниями и прерывала его; она мало смыслит в серьезных вещах, она, правда, не хотела.

Нет, нет, нет, это он должен просить прощения! Помилуй бог, она смеется над ним!

— Я часто думала, отчего вы собственно здесь живете. Вы не больны, с вашим здоровьем ничего нет плохого, каникулы давно прошли. Простите, я это не из любопытства.

— У меня могут быть свои причины.

— Ну, конечно.

— А почему вы сами здесь?

Она наклонилась вдруг вперед на стуле, согнувшись всем телом:

— О боже, о боже,— да вы правы, я не должна была спрашивать.

— Да нет, нет, это ничего,— сказал он испуганно.— То есть я хочу сказать, мне не надо было спрашивать. Не беспокойтесь об этом.

— Я думала, собственно говоря,— я надеялась, что вы, такой деловой и такой сверху на все смотрящий, могли бы указать мне путь в одном вопросе. Я не могу это сказать. Вы уже раз помогли мне.

Он соображает, что она намекает на посещение ленсмана и на тот пакет с письмами, заключает, далее, что страдания ее — любовные страдания, и больше ничего.

— Мы в самом деле не должны терять мужества,— говорит он, желая ее утешить. Отнюдь не должны. Если судьба идет нам наперекор, нам надо только отойти в сторону.

— Да, но это так тяжело.

— Да, мы отходим в сторону более или менее вежливо, но отойти мы должны. В конце концов вопрос о том, стоит ли все того, чтобы принимать это так близко к сердцу. Для многих дело бывает еще поправимо.

— Для меня ничего нет поправимого, будет только все хуже и хуже.

— Ну, как так! — И чтобы подбодрить ее, он чувствует себя обязанным открыться ей немного: она должна увидеть на нем что-то иное, увидеть такую судьбу, которая уничтожает человека! Что такое, что некий граф уехал, и, может быть, еще, на короткое время, ну, и что он

запутался в каких-то денежных делах, неаккуратно заплатил по каким-нибудь там счетам! Разве недостаточно одного его имени, вероятно, вмешается его богатейшее семейство, и кредиторам придется постыдиться. О, у других много хуже.

— Вам тоже тяжело?

— О, да,— не то, чтобы хорошо.

И эта маленькая несчастная дама является причиной того, что Самоубийца растроган своим собственным несчастьем, своими бедствиями так, что у него губы начинают дрожать. Он делает такие намеки, которым никогда не позволил бы при других условиях сорваться со своих уст, ее участие размягчает его так, что ему трудно удержать слезы. Вот ведь чертовская девушка: поколебала твердость, с таким трудом выработанную им в обществе Мосса.

Было ли у фрекен д'Эспар со своей стороны какое-либо скрытое намерение в то время, как она тут сидела и слушала его? Бог ведает, но она была так подавлена, так беспомощна, что ей многое можно было простить.

Когда она спросила его, есть ли у него дом, жена и дети, поджидающие его и постоянно пишущие ему, он самым резким образом ответил отрицательно и спросил со своей стороны, откуда у нее взялось такое удивительное представление, что она имела в виду, как это могло прийти ей в голову?

Нет, она только так спросила, это глупо с ее стороны.

— Нет, я вовсе не хотел сказать, что это глупо,— возражает он,— вовсе нет.

Да, она должна же была понять, что если человек так надолго расположился здесь в горах, то, конечно не оставил там, откуда уехал, никого любимого.

— Послушайте, а что этому мешает? — горячо возразил он вдруг.— Что мы, люди, знаем друг о друге? Разве не могло быть, что оставлены и жена, и ребенок? — Он готов сказать, что именно это-то и может быть основанием, по которому иной бедняга бежит из дому.— Я, конечно не про себя говорю,— поспешил он добавить,— но о любом первом встречном. Я только устанавливаю этот факт.

Вышло все-таки так, что он становился с ней все более и более откровенным. Он ведь все время предпочитал говорить обо всех других, только не о себе, и ему казалось, что он хорошо замаскировался; и он стал развивать перед ней, каким образом может случиться, что мужчина сбежит из дому: с человеком — с любимым — может случиться, что сатана проникнет в дом и овладеет,



скажем так, замужней женщиной,— что за тем следует? Ребенок лежит забытый, весь дом забыт богом, жена неведомо когда возвращается домой. Не в том дело, чтобы ее порочить, у нее тоже могут быть свои оправдания — необузданная природа, например, непреодолимая влюбленность — подобные вещи приходится видеть; а ребенок лежит и может быть самым прелестным и привлекательным; если это маленькая девочка, то у нее, может быть, и волосики, и все,— это не что-нибудь такое из ряда вон выходящее. Ну, произойдет подобное раз, потом еще несколько раз, пройдет так зима, скажем, и вот муж больше не может выдержать и бежит. Видите вы, как это может быть. Бежит на пароходе в Австралию — не одии бежал из-за чего-нибудь подобного. Ну, и если человек не выдающийся и смирный, и неособенно шустрый, у него голова может кругом пойти, он может задуматься над тем, не разрешить ли дело своими руками и не положить ли конец страданиям? Может случиться, что это совершенно овладеет им в то время, как он едет в Австралию. Ну, надо купить пистолет! Пистолет? Он, может быть, давным-давно куплен, лежит, может быть, смазанный, вычищенный и заряженный, в своей кобуре. Почему он не пускает его в ход? Видите ли вы, фрекен, муж этот, может быть человеком — мы все люди — у него могут быть многие корни, удерживающие его на земле, он тоже может быть влюблен, несмотря ни на что, и может разрываться от ужаса, что ребенок погибнет, не должен ли он жить, чтобы спасти его? И вот он бродит и стонет...

Самоубийца, не желая раскрыть свои карты, добавил:

— Обо всем этом я слышал, сам я почти не могу представить себя в таком положении. Особенно, что касается ребенка — какое это может иметь значение! Я никогда не слышал, чтобы мужчина интересовался новорожденными девочками. И если бы у меня было подобное существо, еще мне надо было бы назвать его как-нибудь, дать ему какое-то имя! Нет, благодарю покорно! — говорит он вдруг с ненужной резкостью.

В дверях стоит Мосс.

Мосс утратил зрение, но у него есть слух и чуткость. Бедняга Самоубийца, он наверное давно уже томился по участию, и когда встретил его, то и растаял весь. Мосс не принял этого во внимание, он сказал:

— Простите, если я пришел и помешал вам хорошенько поплакать!

— Поплакать? — возразил Самоубийца и засмеялся. — У вас всегда острый взгляд на вещи! — Но Самоубийца видимо не был больше уверенно-спокоен, он мог ждать особого издевательства, когда останется один-на-один с товарищем, поэтому он сказал: — Если я теперь позвоню и увижу поставленный перед вами полный стакан, то посмотрим, что из этого выйдет. Смею предложить что-нибудь вам, фрекен?

— Нет, спасибо, тысячу раз спасибо.

Нет, фрекен д'Эспар в самом деле не расположена больше к разговору о чужих горестях, у нее своих достаточно. Она ушла опять к себе в комнату и прилегла на постель, почитала было книжку, но нет ей покоя, она мрачно размышляет, вздыхает, чувствует себя совсем плохо. Самоубийца тоже оказался не для нее, он занят, он женат, даже влюблен, счастливый человек! Она раздумывает о том, чтобы предпринять новое безнадежное путешествие в Христианию, не знаю сама зачем; но что делать здесь! Ей остается одно утешение в ее одиночестве: пакет с деньгами, хранящийся у нее на груди. Он делает то, что она подтягивается, что она может подняться, когда звонит обеденный колокол, и сойти вниз к столу, он помогает вечеру пройти, и наступает ночь.

Одна из горничных всегда помогает ей по утрам, застегивает ей блузу на спине: приходит и поспешно проделывает эту маленькую работу. Пальцы у нее холодные, она стягивает и одергивает блузу, точно знает что-то про фрекен: что она верно, стала много кушать, она полнеет. Это совершенная неправда, но девушка уже раза два как-то многозначительно говорила с улыбочкой:

— Возможное ли дело полнеть от сырого гороху и кекса с селедкой?

Дерзкая девчонка! Фрекен может ожидать от нее и большего и говорит заблаговременно:

— Ох, какие я худые сны вижу по ночам!

— Охотно верю этому, — отвечает девушка, — вы стонете и громко разговариваете.

— Это ничего не значит.

Горничная молчит.

— Когда видят худые сны, говорят так много вздору, называют иной раз имена, цифры, денежные суммы и всякую всячину. Но, знаете, это ровно ничего не значит.

Горничная молчит. Какие у нее намерения? Ждет она, чтобы ей заплатили за молчание?

После ухода горничной фрекен открыла окно и стала смотреть в него; шел снег, груды его росли на полях, лес становился, как напудренный, одна скала как раз у границы санатории становилась все ниже, точно погружалась сама в себя. Это была «Вышка». Но не везде было тихо в этом затерявшемся в снегу мире — в уплотнившемся воздухе раздавался треск, кто-то стрелял в полях, — сначала один выстрел, потому еще один, это верно Даниэль выше пострелять куропаток для санатории. Даниэль охотится, Даниэль здоровый, бодрый человек, справившийся со своими любовными бедами. Она вспомнила висящие у него на стене два ружья.

Фрекен спускается вниз — к другим гостям и к новому дню. Худо ей.

О, но наконец сегодня она напала на простую, на столько простую мысль, что было загадкой, как она не пришла ей в голову раньше; она поедет по помещенному в газетах объявлению, лежащему тут перед ее глазами, и устроится в тихом месте, у доброжелательной, опытной дамы в трех часах езды от столицы. Что же теперь останется — она выведена из всех своих затруднений, да, она совершенно спасена! У нее есть средства на эту поездку, и время есть еще впереди, над нею уже не каплет больше, она может поехать до или после рождества. Она совсем, совсем спасена и свободна!

После долгого периода мрака и отчаяния по ней пробегает теперь трепет радости, она опять молода, опять смеется.

Так в сторону перед судьбой? Какая глупая, какая извращенная теория! Она возьмет судьбу за шиворот и заставит ее склониться.

— Дайте мне трубочку вазелина, — попросила она у доктора.

— На что вам? — спросил он, чтобы пошутить. — Это опасная вещь.

И она отвечает ему тем же тоном:

— Я хочу его к блинам.

— Я это легко поверю, — отвечает он, — кушайте же вы копченую селедку с кексом.

— Да, а завтра я хочу, чтобы мне были томаты на березовых щепках.

Они весело хохочут оба над этой чертовской выдумкой. У доктора теперь немного дела днем, пациентов стало так мало, он рад побеседовать и говорит:

— Присядьте, фрекен!

— Мне некогда.— И она без всякого перехода спросила: — Что такое с лицом у Мосса?

— Мосс? Да, он скоро должен будет уехать.

— Но я спрашиваю, что у него за болезнь?

Доктор начинает рыться на столе в каких-то бумагах и отвечает:

— Атрофия кожи. Что, вы уже уходите? Что вы так интересуетесь? Мосс скоро уедет.

— Вы не можете разве его вылечить?

Фрекен д'Эспар идет наверх, к себе в комнату и берется за вазелин, намазывает им себе лицо и начинает массировать. Это просто срам, как она запустила свое лицо за последние недели, оно осунулось от перенесенных страданий и полно незнакомых ей маленьких морщинок. Вот так история! Это надо исправить; после поездки к доброжелательной даме, указанной в объявлении, она должна опять хорошо выглядеть, чтобы найти себе жениха. С этой минуты она деятельно примется за свое лицо и ежедневно будет работать над ним.

— Войдите!

Это опять горничная.

Фрекен удивленно смотрит на нее и говорит:

— Вы ведь уже застегнули меня?

— Да, но это потому, что я уезжаю,— заявила горничная.— Я не хотела говорить этого сегодня утром, но я здесь больше не останусь.

— Вот как!

— Я подумала, что если вы довольны моими услугами — и ведь вы знаете меня, что я никогда ничего не говорила про вас, и ни про кого другого...

С ума она сошла! Фрекен д'Эспар уже больше не в подавленном состоянии, она выпроваживает горничную, дрожа от негодования, и принимается опять за свой массаж. Вот что, значит, имела в виду эта девица сегодня утром со своими дерзостями, она хотела подчинить себе фрекен и вынудить ее на большую щедрость, за что это! Разве фрекен не вносила каждый месяц чаевые деньги в кассу служащих? Что только приходится переживать! О нет, нельзя позволить подавлять себя; единственное, что действует, это самоуверенность и независимость! Она позаботится теперь о том, чтобы предъявлять те или другие требования, может статься, что она выразит и недовольство тем или другим: едой и услугами тут в санатории, никуда не годной стиркой, за которую подавались весьма высокие счета, воздухом в гостиной, который стареющие вдовы-

чиновницы наполняли запахом своей бедности. Фрекен не намерена больше терпеть все это; она вовсе к этому не вынуждена, перед нею открылся светлый выход, она схватила теперь судьбу за шиворот и согнет ее, и ей станет хорошо, она расцветет, она будет жить в свое удовольствие. Кофе в постель? Больше того: кофе и первый завтрак в постель. Так делается в ее французских книжках. Она будет баловать себя, непременно, она обязана по отношению к самой себе сделать это после всего того, что она вынесла.

И в то же время она будет опять привлекательной и бодрой. Никакого сомнения нет — массаж помогает.

— Послушайте-ка, друзья,— говорит она Моссу и Самоубийце,— я такие хорошие сны видела в последнее время, я больше не хандрю; для всего есть выход, не правда ли?

— В самом деле? — удивленно сказали в ответ приятели.

— Для всего есть выходы. Знаете что, пойдемте кататься с горы в санях под снегом.

Мосс готов, Мосс при всей своей великой обезображенности готов, Самоубийца же встает довольно вяло и говорит:

— У нас будут мокрые сапоги.

— Ну так что же такого! Высушим их потом.

— И у нас нет порядочных саней.

Мосс отвечает, что есть, что оснащены маленькие сани как раз подходящего размера, за санями дело не станет.

— Да, а вы как раз цветущий спортсмен — любитель свежего воздуха! — ворчит Самоубийца, окидывая его сердитым взглядом.

Они одеваются и идут. Снег, наполняющий воздух, заволок все кругом, даже «Вышки» почти не видно.

Они все втроем втаскивают санки на верх горы, как можно выше, на самый верх, затем скатываются. Сани летят с неистовой быстротой, Самоубийца правит санями, дама сидит посередине, снег несется им навстречу из белого мрака и бьет их по лицам, они могут смотреть, только почти закрыв глаза — о боже, как чудно и как страшно!

Потом опять наверх; сани тяжелые, но их тащат трое. «К черту хандрю!» — говорит фрекен, от восторга выражаясь так грубо. Опять вниз, тот же полет, фрекен держится за Мосса, обняв его руками, защищенная им. Это безумие так вестись, так лететь, но так, так хорошо!

После нескольких путешествий вниз и вверх Самоубийца говорят:

— Довольно!

— Ну, почему же? — спрашивает фрекен.

— Я больше не могу. Вам-то хорошо! — Устал ли действительно Самоубийца, или он завидует сидящему впереди Моссу, которого обнимают? Все мы люди. — Я больше не могу! — повторяет он.

— Коротко и ясно, — признает Мосс. — По крайней мере, без хвастовства. Вы, значит, в изнеможении.

— Я прощаюсь с вами, Мосс, — с необычайной раздражительностью отвечает Самоубийца. — Раз я хочу идти домой, я иду. Я не нахожу в этом особого наслаждения. Прощайте!

Нечего было больше разговаривать. Самоубийца покинул их с фрекен, и Мосс остался один при санях. Он с большими усилиями потащил их кверху.

Вот они на вершине, и он спрашивает неуверенно:

— Вы будете править?

Нет, она не умеет править. Он в большой нерешимости.

— Вам слепота мешает? — спрашивает она тревожно.

Он выпрямляется:

— Слепота? Ничуть. Но только меня снег слепит.

— Я буду смотреть вперед и предупреждать вас, — успокаивает она его.

И они устремляются.

Но теперь, сидя впереди, фрекен не может раскрыть глаз против бьющего в них снега, а Мосс слишком слеп, чтобы видеть на расстоянии опасные места; они мчатся через препятствия, летят, как придется, посреди горы подскакивают в воздух, натываются затем на что-то в этом смертном беге, сани в каком-то месте трещат, и их выбрасывает.

Мосс поднимается, смахивает снег с глаз и оглядывается. Перед ним сломанные сани, фрекен лежит в стороне и не поднимается, не шевелится, что это может значить? Он осматривает ее, приподнимает ее, она опять падает. Она в крови, в крови нижняя часть лица и подбородок. Он окликает ее. Нет.

Он понес ее домой в саваторию, по дороге она пришла в себя и опомнилась. Она сама взойшла по лестнице, однако ее нужно было поддерживать. У нее рана, безобразная рана — у нее разбит наискось подбородок.

Доктор встревожился, испугался.

Таким образом доктору прибавилось немного дела, он зашил фрекен рану.

Он получил также ответ из госпиталя, что Мосс может приехать туда. Благодаря всему этому, доктор чувствовал себя необходимым в своих собственных глазах и в глазах других — у него были важные дела.

Он не был однако черствым человеком, он жалел Мосса и продержал его в санатории дольше, чем следовало. Хорошо это было, или худо — но доктор Эйен никого не удалял, он был добродушный человек, и ему было больно поступать резко и делать кого-нибудь несчастным. Кроме того, санатория весьма дорожила всеми пансионерами, какие только у нее были.

Доктор пошел к Моссу подготовить его:

— Ну, дорогой мой Мосс, у меня есть наконец для вас хорошие вести.

Покрытое ранами лицо Мосса побледнело и поникло:

— Ага! Ну, ну.

— Да, все устроено. Надо сказать, что мое последнее обращение к ним было очень настоятельно.

Было очевидно, что новость сразила Мосса, как удар; он сказал:

— Да, да, благодарю вас.

Но он глубоко упал духом.

— Это для вас самое лучшее, — сказал доктор, чтобы развеселить его: — вы будете там на всем готовом, в смысле пищи и питья, будете пользоваться самым лучшим врачебным надзором, товарищи у вас будут совершенно так же, как и здесь. А пройдет время, вы и опять здоровы будете, найдут какое-нибудь средство, какую-нибудь прививку, наука в наши дни идет вперед гигантскими шагами.

— Когда мне надо уезжать? — спросил несчастный.

— Когда соберетесь. Время не имеет значения, дорогой мой, вы только поправляйтесь хорошенько. И, как я говорю, наука делает чудеса в наши дни, изобретут прививку и возродят вас к жизни.

Мосс пошел к своему приятелю Самоубийце и сел у него, как будто ничего не случилось. Со времени несчастного приключения при катаньи с горы они ежедневно и ежечасно спорили и бранились, принялись за это дело и теперь, и замечательно — бой начал Мосс, точно у него была потребность в этом.

— Вы тогда промочили сапоги?

— Когда?

— На горе тогда.

— Молчите! — ответил Самоубийца.

— Вы должны признать, что это было предательство с вашей стороны бросить нас одних с санями.

— Я потому ушел, что вы нежничали — язвительно ответил Самоубийца. — Противно было смотреть.

— Ха-ха-ха! — сказал Мосс. — А вчера вы говорили, что я намеревался убить фрекен.

— А вы скажите на милость, как же на самом-то деле было? Она вернулась домой полумертвая, вы ее принесли. Она и сейчас лежит.

— Нет, уж она встала и скоро будет по-прежнему здорова, — утешает Мосс.

— Во всяком случае вы изуродовали ее на всю жизнь, у нее теперь этот красный шрам на лице. Не всем так безразлично, в каком виде у них лицо, как некоторым.

Мосс промолчал.

— И шрам-то не прямой, а кривой, безобразный, и все потому, что у вас не было глаз, чтобы смотреть вперед и управлять. Этакая глупая история.

Это была жалкая ребяческая болтовня, товарищи были какие-то вялые, Мосс не в состоянии был собраться сегодня с духом для самой легкой стычки и сказал только — просительно сказал:

— Гоните шибче, я сейчас же за вами следом.

Так протянулось слепополуденное время, а в эти короткие дни начинало уже смеркаться около четырех. Самоубийца потребовал обычного похода в горы. За время своих частых прогулок они протоптали в снегу дорожку, и теперь, когда подморозило, идти было хорошо.

Они шли гуськом, Самоубийца впереди, Мосс сзади с палкой; казалось, точно он ничего не видит. Склонявшийся к вечеру день был ясен, полный месяц лежал наверху на своем синем шелку, точно золотая монета в сто крон, но на западе было несколько облачно. «Переменяю» — стояло в качестве предсказания погоды: треугольник над четырехугольником.

Для Самоубийцы немудреное было дело взобраться на «Вышку», он натренировался, изо дня в день, без напряжения, постепенно упражняясь в ходьбе, сделался неутомим и начал становиться непозволительно здоровым. Он издевался над Моссом, нащупывавшим дорогу палкой и отстававшим.

— Что это вы сегодня в кожаной шапке? — сказал он.



Мосс объяснил, что купил меховую шапку у инспектора, чтобы ушам было тепло.

— А вам-то что до этого? — спросил он.

— Сколько вы за нее дали?

— Пустяки. Шестьдесят ёре. Для меня она достаточно хороша.

— Я бы в такой не стал ходить.

— Ну да, — ответил Мосс, — вы наверное хотите повеситься с голой головой, чтобы не было позорного убийства.

— И желчи же у вас, несмотря на то, что у вас пол-лица изъедено!

Мосс сильно отстает, и Самоубийца далеко уходит от него вперед, прежде чем замечает, что он один. Он видит, что Мосс щупает палкой, и кричит ему:

— Это пустяки, это только тот маленький провал, шагайте через него!

— Меня снег слепит, — отвечает Мосс. — Где вы?

Самоубийца вынужден вернуться назад и нетерпеливо восклицает:

— Что еще это за выдумки? Вы каждый день тут ходили через эту расселинку.

— Помогите мне немного, протяните мне руку.

— Терпеть не могу подавать вам руку, — отвечает Самоубийца, — уж примиритесь с этим. Вы весь в ранах со всех сторон. — И он с большой неохотой помогает Мосу перешагнуть через расселину.

— Не понимаю, — говорит Мосс, — предметы стали какие-то неопределенные, так неясно кругом меня. Это что, камень? — спросил он, стуча по нему палкой.

— Ну, понятно.

— И мне кажется, он серый. Все-таки я еще настолько вижу.

Самоубийца не может не понять, что дело очень плохо, он говорит:

— Очевидно ваша слепота довольно проблематична. Идем дальше!

Они карабкаются выше и выше. Но Самоубийца замечает, что его спутник не видит верного направления, то и дело сбивается с тропинки и падает, поднимается потом опять и ковыляет дальше.

— Удивительное дело, — говорит Мосс, — я отстал внизу, потому что как будто не видел ничего.

— А теперь лучше видите?

— Гораздо лучше, значительно лучше, это меня немного снег ослепил.— Но он продолжает часто падать и наконец сваливается вниз лицом.— Это я споткнулся о что-то,— оправдывается он тотчас же.— Конечно, я не так хорошо вижу, как раньше, нечего говорить. Это что за куст? Березка? Вот ведь я вижу.

— Вы хотите сказать, ольха.

— Ха-ха-ха! — говорит сконфуженно Мосс,— ну, да, я хотел сказать: ольха.

Они поднялись на «Вышку» до того места, до которого поднимались обыкновенно, и сели отдыхать, каждый на свой камень. По месяцу прошло облако.

— Я не понимаю, чего я хожу на эти прогулки,— заговорил Мосс.

— Вероятно, по той же причине, что и я,— ответил Самоубийца.— Для здоровья.

— Здоровье? Я достаточно здоров для того, что мне нужно.

— Говорят, наоборот, что ваше дело плохо, что у вас какая-то опасная болезнь.

Мосс ответил громким насмешливым хохотом и сказал:

— Вздор, докторская болтовня!

Он еще держался бодро, но прошло еще несколько минут, и он уже не мог больше так вызывающе смеяться. Самоубийца почувствовал что-то подозрительное в том, как он шарил вокруг, ища палку, поставленную им подле себя.

— Пойдемте-ка лучше домой,— сказал Самоубийца, вставая.

Мосс ответил, продолжая сидеть:

— Месяц-то как ярко светит!

Месяц в эту минуту был закрыт.

— Да, я еще это вижу. Идите вы вперед, я еще немножко подожду.

— Нет, тогда я тоже подожду.

Они посидели еще несколько времени, и Самоубийца сказал опять:

— Ну, идем теперь.

— Что вы хотите? — спросил Мосс.

— Чего я хочу? Домой идти, конечно.

— Слышите, идите вперед. Можно ли быть таким дураком, вы хорошо видите, что я не могу идти.

Самоубийца сказал, подумав:

— Ну ладно, я пойду. Но и вы тоже пойдете.

— У вас фантазия разыгралась больше, чем у меня, я это слышу,— ответил Мосс.

— Молчите, вы! — закричал Самоубийца, взяв его за плечо.— Мне нужно, чтобы вы были со мной, это для меня необходимо.

— Это вдохновение у вас не удержится, можете идти. Передо мной сейчас просто-на-просто черно все, как сажа.

— Вздор! — прервал его Самоубийца.— Я хочу сказать, что и передо мной сейчас темно, черно, как сажа.

— Этому я не верю.

— Не верите? Ну, я подробно докажу вам это в то время, как мы пойдем.

Он поднял товарища на ноги, взял его за рукав ульстера, и началось обратное странствие. Дело шло понемножку. Вот они опять внизу, у расщелины. Тут Мосс делает неверный шаг и проваливается. Довольно много времени уходит на то, чтобы вытащить его. После этого они садятся отдохнуть.

— Можете думать обо мне наихудшее и испытывать ко мне отвращение,— произносит Мосс,— но я прямо говорю: я не вижу. Вероятно, ночь сейчас.

— Нет, это значит, что вы, должно быть, ослепли,— сказал Самоубийца.

— Как раз то самое, что и я думаю,— согласился в свою очередь Мосс, кивая головой.— Обнаруживается, что я прав.

— Ну, уж, действительно, тут хвастать нечем,— заметил Самоубийца.

— Нет, именно,— ответил Мосс.— Я мыслил совершенно правильно, а это тоже нечто такое, чего нельзя отрицать. Что верно, то верно.

— Знает доктор, что с вами?

— Разумеется. Он уже давно сказал, что мне надо уехать. Он устроил мне место в госпитале.

— Давно? Отчего же вы не уехали?

Мосс молчит.

— Не понимаю, как это вы не уехали.

Мосс ответил с возрастающей горечью:

— Вы невероятно смешны. Почему вы сами не уезжаете? Вы чем больны? Вам самому надо в больницу, вы же душевнобольной.

— Вовсе нет.

— Нет, да. И какое вам дело до моей болезни, что вы все разнюхиваете?

— Я не сумасшедший,— это только состояние подавленности от душевных огорчений.

— Ха-ха-ха, повторите-ка еще раз! Как будто бы огорчения бывают телесные. Вы хотите вешаться, вам надо в больницу под присмотр. Разница между вами и мною та, что вам надо выдержать испытание для приема, а мне этого не надо. Вы еще должны доказать, что вы душевнобольной.

Молчание.

— Я устал тащить вас, но я должен доставить вас домой,— безжалостно говорит Самоубийца, поднимая за собой товарища. Они спускаются на ровное место и опять останавливаются. Мосс обтирает рукавом ульстера пот со лба, у него в высшей степени подавленный вид.— В последний раз тащу вас с собой, да будет это вам известно,— заявляет Самоубийца.

— Да, потому что я завтра уезжаю,— отвечает Мосс.

— Это хорошо!

И опять трогаются. И в то время, как они идут, Самоубийца вдруг спрашивает:

— Так завтра? Вы завтра уезжаете?

— Да, завтра.

— Очень уж что-то скоро. Но мне это все равно.

Мосс не ответил.

— А подумали вы в конце концов о том, что со мной будет? Нет, конечно.

— С вами? С вами все то же самое.

— Ну да, вот оно и видно, чего стоит ваша религия!

— Вы будете совершать тут каждый день прогулки пешком и доказывать вашу непригодность к жизни. Вы воображаете, что очень важно, что вы где-то находитесь, сидите и щурите глаза, и погружены в мрачные мысли, и не делаете ничего, ни худого, ни хорошего. Но нет же. Господи, боже мой, вы ничего полезного не создаете этим, ничего не предвозвещаете, ни общего блага никакого не достигаете: ни хлеба насущного для какого-нибудь воробья, ни рассказа о приключениях для ребенка.

— Молчите! Это вы повторяете только, что я говорил, и что вы наизусть выучили.

— Да, верно, вы говорили это обо мне.

— Что-то в вас есть мелкое и жалкое,— сказал Самоубийца.— Вы подбираете вещи, которые слышите, то, что выбрасывают другие. Поймаете какие-нибудь два слова и ходите потом и бурчите: самоубийство посрамляет убийство. Хорошо, что вы уезжаете, я давно уже устал

от вас. Я слышал о человеке, который захотел убить свою жену — в которую между прочим был влюблен при этом, но оставил это до другого раза. Ну, а потом он сам хотел застрелиться.

— И с тем сказке конец.

— Нет, там был ребенок. Я слышал, что у них был ребенок.

Приятели шли некоторое время молча. Потом Мосс сказал:

— Да, плохо жить на свете!

Этот маленький шаг навстречу покончил было с Самоубийцей, но он откашлялся, подтянулся, и сказал отстраняющим тоном:

— Что вы в этом смыслите? Молчите, пожалуйста, вы и говорить-то отчетливо не можете.

Они опять некоторое время помолчали. Мосс снова растянулся, так и что и лицо его было в снегу.

— Вы разве ничего больше не видите? — спросил Самоубийца.

— Немножко вижу. Но меня снег ослепил.

— Вы неизлечимы?

— Я? — звенящим звуком спросил Мосс и остановился.

И тут вдруг, как будто и его упорство изменило ему, он весь как-то перегнулся вперед, точно все тело его хотело ответить: да. В следующее мгновение он снова выпрямился и ответил:

— Вы, кажется, намерены не возвращаться домой сегодня вечером?

Когда они уже подходили к санатории, Мосс жалобно спросил:

— Далеко еще?

— Нет. Разве вы и огней не видите?

— Ну, конечно, вижу огни. Я так только спросил.

Самоубийца остановился и каким-то чужим голосом сказал:

— Если бы вы могли — я говорю только на тот случай, если вы можете — тогда...

— Что такое?

— Что такое? — коротко и сердито передразнил Самоубийца. — Сами могли бы сообразить! Я хочу только сказать, что я, с своей стороны, не знаю этого. Возможно, что это вам поможет, мне оно никогда не помогало — богу помолеться. Я вам не советую и не отговариваю вас.

— Богу помолеться? — растерянно спросил Мосс.

— Ну что? — набросился на него Самоубийца.— Или вы слишком велики для этого?

Мосс хорошо слышит, что случилось с бодростью его приятеля, слышит, что приятель близок к отчаянию. Мосс сам захвачен волнением и не может отвечать.

Самоубийца повторяет опять:

— Я слышал о некоторых людях, которые становились счастливее от этого. Которые спокойнее умерли.

— Заткните вы свою глотку! — простонал Мосс.

Теперь была очередь Самоубийцы прикрыть свою слабость и стать снова молодцом. Он хватается за первую приходящую ему в голову шутливую мысль: ему никогда не удавалось достичь, чтобы господь бог провел с ним несколько минут, нет. Он никогда не спускался к нему через слуховое окно на крыше.

Утром стало известно, что Мосс уезжает; слух об этом дошел даже до фрекен д'Эспар, и она прислала за ним — что ей могло быть от него нужно? Фрекен д'Эспар сама пострадала и изуродована, это так, но она от души сочувствует несчастному Моссу и хочет сделать для него все, что только может. Мосс, несомненно не ждущий добра, входит ощупью в комнату фрекен и, войдя, стоит там, чувствуя себя виновным в ее несчастье при катании с горы. При виде его у нее на глазах выступают слезы, эти месяцы до неузнаваемости изменили его лицо, она взяла его за руку и подвела к стулу. Нет, он решительно, ни в чем не виноват, как это он может думать такие глупости! Наоборот, она благодарит его за то время, которое они вместе провели тут в санатории, и прибавляет:

— Я часто думала о вас, мне так вас жаль, мне до такой степени вас жаль, что вы так страдаете. Но неужели же во всем свете нет ничего, что могло бы помочь вам, как вы думаете? Вы такой молодой и такой бодрый, вы еще преодолеете это.

— Я слышал, что ваше поранение очень тяжелое, — сказал в ответ Мосс.

— Нет, вовсе это рана не серьезная, посмотрите сами.

— Да, я вижу, подбородок разбит наискось. Да, это большое несчастье.

Фрекен, может быть, ничего не имела против того, что Мосс это сказал, и что он чувствовал себя отягощенным своей виной, но именно потому-то ей доставляло удовольствие утешать и ободрять его:

— Полно! Вам не надо думать ни о чем, кроме того, чтобы поправиться и быть опять бодрым и здоровым. Что

там об этом говорить! Маленький розовый шрам никакого мне вреда не делает! Вот что, послушайте, возьмите вот это! Положите в карман. Не благодарите, пожалуйста.

— Это что такое? — спросил Мосс. — Это деньги?

— Послушайте, это все равно, что ничего! — воскликнула она возбужденно. — Вы доставите мне этим радость.

— Благодарю вас, — сказал он, — мне деньги не нужны.

— Они могут пригодиться вам. Посмотрите же, их так немного.

— Но они не нужны мне, Фрекен.

— Я не понимаю вас, — говорит она разочарованно.

— Я в числе тех, кто попадает на казенное содержание, — мрачно пояснил Мосс. — Я получил место на казенном иждивении.

— Вот как? — спросила она наивно. — Что значит место? Должность какую-нибудь?

— Да, легкую должность. Я должен только ходить с трещоткой и кричать: «Нечисто, нечисто!»

Фрекен уставилась на него, совершенно сраженная, и прошептала:

— Неужели вы... — Она запнулась.

— Мосс кивнул утвердительно головой, поднялся и выбрался ошупью из комнаты...

Кому всех труднее было пережить отъезд Мосса, это, разумеется, Самоубийце. Он тоже попытался было сунуть тайком денег слепому в карман, а когда это не удалось, долго бранил его, осыпая множеством обвинений и бранных слов:

— Я не понимаю, что господь бог думал делать с таким человеком здесь на земле! И если я вас называю человеком, то это только для того, чтобы не заходить слишком далеко, но это совершенно не выражает моего действительного мнения.

— Надбавьте еще, — сказал Мосс.

— Нечего мне надбавлять, — ответил Самоубийца, но все же продолжал. Его точно прорвало, и он продолжал и продолжал говорить без удержу, так что охрип и перешел пределы возможного: — Я вам все время говорил: вы полны желчи, желчи и злобы, и упрямства. Я не удивлюсь, если окажется, что вы наслаждаетесь тем, что покидаете мир, которого не можете больше видеть, тогда как мы присуждены к тому, чтобы продолжать ходить тут среди красот природы. Это похоже на вас. Куда это вы теперь едете? Неизвестно, чего вы натворили, бог знает, может быть, вас везут прямо под арест.

— Вы хотите намекнуть на что-нибудь неблагоприятное относительно меня? — сурово спросил Мосс.

— Как вам угодно — все, что вам угодно.

— Ну, за такие вещи надо драться! — заявил Мосс, показывая сжатые кулаки, обмотанные тряпками.

— Это шутовская выходка! Я с вами больше ни слова не скажу. Из вас вышла бы хорошая большая обезьяна. Но только вы не должны думать, что я вас не понимаю, вы комичны и наивны, как младенец, и ваша ходульность искусственна. Что, вас убьют бы, если бы у вас был грош в кармане, когда вы уедете?

— У меня в кармане есть все, что мне нужно.

— Да, как же, и вы покупаете себе за шестьдесят ёре поношенную шапку с наушниками.

— Вы завидуете мне, что у меня есть теплая вещь, вот оно, в чем дело.

— Вздор! Ваше хладнокровие притворно, вы успокаиваете сами себя таким вздором, да, да; вы великий человек в ваших собственных глазах. Я буду лучше называть вас жалким человеком, вы полны тщеславия и суетности, вот вы что. Почему я это знаю? Потому, что вы так одичали и до такой степени подобны младенцу, что вы стоите здесь и хвалитесь своей дерзостью. Вы думаете, я вас не понимаю? Это все вместе — притворство и фанфаронство...

Почтальон, которому была пора ехать, позвал в окно, и Мосс пошел ощупью к выходу. Самоубийца помогал ему. В последнюю минуту Самоубийца протянул ему еще в последний раз руку, но Мосс, не выдавший этого, сказал еще только «прощайте» на воздух. О, он не нашел ничего лучше и сильнее, он сказал: «Прощайте, Магнус-Самоубийца!» Разве это было кстати? Нет. Самоубийца был положительно более находчив, он великолепно помог своей бранью приятелю в минуту расставанья.

На лестнице стояла заведующая и пожелала Моссу счастливого пути и скорого выздоровления. Доктор был у саней, он что-то говорил ему тихим голосом, помогая ему усесться, потом громко сказал на прощанье: — Будьте же бодры, Антониус, помните, что я сказал вам! — Да, благодарю, — ответил Мосс. — И, так как шел снег, то он, должно быть, смахнул с глаз маленькие снежинки.

И Мосс уехал, в кожаной ушастой шапке инспектора и в ульстере Самоубийцы, — уехал к месту своего погребения заживо. Неудивительно, что он так долго упирался против того, чтоб расстаться с Торахусом и с жизнью...

Все стало опять в некотором смысле в порядке.



Но вот фрекен д'Эспар.

Она опять здорова, она встала, да, она на ногах, она немного ест, немного спит и от времени до времени разговаривает с доктором. Но она далеко не в прекрасном настроении, шрам на подбородке не украшает ее. Она спросила доктора, как он думает, сгладится ли он со временем, и доктор ответил: о, да, он исчезнет. Между тем, фрекен массировала при помощи кончиков пальцев лицо вазелином.

Но в один прекрасный день...

Началось с того, что она проснулась, выспавшись, и, так как было воскресенье, оделась получше. День был ясный, после первого утреннего завтрака она бродила по протоптаным в снегу тропинкам, и щеки ее разрумянились, потом она читала газеты, потом пошла в свою комнату. Молодой девушке было как-то светло и отрадно, как давно не бывало.

Она спустилась к обеду вниз; так как было воскресенье, то и обед был несколько лучше обыкновенного — были куропатки и кисель. Гостей оставалось так мало, что все сидели за одним столом, доктор, в качестве хозяина, на верхнем конце, потом все вдовы пасторов и мелкие коммерсанты с дамами, и в самом конце заведующая.

Вдруг фрекен вскочила со своего стула.

— Что такое? — спросил доктор, и спросили гости. Ответа не было. — Что с вами, фрекен? — Нет. Доктор встал и хотел подойти к ней, но она пробежала мимо него и рванула дверь, спотыкаясь и прикрывая рот рукою.

— Зубы заболели, — сказал, улыбаясь, доктор, приглашая жестом гостей вернуться к куропаткам.

Фрекен д'Эспар примчалась к себе в комнату. У нее тряслись руки, она нашла у себя во рту дробинку и нашла зуб, увы, да, сломанный зуб, передний зуб, необходимое условие красоты — о боже! — она устремилась к зеркалу и увидела черную дыру, ужасную дыру. Она не представляла себе, что же она будет делать; но по мере того, как она пробовала перед зеркалом улыбаться различным образом и раскрывать рот для смеха, в ней поднялось безудержное бешенство, и она разразилась проклятиями. Ее маленькие руки скорчились наподобие птичьих когтей, и она хватала ими в воздухе. О, боже, господи, чего ей было еще ждать! Что проку теперь фрекен д'Эспар от массажа лица и от забот о розовом шраме на подбородке! Что осталось вообще от всего ее плана, от дамы из

объявления и видов потом на удачную партию? Все было разбито вдребезги.

Ведь она собиралась было взять судьбу за шиворот и согнуть по-своему! И не дьявольское ли это дело поражать ее раз за разом именно в лицо! С этой погубленной наружностью она лишилась теперь всяких надежд, что, что ей было делать? Когда она немного успокоилась, то опять как будто бы нашла некоторое утешение в толстом пакете с деньгами, покоившемся у нее на груди; это была некоторая поддержка: пока он у нее, она не будет ни голодной, ни бездомной. Осмотрев зуб у себя на ладони, она увидела, что он уже раньше был наполовину подточен, так что это было вопрос времени, и дробинка из ружья Даниэля подвернула тут вместо жесткой хлебной корки или мясной косточки. Когда ее истерическое иступление прошло, она обдуманно и сознательно стала пробовать, как ей впредь надо улыбаться и смеяться своим опустошенным ртом. Безотрадные попытки...

В течение дня она перебрала мысленно все возможности: съездить снова в Христианию, или ото всего отказаться, или поехать в Финляндию,— ничто не принесло ей успокоения, все благополучные выходы ускользали от нее, она оставалась во власти мрака и отчаяния. Она не спала всю ночь, но утро застало ее с замкнутым твердым выражением на лице. Планы, построенные ею, не были грандиозны. О, теперь ей нужен был не граф, не богатый человек, она приняла какое-то решение.

Она пошла в курительную комнату, собрала там несколько старых газет и, взяв их подмышку, отправилась в путь — в лес.

Было, может быть, не особенно разумно и правильно, что она собралась к Даниэлю на его горную ферму как раз теперь, когда нуждалась в том, чтобы пожаловаться на свое горе с зубом и на многие другие свои горести, но у нее было свое оправдание, и было, может быть, при том и, свое намерение. Это наверно было не хуже многого другого, что она могла бы выдумать. Даниэль был человек, многое понимавший, он кое-что выдывал в жизни, он лишился и отцовского двора, и своей возлюбленной, он знал цену и заботам, и крынкам с простоквашей, и мужественной бодрости духа. Сегодня понедельник, Даниэль наверно погружен в какую-нибудь работу.

Совершенно верно, она встретила Даниэля на полпути, у лесного сарайчика; ему нужно было опять доставлять домой сено, и так как установился санный путь, он вез

сено на саях. Это, может быть, к счастью, это прямо перст судьбы, что она встретила его уже здесь, на полпути.

Они поздоровались, радуясь по сбыкновенному своей встрече; так уж много времени прошло с последнего раза, фрекен точно сквозь землю провалилась.

Она взялась за газеты и протянула их ему,— может быть, стоит просмотреть их как-нибудь вечером, или нет?

Он благодарит и просто смеется от удовольствия. Читать для него самое лучшее занятие, он сам хотел выписать газету, но еще не собрался — сказал притворщик,— да, он ведь почти не умеет читать.

Он каждый день может получать газеты из санатории. Она с удовольствием будет приносить их. Когда они прочитаны гостями, их обыкновенно сжигают.

— Сжигают?

— Сжигают,— подтвердила она, кивнув головой.— Газеты на всех языках!

Он никогда не слышал ничего подобного! Но у них такие большие средства, там, в замке, они такие богатые.— Не то, что я,— сказал он,— кожу вот тут и сам себе служу лошадью.

— Да, да,— ответила она,— вам не так-то уж хорошо.

Ну, нет, жаловаться-то он не может. Лошадь приобрести ему ничего не стоит, у него есть кредит и доверие людей, он может пойти вниз в село и в тот же день получить лошадь.

Это великолепно!

Прямо в тот же день и час. Но он хочет подождать до весны.

— Это ваше большое достоинство, Даниэль, что у вас всегда такая бодрость духа.

— Дорогая фрекен, благослови вас бог,— воскликнул он, живо тронутый,— у меня есть руки, есть дом свой и хозяйство и скот, я продаю от времени до времени быка, стреляю зайцев и куропаток. К весне у меня будет лошадь, я тогда разделаю здесь болото и засею его.

Тут она воспользовалась удобным случаем, чтобы показать ему свой рот,— вот, одна из его дробинок сломала ей зуб, хорошее это дело? Как ему не стыдно!

Он поднял руки от ужаса и огорчения; но так как она относилась к этому так мило, не плакала и не укоряла его, он снова собрался с духом. Правду сказать, ведь это почти не заметно, в сущности это ничего не значит, она все так же красива и миловидна.

— Ах, боже мой, миловидна! А это вот посмотрите! Это я тоже недавно получила. Хорошенький шрам, не правда ли?

Она должна была рассказать все происшествие, случившееся тогда при катаньи с горы, и Даниэль сказал, покачив головой:

— Мне следовало править!

— Да, это было бы хорошо.

— Следующий раз вы только пришлите за мной, я сейчас же приду, и с санями.

Его решительный тон и бодрый разговор уже достигли того, что она стала улыбаться, и вид у нее стал утешенный; она взяла его доверчиво за руку и спросила:

— Правда, ужасный вид, когда я улыбаюсь?

— Почему? Из-за этой-то маленькой дырочки от зуба? Я готов об заклад биться, что и не заметил бы ее, если бы вы не сказали мне сами. И дырки-то никакой нет.

— Ха-ха-ха!

— А кроме того я уверен, что вас все так же сладко целовать,— позволил он вдруг себе вольность.

— Ах, вы! — сказала она и замахнулась на него.

Они сели в сарайчик, там светило солнце, и стояла целая стена пыли, закрывавшая их, как занавес. Все это точно нарочно было устроено и придумано. Когда он поцеловал ее, она слегка вскрикнула и сказала потом:

— Нет, какой вы противный!

— Словами бы этого не выразить! — ответил он.

Она встала и оглянулась на него. Если его хорошо вымыть, он будет красивый малый, его большой рот не безобразит его.

— Стряхните с меня теперь сено! — сказала она.

— За это я должен получить еще поцелуй.

Она поощряюще улыбнулась и ответила:

— Может быть, потом.

Но он не отряхивает ее, он ловит ее за руку и хочет опять привлечь ее назад к себе. Это не удастся, нет, он позволяет себе слишком много, она хочет дать еще пройти времени. Вот какой молодец, он уже весь пыл и пожар, его надо обуздать. Хотя ее наружность и пострадала так, она все же хочет рискнуть подорожиться и придержать его.

Она выходит из сарайчика и отряхает платье, и он, чтобы заслужить награду, выходит тоже за ней и очищает ее. Потом он вдруг перестает чистить.

— Нет, нет, вы не должны были делать этого! — восклицает она. — Смотрите, пожалуйста. Нет, вы не должны были этого делать! Я вам обещала поцелуй, но вы не должны были брать его, я хотела сама дать его вам.

— Так еще не поздно, чтобы вы дали мне его сами.

— Ну, вы уж очень жадный, извините, пожалуйста. Но я приду завтра с газетами. О, боже мой, у меня такая зубная боль, и так мне нехорошо, Даниэль.

— Да, зубная боль плохая вещь, — подтверждает он в свою очередь. — У Марты вечно болят зубы, она иногда из-за этого неделями ходит и ничего не говорит, я сам тоже никогда не мог привыкнуть к зубной боли.

— Да, а если бы у вас было все то худое, что у меня?

— О, черт возьми, всему другому помочь можно. Но когда зубы болят!

— Это худшее, что вы знаете?

— Да, самое скверное.

Она перечисляет другие беды — заботы, бессоницу, все, что приносит судьба. Это его не трогает. Как это он так устроен, разве он никогда не чувствовал себя несчастным? Да, год тому назад. Но самая жизнь, вся эта борьба, все мучения? Нет, он не понимал всех этих вне его лежащих вещей.

Он пробует опять увлечь ее в сарайчик, но она делает вид, что не замечает этого. Несомненно, он весь пылает, она видит это по нем, он смотрит на нее, не отрываясь, не мигающими глазами, она опускает глаза, и, когда снова поднимает их, его взгляд все еще неотрывно покоится на ней. Он знает в эту минуту только одно: что она сладка и нежного сложения, что она полна прелести, и тело ее покорно. Он заранее наслаждается ею, он разгорячен, как печь. Эта сила его желания — в сущности дополнительная сторона его недостатков.

Она отходит на несколько шагов, отдаляется от него с полубоязнью; в нем появилось что-то, напоминающее людоедов, у него такие хватательные движения, его ноздри расширяются и сжимаются, его белые зубы блестят, живот несколько приподнимается.

— Ну, мне надо идти, — говорит она.

— Нет! — протестует он. О, но это бесполезно, фрекен уже отошла на порядочное расстояние, и он видит, что она уходит всерьез. — Не уходите, не уходите! — кричит он.

Она машет ему рукой.

— Вы никогда больше не придете?

— Приду. Завтра приду. Я же обещала вам газеты...

Наступило следующее утро.

Может быть, опять-таки неправильно было идти снова в сарай, но она делала это сознательно. Зачем же она тогда испытывала себя так вчера? У фрекен д'Эспар нет выбора между многими возможными выходами.

И она пошла, и она тоже один из людей, живущих на земле, странник земной, маленькая девочка, заблудившаяся жизнь. Боже мой, затерявшееся семя. Она идет — нельзя сказать, чтобы подавленная, следит, чтобы не сойти с протоптанной тропинки и не захватить снега в сапоги. Сегодня опять, как и вчера, хорошая солнечная погода, газеты у нее под мышкой, она знает, что ее ждет в сарайчике, и идет туда. Некоторые называют это свободной волей.

При нем сегодня нет саней, может быть, это для того, чтобы не опустошать совсем сарай от сена, или что он еще такое придумал тут? Он несколько лучше одет и необыкновенно хорошо умыт.

Чтобы не рисковать, как вчера, и не потерпеть неудачи, он ведет себя осторожно, действует так мягко и такими далекими обходами, что в конце концов она, а не он, первая входит в сарайчик и садится. Но он тоже может войти, если будет себя вести хорошим мальчиком. О, да, он обязательно будет хорошим!

Они говорят о газетах, она показывает ему некоторые статьи, советуя их прочесть.

— О, да, это будет занятно,— отвечает он.

В самом деле, он хорошо владеет собой, она дала ему урок, настала уже минута, когда она шепчет, что пора ей домой, а он все еще не обнимает ее. Он, конечно, сам не свой, он слишком много болтает и растабарывает, фанфаронит и отпускает шуточки; вдруг она прерывает все это и произносит прерывисто:

— Мне было жаль вас вчера — когда я ушла от вас. Я теперь сделаю,— о чем вы меня просили.

— Поцелуете?

— Да, вы хотели этого от меня? Мне было жаль вас...

Потом все напряжение угасло, она сжалась в комочек и плакала. Она не могла перенести этого, нет, маленькая девочка столько недель мучилась своим тайным несчастьем, силы оставили ее, она изливалась в рыданиях, она поднялась на ноги и прислонилась, вся дрожа, к стене сарая.

Он испуган, он не понимает этого, у него нет никакого понятия об истерии, и он спрашивает, что с ней. Он ласково похлопывает ее.

— Ну, ну, что же вы так плачете?

— Вот, стою тут и плачу! — прорыдала она. Это кончилось наполовину смехом, смехом сквозь слезы.

Он опять увлек ее на сено, и они так долго сидели и ворковали, что его неистовство опять проснулось в нем, и она опять ему уступила.

Этакий человек, он сидел и говорил о ней, так и распространялся о ней: «что она за сокровище, ах боже, прямо ни с чем не сравнимое!» Он правду сказать, немного осторожен в таких делах, но нечто подобное ей!

— Не можете вы молчать! — вскричала она, закрыв лицо руками.

Нет, он не замолчал; это неожиданное приключение с городской барышней, с воспитанной тонкой особой привело в совершенный беспорядок его голову, он не мог удержать своего языка и продолжал хвастливо восхвалять ее. Он был тоже очень доволен собой, переполнен гордостью.

— Вы не понимаете, что это может кончиться очень плохо? — спросила она.

Плохо? Да, разумеется, но нет, она не должна об этом думать. Зачем непременно должно выйти плохо?

— Последствия! — сказала она, как бы подавленная страхом, — последствия!

Он полон легкомыслия и не хочет останавливаться на этом как следует:

— Будьте вы милая и добрая и не беспокойтесь! — утешает он. — Уверяю вас, нет никакой причины для этого. Избави боже, чтобы с вами что-нибудь случилось! Тут и мои сильные руки не помогут. Но я одно только вам скажу, мы с вами все равно, что пушинки, которые летают в воздухе и предназначены друг для друга. С этим ничего не поделаешь. Мне моего двора не надо, если с вами из-за меня какой-нибудь вред случится, так, что вы не должны ни о чем грустить и раздумывать, я вас прошу.

Глупости и бессвязная болтовня. Она и сама, пожалуй, не хотела говорить об этом, но считала разумным упомянуть об этом теперь же, установить это, чтобы потом это не явилось неожиданностью. Она опять была очень озабочена. Но его распушенная болтовня заключала в себе все-таки кое-что утешительное, его дружелюбие нужно фрекен, его светлое настроение действует оздоравливающе, плечи у него славные и широкие. Он несомненно мог взять

ее на руки, как ребенка, и снести ее к себе на гору. Во всяком случае он был поддержкой.

— Да, хорошо, я буду спокойна, раз вы так говорите! — заявила она.— Если вы готовы помочь мне...

— Я то? Да я все сделаю, что вы хотите, положитесь на это! Ничего с вами худого не случится, на то я тут буду.

— Да, вы должны это сделать, Даниэль, у меня ведь никого нет, кроме вас.

— Слушайте, вот что. Вы всегда должны за мной приходить, а не за кем-нибудь там другим, если захотите с горы кататься, или что бы там ни было.

Нет, ничего не выходило, он думал, если так можно сказать, без всяких мыслей. Она прекратила на сегодня этот разговор и стала прощаться. Пока она может дать себе отдохнуть, она сделала много шагов вперед по намеченному пути, теперь она будет спать — есть и спать. Что произошло? Совершенно счастливо удалось полнейшее завоевание. Через неделю или две можно будет вновь забить тревогу!

Она пошла домой с большей легкостью на душе, чем когда шла сюда, освобожденная от гнета, который так долго лежал у нее на груди. Маленькая девочка потерпела жизненное поражение, но она сделала лучшее, что только сумела, размыслила, выработала план, наметила все, вмешалась сама в ход своей судьбы. То, чего она достигнет таким приемом, не будет незаслуженно...

День проходил за днем, ей было хорошо от того спокойствия, которое она сама создала себе, у нее опять улучшился цвет лица, по вечерам, прежде, чем заснуть, она лежала, смотря в темноту, и душа ее пребывала в светлом покое. Даниэль совершенно не замечал обезображенности ее лица, об этой стороне своего положения она могла вовсе не думать, казалось, что каждый раз, что он видел ее, он становился все более пленен и заморожен тем, что оставалось от Жюли д'Эспар. Да в конце концов, она вовсе и не была развалиной, отнюдь нет, ее тело было по-прежнему безупречно, а несчастный этот передний зуб можно будет вставить на штифте, стольким приходится это делать...

В санаторию ждали адвоката Руппрехта. Инспектор и заведующая хотели немного подготовиться к этому, навести чистоту и красоту и внутри, и снаружи, и прежде всего раздобыть продовольствия — чего-нибудь свежего для еды: был опять заговор с Самоубийцей во главе; все начали снова ворчать на консервы.



Заведующая потребовала рыбы, свежих форелей. Инспектор не был рыбаком, он был старый матрос, и при том инспектор — начальствующее лицо; он обратился за этим делом к Даниэлю. Даниэль пробил во льду прорубь и целыми днями стоял теперь и ловил рыбу, и здесь-то застала его фрекен, когда пришла со своими зловещими новостями: увы, беда случилась, она в этом уверена, да, она с первого мгновения была уверена, что это будет. Помнит он? Она тогда же говорила.

Что мог ответить Даниэль? — Гм. Да. Так.

Каждый раз, когда Даниэль вытягивал лесу, с нее стекала вода, превращавшаяся в лед, и за эти дни края проруби обледенели от этой воды, стали скользкими и опасными. Он попросил ее не подходить близко.

— О, боже, что в том! — сказала она. — Лучше всего было бы, чтобы ты взял меня и спустил сразу в прорубь!

Он отложил свои рыболовные снасти, поднялся к ней наверх, поднял ее на руки и посадил в стороне от проруби. В то же время он поцеловал ее так, что она осталась довольна.

— Бог тебя благослови! — прошептала она, улыбаясь сквозь слезы, и обняла его.

Он сам был счастлив, что нашел прием, который принес ему такое душевное облегчение, и самоуверенно сказал:

— Вот так мы это и обделаем!

— Да вот ты так говоришь! Но что же я буду делать!

— Не плачь, не плачь! Мы все это устроим!

— Да, спасибо! Я так рада, что ты мне поможешь!

— Помогу? Я же сказал: приходи ко мне! Мы уж сумеем вдвоем найти выход. Я вот тут на льду изо дня в день зарабатываю деньги, и не такие маленькие деньги.

— Деньги? — сказала она, — денег и у меня есть немного.

Он несколько удивился. А, да, он ведь их видел, видел у нее несколько недель тому назад толстый пакет с деньгами, и теперь отдал себе отчет, что узнал его, ощутил его у своей груди, когда она была у него в объятиях.

— Ну, так в чем же дело? — сказал он громко.

— Ну да. Ни в чем, — покорно подтвердила она.

— Береги свое здоровье! — крикнул он ей вслед, когда она пошла. — Не набирай снегу в сапоги.

Очень вышло хорошо, Даниэль молодец, точь-в-точь, как благородные французы у нее в книжках, monsieur без пятнышка и без всякого недостатка, даже его беззаботность была ей приятна. Она часто приходила к нему на лед

побеседовать, иногда находила его около новой проруби, которые ему все приходилось делать, в конце концов он перебрался в самое верхнее горное озеро и ловил там. Он не гнался при этом за особенно большим уловом; для Даниэля, привыкшего удовлетворяться немногим, довольно было его дневного заработка. Его хорошее настроение не изменяло ему. Будет тут и на кофе для Марты,— говорил он,— это хороший заработок для зимнего времени. Фрекен спросила, сколько он получает за каждую рыбу, но он не мог этого сказать, это было неодинаково, в зависимости от величины и от веса. Каждая рыба приносила во всяком случае достаточно на кофе и на сахар, и сверх того он немного откладывал. При этом он хвалился шутливо: ему нужно выдумать расходы, чтобы как-нибудь ими покрывать доходы, а не наоборот.

В эти дни дамское население санатории как будто что-то замышляло; они часто собирались в кружок и обсуждали что-то, одна из дам сидела с карандашом в руках и записывала что-то на бумаге. Каждый раз, когда появлялась фрекен д'Эспар, они смолкали.

Это было безразлично фрекен Жюли д'Эспар, о, это совершенно не касалось ее, она могла делать вид, что вовсе не замечает этой компании. Но с течением времени ей наскучило быть вне общения с людьми, она попыталась пойти на сближение, предлагала, не хочет ли кто-нибудь взять у нее почитать французские книжки, но ничего не достигла этим. Ей становилось скучно, ей становилось одиноко, человек так же, как и ворона, не выносит одиночества. У нее был Даниэль на льду, но до него был длинный и холодный путь, до верхнего озера. Самоубийца стал менее общительным со времени отъезда своего приятеля; несчастный Самоубийца снова стал тосковать и прекратил свое лазанье по горам. Он никогда больше не прикасался также к шарам кегельбана.

Таким образом, для фрекен приезд адвоката был действительным оживлением. Он был такой обходительный и доброжелательный, такой услужливый, и так как фрекен была единственным человеком из первой группы приезжих, то он был особенно к ней внимателен, к досаде и зависти остальных.

Адвокат мог немного рассказать о господине Флеминге, и кое-что из его сообщений было ново для фрекен: его задержали еще в Христиании; в виду его больных легких, он сразу был помещен в больницу и мог поправляться там, пока не будет решен вопрос об его выдаче. При этом

он сам оплачивал свои расходы и держал себя во всех отношениях воспитанным и благородным человеком. Интересно было то, что со стороны финских властей как будто не особенно серьезно собирались преследовать похитителя, совершившего подлог; они сами просили, чтобы пациенту было предоставлено хорошее лечение и хороший уход.— Бог знает, кто он такой в конце концов, и что он сделал худого: — сказал адвокат.— Может быть, и ничего, может быть, это только одно недоразумение, которое выяснится. Мы с вами, фрекен не знаем этого.

— Нет.

— Нет. Что мы можем знать о гостях, посещающих санаторию? Мы их не подвергаем допросу, мы принимаем их за тех, за кого они выдают себя. Их, как ветром, приносит сюда и с востока, и с запада, отсюда они опять уезжают, большинство уехавших больше никогда к нам не возвращается, жизнь смыкается над ними для нас. Они приезжают сюда, чтобы побыть в санатории, и уезжают; пребывание здесь не является частью их жизненного пути, мы предоставляем им отдых и развлечение, некоторым спасаем здоровье и жизнь, но они проводят здесь только ограниченное время. Может быть, нам случалось давать тут приют искателям приключений — так что из того? Мы не полиция. Иногда до нас доходит какой-нибудь слух, или какое-нибудь газетное сообщение заставляет нас вспомнить о том или другом лице, побывавшем здесь у нас. Помните вы принцессу?

— Да.

— Английскую-то миледи? Так вот, шепчут о том, что она вовсе не леди и не принцесса. По-видимому, ее разоблачили. Это нас не касается. Она провела здесь некоторое время с переводчиком и камеристкой, она не принесла нашему учреждению никакого вреда, по счету нам за нее было заплачено. Что в действительности заплатила за нее фру Рубен, это ее дело, а не наше. Если фру Рубен заплатила, значит, она знала, почему это делает. Кстати, фру Рубен очень похудела.

— Я слышала об этом.

— Очень похудела, стала гораздо подвижнее, гораздо красивее; на нее приятно смотреть. Меня не удивит, если это результат ее пребывания здесь, в Торахусе. Я сам точно вновь рождаюсь, когда приезжаю сюда. Не правда ли, вы тоже находите, что здесь здорово жить?

— О, да.

— Хотя вы, собственно, не похудели, я не могу этого сказать, скорее пополнили немного.

Фрекен д'Эспар ярко покраснела:

— Я как была, так и осталась.

— Но немножко, может быть, пополнила, чуть-чуть только, конечно. И оно именно так и должно быть: похудание для жирных и прибавка веса и полноты для худощавых. Это наверное от здешней воды, ее положительно надо дать анализировать. Ох, мне так много надо бы тут сделать! Вот флаг, например. Подумайте, мы все время живем без флага, я совсем забыл об этом в свое время. У нас два флагштока, один на крыше, а другой на лугу, но флага нет. Но к рождеству флаги будут обязательно. Кстати, я пригласил на рождество ректора Оливера. Вы ведь в хороших отношениях с ректором Оливером?

— Да.

— Я пригласил его провести здесь рождество. Я им дорожу, он известный в стране человек, большое имя. Когда он осенью вернулся домой, то с большой похвалой написал о нас и о нашей работе здесь на общее благо, называя санаторию целебным приютом в горах. Это было напечатано в одном местном листке, но теперь я хотел бы, чтобы он написал в какой-нибудь большой газете, я думаю, это и ему самому доставит больше удовлетворения.

— Нас тут несколько времени назад ленсман посетил, — сказала фрекен. — Приходил нас допрашивать.

— Да, о господине Флеминге. Меня потом об этом уведомили, жаль, что меня тут не было, и я не мог помешать этому. Надеюсь, он вел себя прилично? Того бы еще не хватало! Я, в общем, еще проберу ленсмана, я требую, чтобы нашим гостям был покой.

— Вы упомянули о господине Флеминге — что он, не умер, жив еще?

— Надеюсь, — ответил адвокат, неизменно доброжелательный и снисходительный по отношению ко всем, в том числе и к отсутствующему поддельвателю. — Я ничего не слышал, но надеюсь, что господин Флеминг получил пользу от пребывания здесь, и что ему лучше. Господин Флеминг был в высшей степени любезный и располагающий молодой человек, аристократичный и воспитанный, с примерными манерами; если он опять приедет, санатория Торахус открыта для него. В общем, мы были все время счастливы в смысле пансионеров, все хорошие люди, которых очень приятно было бы опять видеть здесь. Что касается

принцессы, то она была для нас не плохой рекламой; если ей случится вернуться, мы и ей скажем — милости просим. Как она себя держит, какой air! Не знаю, имеет ли это для вас значение, но про себя должен сказать, что это на меня действует, говорите, что я глуп, если хотите!

— Для меня это тоже имеет значение, — сказала фрекен д'Эспар.

— Понятно. Ведь вы француженка. Да, принцесса была-таки хороша. Она разговаривала с доктором и со мной, и со всеми так, как будто мы были ее служащими. Оно не вредно получить небольшой lesson, как себя держать с принцессой. Доктор Эйен спрашивал, не надо ли ему надевать перчатки, когда он идет к ней с докторским визитом, но мне казалось, что это преувеличение, ему могло понадобиться пощупать ей пульс, и тогда перчатки были бы некстати. Не надо держать себя лакеями, надо иметь чувство собственного достоинства. Но мне и сейчас досадно, что у нас не было флага, когда она была здесь.

Надо признаться, адвокат Рупп्रेхт обнаруживал иногда довольно младенческие свойства, он заразился в своей среде всякими пустяками, некоторым снобизмом, наивной утонченностью; но достоинства его значили гораздо больше и были очень ценны: его доброжелательство, его услужливость, его замечательные способности, как хозяина. Он не был лишен природного такта и сделал поэтому вид, что совершенно не заметил изуродованного лица фрекен д'Эспар. Когда она под конец сама обратила его внимание на это, адвокат Рупп्रेхт нагнулся вперед, чтобы лучше видеть, и сказал:

— Теперь, когда вы сказали...

— О, — воскликнула она, смеясь, — вы чересчур деликатны.

— Да, когда вы сказали. Я не так уже хорошо вижу, как раньше, но когда вы показали, я, конечно, вижу. Ну, это ничего не значащая царапина, прямо без всякого значения, вы только выиграете от этого, если будете налеплять на нее мушку.

— Да, — сказала она, улыбаясь, — придется уж, конечно, прибегать к мушкам.

— Маленький рубчик, который несколько вас не портит. Как это вы его получили?

Услышав весь рассказ о том, что произошло при катании с горы, он тотчас же пустился в рассуждения о том, как предупредить возможность повторения чего-нибудь подобного. В течение лета гора будет очищена от камней и

пней, а к рождеству он велит наносить на нее побольше снега и поставить забор по обе стороны ската; да, все это будет сделано. Теперь уже недолго до рождества,— сказал он.— Вы ведь останетесь здесь, фрекен?

— Я думаю.

— Но я надеюсь, что да! Вы одна из самых дорогих наших пансионеров. Я сам тоже приеду сюда, многие приедут, я со многими говорил. Мы очистим также от снега первое озеро и устроим хороший каток для приезжих. Я рассчитываю, что пребывание тут будет для них праздником. В общем, мы должны сделать из Торахуса что-нибудь значительное и из ряда вон выходящее; пока я управляю этим учреждением, мы не будем жалеть трудов. Следующее, что мы сделаем, это электрическое освещение. Это будет. К весне мы отделаем все наши еще не готовые комнаты и доставим сюда мебель. Вы думаете, это будет конец? Нет, тогда мы будем строиться. Ясно уже, что санатория мала, нам надо расширяться. Нам предстоит создать здесь целый маленький мирок.

## ГЛАВА X

---

Самоубийца получил большую посылку — то Антон Мосс вернул ему ульстер. Тут же было получено и письмо, в котором было сказано, что смело можно пользоваться ульстером: он был дезинфицирован. Большое спасибо за одолжение.

Письмо это, конечно, писал не лично Мосс, но он, несомненно, диктовал его, можно было узнать его выражения; письмо было замечательное, насмешливое, в нем советовалось Самоубийце или вторично жениться, или стал миссионером.

— Он с ума сошел,— сказал Самоубийца.

Глубоко оскорблен был Самоубийца сарказмами своего старого приятеля; они вызвали с его стороны точь-в-точь такие же выражения и возражения, как в то время, когда они вечно спорили друг с другом.

Он пристал к фрекен д'Эспар и просил ее выслушать, как он ответит по пунктам на это бесстыжее письмо. Это не шутка, что получит в ответ этот слепец, этот труп, и она на самом деле напишет это, сказал Самоубийца, буквально так и напишет, сказал он, это он сделает, ей-богу, сделает, пошлет этому псу письмо, какого он заслуживает, не даст он ему последнего слова. Фрекен

д'Эспар умоляла его, чтобы он по возможности, смягчил то или другое выражение; но тот и слушать не хотел и находил для этого слепого козла, для этой бубонной чумы все новые, меткие эпитеты и при этом горько смеялся. Действительно, Самоубийца дня два сидел и писал, и, когда наконец закончил прекрасный черновик, чувство оскорбления было еще так сильно в нем, что он с досады опять ушел в горы. Кажется, больше всего задела его фраза о том, что он должен «вторично жениться». «Откуда знает этот неотесанный болван, женат я, или нет?» — кричал он. — «Ведь я ни слова не говорил ему об этом!»

— Не прогуляетесь ли вы немножко, фрекен? Если вы ничего не имеете против, я провожу вас, мне нужно взобраться на «Вышку».

Фрекен как раз нужно было пройти к Даниэлю, который ушел там рыбу. На несколько дней она прекратила было свои посещения, чтобы не являться к нему слишком часто; но так как дамы в санатории стали еще более избегать ее, ей пришлось опять странствовать по льду.

О, эти бессовестные дамы! Как-то случилось у них работа, какое-то вышивание разноцветными шелками по зеленому сукну. Фрекен д'Эспар увидела это нечаянно в комнате у одной из дам: там стояла горничная и при открытой двери раскладывала весь материал и восхищалась им. Острые глаза фрекен д'Эспар одним взглядом охватили все: все было разложено на скатерти, а дама, которая записывала, отмечала: столько-то за зеленое сукно, столько-то за шелк, за сатин на подкладку, за бахрому. Вот почему они в последнее время сидели поочереды в комнатах друг у друга и шили, и пили по этому случаю кофе, и читали вслух, только и слышалось: ж... ж... ж...

И здесь фрекен д'Эспар была женщиной, у которой такие мелочи могли вызвать только улыбку: так вот то большое удовольствие, в котором дамы не позволяли ей принимать участие, не потому, что фрекен д'Эспар не умела вышивать, она, правда, иголки в руках держать не умела, этому она, действительно не училась, она училась другому: уменью писать на машинке, французскому, она была умственно развита. Но в этих условиях, в этом набранном с бору да с сосенки обществе, у нее не было применения для ее талантов; здесь женское рукоделие выше ценилось, чем она привыкла, — она была современная женщина.

С отъездом адвоката у фрекен д'Эспар только и осталось, что развлекаться в обществе Даниэля, и в это

время оно больше всего интересовало ее. Что же из этого вышло? Куда идти? Ни прямого вопроса, ни ответа, никакого решения. Хотела она выйти замуж за него? Почему она знала? — Конечно, таково было ее намерение, что же другое связывало их? Она не была совершенно равнодушна к нему, со временем она могла и полюбить его, у него были привлекательные черты характера, и он был недурен собою. И, кроме того, разве у нее был какой-нибудь выбор? Для нее хорош был и владелец сэтера!

Фрекен миновала первое озеро, где, как раз работали мужчины из санатории и рабочие из села: они убирали снег и складывали его огромным кольцом вокруг всего озера — устраивали каток. Рабочие были, впрочем, немного невоспитанны; то была большей частью молодежь; они, пока она шла мимо, шущукаясь и, посмеиваясь, продолжали свою работу. Это было не особенно приятно, но когда она пришла к Даниэлю, она была спасена: он все тот же, все тот же защитник. Когда он услышал про нахальство сельских парней, он моментально хотел бросить рыбную ловлю и побежать к ним.

— Это все каналы, сбежавшиеся в село, — сказал он, — я их хорошенько обругаю. Значит, ты не хочешь, чтобы я поговорил с ними? Ну, хорошо. Я попрошу Гельмера, чтобы он это сделал.

— Гельмер? Кто это?

Гельмер все время его детства был его соседом, милейший парень, лучший друг его. Посмеиваясь, рассказал Даниэль, как тот однажды удержал его от того, чтобы поджечь дом: да, да, это было года два тому назад, когда его так постыдно надули и она вышла замуж за другого, за писаря ленсмана. Тогда у него помутилось в голове, он хотел сделать что-нибудь в отместку, спалить ее. И, если бы тогда не было Гельмера, то бог знает, что случилось бы.

— Неужели ты мог бы сделать это? — спросила фрекен.

— Да, — сказал Даниэль. Может быть, то было больше хвастовство, но он сказал: «да». И спросил: — Вспомни-ка, что она сделала, чего она меня дурачила? Разве у нас не было бы такой судьбы, как у нее? Но теперь мне все равно, — сказал Даниэль, кивнув головою, — мне до нее дела больше нет.

Об этом был у них целый разговор, он развивал эту тему в наполовину насмешливых, наполовину серьезных выражениях, и фрекен поняла, таким образом, словно в его словах был двойной смысл, что отныне он думал только



о ней, и больше ни о ком. Хорошо. Она вдруг, ни с того, ни с сего спросила его, чтобы он сделал, если бы она упала в прорубь. Он сейчас же бросил рыболовную снасть, схватил ее на руки и унес, крепко целуя, от проруби. Да, он действительно был настоящий мужчина, она спокойно отдыхала на его груди, широкой, как дверь.

— Но, Даниэль,— полужалобно, полушутливо сказала она,— если ты немножко любишь меня, ты, пожалуй, посватаешься теперь ко мне?

— Что?..

Когда она заметила его удивление, она быстро переменила тактику, боясь, что все испортила.

— Ха-ха-ха,— рассмеялась она,— я только так сказала. Господи, боже! неужели ты думал, что это серьезно? Это было так, еп Раг. Да ведь ты не понимаешь по-французски. Как это выразить?

— Ну, а если бы я захотел, если бы я посватался,— спросил Даниэль,— что бы ты ответила на это?

— Это... зависит... Не знаю.

— Значит, и так, и этак?

Фрекен ответила:

— Я хотела сказать, что нам обоим следует подумать об этом.

Молчание.

— Я никак не думал, чтобы ты желала этого,— кротко сказал Даниэль.— И сейчас еще этому не верю.

— Почему же нет? Не вычеркнешь того, что было между нами.

Тут только он стал серьезен и спросил:

— Что это значит? Ты значит, хочешь выйти за меня замуж? Но ведь ты же не хочешь этого?

Молчание.

— Ну, вот видишь,— сказал он и, смущенно смеясь, покачал головой.

Тогда она призналась:

— Да, я хочу выйти за тебя. Знаешь ли, теперь мы ничего другого сделать не можем. Я хочу за тебя. И ты тоже должен что-нибудь сделать, ты должен жениться на мне, ты действительно должен это сделать.

В сущности он, казалось, и не помышлял об этом, не думал об этой возможности, и вот она перед ним. Им снова овладела веселая болтливость, он, как в другие разы, смутился и стал болтать глупости: она опять стала для него самой великолепной, самой недосыгаемой дамой. Он

никак не ожидал ничего подобного, не мог даже вообразить этого, это было уж слишком...

— Тс,— сказала она.— Я для тебя ничто, я даже не умею коров доить.

— Я буду это делать.

— Но и я могу быть при этом, я буду давать скотине сено.

— Нет, и это я буду делать. Боже тебя сохрани! Разве ты будешь у меня работницей?

— О, тебе опротивеет, наконец, если я буду у тебя для красы.

— Ну, а Марта на что? Зимой я не прикасаюсь ни к какой работе в усадьбе — все это дело Марты. Впрочем, я вот что спрошу у тебя: хорошенько ли подумала ты об этом?

Ты это всерьез?

Она снова объяснила ему, что им делать больше нечего.

Он уткнулся подбородком в грудь, подумал, улыбнулся, и, подавленный, покачал головою. «Да, если это состоится, то хорошенько удивятся они там, в селе»,— начал он,— Елена и другие». Больше всего, казалось, занимало его торжество над селом. А теперь, не довольствуясь тем, что он говорил уже об Елене, он снова начал в напыщенных и витиеватых выражениях: он тоже был сын усадьбовладельца, происхождение его такое же хорошее, как и ее — а теперь счастливого ей пути! Разве они не льнули друг другу с младенчества? Он смотрел на это совершенно, как на брак и на законную любовь. Было достаточно поцелуев и всяких нежностей с его стороны, одного не мог он перенести, что она вышла за другого. И, если бы Даниэль поступил тогда по-своему, он спалил бы ее, убил бы ее до смерти. Да. Пепла от нее не осталось бы. Не-ет.

— Тс,— сказала фрекен, умеряя его горячность,— теперь мы должны думать только о самих себе.

— Но разве это не будет новость для всех, такая новость, которая поразит всех, как величайшее чудо? Даниэль засмеялся и потряс в воздухе кулаком.

Фрекен не всегда одинаково хорошо понимала его, он казался ей легкомысленным и ветреным, но в то же время он был смелый человек, с сильной волей и усердно работал, словом, смесь дурного и хорошего, как и все люди. Когда он предложил закончить на сегодня рыбную ловлю, отнести ее на руках домой, на сэттер, и уже заодно оставить ее там, тут же он был ей совсем по сердцу.

— Мы не должны с ума сходить, — предостерегла она его, — но кое-что есть в том, что ты говоришь.

Он пристроит ей комнату, — убедительно говорил он, — вся комната будет ее, он и Марта и ногой туда не ступят, она будет есть сметану и мясо, и картошку, и яйца...

Когда она шла домой, в санаторию, ей опять стало казаться, что все сошло хорошо, и, если она не была сверхъестественно счастлива, то была довольна, в ровном настроении; она имела опору, она взяла верх.

Когда она уходила, он закричал ей:

— Послушай-ка, ты, там, фрекен, что я хотел сказать, дай-ка спросить тебя об одной только вещи: ты действительно имеешь серьезное намерение?

Уже, вероятно, в третий раз задавал он ей этот вопрос и получал в ответ ее уверения. Да и что могла она ответить? Она была достаточно благоразумна и видела преимущество переселения на горное пастбище Торахус; до сих пор у нее не было ничего определенного, и она поспешила уже; молодой человек предлагал ей дом и семейную жизнь, какие имел, это было пока все, на что она могла рассчитывать. Но, конечно, главным образом пошла она на это за неимением ничего лучшего.

Наступило рождество, и в рождественский вечер все гости санатории собрались вместе. Так как не было детей, то не было и елки, и в этом случайном обществе были исключены и рождественские подарки. Мужчины, однако, сложились и купили экономке брошку: она была хорошенькая, с цветной эмалью и с золоченым ободком. К концу ужина встал врач и сказал речь: он поблагодарил от имени экономки за ценное украшение, прикрепленное на ее груди кавалерами — женатыми и неженатыми поклонниками, а, может быть, и женихами. Затем доктор от своего уже имени стал благодарить дам за такой неожиданный и великолепный подарок, что у него слов не хватало для выражения. Он был действительно тронут и некоторое время не мог продолжать, глаза его увлажнились. Такое необыкновенное доказательство дружеского расположения к нему со стороны прекрасных дам не может не наполнить его гордостью и благодарностью, а с другой стороны оно, конечно, должно вызвать черную зависть у всех сидящих здесь мужчин. Этот дар с бесконечным прилежанием, художественно и со вкусом выполненный прелестными ручками, озарил светом его существование; то была неподобная скатерть, превратившая его стол в алтарь и его комнату — в святилище. «Мое переполненное

сердце благодарит вас, милостивые государыни». Затем он говорил о рождестве и о всех остальных пансионерах, у которых нашлись мужество и здравый смысл, чтобы провести зиму в горах.

— Да послужит это на пользу и на радость вам всем!

Итак, скатерть переселилась, доктор стал ее собственником.

Фрекен д'Эспар улыбалась, сидя на своем месте; она могла обойтись и без трогательной благодарности доктора за этот дар. Во всем этом ей чудилось что-то неискреннее; пансионеры в общем ценили доктора Эйна вовсе не так высоко, — он был мил и оживлен, и доброжелателен, но не пользовался слишком большим уважением; то, наверно, придумали вдовы пасторов, у которых рождество было на уме, и вот им захотелось сделать рождественский подарок хотя бы доктору. Удивительно, что это обрадовало и тронуло его; правда, когда он благодарил за поднесение ему скатерти-алтаря для его святилища, глаза у него были влажны.

После ужина роздана была почта; иллюстрированные открытки наводнили стол; было также несколько номеров рождественских журналов и одна единственная книга. Среди посланий была свернутая в трубку бандероль с наклеенными на нее французскими марками, со штемпелем Парижа. То был подарок санатории «Торахус-Марш», сочиненный пианистом и стипендиатом Сельмером Эйдо. Великолепно! Молодой артист не забыл Торахуса среди блеска мировой столицы. К роялю подвели учительницу музыки, чтобы она сыграла марш; но скоро она вынуждена была прекратить игру и попросить о разрешении сперва немного разучить его. Зато она сыграла два рождественских псалма, спетых всем обществом. Так как после этого всех обнесли кофе, печеньем, вином и сладостями, то становилось все больше и больше похоже на настоящий рождественский вечер; доктор опять сказал речь, на этот раз в честь семейных очагов в стране, светящихся окон в хижинах и домах, веселых детских глаз, в честь матерей — матерей, милостивые государыни и государи, которые в милое рождественское время работают с утра до вечера, а, может быть, иногда и с вечера до бела дня.

— За процветание семейных очагов и матерей!

По случаю того, что были задеты такие нежные струны, было, конечно, выпито, и матери кивали головами и благодарили.

А час спустя рождество и рождественский вечер были закончены; доктор строжайше настаивал на том, чтобы нервные пациенты вовремя ложились в постель, а остальные, ночные гуляки, чтобы вели себя, согласно объявлению, висевшему в коридоре. Поэтому Самоубийца, инспектор и какой-то купчик собирались перейти во флигелек, чтобы перекинуться в картишки.

Когда Самоубийца проходил мимо, фрекен д'Эспар сказала ему:

— Веселого рождества, господин Магнус!

Это было, конечно, только брошенное мимоходом слово, но Самоубийца ответил коротко:

— Почему сказали вы это?

Она, очевидно, не попала в точку и попыталась дальше:

— Вы получили много рождественских карточек?

— А вы, фрекен, много получили?

— Нет. Две только.

— От кого мог бы я получить поздравления? — спросил Самоубийца. — Я никого не знаю.

— В таком случае, извините.

Самоубийце стало совестно.

— Что вы, дорогая... Впрочем, об этом мы можем после потолковать. Идите вперед, — сказал он своим партнерам, — я сейчас приду. — Нет, я не получил ни одной карточки, да и не ожидал. Это, впрочем, чепуха. Я жалею только о том, что сам послал дурацкий привет, глупее этого я ничего выдумать не мог и, подумайте, кому? — Моссу, этому противному животному Моссу.

— Моссу?

— Это удивляет вас? Но разве он не послал мне пальто и вместе с ним наглое письмо?

— И вы послали ответ на письмо?

— Нет, я послал карточку. Я купил ее внизу, в местечке. Там могло быть изображение потухающего пламени, или человека с длинным носом, это было бы кстати; но, подумайте, какая смешная штука! Там была изображена белка. Я не выбирал карточку, я взял первую из предложенных мне. Подумайте, белка, такая бессмыслица! Вы знаете, как сидит белка, распутивши хвост вдоль спины? Она сидит, как в чашке. Если бы я послал ему красный, размалеванный дом в снегу, или младенца Иисуса, было бы все равно. Белка! Слышали ли вы о чем-нибудь более безобидном?

— А не приходило вам в голову, что он будет раздумывать над этой белкой? — сказала Фрекен. — И время у него пройдет? Ведь он слеп и заброшен.

— Что? Вы уже решили, что он над этим голову будет себе ломать? Это не беда, может быть, ему и нужна какая-нибудь забота для его дурацкой головы. Белка, скажет он, что Магнус хотел этим сказать? Послушайте, Фрекен, не накинуть ли нам пальто и не прогуляться ли нам немного при лунном свете.

— Но ведь вас ждут во флигеле.

— Нет, они позовут почтальона и скотника.

И они вышли при свете луны.

— Чем больше я думаю об этом, тем более понимаю, что достаточно с него белки, — сказал Самоубийца. — Благодарю вас, Фрекен, вы мне показали это, вы сейчас заметили, что в этом было что-то злостное. Он ведь спросит кого-нибудь, у кого глаза во лбу, что изображено на карточке. Белка, скажут они. Тут у него в голове будут полный хаос и непонимание, я отсюда вижу его лицо...

Самоубийца продолжал болтать. Фрекен заметила:

— Он и без того окружен густым мраком. Хорошо, что вы не послали того письма.

— А кто сказал, что я не пошлю своего ответа? — резко спросил Самоубийца. — Он получит его, я напишу. Так, значит, я не должен послать его? А не скажете ли вы мне, почему последнее слово должно быть за ним?

Они пошли дальше при лунном свете; погода была ясная, и они могли гулять. Фрекен напомнила было раза два, что пора спать, но Самоубийца отвечал, что он не считает полночь или два часа поздним временем; иногда и четыре и пять часов не поздно для него, он стал снова спать все хуже и хуже.

В общем нельзя было сказать, чтобы жесточенность Самоубийцы продолжалась по-прежнему; нет, он был очень признателен за то, что Фрекен гуляла с ним и некоторое время коротала с ним жизнь; тем ближе приблизится он к смерти. Он занимал ее грустными размышлениями о существовании; для него была потеря времени — гулять здесь; он, по его словам, достиг северной стороны жизни; сердце его не пляшет, о, нет, даже платье его дольше не выдержит. Вдруг он повернулся к Фрекен и немного непонятно спросил ее:

— А вы?

— То есть как это?

— Вам не кажется, что вы теряете здесь время?

— Да, возможно. Впрочем, после рождества я переезжаю отсюда.

— Возможно ли?.. После рождества, теперь! — вырвалось у него.

Словно ему предстояло остаться одному, так близко принял он это к сердцу. И Самоубийца, который со времени отъезда Мосса совсем отвык разговаривать и рассуждать, вдруг вспыхнул и стал болтлив.

— Это неожиданная, неприятная новость. Вы далеко уезжаете? Меня это, конечно, не касается, но разве вы уверены, что в другом месте будет лучше? В этом я не уверен, а потому остаюсь здесь. Разве, в сущности, всюду, где находятся люди, не то же самое? Я так думаю. Взгляните-ка на луну, нам она кажется красивой, а между тем она так бесполезна и так глупа, стоит и уничтожается. То же самое происходит со всеми нами: мы умираем, где бы мы ни ползали и где бы ни двигались. Но для вас в эту ночь родился спаситель. Я говорю это не для того, чтобы говорить громкие фразы, возможно и есть кое-что в этом, то есть в истории о спасителе, следовательно, и о спасении — спасении от существования, которое мы получили, но которого не приняли, спасении от навязанной нам, без малейшего желания с нашей стороны, жизни. О, боже, как все это таинственно! Но я говорю не потому, что это совершенно невероятно, многие верят именно, что это абсурд. Здесь нас с веревкой на шее влекут к гибели, и мы идем охотно. Мы слышим о мудром плане существования, но видеть его, понять — этого нет. Не знаю, право, что правильнее, большинство ведь люди серьезные и жизнью не шутят. Но так вот мы идем и так странствуем. Нас ведут без остановки; то, чего возраст и время не уничтожают в нас, то они, во всяком случае, переделывают до неузнаваемости. Когда мы, таким образом, странствуем некоторое время, мы странствуем еще немного, затем еще один день, затем ночь, и, наконец, чуть забрезжит утро следующего дня, час наш пробил, и нас убивают, серьезно и добродушно убивают. Вот роман жизни, в котором смерть является последней главой. Все вместе это так таинственно. Итак, в сущности мы были только миной, ожидавшей искры, и после взрыва мы летим тихохонько, потише самой тишины — мы умерли. Мы, конечно, пока еще время, пытаемся сопротивляться, чтобы избежать этого, мы ездим туда, сюда; приезжаем в санаторию, но это место, кажется, действительно, какое-то роковое, дом смерти, где люди один за другим изнемогают, после чего их кладут в гроб.

— То мы бежим, как делаете вы, фрекен, и попадаем в другое место, как будто это может принести какую-нибудь пользу. Нам вдогонку посылаются приказы об аресте, и нас задерживают: мы состоим в списках, мы можем переменить гарнизон, но не полководца. Но, боже, как мы сопротивляемся! Когда смерть входит через дверь, мы поднимаемся на цыпочки и шипим на нее, а когда она берет нас в объятия, мы, как один, отбиваемся от нее. Конечно, через короткое время мы лежим побежденные с синяками тут и там. Затем нас закапывают в землю. Почему это делается? Да для того, чтобы остающимся здоровее было умирать. А у нас у самих черви в глазах копошатся, и мы слишком мертвы, чтобы сбросить их. Разве все это не так? И то еще половина только. Мы рассматривали смерть, как она поступает, когда просто разгуливает и срывает то тут, то там жертвы; но этим она не всегда удовлетворяется: когда война, землетрясение, эпидемия, вот тогда она выступает величаво, всегда с повернутым вниз большим пальцем; смерть всегда бродит среди нас.

Из городка донесся до них звук, колокольный звон; верно, молодой и рьяный священник придумал для своих прихожан это набожное развлечение. То были отдаленные звуки, некоторые совсем пропадали; но когда ветер доносил их, то слышалось несколько сильных ударов один за другим. Выходило очень красиво и необычно, то была рождественская ночь и служба, во всей своей простоте и бедности.

Самоубийца пошел вперед, казалось, что он был тронут, но ведь он может это скрыть, может сделать вид, будто ничего не было. То был желанный перерыв для фрекен, она вздрогнула и сказала:

— Подумайте, уже двенадцать часов. Пойдем домой.

Ни в каком случае не желал Самоубийца показать, что он тронут, об этом и речи не могло быть, он мог болтать еще, сколько угодно; но тон, во всяком случае, был совсем другой, когда он продолжал:

— Не в том дело, смерть ведь тоже не безумная, не всегда проливается кровь и не всегда нас пожирают, но нельзя сказать, чтобы мы оставались неприкосновенны, только немного синяков от ее прикосновения — чего еще требовать! Но смерть является большим номером, главным образом, среди богатых и сильных мира сего; бедняки гораздо менее против нее, частенько зовут они ее: приди, смерть, явись, последняя глава!



— Да,— сказала фрекен,— да, это так. Спокойной ночи, господин Магнус!

— Да, вы хотите домой. Простите, фрекен,— бормотал он, стоя у двери,— в сущности, ведь я мог ожидать, что получу поздравление по почте. Понимаете ли, маленький знак внимания... в рождественский вечер. Разве вы не того же мнения?

— Да, конечно,— отвечала фрекен.

— Я думаю, они могли бы помнить об этом. Раз я посылаю карточку, потому что рождество, то и они могли бы прислать мне ответ. Но, нет. Впрочем, я никого не обвиняю. Конечно, можно забыть такую мелочь, когда живешь у себя и должен заботиться о своем доме, например.

Фрекен стала внимательнее и спросила:

— Вы послали только одну карточку, Моссу?

— Нет, я отправил еще одну,— сознался Самоубийца.— Но не думайте, чтобы она имела какое-нибудь значение, на ней было только несколько цветов.

— На эту карточку вы можете получить ответ не ранее, чем к Новому году.

— Я сообразил это,— сказал он.— Но почему это должен быть непременно ответ на мое поздравление? Почему ее карточка не могла быть сдана на почту так же рано, как моя? Нет, забыла, вот в чем дело! Или вы думаете, что это сделано умышленно?

— Этого не может быть.

— Конечно, и я не нахожу невозможным, что карточка придет к Новому году. В общем, по-моему, карточка к Новому году как-то изящнее, имеет больше значения, чем к рождеству. Вы несогласны со мной?

— Да, конечно, вы правы.

— Не правда ли? Рождественская карточка — это какая-то бессмыслица, годится для детей, но для взрослых...

Когда фрекен д'Эспар ушла. Самоубийца долго еще стоял у лестницы. Благовест прекратился, он ничего не слышал, кроме шума ветра с гор. Полная луна сияла над ним, а на лице его опять застыло скорбное выражение и вся его поза, как и в первое время пребывания его в санатории, выражала горестные размышления и страдание...

На второй день рождества приехал адвокат Руппехт и с ним несколько человек гостей, в том числе инженер; на третий день прибыли: ректор Оливер, крупный лесопромышленник Бертельсен, фру Рубен и фрекен Эллингсен, затем приехало еще несколько человек гостей с лыжами

и коньками. Большого впечатления это не произвело: прибавилось каких-нибудь, может быть, человек двенадцать, не больше. Адвокат полагал, что придет больше; впрочем, санатория в Торахусе — ведь это новый пункт, нельзя было рассчитывать, чтобы в первое же рождество она была переполнена.

Звзвился новый флаг, и Бертельсену, меценату, давшему молодому артисту возможность сочинить музыкальное произведение, был сыгран «Торахус-Марш». Бертельсен приехал, впрочем, по делу, имевшему к санатории непосредственное отношение: он должен был изучить условия для электрического освещения. Какое ему было дело до этого? Никакого. Самое важное для молодого богача было вмешаться в это дело; ведь адвокат привез инженера, который должен был измерить и вычислить массу воды и силу ее падения.

Было что-то высокомерное в Бертельсене, когда они приезжал в Торахус; он хотел владеть не более и не менее, как всей местностью; он говорил также, что приезжает сюда для того, чтобы съездить в заведении хоть часть того, что ему следовало. На этом основании он не хотел платить по счетам за прошлые разы своего пребывания здесь.

Однажды адвокат увидел себя вынужденным скромно указать ему его ошибку:

— Я не знаю, что вам следует здесь. Вы ошибаетесь. У вас в заведении имеется только часть акций.

— А вы хотите купить их? — спросил Бертельсен.

— Нет. — Адвокат откровенно сказал, что не в состоянии этого сделать; но считает не невозможным, что со временем освободит его от акций.

— А сейчас?

— Сейчас нет. Зачем же непременно сейчас? Ведь вы не нуждаетесь в деньгах?

Бертельсен наморщил лоб и раздулся от богатства.

— Слава богу, нет.

Шут его ведает, что в нем было, но Бертельсен не был обычный, покладистый человек, которого приятно иметь столовником, нет, никто в санатории не находил этого. Он, случалось, презрительно говорил о своем «Торахус-Марше» и выражал желание, чтобы ему вернули деньги, затраченные на стипендиата.

— Этот уголок становится слишком дорогим для меня, — говорил он. Так как бог и все люди знали, что у него большое и богатейшее дело, то некрасиво выходило,

что он жалел о стипендии в несколько тысяч. Какая могла быть этому причина? Один из пансионеров, мелкий торговец, по имени Рууд, к удивлению, вовсе не был так уверен в богатстве торгового дома «Бертельсен и сын».

— Я знаю старика Бертельсена,— сказал он,— положительный и солидный человек; но каков сынок, я совсем не знаю: он знать меня не желает, не кланяется, хотя ему отлично известно, что много лет тому назад я мог прижать его отца, и не сделал этого. Я слышал, что последняя крупная покупка леса молодым Бертельсеном пошатнула кредит фирмы.

— Но ведь фирма владеет ценностями,— сказал кто-то.

— Это достоверно неизвестно,— ответил торговец.— Прежде всего нужно знать, не закупились ли молодой человек, а затем все зависит от конъюнктур. Конечно, если Англия в каком-нибудь углу земного шара затеет новую войну, тогда подымутся цены на лес и «Бертельсен и сын» будут процветать. Может быть, и сейчас они процветают, я ведь ничего не знаю. Во всяком случае, было бы очень грустно, если бы это крупное предприятие попало в затруднительное положение и если бы оно вынуждено было ограничить (а в этом вся суть) плотничьи работы, мебельную фабрику и полировку дерева. Будем надеяться, что не предстоит никакого несчастья, ведь это кормит многих и многих,— закончил Рууд.

Ничего нельзя было заметить по молодому Бертельсену, он расхаживал так же надменно, как и раньше, его мелочные разговоры о стипендии и об акциях могли быть выражением временного настроения. Но симпатиями он не пользовался, вероятно, многие желали ему встряски. Он не был безобразен и был даже не глуп, но так мало располагающего было в его внешности и поступках. Одна его манера держаться с фрекен Эллингсен могла повлиять отталкивающим образом. Был он помолвлен с нею или нет? Старые пансионеры, жившие в санатории с самого начала, хорошо помнили, как он сейчас же, с первой встречи, завладел вниманием самой красивой дамы, гулял с нею в зеленом лесу и все такое — теперь же она почти не существовала для него, хотя никто не мог усомниться в ее преданности. Не раз отказывалась она, ради Бертельсена, от приятной беседы и от попыток к сближению с другими мужчинами, но это, казалось, не производило на него никакого впечатления. Он делал вид, что очень занят делами санатории и, действительно, всюду и везде совал свой нос, но между тем находил время

оказывать различные знаки внимания другой даме в санатории. Кто была эта дама? Может быть, фрекен д'Эспар, за которой он раньше ведь ухаживал? Нет, не фрекен д'Эспар, вовсе нет, она ничем не могла быть больше для него из-за своего обезображенного лица или по другой какой-нибудь причине. Нет, наверно, его принимала у себя фру Рубен. Случалось, что фрекен Эллингсен заставляла его в такой комнате, в какой и не ожидала, вместе с фру Рубен, и перед ними стояли предобеденный чай и печенье, и фру Рубен несколько смущенно подзывала ее и говорила: «Хорошо, что вы пришли, фрекен Эллингсен, мы пристроились здесь». А Бертельсен говорил: «Я не мог вас найти. Где вы были? Позвоните, пожалуйста, чтобы вам подали чашку чаю».

Из этого еще нельзя было вывести заключения, что фру Рубен прячется с молодым коммерсантом и хочет исключительно одна владеть им; она, напротив, вовсе не имела никакого предрасположения к флирту. Чего, впрочем, снова искала фру Рубен, в том месте, где ее муж консул, умер такую таинственной смертью? Притягивало ли ее ужасное событие? Была ли она молью, кружившейся вокруг огня? Во всяком случае, она потребовала свою старую комнату, как бы для того, чтобы наново предаться горю. Она очень похудела, прямо удивительно, куда девалась полнота, она стала такая тонкая и красивая. Лицо, наоборот, не стало моложе, оно стало скорее дряблым и несвежим. Когда Самоубийца в первый раз опять увидел ее, он сказал фрекен д'Эспар:

— Но... как она выглядит...

— А как же? — спросила фрекен.— У нее такой истощенный вид.

У фру Рубен были, во всяком случае, ее прежние, глубокие, восхитительные миндалевидные глаза.

Было разве удивительно, что фру Рубен, поселившись в своей старой комнате и переживая в течение целой ночи трагедию своего мужа, присоединялась днем к обществу, которое было под рукой? Бертельсен и она имели общие интересы, оба были деловые люди и могли о многом поговорить. Конечно, не он лично нравился ей, это было неважно, но он был известный в городе человек и обладал молодостью и здоровьем; он также курил хорошие сигары и был не из тех, у кого от папирос побурели пальцы. У Бертельсена тоже, вероятно, были свои причины, почему он предпочитал общество фру Рубен всякому другому; кожа ее висела мешками и под кожей тоже ничего не

было, она словно не доедала,— но ему было все равно. Бертельсен не гонялся теперь именно за розовыми бутонами, его скорее могли привлекать деловитость или положительность этой дамы, может быть, попросту ее богатство — господь ведает.

Так сидели они и болтали, а когда подошла фрекен Эллингсен, их стало трое.

— Вас перебили, когда вы собирались рассказать о принцессе,— сказал Бертельсен.

Фру Рубен не прочь была начать рассказ сначала, она говорила о «миледи»:

— Да, как сказано, я одолжала ей деньги под залог кольца и, в конце концов, образовалась уже большая сумма, но я не беспокоилась об этом, лишь бы кольцо осталось у меня.

— А разве оно не осталось у вас?

— Нет его,— сказала дама и показала свои смуглые руки.

— Где же оно? Украдено?

— Исчезло. Но я не о том, что мне кольцо!

Молчание.

— Да, это было скандальное дело,— продолжала фру Рубен.— Я хотела помочь даме и даже с мужем поссорилась из-за этого. Я верила всему, что она рассказывала мне о своем муже, о пачке документов, которыми она размахивала, о птичьем дворе, который она желала завести, но все это было вранье и плутовство. Вы говорите, кольцо. А разве она не взяла его обратно, не выкрала его? Я не отрицаю, что больше всего меня соблазняло кольцо, чудное кольцо, я никогда не видела такой воды, то была редчайшая драгоценность, я сразу поняла это, бог ее знает, где она получила его. И с этим-то кольцом она приходит и хочет заложить его. У меня раньше были кольца, да не такие. Она не подарила мне его, она заложила его, я должна была доставить ей деньги под него. Хорошо, сказала я, и дала ей все, что имела. Но этого было недостаточно: ей требовалась известная сумма. Хорошо, ответила я, но я боюсь, что муж не захочет купить мне такое дорогое кольцо. Так дайте ему эти документы, сказала она, это он лучше поймет; на ваши жалкие норвежские деньги они стоят миллион, а вы достаньте мне десять тысяч, двадцать тысяч. Поговорю с мужем, ответила я. Сейчас, заторопила она меня. Конечно, сейчас, я вызову его телеграммой. Кольцо было у меня на руке; чтобы предоставить ему одинокое, достойное его место на руке, я сняла два других

кольца; даже ночью я не снимала его. Приехал мой муж, но он находил, что колец у меня более, чем достаточно, в чем он, конечно, был прав,— но что было хуже, документы показались ему подозрительными, и он, как консул, отказывался вмешаться в это дело. Если бы я тогда послушалась его предостережений! Но я не хотела слышать слова: «Нет». Он прочел документы, проштудировал их и покачал головою; мы до поздней ночи проговорили об этом деле, наконец он устал, вероятно, и лег; а когда я тоже ложилась, то услышала стук — то его голова стукнулась о кровать, он лежал совершенно неподвижно, он был мертв.

— Удар,— сказал Бертельсен, кивнув головою.

— Да, удар. Вот что случилось. Понятно, я должна была сейчас же начать рассуждать благоразумно: у мужа моего была слишком короткая шея, рано или поздно ему суждено было погибнуть от удара, ничего нельзя было поделаться с тем, что случилось это именно теперь. И кольцо было у меня; оно не стало, конечно, зеницей ока моего, но на ночь я не снимала его из-за безопасности. Что же последовало дальше? Я заплатила здесь в санатории за даму и за ее девушку, и мы уехали; они жили у меня в Христиании, я уплатила за много ее покупок, платила, платила, но ведь кольцо было восхитительно, и я хотела иметь его. В конце концов я вынуждена была дать понять даме, что не может же это продолжаться до бесконечности. Конечно нет, сказала она, но документы? Да, из документов я не могу извлечь никакой пользы, а муж мой умер. Документы эти стоят миллион: это письма английского дипломата и министра и т. д. Я продолжала не сомневаться в этом, но не могла использовать их для нее. Я честно относилась к ней, к этой мошеннице, побывала у ювелиров, и они оценили мне кольцо: по их словам, я могла пойти немного дальше и еще дальше, то был дорогой, старинный перстень. Наконец, я сказала: стоп, больше я не буду тратить денег. Дама не возражала против моего решения... И вот тут-то случилось, что меня провели за нос. Однажды утром я умывалась, и меня позвали к телефону, мне будто бы звонила фру Стерн; я накинула на себя платье и сошла вниз, а кольца остались на ночном столике. У телефона никого не оказалось, я позвонила к фру Стерн,— нет она не звала меня; тогда я звоню в Центральную, но и там не добились никакого толку. Но все эти разговоры по телефону заняли у меня время, а когда я вернулась в спальню, на ночном столике уже не

было кольца. Кольцо исчезло. Остальные кольца лежали на месте, а того не было. Не взяла ли я его с собою, когда пошла к телефону? Я опять вниз, ищу его — нет его. Я опять вверх — нет! Тогда все закружилось у меня в голове, я позвала даму, и она пришла; она меня выслушала участливо и улыбнулась, когда я спросила, не она ли взяла кольцо. Вы шутите! — сказала она. Но, может быть, его нашла ваша камеристка, переводчица? — сказала я. Дама моментально позвала Мари; но оказалось, что той и дома не было, она вышла из дому.

— Так я и думала, — перебила фрекен Эллингсен. Напряженно следила она за рассказом, развертывавшимся в знакомой ей области, в области вымышленных, детективных, столь ей известных романов, которыми она не раз зачитывалась; она сказала: — Они, конечно, сговорились, девушка вышла из дому и вызвала вас к телефону.

Фру Рубен кивнула головою:

— Так оно, конечно, и было, но колечко-то пропало.

Бертельсен спросил:

— Что же вы сделали?

— Сделала? Я стала немного умнее, выгнала вон из дому обеих мошенниц.

— Куда же они делись?

— Почему я знаю! Уехали, вероятно, в другое место и там продолжают мошенничать.

— Это самое дерзкое воровство, о котором я когда-либо слышал. Заявили вы о нем?

— Нет, я не могу охотиться за лисицами. И потом, не желаю оскандалиться.

Молчание.

— Гм, — с многозначительным видом сказала фрекен Эллингсен, — я могла бы многое порассказать об этих двух дамах, но я связана присягой.

Бертельсен презрительно слушал ее и ответил:

— Да, но вы не можете вернуть кольца, а остальное все не важно.

Фрекен Эллингсен выказала себя большим знатоком таинственных историй о великих княгинях и герцогах:

— Я не уверена, что мои сведения не повели бы к чему-нибудь. Но я должна быть немой.

— Нет, — неожиданно сказала фру Рубен, — я хотела бы только знать, вернет ли мне санатория то, что я издержала на этих дам.

Бертельсен был слегка изумлен. — Разве это возможно?

— Это единственное.

— Но ведь этого будет недостаточно.

— С меня довольно. Это составит приблизительно около одной трети моих расходов. Остальные две трети я обеспечила себе раньше, чем выгнала их вон.

— Каким образом? — спросил Бертельсен.

— Я забрала то, что они купили в Христиании.

— Вот это великолепно. И они пошли на это?

— Они должны были согласиться. О, они оказались очень толстокожими. Подумайте только: дама, которая совершенно открыто, не думая таиться, украла с моего ночного столика кольцо. Не ищите деликатности у такой особы. Она отлично понимала, что я знаю, что она взяла кольцо, но она себе и в ус не дула, она стояла лицом к лицу со мною и не провалилась сквозь землю.

— Да, это сказка все вместе!

Фру Рубен спросила:

— А как вы думаете, пойдет санатория мне навстречу?

— Конечно, я это устрою, — твердо ответил Бертельсен.

— Вы займетесь этим? — Фру Рубен благодарно ему улыбнулась. — Да я и думала, что должна рассказать это вам, вам, который так много значит здесь. Ведь, не правда ли, если санатория Торахус принимает такого рода «принцесс», то, во всяком случае, остальные пансионеры не должны страдать из-за этого.

— Я устрою это, — повторил Бертельсен. Он посмотрел на часы, встал и извинился, что уходит: ему нужно отправиться на «объезд», сказал он, надо подняться к обоим озерам и исследовать, имеются ли шансы для электрического освещения. — Мы ведь должны сделать что-нибудь из этого уголка, — заявил он, — это будет стоить денег, но ничего не поделаешь.

Но Бертельсен спокойно мог сидеть у дам: оказалось, что адвокат, доктор и инженер отправились без него — это удивило и оскорбило его. При случае он, наверно, оплатит адвокату...

За обедом вся публика в санатории была напугана исчезновением Самоубийцы. Он не явился к столу, и ни на каком чердаке его тоже нигде не нашли повесившимся.

Доктор, утверждавший все время, что нечего бояться катастрофы, не был уже так уверен: после обеда он взял людей и отправился с ними на поиски в лес.

Этот чертов Самоубийца придумал, вероятно, что-нибудь особенное; он, пожалуй, с удовольствием застрелился бы, а потом закопал бы себя в снежном сугробе.



Они искали и звали, бродили по снегу, ругались и грозили; так пробродили они до сумерек; в десятый раз обыскали они его комнату: там стояли его вещи, на стене висело его платье, несколько книг, одно-два сочинения по истории лежали на столе, значит, он никуда не переехал, куда же он делся?

Тогда фрекен д'Эспар пришло в голову протелефонировать на железнодорожную станцию. О, эта удивительная фрекен д'Эспар — она была-таки умница: действительно, Самоубийца Магнус уехал с утренним поездом.

Когда фрекен д'Эспар водворила, таким образом, спокойствие, все в глубине души благодарили ее, и было не без того, чтобы те самые дамы, которые раньше чуждались ее, не почувствовали некоторого раскаяния: ведь она, во всяком случае, избавила всех пациентов от бессонной ночи. Ректор Оливер прямо заявил, что его нервы не вынесли бы присутствия удавленника в лесу, так близко к санатории.

— Ведь мы, интеллигенты, не то, что другие прочие, — сказал он, — у нас совсем особенные нервы. Долгие годы учения повлияли на нас, и нервы наши стали чрезвычайно утонченными и поэтому не совсем-то крепкими.

— Вы хорошо выглядите, — сделала комплимент фрекен.

— Я не болен, только несколько слабосилен, как говорит мой брат кузнец. Другие, может быть, назвали бы это утонченной натурой, но брат мой говорит, что я слабосилен. У него свой особый язык.

— А как идут дела в вашем городе, господин ректор?

— Ничего себе, идут по-маленьку, как вообще в маленьком городке. Условия не особенно блестящи для нас, которые по мере сил своих должны высоко держать знамя; высших интересов ведь нет; я добился того, что клуб выписывает одну-две иностранных газеты, вот и все.

Должно быть, изменилась фрекен д'Эспар, жизнь и переживания ректора в его родном городке не интересовали ее так сильно, как в прошлый раз; ей это было совершенно безразлично, равно, как и то, что клуб его стал выписывать иностранные газеты. Неужели полоумный Самоубийца Магнус заразил ее тогда зимою своею непочтительной болтовней об изучении языков и о воспитании? Она была не та, что прежде, она готовилась стать хозяйкой на сэтере. Но некогда она охотно слушала ректора, избаловала его этим, и он продолжал поэтому посвящать ее во все мелочи жизни своего городка. Снисходительно улыбаясь, расска-

звал он ей и о городском пароходе «Фиа», что когда он пристал к пристани с наполовину приспущенным флагом, по случаю падения матроса в воду, во всем городе поднялось волнение; но, если бы сошел в могилу величайший мировой ученый, то на то же общество это не произвело бы никакого впечатления. Дело, конечно, в том, что у матроса родня в городе, а один бог знает, что во всем городе нет ни одного ученого: смешно даже и предположить это. Подайте им итальянца с шарманкой и обезьяной, или еще лучше — карусель. Вот это так! Трудно работать при таких условиях, всюду наталкиваешься на пассивное сопротивление.

— Когда я после каникул приехал осенью домой, одна из наших канонерок стояла на рейде, и предполагались обед и бал для офицеров. Собственно говоря, обед этот должен был дать председатель; но председатель, мой добрый брат Абель, хорошо чувствовал, что у него кое-чего не хватает, но что это имеется у нас, и обед назначен был у консула Шельдрупа Ионсона. А между тем можно было избежать этого позора и скандала. Я позвонил своему брату и предложил в полное их распоряжение свою собственную большую квартиру; жена взяла бы на себя приготовление обеда, а я вызвался сказать речь. Брат мой, стоя у телефона, покотился со смеху. «Ты все тот же», — сказал он.

— Слава богу, да, — отвечал я.

— Куда ты лезешь? — сказал он.

— Вот как он разговаривал! Я дал отбой. Что вы скажете на это, фрекен? Я предлагаю свои услуги, а меня так встречают. Но, — сказал, кивнув головою, ректор, — после этого последовал еще эпилог; настроение во время выборов изменилось, и возможность вновь быть избранным городским представителем улыбнулась моему милому брату, кузнецу. Маленькая случайность — Шельдруп Ионсон на его месте.

— Подумайте! — сказала фрекен д'Эспар.

— Да, уверяю вас, что это прошло небесследно, — настойчиво сказал ректор. — Настолько-то я знаю положение дел.

Ректор уверенно опять кивнул головою.

Фрекен сделала было движение, чтобы уйти.

Но ректор закусил удила, он никак не мог забыть это великое событие и начал опять:

— Если бы все шло так, как решила мудрая голова моего брата, не было бы никакого обеда, а главное —

никакого бала. Но с этим не были согласны лучшие семьи в городе. Счастье было поэтому, что среди нас был такой человек, как консул. Он не учен, этого сказать нельзя, но знает языки, он человек воспитанный и, кроме того, богатый человек.

— Да,— сказала фрекен.

— Для этого случая он как раз пригодился. И выборы показали то же самое; итак, без консула мы послужили бы посмешищем для офицеров, и все поняли это. В сущности, все люди стремятся подняться немного выше; даже самые низы вздыхают по верхам. Конечно, мой брат, кузнец, может еще в течение некоторого времени натравливать низшие классы на нас, посвятивших всю свою жизнь на то, чтобы учиться и учиться, но если требуется представительство или нужно разъяснить какую-нибудь книгу, или ответить на письмо на иностранном языке, тогда он вынужден прибегнуть к нам. У меня было много таких случаев. И вдвойне огорчительно, если против нас восстает кто-нибудь из нашего же круга. Несколько времени тому назад знаменитый шведский профессор — не буду называть имени — изо всех сил старался подорвать уважение к воспитанию и к науке, а мы с таким трудом, из поколения в поколение, добивались этого. Какое удовлетворение он мог иметь в этом — никак понять не могу. Дети, по его мнению, не должны больше сидеть за уроками от шести до двадцати с чем-то лет, не это делает их настоящими людьми, писал он. Ну, а я не понимаю, чего же им нужно, постичь не могу. А вы понимаете?

— Нет,— сказала фрекен д'Эспар.

— Ну, вот видите. Он находил также, что учебники для школ слишком объемисты и слишком напичканы научными сведениями: дети зубрят так много, что, в конце концов, ничего не знают. Слыхано ли что-нибудь подобное! Мне кажется, наоборот, чем больше учишься, тем больше знаешь. Он презрительно отзывался о популярном способе преподавания, значит, о народных академиях и, значит, о всеобщем просвещении. Он писал: огромные успехи, которых достигли в последнее столетие наука и техника, создали наше суеверное уважение ко всему, именуемому наукой. Да, он не дрогнул и так и написал: наше суеверное уважение. Дети должны работать вместо того, чтобы зазубривать массу мертвого материала, закончил профессор. Словно учить наизусть не работа. Боже, сколько я работал, когда учил наизусть,— вырвалось от души у ректора.—

Профессор глубоко ошибается. Разве школа не развивается в том направлении, что все больше и больше специальностей преподается и мальчикам, и девочкам? Неужели этот одинокий, стоящий по ту сторону, человек прав, а мы все, по эту сторону, неправы? Но он и на это получил ответ. Хотите послушать, как все было?

— А вас не затруднит это?

— Нисколько. Ну вот, послушайте. Не знаю, помните ли вы, что несколько времени тому назад в газетах возник горячий спор о высшем образовании женщины. Теперь вам известно мое положение в этом вопросе: я стою на точке зрения гуманной и свободомыслящей, что женщина имеет такое же право, как и мужчина, на мужское образование. Говорили и за, и против; мне казалось, что я не имею больше права уклоняться от вступления в спор, может быть, этого ждут от меня, ведь я пользуюсь некоторым именем. Ну, я и взялся за перо. Я не пощадил никого, статья моя была решительная: школа и снова школа,— сказал я. Поднялись было голоса за то, чтобы внести побольше ручного труда и поменьше учения, но это заблуждение и демагогия. Я вовсе не желаю унижить этим работу; так, например, женщины должны изучать садоводство, но глаголы: варить, шить, танцевать и заниматься спортом и сейчас еще являются главными для большинства женщин и делают их поверхностными и легкомысленными. Честь и слава руке и ручному труду, но ум прежде и выше всего. Я не хочу, писал я, высказаться подробнее — не вовремя — об этих четырех глаголах, но мне кажется, что воспитанию молодых девиц угрожает опасность. Здесь говорится не о тех, кто работает, как мужчины, добывается бакалаврства и поступает на различные должности, я подразумеваю других. Чему должны учиться эти другие, чтобы суметь выполнить задачи матери и руководить домом и семьей? Ум прежде всего и выше всего, эффективно повторил я. Они должны получить образование, изучить языки, литературу, искусство и историю культуры, должны также знать основы музыки. Для чего? В противном случае они будут гораздо ниже иностранцев. Современные молодые девушки стремятся за границу и им легко поехать туда, но у них часто не хватает нужных познаний, чтобы использовать, как следует, пребывание за границей. Таково было главное содержание моей статьи; конечно, резюме это далеко не полно, там было много ловких выпадов против шведского профессора, заставивших его, надеюсь, немного призадуматься. Во всяком случае я имею то

удовлетворение, что, насколько мне известно, он доньше и не пытался возражать мне.

Молчание.

— Ну, что же вы скажете, фрекен?

— Не знаю,— сказала фрекен.— Мне трудно ответить вам, я не настолько знакома с этим вопросом.

— Прекрасный ответ,— сказал ректор.— Если бы все так отвечали, то этим самым они предоставили бы решение нам, которые тридцать лет работают по этому вопросу и которые должны лучше знать его. Вы, все-таки, хоть практически знакомы с предметом и, тем не менее, не решаетесь возражать нам. Не правда ли, у вас есть преимущества перед нашими дамами вообще? У вас есть диплом, вы окончили школу, где учились французскому языку. Скажите: вынесли ли вы какую-нибудь пользу из вашего пребывания во Франции без знания языка? О, никогда нельзя сказать, что человек слишком много учился, невозможно зубрить так много, чтобы в конце концов ничего не знать. Шведский профессор ошибался.

Молчание.

— Мальчики ваши в этот раз не приехали с вами? — спросила фрекен.

— Нет. Ведь они были здесь осенью, нечего их так баловать. Они должны учиться и учиться, чтобы стать умными мальчиками и пробиться в жизни. К сожалению, они не так прилежны, как я в детстве, но со временем явится и прилежание.

Дни были для фрекен д'Эспар не слишком-то благоприятны. Было рождество, но мало радости в нем; она не принадлежала больше ни туда, ни сюда, нигде не было у нее почвы под ногами. Санатория сама по себе была неудобна; цветы, купленные в прошлом году, умирать не умирали, но стояли блеклые и чахлые; большая пальма в салоне была сера от пыли и концы листьев у нее были отрезаны. У фрекен д'Эспар не было, конечно, очень развито стремление к домашнему уюту, но все-таки было у нее это чувство, как и у других женщин: она с удовольствием приводила в порядок газеты в курительной комнате и постоянно имела у себя над зеркалом зеленую хвойную ветку. У нее были и французские желтые книжки, но на стенах не было украшений, кроме ее платьев.

Она не могла постоянно сидеть у себя в комнате, а куда же было ей идти? К ректору, и опять к ректору. Конечно. Это не хуже, чем всякая другая скука. Немного новых гостей было в санатории; адвокат говорил неправду,

рассказывая, что собираются приехать очень многие; он сильно рекламировал санаторию в газетах, указывая, что окружающие горы представляют много удобных мест для лыжного спорта и для катания на коньках, и описывал вообще жизнь на свежем воздухе; это привлекло только несколько юнцов в коротких штанах и с дерзкой речью; впрочем, приехал также один молодой журналист, который собирался писать корреспонденции о жизни в рождественское время в горах. Никто не представлял никакого интереса для фрекен д'Эспар; Бертельсен не занимался ею, с фру Рубен она никогда не водила компании, фрекен Эллингенс куда-то исчезла. Так что только и оставалось, что сэтер и Даниэль.

В рождественский вечер фрекен д'Эспар сбегала на минутку к своему милому и подарила ему крупную красную ассигнацию, а Марте, занимавшейся у него хозяйством — желтую, и оба они очень обрадовались, бурно выражая свою радость; они захотели купить на эти деньги великолепные вещи на память. Моментально заработала дельная голова Даниэля: он купит лошадь. Непременно сделает это. Он хотел пойти уже на второй день рождества и посмотреть у Гельмера, своего друга, маленькую трехлетку.

О, неспроста хотел Даниэль купить коня среди зимы, тогда можно подешевле достать его; ведь к этому времени в усадьбах всегда уже не хватает корма, а у Даниэля был корм еще с тех пор, как он осенью продал своего большого быка.

Когда на святках фрекен опять пошла на сэтер, — к Даниэлю, его, как раз, не было дома: покупал лошадь; уже несколько дней был он занят этим делом и еще не сторговался. Таковы всегда покупки лошадей. Фрекен не могла его ждать, она вернулась в санаторию и к ректору Оливеру.

Доктор, инженер и адвокат вернулись из своей экспедиции; доктор, как всегда, был весел:

— У нас будет свет, не правда ли, господин инженер? Свет будет в Торахусе, в каждом окне. Когда мы взберемся на «вышку», то увидим на земле небо, усеянное звездами.

Доктор всегда невероятно мил.

— Я, к сожалению, уже недолго останусь здесь, — ответила фрекен, — и при мне не будет еще электрического освещения.

— Что? Вы покидаете нас? — спросил адвокат. — Мне это очень неприятно.

— Это нам всем неприятно,— сказал доктор.

Ректор Оливер кивнул головою и согласился с высказанным мнением.

— Долго жить здесь дорого для меня,— пояснила фрекен,— после Нового года я переезжаю.

— Назад, в Христианию, или?..

— Нет, к Даниэлю, на сэттер.

Все молчали, как немые.

— Может ли это быть? — спросил доктор.

— Почему же нет? Я займу там целую пристройку, а еду буду получать в избытке.

Первым овладел собою адвокат:

— Вот как, фрекен! Но, в таком случае, вы останетесь здесь, на горе, и, если вам захочется перемены, то милости просим опять к нам.

Тут подошел Бертельсен. В стороне, в углу сидел Рууд и читал газету; он, может быть, и не интересовался совсем тем, что говорилось в кампании, а, может быть, слышал каждое слово. Рууд был так задумчив и молчалив. Бертельсен был недоволен, почему пошли к горным источникам без него, ведь у него здесь были интересы, которые он должен оберегать.

— Откуда возьмут они деньги на электрическое освещение? — злобно спросил он.

— Есть только один путь,— сказал адвокат.— Вы поможете, другие помогут. Остановки из-за денег не будет.

— Я не буду больше помогать,— сказал Бертельсен,— достаточно с меня. Мне навязали здесь стипендиата, который очень дорого стоит мне, и здесь же я вынужден был взять большую партию акций. Дальше я не иду.

Адвокат сказал сдержанно и любезно:

— Это было досадно. Но не желаете ли вы продать акции?

— Господь знает, что желаю. Дайте мне покупателя.

Адвокат медленно спросил:

— А акции при вас?

— Здесь? Нет,— отвечал, слегка удивленный тоном адвоката, Бертельсен.— Но здесь, вероятно, и покупателя нет.

— Есть, вам не придется искать его.

— Да-а,— сказал Бертельсен.— Конечно, у меня нет с собою акций. В моем несгораемом шкафу много бумаг, не могу же я все их таскать с собою.

— Вы можете потребовать, чтобы вам прислали их.

— Понятно, — сказал Бертельсен, — это я могу. Но ведь это не к спеху. Теперь я здесь только для того, чтобы отпраздновать рождество.

Во время всего этого разговора Рууд, скрытый газетою, сидел в уголку; теперь он прокашлялся слегка, аккуратно сложил газету и вышел из курительной комнаты.

— Он, что ли, хочет приобрести у меня акции? — кивнув на него головою, спросил Бертельсен. — Он дал вам поручение?

Адвокат любезно и уклончиво ответил, что при случае — он так и сказал: — при случае, он купил бы акции, по поручению. Больше он ничего не сказал об этом и, таким образом, не отрицал того, что предполагал купить акции для этого ничтожного купчишки Рууда, который так скромно, но с набитою мошною, сидел в своем углу.

Но Бертельсен не пошел ему навстречу. Хуже всего было то, что он тоже потерял свое положение в санатории и в глазах у адвоката, он не мог больше с авторитетом говорить о возмещении убытков фру Рубен. Он как-то поймал с глазу на глаз адвоката и дружески, вполголоса, попросил его пойти навстречу фру Рубен. Адвокат выслушал его, все время держался хозяином, старым знакомым, почти другом: — Разве он должен платить за гостей, если их кто-нибудь обманет? Он находил, что дела санатории нельзя вести таким путем. — Нет уж, господин Бертельсен, простите.

Бертельсен понял, что все пропало, в глазах фру Рубен он явится человеком, не имеющим здесь никакого голоса. Это, казалось, было сейчас совсем некстати ему, оно как бы изменяло все его планы.

Адвокат сидел и думал и ждал, как подействует его отказ, он размышлял, поблескивая глазами. Потом снова заговорил:

— Нет, направить санаторию по этому пути — куда же это поведет? Другое дело, если бы фру могла в той или другой форме дать нам компенсацию, тогда стоило бы подумать об этом. Как вы думаете, очень важно для фру Рубен, чтобы ей вернули ее расходы?

Бертельсен ответил, что вдова консула Рубена — богатейшая женщина и, конечно, ее не интересуют, собственно, эти шиллинги. Он отлично понимал, что ее, наоборот, бесит потеря кольца, и что она желает, получив обратно свои расходы, восстановить у самой себя, в своей душе *status quo ante* — вернуться к тому моменту, когда она еще кольца в глаза не видала.



— Очень тонко проанализировано,— сказал адвокат,— стоит взвесить то, что вы сказали. А как вы думаете, согласится она на интервью?

— Интервью...?

— Она стала такая хорошенькая и тоненькая, просто лилия, красавица, да и только. Не обязана ли она этой переменной прошлому своему пребыванию в санатории у нас?

Бертельсен онемел.

— Я думаю, не есть ли это последствие ее пребывания здесь. Что это именно привело ее к исхуданию, превратившему ее в молодую девушку?

— Не знаю,— сказал Бертельсен.

— Конечно, но я не считаю этого невозможным. И ни доктор Эйен, ни другие врачи, с которыми я беседовал, не считают этого невозможным.

У Бертельсена забрезжила надежда, что, может быть, тут легкий путь к спасению, и он сказал:

— Хорошо, спрошу у нее.

— Сделайте это. Тут же скажите ей, что это, по всем вероятностям, влияние воды — воды в связи с воздухом и жизнью здесь, вообще наше лечение действует таким чудотворным образом. Скажите ей это. Она умная женщина и не найдет это невозможным.

— Ну, а если это не так? Если она, скажем, похудела от того, что морила себя голодом?

— Тогда, вы думаете — нет повода для интервью? Но если она исхудала от голода, то и другие могут прибегнуть к этому средству параллельно со здешней водой. По-моему, это ничуть не мешает делу. Но, если даже санатория не при чем в том, что фру Рубен помолодела, то ее интервью все-таки создаст рекламу нашей горной лечебнице. Оно само по себе полезно для нас. Кроме того, мы можем указать на фактические чудесные излечения: нервы доктора Оливера, душевное состояние Самоубийцы Магнуса, легкие графа Флеминга и так далее; если мы к этому прибавим еще исхудание фру Рубен, то это может принести пользу другим страдальцам.

— Кто будет ее интервьюировать?

— Здесь живет один господин, который корреспондирует в три газеты: в газеты, издающиеся в Христиании, в Стокгольме, и в Копенгагене, большие три газеты.

— Я поговорю с фру Рубен,— сказал Бертельсен.

— Скажите ей, при случае, что санатория с удовольствием пойдет ей навстречу и постарается, чтобы она забыла возмутительную историю с мошенниками.

Люди ползают и ползают, некоторые здесь, другие там. Порою ползают вместе, порою встречаются и не желают уступить дорогу друг другу. А иногда переползают через труп друг друга. И разве может быть иначе? Разве они не люди?

Адвокат Рупп्रेхт не желал ничьей гибели. Когда он, при случае, одержал, так сказать победу над лесопромышленником Бертельсеном, он не хотел торжествовать над ним, наоборот: он хотел возместить то, что тот потерял. В данном случае акции — хорошо. Но он не мог радоваться, не мог удержаться от того, чтобы потерять руки и посмеяться, когда ему удавалось срезать своего ближнего.

Рууд спросил его: — Как обстоит дело с акциями?

Адвокат знал только то, что Рууд сам слышал в курительной комнате. Тому казалось подозрительным, что Бертельсен медлит с доставкой акции. Может быть, их не получить вовсе.

— Как это так?

— А, может быть, они заложены? Молодой Бертельсен мог заложить акции и получить за них деньги.

Адвокат выразил надежду, что не так плохо обстоят дела фирмы «Бертельсен и сын».

Таков был адвокат, добродушный и щедрый, всепримиряющий дух. Он, главным образом, смотрел за тем, чтобы пансионеры в санатории не ссорились и не переползали через труп друг друга.

Для Рууда ничего не оставалось сделать другого, как приобрести акции.

Рууд был не из худших, не преступник, не дьявол, далеко нет. Он ходил с опущенными постоянно глазами и, если находил булавку на ковре, он демонстративно клал ее на стол около того, кому она принадлежала. Это был человек с седой, аккуратно подстриженной бородкой, на пальце он носил масонский перстень, и имел состояние, достаточное для того, чтобы быть честным. Зачем были ему акции? Просто потому, что его земное счастье позволяло ему при случае похлопать себя слегка по карману, смирить высокомерие молодого Бертельсена, не желавшего его знать и не кланявшегося ему, хотя у него и был такой почтенный вид. Но, наоборот, отцу его, старому Бертельсену, обратившемуся однажды к Рууду за маленькой услугой, которая и была ему оказана, он желал всего лучшего.

Таков был Рууд.

Но адвокат Руппрехт был парень ловкий, он покорила своей любезностью все сердца, он устроил в салоне маленькую вечеринку с закуской и выпивкой; всех проходивших мимо, он приглашал подсесть к ним. Был праздник Рождества, сказал он, и нечего было хмуриться. Учительницу музыки он заставил сыграть «Торахус-Марш», а после произнес речь в честь отсутствующего композитора; некогда он был привязан к нашей санатории; играл он, как бог, но его мучила тоска по загранице, — адвокат всегда относился к этому с уважением, но, к сожалению, ничем не мог помочь ему.

Тогда явился человек с светлым умом и обладавший средствами, и молодой артист был спасен, поднят над полями и морями и перенесен в далекий свет. Адвокат поднимает в честь этого великого дела свой бокал за здоровье господина коммерсанта Бертельсена.

Все встали, поклонились и выпили.

Чего хотел достичь адвокат Руппрехт своей идеей? Ничего, ничего дурного, он просто хотел доставить приятную, праздничную минуту Бертельсену. Было Рождество, были святки, Бертельсен был гость, кроме того, его уже осадили.

В этот же день ему представился случай поделиться своими мыслями с фрекен д'Эспар:

— Ужасно досадно, что вы покидаете нас, фрекен. Вы из первых наших гостей и мы все очень привязались к вам.

Фрекен улыбнулась.

— Но это нельзя изменить. Вы уезжаете? Это решено?

— Да.

— А то я предложил бы вам кое-что: вы как-то сказали, что для вас дорого жить в санатории — если вы желаете, мы могли бы сделать вам уступку.

— Благодарю вас, но я должна: как вы сами сказали, это дело решенное.

— Конечно, — улыбаясь сказал адвокат, — молодым хочется полетать. Но всегда милости просим назад сюда, в гнездо.

Он обошел всех гостей, беседовал с ними, обошел все постройки, заглянул в сарай и в хлев, разговаривал с работниками. И здесь адвокат был кроток и обходителен. Пришел, например, инспектор Свендсен с прямо-таки комическим делом: как же иначе это назвать, если он попросил о звании... директора?

— Директора? — переспросил адвокат. И он посмотрел на инспектора Свендсена, но вспомнил, что теперь праздничное время, Рождество, и может быть, шумит немного в голове у старого моряка.

— Ну, конечно, — сказал Свендсен, — ко мне приходят и спрашивают, не директор ли я. Нет, отвечаю я. Где же директор? спрашивают меня, а я стою, как дурак.

— Да... а, — сказал задумчиво адвокат. — Но чего собственно им нужно от директора?

— Этого я не знаю. Но вот скотник, например, он директор в хлеву, а у почтальона золотой шнур на фуражке.

— Да, в этом отношении вы правы. Но я не знаю... не думаю, чтобы вы могли стать директором, Свендсен. Не думаю, что вы владеете английским языком, объехали вокруг света и после доктора вы почти первое лицо в санатории?

— Я ведь только так спросил это, — кротко сказал Свендсен и собрался уходить.

Он был, как будто слегка оскорблен.

Но так как адвокат не хотел обидеть его, то сказал ему в заключение:

— Видите ли, Свендсен, ведь вы — инспектор над всем, и санатории нужен такой именно человек. Если же сделать вас директором, то где мы возьмем хорошего инспектора? Подумали вы об этом?

Таков был адвокат.

Он отлично устроил дело со вдовой консула Рубена. Да, он добился того, что она согласилась на интервью, и ей вернули истраченное ею на миледи. Но само интервью было такое тонкое и прекрасно написанное; не было никакого преувеличения, только два-три намёка на воду в Торахусе, на это чудесное средство для исхудания; там не было места никаким учреждениям, только несколько слов, случайно высказанных в беседе с журналистом.

Все было в порядке, фру Рубен была удовлетворена, Бертельсен был удовлетворен, адвокат не понимал, что значит, не удовлетворить кого-нибудь. О, его любезность в качестве хозяина и начальника — это был дар божий. Когда вернулся в санаторию Самоубийца, адвокат и его не побранил за то, что он, исчезнув внезапно, напугал всех пациентов; нет, он дружелюбно встретил его, улыбаясь глазами, и попросил его войти и поскорее спросить себе поесть чего-нибудь. — Как долго вы были в пути? — С утра. — А со станции вы всю дорогу шли

пешком? Я сейчас прикажу подать вам поесть чего-нибудь горячего.

Да, Самоубийца опять вынырнул.

Несколько дней его совершенно не было, этого нельзя было отрицать, но в последний день в году он вернулся, чтобы в горах начать завтра Новый Год. Он был молчалив и подавлен, прятался, поворачивался спиной, чтобы не кланяться, словно что-то постыдное тяготело над ним. Давно уже не был он мрачным; он был таким, как в первое время своего пребывания в санатории, когда он изводил себя самоанализом и мечтал о самоубийстве. Словно, желая придать себе приличный вид, прошел он к себе в комнату и побрился; красноватую астру, имевшую такой вид, будто она долго лежала в кармане, он воткнул себе в петлицу, и она продолжала там свою борьбу со смертью.

В таком виде он явился и получил обед. Перед горничной он извинился, потому что пришел не вовремя. Обед его продолжался недолго и кончился бы еще скорее, если бы не доктор, усевшийся как раз против него. Доктор тоже не брюзжал, он, наоборот, старался занимать его. Он рассказывал, что скоро в санатории будет электрическое освещение.

— Вот как! — сказал Самоубийца.

— Море огня, нет, пожар. Можно будет, поднявшись на «Вышку», читать там в этом свете почту.

— Да, — сказал Самоубийца.

— Ах, господин Магнус, вас все-таки это интересует больше, чем вы желаете показать.

— Меня это совсем не интересует.

— Сегодня вечером мы встретим Новый Год «Торакус-Маршем», — продолжал перечислять доктор.

Молчание.

— Знаете ли вы, что к лету мы будем строиться? У нас уже так мало места, что приходится расширить помещение. Нам не только нужно закончить отделкой неготовые еще комнаты, мы должны строить. Мы осенью увидели, что у нас не хватает места.

Молчание.

— Заметили вы, что у нас флаг?

— Да.

— В общем мы скоро сделаемся образцовой санаторией. Мы расширим дорогу к станции и превратим ее в дорогу для автомобилей. Сюда будут приезжать вельможи, господа со своей прислугой и собственными лошадьми,

богачи, которые вперед будут заказывать целые амфилады комнат.

— Мне кажется, вы рассчитываете долго жить,— мрачно сказал Самоубийца.

Доктор не ожидал такого резкого выпада, он повторил:

— Долго жить? Ну, конечно, что же другое мне делать? Впрочем, долго ли мы живем, или мало, мы должны делать то, что можем.

— Кто это сказал?

— Я сам себе это говорю. Это так. Когда мы умрем, после нас явятся опять люди.

— Кто-то тоже должен умереть. Да.

— Верно, которые тоже должны умереть. Ничего не поделаешь.

— Тогда к чему же все это?

— Все вместе — это порядок, жизнь, так уж есть.

— Нет, все вместе — смерть,— сказал Самоубийца.

Чтобы не раздражать больного человека, доктор согласился и с этим, но он улыбнулся, пробормотал что-то неопределенное, словно он знал этот вопрос гораздо лучше.

— Где это кончится? — продолжал Самоубийца.— Когда это кончится? Почему не прекращается это вечное уничтожение? Ведь не делается лучше? В чем же смысл? В непрерывающейся дикости?

Он кончил обед и хотел уйти, но доктор удержал его. Следующий диалог мог бы быть короче, если бы доктор побольше молчал.

— Плохо вы съездили? — спросил он.

— Почему вы знаете?

— Я делаю это заключение, как врач.

— Врач! — с гримасой сказал Самоубийца.— В каком состоянии желудка ваших пациентов?

— Вы вернулись гораздо более худым, чем уехали отсюда. Вам следовало бы гораздо больше прожить у нас.

— Много ли у вас выходит слабительной соли?

— Нет,— сказал доктор.— Теперь вы должны сделаться таким же, как мы все, господин Магнус; должны стать здоровым, как мы, веселым, как мы. Совершенно не к чему тосковать. Налейте себе стакан вина и воспряньте духом. В последнее время вы сделали было таким бойким. Для чего собственно вы ездите?

— Я столкнулся с жизнью,— сказал Самоубийца,— с тем, что вы называете жизнью.

— Жизнью,— повторил доктор.— Предоставьте жизнь ее собственному течению. Жизнь богата, великолепна, мы должны радоваться жизни и ловить момент.

— Я уже раньше много раз слышал это. А останавливались ли вы хоть на минутку, задумывались ли? Вы можете видеть ужас и гибель у другого, в его лице, в его глазах, а сами, испытывали ли это в своей груди? Стояли ли среди моря и зывали ли о помощи?

— У меня не было времени для этого, я работаю, стремлюсь...

— Да, мы стремимся, каждый к своему, вы к своему, я тоже, и, господи боже, как мы стремимся. Но все это рано или поздно приводит нас к верной смерти. И только безумец не думает об этом. Он воображает, что стоит выше этого, если забывает.

— А если мы помним, то куда приведет нас?

— К смерти.

— А если забываем?

— К смерти.

— Ну, и что же...

— Выходит, что у кого-нибудь одной глупой радостью больше, но это ни в ком не вызывает зависти.

Доктор подумал и сказал:

— Он радуется тому, что переносит жизнь. Это не так глупо.

Самоубийца не обратил внимания на его слова.

— Вы давеча сказали: «порядок». Когда вы видели, чтобы порядок внушил нам бодрость и подъем духа, когда мы пытаемся сделать что-нибудь хорошее? Нет, «порядок» и в лучшем случае, как всегда, слеп, непримирим и недействителен.

— Но, господи боже мой...— начал было доктор и замолчал.

— Вы сказали: врач. Вы строитесь, вы расширяете лечебницу — зачем? Мы собираемся здесь с востока и с запада, многие приезжают издалека, мы стоим на коленях, молимся, хватаемся за всякое лекарство, но никому нет помощи, смерть нас настигает.

Доктор не мог удержаться от улыбки и сказал легкомысленным тоном.

— Вы заговорили чисто библейским слогом — с востока и с запада.

Сразу Самоубийца съжился и принял снова совершенно равнодушный вид:

— Скажите, доктор, много вывесили вы новых плакатов в мое отсутствие? «Просят осторожно ступать по полу после 10 часов вечера, чтобы не беспокоить лежащие в постелях жертвы жизни». «Просят осторожно обращаться с огнем и гасить лампы и свечи, чтобы не спалить полумертвецов».

— Ха-ха-ха! — рассмеялся доктор деланным смехом. Но вот, послушайте, что собирается сделать этот самый доктор: он хочет отправиться в полночь на лед, чтобы испытать там новые коньки. Вот что сделает врач. Ему кажется, что это самый веселый и самый здоровый способ встречи Нового года.

— Пойдемте со мною! Луна будет нам светить.

— В коридоре висит плакат, приказывающий мне быть в постели в десять часов вечера.

— Ну, в ночь под Новый год доктор освобождает вас от этого постановления...

Самоубийца пошел к себе в комнату, лег в постель и заснул, или притворился, что спал, вплоть до того времени, когда вечерний колокол прозвонил призыв к торжественному ужину. Тогда он быстро оделся и сошел вниз.

Дом был полон народу, все были нарядны. Самоубийца воткнул в петлицу свою астру, она казалась теперь совсем поблекшей.

За столом доктор опять сказал речь; неутомимый человек этот благодарил всех присутствующих за добрый старый год и желал им всем и каждому в отдельности лучшего Нового года. Ничего другого нельзя было сказать, то была вполне уместная речь, и никто лучше доктора Эйена не мог произнести ее. Он был человек удачливый. Так как он, понятно, должен был немного возбуждать себя и быть занимательным, то он, в заключение объявил, к веселию гостей, что, несомненно, сам директор, адвокат Руппрехт сказал бы лучшую речь, стоило только взглянуть на его руки, чтобы опять, какие круглые и приветливые слова излил бы он на всех. Но тут доктор сел на мель. Он думал больше о пансионерах, чем о тщеславии директора; теперь предстояла музыка, в том числе: «Торахус-Марш» и, наконец, раздача накопившейся новогодней почты, сказал он.

Все общество собралось в салоне, вокруг кофе и печений. Учительница музыки играла, все пели новогодние песенки. Туда же принесли и почту. Она была не особенно велика, но ей были очень рады; то были милые сердечные приветы из внешнего мира, пачка иллюстрированных



открыток и писем, скопившихся у экономки, которые она принялась раздавать публике. Доктор получил две поправительные карточки, Рууд получил письмо, фру Рубен — пять открыток, фрекен д'Эспар — ни одной. — Господин Магнус, — позвала экономка. Это возбудило всеобщее внимание. Самоубийца выступил вперед. Открытка. Он сейчас же с любопытством взглянул на нее, потом пощупал еще, нет ли там двух открыток, и с нахмуренным челом отошел в угол и уселся там. Остальные открытки были для прислуги; девушки получили по несколько штук, были и запоздавшие рождественские приветы, Cards из Америки. Наконец экономка роздала всю почту.

Еще поболтали, потом занялись немного музыкой, затем приезжий инженер декламировал наизусть стихи. Он хорошо декламировал, и его все просили еще и еще, пока он, наконец, не прочел всего, что знал, и перешел к карточным фокусам. Слушатели удивлялись, почему он не стал актером, и он отвечал, что таково и было его намерение, но... Молчание. — О, да, но ведь дельный инженер тоже чего-нибудь да стоит, — сказал адвокат Руппрехт, и все сгладил.

Наконец все разошлись.

Было около десяти часов, обычное, мещанское время спать ложиться. Фрекен д'Эспар и Самоубийца вышли из дому. — Мы сделали то же и в рождественский вечер, — сказала она и стала ему говорить о том, что он не должен так падать духом. Была приблизительно третья четверть луны, но воздух не был чист и мало было света, они подошли только к ближайшей скамейке и сели. Ее разбирало, может быть, немного любопытство, и она хотела бы разузнать об его поездке, где он был и как ему жилось там, но он говорил о другом: о расширении санатории, о ректоре Оливере, которого он продолжал презирать, и о самой фрекен д'Эспар. Он, казалось, очень интересовался ею, хотя не расспрашивал ее; она была его товарищем по страданиям, конечно, у нее было кое-что на душе, да и у него тоже. Когда она сама рассказала ему, что переселится на сэттер, к Даниэлю, он кивнул головою, выразив этим свое удовлетворение.

— Это еще не так плохо, — сказал он.

— Конечно, сказала она, — для меня слишком дорого жить долго здесь. А у Даниэля я получаю всю новую комнату в свое распоряжение.

— Конечно, дорого; я тоже предполагал рассчитаться здесь и переселиться куда-нибудь в другое место, но...

— Но не удалось?

— Нет. Я напрасно съездил.

Молчание.

— Но,— начала она,— следующая поездка может привести к чему-нибудь. Я, конечно, не знаю, но не слишком ли мрачно вы смотрите на... да, на себя самого и на все вообще.

Он поразил ее тем, что вдруг стал необыкновенно общителен. Никто не мог так заставить его разговариваться, как она: ее сочувствие, милость, маленькая, склоненная головка, внимавшая ему, делали его откровенным.

— Я собственно предполагал поехать домой и пристрелить кое-кого. Вот, что я задумал. Но когда я стоял уже под окном, я передумал.

— Неужели? — сказала Фрекен, но не знала, что еще ответить на это.

— Тогда я купил несколько астр, но, конечно, не послал их.

— Не знаю,— осторожно ответила она,— но может быть, вам лучше следовало послать их.

— Нет. Мужества нет сделать, что бы то ни было, ни хорошее, ни дурное.

— Я заметила, вы получили поздравление к Новому году.

— Да,— сказал он.

— Ну, вот видите! Значит, вы получили ответ на свое рождественское поздравление.

Молчание.

— Началось это год тому назад. Или... я уже не помню точно, но что-то около года. Сначала я не верил. Ведь сама по себе нужна известная низость, чтобы верить чему-либо подобному, и я в течение шести месяцев не верил — сказал Самоубийца. Теперь он, казалось, хотел высказаться до конца, объяснить все на чистоту, но это только частью удалось ему; сначала он толковал что-то долго и бессвязно, он хотел сделать признание, но слишком был подавлен и рассказывал все отрывочными эпизодами.

Фрекен слушала его, разинув рот. Что он сказал? Да. Обыкновенно он шел в стороне от всего этого, уступал дорогу, говорил он. Дурацкая тактика, понял он наконец. Он пришел домой и успокоился вместо того, чтобы пробиваться вперед. Чего же он достиг? Он узнал, что пойти домой и улечься — это еще не самое легкое дело, он повернул фронт и стал следить за ними, но со стыда не мог бежать бегом и поэтому потерял их из виду. Дома

он повесил на стену географическую карту так, чтобы, лежа, можно было смотреть на нее; задавал себе разные математические задачи, которые решал, лежа; читал, считал фигурки на обоях. Однажды вечером он узнал, что ребенок заболел. Самоубийца подумал и спросил:

— Сколько времени прошло, сказал я вам, с тех пор, как это началось?

— Год,— ответила фрекен.

— Я хотел сказать, два года. Нельзя этого скрыть: ведь там был ребенок. Ну-с, и вот мне сказали что ребенок болен. Какое мне дело до этого? Я пошел туда и взглянул на нее, раньше я почти не видал ее, малюсенькая, полугодовалая девочка. У нее была резь в животе и она кричала; больше ничего не было. Повязать ей животик теплой шерстяной тряпочкой! — сказал я. У нее было крошечное личико, крошечные ручки, милое, красивое созданище, стыдно сказать трогательное; но какое мне до нее дело! Впрочем, прошло уже два года, как все это началось, скрывать этого дольше нельзя было. Намажьте тряпку маслом, возьмите две тряпки, сказал я, и согревайте одну, пока другая лежит на животе. Мы занялись этим и удачно: она замолчала, только вздрагивала от времени до времени и, наконец, заснула. Я словно в первый раз видел ее, и некоторое время стоял около нее, она все хваталась за мою руку и крепко держала меня за палец, а у меня в сущности ничего общего не было с нею. Она не крещена, сказал я самому себе, и как собственно назвать все это? Когда стихло, я услышал шепот в соседней комнате, кто-то уронил стакан, и он разбился вдребезги. Я взглянул на няню, и она на меня взглянула, — нет, это были не ее гости. Теперь, сказал я ей, вы будете знать, если в другой раз случится, нужно приложить тепленькое масло на шерстяной тряпке, и все пройдет. Я вернулся в свою комнату, но больше не сомневался в том, что меня позвали к ребенку для того, чтобы посвятить во что-то другое. Я полежал, почитал немного, поразмыслил немного, погасил лампу, опять думал. Я нисколько не отупел и не стал апатичным за последние шесть месяцев; напротив, стал раздражителен, и решителен: готов быть вступить в бой. Тут я услышал позади, в доме какой-то шум. Снова пришла няня. Что-то случилось, испуганно сказала она, что-то упало, — это на черной лестнице. У меня на ночном столике лежит всегда карманный фонарик, чтобы ночью смотреть на часы; я взял этот фонарик и пошел. Верно: он не умер и не оглушен, но он как тряпка, он пьян.

Я осветил его и увидел, в каком он состоянии, не может двинуться, лежит на полу и улыбается мне. Пошел вон! — сказал я, нашел его шляпу, и помог ему выйти за дверь. Когда я опять вернулся, кто-то в темноте сидел в моей комнате, я слышал, как она что-то бормотала, там не было света, и я зажег огонь. Как раз, как я предполагал: и она не тверда на ногах, не чересчур, но бормотала всякую ерунду, от нее пахло вином. Чего ей надо? Ну, конечно, извиниться. Она отлично слышала, что малютка плакала, но не смела войти туда, у нее так шумело в голове, она столько выпила. Это никогда больше не случится, никогда. Но только я не должен ничему верить, не должен верить ничему дурному, а так как я не верил ей, то она отвечала: — Уйди от меня, я хорошо знаю, кто ты, я тебя знаю, ты не мой муж! Вот что она рассказывала мне; она сидела одетая, а на мне накинут был только халат, и она стала уговаривать меня, чтобы я опять лег, а не сидел и не мерз бы. Она несколько раз принималась объяснять, что больше этого не случится, боже сохрани, нет. Что мне было сказать на все это? Ничего не было невероятного, я был доведен до белого каления, и мне оставалось только шипеть на нее, а ей — только извиняться и просить о помиловании.

Конечно, все кончилось, как и много раз раньше, тем, что она осталась у меня, и к утру все было забыто.

— Да, это было нехорошо, это было нехорошо, — сказала фрекен д'Эспар, как будто она принимала в этом участие.

— Да поймите же меня, как следует, — сказал ей Самоубийца, — тут не было ничего злого. Злое? Ни в каком случае. Ужасно глупо, но о таких историях всегда люди составляют себе ложное понятие. Случилось все это не потому, что она желала меня мучить, а потому, что она поддалась; ее больше манило поддаться, чем устоять. К тому же он был ее друг детства, хмельного в рот не брал и вообще в нем не было ничего особенного дурного; он был красив и высок ростом, но не особенно умен. Они, наверно, поженились бы, если бы я не попался на пути, я был более обеспечен, я мог предложить дом и очаг. Разве я не знал всего этого? Конечно, знал, я добивался этого, — ничего не поделаешь, все мы люди, все человеки. Сопоставьте все это вместе, пожалуйста. Но у них не было никакого основания желать мне зла, а, следовательно, им это и в голову не приходило. Поэтому, если бы я был в стороне, все сложилось бы лучше, но я

был тут, и во мне тоже совсем не было злобы. Вот и все. Но поставьте себя на мое место с другой стороны: разве я мог идти дальше, разве я в течение шести месяцев не старался ничему не верить? Что произошло бы сегодня вечером, если бы ребенок не помешал этому своим плачем? Все было улажено, разве не могли они не подымать шума. От этой мысли, этого подозрения, недалеко до ребенка. Я сказал год, но это стало невыносимо, я не мог скрыть, что уже два года прошло, с тех пор, как это началось, даже больше двух лет, значит, началось рано, очень рано — какое же было мне дело до ребенка? Вопрос гораздо серьезнее чего-нибудь другого.

Самоубийца замолчал.

Фрекен захотела утешить его:

— Не верьте этому. Заметьте, что так рано этого не делают, в этом я уверена.

— Вы так думаете? — заинтересованный, спросил он...

— Должен пройти год, два, три, пока нечто подобное может случиться; это случается только тогда, когда люди успели уже надоесть друг другу, подразумеваю, когда человек самому себе надоел. Спросили вы ее об этом?

— Нет. Только намекнул. Разве мог ждать я правды с этой стороны? Но, допустим, что это так, что же случается в таком случае?

— Как это?

— Нет, вы не хотите вникнуть. Вы изображаете это, как всем известное, будничное обстоятельство, и, словно считаете это даже не достойным обсуждения.

— А вы представляете себе, как это происходит? Я вас не понимаю. Все мы люди, как вы сказали, — становишься самому себе в тягость и позоришь себя. Случается, не правда ли?

— Совершенно согласен с вами. Но как же все это происходит? В каком положении? Сопротивляются ли хоть немного? В темноте это бывает?

Фрекен старается в темноте разглядеть его лицо. Она молчит, не верит своим собственным ушам.

Тогда он умолкает и не задает больше вопросов.

Фрекен закутывается в свой плащ; он съезживается, словно с тем, чтобы подчеркнуть, каким покинутым он останется, если она уйдет. Уткнувшись подбородком в грудь, он говорит:

— Да, от нее я не добился никаких объяснений, хотя гонял, гонял ее из комнаты в комнату и все расспрашивал ее.

— Этого я на вашем месте не делала бы, не гоняла бы ее.

— Она тоже говорила, что я сошел с ума. Но это только тактика у меня была сумасшедшая, меня собственно так легко было успокоить. Я был глупее всякого животного в поле. Когда прошло шесть месяцев, в течение которых я ничему не верил, наступили грозные месяцы: в один прекрасный день я вынужден был поверить. Мне, во всяком случае, казалось. Я стал спать меньше, были целые недели, когда я совершенно не спал, за исключением тех часов, когда мы оба находились в одной комнате, я следил за ними, находил их и мог это твердо установить. Мне казалось, что мог. Один раз. Да, что значит, один раз! Не стал бы я выставять себя дураком из-за одного раза. Много раз, говорю я вам. Они не чувствовали этого позора, этой низости; они, возвращаясь из кафе или из театра, смотрели мне в глаза. Я думал: то, что так естественно вытекает само собою, вероятно, в их глазах вполне справедливо, иначе я ничего не понимаю. И она мне высказала все совершенно так, как я думал: она сказала мне, что у нее на уме только он один, и никто другой, всегда был он, а я разлучил их. И опять я повел плохую тактику, я возразил ей, ответил на ее обращение ко мне, стоял и отвечал. Я ей сказал, что если бы она вовремя сделала это признание, я с миром отпустил бы ее. С моей стороны не было никакой лжи, но мне следовало молчать. Я облегчил ее положение, она ответила, что все время старалась дать мне понять, каково ей было, но я не хотел или не мог ничего слышать. Без сомнения, и она не лгала, это было очень вероятно. Вот каково было мое положение.

— А вы не думали о том, чтобы разойтись?

— Конечно, думали. Время от времени у нас это мелькало в голове. Я, с своей стороны, не много думал об этом, но она, может быть, была храбрее, не знаю, я ничего не слыхал. Когда я думал об этом, то приходил только к тому заключению, что развод тоже не разрешает вопроса, он разрывает только узы. Что дал бы ей развод? Она могла обойтись без него и не упоминала о нем. У меня самого слишком мало было мужества, чтобы потребовать его. Жалок человек! Я представляю себе, что она уедет и заберет все с собою: тогда дома на стене блузки висеть не будут. Открою ящики — они пусты, я — к зеркалу, там ни вуали, ни перчаток. Если я куплю бриллиантовое колечко и положу его, никто его не возьмет. Нет, только не развод. Даже запаха ее духов не останется

в квартире, ни дыхания, ни забытого слова — нет, пустота в комнатах. Разве будет лучше, чем сейчас? Кроме того, я, в своем унижении, не совершенно отторгнут от нее, дверь ее никогда не заперта, благовест трогал ее до слез и объятий... мне следовало провалиться сквозь землю, а я наслаждался и сам плакал. Жалок человек! После этого мы оба прошли к малютке. На другой день все было забыто.

Фрекен д'Эспар покачала головою.

— Все забыто. А могло сложиться совсем по-другому, все могло пойти по-хорошему.

— Конечно, боже мой,— сказала фрекен,— многое могло бы сложиться по-другому.

— Опять вы правы. Возможно, что, если бы я был другим, если бы у меня была другая внешность, если бы я лучше вел себя, возможно, что она вернулась бы или вовсе не ушла бы от меня. Все это возможно. Но станьте снова на мое место, как же обстояло дело со мною? Я существовал, и вот к чему я пришел. Если моя негодность была очевидна, то негодность других тоже не была невидима, я мог указать на нее и твердо установить ее. Тянулось это уже более двух лет.

— Что вы намерены предпринять? — почти шепотом спросила его фрекен.

— Ничего,— ответил он,— я не гожусь ни для хорошего, ни для дурного. Я поехал в Христианию, чтобы разом покончить со всем этим, но затем передумал. Все-таки, думал я, у ребенка имеется теплый угол, все дообеденное время — солнце. Я никого не застал и не вошел туда, все помещение было вечером освещено, только в моей комнате было темно; они относились с уважением к тому, что я запер ее. Не было ни шуток, ни пляски, ни крика.

— Этого еще недоставало!

— Я оценил это, я стал очень скромн. Я также был ей признателен за то, что она не открывает моей комнаты и не пользуется ею; благодаря этому я становлюсь как-то менее бездомным, у меня в городе есть комната.

— Это ужасно тяжело для вас,— сказала фрекен, совсем потрясенная.

Ему, вероятно, пришло в голову, что он долго говорил, и наверно показал, что он расстроен; он круто оборвал и поднялся с места.

— Поздно,— сказал он,— вы, вероятно, озябли, простите, что я забылся.

— Нечего вам извиняться.

— Спасибо. Но вас не может интересовать моя участь. Впрочем, она не так печальна, как участь многих других, моя не из худших, у меня много радостей.

— Надеюсь.

— Пойдемте, фрекен, уже поздно.

Когда они входили в дом, она повторила:

— Я, действительно, надеюсь, что вы имеете много радостей. И, господи, боже мой, может быть все еще опять наладится, вы не думаете?

— О, нет. Хотя, конечно, закаяться ни в чем нельзя.

— Вы получили поздравление...

— Да, я получил поздравление. Как вы думаете, от кого оно было? От Мосса?

— Нет, может быть, и не от Мосса. Может быть, от кого-нибудь поинтереснее.

— От меня самого,— сказал Самоубийца.

Она увидела при свете коридорной лампы его скорбное лицо и молча смотрела на него. Он вынул поздравительную карточку из кармана и показал ее ей: «Замок Акерсхус. Всего лучшего к Новому году». И подписано его инициалами. Губы у него дрожали.

— Я купил ее в пути,— сказал он.— Я знал, что не получится никакая другая карточка. Я послал ее не для того, чтобы доставить себе удовольствие, я не обращаю внимания на что-либо подобное, я сделал это для других пансионеров, чтобы они видели, что я получил ее. Теперь, фрекен, идите спать, спокойной ночи. Он быстро повернулся и снова вышел в зимнюю ночь.

Утром по санатории разнеслась новость, мрачная, грозная новость. Началось это спозаранку: когда девушка внесла к доктору в комнату кофе, она, ошеломленная, вышла оттуда и сообщила об этом другим девушкам; затем это стало известно кое-кому из пансионеров, адвокат Руппрехт моментально вскочил с постели и пустился в обход санатории. Что случилось? Нечто непонятное и жуткое, и это в день Нового года?

Когда адвокат проходил мимо инспектора Свендсена, собиравшегося поднять флаг, он остановил его и сказал:

— Погодите, не подымайте сейчас флага. Вы видели доктора?

Нет, инспектор не видел сегодня доктора. В конторе горит еще лампа, его нет там?

— Нет, но зайдем еще раз, посмотрим.

Доктора там не оказалось.



Из конторы они прошли в комнату доктора, но и там его не было. Бог его знает, где он был. А тут, как раз, Новый год и все такое.

Многие из пансионеров быстро поднялись с постелей и приняли участие в розысках. Выяснилось, что доктор отправился сегодня ночью на горное озеро для испытания новых коньков; несколько человек побежало было к катку, но навстречу им попалась, опередившая их и возвращавшаяся уже со льда, фрекен Эллингсен. В руках у нее была деревянная жердь. Спросили ее, не встретила ли она доктора, но она его не видела, с мрачным видом покачала головою и сказала:

— Но я кое-что открыла, лед пробит во многих местах, там удили рыбу, одну из прорубей не затащило льдом.

— Да?.. Что же вы полагаете?..

— Не затащило, — кивнула она головою. — Это случилось сегодня ночью.

— Возможно ли?.. Что вы говорите?

Они побежали дальше, чтобы взглянуть на новую прорубь, а фрекен Эллингсен пошла домой. Она была очень занята, погружена в размышления. Это зияющее во льду отверстие — ведь это была настоящая английская Short Story, ночная трагедия, о, от нее ничего не скроется.

Так как она вернулась с места происшествия и могла сообщить новости, то вокруг нее собралось много пансионеров; говорила она вполголоса, но очень внушительно, слушатели ее стали бояться самого худшего.

— Только бы не случилось несчастья, — сказал адвокат. — Прорубь зияет, сказали вы?

— Зияет. Лед, затащивший было ее, сегодня ночью раскололся. Обломки еще не соединились.

— Это отверстия, в которых Даниэль рыбу удит, — сказал инспектор.

— Луна не светила сегодня ночью? — спросил кто-то.

— Нет, — сказал инспектор. — И что ему нужно было в темноте на льду! Которое это было отверстие, фрекен?

— Ближайшее, у самого устья.

— Там именно, где лед был менее всего прочен. Мы воткнули там жердь для предупреждения.

— Вот она, — сказала фрекен Эллингсен. — Она лежала на льду и я взяла ее с собою.

— Зачем? — спросил Бертельсен.

Она ему ответила — ему одному — возможно, что вся ее речь была к тому, чтобы он послушал ее. — Ее, может быть, придется исследовать.

— Жердь? — изумился Бертельсен.

— Да, не будем же терять здесь время и болтать, — перебил адвокат. — Возьмите с собою людей, Свендсен, и вскройте лед. Великий Боже, что если случилось несчастье!

— Я хотела бы сказать вам несколько слов в вашей комнате, — сказала ему фрекен Эллингсен. — А вы, Бертельсен, будьте добры, пойдите с нами.

Что-то было на сердце у фрекен Эллингсен, в этом не было никакого сомнения, у нее был такой необычно задумчивый вид. Адвокат прошел вперед в свою комнату.

— Милости просим, фрекен, садитесь. Что вы хотели мне сказать?

Фрекен Эллингсен заговорила; она подробно рассказала о своем открытии и раскраснелась при этом. Бертельсен, еще раньше слышавший ее рассказы, пытался сначала сохранить равнодушие, но оставил это, ввиду ее полной серьезности:

— Выяснено, что небо было покрыто тучами и луны не было, я сама исследовала прорубь, она достаточно широка, в нее отлично может провалиться человек, разбежавшийся на коньках. Но я не утверждаю, что случилось несчастье.

— Нет, нет. Но что же вы говорите? — нетерпеливо спросил Бертельсен.

Она повернулась к нему. — Вы меня давеча спросили, почему я взяла с собою эту палку. Я ее взяла, потому что ее придется, может быть, подвергнуть химическому исследованию. На ней пятна, похожие на кровь.

— Кровь! — сказали мужчины.

Им указали несколько красноватых пятен на коре, и они не знали, что об этом подумать. Это была несомненно кровь, но Бертельсен спросил:

— Ну, а если и кровь, так что же с того?

— В таком случае палка, может быть, послужила орудием.

— Значит, нападение? — догадался адвокат. — Нет, это неправдоподобно.

Фрекен молчала. В ней не было ни следа притворства, она трудилась над разрешением задачи, они видели, что она старается изо всех сил.

— Но кто, господи, мог напасть на доктора? Милейший человек и со всеми в дружеских отношениях.

— Кто-нибудь да напал.

Адвокат спросил:

— Вы определенно кого-нибудь подозреваете?

— Да,— ответила она,— у меня определенное подозрение.

— Кого же вы подозреваете?

— Я не хотела бы теперь же высказаться по этому делу. Но если это останется между нами...

— Само собою разумеется,— прервали ее оба собеседника и напрягли свое внимание.

Фрекен заговорила тихо и многозначительно:

— Я не утверждаю, что это он, но подозреваю господина, которого мы называем Самоубийцей. У меня имеются основания указывать на него.

Молчание. Серьезность фрекен производит впечатление. Мужчины смотрели на нее и обдумывали ее слова.

— Почему же он мог сделать это? — спросил Бертельсен.

— Душевнобольному человеку (если только он душевнобольной) мало ли что может прийти в голову.

— Да,— сказал адвокат,— в этом отношении я должен отдать фрекен справедливость. Вы сказали, что у вас было основание указывать на него?

— Есть признаки,— сказала фрекен.— Я слышала, как он ночью разговаривал с фрекен д'Эспар в коридоре. Было уже после полуночи. Когда они пожелали друг другу спокойной ночи, вверх по лестнице поднялась одна фрекен д'Эспар. Самоубийца же снова вышел.

— О чем они говорили?

— Нет, это не даст руководящей нити. Они говорили о какой-то открытке, или о чем-то в этом роде. Но Самоубийца вторично вышел ночью.

— Да,— сказали мужчины,— странно звучит все это. И вы уверены в этом?

Фрекен кивнула головою.

— Впрочем,— сказала она,— самое главное доказательство впереди. Я вернулась с катка. Что это значит? Это значит, что раньше всех и первая я пошла туда и первая прибыла на место. Там я нашла... нашла...

— Что вы нашли?

— Вот это,— почти шепотом сказала фрекен и показала астру Самоубийцы.

Все молчали. У мужчин было над чем призадуматься. Прошло некоторое время, потом фрекен сказала:

— Вы узнаете ее? Помните петлицу, украшением которой она вчера была?

Да, они помнили.

— Я нашла ее на льду, около проруби. Она потеряна сегодня ночью.

И Бертельсен и адвокат видели на груди у Самоубийцы эту жалкую астру. Особенно отчетливо помнил Бертельсен момент, когда Самоубийцу вызвали к лампе, и он из рук заведующей получил почтовую карточку: тогда ясно виден был этот увядший цветок.

— Не может быть двух мнений о том, что это и есть именно та астра,— сказал адвокат.— Пока все ясно. Я действительно восхищаюсь вами, фрекен Эллингсен. Как вы все это проследили — какой у вас тонкий ум!

— Она? — вскричал Бертельсен, и стал поддавать жару.— Уверю вас, она полна открытий. Дайте ей кусочек проволоки или выплюнутый окурок сигары,— и она раскроет вам целое преступление.

Фрекен в восторге; признание с той стороны почти подавляет ее; она наклоняется вперед, чтобы скрыть свое волнение:

— Во всяком случае,— говорит она, снова увлеченная событием,— во всяком случае, Самоубийца последний видел доктора. От него можно будет получить разъяснения.

Напряжение, в котором все они находились, обнаружило во время последних **обсуждений** тенденцию рассеяться: нападение казалось им неправдоподобным, оно было исключено. Но, конечно, ничего нельзя было знать, и на палке, по-видимому, действительно была кровь. Они попросили фрекен, чтобы она осторожно поговорила с Самоубийцей.

— Задача эта,— сказал адвокат,— не может быть передана в более верные руки.

Но даже, когда кончилось заседание и они разошлись, адвокат не мог отказаться от всякой надежды найти своего компаньона; он приказал встретившейся ему в коридоре девушке еще раз заглянуть в комнату доктора, которую сам уже много раз осмотрел.

— Посмотрите еще под кроватью,— сказал он.

Сам же адвокат спустился на лед.

Беседа фрекен Эллингсен с Самоубийцей не привела ни к чему: он не видел доктора. Сегодня ночью гулял он гораздо позже полуночи, рассказывал он. Когда он вернулся домой, могло быть около часу или двух часов ночи; он был и на льду, потому что доктор просил его прийти туда, но оказалось, что он пришел слишком поздно: доктора уже не было на катке.

— Видели ли вы палку у устья ручья? — спросила фрекен.

— Палку? Нет, а почему вы спрашиваете?

— На ней будто кровавые пятна.

— Вот как,— равнодушно сказал Самоубийца.— Впрочем, я понять не могу, чего это доктор пошел туда и спрятался. Какой он непоседа!

— Цветок, который вы носили вчера в петлице, я нашла сегодня утром на льду.

— Вот как,— снова сказал Самоубийца.— Он уже никуда не годится, он отслужил свое.

Нет, ничего нельзя было вытянуть от Самоубийцы, то есть, он ведь откровенно все рассказывал, все, без всякой таинственности. В конце концов он перестал слушать, что говорила фрекен, повторил только раза два, что доктор скоро, конечно, вернется.

Наступил обед, пансионеры собрались, но ели в молчании. То был долгий, скучный день Нового года, без флага, без музыки, без смеха и радостей,— день, который мог принести санатории большие убытки. После обеда немного прояснилось настроение. Инспектор Свендсен и рабочие прорубили лед от проруби вплоть до устья ручья, но не нашли никакого трупа. В воде доктора не было. Открытие это обрадовало, конечно, всех в санатории, оно обрадовало, разумеется, и фрекен Эллингсен, но она все-таки удалилась в свою комнату, где она лежала и плакала. О, эта хорошенькая, высокая фрекен Эллингсен с бесцельным чтением детективных романов и расстроенным воображением, она не могла теперь перенести неудачи! Какое было бы для нее счастье, если бы она на этот раз одержала победу! Она не была глупа, она заметила, какой оборот принимало дело: судьба ее скоро должна была решиться. Где был в эту минуту Бертельсен, где развлекал он, стараясь изо всех сил, другую даму? Почему было это так? Если бы ее доказательства были обоснованы, она могла бы надеяться, но доказательства, казалось, ускользали от нее. Ведь Самоубийца несколько не скрывал своего ночного странствования, утерянная им астра не имела никакого значения, и, когда адвокат Руппрехт вернулся с катка, он сказал ей:

— На палке вашей, по-видимому, рыба кровь, ее много вокруг отверстия, где Даниэль потрошил рыбу. А на это фрекен Эллингсен ответила, что да, возможно, что это рыба кровь, анализ покажет это. Вот почему она лежала и плакала, и не вышла к обеду.

Но хотя можно было сказать с достоверностью, что доктор не утонул, он, во всяком случае, не был найден; где же он был? Только что мужчины в санатории хотели было собраться своей компанией, как разнеслась крупная новость, вызвавшая большую сенсацию: послышался звонок из очень отдаленной комнаты, какой-то необитаемой каморки без печки, в которой не было даже порядочной кровати, только походная, с натянутой вместо тюфяка парусиной; да, оттуда позвонили. Когда девушка пошла туда, чтобы узнать в чем дело, она нашла его, доктора, доктора Эйена. Что? — вскричала она. — Тише, — сказал он, не подымаясь с походной кровати, — притащите сюда адвоката. — Девушка ушла под впечатлением, что доктор сошел с ума, глаза у него были налиты кровью.

Адвокат, войдя в комнату, поднял обе руки к небу и хотел было начать предлагать разные необходимые вопросы, но удержался: казалось, доктор не мог ни в чем дать отчета.

— Вы здесь лежите? — только и сказал адвокат, и доктор ответил:

— Меня надо перенести отсюда. — Он лежал в пальто, и его знобило, он был болен. По всему полу налита была вода, которой были пропитаны его платье и сапоги, коньки были брошены, в печке ничего не было, никакого огня, свет проникал в комнату через запыленное окно без занавески, все было печально, жалко, и там-то он лежал.

— Скотник — сильный человек, он может снести меня, — сказал он.

— Мы перенесем вас с кроватью — сказал адвокат.

— Нет, — сказал доктор, — тогда все это увидят. Скотник может понести меня через кухню.

Конечно, его снесли сначала в аптеку, где он принял порцию капель, потом в его комнату. Два раза пришлось пройти по всей усадьбе, но скотник нес его. Затопили печку, постелили ему теплое постельное белье, обложили горячими бутылками и напоили горячим, и он почувствовал себя лучше.

Адвокат, желая получить разъяснение всего случившегося, осторожно расспросил его. Ответы его были несвязны, но все-таки выяснилось, что доктор действительно был непоседа. Конечно, он провалился в прорубь, но, вместо того, чтобы броситься бегом домой и улечься в постель в своей теплой комнате, он задумал скрыться в боковушке, чтобы пансионеры не узнали, что он упал в воду. Сам смутившись, он не хотел пугать пансионеров; может быть,

он хотел также показать, что он, врач, все может выдержать, может даже провалиться в зимнюю ночь в воду, и ничуть не пострадает. Но он ошибся, этого он не выдержал. Когда он понял из слов адвоката, что в санатории очень беспокоились о нем, он очень огорчился.

— Что сказали пансионеры? — спросил он: — Смеялись?

Он и отправился в эту каморку для того именно, чтобы его не нашли, и намеревался подняться на другой день рано утром, когда платье его немножко просохнет, и пойти в свою комнату; но ему стало худо, очень худо...

В общем у него выходило так, будто ночное приключение являлось позором для него.

— Я почти ничего не понимаю, — признался в заключение адвокат, покачивая головою.

— Все произошло оттого, что не было луны и было совсем темно, — сказал доктор. Он, вероятно, чистосердечно думал так. — Теперь я хочу спать, — сказал он, — но здесь очень холодно.

Адвокат взглянул на термометр:

— Здесь более двадцати градусов, но вас, вероятно, лихорадит.

Доктор:

— Если здесь выше двадцати градусов, значит здесь не холодно. Теперь я посплю немного, а к ужину встану.

Адвокат радовался, что компаньон его, во всяком случае, дешево отделался; он распространил повсюду эту новость, прибавив необходимые разъяснения, и отдал приказ поднять флаг. Хотя время было послеобеденное, но ведь то был день Нового года.

Замечательно, что очень трудно было поднять настроение. Не было никакой причины вешать голову, но на всех пансионеров напала какая-то молчаливость и жуть, и они никак не могли от этого избавиться.

Кто-то пришел со двора и рассказал, что инспектор никак не может справиться с флагом: он поднял его до половины флагштока, так он застрял и теперь не идет ни вверх, ни вниз. Этот эпизод усилил еще общее тяжелое настроение в салоне. Все словно прониклось уважением к этому флагу: ведь, может быть, и значит что-нибудь флаг, наполовину приспущенный.

— Спустите его! — закричал с веранды адвокат.

— Он не спускается, — прокричал ему в ответ инспектор.

— В таком случае, уберите флагшток.— Это было исполнено, и флагшток остался лежать на снегу.

Нет ничего удивительного в том, что все это расстроило адвоката. Он обратился к ректору Оливеру и стал ему жаловаться на случившееся; но ректор Оливер не воспламенился; его призванием было не забавлять и утешать; его призванием было преподавание; без учеников, без слушателей, он был в сущности одинок; даже фрекен д'Эспар стала удаляться от него и, казалось, занята была своими делами. И да, и нет,— сказал ректор Оливер.

— Но, черт возьми, что же это такое? — спросил адвокат.— Почему дом, полный народу, кажется словно вымершим? Разве не бывало раньше, что веревка, на которой подымается флаг, выскакивала из блока и застревала где-нибудь? Что в этом таинственного? Ведь, невероятно, чтобы с неба было даже знамение, потому что доктор Эйен простудился. Не правда ли?

— Это совершенно немыслимо,— сказал ректор.

Адвокат попросил инженера, чтобы он постарался привести жильцов в хорошее настроение. Инженер не отказался: это дело и раньше было ему знакомо: он выдумывал игры, подражал актерам, вместе с некоторыми из молодежи затеял игру в «жмурки» и чуть ли не пел негритянские песенки. Правда, инженер не жалел себя: особенно при игре в «жмурки» он зашел далеко: он плясал, ломался, кричал, как идиот и, в заключение, забавно изобразил отчаяние при воображаемой беде,— и все это с завязанными глазами. Корреспондент трех газет прямо заявил, что в инженере погиб великий артист, и что он упомянет об этом в следующем своем письме с гор.

Но не все были, как корреспондент: других зрителей не удалось расшевелить, шут их знает, что с ними было, но их нельзя было соблазнить также ни лыжами, ни коньками,— они не имели желаний двигаться. Ничего не случилось, все было на месте, но чувствовался в доме немой ужас, словно в воздухе носилось преступление.

Распространился слух, что доктору Эйену стало хуже и адвокат звонил по телефону уездного врача. Трудно было телефонировать так, чтобы никто этого не слышал, да еще адвокат был, может быть, немного неосторожен:

— Только бы не оказалось тифа,— сказал он.

Слова эти быстро разнеслись по всему дому. Многие пансионеры стали помышлять о том, чтобы прекратить свое пребывание здесь, и завтра же, на второй день Нового



года, уехать домой. Большой убыток для санатории. Рууд уложил потихоньку свой чемодан.

Приехал уездный врач. Воспаление легких. Он назначил больному капли и микстуру и уехал. Когда он приехал на следующий день, пациенту было хуже. На третий день он умер.

Такой случай в начале года!

Конечно, Самоубийца не преминул высказаться по этому подходящему поводу; он сказал, кивая головою, что еще не конец. «Для смерти жизнь — дешевый товар», — сказал он, — «следующий из нас уж намечен». Два дня старался он распространять между пансионерами этот мрачный взгляд на вещи; о себе самом и о других он говорил только, как о «временно живущих здесь».

Многие пансионеры уехали. Уехал корреспондент, Рууд, инженер и молодежь обоого пола. Ничто не манило их остаться, жизнь их только расцветала, и им нисколько не интересно было дожидаться гроба доктора Эйена, увидеть, как его труп уложат туда и отправят на поезде.

Рууд нисколько не скрывал, что у него есть о чем подумать, время, мол, не позволяет ему дольше оставаться вдаль от дела. Адвокату он сказал:

— А что касается акций, то теперь я достоверно узнал, что они заложены, Бертельсен не может их продать.

— Вот как, — ответил адвокат, не желая обсуждать этого вопроса.

— Но вы всегда можете выкупить из банка акции по курсу, о котором мы говорили, — сказал Рууд.

Да, Рууд видел на три аршина сквозь землю, адвокат вовсе не стремился к тому, чтобы войти с ним в более тесные сношения. Какая ему выгода заменить Бертельсена этим человеком, чтобы он мешался во все дела санатории? Нет. Спасибо. Кроме того, Бертельсен теперь проучен, адвокат не желал его унижения.

Ректор Оливер не уехал; не уехали также Бертельсен и госпожи Рубен и Эллингсен; адвокат Руппрехт, как директор, не мог покинуть свой дорогой Торахус, пока дела снова не придут в полный порядок; пока же он был занят тем, что по телеграфу и по телефону выбирал для санатории нового врача.

Следующей заболела фру Рубен. Удивительно, чем эта дама вообще поддерживала свою жизнь: она почти ничего не ела, ничего не пила, жила только ничтожными приемами пищи и пилюлями; в ней, должно быть, была большая сила сопротивления. Что это были за пилюли?

Какие-то таинственные пилюли, она получила их из Лондона, и каждый раз, после употребления, тщательно прятала. Старая санаторская горничная видела такого же рода коробочки из-под пилюль у «миледи»; казалось, было что-то большее, не одна интимность, между обеими дамами, — фру Рубен и англичанкою.

Бедная фру Рубен заболела и свалилась, — какая могла быть причина этому? Может быть, то, что она, против своего обыкновения, поела досыта в вечер под Новый год? Она лежала, и ее мучили всевозможные боли, а в ее прекрасных, глубоких глазах было чуждое ей выражение; было нехорошо, но она и слушать не хотела об уездном враче, наоборот: она должна была завтра встать, говорила она. Но, дело не шло на лад, она продолжала лежать, ей было нехорошо, но она не желала ничего слушать. Она получила по почте для примерки две пары остроносых сапог, они были из материи и лакированной кожи, и у нее не было никакой надежды, что ей удастся натянуть их на свои больные ноги; но они, конечно, могли стоять там, как будто это был ее номер. Они и стояли на туалете, когда пришел новый доктор.

Когда новый доктор, новый санаторский врач, приехал, все немного оживились в Торахусе. Пансионеры увидели его за обедом. Он был близорукий, худой и высокий; когда он наклонялся над тарелкой, то казалось, будто он вытягивал шею над балконом, чтобы разглядеть, что делается на улице. У него была прекрасная улыбка и умное и твердое выражение лица. Как врач, он был еще очень молод, но с ним приходилось считаться; уже отец его был врачом, и он родился врачом.

Войдя в комнату фру Рубен, он вежливо поклонился, представился ей и сказал:

— Неужели в таких сапогах вы ходите по горам?

Ему бросились в глаза выглядывавшая из-под подушки коробочка с пилюлями, он вытащил ее, прочел, что на ней было написано, понюхал ее и сказал:

— Против чего вы принимаете это?

Охотнее всего фру отняла бы у него эту коробочку, и она обиженно ответила:

— Я их совсем не принимаю... почти не принимаю...

Доктор встал, без дальнейших околичностей запер дверь, откинул одеяло с фру Рубен и сказал ей:

— Повернитесь-ка немного.

Закончив исследование, он спросил ее:

— У вас много таких коробок?

— Не знаю. Нет, наверно, не много. А что?

— Я не химик, но не думаю, чтобы такие пилюли могли возбудить у вас аппетит.

— Я ем столько, сколько могу,— ответила фру Рубен.

— Да, но вы должны есть больше. У вас не должно быть отвращения к пище,— сказал доктор, сунув коробочку в карман.

## ГЛАВА XII

---

Доктор по очереди обошел всех пансионеров, справляясь об их болезнях. Бертельсен был совершенно здоров, он просто жил пансионером. Он с интересом расспрашивал о фру Рубен. «Я и фру приехали сюда вместе,— объяснил он,— и я не могу уехать без нее». Фрекен Эллингсен слышала это; она кинула на Бертельсена укоризненный взгляд, но это не произвело на него никакого впечатления:

— Я думала, что вы со мной сюда приехали,— убийственно-серьезно пошутила она.

— А вы зачем здесь, фрекен? — спросил врач.

— Я здорова. Впрочем, я завтра уезжаю.

— Конечно, я здесь не только для того, чтобы ждать фру Рубен,— сказал тогда Бертельсен.— Вы, ведь знаете, фрекен, что я небезразлично отношусь к делам санатории Торахус, мне приходится следить здесь то за тем, то за другим.

На следующий день фрекен Эллингсен уехала одна. Она поняла, что дальше надеяться бесполезно.

— Я после приеду,— сказал Бертельсен,— мне только надо наладить дело с постройками.

На другой день под тем или другим предлогом Бертельсен получил разрешение навестить фру Рубен; он выразил ей свое сожаление, утешал ее и дал ей понять, что она не одинока в своем страдании. Фру начала понемногу есть и спала уже лучше, она беседовала с Бертельсеном, как здоровая, шутила и была очень мила; она прекрасно провела время.

Выйдя из ее комнаты, он был великолепно настроен. У ног своих нашел он носовой платок фрекен Эллингсен; платок совершенно еще не был в употреблении и был бел, как снег; он поднял его и передал по принадлежности.

— Посмотрите, что я нашел, ваш носовой платок, ваша монограмма. Он такой белый и невинный, непохоже на то, будто его умышленно уронили на моем пути.

— Умышленно?..

— Я пошутил, фрекен. А вы уже уезжаете? Давайте-ка я взгляну на вас в санях. Передайте привет в городе.

Она была так беспомощна; возможно, что она умышленно уронила у двери фру Рубен свой платок, не придумала ничего лучшего, услышав, что Бертельсен там. Конечно, трудно ей было так решительно покинуть сегодня раз навсегда Бертельсена; а с другой стороны, чего было ей ждать с его стороны? Разве она не видела, что надоела ему, что он к ней совершенно равнодушен? Так бесплодно оборвался этот эпизод в ее жизни, как оборвались все ее детективные рассказы. Фрекен Эллингсен была красивая девушка, высокого роста, и была недалеко от того, чтобы выделиться из толпы, она была наделена чувством и воображением, но у ней они были ни к чему: чувство свое она, как дура, растрчивала зря, а воображению давала исход в рассказах, выдумках и лжи. Она и не могла удержать в своих руках лесопромышленника Бертельсена и, в конце концов, вынуждена была отказаться от него. Что другое могла она сделать? Она до смерти надоела бы ему, надоела бы понемногу каждый день и каждую ночь...

Доктор, обходя больных, пришел к Самоубийце. Может быть, он кое-что и слышал об этом чуде и был сообразно с этим настроен, а, может быть, ему отчасти была известна его история в Христиании, бог его знает.

Самоубийца с самой нахальной рожей встретил его и сказал:

— Вы приехали, конечно, за тем, чтобы осмотреть кладбище здесь и на горе?

Доктор сказал:

— Суровая зима. Вы один, как я вижу, разумно одеваетесь.

— Великолепное дело заняться вывозом трупов отсюда,— продолжал Самоубийца.— Я могу указать вам место, где можно будет закопать вас, остающихся еще пока в живых.

— Если у вас есть время, я с удовольствием осмотрю сейчас это местечко,— сказал врач.

И они вышли. Но Самоубийца, очевидно, не подготовлен был к тому, что его сейчас же поймают на слове, он не знал твердо направления, сбивался, потом остановился в лесу и сказал:

— Впрочем, глупо с вашей стороны идти за мною, повернем обратно.

Самоубийца разозлился и продолжал:

— С вашей стороны это была притворная решимость.

Доктор смотрел на него и не мешал ему болтать.

— Что же это вы глядите на меня, словно исследуете?

Я сказал, пойдем домой.

На обратном пути доктор спросил:

— С какого времени вы здесь?

— От сотворения мира. Со времени открытия санатории.

— А чего вы ждете здесь, на горе, так долго?

— Я дольше ждать не буду, во всяком случае, долго ждать не буду. А вам что здесь нужно?

Молчание.

Самоубийца продолжал:

— Я спросил не за тем, чтобы сделать вам неприятность, а чтобы обсудить этот вопрос. Смерть безошибочно работает и без вашей помощи.

— Что это вы дуете на свою руку?

— Вы заметили это? Притворная проницательность.

— Если вы зайдете ко мне, я угощу вас грогом,— сказал доктор.

Самоубийца, пораженный:

— Что? Спасибо, зайду.

Когда они сидели в приемной врача, каждый со своим стаканом грога, Самоубийца пошел на попятный и заговорил разумно. Доктор стал было его расспрашивать о санатории и пансионерах, но получал от него уклончивые ответы. Вдруг Самоубийца протянул вперед руку и сказал:

— Почему я дул на нее? Взгляните, что вы скажете, какого рода эта рана?

Доктор:

— Это совсем не рана.

— А что же это?

— Ничего.

Самоубийца:

— Я предполагал, что это проказа.

Доктор улыбнулся:

— Вздор. Вы просто расцарапали себе кожу.

— Может из этого выйти что-нибудь?

— Да, может выйти еще стакан грога.

Самоубийца, казалось, почувствовал облегчение, когда узнал, что рана его совершенно невинного свойства, а когда он получил следующий стакан грога, настроение его стало таким радужным, каким давно уже не было. Доктор рассказывал разные мелкие случаи, он был такой молодой

еще врач, что все особенные случаи из его практики еще сохранялись у него в памяти. Так, он рассказал, как его однажды позвали к избитой женщине, у которой была исполосована вся спина.

— Вот как,— сказал Самоубийца.

— То была молодая женщина, красивая и немного легкомысленная. Когда я исследовал ее, муж стоял тут же; он объяснил, как все это было и показал мне испанскую тросточку, которую он тогда пустил в ход.

— Так это муж?..

— Исколотил ее? Да. Она слишком стала брать верх над ним, хотела исполнять только свою волю, обращалась с ним, как с дураком, и взяла себе любовника.

Самоубийца подозрительно:

— Какое мне дело до этого мужа с женою?

— Как это?

— Зачем вы мне это рассказываете?

— Это был смешной случай. Итак, я должен был лечить спину этой женщины, а муж лечил ее от своеволия. Но в сущности, вы правы, какое нам дело до них. Но, как сказано...

Молчание.

— В общем это не лишено интереса,— сказал Самоубийца.— И вы говорите, он вылечил ее?

— Основательно. Я потом следил за ними. Они счастливы; с тех пор у них родилось двое детей. По воскресеньям они вместе выезжают за город.

— Великолечно! — вскричал Самоубийца.— За их здоровье!

— У меня были разные такие переживания,— тихо, словно про себя, сказал доктор.— В противном случае, посещения больных были бы очень скучны.

Тут Самоубийца утратил свою наглость, он стал наивным и любопытным:

— Не могу забыть этих мужа с женою. Кто они были такие?

— Ремесленники, муж был кузнец.

— Вот что,— сказал Самоубийца разочарованный,— кузнец и жена кузнеца.

— Ну, а как же? Понятно, что не во всякой среде трость является подходящим средством; средства должны применяться индивидуально. Иногда годятся цветы.

— Многие могут пожаловаться на присутствие слишком большого своеволия у себя дома,— прошептал Самоубийца, обводя взором стены и потолок.

Словно погрузившись в воспоминания, доктор рассеянно ответил.

— Да это так. Я сам чуть не пустил раз в ход трость. Самоубийца с напряженным любопытством:

— Вы женаты?

— Нет, — улыбнулся доктор и замолчал.

Самоубийцу разобрало нетерпение, и он смотрел на него вопрошающими глазами.

Доктор сказал:

— Нет, то была моя ключница. Впрочем, она была необыкновенная жена кузнеца; правда, то была девушка из народа, немного взбалмошная, но обладала также и многими хорошими качествами.

— Ключница только, — сказал, вторично разочарованный Самоубийца.

— Она была молода и красива, великолепное тело, замечательно играла на рояле и на гитаре, очень музыкальная особа.

— Да, но все-таки...

— Я был влюблен в нее.

— А, это другое дело, — сказал Самоубийца. — И она довела вас до того, что вы пустили в ход палку?

— После того, как цветы не достигли цели — да. И после того, как подарки тоже не помогли. Нужно же найти какой-нибудь способ, не правда ли?

— Не могу судить об этом.

— Ну, конечно. Но в такой нерешимости всегда за что-нибудь хватаешься. Но, конечно, когда имеешь дело с женой, с вашей женою, с моею женою, с человеком нашей среды, тогда совсем другое дело. Тут можно было бы сговориться. Но ключница... Вы ведь тоже не женаты? — спросил доктор.

— Я? Не женат.

— Ну да, я так и знал.

— Я еще не сошел с ума, — сказал Самоубийца.

Доктор продолжал болтать с ним, довел его до известного градуса, и оба они сошлись на том, что трудно иногда бывает избежать женитьбы.

— Чем же кончилось у вас с девушкой? — спросил Самоубийца. — Добились ли вы того, чего хотели, без применения испанской трости?

— Нет, — отвечал доктор, — я этого... пока еще не добился. Вместо применения трости, я сделал другое. Я поехал сюда. Взял здесь место врача.

Продолжительное удивление и молчание.

— Это очень интересно,— сказал, кивая головою, Самоубийца.— Ну, а если ваша поездка сюда не поможет?

Доктор решительно:

— Тогда я поступлю, как кузнец.

На Самоубийцу беседа с доктором произвела, по-видимому, впечатление; он все время думал об этом и смеялся про себя. Но только несколько дней реагировал он на это и скоро опять превратился в того же озлобленного мизантропа, каким был раньше. Он разыскал фрекен д'Эспар, но к своему несчастью, нашел ее в курительной комнате вместе с ректором Оливером и неизбежно пришлось ему вступить в разговор с ректором. Для начала, он, желая быть любезным, сказал:

— Привет, коллеги!

Те, не привыкшие к его шуткам, молчали.

— Дня два тому назад я обратился к нашему новому доктору с этой вот раной,— сказал он, обращаясь к фрекен д'Эспар.

— Получили вы что-нибудь против этого? — спросила она.

— Да, два стакана грога.

— Два, стакана чего?

— Два стакана грога. Он применяет необыкновенные лекарства, временами пускает в ход испанскую трость.

— Шпунскую мушку, хотите вы сказать,— подсказал ему ректор,— но это лекарство обыкновенное.

Самоубийца отнесся с презрением к нему и ничего не ответил.

— А иногда он пускает в ход цветы. Он оригинал.

Ректор, желая быть любезным, ответил:

— Да, цветы, это бывает иногда хорошо, они могут оказывать на больных благотворное действие.

Самоубийца продолжал обдавать его презрением. Фрекен сказала, кивнув головою:

— Да, это верно.

— Что верно? — спросил Самоубийца,— что цветы хороши? А почему не посылают пуговиц: перламутровых, роговых, оловянных?

Смех.

Ректор опять принял достойную осанку, он не хотел больше шутить:

— Да, завтра я заканчиваю свое пребывание здесь.

Фрекен:

— О, уже завтра...

— Завтра я уезжаю. А вы когда уезжаете, фрекен?



— На днях. В один из ближайших дней.

— А вы, молодой человек?

На этот прямой вопрос Самоубийца задорно ответил:

— Я не уезжаю.

— Вот как, значит вас не призывают никакие обязанности?

— Но вас, насколько я понимаю, призывают?

— Понятно. У меня есть обязанности, и вы, конечно, не будете этого отрицать? — улыбаясь спросил ректор. — Мы, учителя, преподаем в школах и, по мере сил наших, приобщаем людей к тому, чему сами учились.

— Не верьте ему, фрекен, — сказал Самоубийца, — это не так невинно.

Фрекен чувствовала неловкость при мысли, что ее затягивают в разговор, и спросила примирительно:

— Ну, конечно. Школа ведь невинна?

— Школа извращает природу, она старается направить ученика по ложному пути, идущему совсем по другому направлению, нежели нормальный. Школа приводит по этому ложному пути прямо в пустыню.

Ректор сделал вид, что это очень забавно, больше ему нечего было делать.

— А я-то думал, что вышел из пустыни, — сказал он.

Фрекен тоже засмеялась и приняла его сторону.

— Но вы должны же быть справедливым, господин Магнус, ведь ректор — большой ученый — доктор!

— Ректор, наверно, очень доволен собою, — равнодушно ответил Самоубийца. — Такими и должны быть все ректоры, иначе им немогуту будет на кафедре.

— Ну, кафедра — не мучение, для нас это удовольствие.

Молчание.

— Так вы тоже уезжаете, фрекен? — спросил Самоубийца. — Ах, да, мы странники на земле, странствуем здесь и там, многие навсегда остаются в санатории. Вот давеча мы с доктором посетили кладбище, предназначенное нам, оставшимся...

Никакого ответа на эту непонятную речь.

— Может быть, я не точно понял вас, сударь, — сказал, стараясь быть любезным, ректор, — но что же, вам не нравится наша деятельность на кафедре?

Молчание.

— Ректор спрашивает вас, — напоминает фрекен.

— Ректор поступает по совести, — сказал Самоубийца, — в его школе дети учатся всевозможным наукам по

всевозможным направлениям. Потом, после долгих, долгих лет, дети выходят из школы, конечно, но поступили-то они в нее телятами и жеребятами. Невозможно чтобы они запомнили все, чему учились, а если и помнят, то это все равно ни к чему. Они забывают, что составляет западную границу озера Эйерна, забывают, что у корнеплода нет чашечек. Первоначально школа посещалась в свободные часы, то было времяпрепровождение для взрослых, она превратилась в ад для детей. Когда же они вырываются из этого ада на волю, они уже состарились: многие облысели, многие наполовину ослепли, и еще многие — умерли. Детей не следует посылать в школу.

— Забавно, очень забавно,— сказал ректор.

Фрекен спросила:

— Но скажите же, голубчик, как же в дальнейшем люди будут выпутываться из разных затруднительных положений в жизни, если не пройдут школы?

— Ведь школа никого не делает человеком. В те времена, когда человек стоял на низкой ступени, еще могла быть речь о школе, в которой он нуждался тогда.

— И то в ограниченном количестве? — спросил ректор вставая, чтобы закончить разговор. Он слышал достаточно. Собственно говоря, ректор Оливер мог бы сказать свое слово, и он остался бы победителем; все преимущества были на его стороне, и он знал языки, в своей области был ученый, знаменитый человек. Но ректор Оливер не мог оспаривать этого идиотства, ему было противно обсуждать это. Но когда он хотел уже уйти, какой-то дьявол вселился в Самоубийцу и, обратившись непосредственно к ректору, он сказал:

— Насколько я понимаю, замечания мои заинтересовали вас.

— Нет, не могу этого сказать,— холодно ответил ректор.

— Ну, конечно, этого отрицать нельзя.

— Вот как! Правду сказать, я наткнулся на... как бы это назвать... на галиматью, вроде вашей, еще раньше, среди моих родных; но там все-таки это не было так преувеличено, так абсолютно ложно. К сожалению, много есть людей, гордящихся тем, что они невежды, ничего не знают, не знают ни одной страны, ни одного языка. Нет, откровенно говоря, это все-таки интересует меня. Может быть, как курьез, как нечто совершенно бессмысленное, ложное, что я назвал бы...

— Не беспокойтесь, об остальном я могу догадаться,— перебил Самоубийца с иронией, приходя на помощь ректору.

— Это как со шведским профессором, о котором я рассказывал вам,— сказал ректор, обращаясь к фрекен д'Эспар.— Там-то я серьезно, по пунктам, опровергал его заблуждения. Но это как будто ни к чему не ведет. Сами боги понапрасну ведут борьбу со многим здесь на земле.

То, что ректор почувствовал себя оскорбленным, поощрило Самоубийцу, понравилось ему.

— Вы упомянули о земле,— сказал он,— о земном шаре,— поправился он.— Ваши школьники придают, наверно, большое значение углам наклона, но люди, к сожалению, топчут землю, не вспоминая об этих углах. Ваши дети изучают языки и искусства, им читают о кораблях и звездах, о деньгах и войнах, об электричестве, калориях, математике, деревьях и языках. Но ведь все это не имеет само по себе никакого реального значения. На основании этого можно только установить жизненные формы, это механическая дрессировка без этической ценности. Ну, а как же вы поступите с тем, кто обитает внутри человека, с душой, с самой природой? Наш жилец не в особенно хороших отношениях с тем, что мы изучали в книгах, а именно с тем, чего в книгах нет. Ведь жилец наш — это и есть человек, это — я.

Очевидно, нетерпение ректора делало Самоубийцу все наглее и наглее; казалось, подергивания в лице ученого подзадоривали его, и он сказал:

— Я вижу, что университет еще в прошлом году обратил на вас внимание.

— Каким образом?

— Тем, что назначил вас цензором.

— Ха-ха! — засмеялся ректор.— Да, университет обратил на меня внимание в прошлом году и назначил ректором, ха-ха. Да, дорогой мой, вы — чудный молодой человек.

Самоубийца сказал:

— На вашем месте я не взял бы на себя роли палача в школе. Цензор — это ведь известное мерило школьного прилежания, он сидит и спрашивает, как итальянцы называли то-то и то-то две тысячи лет тому назад. Стоит маленький автомат: цензор опускает ему в отверстие трудный вопрос, и он приводится в движение, жужжит. Таков экзамен. Человек с вашим именем, человек науки не должен бы наниматься на такое дело.

— Ну! — вскричала фрекен, снова вмешавшись в дело, — теперь вы больше не шутите.

Но ректор, надувшись, ограничился тем, что сказал только:

— Шутка это или серьезно, мне решительно все равно.

В эту минуту вошла девушка и сказала фрекен д'Эспар, что пришел какой-то мужчина, Даниэль с сэтера, и желает поговорить с нею.

Дрогнуло лицо у фрекен д'Эспар, когда она поднялась и вышла. Ректор тоже встал и вышел из комнаты.

У лестницы, около маленьких санок, стоял Даниэль; он не снял шапки, а только просто и приветливо сказал:

— Здравствуй, как дела?.. Я думаю, я мог бы взять тебя сейчас с собою?

— Взять меня?

— Взять вещи, а ты разве не поедешь?

О, боже, как громко говорит этот парень! Она прокралась вперед и украдкой взглянула вверх, на дом; конечно, там стояли пансионеры в окнах, даже фру Рубен притащилась к окну и выглядывала в него.

— Конечно, приду, конечно, — сказала фрекен, — я только не уложила еще вещей.

— Я могу обождать, — сказал Даниэль.

Впрочем, он был мил, и ведь это был тот, за кого она должна была выйти замуж.

— Придется ждать до завтра, добрый мой Даниэль, — сказала она.

— Хорошо, — сказал Даниэль. — Я привез сюда теленка, и вот подумал, что заодно могу взять тебя. А на теленка поди взгляни, чудный теленок, в хлеву стоит, пойдем, я покажу тебе.

— Не теперь, мне кое-что сделать нужно.

— Хорошо. Но это чудесный теленок. Скотник сказал то же самое.

— Я уложусь и приду завтра, — сказала фрекен.

Она вернулась в дом. Посещение это вовсе не понравилось ей, она обрадовалась, найдя в курительной комнате Самоубийцу: ее тянуло к кому-нибудь.

— То был Даниэль, он приехал за моим сундуком, — сказала она правду, как оно и было. — Но я не могу так внезапно уехать отсюда, не правда ли?

— Даниэль хочет, чтобы вы поскорее переехали к нему, ему нужны деньги.

— Да, вы правы.

— У Даниэля свое, у нас свое. Даниэлю, наверно, хорошо живется, он здешний, живет здесь, на горе, работает здесь, живет и умрет в свое время. Может быть, хорошо, если бы о нас все так же забыли, как о нем, бог знает, ему незачем переезжать куда-нибудь. Его, пожалуй, и любовь не мучает.

— Конечно, нет.

— Чертовски счастливый человек.

— Вы находите?

— Не по собственному опыту,— поспешно ответил Самоубийца.— Единственно, что человек должен ценить, это жизнерадостность, благодарность за жизнь; но этого-то любовь не дает. Наоборот: любовь — это пути.

— Да, наверно, частенько так бывает.

— Такой человек, как, например, Мосс — я просто вспомнил о нем, он не принадлежит к этой категории, у него совсем другой крест, у каждого из нас другой.

— Отправили вы какой-нибудь ответ на письмо Мосса? — спросила фрекен.

— На то наглое письмо? Нет, нет, я этого еще не сделал. Но ответ он получит, пусть ждет. Почему оставить последнее слово за ним?

— Нет. Но он был очень несчастный человек.

— Не знаю,— задумчиво ответил Самоубийца.— Возможно, что он был несчастен.— Вдруг он начал посмеиваться и качать головою.— Но он, должно быть, здорово призадумался над белкою, которую я ему послал, воображаю.— Но также быстро, как он воодушевился, омрачился и поник Самоубийца.— Взгляните на эту рану,— сказал он. То была та же маленькая ранка, которую он показывал доктору. Это ничтожное повреждение кожи, эта царапина сильно беспокоила его, он все время ощупывал, дул на нее и не давал ей заживать.

— Что мне делать с этим? — спросил он.

— Не думаю, чтобы это было что-нибудь. Что сказал доктор?

— Доктор этот дурак! Видите ли, это грозит мне опасностью, потому что это зараза.

— Ну, вот!

— Да, это всякая надо мною опасность. Я получил обратно ульстер, и он не был, как следует, вычищен. Кроме того, я получил это паршивое письмо от него. Такая свинья, такая муха, поднявшаяся с падали, разве он не расхаживал здесь, не дышал нашим воздухом, не разговаривал с нами, не ел за нашим столом? Его застрелить

следовало. А сверх всего прочего, у него хватило нахальства прислать мне еще одно письмо.

— Новое письмо?

— Новое письмо, полученное два дня тому назад.

— Вы не рассказывали этого.

— Я, конечно, не вскрыл письма, даже не прикоснулся к нему.

— Вы не прочли его? — спросила удивленная Фрекен.

— Доктор прочел его. Как вы думаете, что он писал?

Ни слова правды, сплошная ложь: он говорит, что он вовсе не болен проказою, это оказалось ошибкой, говорит он.

Фрекен:

— Никогда не слыхала ничего подобного.

— Значит, шарлатанство. Он рассказывает также, что к нему вернулось немножко зрение, видит чуть-чуть.

Фрекен вскричала:

— Как хорошо, что хоть что-нибудь на этом свете улучшается!

Это был не единственный сюрприз, пережитый в этот день Фрекен д'Эспар. К ней пришла одна из дам, собственно, две дамы, но одна оставалась в коридоре. Дамы эти, раньше избегавшие ее, пришли к ней по делу. Не купит ли она этой скатерти?

Фрекен, пораженная, молчала.

Да, они предложили было скатерть эту фру Рубен, но она не обратила внимания, ей не нравился рисунок; о, эта фру Рубен, только в деньгах она знает толк. И фру Рубен указала им на Фрекен д'Эспар: она мол, переезжает на какой-то сэтэр, пожалуй, ей пригодится скатерть.

То была скатерть доктора Эйена, рождественский подарок, поднесенный ему дамами, за который он благодарил почти со слезами радости на глазах.

— Фрекен, может быть, немножко удивлена?

— Да,— ответила Фрекен,— то есть это, может быть, и не так странно.

— Нисколько. Дамы ведь столько трудились над скатертью, столько потратили на нее. И она свое дело сделала, доставила доктору радость. Но теперь доктор Эйен умер, скоро приедут его родственники, заберут его вещи и поделят между собою. Да, это будет очень мило. Но ни одна из дам и не думала делать подарка родственникам доктора Эйена. Поэтому они забрали скатерть.

Рассуждение это было так очевидно, что Фрекен д'Эспар была им убеждена; она взяла скатерть в руки, разостлала

ее и стала рассматривать; немного польстило ей то, что дамы обратились с этим делом именно к ней.

— Конечно,— продолжала продавщица,— было бы другое дело, если бы скатерть могла последовать за своим хозяином в могилу и если бы ее закопали вместе с ним.

— Сколько вы хотите за скатерть? — спросила фрекен.

Дама позвала другую даму из коридора, то была секретарша этого предприятия, та, которая записывала цены сукна, шелка и бахромы. Обе дамы стали совещаться, секретарша указала на то, что придется разделить деньги между многими, так что на долю каждой перепадет очень мало.

Фрекен д'Эспар купила скатерть.

Тотчас же и стерлась память о докторе Эйене. Доктор Эйен даже и пустоты после себя не оставил, он имел слишком мало значения, люди уже переползали через его труп. Так как еще оказалось, что он ошибся в диагнозе Антона Мосса, то... конечно, несправедливо было так скоро забыть этого приветливого человека, но несправедливость-то была заслуженная. Было что-то невежественное в Эйене, он не отличался пытливостью, он был как вытянутая на сушу рыба. Но и он свершил свой путь здесь на земле, путь вперед и обратно.

На другое утро ректор Оливер уехал домой. В том же поезде уехали фру Рубен, Бертельсен и адвокат. Фру Рубен чувствовала себя теперь гораздо лучше, она ела и спала, посвежела лицом и пополнила немного. Она снова выздоровела и похорошела. Было просто чудо, как в короткое время эта удивительная женщина могла переродиться, не склоняя головы. Хорошая, выносливая порода.

К вечеру уплатила фрекен д'Эспар по счету в санатории и скромно перешла на сэттер Торахус. Она хотела прийти вечером, в сумерки. Она не щебетала, не радовалась, напротив, стеснялась немного самой себя и своего переселения, но глаза у нее были сухие. Конечно, она шла не прямым путем; но в последнее время она переносила свою участь, не падая на колени и не взывая о помощи; плач и молитвы не могут, оказалось, помочь чему-либо, нечего ей снова пытаться пускать в ход божественную машину. Шла ли ее дорога вниз? Ну, конечно, но в глубине души у нее был подъем. Знаменитую скатерть она несла под мышкой, она хотела сразу покрыть стол ею, и этим как бы зажечь огонь в новой комнате Даниэля. Разве это нехорошо придумано? Она улыбнулась, может быть, затем, чтобы не заплакать. О, если бы взглянуть на ее участь

сквозь глаза, застланные слезами, она казалась бы гораздо мрачнее!

Последние недели в санатории протекли для нее неприятно. Ей приходилось прибегать к разным ухищрениям относительно самой себя: там надо было подкладывать, здесь шнуроваться; как трясогузка, прыгала она по лестницам, старалась, чтобы другие видели ее смеющейся и беззаботной, осмелились бы только другие дамы подозрительно взглянуть на нее! Но вечное ожидание этого было прямо мучением, она пошла поэтому по другому направлению. Она не пускала больше в ход высокомерия, не делала попыток скрывать зияющей во рту недостаток зуба, молодое тело ее изменило очертания, она не могла более оставаться одинокой и быть центром внимания.

А вечером пришел Даниэль. Он легко мог все испортить, все, и она с удовольствием думала о том, что встретила его без малейшей злости. Он, как и другой жених, вызвал в ней смущение, послал прислугу за нею и привлек к окнам физиономии жильцов. Она, правда, была с ним умеренно приветлива и умеренно чужда, и холодно назвала его «мой дорогой Даниэль», словно он был ее сосед.

Эти и тому подобные мысли мелькали у нее в голове, и она не становилась ни более серьезной, ни более подавленной. Вдруг у сарайчика в лесу выступил Даниэль и стал перед нею.

— Я так и думал, что ты придешь приблизительно в это время и пошел навстречу тебе,— сказал он. Он приволок санки, предполагая повезти ее сундучок.— Что у тебя под мышкой? — спросил он, чтобы что-нибудь сказать.

— Так тебе и нужно знать! — ответила она.

Ободренный ее шутливым тоном, он осмелел до того, что пощупал пакет и заглянул, что в нем. Вдруг он поднял ее на руки и понес в сарайчик...

— Ну что это за парень! Уходи! Ты с ума сошел.

Но быть так, без церемонии, приподнятой на минутку с земли не доставило ей неудовольствия.

Без больших приготовлений вступила она в новую жизнь на сэтере и старалась не удивляться непривычной обстановке. Ни гримас, ни жестов; она отлично проспала ночь и встала поздно утром следующего дня. Нельзя было отрицать этого: она вошла в своего рода гавань. Она окинула взором немногочисленные, стоявшие в комнате предметы; кроме ее сундука, там были: кровать, стол, пара скамеек, у печки белый таз, усаженный, как бы жемчу-



гом — то был таз для умывания. Смешное приданое, но, во всяком случае, чисто и не без изящества; такова была обстановка на сэтере. А вокруг была полная тишина; Даниэля не было в доме, а Марта, если и занята была в кухне, то двигалась, во всяком случае, бесшумно. Когда Фрекен умывалась в жемчужном тазу, она заметила, что попавшая на печку капля зашипела — ну конечно, в печке был огонь, в комнате было тепло. О, эта Марта! Фрекен сердечно поблагодарит ее за эту доброту в первое же утро.

Сквозь стекло Фрекен заметила Даниэля и сделала ему знак, чтобы он вошел.

— Даниэль,— сказала она,— что ты думаешь обо мне, что я только что встаю?

— А что тебе было делать? Я был рад, что ты еще лежишь. Хорошо ты спала?

— Как мертвая.

— Мы старались устроить все как можно лучше для тебя,— сказал Даниэль,— мы вот принесли сюда все эти вещи, которые тебе могут пригодиться.— Он с гордостью оглянулся, словно в комнате было невероятное количество мебели и всяких вещей,— и,— шепнул он,— если тебе еще что-нибудь нужно, скажи только.

Редкий парень, совершенно неспорченный, наивный и неопытный, но очень симпатичный; она была тронута и устроила так, что он стал целовать ее.

— Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была моею,— сказал он.

— Ну и прекрасно,— сказала она.

И она снова подумала, что если бы этого самого Даниэля хорошенько умыть, он был бы не из уродов.

— Да, теперь тебе место здесь,— сказал он.

— Как это?

— Твой дом: сэтер, Торахус, гора и лес. Нравится тебе здесь?

Она улыбнулась и ответила, что еще очень мало знает его.

— Спроси меня об этом через год!

Ей дали поесть, и она съела больше, чем ожидала; то были не консервы, но горная, жирная пища.

— Сколько с меня в месяц? — спросила она. Вопрос этот сорвался с ее уст и показал, как мало вошла она еще в свою роль супруги и хозяйки.

Даниэль взглянул на это со смешной стороны:

— Ха-ха! Да, да, справься об этом.

А, Марта, хорошо, по-видимому, зная все отношения, тихо улыбалась.

Они пошли в теплый, маленький хлев; коровы и свиньи повернули головы и посмотрели на них.

— Славный бык это будет к осени,— сказал Даниэль, потрепав бычка.— У него совсем другой характер, чем у прошлогоднего человекоубийцы, можешь смело пролезть у него под брюхом.

Они пошли к лошади. Даниэль очень хвастался своей маленькой лошадкой, кобылицей, наделенной почти человеческим умом и могучими силами: невозможно было вычислить, сколько поклажи она могла тащить.

— Посмотри, какие у нее блестящие глаза, ты можешь глядеться в них. Бедная Фоля, ты после получишь свой галет.

Сказавши это, он вдруг спохватился.

— Подожди здесь минуточку, фрекен, я сбегая сейчас за галетами, я не хочу обмануть ее, бедняжку.

Через минуту он явился с галетом, который сунул лошади в зубы.

— Дай ты ей, фрекен,— сказал он.

— Юлия,— поправила его фрекен.

— Дай ей это, почувствуешь, какая у нее мягкая морда.

И только когда они вышли из конюшни, он заговорил об имени.

— Юлия, говоришь ты, тебя зовут Юлия? Какое хорошенькое имя, в селе нет никого, кто назывался бы этим именем.

Они обошли все и все осмотрели, он все показал ей, наконец откинул крышку ларя и сказал:

— Здесь простыни. Здесь припасы. Впрочем, здесь шерсть. У нас, на горе, слава богу, разное есть; здесь шерсть для тебя.

— Да, вижу.

Он показал ей свои два ружья на стене и объяснил ей, что одно из них было дробовик, а другое винтовка; показал ей свертки ткани — грубую шерстяную ткань и белую — для нижнего платья.

— Юлия,— сказал он,— я не могу забыть твоего имени. Когда говоришь его, то оно мягко, как бархат.

— По-французски выговаривается Сюли,— сказала она\*.

— Все-то ты знаешь,— качая головою, сказал он.— Ты мне и лошадь доставила.

---

\* Норвежцы не выговаривают буквы «Ж».

— Ну, лошадь ты имел бы и без меня.

— Да, конечно, на лошадь у меня хватило бы, но помогли мне все-таки твои деньги.

Так вступила Юлия д'Эспар в свою новую жизнь.

### ГЛАВА XIII

---

Так прошло мирно несколько недель, и дальше могло бы идти таким же образом, но случилось нечто, нарушившее эту жизнь. Но... пока все еще шло хорошо. Фрекен д'Эспар вела простой образ жизни, это зашло так далеко, что она обходилась без кофе в постели. Так как ей незачем было долго сидеть по вечерам, то она рано ложилась спать и вставала в восемь часов утра, и когда некоторое время прошло, она стала испытывать известную гордость, словно это было необыкновенно смело. И Марта очень хвалила ее и предсказывала, что из нее выработается со временем великолепная хозяйка горного пастбища.

Пока она занималась одним только домашним делом — стиркою. Она надевала один из Мартиных фартуков и стирала свое белье, свои носовые платки, воротнички и блузки. Дни, в которые она занималась стиркою, были для нее не из самых скучных. Наоборот: стоя над лоханями, они с Мартой заводили долгие и интересные разговоры.

— Он такой славный парень, какой только может быть, — сказала Марта, — я его от рождения знаю; стыд и срам, что Елена так поступила с ним.

Странно, фрекен д'Эспар несколько поздноато стала испытывать неприязненное чувство к Елене; она ее не взлюбила и даже стала, наконец, ревновать. Насколько она знала, у Елены еще и признаков беременности не было, хотя она уже порядочно времени была замужем за писарем ленсмана, значит, она продолжала походить на молодую девушку, не изменилась и была по-прежнему хорошенькой — совсем не то, что другая несчастная.

— А красива Елена? — спросила она.

— О, да! — отвечала Марта, — светловолосая, красивая, дочь хуторянина.

— Что, она высокого роста?

— Высокая.

Фрекен д'Эспар вдруг захотелось разыскать Даниэля. На нем постоянно в это время была надета белая с голубыми кантами шерстяная куртка, связанная Мартою; куртка была вся белая и очень шла ему.

— Слушай-ка, Даниэль,— сказала фрекен д'Эспар,— не пора ли нам повенчаться?

— В самый раз! — отвечал Даниэль.— Я давно думал об этом, да не хотел ничего сказать. Когда же ты хочешь венчаться?

— Скажи ты.

— Да, через неделю у нас пасха, для оглашения нужно три воскресения. Но между пасхой и троицей семь недель, так что времени у нас достаточно. Напиши только, чтобы тебе прислали твои бумаги, и все будет в порядке.

— Ты такой миленький в этой белой куртке,— сказала фрекен.

— Да, нравлюсь тебе? Это из собственной шерсти. О, у нас в Торахусе тонкая шерсть!

— И такая мягкая,— сказала фрекен, щупая ее.

— У тебя будет такой же жакет!

— А не хочешь ли ты лучше отдать его Елене?

— Елене? — спросил пораженный Даниэль.

— Разве это не имя девушки, на которой ты хотел жениться? Ведь так, кажется?

— Елена... да я никогда не думаю о ней. Ее у меня и в мыслях нет.

Фрекен д'Эспар стояла тут же и уж нисколько не была хороша: она потеряла зуб, лицо ее было обезображено, и живот вырос. Она, вероятно, не чувствовала себя уверенной и принялась расспрашивать:

— Какова она? Не могу ли я как-нибудь взглянуть на нее? Часто ли ты целовал ее?

— Ничего подобного! — сказал он,— каким образом... зачем ты спрашиваешь? Я ведь для нее ничего не значил и сам не хотел брать ее сюда, я только так себе сказал это. Я не хуже ее, сын усадьбовладельца, и хорошо знаю свое дело, у меня своя усадьба и земля, как ты видела, у меня дом — полная чаша. И у меня есть свои планы, о которых Елена ничего не знает. Нет, спасибо, никогда и не вспоминаю о ней.

Долгой беседой успокоил он фрекен; у него нашлись чистые, красивые слова о том, что только ее, Юлию, бог предназначил для него, и что только с нею он будет счастлив. Понятно, здесь было примешано тщеславие; теперь он уже не мог желать себе никого, кроме нее; она в его глазах и в глазах всего села значила много больше, чем дочь хуторянина. Она была красивая и знатная, знала все на свете: такая у нее была умная голова и дельные руки.

И правда: фрекен д'Эспар напрасно ревновала, совершенно напрасно. Даниэлю очень хотелось жениться, и он расцветал при одной мысли об этом. Если он слишком надоедал ей своими нежностями, то влюбленность его служила ему извинением, а в общем он был очень сносен в ежедневном общении.

— Лавочник показал мне белые гардины к твоим окнам, но я их не взял,— сказал он.

— Ну, так поди и возьми, деньги я дам тебе,— ответила фрекен.— Возьми также и занавеси поплотнее, такие, чтобы сквозь них ничего не было видно.

— Это для того времени, когда ты лежать будешь?

— Да,— фрекен не делала из этого тайны, это для того времени, когда она лежать будет.— Купи также зеркало,— сказала она,— зеркало побольше, чтобы на стену повесить можно было. А то у меня только ручное.

— Да скажи только, если что-нибудь хочешь,— ответил Даниэль.— Ты только скажи...

На пасху снова понаехало много народа в санаторию, и некоторые из приезжих приходили иногда на сэтэр. Может быть, они слышали кое-что о молодой девице, о горожанке, поселившейся здесь, они хотели видеть ее; но напрасно: она не показывалась. Теперь она могла стоять позади своих новых занавесей и наблюдать любопытную, праздничную публику, этих бездельников, также лыжных спортсменов; никого не было между ними из старых пансионеров, ни одного знакомого.

Но вот однажды пришла фрекен Эллингсен; она прямо прошла в комнату фрекен д'Эспар и поздоровалась с нею. Фрекен Эллингсен была совсем прежняя, прекрасно одетая, высокая и ladylike, красивая. То был настоящий сюрприз. Фрекен д'Эспар приятно было ее видеть, она пришла, так сказать, с ее родины, от ее соотечественников, из старой среды, ставшей теперь для нее новой и далекой.

— А Бертельсен здесь? — выпалила она.— О, она стала такой невоспитанной и прямой, и она живо раскачалась в том, что задала этот вопрос.

Фрекен Эллингсен просто ответила:

— Нет,— тихо и без вздоха сказала она,— он ведь жених фру Рубен.

— Неужели?..

— Разве вы не прочли объявления в газетах?

— Нет, здесь я газет не читаю.

Молчание.

— Да, вот как это кончилось! — сказала фрекен Эллингсен.

— Никогда я не ожидала!.. Ведь только недавно умер ее муж?

— Да, и бог его знает, как он умер...

— Что вы хотите этим сказать?

— Ничего, — сказала фрекен Эллингсен, но по лицу ее можно было догадаться, что она думает о хлороформе и о преступлении. — Может быть, я и увижу когда-нибудь эту даму...

Фрекен д'Эспар:

— Да, но Бертельсен хуже.

— Не Бертельсен... нет, тут была дама отравительница. Фрекен Эллингсен несколько раз кивнула головою и сказала: — Но я когда-нибудь...

— Бертельсен обманул вас?

— Да, — грустно ответила фрекен Эллингсен. Но волнение ее нельзя было рассматривать как большую скорбь.

— Знаете что, — вырвалось у фрекен д'Эспар, — вы были слишком добры к нему!

Они обсуждали некоторое время этот вопрос; немного можно было сказать по этому поводу; фрекен Эллингсен не была согласна со своею собеседницей, она не была слишком добра, совсем нет. И наконец, в ответ на прямой вопрос, она призналась, что лесопромышленник Бертельсен никогда к ней и не сватался.

— Это меняет дело. Что же, он просто желал, чтобы у него под рукой была дама, чтобы не быть ему без дамы?

— Нет, — прямо и честно ответила фрекен Эллингсен, — он всегда мог иметь любую даму, хватило бы их на его долю, сын торгового дома «Бертельсен и сын», миллионер! Но он с удовольствием проводил время со мною.

— Я бы плюнула на него! — сказала фрекен д'Эспар.

Фрекен Эллингсен была очень благоразумна, она не торопилась, ни на кого не плевала; фру Рубен, наоборот, она не предсказывала ничего хорошего.

— Подождите только! — с угрозой сказала она, — она еще со мною не разделалась!

— Что вы сделаете?

— Нет, ничего, — сказала она и заговорила о другом. — Мне некогда об этом думать, у меня есть для чего жить: служба и мои воспоминания. После службы я прихожу домой и чувствую себя там великолепно. Комната моя моментально наполняется толпой людей.

Все то же безумие в этой хорошенькой головке! Она была все та же, спокойный человек, но с совершенно извращенным воображением, безразличная в половом отношении, скучная и бесплодная.

— Если вы не читаете газет, то вы, конечно, не знаете, что я собираюсь издать сборник? — спросила она.

— Сборник? Нет.

— Мои воспоминания. Об этом было напечатано в газетах. Эскизы, или назовите, если хотите, рассказы. Они основаны на истинных происшествиях!

— Подумайте!

— Все, кто ни читал их, находят их интересными. Мне только следует приготовить их к печати, говорят они.

— Не понимаю, как вы их сочиняете.

— Да, это все говорят. Но тут нужно прежде всего призвание. Когда имеешь талант... Потом это уже дело навыка.

— Да, понятно, боже мой, нужно упражнение! — вскричала фрекен д'Эспар. — Я вижу это, когда читаю по-французски. Ведь не может же случиться, чтобы я забыла этот язык. Правда?

— Я десять лет писала их, — сказала фрекен Эллингсен. — К своему юбилею я издам сборник.

Вероятно, она и пришла главным образом для того, чтобы сообщить эту новость; она говорила об этом до тех пор, пока фрекен д'Эспар не перестала слушать ее. То, что об этом было напечатано в газетах, занимало ее, очевидно, больше всего, что она доньше пережила, даже больше, чем потеря Бертельсена. И только перед тем, как уйти, она вспомнила, что должна была пригласить фрекен д'Эспар в санаторию.

— В санаторию? Меня?

— Приехали какие-то важные гости, которые, может быть, захотят говорить по-французски, какой-то генеральный консул с женою и двумя взрослыми дочерьми.

— Я не могу прийти, — отвечала беспомощно фрекен д'Эспар.

— Почему же? — спросила, ничего не понимая, фрекен Эллингсен. — Вас приглашает директор, адвокат Руппрехт. Фрекен д'Эспар подумала и спросила:

— Много ли там народу?

— Да, масса, большинство из них никогда раньше там не бывало. Удивительно, там так много толстых людей, что проходу нет от животов, на каждом шагу наталкиваешься на живот. Лыжные спортсмены, конечно, тонкие и

синие, но остальные... противно смотреть на них. Там, между прочим, и старый начальник фрекен д'Эспар из города.

— Андерсен? — вскричала фрекен д'Эспар.

— Да, и еще много жирных людей, дам и мужчин.

Конечно, интервью с фру Рубен привлекло много публики в санаторию. Несчастные захотели испытать, спустят ли они жир, поживши в Торахусе; говорили, что там какая-то чудотворная вода, какое-то особенное лечение и врачебный уход, и что все это вместе быстро преобразует людей.

— Андерсен, значит! — сказала фрекен д'Эспар. Она не стала больше обдумывать, ей в голову не могло прийти дольше размышлять об этом; она сказала:

— Передайте, пожалуйста, адвокату, что я не могу придти.

Фрекен Эллингсен простилась холодно; без улыбки она сказала:

— Я пришлю вам газеты, в которых это было напечатано.

Фрекен д'Эспар:

— Не говорите, что я не хочу придти, скажите, что у меня времени нет. Не упоминайте, значит, что я не хочу.

И обе дамы, каждая занятая своими мыслями, расстались.

Конечно, фрекен д'Эспар не могла в настоящее время показаться в санатории, где в довершение всего, жил теперь ее прежний начальник, об этом и думать нечего было; она должна была забыть о том, чтобы входить в общение со светскими людьми и говорить по-французски. Это не было интересно, но она не могла обвинять в этом Даниэля; то была судьба, и, когда она розыскала Даниэля, она не излила на него свое дурное настроение. Она просто рассказала ему, что случилось, и что она вынуждена была отклонить приглашение.

— Тебе следовало пойти, — сказал он.

— Ты не можешь этого думать. В таком виде, в какой ты привел меня?

— Что же с того? — легкомысленно сказал Даниэль.

Спорить с ним было бесполезно, у него был свой взгляд на вещи, совершенно другой, чем ее взгляд. Впрочем, он был занят и мысли его были устремлены на то, что он делал. Он сидел в кухне и вырезывал себе подтяжки из кожи, и это, несмотря на то, что была Пасха. И теперь



он не прекратил своей работы: он мерил и отмечал, и очень был заинтересован. Он гордо сказал:

— Кожа от собственной скотины.

— Что это будет?

— Подтяжки!

— Вот это! — вскричала она, свалившись с облаков.

Она, конечно, вспомнила про другие подтяжки, подтяжки из шелка и резины, изящные подтяжки господина Флеминга. Но Даниэль думал свое: каждый знает, что подтяжки должны быть из кожи, и тогда их хватит надолго. Пока он сидел и выкраивал подтяжки, и вымерял, и был доволен собою, она начала посмеиваться; Даниэль вопросительно взглянул на нее. То была хорошая, толстая кожа, бычачья, хорошо выделанная, совсем не плохая, стало быть, нечего было смеяться. Руки у него были нечистые, но они были сильные и крепкие, могли в случае чего оказать защиту. Этими самыми руками, при помощи ножика и долота, он мог делать разные красивые, маленькие вещицы. Он показал ей деревянную ложку своей работы, на конце ее ручки была мелкая резьба; он показал ей ящик для муки, висевший на стене, крышку его он украсил поднявшейся на дыбы лошадью; у него всегда были эти способности, он был резчик и художник, а чем художник хуже чиновника!

Даниэль очень занят, он снова садится за подтяжки, и, прежде чем пустить нож в дело, исследует каждый раз кожу. Тут же он болтает, объясняя ей, что весь ремень должен быть хорошего качества и прочен, особенно у петель. Даниэль был сегодня такой же, как и вчера, прилежный и малотребовательный, довольный, даже гордый всем своим. Даже в досужее время, в воскресенье, он по-своему работал, находил то одно, то другое, обдумывал, что ему нужно, подымал опрокинутые вещи, вбивал гвоздь, где это требовалось, или чинил плетень. Он бережно относился к своим вещам, даже скаречничал; это было врожденное его качество, и он еще развил его в себе. Он не был большим знатоком хрусталя или фарфора, но если случалось, в кухне разбивалась тарелка, он долго качал головою при воспоминании о том, что там было уничтожено.

Фрекен д'Эспар прозябала: она занималась понемногу шитьем; что она шила — неизвестно; как только кто-нибудь входил, она прятала работу, вероятно, по той причине, что совсем не умела обращаться с иглой и ниткой. Или тащилась из своей комнаты в кухню и обратно, лежала

на кровати, сидела около Даниэля, когда он занимался резьбой. Иногда она читала ему один из своих французских романов, это умеренно занимало его, он только с удивленной улыбкой смотрел на нее. Чтение ее так и жужжало у него в ушах, и, так как он не понимал ни одного слова, то было неважно, плохо ли она читала, лишь бы не останавливалась, чтобы он не получил впечатления, что она разбирается по слогам. «Вот это ты можешь понять, Даниэль,— скажет, бывало, ему она.— Здесь он говорит ей, что любит ее!» — «Ну, значит, и они говорят об этом!» — «О боже, никто даже вообразить себе не может, как изящно французы объясняются в любви!..»

Но время стало приближаться к весне, дни стали долгими, полуденное солнце, белое и яркое, слепило глаза. Марта разложила шерстяную ткань, чтобы выбелить ее. По месту, времени года и правильной хозяйственной жизни полагалось выбелить ткани на раннем весеннем солнышке и этим завершить их выделку. Время шло, солнце уже пригревало, лед на воде посинел, а у берегов стал хрупким, снег таял на дорогах и куры бродили по грязи.

То было время пробуждающихся надежд и радостных мыслей, но фрекен д'Эспар, очевидно, не шло в пользу пребывания в горах весною; она стала нервна, плохо спала, меньше, чем прежде, ела и потеряла веру в самое себя. Чего ей не хватало? Разве у нее не было тепла, мира, уюта? Нет. И она жаловалась Даниэлю, который ровно ничего не понимал.

— Не пойти ли мне и не потребовать ли оглашения? — спросил он.

— Хорошо,— ответила она,— если это должно случиться, то...

— Я это теперь же сделаю, ведь бумаги твои получены. Только раньше я немного помоюсь.

Когда он привел себя в порядок, она сказала:

— Нет, оставь это, подожди немного!

— По какому случаю?

— Подожди немного, незачем так спешить.

— В жизни не слышал такой глупости.

— Что же, ты не можешь подождать с этим немного? — в раздражении вскричала она.

Даниэль взглянул на это со смешной стороны и сказал:

— Какого же черта я умывался! В будни и все такое!

Но от того, что они отложили оглашение, дело не поправилось. Какая-то тяжесть давила фрекен и от этого она становилась мрачной и нетерпеливой. Часто ей хотелось

остаться одной, она уходила из своей комнаты, тайком пробиралась в лес, сидела там на камне и грустила. Слыхано ли что-нибудь подобное! Так она грызла себя до вечера, до сна; в последнее время ночи ее были полны кошмаров и страхов: каждую ночь приходил доктор Эйен и требовал обратно свою скатерть. Она просыпалась в таком страхе, что сердце у нее колотилось. Прежде фрекен д'Эспар была мужественна и решительна; теперь она стала слабой и жалкой, не решалась зажечь лампу, не решалась вынуть руки из-под одеяла; мертвец, труп, это было не насекомое!

Она грустила и снова пожаловалась Даниэлю.

— Да что с тобой? — спросил он. — Разве нет воды в ручье?

— Воды? — переспросила она.

— И дров сейчас же у двери дома? Хороший воздух, тепло и комната, мясо и яйца. Тебе, наверно, хочется кукушку услышать...

— О, ты невыносим... все болтовня, болтовня...

— Что с тобою?

— Не знаю.

— И я не знаю.

— У меня каждую ночь такие страшные сны.

— Позволь мне лечь у тебя, — сказал Даниэль. — Тогда ты снова камнем уснешь.

Фрекен надулась:

— У тебя вечно свое на уме!

Снова предложил Даниэль попросить об оглашении, чтобы уже сбыть с плеч венчание, и фрекен согласилась, что это должно бы теперь свершиться. Но хватит ли у нее сил? Она была слаба, чувствовала, что едва ли в состоянии будет свершить долгий путь в церковь и обратно. Даниэль сказал, что возьмет у Гельмера тележку и впряжет в нее свою трехлетку: «Она повезет тебя — о, боже сохрани, не воображай, что в тебе весу целая тонна!». Но фрекен было страшно, и она просила, чтобы он еще немного обождал: скоро, наверно, ей станет лучше...

Даниэль взял с собою ее бумаги и отправился в село; там он встретил приятелей и знакомых, пропустил стаканчик, другой и после этого, на собственный страх, отправился прямо к пастору. Не помешает, во всяком случае, если сделают оглашение в церкви; он давно уже ждал того момента, когда поразит все село. Конечно, он давно уже намекал своим знакомым, что он помолвлен, но чего-нибудь определенного, верного, он не высказывал;

теперь пусть это сделает сам пастор! Это не значит поступать против желания фрекен, против желания Юлии, она ведь сама может назначить время венчания позднее, когда снова станет веселой и бодрой.

Он уладил дело с пастором. Уладил также с Гельмером и с тележкой и кончилось тем, что Гельмер, проведенный с ним целый день, пошел вместе с ним к нему домой, на сэтэр. Оба были немного навеселе и кроме того захватили с собою еще бутылочку; Даниэль был тщеславен и хотел показать своему другу фрекен, то есть Юлию. Но где же она?

Марта высказала предположение, что она ушла куда-нибудь неподалеку.

Они подождали некоторое время в кухне, и Даниэль сказал, что когда фрекен вернется домой, они пойдут в ее комнату. Она, вероятно, сидит в лесу, на камне, как всегда.

Гельмер намекнул, что ему пора уходить. Не может ли Даниэль сейчас показать ему новую пристройку? Он не видал ее с тех пор, как она построена.

Они подкрепились еще чарочкой и вошли в пристройку.

Там, правда, очень было мило, с занавесями, зеркалом, французскими книгами и разноцветной скатертью на столе; Гельмер нашел, что все это великолепно.

— Ну, конечно, я старался сделать все как можно лучше,— сказал Даниэль.— И он, в своем приподнятом настроении и легком опьянении, стал хвастать, выражаться изящным языком, говоря постоянно о многих вещах, что они «изысканы». Все это импонировало Гельмеру.

Даниэль сказал:

— Взгляни на скатерть! Такие вещи она сама делать умеет, для нее это ровно ничего не значит.

Гельмер посмотрел внимательнее, но не прикоснулся к ней.

— Тронь ее рукою,— сказал Даниэль,— тебе нечего бояться! Я могу брать в руки все, что здесь находится; этого еще недоставало! — он перебил самого себя и перешел к ее романам, затем толкнул с презрением скамейку. Все это я смею делать, сказал он,— она не кусается.

— Тебе повезло, Даниэль,— сказал Гельмер.

Даниэль согласился с этим, кивнув головою.— Зовут ее Юлия,— сказал он, гордо взглянув на своего друга.— Не помню, как она выговаривает это имя по-французски.

— Очень хороший сундучок,— похвалил Гельмер,— окован вдоль и поперек медью!

А Даниэль стал еще больше хвастать:

— Да, и я тебе даже сказать не могу, сколько превосходных вещей и одежды и всяких городских изделий в этом сундуке. Если бы только она пришла, уж я бы заставил ее показать тебе все это.

— Добра она к тебе? — спросил Гельмер.

— Добра ли? Как дитя; я делаю с нею, что хочу. Добрая душа, отдает все, что ни захочешь. Поди купи лошадь, поди купи то-то и то-то, я дам тебе денег, говорит она.

— А разве у нее *есть* деньги? — с напряженным любопытством спросил Гельмер.

— Деньги? Ничего удивительного нет в том, что ты меня спрашиваешь об этом, так как ты ее не знаешь, но я видел, как она вытащила из-за пазухи пачку денег — ты этого не видел. Если бы ты видел эту пачку, ты не спрашивал бы. Это была самая толстая пачка денег, которую я когда-либо видел.

— Как я сказал тебе, тебе повезло! — повторил Гельмер, полный изумления по поводу только что выслушанной им сказки. — Интересно было бы мне посмотреть ее поближе.

Даниэль:

— Ты, может быть, думаешь, что это старая, безобразная баба, на которую никто и взглянуть не хочет? О-го! Я тебе сейчас расскажу кое-что, Гельмер. В паску пришел из санатории посланец за нею. Да. Там понаехало много путешественников и важных господ, и они послали за нею, потому что желали поговорить. Да. Но она и не двинулась. Ну, выйдем и позовем ее!

Они вышли из избы, и Даниэль позвал ее, и несколько минут спустя она вышла из лесу.

— Тебя так долго не было, я стал уже бояться за тебя, — сказал Даниэль.

Странная эта молодежь! Она вспомнила, что видела уже Гельмера между многими другими тогда, когда он зимою вместе с ними убирал снег с катка: теперь она ответила на его поклон и сейчас же сделала приветливое лицо; Даниэль мог быть доволен.

— У тебя, кажется, чужие, — сказала она.

— Гельмер. Он был все время со мною, мы были у пастора и сделали оглашение. Гельмер обещал мне дать тележку, а теперь он хочет видеть тебя.

— Меня... видеть меня? Боже, что этим сумасбродным парням может взбрести на ум!

— Ты только молчи! Иначе я не мог; он не хотел уйти, не повидавши тебя.

Была ли она польщена, или нет, во всяком случае, она очень мило улыбнулась, не обнаружив недостачи зуба. Счастье было также, что она была одета для прогулки: она была в плаще, окутывавшем ее от самого рта до лодыжек, и это скрывало ее бесформенность.

— Мы были сейчас у тебя,— сознался Даниэль,— Гельмер хотел видеть пристройку.

— Да, да,— весело ответила она,— теперь, значит, он видел и меня, и пристройку.

Гельмер, кокетливый и сдержанный, ничего не сказал.

— Угостила ли Марта Гельмера кофе? — спросила она, разыгрывая хозяйку.

Даниэль ответил:

— Нет. Но он получил кое-что получше, у нас бутылочка.

— Ого! Вот какие вы кутилы! Хороши оба, нечего сказать!

— Это небольшой кутеж,— смеясь ответил Гельмер, но по всему лицу у него разлилась краска.

Стало вечереть; они еще немного поболтали, она не пригласила Гельмера войти, потому что пришлось бы снять плащ, а она не хотела этого.

Когда Гельмер уходил, Даниэль сказал ему:

— Приходи опять, заглядывай к нам, теперь ты знаешь, как мы живем.

— Да, пожалуйста,— сказала фрекен, кивая ему головою.

Даниэль ожидал головомойки, потому что позволил себе устроить церковное оглашение без согласия возлюбленной; и когда она пригласила его к себе в комнату, он захватил с собою припасенную им на этот случай сигару. Но все сошло очень хорошо: возлюбленная не выказала особенного неудовольствия, она только ядовито спросила его, не намерен ли он обвенчаться тоже на собственный страх и риск. Тут Даниэль стал смачивать свою сигару, хорошенько слюнить ее.

— Не беда, что сделано было оглашение,— сказал он,— венчание будет позже, когда ты сама назначишь.

В этом он, в сущности, был прав; она смягчилась и с любопытством стала расспрашивать, что сказал пастор и правильно ли выговорил он ее французское имя.

— Да, пастор удивился и спросил, не дворянка ли она.

Она заинтересовалась, что это он там мастерит с сигарой.

Разве она не знала? Сигару нужно смочить снаружи и основательно помять в руках, иначе она не годится. Он купил сигару и взял ее с собой домой, чтобы сидеть у нее в комнате и курить.

— В таком случае, зажги ее! — сказала она.

Даниэль здорово надымил в комнате, а фрекен вдыхала дым и наслаждалась. Они оба пошли в кухню и там поужинали, и, так как фрекен боялась темноты и ее терзали грустные мысли, то она привела Даниэля обратно в свою комнату. И в эту ночь она спала спокойно, потому что ее караулил Даниэль.

Не раньше понедельника спустился снова Даниэль в село. Он бегал то туда, то сюда и очень торопился; он был в напряженном состоянии: теперь уже свершилось; об этом было объявлено с церковной кафедры. Что же сказал село? О, село почти онемело, и не без причины.

Он отправился на базар, там всегда бывало много народу, друзей и приятелей, от которых он мог получить сведения; он притворился, будто у него важное дело и пробрался к прилавку. Когда увидели, кто подходит, все расступились и дали ему дорогу; никогда раньше не относились к нему с таким почтением. Он принял это, как взрослый человек, с достоинством. Тут один протянул ему руку и поздравил его, затем — другой, в конце концов подошли все. Даниэль наслаждался.

Какая-то женщина сказала:

— Я всегда говорила, что из тебя выйдет толк, Даниэль, ты из хорошей семьи, твоя мать и я были однолетки, и мы вместе конфирмовались, а теперь она почивает в могиле!

Тут были люди с разных сторон: все единодушно поздравляли его, было ясно, что в селе находили, что он «убил бобра». Большое впечатление произвело, когда пастор в церкви сказал *фрекен* Юлия д'Эспар; также понял Даниэль, что Гельмер очень постарался после того, как побывал на сэтере, расхваливал и пристройку, и фрекен.

С базара Даниэль отправился без особенной надобности к ленсману: ему нужно было уплатить маленький налог или что-то в этом роде; в глубине души он хотел показаться Елене и повеличаться перед нею. О, молодость и юность сердца! Недостаточно быть владельцем сэтера, иметь домашнюю скотину и невесту, и хлеб насущный;

нет, в нем всплыло что-то новое и тоже требовало пищи! Даже у мальчишки из куринной избы есть своя внутренняя жизнь, с которой приходится считаться, о, сильная и сложная внутренняя жизнь, и требованиям ее приходится уступать. Тщеславие? Возможно. Властолюбие? Любовь? Торжество? Возможно и это. Елена когда-то пренебрегла им...

Она не встретила его, не побежала ему навстречу, не взглянула на него влажными глазами и не выражала раскаяния — совсем нет, ее не видно было. Это было досадно, черт возьми, но... скатертью дорога!

В канцелярии он уплатил налог и сунул в карман квитанцию ленсманского писаря с таким видом, словно то была ничтожная бумажонка, какими он сигару раскуривает; размеренно сказал: — «Прощайте» вместо «До свидания». И, уходя из усадьбы ленсмана, он не заметил, чтобы кто-нибудь смотрел ему вслед.

Кончено!

Но тут случилось нечто: в лесу он встретил ее, Елену: она шла ему навстречу, приблизилась, поклонилась. Оба остановились, оба покраснели. И начали беседовать. У нее, у жены ленсманского писаря, тоже была своя внутренняя жизнь, тихо протекавшая в скромных рамках, но для нее она была важна и вполне обоснована. Она прямо приступила к делу и, поздравляя, протянула ему руку.

— Да, это была большая новость, — сказала она, — и если бы не пастор сказал это, мы не поверили бы.

— Может быть, мне следовало прежде у тебя спроситься? — насмешливо сказал он. Она больше не существовала для него, покраснел он при встрече от неловкости.

Ответ ее смутил его:

— Давно уже не видела я тебя, — сказала она.

Даниэль, которому почудилось, что на лице у нее отражаются раскаяние и грусть, твердо ответил:

— Да, много времени прошло с тех пор, как ты исчезла.

— О, — сказала она, смиренно улыбаясь, — я никуда не исчезла, я живу в селе.

— Может быть. Да я то не имею обыкновения без дела ходить в село. А к тебе у меня нет больше никакого дела.

— Конечно, нет.

— Да, это так, и так и будет — сказал Даниэль. О, он был парень упрямый, не любил нежничать, не рохля какой-нибудь. Он ей ответил, он покажет...

Но она по-видимому, не захотела распространяться об этом, она неожиданно спросила:



— Какую такую девицу ты заполучил?

Даниэль вспыхнул и побледнел:

— Зачем тебе знать это? Разве недостаточно того, что я знаю?

— Да. Но знаешь ли ты это?

— Если мне захочется больше узнать о ней, то я приду к тебе,— сказал он, сделав вид, что хочет уйти.— Ты стала страшно любопытна с тех пор, как вышла замуж за ленсмана!

— Да, ты знаешь,— сказала она,— ленсман должен всех и каждого допрашивать. Это уж так.

— Ну,— насмешливо спросил он,— значит, он и ее допрашивал?

— Да,— ответила она.

Даниэль, разинув рот, уставился на нее. Она побледнела, губы у нее слегка дрожали. Быстро промелькнули у него в голове какие-то мысли.

— Вот как... ленсман допрашивал фрекен... Юлию... Когда же это было? Он ничего не знал об этом, его не было при этом, иначе он отделал бы ленсмана, разнес бы его в пух и прах...

— Я думаю, что лучше рассказать тебе это,— сказала она.

— Ты думаешь? А о чем же он допрашивал ее? Разве она не та, за кого выдает себя. Хочешь видеть ее бумаги? — спросил он, отстегнув пуговицу,— свидетельство о прививке оспы, о крещении, о конфирмации. Все они у меня.

— Это не то! — сказала Елена.

Немудрено, что он стал ругаться, послал ее и ленсманского писаря к черту, посоветовал ей вернуться домой и оставить порядочных людей в покое. Если она в последнее время стала дрянью, то не намерена ли она, помимо всего прочего, еще преследовать его?.. Тут он остановился, заметив в ее лице какое-то мягкое, страждущее выражение, он подумал, что лучше понял, в чем дело: она ревновала к фрекен, она вынести не могла того, что он перестал горевать, полюбил другую и желает жениться на ней; он должен был умереть на своем сэтере с тоски по ней, так как ему ее не хватало. Вот так ему следовало поступить, а он, наоборот, еще ее помучит хорошенько...

— Нечего тебе беспокоиться о ней,— веско сказал он.— Она — единственная женщина, которую я любил; я хочу, чтобы ты знала это.

— Ну,— сказала Елена,— конечно, я не беспокоюсь о ней, ты не думай; но только все равно, она была на допросе по поводу каких-то пропавших денег.

— Денег? Каких это денег? Украла она их, что ли?

— Я не говорю этого.

В этот миг превосходство было на стороне Елены. Даниэль почувствовал маленькое беспокойство, какой-то укол: что же это? Пропавшие деньги, конверт с деньгами?.. Он сказал:

— Это какая-то сплетня, которую распространяет твой муж!

— Ты так думаешь! Ничего он не распространяет. Он получил приказ допросить ее. Она была невестой или не знаю, что там такое, какого-то финна, а финн этот украл много денег в каком-то банке. Его арестовали и нашли у него только несколько сот крон. Где же были деньги?

— Выходит, что фрекен... Юлия, значит...

— Нет, я этого не говорю, и муж мой не говорит этого.

Даниэль насмехался, хотя его и охватили дурные предчувствия:

— Твой муж тоже не говорит этого! Это самое лучшее, что он может сделать.

— Но он говорит, что она, твоя фрекен, знает о деньгах гораздо больше, чем высказала в своем признании. Вот что он говорит.

Даниэль задумчиво:

— Я спрошу ее.

Пауза.

— Мне кажется, я должна была рассказать тебе это,— снова сказала Елена.

— Она — хороший и правдивый человек, я спрошу ее,— повторил Даниэль.— Она не была невестой этого человека, он был важный граф, и вранье, что он украл деньги в банке. У него на родине целый замок; ты бы видела только перстень у него на пальце! Да за этот перстень ты могла бы купить половину нашего села со всеми усадьбами! Но граф был болен, у него была чахотка, и шла кровь из легких, а фрекен ходила за ним, давала ему лекарства и капли, а за это он, понятно, хорошо заплатил, дал ей много денег за это; он, конечно, мог это сделать. Она все это рассказала мне. Они, бывало, часто приходили ко мне на сэттер и ели простоквашу, а иногда граф ложился на мою кровать и спал часочек — другой и делался от этого здоровее, а потом снова уходил в

санаторию. Я доподлинно все знаю о графе и о ней, потому что она с первого дня все рассказывала мне, и это было задолго до того, как она пришла жить ко мне; я тогда совсем не знал ее. Вот вся история от начала до конца; тут не из чего ни тебе, ни твоему мужу выдумывать истории,— закончил он.

Он кивнул головою и ушел.

Елена тут заплакала и крикнула ему вслед:

— Даниэль!

— Чего там?

Она медленно подошла к нему и снова остановилась, высморкалась и молчала.

— Что такое?

— Ничего,— сказала она.— Мне словно жаль тебя.

— Не беспокойся обо мне!

— Не буду. Но если она таким путем приобрела много денег, то ты знаешь, откуда они.

Даниэль задумался: «Разве у нее много денег? Значит, больше, чем я знаю».

— Гельмер сказал это, когда вернулся от тебя.

Даниэль в бешенстве прокричал:

— Да, да, знаю. Но прежде всего, как я уже сказал тебе, ты слишком разнюхиваешь все, я не желаю больше говорить с тобою...

Задумчиво пошел он домой. «Придется разок серьезно поговорить с невестою, этого теперь не избежать».

Но вышло не так, как он думал.

Когда он пришел домой, Марты не было. Он осторожно заглянул в пристройку: фрекен лежала на кровати, с расстроенным лицом и безумными глазами.

Что случилось, не лежала же она все время?

Нет. Ее ужалила гадюка.

— Гадюка — куда?

— Вот сюда.

Она показала руку с синей полосой; Марта крепко перевязала ее, пальцы побелели и помертвели от тугой перевязки; теперь Марта побежала за доктором в санаторию.

— Давай, я высосу ранку,— сказал он.

Но было уже поздно; все-таки он проколол ранку иголкою и изо всей силы высосал ее, но ничего не вышло до прихода доктора. Вот такая была история! Фрекен теряла сознание, кричала. Со страху с ней сделался шок. Когда доктор сделал все, что нужно было и наложил перевязку на руку, он в заключение сказал, что она

должна раздеться и лечь настоящим образом в постель — по многим причинам, сказал он.

— О, боже, что же со мною? — спросила фрекен.— Не уходите!

Он не ушел, он остался, пока все кончилось. Не было даже времени, чтобы послать Даниэля в санаторию потребовать по телефону специальную помощь. Просто чудо было, как быстро пошло дело; гадюка наладила все отлично.

Когда доктор справился со всем и вышел на лестницу, там стоял Даниэль; он был бледен, растерян и спросил:

— Все уже кончено, да? Как это сошло?

— Да,— отвечал доктор,— бурно сошло дело. Но теперь увидим...

— Разве есть опасность?

— Всегда может явиться опасность, раз это раньше срока.

— Да, и еще настолько раньше! Но ребенок кричит там. Что это, мальчик?

Доктор кивнул головою и сказал:

— Вечером я опять приду. Ваша старушка наверно сумеет ухаживать за больной, но я все-таки вызову по телефону сиделку.

Да, ребенок, мальчишка этот, кричал, и Даниэлю казалось, что он кричит недурно, и он хотел сказать об этом матери. Можно ему войти? Дитя замолчало, оно успокоилось около матери, и Даниэль проскользнул в комнату.

— Ого, здесь какой-то крикун-мальчишка! — смущенно сказал он.

— Да, но он такой малюсенький, так рано родился! — послышалось с кровати.

Бедная маленькая фрекен д'Эспар, она лежала там и должна была кое-что скрывать. Это было нелегко, но она была осторожна и ловка. В последние недели она потихоньку смастерила несколько штук различного мелкого белья и была вполне подготовлена. Но так как она совсем не умела справляться с иглой и ниткой, то маленькие рубашечки вышли совсем не наряды. Да и к чему? То были, во всяком случае, тонкие вещицы, некоторые из них были, наверно, сделаны из шелковых блузок и были мягки, как воздух. Впрочем, у Марты были более грубые вещи, даже вещи из белоснежной шерстяной ткани для того, чтобы завернуть ребенка поверх всего.

Даниэль огляделся и стал дурачиться:

— Что, он опять ушел? — спросил он.

— Кто?

— Да ребенок, мальчишка. Я сейчас слышал плач.

Молодая мать улыбнулась, она откинула кончик одеяла и показала маленькое чудо-юдо.

— Он слишком рано явился, — сказала она, придавая этому большое значение.

— Ого, — сказал Даниэль, — он совсем не так мал, как я вижу; не верь этому. Я, когда родился, был гораздо меньше, не правда ли, Марта?

Марта уклонилась от прямого ответа и сказала:

— Да, слава богу, он хороший мальчик.

Фрекен успокоилась; она и думать перестала об ужалении гадюки; если бы от нее зависело, она сейчас сорвала бы повязку с руки, иначе она не могла лежать, как следовало с ребенком. Она могла даже с величайшим спокойствием рассказать, как она была ужалена:

— Да, она, как всегда, сидела на камне, на лугу; был солнечный день и ей захотелось спать. Вдруг она ощутила что-то холодное на руке и схватила это; в ту же секунду змея ускользнула, она почувствовала укол и побежала домой.

— Ужасное свинство с этими гадюками, — сказал Даниэль. — Год тому назад, когда я уснул на лугу, ко мне в карман штанов заползла гадюка.

— Что же, ты убил ее?

— В том то и дело, что не убил! Это и сейчас злит меня. Какие у него смешные пальчики, дай-ка мне посмотреть! Взгляни-ка, он шевелит ими!

— Ну, уходи уже, — сказала Марта.

Оставались все-таки деньги и граф, и как-то, в течение недели, он поднял вопрос о них. Началось с того, что она хотела бы повенчаться до рождения ребенка — о, как скверно вышло, что так случилось, но Даниэлю, казалось, было все равно. У него, наоборот, было на душе нечто совсем другое; он, впрочем, только скажет в чем дело, а после и думать об этом забудет. Он хотел знать, что граф-то, вон тот, с простоквашею, что он, мошенник?

— Граф... почему? Нет, он хороший человек!

— А как же ведь он украл деньги и был арестован?

Фрекен задумалась над этим.

Может быть, он мошенник, она этого не знала, она не была с ним так хорошо знакома...

— Что у тебя было с ним?

— У меня? Ничего. *Rien dutout.*

— Да, но что ты знаешь о деньгах, которые он украл? Они у тебя?

— У меня? — вскричала фрекен.— Ты с ума сошел!

— Нет, но я знаю это.

— У меня только те деньги, которые он дал мне... да, да, там было порядочно денег, и они у меня. Разве я не рассказывала тебе?

— Да, ты, конечно, сказала мне это. Но если у тебя было много денег, ты должна была, между прочим, отдать их ленсману.

— Что? Да ни за что на свете!

— Он ведь приехал и допрашивал тебя?

— Ленсман? Конечно. Разве я и этого не рассказала тебе?

— Кажется, упоминала.

— Он допросил всех в санатории, и меня в том числе. Зачем же ты спрашиваешь меня об этом?

— Там у ленсмана уверяют, что ты знаешь о графе и о деньгах больше, чем говоришь.

— Мне кажется, все с ума сошли,— сказала фрекен.— Что я могу знать? Впрочем, граф вовсе не украл денег и его, собственно говоря, и не арестовали; мне рассказал все это адвокат в санатории. Полиция ошиблась, и его поместили в больницу, потому что у него чахотка. Спроси сам у адвоката.

Для Даниэля этого было более чем достаточно; его собственное доверие укрепилось, и он ушел совершенно удовлетворенный ее объяснениями. Нет, не удастся Елене снова посадить его в лужу. Впрочем, бедная Елена, она, наверное, раскаивается, что упустила его, и в отчаянии, еще чего доброго, пойдет к воде и утопится. Ну, этого он не мог бы видеть спокойно, он спас бы ее...

Снег скользит с крыш на землю, где он изо дня в день лежит потемневший и невинный и тает. Глухие звуки, слышные вокруг дома, происходят от слияния снежных масс. На лугах и до самой «Вышки» появляется все больше и больше проталин. Приблизительно около троицы раздражается буря с дождем, и тогда хорошо сидеть дома и иметь в запасе пищу и питье для себя и для скотины; проходит ночь с громом и фанфарами, и часа в четыре утра прекращается весь этот невероятный шум, небо и земля утихают. А через день наступает весна.

И какая весна — горная! Она приходит не по заранее обдуманному плану, но как брошенная вперед чудесная,

быстрая и безумная идея. Марта стала сбрасывать с себя одежду за одеждой.

Когда фрекен д'Эспар встала с кровати и вышла на воздух, все казалось ей удивительным. Перед нею растилялся вплоть до села далекий мир, совершенно не похожий на прежний; все было зелено и залито горячим, ярким солнечным светом; вокруг пастбища лес, одетый в молодую листву; на полях зеленая трава и сильный запах отделяется от земли. В несколько дней она совершенно поправилась; она стала брать ребенка с собою, садилась с ним на пороге и кормила его грудью; Даниэль садился около нее.

— Если бы только он не был таким маленьким,— сказала она, подчеркивая это,— только бы нам удалось сохранить ему жизнь! Разве доктор не сказал, что он родился слишком рано?

— Конечно, он сказал это.

— Ну, вот ты слышал. Он родился за несколько недель до срока, ты сам хорошо знаешь, когда мы сошлись!

Но фрекен должна была питать к гадюке большую благодарность, потому что сама она не выдумала бы лучшего предлога тому, что роды были преждевременны.

— Он вовсе не маленький,— настаивал Даниэль, гордившийся ребенком.— Ты только вбила себе это в голову.

Все было в порядке, в маленькой семье не было ни малейшей дисгармонии. Разве мальчуган не процветал? Разве вокруг него с утра до вечера были свары? Никогда. Когда Даниэль побывал в следующий раз в селе, он купил для малютки платок, на котором были изображены разные животные, и от всего сердца подарил его ему. Чего, значит, не хватало? Ничего. Благодетельная слепота снизошла на Даниэля, он смотрел на себя и на своих незрячим оком: требования у него были маленькие, семейная жизнь построена на обмане, но удовлетворение было великое и полное.

Фрекен д'Эспар тоже ценила его, ни в каком случае не заслуживал он презрения; если бы только все продолжало идти, как сейчас, то было бы хорошо. У нее был ребенок, и она совсем выздоровела, Даниэль не слышал от нее дурного слова:

— Даниэль, как ты думаешь, он не умрет? Мы, конечно, не заслужили этого, но все-таки...— она чувствовала себя бодрой и вернувшейся вновь к жизни и сказала: — Если бы теперь они прислали за мною из санатории, я взяла бы ребенка на руки и пошла бы.

Построенная на обмане семейная жизнь! Ну, конечно... и во лжи могут заключаться прекрасные истины. Если бы сама жизнь не требовала существования лжи, ее не было бы.

Венчание все откладывалось и откладывалось; не из нежелания с чьей-нибудь стороны, виноваты были обстоятельства, а не фрекен. Разве она могла пойти венчаться с ребенком на руках. И разговора не было о том, чтобы подвергнуть его насмешкам и показать при этом случае добрым людям! А разве она могла оставить его дома, такого маленького! Невозможно. Марта ведь не могла накормить его грудью. Что же оставалось делать?

Когда лето подвинулось вперед, Марта взяла ребенка и понесла его крестить, не могла же пока молодая мать и ребенок показаться вместе на глаза всему народу!

#### ГЛАВА XIV

---

По-видимому, все могло идти гладко.

Снова наступили каникулы и снова на пути в санаторию виднелись люди в экипажах и пешком; все это тянулось туда, чтобы отдохнуть, поправиться, а полные — надеялись похудеть. Инспектор и экономка всех встречали; доктор приходил, когда его звали; в этой лечебнице всюду был замечательный порядок, всюду барометры, плакаты и прислуга, и директор, адвокат Руппрехт, тоже был доволен.

Несколько недель работали над проведением электричества; но конечно, как всякая подобная работа, она была приостановлена и затем уже медленно подвигалась вперед; представлялись различные затруднения: то надо было разрушить скалу, что вызвало бы оглушительный взрыв; то нужно было принять во внимание в известные часы покой больных. Но электрическое освещение во всяком случае будет, — сказал адвокат. — И могучий водяной двигатель тоже, — сказал он.

Стали приходить возы с съестными припасами, возы с обстановкой для необставленных еще комнат в доме, возы с материалом для новой стройки, которая должна была вдвое увеличить помещение, возы с железом и цементом, досками, матрацами, большими зеркалами, печами, обоями.

И вот в один прекрасный день приехал со станции господин; да, он приехал...

Он приехал, но багаж его был невелик, только изящный ручной чемодан; одет он был тоже в изящное, хотя не



совсем уже новое, платье. На пальце у него было бриллиантовое кольцо и маленький бриллиант в булавке в галстуке. Привез его Гельмер.

Господин вышел из повозки у большой веранды, прошел мимо многих гостей, приветливо поклонился экономке и сказал:

— Если возможно, я желал бы поселиться опять в своей старой комнате, в которой я прежде жил. Я — Флеминг.

— Экономка немного смущенная:

— Не знаю... вы — господин Флеминг?

Мужчина улыбнулся и кивнул головою.

— Да, ваша комната... я справлюсь...

Тут подошел инспектор, поклонился и взял у господина сак. Они прошли в курительную, и экономка по пути сказала:

— Это господин Флеминг!

Подошел адвокат Руппрехт и моментально узнал приезжего:

— Вот так сюрприз! — вскричал он. — Как поживаете, граф? Разве вы не узнали графа? — спросил он экономку.

Господин Флеминг ответил:

— Ничего в этом нет удивительного, — я отпустил бороду с тех пор, как был здесь.

— Я бы узнал вас среди тысяч! В какую же комнату поместим мы графа Флеминга?

Выяснилось, что прежняя его комната была занята, но это можно будет уладить, адвокат все уладит. Он сиял, как хозяин, позвонил девушке, приказал принести портвейну и предложил стакан гостю, все время величая его графом так, чтобы гости это слышали. Впечатление было сильное.

И все было улажено; господин Флеминг получил свою прежнюю комнату, и инспектор принес туда его сундуки с чердака. Ключи висели тут же в запечатанном конверте; господин Флеминг так равнодушно сломал печать, словно то была его, а не ленсмана печать; вероятно, опасно было ломать печать полиции, но нет, ничего.

Инспектор, желая подольститься, сказал:

— Тут был только писарь ленсмана и это он наложил печать.

Господин Флеминг ответил:

— В этом не было никакой надобности; здесь в санатории наверно никто не полез бы в мои сундуки в мое отсутствие.

Он умылся, и, по старой привычке, тщательно приоделся, сошел вниз и прошелся между пансионерами; очень мало кого он знал, присел на минутку около Самоубийцы и предложил ему сигару.

Самоубийца отказался. У него был опять тяжелый период, он как-то весь поник и почти не подымал глаз, все дул на свою раненую руку и молчал.

— Здесь, по-видимому, много пансионеров,— сказал господин Флеминг.

Самоубийца неожиданно:

— Да, много дураков. Толстые приезжают сюда, чтобы спустить жир, и бог его знает, как это им удастся, мы питаемся консервами и водою Торахуса.

Господин Флеминг улыбнулся. Он знал знакомый ему по старому времени недовольный тон Самоубийцы.

— А худые? — спросил он.

— Худые живут надеждою.

Пауза.

Когда господин Флеминг сказал: — Вы неизменный пансионер Торахуса, Самоубийца ответил: — Я здесь затем, чтобы не быть в других местах. Но когда господин Флеминг захотел продолжать разговор и прогуляться немножко, Самоубийца даже не ответил ему, он находил, что сказал уже достаточно.

Вокруг него кипел народ — они вовсе не были дураки по внешнему виду, но безобразны каждый на свой образец; некоторые от худобы, другие от жиру, какие-то уродливые бочки на ногах, или замученные службой учительницы и конторщики с длинными, тонкими, как у насекомых, членами. Попадались очень красивые головы с беспомощными, добрыми глазами. Одна дама пространно рассказывает, в каком крупном предприятии она служит, какие большие счета она все время пишет, на тысячи, и все эти большие суммы только на датские яйца и датские окорока. И казалось, что ее тощие слушатели ничего не имели против того, чтобы слушать о таких количествах хорошей еды.

Господин Флеминг встал и поздоровался с ректором Оливером: по случаю своей новой бороды ему приходилось каждый раз называть себя. Старейший учитель точь в точь тот же, что и раньше был, в том же платье, с тем же поношенным, серым лицом, терпеливо поучает всех, с кем ни разговаривает. Было что-то безнадежное в неизменяемости этого человека, казалось, что он даже своего черного галстука не переменил; руки его были такие же

длинные и костлявые, сапоги такие же прочные. Олицетворение долголетия в Торахусе.

— Voilà un homme! — сказал он, раскланиваясь с господином Флемингом. — Вы знаете эти слова? Это сказал Наполеон, когда встретился с Гете. — Ректор рассказал, что он еще никого не встретил здесь, с кем мог бы беседовать; он не хотел этим сказать, что у всех этих пансионеров не было никаких интересов, совсем нет, он просто не нашел еще симпатичных ему людей. Для одного, впрочем, он сделал исключение: для инженера, занятого работой по установке электрического освещения — большой драматический талант. — С ним вам следует познакомиться.

Ректор был очень рад встрече с господином Флемингом: это человек, с которым можно говорить и который поймет тебя, человек отлично воспитанный и понимающий тонкое обращение. Он спросил о здоровье семьи ректора, о его прекрасных мальчиках. Да, на этот раз они были с ним; но, впрочем, они вечно бегают и бог их знает, где они сейчас! Ректор не был особенно доволен своими сыновьями, они далеко не обнаруживали тех же способностей и той же охоты к учению, которое он обнаруживал в их возрасте; но что ему было делать с ними? Конечно, они кое-что знали; иначе было бы позорно для детей ректора, выросших в городе, если бы он сам должен был признаться в полном их невежестве.

Но в грамматике и в языках они отстают. Удивительно, как раз в тех предметах, которые легче всего давались ректору! Но если им удастся удрать в лодке или вы дадите им поручение в город, то наверно найдете их в какой-нибудь кузнице, или на верхушке строящего здания!

— Да ведь все мальчики таковы, — улыбаясь сказал господин Флеминг.

— Но я не хочу, чтобы они были такими, они должны учиться и пробить себе дорогу в жизни! — Ректор развил это поподробнее, с удовольствием поговорил. С господином Флемингом было так приятно беседовать; он был так вежлив, так все понимал, он склонялся перед человеком, знавшим больше его.

Господин Флеминг спросил:

— А вас не стесняет, что здесь столько народу, так много чужих?

— Немного, если сказать правду, да. Ведь мы не можем стоять все на одном умственном уровне, и приходится по всей линии одному равняться по другому, а это немного мучительно. Но в общем я доволен, местность удивительная.

О, ректор Оливер не был требовательным человеком; он всегда скромно, одинаково бедно жил, ел то, что ему давали, и не ждал, чтобы ему почистили сапоги. Теперь ему, конечно, понравилось даром жить на каникулах в этой большой санатории, и он жил там так долго, как только мог. Он сосчитал, что он здесь уже в третий раз и ему здесь нравилось; почему же ему ехать в другое место? Он и не думал менять.

Когда господин Флеминг повидал своих старых знакомых, он стал бродить по лесу. Маленький сеновал стоял там же, где раньше, и в нем снова было свежее сено; пастбище Даниэля по-прежнему мирно красовалось на своем месте; он только сделал открытие, что на окнах постройки появились занавеси.

Однажды он увидел фрекен д'Эспар на пороге домика с ребенком на руках.

Ждала ли она его, или он невольно кивнул головою, но она быстро поднялась и вошла в дом; немного погодя она вышла и пошла ему навстречу.

Встретились они в лесу таинственно и долгое время спустя после последней встречи. Оба покраснели, вероятно, от замешательства, а, может быть, и от чего-нибудь другого. Они подали друг другу руки и в первую минуту не знали, о чем заговорить. Он заметил в ее рту пустоту на месте зуба и заметил также, что она и не пытается скрыть этого, указал на шрам на ее подбородке и сказал:

— Как это вы так жестоко расшиблись?

— Давно уже, это было еще зимою. А вы хорошо выглядите. Вы не кашляете?

— Нет. Вы знали, что это я приехал сюда?

— Я догадалась. Тут нет никакого колдовства, я узнала от Гельмера, который привез вас, что вы приехали.

Господин Флеминг кивнул головой и сказал:

— Гельмер и мне рассказал кое-что.

— Ну,— вздыхая, сказала она,— значит, вы знаете, что здесь было.

Пауза.

— Вы хорошо выглядите, но вы какой-то чужой. Зачем вам борода?

— Это от того... я, видите ли, я немного похудел, не принимайте этого близко к сердцу, я порядочно потерял в весе. Но я думал, что приехав сюда, я смогу поправиться; я вспомнил Торахус и сэтер, и горшки с простоквашей. Кроме того, я думал, что если приду к этому человеку,

как он там называется, к Даниэлю, обросший бородою, то по некоторым причинам, явлюсь перед ним совсем другим.

— Он сейчас узнал бы вас; и он, и Марта узнали бы вас.

— Да, это было придумано по-детски. Но давайте говорить о вас.

— Нет, не обо мне. Вы видите, какова я! — И чтобы переменить разговор, она неожиданно сказала: — Посмотрите, я зуб потеряла!

— Каким образом?

— Во всяком случае, ничего красивого в этом нет.

Он сказал, улыбаясь:

— Было бы лучше, если бы у вас на этом месте был звериный клык. Нет, вы мне лучше вот что скажите, вы замуж выходите?

Пауза.

— У меня родился ребенок,— сказала она.

— Ребенок... да...

— Его зовут Юлиус. Большой, красивый ребенок, поверьте мне. Он сказал, чтобы назвать его моим именем.

— Кто сказал?

— Даниэль.

Пауза. Каждый из них занят был своими мыслями.

— Значит, вы должны выйти замуж,— задумчиво сказал он.

— Расскажите же мне,— сказала она,— хорошо ли вы себя чувствуете, выздоровели ли?

— Я еще держусь на ногах. Я возлагал, впрочем, известную надежду на Торахус, но теперь я уже не знаю; все так изменилось...

— Вы поправитесь, вот увидите. Много зубоскалили на ваш счет после того, как вы уехали, и в конце концов я даже стала думать, что с вами приключилась беда. Но ведь это все вздор, как я слышала?

— Суший вздор. В Христиании я попал в госпиталь, и мне было там хорошо. О, я упрям, и болезнь моя капризная; морской переезд домой, в Финляндию, окончательно вылечил меня, так что кровь горлом более не идет у меня. Это было чудное путешествие: Каттегат, Балтийское море, перемена воздуха... лучшего лечения я придумать бы не мог.

— Да. Но когда вы приехали в Финляндию?..— спросила она и подумала, может быть, о тюрьме и заключении.

— Никакой перемены,— объяснил он.— Но, конечно, все-таки была отчасти перемена, мать продала усадьбу, он не мог поехать домой и жить там...

— Она продала усадьбу?

Да, что же ей было делать? Он не мог заняться ею, он был болен. Вот она и продала ее, превратила ее в деньги.

— А где мать ваша сейчас?

— Да ведь она была стара... она заболела воспалением легких...

Пауза.

— Как грустно! — сказала фрекен.

— Не будем говорить об этом, это случилось раньше, чем я домой приехал, это случилось, когда я лежал в госпитале, в Христиании, меня только письмом известили. Это, впрочем, было вероятно не воспаление легких, у нее был порок сердца; я не в силах был слушать рассказа об этом, возможно, что это был удар.

Он взял ее за руку; слабое рукопожатие, для дерзости оно было слишком незначительно; пожатие Даниэля было совсем в другом роде. Но хрупкая и худая рука конторщика произвела на нее свое действие: она была тонкокожая, горячая от слабой лихорадки, приятно было держать ее, дрожь пробежала по фрекен. В ней так долго копилась тоска по прежней жизни и обстановке, что она разом поддалась этому и бросилась ему на шею.

Это и его подбодрило: он стал смелее, поцеловал ее и размяк.

— Нам надо быть поосторожнее,— сказала она,— он может прийти по этой дороге.

— Кто?

— Даниэль. Он на воде и удит для санатории рыбу, но этой дорогой он может пойти домой.

Это опечалило его и сделало молчаливым.

— Так приятно снова сидеть с вами,— сказала она.— Сколько времени тому назад это собственно было?

— Не знаю, я не смею думать об этом, это было давно.

Она сбоку наблюдала его.

Он, конечно, был прав, говоря, что похудел; виски у него впали, ногти были синие, бог знает, как много тяжелого пережил он, может быть, он получал через окошечко пищу в металлической чашке. И богат-то он не был с виду, у него было его бриллиантовое кольцо и его шик, надето на нем было его изящное платье из сундука, но он словно потерял свою осанку, словно ему впредь и жить-то нечем было.

Вдруг она стала внимательно приглядываться:

— Это не... это то же кольцо?

— Конечно, то же самое,— ответил он и сделал так, что кольцо засверкало в солнечных лучах.

— Мне показалось, будто оно уже не так сильно блестит.

— Оно просто запылено, это дорожная пыль. Впрочем, я его больше носить не буду,— сказал он,— засовывая кольцо в жилетный карман.

— Благодарю вас за все,— сказала она,— все деньги...

Он отрицательно покачал головою и, улыбаясь, спросил:

— Вы их спрятали?

— Конечно!

— Вы не сожгли их?

— Вот еще! Напротив: я взяла немного из них, то Даниэлю, то себе, то на лошадь и еще кое на что в доме...

— Не стоит говорить об этом.

— Не хотите ли получить немного оттуда обратно, наличными?

— Зачем? Нет! — сказал он.

— На всякий случай, что-нибудь, немного?

Он покачал головою:

— Но все так изменилось, я даже не знаю, что со мною будет теперь. Я вернулся, потому что вы были в санатории и потому, что мне было здесь хорошо: надзор, уход, уют, на сэтере я получал простоквашу, хорошо спал там, укрываясь овчиной. Вас я мысленно видел каждый день, я тосковал по вас, я ничего не помнил, кроме вас.

— Вы и сейчас можете ежедневно видеть меня.

— Как же это устроить?

— Я буду приходить в санаторию, если хотите. Он ничего не имеет против этого.

Он снова покачал головою:

— Это не совсем то же самое. Разве вы не собираетесь замуж?

Она медленно протянула:

— Да.

— Ну, вот видите! Как же вы можете приходить ко мне? Нет, этого уж не будет!

Он замолчал, оба помолчали, затем он продолжал:

— Вы говорите, наличными? Я и думал, что в случае необходимости хватит и мне, и вам, и выведут нас денежки тем или иным путем на дорогу. Вот почему я хотел приехать сюда и поговорить с вами. Но теперь все это

прошло, главное исчезло, теперь вам до меня никакого дела нет.

— Неправда, не говорите так, я очень интересуюсь вами.

— Интересуетесь, да; но не настоящим образом.

— Нет, настоящим! Да что же мне было делать? Я была одна и тоже была в отчаянии, ожидала ребенка, пришлось переезжать, мне нужно было найти себе приют.

— Конечно.

Долгое молчание; оба обдумывали положение.

— Обстоятельства,— задумчиво сказал он,— обстоятельства сложились так, что я не мог быть для вас тем, кем должен был быть...

— Напротив,— перебила она, утешая,— вы были тем, кем должны были быть, и даже больше, вы были великодушны! Как бы я могла существовать, если бы вы не дали мне возможности прожить без службы в городе?

— Ну... да, да, если так, то хорошо!

— Ведь вы мне дали массу денег; вы не подозреваете, что это значило для меня.

— Хорошо! Но ведь обстоятельства так сложились, что я не мог вас взять с собою. Тогда вы, может быть, уехали бы со мной?

— Да.

— Вот видите! А теперь не можете.

— Теперь я должна идти,— сказала она, вставая,— малыш, может быть, проснулся, а меня нет.

— Могу я снова прийти? — спросил он.

— Да,— задумчиво сказала она,— конечно.

— Или не придете ли вы ко мне?

— Может быть.

— Потому что я очень хотел бы побеседовать с вами и узнать обо всем...

Время от времени приходила она в санаторию; это случалось большею частью рано утром; она вставала в шесть часов и приходила с таким расчетом, чтобы застать его еще в постели; раза два это случилось и вызвало в санатории скандал. Прислуга легко возмущается такими поступками, если сама не пользуется этим. Однажды утром, когда фрекен нужно было проскользнуть туда, и она пришла уже в коридор, она натолкнулась на директора, адвоката Руппрехта.

Он поклонился, улыбка разлилась по всему его лицу, он с радостью узнал ее.



— Уже целая вечность прошла, как я не видел вас, фрекен, нехорошо с вашей стороны так основательно забыть о нашем существовании. Что мы вам сделали? Пожалуйте сюда! Выпейте кофейку! Я не отпущу вас, прежде чем вы не расскажите, как вам живется. Так, теперь посидим тут. Вы, конечно, желаете видеть господина Флеминга? Он еще не встал, он не такая ранняя пташка, как мы с вами; но мы можем послать за ним. А мы пока выпьем кофе, как раз пора его пить. Ловиза, будьте добренькой, дайте фрекен д'Эспар и мне кофе. Потом постучите осторожненько графу в дверь и скажите ему, что здесь его ожидает молодая дама.

Таким образом, свидания были впредь расстроены.

Фрекен подготовила Даниэля и Маргу к известию о том, что граф снова вернулся в санаторию; они помнят, конечно, изящного, богатого графа? Так вот он вернулся и снова хочет получать простоквашу.

У Даниэля промелькнула самодовольная улыбка, а Марта стала со смущением оправлять в кухне свое платье:

— Но вот, что я скажу,— потребовала она,— пусть он ест в пристройке, здесь, в кухне, невозможно!

Фрекен, конечно, протестовала против того, чтобы граф приходил к ней в комнату, но должна была уступить.

Граф ежедневно стал приходиться, съедал простоквашу и начал поправляться; серьезно: опять пополнел. Если бы это была честная игра, а не обман, то и тогда не могло бы лучше идти, чем шло у них; часто они даже спускали толстые занавеси на окнах так, чтобы ничего не видно было снаружи, они защищались, конечно, от солнца. После того, как господин Флеминг, бывало, поест и положит на стол большую монету в две кроны, если ребенок спал, фрекен провожала его немного по дороге домой; иногда заходила и в санаторию и оставалась там некоторое время с пансионерами.

Она встретила Самоубийцу и заставила его разговариваться; да заставила его, он стал общителен, болтал:

— Я слышал, что две девушки у нас заболели,— оживленно сказал он.— Вы можете радоваться, что не живете здесь больше, фрекен.

— Почему это?

— Это новые девушки из села, они не привыкли к здешнему столу и слегли. Одна из них, говорят, уже при последней главе. Нет, ждать дольше нельзя, консервы эти чистый яд. Не может ли Даниэль снова продать нам быка?

— Не знаю,— улыбаясь ответила фрекен.

— Это все равно, что спасти нам жизнь!

— У вас не плохой вид, господин Магнус.

— Я подбадриваюсь, но я далеко не тот, что был. Ем без всякого удовольствия, если я сажусь на стул, то не потому, что хочу сесть, а потому, что еле на ногах держусь. Вечером играю в картишки. Как это вам нравится?

— Ах, дорогой господин Магнус, мы все должны стараться извлечь как можно больше хорошего из всего этого.

— Где это написано?

— Не знаю. В нашей судьбе написано.

— Видите его? — спросил Самоубийца, указывая глазами кого-то. — Ректор, жонглер книгами — он-то извлекает возможно больше хорошего из всего этого. Он знает «языки», а сам ни к чему. Он с величайшим вниманием погружается в свою школьную науку и механически изучает ее, чтобы в свою очередь преподавать ту же механику детям; он не видит в этом ничего смешного, не спрашивает: жизнь ли это? Напротив, когда он встает, окончив свое «дело», он самому себе кажется сверхпорядочным, он снова учился и снова может дальше преподавать. Он извлекает возможно больше хорошего из всего этого. Он читает в клубе иностранные газеты, а на улицах люди ему кланяются, и он доволен. В этом его жизнь. Он даже не питает уважения к великим умам, не видит их, не подозревает их существования, всех этих пророков, мыслителей, которые сквозь века и нации...

— А слышали вы что-нибудь о вашем друге, Моссе? — спросила фрекен.

— О, Моссе, этом мошеннике! Посмотрите, что он со мною сделал, — сказал Самоубийца, вытягивая свою раненую руку. — Это не заживает; пробовал выжигать, но это нисколько не помогает, он заразил меня. Он, который выдавал себя за религиозного человека! Но у меня приготовлено письмо, которое я скоро пошлю ему, я ему покажу!..

— Пишет он иногда? — спросила фрекен, — или он умер?

— Умер, он? Конечно, пишет. Я не беру в руки его писем, доктор читает их, а он все пишет и пишет, у него совсем стыда нет. Он говорит, что все лучше и лучше видит и последнее письмо сам написал.

— Что вы! — воскликнула в величайшем изумлении фрекен.

— Ну, вот, и вы верите ему? — резко спросил Самоубийца. — Но допустим, что он сам написал... могу вас уверить, строчки были не особенно изящные. Я написал бы так, если бы мне глаза платком завязали. Но не это самое худшее: он хочет всех нас уверить, что то, что было у него на лице, была просто экзема. Как это вам нравится?

— Я в этом ничего не понимаю.

— Допустим, что на лице, действительно была экзема, ну, а на теле тоже была эта самая экзема?

— Да, но разве вообще у него были раны на теле?

— Этого я не знаю, но наверное были: он вообще был грязное животное, покрытое фурункулами и прыщами. Я не считаю невероятным, что он стал лучше видеть, когда ему хорошенько глаза прочистили; но как вы объясните, что он меня заразил при посредствии ульстера?

— Покажите мне еще раз вашу рану, — попросила Фрекен.

— Оставьте, — уклончиво ответил Самоубийца, — рана есть.

— Что говорит по этому поводу доктор?

— Доктор? — презрительно уронил Самоубийца, — он должен принять слабительную соль! Разве доктор Эйен тоже не был врачом, а он сказал же, что Мосс прокаженный.

С ним нельзя было сговориться. Фрекен нагнулась вперед и спросила:

— Получили ли вы сведения из дому?

— Почему вы спрашиваете об этом? Молчите!

— Простите, но я подумала о малютке, о ребенке; не слышали ли вы чего-нибудь о нем.

— Почему я мог слышать о нем! Я даже не знаю, как ее зовут; я здесь, а она там. Что у меня с нею общего?

— Это очень грустно.

— Я предполагаю первым делом поехать в Христианию и там решить все вопросы. Не должно быть больше никаких сомнений, хотя бы последствием были убийство, самоубийство и гибель нас всех! Все равно я буду рад! — И после этих мрачных слов Самоубийца прибавил: — Будьте добры, фрекен, спросите Даниэля, нет ли у него быка для продажи нам, речь идет о спасении жизни.

Даниэль начал поговаривать о венчании.

Да-а, фрекен готова, когда угодно. Но разве будет он венчаться в шерстяной куртке?

Об этом он не подумал; но, может быть, она права; у него, правда, есть праздничная одежда, но, конечно, к

этому торжеству нужно иметь новый костюм. Впрочем, черт возьми, нечего и думать, чтобы до Троицы удалось сшить что-нибудь.

Венчание было отложено.

После Троицы он снова заговорил об этом. Она опять не сказала нет, этого она не сказала, но она не поторопилась предложить ему денег на экипировку. Странно: Даниэль, конечно, надеялся на это; она ведь раньше всегда говорила: поди и купи то-то и то-то, вот тебе деньги! Это немного избаловало его и теперь он не понимал ее скупости.

Он замолчал, немного обиженный, и долго не заводил речь о венчании.

А тут господин Флеминг стал приходить в пристройку, и фрекен провожала его в санаторию. Это продолжалось долго в течение лета. Но однажды, когда она опять собиралась уйти с ним, в дверях кухни показался Даниэль и позвал ее назад.

— Я слышу, он проснулся.

— Проснулся?

— Юлиус. Я слышу, что он плачет.

Тогда она повернула обратно и отпустила господина Флеминга одного: но назад она пришла медленно и лениво сказала:

— Это удивительно, он так крепко спал!

Даниэль прошел за нею в ее комнату, словно за тем, чтобы посмотреть, действительно ли проснулся мальчик... но нет, он крепко спал.

— Что это значит? — спросила она.

Даниэль был крайне удивлен: он так ясно слышал, что мальчик плачет, как же это понять? Трусил он, что ли? О, нет, ни за что на свете он не будет трусом!

Они немного поговорили об этом, и она осталась не совсем довольна, но покорилась; а так как Даниэль стал нежен к ней, то она все поняла, стала сопротивляться, но потерпела поражение. Видано ли что-либо подобное, что это, у него совсем стыда нет! Если бы она знала, ни за что не вернулась бы! Но она не позволила своему негодованию далеко увлечь себя, она только полушутя ругала и шлепала его; он настолько потерял самообладание, так не владел собою, что она почти испугалась: он стал ворчать. Даниэль был парень своеобразный, он был груб и вспыльчив, но неотразим; конечно, у него были недостатки, но и они не лишены были привлекательности. Фрекен значительно ограничила также его визиты в

пристройку: она перестала бояться темноты, наступили белые ночи и она не нуждалась больше в стороже. Так что его почти вывели оттуда.

— Ну, теперь ступай, леший! — сказала она.

Она стала беспристрастно разбирать его: если бы ничего не помешало, она, может быть, была бы уже замужем за ним, и была бы хозяйкой сэтера Торахус. Даниэль не заслуживал презрения: он основательно ел и работал, как мужчина. Когда однажды зимою он вернулся из леса, поранив ногу топором, он прежде всего принялся за еду, и только когда на полу оказалась кровь, которая сочилась из зияющего носка его сапога, только тогда обратил он внимание на то, что ранен.

— Это только большой палец! — сказал он, крепко обвязал палец тряпкою и вообще обращался с ним, как с какой-нибудь вещью.

Хотя башка у него была упрямая, он никогда не буйствовал, не хватался за нож, хорошо обращался со скотиной и с людьми. Он, конечно, мог иногда, как в этот раз, например, пустить в ход насилие, но что с того? Тут, может быть, для него явилось вопросом чести победить, а, может быть, его немного и ревность мучила в последнее время, бог знает. Но обычно он был скромен и даже стыдлив, несмотря на свою горячность.

Как отнесся он к своему падению весною с крыши гумна? Гумно на сэтере не было небоскребом, но построено оно было на невероятно высокой стене, под которой пролегал проезжая дорога; и вот оттуда-то покатился Даниэль вниз. Тут была, пожалуй, отчасти виновата фрекен: он лежал на гребне крыши и чинил там щель, она что-то крикнула, и ему пришлось изогнуться, чтобы услышать, что она говорит. Тогда-то и случилось это, а она стояла внизу и смотрела. Ему некогда было думать о бесконечной осторожности, нет, она отлично видела, что он не слетал с неба обычным красивым способом, медленно спускаясь на облаках, но катился, словно какой-то узел, стукаясь при этом всем телом, одним плечом вперед. Он не кричал, кричала фрекен. На лугу он встал на ноги и, казалось, размышлял: что же это, черт возьми, случилось? Недоверчиво глазел он пред собою, лицо его окаменело в бесконечном непонимании. Только некоторое время спустя, ему стало немного не по себе.

— Ты сильно расшибся, Даниэль? — спросила она.

— Не думаю, — ответил он, — но нужно же мне немножко постонать, как полагается.

Мысли фрекен идут дальше. Теперь о другом. Большой с юности господин, но какой внимательный, предупредительный; всегда заранее спрашивал разрешения, молился богу, возвышал ее своими беседами и способом выражения чувств. Он нуждался в уходе и помощи, но он этого заслуживал; если он и не был графом, то мог им быть: его манера держаться, прекрасная улыбка, лакированные башмаки, шелковое белье, бриллиантовое кольцо в жилетном кармане...

И он был ее первой любовью.

Как это началось? А бог ее знает, началось с пустяков: это было вечером, в санатории: он только подвинул свой стул ближе к ее стулу и сел; было ли это его дыхание, или, может быть, запах его волос, но в ней вдруг словно источник открылся, охватил ее всю. Что такое влюбленность? Она покраснела в душе и улыбнулась, он положил руку на спинку ее стула, и это было словно объятие: не успела она оглянуться, как стала смешной в глазах всего общества. Но он был благовоспитанный человек, он сказал:

— Здесь холодно, я надену пальто.— В отсутствии он пробыл довольно долго, и она пошла за ним и сказала:

— Да, там холодно, останемся лучше в комнате!

С каждым днем дело шло понемногу вперед; все больше появлялось доверия, отношения становились более близкими, была игра в безик, любовь, уход за больным и кризис.

Теперь уже немного времени прошло с тех пор, много месяцев она должна была устраиваться без него, жизнь этого потребовала. О, источник не иссяк в ней, он понемножку пробивался и пробивался...

Сердце болело у нее при мысли о том, сколько он, должно быть, пережил, а также о том, что кроме того, он уже небогатый и важный барин. Конечно, шелковое белье, но оно уже неновое и небогатое. Бросалось в глаза также то, что он все чаще и чаще забывал положить на стол большую монету в две кроны за простоквашу. Что бы это могло значить? Приходилось ей втихомолку класть Марте за него две кроны из своих денег.

Между тем, пришел Даниэль; он, очевидно, кое-что придумал и это лежало у него на сердце:

— Я пойду в село и закажу завтра вечером платье,— сказал он.

— Да, да,— ответила она.

И так как она больше ничего не прибавила, то он сказал:

— Я только хотел спросить тебя, нет ли у тебя заодно какого-нибудь поручения?

— Нет.

— Платье я могу получить в кредит,— сказал он.

— Конечно, можешь,— ответила она.

Даниэль ушел.

Разве деликатно было говорить только о своем платье? Разве и ей не нужно было платье? По правилам, ей нужно было шелковое платье, белые туфли, фата в несколько метров и шлейф, который несли бы девицы. В ее романах молодые всегда совершали свадебное путешествие; этого у нее не будет; там были цветы и вино, и речи — и этого у нее не будет. У нее будет нищенская свадьба. Единственным свидетелем будет Гельмер. Не пригласить ли ей господина Флеминга?

Все, вместе взятое, начинало ей казаться невозможным. Она не отказалась от венчания, оно было для нее формальностью, которая должна была привести все в порядок. А что после будет, пусть решит судьба. Согласно ее французским романам, она отлично могла грешить против брака, если она не грешила против любви. С этим она окончила. Свое приданое она могла выписать, там все у нее было. Но могла ли она пойти к венцу под носом у того, кто больше имел прав и на нее, и на ребенка? Конечно, невинность ее отцвела; но при отсутствии безупречного прошлого, разве она не была все-таки образованным человеком; зачем же она столько работала и к чему изучала французский язык? Она не могла допустить, чтобы он сидел у окна в санатории и смотрел, как она пойдет с другим в церковь. Впрочем... к чему приписывать венчанию такую важность? В иных странах идут в фогту, в других — в консульство.

На ночь она заперла дверь, чтобы ничем не рисковать.

Утром пришел господин Флеминг и спросил:

— Не слишком ли рано я пришел?

— Нет,— и прибавила: — Даниэль пошел в село.

— Со мною случились две вещи,— сказал он и начал рассказывать: — Вчера пришел ленсман и предложил мне сломать печати на моих сундуках. Я сказал ему, что хотел избавить его от этого и поэтому сам сломал печати. Это ему не понравилось, и он сказал, что ему надо было это сделать. Я показал ему кое-какие бумаги, выданные властями у меня на родине, подписанные властями в Христиании, из которых видно было, что я имею полное право распоряжаться своими сундуками. Да, это согласно

с теми бумагами, которые он получил, сказал ленсман, но вскрыть печати должен был во всяком случае он. Конечно, в этом отношении он был прав, я попросил извинить меня, я не мог ждать. Тогда он стал податлив; признался, что получил бумаги уже несколько дней тому назад и должен был раньше ко мне явиться, да у него времени не было. Мы расстались друзьями. Что же касается истории с деньгами, сказал он, то это болтовня; бывшие у меня деньги были мои, банк ошибся. Понятно, сказал я, что деньги, которые я занял в банке, я возвратил. Ленсман посоветовал мне даже потребовать удовлетворения за нанесенное мне оскорбление.

Господин Флеминг замолчал. Зачем рассказывал он все это фрекен? Это было, конечно, не без основания; он хотел, вероятно, реабилитировать себя в ее глазах и изгладить впечатление бесцельного признания, сделанного им в прошлом году осенью перед тем, как он бежал. Он никаких денег не присваивал себе, он просто занял их. Еще лучше: он уплатил свой долг.

Фрекен д'Эспар сделала вид, будто его сообщение очень обрадовало ее и сняло огромную тяжесть с ее души, но она, наверно, не особенно огорчалась сделанным им ложным шагом; она сама с молодых ногтей бывала не раз вынуждена всячески выпутываться из стесненных обстоятельств и это было ей знакомо. Она сказала:

— Вот видите, я отлично понимала, что вы преувеличиваете, рассказывая мне.

— Может быть, я и преувеличил несколько, но я не хотел представить вам это в преуменьшенном виде. Понятно, я поступил неправильно: я был болен, у меня шла горлом кровь, я не хотел умереть, мог ли я ожидать, пока банковская дирекция удостоит дать мне в заем? Я и взял деньги. В этом вся история. Но теперь я совершенно свободен и чист и пришел к вам.

Она не выразила желанья подробнее выяснить эту сторону дела, но спросила:

— Ну, а, во-вторых, что случилось с вами?

— Во-вторых, я явился прямо от доктора. Он исследовал меня и нашел, что я очень поправляюсь: одно легкое уже зарубцевалось, в другом тоже идет процесс рубцевания. Но я должен быть очень осторожен.

— Великолепно!

— Да. И вот больше, чем когда-либо меня потянуло к вам.

— Да... конечно.



Но что она могла сказать?

Пауза.

Она, конечно, ничего не имела против того, чтобы и один, и другой добивались ее, но надо же было принять в один прекрасный день решение. И она решительно спросила:

— Вы бы согласились на то, чтобы я вышла замуж за Даниэля?

Господин Флеминг беззвучным голосам:

— Это... а что вы сами думаете об этом?

— А вы?

Он размышлял:

— Мы столько пережили вместе, я не думаю, чтобы вам легко было покинуть меня.

— Конечно, нет,— сказала она.— Но разве мне легче покинуть другого?

— Не знаю.

— О нас было сделано оглашение в церкви,— сказала она.

Они еще поговорили об этом, он был очень мрачен и захотел уйти, она пошла проводить его, но они дошли только до сеновала и там остановились, оба они были в отчаянии. Они потеряли столько времени, ей нужно было вернуться к ребенку; и, чтобы немножко утешить его, она на прощание обвила его шею руками, поцеловала и жалобно проговорила:

— Вы, конечно, понимаете, кого я люблю и за кого хотела бы выйти замуж, но это очень трудно, он не захочет отпустить меня.

— Тогда остается один только путь: пойти со мною.

— Нет, это болтовня, мы что-нибудь придумаем, давайте думать.

Они расстались и пошли каждый своей дорогой.

Немного погодя, поднялся лежавший на сене Даниэль и вышел из сарая; он и не подумал сбросить с себя приставшие соломинки, но пошел, почти побежал, нагнал фрекен и остановил ее.

Он был бледен и задыхался, но сказал он немного; не горячился, не ругался, но она очень испугалась и, парализованная страхом, смотрела на него: его глаза, его стиснутые губы были весьма выразительны.

— Разве ты этой дорогой идешь из села? — спросила она.

— Я не был в селе, я иду из сарая,— ответил он.

Она отлично понимала это, но притворилась удивленной. Так как он не дрался, она овладела собою и одумалась; в сущности она только и сделала, что стояла около сеновала и была мила с больным.

— Ты идешь из сарая. Значит, ты слышал, о чем мы говорили?

— Да.

— Он больной человек. Я должна была что-нибудь придумать.

— Ты должна покончить с этим,— сказал, кивнув головою Даниэль.

— Покончить — каким образом?.. По мне, пожалуй. Может быть, он опять уедет. Я не знаю.

Она умно взялась за дело, и у Даниэля стало на душе легче после ее слов, и он сказал:

— Да, он может опять уехать.

Нет, Даниэль не внушал опасений. В сущности он в последнее время довольно часто был недоволен, но когда он сжимал губы или опускал вниз свои большие пальцы, то это вовсе не потому, что кто-нибудь, приговоренный к смерти, должен умереть. Когда она снова пустилась в путь, он пошел за нею и не удерживал ее больше. Тогда она перешла в нападение:

— Я не могу забыть, что ты лежал тут в сарае. Подумать только, лежать и подслушивать!

Этого он, откровенно говоря, не понимал; то был, должно быть, городской и книжный разговор. То, что он додумался до этого, показывало, что он был не дурак; она его не обманет, никто не обманет его! Он отвечал с сознанием собственного достоинства:

— Скажу тебе только одно: на мякине меня не проведешь!

Да, ее и обижало именно то, что он не питал к ней доверия и находил нужным шаг за шагом следить за нею, и она выразила свое неудовольствие в следующем резком выговоре:

— А я хочу тебе сказать, что тебе нужно покончить с подслушиванием. Я этого не допущу. И этим ты ничего не добьешься!

— Подумаешь! А что же по-твоему надо делать? — сказал он и снова поджал губы.

Она была связана, в церкви было сделано оглашение, и для Даниэля этого было достаточно; поэтому он мог говорить, как хотел, он был уверен. Но именно то обстоятельство, что положение ее было запутанное, толкало

ее на то, чтобы стараться вывернуться: нельзя ли все переделать? Она обсудит это с господином Флемингом.

Все пошло обычным ходом. Господин Флеминг приходил за своей простоквашей, и Даниэль терпел это, или делал вид, что не замечает, но фрекен д'Эспар мудро перестала приходить в санаторию, не бросала больше никому вызова.

Однажды Даниэль сказал:

— Я нахожу, что он должен уехать.

— Вот как! — сказала она.

— Ты ему скажешь это, или мне сказать?

— Я с удовольствием сказала бы, но не думаю, чтобы это подействовало.

— Я постараюсь, чтобы подействовало, — сказал он.

Она сочла эти слова за обычное бахвальство и спросила:

— Что же мы делаем дурного, что ты все ворчишь?

Он ходит сюда и ест свою простоквашу, чтобы выздороветь.

— Пускай он больше не ходит сюда.

— Ну, значит, со мною здесь не считаются? Хорошо, что я это узнала!

Даниэль вскричал:

— Неправда, считаются! Но он должен убраться.

— Ты же не можешь выгнать из санатории пансионера?

— Ты не знаешь этого. Я кое с кем поговорил, я могу донести на него ленсману.

— Ха-ха-ха! — расхохоталась она, — о чем донести? Боже, как ты глуп!

Теперь Даниэлю было все равно, и он решил немножко пугнуть ее, он сказал:

— Что ты ни говори, а он украл деньги из банка. А ты их прячешь.

— Старые сплетни! — отпарировала она. — Ты бы только видел его бумаги с печатью и короной и тому подобное! Полиция вынуждена была извиниться перед ним. Финляндский статс-секретарь вынужден был вернуть ему все его состояние; и заком, и все деньги. Молчи, ты сам не знаешь, что говоришь!

— Увидишь! — грозно пробормотал он. — И ленсман вел следствие по поводу этих денег, и ты их...

Она поднялась с места и открыла свой сундук, вынула оттуда конверт с деньгами и показала ему его. О, этот толстый конверт, в котором столько денег!

— Вот они, — сказала она, — попроси ленсмана, чтобы он пришел, и я ему покажу их, сосчитаю при нем. Это были деньги графа, а он мне их дал, и теперь они мои. Ступай! Постыдился бы!

Она бросила деньги снова в сундук, захлопнула крышку и шелкнула замком.

Даниэль, сказал гораздо менее задорно:

— Власти полагают, что бы ты ни говорила, что деньги эти достались ему не совсем честным путем. И они были у тебя в то время, когда ленсман вел следствие. И сейчас они еще здесь, в доме, на сэтере Торахус...

— И на горе, и в лесу, — насмешливо прибавила она, — на сэтере Торахус, на горе и в лесу. Деньги! — воскликнула она, а разве тебе не хотелось бы запустить в них руки?

Это его ошарашило, ударило, еще немного, и он зарыдал бы. В сущности, она была права, она его насквозь видела, и он очень огорчился тем, что сам, речами своими, с головою выдал себя. Он не отрицал того, что слазил к ней в сундук и кое-что взял себе, сказал он, тронутый собственным своим положением...

Этого она не говорила!

Господь бог до сих пор поддерживал его без ее денег и давал ему, по его скромным потребностям, хлеб насущный, и господь и дальше не покинет его...

И так далее.

То были как раз речи, которые должны были и ее смягчить, повлиять на нее.

— Послушай, — воскликнула она, — не будем мучить друг друга!

А когда эта чертова девка обнимала его и прижималась к нему, он не мог устоять и снова становился добрым. Он объяснил ей:

— Вышло совсем не так, как я хотел сказать; я предполагал даже не упоминать о деньгах, а сказать только, что граф этот втянул тебя в большую беду, тебя стали подозревать, допрашивать...

— Конечно. Но теперь позабудем об этом. Ни слова больше!

В первый раз они так сильно поссорились, и она его хорошенько смирила, но это пожалуй, не в последний раз; такая сцена может повториться. Она серьезно стала обдумывать свое положение; не надежно было оно.

Она, конечно, могла сказать:

— Поди, Даниэль, возьми свой свадебный костюм, вот тебе деньги. Понятно, подобный поступок все уладил бы, но много ли прошло бы времени до следующего посещения Флеминга! Она не была дурой, эта Юлия д'Эспар, у нее был здравый смысл. Разве не кончилось тем, что она должна была взять целиком на себя уплату за простоква-

шу? Конечно, разве она сказала господину Флемингу, что это за глупость такая, что вы должны платить за горшок кислого молока, ведь я что-нибудь да значу на сэтере, а вы — мой гость!

Это она вынуждена была сказать. Ясно, что он не был больше богат; усадьба, превращенная в деньги, пошла, вероятно, на покрытие растраты — почему она знала! И вот несколько дней тому назад он пришел со счетом из санатории и попросил ее «пока уплатить за него»; что это могло значить, кроме одного? Хорошо. Она уплатила, щедро уплатила. Но много ли времени пройдет, пока получится следующий счет?

Она, действительно, не была душой, она не могла «платить» за двух мужчин, надо было выбирать.

Господин Флеминг был прав, говоря, что деньги надо было употребить на какое-нибудь дело. Это разом перенесло бы ее назад в ту среду, откуда она была вытолкнута. Нельзя отрицать, у нее была тоска по родине, она не подходила к сэтеру: здесь она жила смешною и невыносимую жизнью на границе двух общественных слоев; жизнь эта была ей чужда, но она старалась убедить себя, что надо пустить здесь корни. Удавалось ли это? Однажды, когда она мылась на кухне, Марта простосердечно бросила ей мешок, чтобы вытереть об него руки.

Она должна была выбрать? Господин Флеминг наверно тоже не был героем; о, нет, героем он не был; но как-никак, а он зажег кровь в ее жилах, когда улыбнулся и положил руку на спинку ее стула. Как все это было странно. Герой, он. Боже, такой юноша, не дельный, ничего замечательного не представлял собою, самый обыкновенный и незначительный, как все люди на свете. Но господин Флеминг был изящен, он подымал ее на несколько ступенек вверх, таков он был. Когда он явился со счетом из санатории, у него на руках были перчатки, правда, немного поношенные, но все-таки он держал счет руками, на которых были перчатки, и просил ее уплатить.

В результате своих размышлений она снова взялась за одно дело, которое давно уже забросила было: она стала массировать свое лицо, чтобы похорошеть.

— Послушай-ка, — сказала она Даниэлю, — я хочу кое-о-чем спросить тебя: нельзя ли так сделать, словно между нами ничего не было?

Даниэль вытаращил на нее глаза:

— Что?

— Между мною и тобою... как будто все это прошло?..

Сначала он подумал, что она шутит, а он был из тех, которые ничего не имеют против удачной шутки. Но когда он понял, что это всерьез, лицо у него вытянулось и посерело, он стал чесать себе грудь, то растегивая, то застегивая свою куртку: она поняла, что трудны будут переговоры с ним и сказала:

— Не будем мучить друг друга, Даниэль, пойдем, сядем на опушке леса!

Они пошли. Даниэль следовал за нею, потому что он был сбит с толку; в голове у него немного помутилось, и он не в силах был противиться.

— Ты не можешь себе этого представить?

Нет, он считал это совершенно невозможным. И он покачал головою и даже рассмеялся, так невероятно это было.

— Видел ли ты что-либо подобное,— сказала она,— я взяла с собою в лес кошелек с деньгами, я совсем с ума сошла! Она раскрыла его и заглянула туда, о, то не был конверт, то просто был кошель, но в нем, по-видимому, были различные деньги, а также и ассигнации. Не будет ли он так добр, не спрячет ли его для нее; она может уронить его в вереске...

То было хитрое предложение, оно обнаруживало ум молодой девушки; но против всякого ожидания он отказал. Это вызвало в нем подозрительность; он испытующе посмотрел на нее и даже пересел на другую кочку.

Она расхохоталась и дерзко сказала:

— Нет, нечего было бояться! Я думала только дать тебе его на то время, пока мы домой вернемся, но я и сама могу хорошо его спрятать.

— Итак, ты думала, что мы можем сделать, как будто ничего не было? — спросил он.

— Да. Так как теперь жить нельзя, я думала об этом.

— Мы не можем этого уничтожить! — выразительно сказал он.

Она подумала над этим:

— Почему же нет?

Тогда он привел причину, абсолютно непонятную для нее, городской жительницы. Он указал на то, что он был сын хуторянина.

— Ну, так что же? — невинно спросила она.

— Это так, хоть ты и не понимаешь этого,— сказал он.— Одно я тебе скажу, что я не такой-то и такой-то из города. Со мной таким путем ничего не сделаешь.

Прогулка в лес оказалась неудачной; они еще поговорили немного о деле, но, во всяком случае, Даниэль оборвал разговор и встал с вереска, чтобы уйти:

— И не заикайся больше об этом! — сказал он.

Отношения стали еще более натянутыми, исчезли виды на полюбовное соглашение о разлуке. Теперь она серьезно стала отбиваться; сопротивление разожгло ее, ее была лихорадка, она преувеличивала свою любовь к господину Флемингу и плакала с досады, что он не достается ей.

Из санатории к ней пришел посланный с письмом; приехала компания каких-то важных американцев, качавших голову по поводу английского языка инспектора Свендсена и предпочитавших говорить по-французски — не доставит ли фрекен д'Эспар санатории радость и удовольствие, не пожалует ли? Может быть, придумано это было не директором, адвокатом Руппребтом, но он с приветом и с глубоким почтением подписал записку.

Даниэль не мог сказать нет в ответ на это приглашение, так как прежде бывал очень великодушен, но он просил фрекен, чтобы она, ради ребенка, не оставалась там долго. Очень обрадованная, она и его хотела обрадовать и сказала:

— Нечего тебе подозревать меня, Даниэль, я вернусь, как только мне можно будет. Впрочем, граф уже уехал, как я слышала.

Даниэль вскричал: — Граф уехал?

— Говорят, что он должен был уехать.

— Одно только скажу я тебе, — заговорил Даниэль в восторге, — я ни к кому там не ревную тебя. И к кому мог бы я ревновать? К инспектору, скотнику, почтальону? Нет. А из пансионеров там есть один, которого зовут Самоубийцей, ха-ха-ха! Ступай и оставайся, сколько хочешь!

Первый, кого она встретила, придя в санаторию, был Самоубийца. Он был одет получше, чем обыкновенно, по-дорожному, и с палкой в руке. Он сказал:

— Одна из девушек, о которых я говорил вам, умерла.

— Умерла? — спросила равнодушно фрекен.

— Умерла вчера, как я слышал. Да, фрекен, так идут дела; мы странники, приезжаем сюда, в санаторию, на гору, и остаемся здесь навсегда.

— Это грустно.

— Очень грустно. Приехать из села здоровым и здесь погибнуть. Наверно, она съела какую-нибудь гадость, которую не могла переварить. Я приписываю это исключительно столу.

— Столу? — повторила все так же равнодушно Фрекен.

— Понятно, подействовало на желудок, холера. Другая девушка еще жива, но как долго проживет, никто не знает.

Фрекен:

— Приехала сюда компания американцев?

— Нет.

— А может быть, то французы, которые говорят по-французски?

— Не думаю, я ничего не слышал. Нет, у нас вовсе нет столько новостей; только то сегодня, то завтра один, другой смертный случай. Иногда появляется два-три туриста, которым нужно перемахнуть через горы, то приезжает семейство, которому нужно использовать неделю High ilfe'a, вот и все. Но вот что я чуть не забыл: инженер заведывавший работами по проводке электричества, умер.

— Что?..

— Погиб от несчастного случая. Я все время говорил, что взрыв скалы грозит опасностью, но они не обращали никакого внимания на мои слова. На него упал обломок скалы и раздавил его.

— Когда это случилось?

— Сегодня утром, как я слышал. При первом же взрыве мины.

Здесь так много поумирало уже, к этому привыкли, интерес к смертным случаям отчасти ослабел, но Самоубийца вел им строгий счет. Он демонстративно подробно обсуждал смерть девушки из села, потому что причиной ее смерти была пища; остальные забыли было ее, потому что инженер умер непосредственно вслед за нею и отвлек на себя внимание:

— Да, инженер, конечно идет в счет, он имеет больше значения,— сказал Самоубийца. Но причину его смерти является несчастный случай, который мог иметь место везде. С другим дело обстоит гораздо хуже! Может Даниэль продать нам быка?

— Нет, он не хочет продавать его раньше осени.

— Тогда мы должны достать себе съедобную пищу из других мест. Не можем же мы все подохнуть здесь.

— Вы уезжаете? — спросила Фрекен.

— Нет, только ненадолго, в Христианию.



Флаг был наполовину приспущен; в санатории большое оживление, с начала каникул понаехало много народа, и все сновали по разным направлениям. Уже в коридоре встретила фрекен адвоката: его можно было одновременно видеть повсюду; он был занят и очень печален.

— Здравствуйте, фрекен д'Эспар. Вы могли бы прийти в более счастливую минуту, сегодня здесь сплошь скорбь и отчаяние.

— Да, я слышала. Два смертных случая.

— Слов нет для этого. Он был необыкновенно милый человек, мы привыкли к нему, мы не могли обойтись без него. Выдумывал каждый вечер увеселения для пансионеров, был мастер на все руки, инженер туда, инженер сюда; по мнению всех знатоков в нем погиб большой драматический талант. И так окончить дни свои!

— Что я хотела сказать...

— Вы хотели побеседовать с господином Флемингом. Он, вероятно, у себя в комнате, я пошлю за ним.

— А американская семья?

— Какая?

— Американская семья, которая желала говорить по-французски.

— А.. а, ну, да! Она приедет, мы ждем ее в скорости, может быть, больше чем одна семья, приедут несколько семейств, целое общество. Жизнь и лечение пойдут ведь своим путем, хотя смерть инженера... я собираюсь сейчас вызвать по телефону нового руководителя работами.

— Вот как! Значит, никто не приехал?

— Ловиза,— позвал адвокат,— подите, пожалуйста, к графу и скажите, что фрекен ожидает его здесь. А вы, фрекен, будьте добры, пройдите пока в читальный зал. Простите, что я так занят!

Пришел господин Флеминг и они ушли в лес, чтобы остаться одним.

Даже он был поглощен смертью инженера и заговорил об этом, но фрекен перебила:

— Знаю, поговорим о нас.

— Да, о нас! Нам надо придумать что-нибудь.

— Никогда не приходите больше на пастбище,— сказала она,— я боюсь за вас.

— Он сказал это?

— Да.

— Я, действительно, прихожу не ради него,— презрительно сказал господин Флеминг,— прохожу прямо к вам, минуя его. Разве он этого не понимает?

— В том-то и дело, что понимает, и не желает этого больше терпеть.

— Что же нам делать?

— Он требует, чтобы вы уехали.

Господин Флеминг с достоинством:

— Я не уеду.

— Я сказала, что вы уехали.

Молчание. У обоих было такое чувство, что у них нет выхода.

— Нам надо бежать,— сказал он.

Фрекен была умнее, она понимала невозможность этого плана и сказала:

— Я об этом много думала, но он нагонит нас на полпути к станции. Ребенок...

— Ребенка, само собою понятно, возьмите с собою!

— Его надо на руках носить, он еще слишком мал, его ни на минуту с глаз спустить нельзя. Нет, поговорим серьезно: нельзя ли сделать так, как будто ничего не было?

— Можно,— сказал он,— ленсман был очень благосклонен, может быть, он поможет нам...

Она перебила:

— Нет, только не ленсман. Вы должны пойти к пастору. Что может сделать ленсман? Но пастор... Я слышала, что это наверно можно уладить; вы должны заявить протест против того, что я выхожу замуж за другого: вы — отец ребенка, а я — мать. Я напишу бумагу об этом.

— Я пойду,— сказал он.

Она снова оказалась предусмотрительной и не была уверена в том, что можно безопасно действовать таким способом.

Закон, может быть, окажет им поддержку, ну, а другая сторона, Даниэль, что он сделает?

Господин Флеминг был человек слабосильный, но он не был трусливым зайцем, он не пугался того, что сделает Даниэль:

— Можно же повлиять на него доводами рассудка,— сказал он.

В этом фрекен сомневалась, она пыталась уговаривать его.

— Ну, в таком случае, пусть делает, что хочет!

— А вы не боитесь? — спросила она.— Ведь он способен на отчаянный поступок.

Он спокойно, без похвалы, отрицательно покачал головою; его достойная, красивая осанка внушила ей доверие. И когда он, взяв ее за руку, сказал:

— Главное, что вы хотите быть моею! — жребий был брошен, она перестала колебаться, ей казалось, что никогда не быть ей хозяйкою на сэтере.

Они вернулись в санаторию и пошли в курительную комнату, было решено, что она останется к обеду; ведь Даниэль был так великодушен, разрешил ей пробить там, сколько она сама захочет. Ее все знали в санатории, — даже новые пансионеры; когда она подошла, они начинали шушукаться и смотрели на нее, измеряли взглядами; пожалуй репутация ее была небезупречна. Не было никакого сомнения в том, что господин Флеминг, граф Флеминг пользовался величайшим уважением и оказывал известное влияние и на ее репутацию, без него на нее смотрели бы, как на какое-то ничтожество, а, может быть, совсем выпроводили бы вон.

Мечь фрекен д'Эспар состояла в том, что она немного свысока смотрела на знакомых и незнакомых; о, она умела, когда хотела! Что значили здесь все эти толстяки, эти пивные бочки, эти уроды? То были больные, сплошь пациенты, а фрекен не нуждалась в воде из Торахуса, чтобы сохранить свою фигуру. Так как господин Флеминг уклонился от беседы на французском языке, она не могла показать, кто собственно она была; но ректор Оливер отличил ее преимущественно перед другими и таким образом ее стол стал центром внимания. Было много гостей за маленькими столиками, но они забывали о чтении газет, только сидели и слушали.

За обедом присутствовал и доктор, новый доктор, который никому не позволил бы свысока посмотреть на себя. Да. И вот он подошел к фрекен д'Эспар с протянутой рукой, поклонился ей и поболтал немного с нею:

— Как живете-можете, фрекен, не осталось у вас следов от укушения гадюкою? Нет? Но советую вам остерегаться гадюк, в следующий раз при подобных обстоятельствах!

Доктор отошел, но впечатление было произведено, у фрекен было основание торжествовать. И хороша она была сегодня! Она выпила вина и оживилась, стала милой, грациозной. За боковым столом сидела группа дам; они, казалось, завидовали ей.

Адвокат окинул взором все столы и заметил отсутствие Самоубийцы.

— Где господин Магнус?

Никто не ответил. Одну из девушек послали в его комнату, его там не было. Фрекен д'Эспар объяснила, что сегодня утром она встретила господина Магнуса, он был одет по-дорожному и сказал, что уезжает на короткое время в Христианию.

— Я всегда говорил,— вскричал адвокат,— что мы без вас существовать не можем, фрекен д'Эспар! Позвольте чокнуться с вами!

Новый триумф и новая зависть.

Но в общем не было за столом приподнятого настроения, по всей санатории лежала печать скорби. Адвокат указывал на пустое место инженера и покачивал головою, никто громко не разговаривал: адвокат, как хозяин, был очень благодарен фрекен д'Эспар за то, что она немного оживляла всех, она не давала дамам, сидевшим за соседним столом, смутить себя.

После обеда они удалились в пустую комнату, где она написала бумагу. Она очень ловко объяснила, что господин Флеминг был отцом ее ребенка. Она понимала также, что нужно свидетельство врача о том, что ребенок был доношенный, и она достала это свидетельство. Да, все шло блестяще; она была великолепна, несравненна; в конце концов она без церемоний удалилась с господином Флемингом в его комнату, словно она получила или сама взяла разрешение. Немного на нее влияло, конечно, и вино.

Господин Флеминг пошел проводить ее домой.

Не успели они далеко отойти, как встретили двух дам из санатории, успевших уже совершить послеобеденную прогулку. Господин Флеминг вежливо поклонился и они пошли мимо. Фрекен д'Эспар глядела, не предчувствуя ничего дурного:

— Боже, как им завидно, что вы со мной!

У сарайчика она рассталась с господином Флемингом. Они решили, что на следующий день он пойдет к пастору; она по-прежнему была предусмотрительна и указала ему на разные мелочи, на которые он должен был обратить внимание пастора:

— Сделайте все, как можно лучше,— сказала она, до свидания!

Они удалились на несколько шагов. Вдруг из сеновала выскочил Даниэль:

— Теперь уж пусть сам дьявол!..— вскричал он, и в следующее мгновение его тяжелая рука легла на плечо господина Флеминга. У Даниэля ни кровинки в лице не

было, и господин Флеминг тоже побледнел. Даниэль заговорил, захрипел:

— Теперь вы уедете, убирайтесь прочь! Чего вам здесь надобно? Вы должны сейчас же уехать и чтобы ноги вашей здесь больше не было! Поняли, что я вам говорю?

— Потихе!..— начал было господин Флеминг.

Даниэль не слушал, он ржал, как лошадь и встряхивал господина Флеминга; поспешно подбежала фрекен, она слышала грубую ругань и страшные угрозы:

— Я тебя, как соплю, скручу! Я тебе прострелю череп пулюю!

После этого господину Флемингу оставалось только уйти. Даниэль смотрел ему вслед, подсакивая на месте, стучал в воздухе кулаками друг о дружку и кричал ему в догонку:

— Сегодня же вон отсюда! Заметь себе это!

Он обернулся и увидел фрекен; после того, что он сделал, он самому себе казался храбрым и сказал:

— Пусть только попробует снова прийти сюда!

Итак, он не дрался, не кусался, он говорил с нею, как человек, и она ободрилась:

— Так обращаться с больным! — с упреком сказала она.

— Ты сказала, что он уехал? — строго спросил он.

— А ты лежишь и подслушиваешь, — ответила она; но не смела сделать ничего другого, только принялась снимать с него соломинки; она по опыту знала, что ей следует касаться его руками.

Он стряхнул ее с себя, но смягчился и объяснил ей, что он и не думал подслушивать, но к нему пришли и предупредили его...

— Да, тут сейчас прошли две дамы, это они насплетничали, я это знаю, мы встретили их.

— Я дойду, может быть, до того, что убью его, — сказал он.

У фрекен вдруг вырвалось:

— Да, да... Прости, пожалуйста.

То было так необыкновенно, так неслыханно с ее стороны, что совершенно сбило его с толку, и он только сказал ей:

— Поторопись теперь домой, к ребенку. Марта попила его молоком, но...

— Хорошо; прости! — повторяла она, пока они шли.

Пока они не пришли домой и не уселись, они оба молчали; но тут она снова взялась за дело:

— Он поручил мне спросить тебя, не хочешь ли ты еще строиться? Не хочешь ли построить большой дом.

— Строиться?

— Тогда и ты мог бы иметь пансионеров и зарабатывать деньги.

Даниэль в высшей степени замешательства:

— Что вы сговорились с ним, что ли?

— Да. И тогда он помог бы тебе деньгами.

— Я знаю только одно,— задумчиво сказал Даниэль,— он должен уехать.

— Да, тогда он уедет.

Все было непонятно для Даниэля, и он стал догадываться:

— Значит он хочет это сделать для тебя?

— Да.

— А после этого уедет?

— Да.

— И ты хочешь, чтобы мы принимали здесь пансионеров?

— Да,— ответила фрекен,— то есть при этом имелось в виду, что я с ним уеду.

— Что? — вскричал Даниэль.

— Что ты, понимаешь ли, отпустишь меня. Почему ты кричишь так!

Даниэль приподнял руки вверх и опустил их:

— Мне кажется, вы оба с ума сошли!

— Не знаю, имеешь ли ты основание так говорить,— упрямо сказала она.— Ты всегда можешь взять себе другую жену, если у тебя будет здесь целая маленькая санатория. Ты будешь тогда богатым человеком.

Он вскочил с места и, бешенный, изогнувшийся, стоял перед нею. С минуту казалось, что он бросится на нее, потом он сказал:

— Я думал, что предупредил тебя, чтобы ты не смела больше говорить об этом!

— Да,— сказала она.

Он постоял некоторое время, затем вышел из комнаты.

Он быстро сбегал к ручью и обратно — она видела, как он пробежал мимо окна — и, вернувшись, пришел снова в комнату.

— А не можем ли мы заявить, что во вторник на будущей неделе мы повенчаемся? — спросил он.

Она, очевидно, не видела больше никакого выхода, и ей было безразлично, будет ли он драться, кусаться, убьет ли он ее:

— Конечно, мы можем это заявить,— с ожесточением ответила она,— но из этого ровно ничего не выйдет!

Он старался говорить с нею серьезно и приходил в ярость, грозил и ругался, и все это ни к чему не привело, теперь он был так потрясен, что даже онемел. Он опустил на скамейку и закрыл лицо руками.

— Ты должен же понять, что это становится для нас всех невозможным,— сказала она.

— Что могу я понять? — спросил он.— Для меня-то это невозможно!

Ей казалось, что все это вовсе не так страшно для него — и раньше случилось же, что жених с невестою расходились.

Что это, у нее совсем мозгов нет, она ничего не понимает? Его раз уже обманули, и больше это не должно повториться, а то что же все скажут! Он из хорошей семьи и не заслуживает, чтобы она в течение хотя бы одной секунды думала так опозорить его.

Когда он, вздыхая от горя, заговорил таким образом, ей показалось, что она кое-что выиграла у него, и ей не захотелось дразнить его до крайности, но за себя она могла бы постоять. Хорошая семья, сын усадьбовладельца... на этом основании она не могла с ним стовориться. Если кто имел право говорить о хорошем происхождении, гордиться своим родом, то прежде всего она, Юлия, урожденная д'Эспар. Сам пастор принял ее за даму благородного происхождения, чем она и была.

— Видишь ли,— сказал он,— у меня был план: мы могли бы вернуть себе усадьбу; что ты скажешь об этом?

— Какую усадьбу?

— Усадьбу моего отца. Мы будем иметь возможность вернуть ее, как только у нас хватит средств. Тогда переедем в село, там тебе будет лучше.

— Нет,— ответила она,— это не то! — Впрочем, было что-то в этой новости, что заставило ее насторожиться; она спросила, заинтересовавшись: — А когда у тебя будут средства к этому?

— Это зависит от обстоятельств: право на аллодиальное поместье утрачивается не раньше, чем через двадцать лет, времени впереди у нас довольно. И знаешь, что я скажу тебе: мы с каждым днем приближаемся к этой цели!

Она:

— Почему же ты не продал в таком случае сэттера под санаторию? Тогда ты разом получил бы целую кучу денег.

На это Даниэль усмехнулся:

— Ну, нет, я не так глуп! Кучу денег, конечно: но сколько именно? Немного. Знаешь, сколько получил отец Гельмера за свой сэттер под санаторию? Несколько сот крон. Я, может быть, получил бы несколько больше, но мне ведь нужно было не несколько сот крон, а в несколько раз больше. А как бы я получил в несколько раз больше, если продал бы сэттер? Нет, спасибо, мне не надуеть! Здесь я с каждым часом пробиваю себе дорогу, я продаю скот и шкуры, и шерсть, скоро и масло буду продавать, подожди только! А пастбище здесь не останется заброшенным, оно с каждым годом будет расти в цене.

— Я в этом ничего не понимаю и не интересуюсь этим, — сказала она. Но так как фрекен была неглупа, то она подумала: — «А не рассчитывает ли он при этом на мои денежки?»

— Да, мы переедем в село, — утешал он ее. — Славная усадьба, лес, ее зовут Утбю, чернозем и глина, есть и мельница.

Фрекен в раздражении:

— Да, это меня несколько не касается, слышишь!

— Касается, касается, ты должна подумать об этом, Юлия. Подумай об этом немного. Это большая усадьба, я приведу ее еще в лучший вид, тебе там хорошо будет, а для Юлиуса усадьба эта станет родиной.

— Для Юлиуса, — задумчиво сказала она, — нет, он не оттуда родом.

— Подумай об этом, — просил он, лаская ее руку, — развеселись скажи: да!

При его ласке она, обеспокоенная, отодвинулась, боясь, как бы это опять не кончилось насилием.

— Уходи! — сказала она.

Он встал и направился к двери:

— Значит, во вторник, на будущей неделе? Хорошо? Не говори нет!

Она осталась и размышляла. Нет, ее проект постройки не произвел на него никакого впечатления, ее маленькая умная головка снова ошиблась. О, самым главным препятствием для уничтожения помолвки служила для него мысль о том, что скажет село! Она его знала: немного он выпивал, немного бахвалился, намекал на деньжонки в запасе, немного болтал и про то, что Елена будет здорово раскаиваться, наконец, оглашение, сделанное пастором, — нет, для него были отрезаны все пути к отступлению. Что это он рассказывал такое? Он хочет вернуть себе отцовскую усадьбу? Наверно, он не лгал; вот, какая мысль лежала



в основе его усердной работы на пастбище, он непременно хотел пробить себе дорогу! Тут она встретила ему по пути, он знал, что у нее спрятано было много денег, на эти деньги, может быть, разом можно было выкупить отцовскую усадьбу.

— Нет, он не уступит!

\* \* \*

У Даниэля сердце чуть не лопнуло от горя и раздражения: она держала его на расстоянии, он не смел к ней прикоснуться. Почему, в самом деле, должен он так следовать за собою, ходить на цыпочках, стучать к ней в дверь прежде, чем войти? Почему в праздник он должен менять платье? Он опустил и стал очень неряшлив. Оба они были одинаково невежественны и неразвиты. Но что касалось дикости и неумытости, то в этом она стояла ниже его. Он мог бы ради нее продолжать ухаживать за собою, наряжаться и курить сигары, но это все равно было ни к чему, его попытки к сближению встречались злыми глазами и окриком:

— Проваливай!

И на пастбище в последнее время Даниэль работал уже не так усердно. Случалось, он в будни бросал работу, предоставляя картофелю и турнепсу самим о себе заботиться, и уходил в село.

Конечно, он потребовал на собственный страх оглашения: мог точно также потребовать и венчания.

В канцелярии пастора он узнал нечто другое: его встретили известием, что против венчания заявлен протест, что какой-то господин по фамилии Флеминг, заявляет права на невесту.

У Даниэля вытянулось лицо:

— Ну, в таком случае... в таком случае...

— Да, в таком случае пастор не может...

— Да, но ведь это обман и выдумка с их стороны!

— Может быть,— сказал пастор,— но это совсем не хорошо, отношения стали неясны.

— Нет, все было ясно, недоставало только венчания. Дорогой господин пастор ведь все было уже решено, как вдруг приехал этот чужой и стал ее отговаривать; тут они оба помешались и желают все переделать.

— Да, сказал покачивая головою, пастор.

— Да,— сказал и Даниэль.— И кроме того, человек этот больной, он стоит на краю могилы, харкает кровью,

и он был уже в руках полиции, и все такое. Говорят, он стащил какие-то деньги.

— Нет, то была какая-то ошибка, он показал мне бумаги, это дело улажено.

— Что же,— сказал Даниэль.— Конечно,— сказал он и помолчал немного.— Но ведь для нас было сделано оглашение.

— Да,— снова сказал пастор и покачал головою.

— И потом у нас ребенок.

— Да, ребенок... здесь тоже, кажется, не все в порядке.

— Тоже не в порядке?

— Флеминг претендует, что он отец ребенка.

— Что? — вскричал Даниэль и так и остался с разинутым ртом.

Священника поразило чистосердечие и непритворное, встреченное им здесь, изумление. Во всем этом было что-то неприятное и даже грязноватое, но его симпатии были на стороне Даниэля.

— Я, конечно, не знаю, как связать все это вместе, но у меня в книге вы показаны отцом ребенка.— Он раскрыл книгу и стал водить пальцем по рубрикам.

Даниэль пришел в себя:

— Да, у вас должно быть записано, что я отец ребенка. Ведь он был в отъезде, его и в стране-то у нас не было. Никогда не слыхал я подобных глупостей!

— Но он утверждает, что зачатие произошло до его отъезда из санатории. Это совпадает со сроком рождения ребенка.

— Со сроком! Конечно, может быть; но ребенок-то родился преждевременно.

— Гм! А вы уверены, что не ошибаетесь? — кротко спросил пастор.— Он принес мне свидетельство санаторского врача о том, что ребенок был доношенный.

— Это невозможно! Он сам написал это свидетельство! Ее ужалила гадюка, и она преждевременно родила.

— Да, в свидетельстве сказано днем раньше, или может быть, несколькими днями. Но ребенок был доношенный.

Несколько минут сидел Даниэль в величайшем замешательстве, потом вдруг вскричал:

— Но мать-то должна знать!

— Конечно, должна.

— Да. И она все время говорит, что я отец ребенка. Я никогда ничего другого не слыхал. То же самое сказала она в пристройке... и это слышали оба крестные.

Пастор покачал головою.

— Теперь-то она во всяком случае утверждает, что Флеминг — отец. Он и от нее принес свидетельство.

Молчание.

— Да они оба с ума сошли! — сказал уныло Даниэль.

Пастор очень желал помочь ему, но не мог.

— Для вас неблагоприятно, что ребенка записали в отсутствие матери, она всегда может отрицать то, что вы утверждаете.

— Да, но она этого не сделает, — ответил Даниэль, — это невозможно, мне надо только поговорить с нею.

— Ну, да, будем надеяться, может быть, все еще уладится. Я отлично понимаю, как все это печально для вас. Помните, что у меня в книге записаны отцом ребенка вы, а не кто другой.

Даниэль направился к двери:

— Значит, вы не можете нас повенчать?

— Гм... Нет, так прямо нельзя; мы должны раньше все выяснить. Попробуйте поговорить с нею и с ним, если можно; может быть, все и уладится. Будем надеяться.

— Но вы и другого не повенчаете?

— Нет. И я скажу ему это. Он, впрочем, и не требовал.

Даниэль пошел на базар и закупил кое-что; он был очень задумчив, купил по хозяйству то, что помнил, и забыл другие, может быть, более нужные вещи, он словно спал на ходу и отвечал совсем невпопад. На обратном пути домой он основательно все обдумал, раз, другой останавливался и глазел в землю, затем повернулся и снова пришел на базар.

Нет, яростью и угрозами он ничего не добился, другое дело, если бы он мог сделать что-нибудь для нее... Он подошел к прилавку и попросил, чтобы ему показали шелковую ленту:

— Сколько стоит? — Он попросил показать ему пошире.

— А эта сколько? Ну, давайте один метр.

Она, может быть, и не примет ее, может быть, бросит ее в угол. А не схитрить ли ему, не сказать ли, это для малыотки Юлиуса?

Фрекен дома не было, но Марта полагала, что она скоро придет.

Даниэль прошел в пристройку. Ребенок, к сожалению, спал, а то он мог бы надеть ему ленту на шейку, принарядить его. Не его ребенок? Вздор! Об этом мы еще поспорим! — Юлиус! — позвал он. Нет, он спал. Даниэль вынул ленту из бумаги и развернул ее во всю длину; она была голубого цвета и очень красивая, он принялся

привязывать ее над зеркалом и никак не мог уладить банта и длинных концов. Сказать себе он мог, какой он желал бы сделать бант из шелковой ленты, и это было глупо с его стороны. А когда, он, наконец, смял ее, тогда только вынужден был позвать Марту, чтобы она помогла ему. И вот повис, наконец, этот голубой сувенир.

— Она сказала, что ей хочется иметь это вот? — спросила Марта.

И Даниэль ответил:

— Да, я думаю, что понял ее желание.

— Она, вероятно, скоро придет уже, — сказала Марта, выходя из комнаты.

Но фрекен не приходила. Даниэль выходил и входил, напевал, чтобы Марта чего не подумала, сходил в деревянный сарай и к ручью, и, наконец, в отчаянии вторично перекопал свои картофельные грядки. Все это он сделал в короткое время, размяк душой и телом, он, кажется поднял бы на руки всю свою семью. Потом пошел в лес и свернул на маленькую тропинку, которая вела в санаторию.

У пастора его порядочно унизили; он не хотел шпионить, он просто хотел пойти ей навстречу, и, чтобы показать свое миролюбие, он даже насвистывал; а может быть, он свистел и для того, чтобы предупредить о своем присутствии. Он мог представить себе, где она была: она ведь отправила посланного к пастору и теперь пошла, чтобы узнать о результате. «О, милая Юлия, никакого результата не будет, пока есть хоть искра жизни во мне, Даниэле!»

Он встретил ее, далеко не дойдя до сеновала; она была одна.

— Ты гуляла? — миролюбиво спросил он.

— Да, я была в санатории, — упрямо ответила она.

— В санатории? — сказал он.

Она испугалась, что опять будет ссора, и вскричала:

— Милосердный боже, да разве мне нельзя с места двинуться?

— Насколько я понимаю, ты получила плохие известия, — еще миролюбивее сказал он. Он наложил на себя крепкую узду.

— Нет, я получила хорошие известия!

— Граф уехал?

— Поди, спроси его.

Даниэль помолчал некоторое время, потом сказал:

— А ты не боишься, что в один прекрасный день это может плохо кончиться?

— Что может плохо кончиться?

— Все. Я слышал, что ты и ребенка берешь у меня?

— Ребенка... у тебя?..— Она замолчала, проронив это двусмысленное замечание, и не посмела тут же дать ему честный ответ, нет, не смела, потому что Даниэль был глубоко, жутко миролюбив.— Проснулся Юлиус? — спросила она.

— Я мог бы об одном только предупредить тебя,— продолжал он,— но уже раньше предупреждал и это никакой пользы не принесло, больше я этого делать не буду. Но ты не воображай, что я соглашусь на все ваши глупости: твои и его, этого финна, графа-то! А что касается того, что ты ребенка хочешь забрать, то скажу тебе, что я, не кто-нибудь другой, записан в книге у пастора, так что и это тебе не удастся. И о нас сделано было в церкви оглашение.

Если бы у Даниэля не дрожал так заметно голос, фрекен холодно посмеялась бы над этим бахвальством. Ведь у нее были свидетель и доказательства, и она могла на все дать обстоятельные объяснения, но сейчас она не посмела этого сделать, тут нужна была выдержка. Она только сказала:

— Вот как, ты был у пастора?

Он резко оборвал беседу:

— Больше я не предупреждаю тебя. Запомни это!

— Ах,— с гримасой вскричала она,— я так устала от этой болтовни!

Дни шли. Вторник, на который назначено было венчание, прошел, и никакой перемены не наступило; фрекен продолжала массировать себе лицо, гуляла неподалеку в лесу, иногда брала с собою Юлиуса. Насколько Даниэль понимал, она ни с кем там не встречалась.

Какие у нее были намерения? Ждала ли, что что-нибудь неожиданно вынырнет, или хотела утомить Даниэля? И для фрекен это было нехорошо: она была измучена, проводила бессонные ночи и бесилась. Сопrotивление Даниэля раздражало ее: если бы он позволял ей выходить, она, может быть, вообще не выходила бы, бог ее знает, или, может быть, выходила бы на минутку и возвращалась бы назад, тоже бог ее знает. Его непоколебимость приводила ее в ярость, она истерически рыдала и скрежетала зубами. Она была ни больше, ни меньше, как прикована к нему цепью.

Даниэль стал чаще уходить в село. Он больше не покупал шелковых лент; лента, которую он как-то принес домой, ничему не помогла и не повредила, она висела в пристройке, голубая и красивая, и уже мухи стали засиживать ее. Фрекен и не упоминала про нее, не благодарила.

В село он ходил, чтобы встречаться со знакомыми и чтобы быть на людях. Вот, что он делал там. Он был подавлен и неразговорчив: торжество над селом — куда оно девалось! Даже Юлиуса, и того они хотят украсть у него. О, Даниэль отлично понимал, что в этом важном пункте он не должен уступать: с полного согласия фрекен и в присутствии Марты и крестных было заявлено, что он отец. От этого-то она уже не может отречься, правда?

Друзья были слегка озадачены? выходило, что не все ладно было на сэтере Торахус, сам Даниэль стал другим.

— Когда же ты женишься, Даниэль? — бывало спросят его.

И Даниэль отвечал:

— Я, знаешь ли, не могу этого сказать.

— Неужели? Не можешь сказать?

— Всегда что-нибудь мешает: то времени нет, то у нас нет подходящего платья, всегда припутается не одно, так другое.

— Странно слышать это!

— Я сам не знаю,— отвечал Даниэль,— но Юлия это не то, как если бы другая девушка была невестою. Ей нужно платье как раз такое, как для свадьбы, с шелковыми лентами и бусами.

Приятели смеялись и шутили над ним.

— Я шутил,— сказал Даниэль.— Я думал, что бабам нужно, чтобы все было по-ихнему. Что же касается меня, то не могу же я пойти к венцу в том, в чем сижу здесь; а это, можно сказать, самое лучшее мое платье.

— Разве у тебя так мало одежды?

— Да, у меня так мало одежды.

— Этому можно помочь.

Даниэль:

— Я должен был пойти, чтобы с меня сняли мерку, но была Троица, праздник и все такое, невозможно было добиться, чтобы тебе сшили что-нибудь.

— Да мы не думали ничего дурного,— говорят тогда друзья. Они сидят на лавке, в задней комнате и, счастливые, шумные, тянут пиво, просят друг у друга прощения в том, что они в расстройстве могли сболтнуть,

и улаживают все недоразумения. Но не было никакого сомнения, что друзья Даниэля пронюхали про его беду, люди стали снова чесать языки на его счет.

— Я хотел бы поговорить с тобою, Гельмер,— сказал он.

Они выходят из комнаты и идут к Гельмеру. Даниэль хотел сообщить ему, что на днях он кое-кого пристрелит.

— Га! Этого ты не сделаешь! — сказал Гельмер, смеясь и покачивая головою.

— А если меня к этому принуждают?

— Кого ты хочешь застрелить?

— Для тебя это безразлично: впрочем, может быть, ты слышал.

— Что я слышал! А, может, и слышал кое-что, но... А как ты думаешь, что сделают с тобой после этого? Придут и арестуют тебя.

— Мне все равно!

— Ты должен взяться за ум, а не быть дураком! — сказал Гельмер.— Только об этом прошу тебя,— сказал он.— Уж не первый раз прошу тебя; ты как-то раз хотел спалить Елену, а я отговорил тебя.

— Да, что этого касается...

— Я слышать больше ничего не хочу, понимаешь! А теперь зайдем ко мне, ты выпьешь горячего кофе и образумишься.

Даниэль зашел, попил кофе и на время прибодрился немного. Когда ему надо было уходить, он снова пал духом. Гельмер пошел с ним и Даниэль спросил:

— Помнишь, что она сказала в день крестин? Что ребенок мой?

— Да, что ребенок твой!

— Держи хорошенько своего ребенка, Даниэль, сказала она. Не жми же ты своего ребенка, Даниэль, сказала она. Это было у нас, в пристройке. Ты слышал?

— Готов присягу принять.

— Да. А теперь я побегу домой, и поговорю с ней и все выясню. Время уже к вечеру, мне надо спешить.

Гельмер снова напомнил ему, чтобы он взялся за ум, и отпустил его. Он увидел своего товарища только через две недели, и тогда все изменилось, все было решено.

Придя домой, Даниэль прямо прошел в пристройку.

— В селе смеются надо мною,— сказал он.

— Неужели? — сказала фрекен.

— А теперь я хочу знать, какой день ты назначишь, чтобы нам повенчаться.

То, что случалось всегда, случилось и в этот раз; о, она была так измучена, так убита, она расплакалась:

— Я хочу домой,— вырывалось у нее,— хочу прочь отсюда, домой! Что мне здесь делать! Спаси меня, господи! Ни людей, ни одной души, ни магазинов, ни выставок в окнах, ни улиц, ни судна у пристани, вечерами темно, никто не ездит мимо, ничего...

Она истерически рыдала и спрашивала его, есть ли смысл во всем этом.

— Ты не видел даже реки Акерс, на ней масса лодок, я каталась по ней с мальчишками, мы без спросу брали лодки, ха-ха-ха! Будь добреньким, Даниэль, здесь я больше жить не могу, не знаю почему, но это стало невозможным. Повенчаться? Послушай ведь ты совсем с ума сошел, потому что он ждет меня и мы уедем, а ты говоришь венчаться, венчаться! У тебя такой вид, будто ты ничего не понимаешь, но граф ждет меня, слышишь! Я влюблена в него, доныне я прятала его деньги. Но тебе мы тоже поможем...

— Молчи, я скажу тебе только два слова,— сказал Даниэль: — какой день назначишь ты, чтобы нам повенчаться?

— Повенчаться?..

— Да, это только я и хочу знать.

— Да, но я возьму ребенка и убегу с ним! — сверкая глазами, вскричала она.— Ты не посмеешь гнаться за мною, когда ребенок будет у меня на руках, потому что мы упадем и расшибемся, Юлиус расшибется...

Даниэль топнул ногою и закричал:

— Замолчи!

— Прости! — сказала она.

Даниэль:

— Ты все еще вне себя и я не хочу больше говорить с тобою. Напомню тебе только об одной единственной вещи: ты не пойдешь в санаторию прежде, чем мы будем повенчаны, поняла? И не увидишься в лесу ни с кем раньше, чем мы будем повенчаны. Нет-с, не увидишься! Вот, о чем я хотел напомнить тебе.

Она, казалось, обдумывала то, что он сказал ей, или думала о чем-нибудь другом. Вдруг она мягко повернулась к нему и кокетливо заговорила:

— Прости меня за все, Даниэль! Я была не такою, какою должна была быть, ты сказал правду. Я прогоняла тебя, не хотела тебя знать. Но теперь, сама не знаю почему, я хотела бы все исправить так, как ты хочешь,



если тебе это нравится, конечно. Ну, будь добреньким, Даниэль. Я еще больше для тебя сделаю,— хочешь?

О, она, конечно, думала успокоить этим его горячность, смягчить его, сделать постепенно податливее. Она попала в затруднительное положение, окончательно запуталась.

Он перевел дух и повернул голову к окну; в нем проснулась, может быть, его робость. В то же тоне, как раньше, и так же твердо он спросил ее:

— В последний раз: можем мы назначить ближайший вторник, или?..

Она оставила его, только сидела молча, чувствуя, что попала в западню.

— С сегодняшнего дня довольно того, чем мне надо-едали в селе,— заявил он.— Я — не бродяга, я родом из Утбю, и все знают меня. Что ты скажешь о вторнике?

Она, растерянная:

— Я пойду и скажу ему.

— Нет! — вскричал Даниэль: — Я ведь только что сказал тебе, чтобы ты не смела никуда ходить.

— Пойти и сказать, чтобы он уехал... я думала только...

Даниэль:

— Я сказал ему это, незачем снова говорить, он знает. Я ему решительно сказал это!

Она замолчала, перестала отвечать. Он сказал, что платье ее вполне хорошее, а он достанет себе костюм у Гельмера; он ей напомнил, чтобы она отобрала у пастора, посланные ею бумаги, все эти свидетельства, все эти выдумки. Она не отвечала.

Наступило утро следующего дня.

Конечно, ей необходимо нужно было поговорить с господином Флемингом, понятно, нужно. Надо же было предупредить его, заставить его быть осторожным, теперь была большая опасность, чем раньше. Даниэль прямо взбесился.

Она собралась уйти; где был Даниэль, она не знала, может быть, в селе, Марта возилась со скотиною, в кухне никого не было.

Конечно, ей нужно идти. Она уже обдумала это, много раз обдумала, и не могла небрежно отнестись к этому теперь, когда являлась настоятельная надобность в предупреждении. Что было, впрочем, скверного в этом? Она хочет предупредить несчастье, нападение обезумевшего человека, почему она знала! Образованный человек был бы ей благодарен, за то, что она не допустила, чтобы совершилось преступление, человек, вроде господина Фле-

минга видел бы в этом заслугу; но чего она могла ждать от Даниэля? О, он был такой дикий, такой сумасшедший, если бы он пришел, он, пожалуй, задушил бы ее. Как поступил в этом увлекательном французском романе супруг, когда, придя домой, застал в спальне любовника своей жены? Прежде всего, он поклонился любовнику, затем осветил ему лампой вниз по лестнице: «Смотрите в оба! — предупредил он его.— Там сломанная ступенька, не расквасьте себе нос!» Вот каково выступление светского человека, грация, тонкое воспитание. Если бы Даниэль хоть немного этому научился!

Она поборола свой вчерашний упадок сил и могла думать о том, что сегодня хорошая погода, тропинки сохнут, в лесу поют птицы и благоухает листва. Она быстро и легко шла, но долго ей нельзя быть в отсутствии из-за Юлиуса.

Недалеко от сеновала встретила она господина Флеминга,— он точно угадал, что она придет. Он попытался было уговорить ее, чтобы она повернула обратно, но она не захотела этого, не смела: «Нет, может быть, он ищет вас, а он задумал что-то злое». Вместо того, чтобы господин Флеминг находился вблизи владений Даниэля, она самоотверженно решила рискнуть собою и держаться от них подальше. Они подошли ближе к санатории и там уселись в вереске.

Она рассказала все, что знала: Даниэль был у пастора. Вчера он вернулся из села решительный и взбешенный; опять стали о нем сплетничать, и он не желал больше переносить этого! Вдруг она спросила господина Флеминга:

— Можете вы понять, почему он придает такое большое значение тому, что про него говорят в селе?

Конечно, господин Флеминг мог это понять: так уж водится в селах, они все друг друга знают.

— А также потому, что он сын усадьбовладельца?

— Ну, да, это они высоко ставят, гордятся этим, мне это знакомо еще из дому. Сын усадьбовладельца должен больше прислушиваться к народному суждению, чем другие.

— Совершенно, как дворяне,— улыбаясь, сказала она.

Господин Флеминг кивнул головою:

— Если сын усадьбовладельца собьется с пути, то это может, к несчастью, уложить в гроб его честных родителей.

— Почему вы сказали: к несчастью? Ну,— сказала она, перебивая саму себя,— что нам делать? Он хочет повенчаться во вторник.

— Этого не может быть после моего протеста.

— Нет, но теперь от Даниэля можно ожидать кое-чего порешительнее слов. Теперь я боюсь его.

Господин Флеминг высказал, что им надо бежать и, может быть, оставить ребенка на время.

— Нет,— сказала она, качая головою.

Только на короткое время, только пока они устроятся и изберут какой-нибудь жизненный путь.

— Нет, нет, это не пойдет. Вы верно не видели его, как следует, не видели Юлиса. Правда?

— Великолепный ребенок!

— Что это? — вдруг спросила она.— Мне точно что-то послышалось.

Оба оглянулись — ничего. Немного погодя, она сказала:

— Я думаю вот что: не могу ли я, выйдя с ребенком на руках, пробраться в санаторию?

— В санаторию?..

— И остаться там. Чтобы мы там жили, значит, все трое.

Господин Флеминг подумал: «Директор Руппрехт золотой человек, он пожалуй, позволит. Конечно, позволит!»

— Там мы были бы спокойны,— сказала она.— Там уже никто не достигнет нас. Мы могли бы прожить некоторое время.

— Но для вас это было бы ужасно: прислуга, пансионеры... Я думаю, ужасно тяжело для вас с ребенком...

— Да, я думала об этом. Пришлось бы потерпеть.

Господин Флеминг, оживившись:

— Поговорю с директором!

Они это обсуждали дальше: в невозможном положении это было единственно возможное, но он жалел ее за тот крест, который ей придется нести.

— Пора мне идти,— сказала она вставая.— Я пришла сюда без разрешения.

Он тоже встал:

— Я пойду с вами.

Тут фрекен побледнела и остановилась, как вкопанная: там, в верхнем конце тропинки, на маленьком холмике, сидел, наполовину скрытый кустарником, Даниэль. И господин Флеминг увидел его, и лицо его вытянулось.

Вдруг фрекен вскричала:

— Даниэль, я приходила сюда только для того, чтобы сказать ему, теперь бегу домой!

Никакого ответа. Даниэль сидит в углу и глазаеет, он сжался весь, как хищный зверь перед прыжком.

Фрекен снова сделала ошибку:

— А, ты здесь, Даниэль! — вскричала она, плача от ужаса. — Я сказала, что он должен уехать, а он не хочет, вы оба сошли с ума по мне, он не хочет ехать, слышишь! А теперь я хочу... хочу... когда ты этого не будешь видеть... хочу взять Юлиуса... Юлиуса...

Она словно стала заикаться.

— Позвольте мне проводить вас домой? — сказал господин Флеминг.

— Нет, нет! — вскричала она, — берегитесь сами!

Даниэль не спускает с них глаз; незаметно и скользя, меняет он положение, опирается правым коленом о землю, затем шарит рукою по земле и в следующее мгновение он держит ружье у щеки.

Фрекен с криком бросается в вереск.

— Так, так, дорогая... не пугайтесь! — утешает господин Флеминг.

— Ложитесь наземь! — слышал он, как фрекен сказала. Но он не забыл своей осанки и не испугался, не заторопился, не прыгнул в сторону. О, и Даниэль этого не сделал, может быть, не сделал бы и того, что сделал, но его наверно раздражило спокойствие молодого человека: вот его поймали на свидании, поставили в самое фальшивое положение, а он после этого сохраняет свой важный вид.

Когда прогремел выстрел, прошло несколько секунд прежде, чем господин Флеминг повалился. Он слегка пошевелил пальцами, подергал немного коленом и затих.

Первое, что заметила фрекен, было, что Даниэль, расставляя широко ноги, пошел с холма к ней; она больше слышала, чем видела его, потому что вереск шуршал под его сапогами. Ужас охватил ее, она оперлась о локоть и спросила:

— Чего ты хочешь?

Она видит, как глаза его поочереды смотрят то на нее, то на труп, лицо его неузнаваемо; она видит, что он шевелит губами и, может быть, что-нибудь говорит.

— Что ты хочешь сделать со мною, слышишь? — плача спрашивает она.

Так как он не отвечает, она вскакивает и пускается бежать. Последнее, что она видела, было, что он стоял около убитого и смотрел, шевелится ли он.

Она бежала в направлении к санатории. Когда она пришла в себя, то остановилась и с минуту раздумывала, затем круто повернула и побежала лесом на сѣтер.

Даниэль стоял на месте и смотрел на дело своих рук, может быть немного с любопытством, немного с удивлением. И он был человек, он забыл, как бегают на четвереньках и на части разрывают врага; вместо этого он выучился стрелять. Конечно, он не был крупной величиной, не был героем, он был человек, как все.

## ГЛАВА XVI

---

Начались обыск, следствие и допрос; в селе, как пузыри в кипящей воде, рождались всевозможные рассказы; испуганные люди вечером запирали двери — мало ли чего еще можно было ожидать! Выслано было также несколько человек, уполномоченных полицией, в поиски за Даниэлем; да, они искали в лесу вокруг пастбища и, в конце концов, углубились компанией в лес, заглядывая под каждый можжевельный куст; но Даниэль был на горе, и они, может быть, знали это. «Пусть его!» — думали они, при чем проглядывало их глубокое сочувствие к несчастному, — «он сам когда-нибудь да спустится вниз, он не плохой парень, этот Даниэль Утбю, разве мы не знаем его?» — вероятно, думали они. Кроме того было, может быть, и небезопасно подойти к нему теперь слишком близко, бог его знает. С этим чудовищем нельзя было шутить, не собирался ли он разве как-то раз спалить Елену?

Фрекен д'Эспар давала, по мере крайнего разумения своего, хорошие показания о событии, но у нее была не бог знает, какая память. Она потеряла голову и ничего не помнила о важных минутах самой катастрофы. Ленсманский писарь всячески старается допросить ее и занести ее показания в протокол, но нет, вносить-то нечего. Для начала он сказал, что важно выяснить, было ли это умышленное убийство, потому что в таком случае полагается смертная казнь — и это дало фрекен повод к долгому размышлению и сделало ее на много часов беспамятной. Вообще фрекен-то эта, шут ее знает, писарь ленсмана допрашивал ее уже раньше и ничего не мог от нее добиться.

— Как же собственно совершилось преступление?

Этого она не знала. Она потеряла сознание, а когда пришла в себя, то она ни на что не обратила особенного

внимания, она только поднялась и побежала. Разве это удивительно?

— Что сказал Даниэль?

— Ни слова.

— Он не предупреждал?

— Да, он закричал.

— Значит, он сказал что-то?

— Он ни слова не сказал. Он только крикнул и предупредил.

— Угрожал ли когда-нибудь Даниэль господину Флемингу, обещая застрелить его?

Нет, фрекен этого не слыхала.

— Никогда не угрожал ему? Никогда?

— Нет. Он только просил его, чтобы он уехал.

— А в то утро... он взял ружье с собою, чтобы застрелить господина Флеминга?

— Разве он сделал это?

— Я вас спрашиваю об этом, — сказал писарь.

Фрекен посмотрела ему в лицо и возразила:

— Я не могу отвечать больше, чем знаю.

— Но что вы думаете? Какое у вас получилось впечатление?

Фрекен стала усиленно припоминать:

— Он сказал, что пойдет на охоту.

Писарь ленсмана посмотрел протокол и указал:

— Ведь раньше вы показали, что он совсем не разговаривал с вами?

Фрекен:

— Он сказал это накануне вечером.

— Что он утром пойдет на охоту?

— Да.

— С винтовкой? И в это время года? Кого же он хотел застрелить из винтовки?

Фрекен молчит, она хватается за лоб, нельзя же все знать, поэтому она и не отвечает. Разве она не ошеломлена всем, что пережила в последнее время и разве в этом что-нибудь странное? Нерешительно смотрит она на Марту.

Когда приходит очередь Марты, она объясняет, что Даниэль хотел убить оленя. Для этого он употреблял винтовку. Дикого оленя в горах.

У фрекен снова является способность речи:

— Конечно, оленя, он сказал это.

— Теперь не время, — сказал писарь ленсмана.

Из ответа Марты выяснилось, что Даниэль не особенно-то считался с временами года.

Писарь ленсмана:

— Значит, он хотел охотиться в недозволенное время?

Марта медлит с мгновение, затем отвечает, сильно подчеркивая свои слова:

— Да, Даниэль стрелял все, что угодно, и стрелял круглый год.

— Это противно закону,— поучительно сказал писарь ленсмана.

Конечно, многое противно закону, стрелять по людям тоже не полагается. Когда Даниэль сидел высоко на горе, и народ карабкался к нему, кивал ему и старался подластиться к нему, тогда он крикнул им, что тот, кто подойдет ближе, будет лежать холодным трупом — это тоже не по закону. Тогда люди сползли вниз и оставили его там.

Но писарь ленсмана этим не удовлетворился: он вооружил ружьями своих служащих и послал их, чтобы снова попытались, но и это ни к чему не повело, они пытались также обойти и окружить этого безумного парня, но нет, они не могли подойти достаточно близко, его винтовка хватала дальше их ружей. О, они делали все возможное.

Тогда-то Даниэль царствовал на горе Торахус, никто близко не подходил к нему.

Но однажды утром он увидел, что к нему приближаются две какие-то точки, два маленьких мальчика: — они спускались с «Вышки», да, и несли белый платок на палке, — то были парламентареры, они хотели поговорить с изгнанником, с предводителем разбойников. Ни о чем подобном Даниэль не читал и ничего такого не знал, но тут не в кого и стрелять-то было, два маленьких мальчика, господи боже мой! И они подошли.

Даниэль оглянулся испытующе, потом положил винтовку, чтобы не испугать их. И они подошли совсем близко к нему. Да, они были бледны, испуганны и запыхались, но тот, который нес флаг, подошел первым, а у другого был какой-то пакет, который он протянул к нему, вытянув во всю длину руку и сказал:

— Пожалуйста!

Даниэль удивленный:

— Что это?

— Немного кушанья,— отвечал он,— завтрак.

— Мы взяли его со стола,— объяснил другой.

— Откуда вы?

— Мы живем в санатории.

— В санатории? И пришли сюда?

— Мы все это обдумали вчера вечером. Здесь немного только пищи, несколько бутербродов.

Даниэль развернул пакет и стал есть, при этом он отвернулся и не смотрел на них. Раза два он шмыгнул носом, его растрогало это благодеяние, хотя он был кремень.

— Знает кто-нибудь о том, что вы пошли сюда?

— Нет, никто не знает.

— Вы и не должны этого рассказывать,— сказал он.

Они побеседовали немного, он узнал, сколько им лет и что отца их зовут ректор Оливер; он тоже жил в санатории. Все время беседы Даниэль стоял, отвернувшись и слегка шмыгая носом. Когда он поел, он повернулся, пожал руки обоим мальчикам и сказал:

— Спасибо за еду!

— Тут ничего и не было,— сказали они,— слишком мало, завтра мы принесем больше.

Даниэль с внезапной суровостью:

— Нет, не надо больше! Нет, завтра меня здесь не будет,— мягко прибавил он.— Вы не должны приходить много раз.

— Нет, нет,— ответили они.

Даниэль указал:

— Смотрите, когда вы уйдете отсюда, держитесь кустарников, идя домой, а не идите по голой горе, чтобы вас не видели. Не будьте дураками, держитесь всю дорогу кустарника.

— Хорошо!

— И большое вам спасибо! — сказал Даниэль и отвернулся.

Мальчики ушли. Они свое дело сделали и спрятали белый флаг. Они наверно были проникнуты сознанием важности своей миссии и горды тем, что пожали руку предводителя разбойников.

Даниэль продолжал царствовать на горе; шел уже третий день. Он не боялся спускаться пониже к пастбищу и к домам, и там тоже удерживал позицию, благодаря своему дальнобойному ружью.

Население было беспомощно, и в конце концов, несколько человек пришло в село, к Гельмеру, и сказало ему:

— Попробуй-ка ты, Гельмер, взять его добром.

Но Гельмер уклонился, у него духу не хватало, он не мог видеть Даниэля в такой беде! И Даниэль продолжал



царствовать; обезумевший парень подымал ружье и грозил, что убьет каждого, кто приблизится к нему на расстояние выстрела; он был словно человек, защищающий дом и очаг свой.

Обе женщины на сәтере думали и размышляли и надеялись на бога, что Даниэль воспользуется случаем и спустится вниз, чтобы поестъ немного; сами они не смели идти к нему, боясь полиции и людей. Иногда они слышали выстрел на горе; это значило, что он стрелял по кому-нибудь.

Писарь ленсмана потребовал от них, чтобы они выставили на порог дома пищу для него. Конечно, они это сделали.

— И одна из вас пусть пойдет и предупредит его, где он найдет еду,— сказал он.

Нет, этого они не решатся сделать, сказали Марта и фрекен, они не желали рисковать жизнью, сказали они.

Во всяком случае писарь ленсмана просидел целую ночь в риге, у окна, и не спускал глаз с порога; просидел еще ночь, а Даниэль не пришел. Тогда этот невинный опыт был отставлен и пища убрана.

Но в один дождливый вечер он пришел.

Случилось, что Марта и фрекен стояли в кухне и тихо разговаривали; вдруг открылась дверь и он проскользнул в нее. Фрекен, увидав его, слегка вскрикнула и отскочила в сторону. Он был мокрый и иззябший, печально было смотреть на него: по лицу у него были полосы от дождя и грязи, глаза ввалились и вообще у него был вид человека, измученного бессонницей. Он, не подымая глаз, закрыл рот посиневшей рукою и сконфуженно засмеялся; затем бросился к столу, схватил хлеб и с жадностью стал его есть. Ружье он поставил около себя.

Марта заговорила первая:

— Хорошо, что ты пришел, у нас кофе готов!

Он откусывал и откусывал от целого хлеба и только позднее принялся за остальное. Кофе стоял тут же и дымился.

— Могу я взять это с собою? — спросил он об остатке хлеба, сунув его под мышку и поднялся с места.

— Разве ты не выпьешь кофе?

— Нет, хватит. Он слишком горячий.

— Да, мы давали показания, — продолжала Марта. — Мы сказали, что в то утро ты собирался застрелить оленя. — Поэтому ты взял винтовку. Так мы сказали.

— Ну, что же, — ответил он.

— Ты не для того взял, чтобы застрелить кого-нибудь другого. Так и знай!

— Мне все равно.

— Нет, потому что за это полагается смертная казнь,— сказала Марта.

— Ну, да.

Фрекен, стоя в стороне:

— Ты, конечно, постарайся скрыться, Даниэль?

— Не знаю,— ответил он и скосил глаза на пол, к ее ногам, и спросил:

— Юлиус спит?

— Да, он спит.

— Я хотел бы хоть одним глазком взглянуть на него.

Бог его знает, что он этим думал: тянуло ли его к ребенку, или он только хотел показать, что не торопится, не трусит. Он схватил висевшую на стене куртку, взял ружье и шагнул к двери,— фрекен вслед за ним и — в постройку. То-то была спешка! Он только взглянул на ребенка, кивнул головою и опять шагнул к двери.

Фрекен,

— Взгляни сюда... подожди минутку.

То, что его преследовали и гнали, глубоко потрясло ее; а за то, что он не жаловался на нее и не сказал ей ни одного дурного слова, она готова была броситься к его ногам. Она открыла свой сундук, вынула, не считая, несколько ассигнаций и сунула их ему, прося его убежать, перевалить, может быть, через горы, позднее мы встретимся...

В первый раз взглянул он на нее и сказал:

— Да, да, спасибо!

Пришла Марта. Она перелила кофе в бутылку и передала ему, но когда он взял ее, она упала на пол. По старой привычке он заворчал было о том, что здесь разбилось:

— Тут бутылка разбилась, но у меня руки так ооченели!..

Он распахнул дверь и убежал...

Еще два-три дня царил он на горе. Писарь ленсмана был в отчаянии, он желал один распутать это дело, не прибегая к чужой помощи. И вот в один прекрасный день он и жена его поднялись на горное пастбище Торахус; у них не было ружья, и они не походили на полицию, просто пришли, гуляя. Поднявшись выше, на расстояние выстрела, дальше чего Даниэль не позволял уже ходить, писарь остановился, а жена его дальше пошла одна.

Удивительное посольство по такому делу! Послать ее, которая натянула Даниэлю нос и все такое! Но Елена, очевидно, сказала, что теперь о н а попробует взять Даниэля добром.

Обе женщины из горного пастбища видели эту чету и следили за Еленой, как далеко осмелится она пройти. Елена смело шла все выше, хотя Даниэль кричал и грозил ей.

— Он не застрелит Елены,— сказала Марта.

— Но разве это дело идти к нему? — завистливо спросила фрекен: — Я тоже могла бы это сделать, но ни я, ни ты не получили разрешения.

Елена шла все выше.

— Чего там надо этой жене ленсмана! — фыркнула фрекен.— Он ни капельки не интересуется ею!

Вдруг Даниэль сделал что-то совершенно неожиданное: он стал спускаться вниз, пошел ей навстречу; они встретились, остановились и заговорили. Елена и он.

Бедная фрекен д'Эспар между тем совершенно растерялась. Она стояла, как дитя, как дура, и испытывала в эту минуту сильнейший гнев, почему он еще здесь, на горе, почему не убежал, как она просила его!

Позднее они встретились бы, уже она нашла бы его!

— Ты только посмотри, Марта, как они стоят и беседуют! Ну, наконец-то он прогнал ее, отправил назад, давно пора...

Елена спускается с горы, идет и идет, а Даниэль стоит и следит глазами за нею. Внизу она присоединяется к своему мужу, и чета возвращается к себе домой, в село.

— Что все это значит, господи, боже мой!

Фрекен решительно, вопреки запрещению, тоже пошла в гору. Даниэль увидел ее и тоже пошел ей навстречу.

— Ты еще здесь,— сказала она.— Почему же ты не попытался убежать?

Нет. Даниэль понял невозможность этого плана; поэтому он покачал головою и ничего не ответил. Куда успел бы он добежать, раньше чем его настигли бы? Совсем не далеко, может быть, до какого-нибудь маленького городка; а что стал бы он там делать? А может быть, до Христиании; но что стал бы он там делать? Он понял, что рано или поздно придется ему склонить колени; может быть, сообразил, наконец, глупость всего своего поведения: защищаться винтовкою от закона. Можно понять, что сейчас после преступления, в растерянности, он не придумал ничего лучшего; но когда прошло много времени,

много дней и ночей — нет! Будет с него, теперь он ослабел уже и все пропало. И прежде всего он сбережет деньги фрекен, можно будет прибавить их к другим средствам для выкупа отцовской усадьбы. Когда настанет время, это будет крупная помощь, которой воспользуется, если не он сам, то Юлиус.

Вместе с фрекен направился он домой.

— А ты решаешься идти со мною? — спросила она.

— Да, — уныло ответил он.

— Чего хотела эта женщина... Елена?

— Ее прислали ко мне.

— Это было мучительно. Я каждую минуту ожидала, что ты обнимешь ее.

— Елену? — вскричал он. — Я охотнее всадил бы в нее пару пуль. Она пришла с письмом от пастора. Вот оно, прочти его!

Письмо заключало в себе только несколько слов, маленькое, сердечное письмо: пастор писал, что теперь Даниэлю пора спуститься сверху и покориться, тогда все сложится не так плохо для него, все в руках божих. Он ухудшает свое положение, упорствуя, пуская в ход угрозы и насилие. Пастор сам вызовется быть свидетелем и будет перед властями показывать в его пользу; то же самое многие хотят сделать, бог и люди будут милостивы к нему, он увидит.

— Что ты хочешь сделать? — спросила фрекен.

— Хочу домой, поесть, и поспать, потом они придут за мною.

— Разве они придут за тобою? — шепнула она.

— В три часа, — кивнул он...

Он пришел домой, тотчас же вынул из ружья пули, поел и лег спать. Когда он проснулся, то умылся и надел свое лучшее платье. Поговорил также об одном, о другом с Мартою, о приплоде и о хозяйстве на сэтере на будущее время. Потом пришел ленсман и с ним еще человек.

Фрекен была тут ни при чем, она ходила из кухни в пристройку и из пристройки в кухню, ломала руки и только шептала, шептала; лицо у нее посерело. О, отец небесный, во всем этом ее вина! Даниэль забежал на минутку взглянуть на ребенка, подал обеим женщинам руку и сказал им общее, сердечное прости.

Трое мужчин ушли.

После последних слов Даниэля, фрекен немного приободрилась. Он обратился к Марте и сказал ей:

— Там, в санатории хотят купить быка, но не продавай его раньше поздней осени. Не забудь!

Все могло бы быть хорошо, но не так оно было...

Теперь фрекен могла бы посещать санаторию, сколько угодно, но желания-то никакого не было. Что ей было там делать? Встречаться с теми же самыми пансионерами и больными, с адвокатом, ректором, может быть, с фрекен Эллингсен, может быть, с новобрачными Бертельсеном и его женой, бывшею фру Рубен? О чем она будет говорить с ними со всеми? Флиртовать с молодежью, с этими завитыми головами, с новой Норвегией, испанскими врачами и побившими рекорд в легкой атлетике? Она не легкомысленная женщина. Прежде всего она еще не покончила с этим делом, с законами, судом присяжных. У фрекен было о чем подумать.

К ней обратились по вопросу о теле, о теле господина Флеминга. Его исследовали, вскрыли, все было в порядке, но как быть с похоронами? Следует ли отправить тело в Финляндию?

Она уже думала об этом. О, у фрекен не всегда голова не работает и не всегда она бывала растеряна. Понятно, она хотела бы похоронить несчастного господина Флеминга, денег хватило бы, но смела ли она вмешаться в это? Осторожность приказывала ей держаться в стороне: если бы она уплатила расходы, разве не возник бы вопрос, откуда она взяла деньги? Тот, кто умер, умер, что бы она ни делала.

— Какое я имею отношение к этому? — спросила она посланного и отправила его обратно.

Пусть так. Но вот что было странно: после смерти господина Флеминга не оказалось у него ни шиллинга.

— Какое мне до этого дело! — нервно вскричала она. — Я не мать его. Я и знала-то его мало.

— Нет, нет. Но в таком случае придется похоронить его на государственный счет.

— Почему? — спросила она. — Он оставил достаточно для скромных похорон. Я знаю, что у него было много сундуков, он показывал мне дорогое платье, в жилетном кармане у него было бриллиантовое кольцо, которое стоит, должно быть, очень дорого.

— Нет, — объяснил посланный, — кольцо подвергнуто было экспертизе, оно не настоящее, оно ничего не стоит.

Фрекен:

— Не может быть! — Затем она решительно прибавила: — Да, но платье... справьтесь в санатории...

Подозрение ее, значит, подтвердилось: то был не первый драгоценный перстень; тот он, конечно, продал и вернулся с другим, не имевшим никакой цены. Она летом, при первой же встрече их, сейчас это заметила, — камень не блестел. О, несчастный господин Флеминг, и он съехал вниз!

Судьба пригнула его; он пытался выпрямиться, но его снова придавили. Это заставило ее призадуматься над многим. Скоро лопнет, пожалуй, ее маленькая головка...

Дни шли. Теперь фрекен больше чем прежде помогала Марте в работе и облегчала ей труд всюду, где только могла, она лечилась таким способом. Наступил сенокос. Гельмер приехал однажды утром с машиной и скосил сено, а обе женщины ворошили, сушили его и привезли домой; малютка Юлиус все время лежал на лугу. Фрекен находила, что это вовсе не так плохо, и чтобы делала ее голова без этой работы! Правда, не раз в жизни она скучнее проводила время, чем теперь. Шутки и проказы в Христиании часто бывали хуже, бесцельное шатанье по улицам тоже хуже.

После допросов и суда к ней вернулись хорошее расположение духа и бодрость. Даниэля осудили очень милостиво и справедливо на семь лет принудительных работ. То была милость божья и людская, и фрекен д'Эспар, плакавшая прежде от огорчения, потому что ей не везло, теперь плакала от радости, потому что так повезло. Правда, семь лет принудительных работ это не было особое счастье, но и не гибель и смерть — благодарение и слава господу.

Дни проходили и приносили с собою благодать; Юлиус рос, стал видеть, следил глазами за матерью, улыбался, кричал, сосал и спал. Весь год сменялись потрясающие события, ничего не было прочного вокруг нее, все быстро менялось, она была сдвинута с одной стороны на другую, и судьба ее, в течение года, много раз менялась. Когда она вспоминала прошлое, многие из этих переходов оказались почти стертymi в ее памяти, а события эти происходили как будто давным-давно. В последние дни она почувствовала более твердую почву под ногами, она могла интересоваться тем, чтобы засухо, до наступления дождей, убрать сено.

В санатории не забывали ее, нет. В этом большом доме отдыха и лечебнице она пользовалась сочувствием, и ей послали приглашение. Ее хотели, конечно, развлечь в ее одиночестве, то была наверно идея адвоката Руппрехта,

но записка была подписана Андресеном, бывшим ее начальником.

О чем ей разговаривать с ним? Разве он видел ее, без зуба и с рубцом на подбородке? Разве она сама и ее руки не огрубели от работы?

И прежде всего она стала плоскогрудюю.

Она не пошла.

Но вот однажды она получила счет, счет за последние недели пребывания господина Флеминга в санатории. Да, счет этот был прислан ей, и что же ей следовало теперь делать? Тоже отослать его без околичностей? Но ведь она в некоторой степени ответственна за этот последний счет господина Флеминга: она у него обедала, и они пили дорогое вино.

Она принялась внимательно просматривать счет, изучать его: «бесстыдные цены, подумала она, вымогательство», скупость ее насторожила, она вскипела гневом и, побледнев, пошла к Марте:

— Послушай только, Марта, сколько они там в санатории берут за бутылку вина и обед, двадцать крон! — горячо сказала фрекен д'Эспар. — Правда, то было французское вино, но разве я не знаю, чего стоит французское красное вино! Я, которая родом оттуда.

Марта согласилась с нею, она тоже никогда не слышала ничего подобного: неужели они там могут делать все, что им угодно!

— Нет, — сказала фрекен, — если ты присмотришь немного за Юлиусом, я пойду туда и покончу с этим!

Она немного принарядилась и пошла.

Ей повезло, и она застала директора на большой веранде; он пришел в восторг, громогласно приветствовал ее и сказал:

— Андресен хочет получить разрешение повидаться с вами; ведь он был когда-то вашим шефом, не правда ли? Сюда, фрекен!

Она его остановила:

— Нет, спасибо, я хочу кое-о-чем с вами поговорить. Мне прислали вот этот счет.

Адвокат Руппрехт надел пенснэ и стал читать:

— Ну, что же? — нерешительно сказал он.

Фрекен:

— По вашему распоряжению мне прислали этот счет?

— Ошибка! — сказал адвокат.

— Если хотите, я заплачу за свой обед.

Тогда адвокат закричал:

— О, этого нельзя выдержать, здесь делают так много глупостей. Ошибка, фрекен!

— И я так думала. Потому что, ведь вы могли получить то, что вам следовало, продав его вещи.

— Что касается его вещей... но не будем говорить об этом... вещи его забрали власти. Но... действительно хорошо, что я получил этот счет и могу задержать его, теперь он мой,— сказал он, сунув его к себе в карман.— Но как это вы хоть одну минутку могли допустить, что санатория Торахус может послать его вам!.. Кстати: когда же вы вернетесь к нам и будете жить у нас, фрекен д'Эспар? Нам положительно не достает вас, и мы не будем больше посылать вам сумасшедших счетов, я буду следить за этим. Комната ваша будет готова.

Сердечность эта смягчила фрекен д'Эспар. Ее не легко было обмануть. Конечно, адвокат знал о счете и о том, что он был послан, но этому она и не удивлялась; главное было то, что она сберегла деньги.

— Благодарю вас,— сказала она,— я должна жить там, где живу.

Адвокат:

— Некоторые из ваших друзей здесь; фрекен Эллингсен не приехала, и ректор Оливер уехал, но Бертельсен с супругою здесь,— да, вы, вероятно, не видели еще молодоженов? Фрекен Эллингсен пишет, что она придет попозже, она ведь не может приехать, пока другие здесь... вы понимаете? Но зато приезжает композитор Эйде, вы его знаете, Сельмер Эйде, пианист? Он уже закончил свое музыкальное образование в Париже, и мы счастливы, что к зиме он вернется к нам и будет развлекать наших гостей. Потом у нас новый инженер, спортсмен до мозга костей, новый доктор, его-то вы знаете, новая публика, прекрасные молодые люди. А вы видели, что мы строимся, расширяем помещение? — О, мы сделаем Торахус показательной санаторией! Угадайте, во сколько оценили нашу санаторию в страховом обществе? Вы не угадаете: в сто тысяч! Теперь мы прилагаем все усилия, чтобы провести сюда воду и свет...

Адвокат продолжал болтать и высчитывать; он был занят исключительно этим, но все-таки не забыл послать девушку за Андресеном:

— Вы должны разрешить господину Андресену пови-  
даться с вами, фрекен! Он хотел пойти к вам на сэттер,  
но я не знал, примете ли вы его.



Пришел Андресен. Что ему так действительно нужно было? Хотел снова засадить ее за пишущую машинку?

Толстый, с жидкими волосами, господин, очень бледный и очень тучный, он приехал специально за тем чтобы пить целебную воду Торахуса и пройти курс лечения; на лице у него успели уже повиснуть мешки после того, как он спустил жир. Он был очень любезен, но фрекен хорошо заметила, как его разочаровал ее вид. О, она была далеко не та, что раньше! И вдруг ее словно молния пронзила: ей захотелось домой, к ребенку, к крошке Юлиусу, сейчас же домой!

Он:

— С тех пор, как я приехал сюда, я хотел повидаться с вами.

Она:

— Очень любезно с вашей стороны!

— Хорошо ли вам живется, фрекен д'Эспар? У нас дома, в деле много новых служащих; когда будете в городе, обязательно загляните к нам.

Болтовня, болтовня! Совсем не то бывало в прежние дни, в конторе, когда этот самый господин, под предлогом, что хочет видеть, что она написала, прижимался к ней головою и, как сумасшедший, целовал ее. Нет, теперь ему ничего не нужно было от нее, когда он увидел ее, он охладел. Он держался с достоинством, дал почувствовать, что он ее прежний шеф, и был снисходительно любезен:

— Мне представляется бесконечно далеким то время, когда вы были у нас. Давайте-ка, вспомним: были уже тогда изобретены пишущие машины и стальные перья?

Фрекен очень смеялась этой шутке и поддержала разговор. Но когда он захотел продолжать беседу об этой давно прошедшей жизни у машинки, почти позабытой ею, ей сделалось невыносимо скучно и она нисколько не рассердилась, когда Андресен поднялся, чтобы любезно проститься с нею:

— Не забывайте вашего французского языка, фрекен д'Эспар. Вас заместитель далеко не такой дока в этом, как вы, но у него другие достоинства. Итак, до свидания. Приятно было повидаться с вами и узнать, что вам хорошо живется.

Она не могла избежать еще одной встречи с адвокатом:

— Что ж, господин оптовик наслаждался вполне? Я видел, он был в восхищении. Послушайте, фрекен ведь правда, господин Магнус уехал в Христианию? Но, знаете, он не вернулся. Кажется, уже месяц прошел? Вы последняя

говорили с ним; но здесь был еще кто-то и спрашивал о нем, какая-то дама; кто бы это мог быть? Я ее не видел, но она была здесь два раза, это указывает, что у нее важное дело, она и телефонировала. Я, действительно, не знаю, что нам делать. Как вы думаете?

— Не знаю. Он, наверно, вернется.

— Вы так думаете. Но представьте себе, если бы вы были здесь, вы такая умница, вы уже раз нашли его для нас! А вы не можете так устроиться, чтобы вернуться к нам. Положительно, нам не хватает вас.

Чего добивался он своей назойливостью? Ничего. Он оказывал фрекен и всем другим любезности и ничего при этом не имел в виду, ему хотелось только иметь как можно больше пансионеров, чтобы был полный дом, а в данное время дом был не полон. Нет, у адвоката Руппрехта не было особых видов на нее; он не предполагал обзавестись домом, влюбиться, его одинаково занимала мысль о юноше Сельмере Эйде и об этой молодой даме — может быть, немного больше.

— Остальные друзья ваши, значит, не будут иметь удовольствия видеть вас сегодня? — спросил он. — Господин Бертельсен и его супруга очень будут на меня в претензии за это, непременно рассердятся. Они занимают № 107, в случае, если вы хотите к ним зайти. Ну, что же, не хотите?

№ 107! О, этот директор Руппрехт! Ко всем номерам в санатории он прибавил цифру сто, так что на дверях это выглядело грандиозно.

Если бы Андресен не выказал такого разочарования при виде фрекен д'Эспар, прогулка в санаторию была бы удачна для нее; но это немного оскорбило ее, ей казалось, что всюду будет то же самое. Какова же она будет через семь лет! — О, она должна опять поздороветь и похорошеть, стать очаровательной; нет того, чего она не сделала бы, чтобы снова похорошеть; когда настанет время, она вставит себе зуб на штифте.

А вообще-то прогулка была удачная. Все относились к ней бережно, никто не намекал на то, что она живет в доме убийцы, имени господина Флеминга, никто даже не произнес. И во всяком случае прогулка оправдала себя: она сберегла ей деньги.

Она возвращается назад на сэттер, спешит назад: более, чем когда-либо боится она, что малютка Юлиус, может быть, проснулся и лежит и ждет ее. Этот маленький клопик, он такой миленький, когда берешь его на руки...

На дворе встречает ее Марта и шепчет:

— Здесь чужой.

— Чужой?

— Какой-то мужчина. Он сидит в дровяном сарае и ждет тебя.

— Я никого не знаю. Юлиус не спит?

— Он проснулся, было, я дала ему молока, и он снова уснул...

— Вот этот мужчина! — шепнула Марта.

То был Самоубийца.

— Это вы, господин Магнус! Мы сейчас говорили о вас в санатории, что вас нет, что вы еще не вернулись...

Самоубийца ничего не ответил.

## ГЛАВА XVII

---

Самоубийца имел расстроенный вид, словно он провел несколько дней, не заходя в дом: платье на нем было новое, но в беспорядке, волосы завиты, но в них масса хвойных игл. Ранка его на руке, во всяком случае, зажила.

— Откуда вы? — спросила фрекен.

— Откуда? Что же мне сказать вам? — ответил Самоубийца, оглядываясь. — Никто здесь не слышит нас?

— Никто.

— Я из дому. Я ведь поехал туда, чтобы уладить кое-что, устроить так, чтобы возможно стало жить. Простите, если я навожу на вас тоску! — вдруг сказал Самоубийца.

— Вы вовсе не наводите на меня тоску. Но что с вами? Вы боитесь чего-нибудь?

— Да.

— Не хотите ли зайти?

— Спасибо.

Они зашли в комнатку Марты и уселись там; это словно успокоило его, но он не спускал глаз с окна. Он начал рассказ свой совершенно бестолково:

— Всю ночь пролежал я в лесу, — сказал он, смущенно засмеявшись. Затем он рассказал фрекен, что доктора всегда мелют чепуху, он снова убедился в этом. — О, правда, фрекен, вы столько пережили в последнее время, я прочел об этом в газетах. Сколько здесь вашей вины и сколько виноваты другие? У каждого из нас свой крест, все мы грешны, все люди, все человеки!

Она испугалась, что он, может быть, по-своему обыкновению заведет обычные разглагольствования, и спросила:

— Не правда ли, вы около месяца были в отсутствии?

— Месяц, два, не знаю. Я ведь должен был испробовать новое средство; но подумайте, годился ли я для этого! Жил там, откладывал со дня на день, не мог решиться и ничего не сделал. Значит, нельзя винить средство? — скажете вы. И в известной степени вы будете правы. Но на что же мне средство, которое я не могу применить?

— Какое это средство?

— Трость, разве я не сказал вам?

— Трость...

— Разве я не рассказывал вам о трости? Я теперь ничего не помню, совсем потерял память. Да, доктор расхваливал это новое лекарство, говорил, что оно очень действительно, хорошо излечивает. Но если ты не годишься, чтобы применить его к делу? Вы говорите, два месяца? Ну вот, ходить, значит, два месяца и не решаться и, в конце концов, уехать, ничего не сделав! Кузнец поступил по-другому! Я вам не рассказал о кузнеце?

— Нет.

— Да и нечего рассказывать, просто докторская болтовня. Что это там шевелится? Вы не заметили?

Фрекен взглянула в окно:

— Там, наверно, ничего не было. Но вот что пришло мне в голову, господин Магнус, ели вы что-нибудь, не голодны ли вы?

— Ел ли я? Нет.

Она знала, как он разборчив в еде, но все-таки пошла к Марте и попросила ее приготовить какую-нибудь деревенскую еду, что только можно. Когда она вернулась, Самоубийца рычал, как собака, и глазел в окно.

— Там у опушки леса шевелится куст, — сказал он.

Фрекен:

— Это, конечно, ветер. Чего вы боитесь?

Он не ответил.

Конечно, у человека этого не все были дома, но фрекен д'Эспар не относилась равнодушно к тому, хорошо или худо он чувствовал себя; она не могла забыть, что однажды он, вместе с другим больным человеком, великодушно спас ее и известную пачку денег. Да и впоследствии много раз в тяжелые минуты оказывал ей поддержку несчастный Самоубийца.

— Вы не хотите сказать, что пугает вас, я не знаю, может быть, мы с Мартой что-нибудь посоветовали бы вам.

— Нечего рассказывать; мне следовало спрятаться, а не сидеть тут на виду. Нет. Вам тоже кажется, будто ничего нет? Ну, а представьте себе, что это она за вами гонится?

— Кто?

— Я слышал это на станции. Вчера я приехал, и начальник станции, спросив мою фамилию, сказал, что кто-то приехал с поездом и спрашивает обо мне, затем она пошла к телефону и позвонила в санаторию. Она приехала на два дня раньше меня, и все еще здесь и выслеживает меня.

— А разве вы не желали бы повидаться с нею? — тихо спросила Фрекен.

— Хотел ли бы я? Конечно! — закричал Самоубийца. — Но знаете ли, о чем вы меня спрашиваете: не хочу ли я вновь погрузиться в прежнее; действительно ли я так низко пал, что у меня совсем стыда нет? Да, в этом именно и заключается вопрос. Но хочу ли я ее видеть? Да, конечно, но Фрекен д'Эспар, я жду этого момента день и ночь в течение целых пятнадцати месяцев. Да, но я, видите ли, теперь уже ослабел, я ждал до того, что опустился и ни на что не могу решиться, она слишком долго тянула.

Молчание.

Фрекен:

— А, может быть, вам все-таки лучше всего было бы повидаться с нею?

— Разве это не мило, — продолжал Самоубийца, — можно ли придумать что-нибудь более грубое, более нахальное? Явиться после пятнадцати месяцев молчания, не написав ни слова, не прислав поздравления к Рождеству! И явиться лично, среди белого дня, при солнечном свете, приехать на поезде!

— Ей легче было приехать, чем написать.

— Она осаждает санаторию, я не могу пройти в свою комнату и чувствовать себя спокойно там.

— Не знаю, господин Магнус, но мне кажется, вы должны были бы поговорить с нею.

— Никогда! — закричал он. — Так вы думаете? Никогда! Я уже сказал.

Несчастный Самоубийца приблизился, наконец, к тому, чего желал, и... отступил. Можно ли придумать что-нибудь более насмешливо-злое: за ним гналось то, к чему он

чувствовал страстное влечение, бежало следом за ним, и теперь он убегал от него. Почему не прекратил он всего этого, не уехал в Австралию? Он снова не был мужчиною, он был просто молью, кружащейся вокруг свечки. Занят был он только этим одним, только и знал, что создавать себе страдания; жизнь он видел только через эту щель, больше он ничего не видел, но это было, может быть, не так мало. Рассматриваемая в эту щель, жизнь становилась сильной, отчетливой, требовательной.

Вошла Марта с подносом. У Самоубийцы появилось испуганное выражение на лице, и, казалося, он не дожидется момента, чтобы приступить к еде.

— Я причиняю вам слишком много хлопот,— с несчастным видом сказал он.

Фрекен:

— Какой это был куст? Пока вы едите я буду следить за ним.

Он указал на шевелившийся куст.

— Надо иметь наблюдение не только за этим кустом,— сказал он,— но за целым лесом, за всей лесной опушкой, там пролегал тропинка для скота.— И он сейчас же принялся за еду. Он ел быстро и с увлечением, съел несколько горячих яиц, хлеба, вафли и масло и выпил много молока. За несколько дней он ел, вероятно, в первый раз.

Фрекен все смотрит в окно. Конечно, она хорошо видит то, что шевелится там: она видит также, как дама оттуда маленькими шажками приближается к строениям, идет робко, немного покачиваясь: у нее перо на шляпе и на нее накинут широкий плащ, застегнутый до самого низу. Дама подходит очень близко, и фрекен не мешает ей, не без некоторого любопытства.

— Спасибо,— говорит Самоубийца, вставая.— Это самая лучшая еда, которую я когда-либо ел в горах. Подумайте, вафли!

Фрекен:

— Сядьте там, где вы сидели, и закурите трубку.

— У меня нет трубки, мне нечего курить. Как, собственно, вы чувствуете себя, фрекен д'Эспар? Бодры?

— Да,— ответила она,— бодрa, не могу сказать ничего другого.

— Вы избрали благую участь, оставив санаторию.

— Не знаю,— и чтобы сказать что-нибудь и этим выиграть время, она продолжала:— Они все строятся в санатории.

— Да, а мы умираем там!

Фрекен кивнула:

— Да, там было много смертных случаев.

— Один за другим, я прямо счет потерял. Ах, смерть чистит нас, мы непригодны к жизни: сапоги, которые мы носим, велики для нас, и мы спотыкаемся в них.

Вдруг Марта открыла дверь и вызвала Фрекен; во время ее отсутствия Самоубийца снова занял свое место у окна. Теперь он стал спокойнее, еда на него хорошо подействовала, у него память прояснилась, и он помнит, что нужно положить на поднос деньги для Марты. Он снова стал оглядывать лес своими зоркими глазами.

Вернулась Фрекен д'Эспар и сказала:

— Они здесь!

— Что!..

Самоубийца разом понял, кто пришел, и вскричал:

— Здесь вот, на дворе. Марта говорила с нею. Она, верно, пришла другою дорогою, тою, которая ведет в санаторию.

Самоубийца в восторге и говорит:

— Хорошо, пустите ее! Пусть она войдет, я, видит бог!..

Входит дама в белом плаще, с большим страусовым пером на шляпе. Это молодая шатенка, у нее красивая походка и открытое лицо: только два передних зуба некрасиво поставлены у нее: один немного закрывает другой. В дверях она останавливается и ничего не говорит, но губы у нее ходуном ходят.

На стене висели маленькие часы с маятником и медной цепочкой. Самоубийца вдруг схватил их, желая вытянуть с хриплым звуком маятник... ну, да, среди бела дня и в чужом доме. Потом он наполовину обернулся и посмотрел на нее...

— Это ты? — сказал он, но затем снова повернулся к часам, словно он не сделал еще всего, что нужно было. Он сказал: — Как я вижу, часы эти неверно идут! — после чего оставил их и пошел к окну, теребя рукою подбородок, словно у него была борода. — Дома все в порядке? — спросил он, оставаясь все еще нервным и нерешительным. — Почему ты не снимешь плаща и не сядешь, вот ведь скамейка?

— Мне холодно, — ответила она и села, не раздеваясь.

Он:

— Она жива, малютка, то есть, я спрашиваю, жива ли она?

- Да, она жива, она здорова и говорит уже по-своему.  
Да, она жива...
- Говорит... возможно ли это?
- Да, говорит, лепечет.
- Как ее имя?
- Леонора. Ее называли так в честь тебя.
- Вздор! Ты могла бы выдумать что-нибудь другое,—  
сказал он, покраснев до макушки.
- Она молчала.
- Я говорю, ты могла бы выдумать что-нибудь другое.
- Да,— только и отвечает она. О, она так смиренна,  
но может, тем не менее, обвести его вокруг пальца.
- В своем большом замешательстве он продолжает бол-  
тать:
- Леонора, гм, загадочное имя. И ты хочешь убедить  
меня, что она говорит?
- Она так развита...
- Да, да, да. У меня есть о чем подумать, а это мне  
безразлично. Но — Леонора!.. Где ты здесь живешь? —  
неожиданно спросил он.
- Я живу на базарной площади, там я ночь провела.
- Ты провела там две ночи.
- Может быть, две... Я... да, теперь я вспомнила, две  
ночи.
- Почему ты не живешь в санатории?
- Она почти неслышно:
- Да... спасибо!
- Удивительная выдумка, заехать куда-то к лавочни-  
кам, в такую дыру. Ты, значит, спала на одной кровати  
с девушкой?
- Нет, на кушетке. Мне сделали постель на кушетке.
- Никогда не слышал я такой глупости! А ведь ты  
всегда боялась за свое здоровье,— сказал он, думая, что  
он очень ядовит.— Может быть, ты и не ела?
- Сегодня не ела, но это неважно.
- Да,— разозлился он,— неважно. Да-а! Ну, а вече-  
ром, смею спросить, ты ела?
- Да.
- Слава богу! Но с того времени все-таки уже восемь  
часов. Да, часы слишком спешат, но чтобы не есть почти  
сутки... да, на это нужен разум! Вставай-ка поскорее,  
пойдем в санаторию и возьмем тебе поесть. Там сейчас  
обед.



Они вышли из каморки, и Самоубийца придал себе суровый и мужественный вид, но в действительности был слаб и труслив. Он сказал Марте:

— Жена моя боится быка; он на свободе?

— Да,— ответила Марта,— но сейчас он в горах, далеко отсюда.

— Фрекен д'Эспар дома?

— Она в пристройке.

— Передайте ей привет.

Они пошли в санаторию; дорогой они немного беседовали, но все-таки перемолвились о том, и о другом, были заданы вопросы, получены ответы. Она робко спросила его:

— Ты был в Христиании с неделю тому назад?

— Почему ты знаешь?

— Некоторым казалось, что они видели тебя; девушка наша...

— Я там был и купил вот это платье, если хочешь знать.

— Да.

— Ну, так что же? — раздражительно спросил он.

— Ничего.

— Ты, конечно, узнав, что я был в городе, выходила и разыскивала меня?

— Да, разыскивала.

— Ха-ха-ха! — расхохотался Самоубийца.

— Да, Леонард, разыскивала. В течение двух дней. И в гостиницах справлялась.

— О, да перестань вздор нести! Что я хотел сказать?...

Самоубийца сделал вид, словно вспоминает что-то, но, конечно, он ничего не забыл, он просто хотел стать немного хладнокровнее.

Они пришли в санаторию, там они никого не встретили; Самоубийца знал все порядки там и понял, что те немногие живущие там в настоящее время пансионеры в столовой.

Он позвонил в коридоре и попросил девушку, чтобы она указала его жене комнату.

В эту минуту из столовой вышел адвокат; он всплеснул руками, приветствуя их:

— А я слышу, что звонят, и вышел, чтобы посмотреть, кто это. Добро пожаловать опять к нам, господин Магнус! Долго же вас не было! А это, конечно, ваша супруга? Добро пожаловать, фру! Приготовьте № 106 для фру Магнус,— сказал он девушке. И обратившись к Самоубийце, он объяснил: — Это этажом ниже вас, но вас сейчас

же можно перевести в № 105, это совершенно одинаковые комнаты. А обедали вы, господа?

Самоубийца:

— Нет. И жена моя очень голодна.

— Пойдемте же, дорогая, мы только что сели за стол. О, вы так хороши, сударыня; сейчас у нас немного публики, но скоро понаедут. Вы, может быть, хотите снять плащ и шляпу? Нет?

— Нет. Жена моя озябла,— сказал Самоубийца.

— Да, тут, на горе, уже становится свежо, осень наступает; здесь воздух лучше всякого лекарства, но мы и одеваться должны соответственно с этим. Сюда пожалуйте!

Адвокат ввел чету в столовую. У него был счастливый вид, он привел с собою гостей. Правда, их было только двое, но тем не менее они увеличили маленькое общество, сидевшее за столом.

После обеда Самоубийца послал на базарную площадь за чемоданом своей жены. Адвокат опять очутился тут же и сказал:

— Я приказал девушке принести вам кофе в комнату вашей супруги. Надеюсь, я правильно поступил?

Самоубийца не ответил. Прежде всего он не желал чересчур тесного сближения; может быть, ему казалось, что он и так слишком много сделал в этом направлении. Когда адвокат спросил его, не принести ли сейчас же его вещи в № 105, он ответил коротким «нет».

Адвокат взглянул на него.

— Я останусь наверху,— сказал Самоубийца.— Жена моя должна вернуться домой, она скоро уедет.

Адвокат:

— Это меня очень разочаровывает. О, сударыня, в таком случае нам вдвойне важно, чтобы вы чувствовали себя приятно у нас в то короткое время, пока будете здесь. Сам я, к сожалению, должен уехать в город по своим делам, но я распоряжусь.

В комнате фру Магнус была спущена штора. Самоубийца быстрыми шагами подошел к окну и поднял штору.

— Они, вероятно, думают, что ты не переносишь солнца,— проворчал он.— Да что с тобою? Ты сказала, что озябла. Ты не больна ли?

— Нет, меня только знобит немного, это пустяки.

— Да, в горы не приезжают в шелковых чулках и тонких башмачках.

Он наскоро выпил кофе и сказал:

— Ты две ночи спала на кушетке, и поэтому тебе хорошо поспать немного после обеда. Как я подумаю, то мне кажется, что ты три ночи провела так, а не две.

— Не помню, может быть, три.

Он покачал головою и сказал на прощанье:

— А теперь разденься и ляг.

Она закашляла вслед ему, так что он вынужден был обернуться.

— Нет, ничего,— сказала она,— только не сердись на меня, в последний раз прости меня!

— Опять тот же вздор! — вскричал он.— Прости и прости!

— Он уехал,— сказала она.

— Уехал? — он отлично понял, на кого она намекала, и ответил насмешливо: — Как печально! Подумайте, уехал!

— Нет, несколько не печально, я выгнала его.

— Ха-ха-ха! — расхохотался Самоубийца.

— Да, я выгнала его, и уже много месяцев тому назад. Давно уже хотела рассказать тебе это, но...

— Но не хотела порадовать меня этим известием?

— Я боялась.

— Правда? В тебе было столько стыда и порядочности, что ты боялась?

— Да, да, боялась. Я написала тебе сотни писем, но ни одного из них не отправила...

— О, боже, какое это вранье! — вспыхнул он.— Я послал тебе к рождеству открытку, а ты даже и на это не ответила!

— Нет, не вранье, а правда! Но тогда я была еще очень расстроена и не могла собраться с мыслями, ведь уже восемь месяцев прошло после рождества. Но также прошло много месяцев с тех пор, как я прогнала его.

— Куда ты прогнала его?

— Не знаю. Он уехал, и с тех пор я его не видела. То было летом, он, пожалуй, в Америке. Я хотела бы, чтобы он умер.

— Ха-ха-ха! — снова засмеялся Самоубийца.

— Да, чтобы он умер и лежал бы глубоко в земле!

— Почему же это? Любимый человек, жених твой в юности и все такое!

— Мы должны были пожениться,— сказала она.— Да, так мы условились. Я хотела просить тебя о разводе, и тогда мы должны были обвенчаться. Так было условлено...

— Ничего не хочу больше слышать! — внезапно перебил Самоубийца.

— Он обманул меня.

— Говорю тебе, что ничего больше слышать не хочу!

— Не надо,— ответила она и покорно умолкла.

— А теперь извини, я уйду,— сказал он. Удивительно: он не был ни возбужден, ни озлоблен. Сообщение о том, что известная личность уехала, не повлияло неприятно на него. Уже в дверях он обернулся и сказал:

— Советую тебе прилечь на часок. Не упрямясь.

Она не стала упрямяться и, как только он вышел, постелила постель.

Самоубийце было о чем поразмыслить, и он отправился в свою комнату. Здесь ничего не переменялось, стало только несколько пыльнее: в его отсутствие в комнате не прибирали; его считали чудаком, не выносившим уборки, и девушки уважали его нелюбовь к уборке. Он выглянул в окно: один из флигелей был расширен вдвое и, кроме того, к нему пристроили целый этаж; плотники с превеликим шумом пилили, рубили, вколачивали гвозди. Далеко, с воды, доносились звуки взрывов. Все это, впрочем, его не касалось.

Пятнадцать месяцев комната эта была его жилищем; он может показать ей это, пусть придет наверх и взглянет, как уютно ему жилось. Он не слышал еще, чтобы она пожалела его, что с ним скверно обращались, ни слова не слышал он. Чего ей собственно надо было здесь? Попросить опять в последний раз прощения? Самоубийца покряхтел, словно чувствовал вечное утомление, и надоела ему эта сентиментальность; он делал вид, будто все это не нравилось ему, но наверно был бы более недоволен, если бы она не просила прощения. Разве его ушам мучительно было слушать ее мольбы? Казалось, да, решительно да! Кроме того, он устал, обсуждая все это, да еще и спать хотел, он тоже плохо спал эту ночь; ведь он провел ее в лесу...

Проснулся он, странное дело, не от взрывов и не от шума, производимого плотниками, а от гораздо более слабого звука: он слышал, что в усадьбу въехала повозка и кто-то останавливал лошадь.

Он подошел к окну, раскрыл его: он увидел глубоко внизу того, кто приехал, и сейчас же узнал: то была фрекен Эллингсен, вылезавшая из повозки. Что ей надо здесь снова? Это совершенно не касалось его, но ведь приехала она с какой-то целью. Все приезжают сюда, ходят, ползают, спешат туда и сюда, у всех дела, все хлопочут о своем благе и о своей судьбе. А к чему все это?

Он озяб и вздрогнул, было уже поздно; в глубоко подавленном настроении спустился он с лестницы и остановился около комнаты своей жены. Спит она еще? Он услышал плач изнутри и внезапно пошел туда.

Он притворился изумленным:

— В чем дело?..

— Прости,— сказала она,— я сейчас...

— Что сейчас? Лежи, если хочешь, тебе могут сюда принести поесть. Ты не спала?

— Конечно... нет, не знаю...— она, видимо, искала подходящего ответа и не находила его.— Да,— решила она, наконец,— сначала я действительно уснула и спала довольно долго. Хорошо было спать. А ты?

— Я! — фыркнул он.

— Да, Леонард, тебе необходимо поспать, ты так измучен, я это знаю...

— Не будем говорить обо мне!

— Вот как. Нет, нет... Но ты поседел, я лежала и думала об этом...

— Не будем говорить обо мне, слышишь! — загремел Самоубийца.

— Не будем.

Если ему было так неприятно, что его пожалели, почему же он был тронут этим и утратил свою твердость? Всем существом его овладело какое-то глупое умиление. Чем объяснить, что раньше она не выказывала ему участия? Может быть, не смела, бог знает. Про себя он сам извинил ее, если то была забывчивость с ее стороны, настолько она была простительна. Но, с другой стороны, не мог же он быть тряпкой, улыбаться, совсем соглашаться. Об этом и говорить нечего!

Следующими своими словами она крайне удивила его:

— Я понимаю, почему ты не хочешь переехать в комнату рядом со мною.

— Понимаешь... Что ты понимаешь?

— Да то, что ты не хочешь. Я этому не удивлюсь, я так подурнела.

Он, ничего не понимая:

— Подурнела? Ты находишь, что ты подурнела?

— Ты увидел, как я изменилась,— сказала она.

Тогда что-то словно блеснуло у него в голове и с ним произошло то, что с нею не произошло: он покраснел и потупился.

Никто не говорил больше.

Он метнулся к окну и выглянул в него.

— Адвокат снова уезжает,— пробормотал он дрожащим голосом.— Гм. Я вижу, он поедет на обратных лошадях фрекен Эллингсен, которая сегодня приехала. Да, в этот раз он долго прожил здесь. Доктор тоже там внизу. Гм. Мне собственно следовало бы поговорить с доктором, прибыло письмо от Мосса, от Антона Мосса, а ведь доктор читает его письма. Что я хотел сказать?..

Продолжительное молчание.

Затем он повернулся и подошел снова к ней.

— Чего же ты хочешь от меня после этого? — совершенно спокойно спросил он.— Чего ради ты приехала?

— Так...— только ответила она и покачала головою.

— Я не... то есть, за чем-нибудь да приехала же ты?

— О, нет. Но ты ведь хочешь развода, это само собою разумеется.

— Да, мы можем развестись. Вот адвокат уезжает. Конечно, можем. Об этом надо подумать. Какой у нас день сегодня?

Они нахмурили лоб и оба стали вспоминать; наконец он сказал:

— О, да это все равно!

Может быть, и в самом деле было все равно, он вовсе не желал этого знать, просто это сорвалось у него с языка. Незавидно было его положение.

Но, может быть, и ее тоже.

Вот знакомая тропинка, ведущая к «Вышке». Вот можжевельник, вот белая каменная плита, а вот и пропасть; все как прежде. Он, собственно, не подавлен, ничего неожиданного, строго говоря, не случилось; дело только в том, что оно случилось. И теперь, после катастрофы, она нашла своевременным разводиться. Прекрасно. Но как же будет с ребенком, с малюткой Леонорой? Она уже говорит все, так умна, наверно, давно уже ходит, умеет еще прыгать, маленькие башмачки у нее на ножках, платьице... хе-хе, странное что-то. И, верно, уже говорит «папа и мама». Гм. Пусть так! Вот, почему мы приехали, почему носим плащ, мы так изменились! Снова все перестало быть приятным. О, где найти нам приют, где скрыть лицо свое! И Леонора вовсе не говорит «папа», вздор! Как ей было научиться этому. Полно превращать нас в болванов. Все это, значит, вовсе не так мило. Мечты! А между тем... между тем...

А вот она идет, вот она! Так красиво ходит; колеблющаяся немного, красявая походка, большая шляпа, маленькие башмачки, перчатки... осторожнее около оврага,

это не для дам... браво! Она легко справляется с оврагом, перескакивает через него, как она очаровательна! Как же встретить ее? Сидеть здесь на «Вышке», высоко на гребне горы, и смотреть на нее сверху вниз? Глупости! Пока она тут, мы не будем сгибаться, будем ждать, а после видно будет. При ближайшем рассмотрении дело вовсе не так бессовестно: она не заманивала его, когда ей нужно было, наоборот,— с величайшей беспечностью пропустила много времени, пока приехала: это делает всю историю менее постыдной, менее бесчестной, этого отрицать нельзя. Что же касается самого дела, любовных отношений, то ничего нет удивительного, что она уступила, раз ей был обещан брак. Надо посмотреть всем обстоятельствам прямо в лицо...

Он крикнул ей навстречу:

— Зачем ты идешь сюда, на гору, в тонких башмаках?

— Я иду по поручению,— ответила она, чтобы сразу же обезоружить его.— Я встретила доктора, и он просил меня передать тебе, что получено письмо на твое имя.

Она взяла на себя это поручение, он знал ведь о письме.

— Это письмо от Мосса,— сказал он,— дело не к спеху.

— Это место твоих обычных прогулок? — спросила она.

— Да, я сюда хожу.

— Приятно видеть место, где ты хорошо себя чувствуешь,— сказала она и с интересом оглянулась вокруг.— Ты сидишь на этом камне?

— Да, я сижу здесь.

— Здесь ты сидишь и оглядываешь окрестности. Да?

Он:

— Ты, значит, не спала?

— Нет, спала. Но вдруг почувствовала себя такой одинокой. И потом в соседнем номере были разговоры и болтовня.

— В 107? Это у Бертельсена. Он всегда останавливается в 107! Некий Бертельсен.

— Я подумала, не поехать ли мне домой и не вернуться ли сюда, к тебе, вместе с Леонорой?

— Сюда?

— Нет, может быть, и нет. Но поехать к нам и взглянуть на нее ты ведь не хочешь? И ты так долго одиноко жил, не знаю, было ли бы тебе приятно ее общество.

— Мы всегда можем подумать об этом. Не хочешь ли присесть и отдохнуть?

— Хорошо... Спасибо.

Полное смирение. Что и произвело на него свое действие; твердость его смягчилась, он стал уступчивее и спросил:

— Что тебе пришло в голову? Ты, значит, хотела приехать с ребенком сюда и жить здесь?

— Нет, не я. Боже сохрани, я так много и не воображала.

— Не мог же я один быть с нею?

— Я о себе не думала, совсем не думала в этом направлении. Нет.

— Здесь и место неподходящее,— сказал он, и в нем проснулось его старое недовольство этим местом.— Здесь вечная недостача мяса, мы живем форелями и консервами, а ребенок умер бы от плохого питания.

— Я не знаю, что надо делать, ты сам должен это сказать.

— Я сказал, что мы подумаем об этом,— ответил он, вставая.— Однако, здесь дует, для тебя становится холодно, вернемся в санаторию.

— Я не озябла, у меня такой толстый плащ.

— Вставай! Здесь горный ветер, ты этого не понимаешь.

Она поднялась с места задолго до того, как он закончил говорить и по-прежнему была вся послушание. Они стали спускаться вниз. У оврага он протянул ей руку и помог ей перешагнуть через него; если бы действительно он хотел оказать ей помощь, он должен был бы протянуть ей обе руки и прижать ее к себе. Но и то, что он сделал, было больше, чем она ожидала, и у нее ноги подкосились. Когда она перешагнула через овраг, у нее ослабели колени, и она опустилась на землю.

— Да отдохни немного,— сказал он.

— Нет, это не то. Я просто в отчаянии. Вот ты гуляешь со мною и так мил и добр... о, если бы я была такая, как раньше была, если бы приехала такую, какую я была прежде; но я так подурнела, так изменилась. И причинила тебе столько зла...

Он:

— Болтовня! Темнеет уже, пойдем вниз.

Ужин им подали в комнату. По-прежнему в 107 номере были гости и смех.

Она спросила:

— Уехать мне завтра рано утром?

— И ты спрашиваешь об этом меня!

— Да, ты должен сказать.

— Нет,— коротко ответил он.



— Когда уходит утренний поезд?

— Ужасно рано, ты должна встать в четыре часа. Мне кажется, в этом никакого смысла нет.

— Конечно, нет... Спасибо!

Они поговорили еще немного, оба успокоились, и он дал ей понять, что даже неудобно ехать одной в поезде. Не то чтобы он предложил ее проводить домой, но выходило так, словно ничего невозможного в этом не было. Когда он пожелал ей спокойной ночи, лед, казалось, слегка растаял, он посмотрел на стену и сказал:

— Да, да... завтра мы увидимся.

Она схватила его руку и поблагодарила его, горячо поблагодарила за сегодняшний день; она дрожала, и когда он спросил, не знобит ли ее, ответила:

— Да.

— Это твоя прогулка на «Вышку». Ложись сейчас же, тебе надо уснуть.

Она сию же минуту начала расстегиваться и, пока он подошел к двери, сняла с себя плащ. Он немного удивился и остановился на минутку.

— Я делаю так, как ты сказал,— поспешила она объяснить ему; она озябла и зубы у нее стучали, а она все расстегивалась и расстегивалась...

Тут он совсем остановился. Его удивило, что она не пополнела, она была, как раньше; почему же она все время не снимала плаща?

— Правильно, разденься и ляг, тогда ты согреешься,— сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

Она послушно стала раздеваться, возилась с одеждой, стаскивала ее и аккуратно складывала на стуле.

Он спросил в величайшем изумлении:

— Но... почему же ты день целый не снимала плаща?

— Плаща? Мне холодно,— ответила она.— Это верно горный воздух, как ты сам сказал. Разве ты хотел бы, чтобы я сняла его?

— Нет, почему же, но...

— Нет,— сказала и она, покачав головою.— В общем я так изменилась, для меня теперь как раз подходит такой бабий плащ. Это все равно.

— Чем изменилась?

— О, боже, неужели ты не замечаешь? У меня стала противная кожа и плоская грудь, прямо висит у меня грудь.— Вдруг она взглянула на него большими глазами и спросила:

— А ты что думал?

— Я? Ничего.

— Ты глядишь на меня удивленными глазами. Скажи, что ты думал?

— Я не видел в тебе никакой перемены,— сказал он.

— А, понимаю! — вырвалось у нее.— Ты думал, что я принуждена к этому... да, что я должна кое-что скрывать под плащом.

— Но ведь это не так.

— Нет, нет и нет! Но ты думал это. И это, во всяком случае, было скверно с твоей стороны. Я, из-за которой ты ушел из дому...

— Ну, теперь ложись! — приказал он, откинул одеяло и уложил ее.

Но не успел он ее закутать, как она резким движением опять села в кровати:

— Нет, Леонард, я была влюблена, легкомысленна и глупа, и вино тогда пила, но с тех пор не делала этого. И я не была такая скверная, как ты думаешь.

— Я говорю, что ты должна лечь,— смущенно и жалобно, снова укладывая ее, сказал он. В нем загорелась большая радость; он снова получил ее, она снова была его; ему захотелось и ей сделать что-нибудь приятное, и он сказал: — Я посижу здесь, пока ты уснешь.

— Да? Ты сделаешь это? — ответила она и снова поблагодарила его; для нее, казалось, это был настоящий подарок.

— Но в таком случае разбуди меня, когда надо будет закрыть дверь.

Он подумал: конечно, придется ее разбудить. Но как жалко будет будить ее, как только она заснет, ей так нужен сон! А что, если бы он запер дверь снаружи, а ключ взял бы с собою?

— Хорошо! — с благодарностью согласилась она и пожала ему руку, желая спокойной ночи.

— Завтра я раненько отопру дверь,— пообещал он...

Когда она уснула, он с бесконечными предосторожностями выкрался из комнаты, запер дверь и взял ключ с собою. Он был в восторженном настроении, поднялся по лестнице, вышел на большую веранду и снова обошел всю усадьбу. Он улыбался и говорил про себя всякий вздор. В сущности, редкость, чтобы в этом мире пришлось кому-нибудь испытать столько счастья.

Тут он заметил, что вечер был сырой, поднялся туман, в воздухе пахло осенью, звезды стали маленькими и словно

озлобленными. Что бы это значило? Иногда и звезды имеют озлобленный вид, не всегда у них кроткое выражение.

У доктора в приемной свет. Заглянуть к нему разве туда и послушать, что пишет Мосс. Не потому, чтобы это интересовало его, письмо Мосса стало теперь для него вещью второстепенною, но в своем приподнятом настроении он мог позволить своему старому приятелю позлобствовать и поехидничать еще разок. Пусть его!

Мосс писал сам, ровными, правильными строчками, красивыми буквами, со знаками препинания; казалось, что к нему вполне вернулось зрение. Он писал, что совершенно излечился от экземы и уезжает домой. Он был бы очень рад, если бы встретил в Христиании Самоубийцу Магнуса таким же вполне выздоровевшим, как и он сам!

— Эту радость я ему доставлю, — сказал Самоубийца. — Я розыщу его, когда приеду домой.

Доктор:

— Разве вы уезжаете домой?

— Да. Завтра.

Доктор и намека не сделал на их предыдущую беседу; он щадил Самоубийцу, не упоминал об его жене, не дал ему понять, что он кое-что помнит. Он сказал:

— Многое свершилось с того времени, как вы покинули нас, крупные события, убийство.

Самоубийца ничего не ответил.

— Знали вы лично действующих лиц этой драмы?

— Обратимся к Моссу, — сказал Самоубийца. — Вот вам радостное событие.

Доктор сказал задумчиво:

— Не знаю.

— Вы не знаете?

— Не думаю, чтобы вы разыскали его в Христиании.

— Почему же нет?

— Потому что его, наверно, нет там, — ответил доктор.

Самоубийца, смущенный:

— Уф!.. теперь все уже могло бы пойти хорошо! А вы заставляете меня снова сомневаться. Почему всегда должно примешаться что-нибудь скверное?

Теперь уже доктор молчал.

— Почему вы не отвечаете? — спросил Самоубийца.

Доктор, улыбаясь:

— Потому что не знаю этого, конечно. Скажите, господин Магнус, как по-вашему: добро и зло понятия относительные?

— Нет,— вскричал Самоубийца,— абсолютные понятия, их осязать можно.

— Хорошо, пусть так. У вашего друга Мосса улучшилось зрение, и это уже много.

— Значит, это была не экзема?

— По всем вероятностям, не экзема.

Самоубийца встал:

— Вы привели меня в жуткое настроение, доктор, и я должен уже идти. То есть именно сегодня вечером я не хочу больше думать об этих вещах.

Больше они не беседовали; не было веселой болтовни, доктор не предложил грога.

— Спокойной ночи! — сказал Самоубийца.

Он вернулся на большую веранду. Поразительно, до чего жутким и тяжелым стал воздух! С «Вышки» тянуло холодом, туман был словно в нерешительности; впрочем, он скоро в путь отправится, потому что поднялся ветер. Около флигеля, где жила прислуга, Самоубийца заметил свет: какой-то человек ходил там с зажженным фонарем. В тумане виднелось маленькое, круглое световое пятно, фонарь не мог почти ничего освещать, только самого себя. Все это имело неестественный вид.

Он пошел туда и узнал почтальона.

— Вы ищете что-нибудь?

Почтальон:

— Не говорите об этом!

— Что вы потеряли?

— Я потерял пять крон. Я вышел на минутку, и, должно быть, обронил эту бумажку. А теперь поднялся ветер и, чего доброго, унесет ее. Целых пять крон!

— Не ходите без шапки в эту страшную погоду и не ищите такой дряни. Вот вам пять крон.

— Неужели это мне?

— Вам. Вы привозили мне много писем и открыток, а завтра я уезжаю уже домой.

Он обрадовал бедняка и в приподнятом настроении ушел от него. На него всегда очень влияли холод и внешняя жуть, но сегодня вечером он не намеревался поддаться им. На «Вышке» уже свистел ветер, стало холодно, но ясно,— туман разорванными клочьями исчезал в лесу. Не должно стать жутко, он этого не хочет! Упрямо застегнул он пальто и стоит, заложив руки в карманы брюк, и смотрит на уплывающий туман, это занятно и интересно, плоскогорье начисто выметается, постройки санатории снова стали

видны. Что же все это значит? Будет буря? Может быть, буря.

В доме все заперто; только в 107 еще свет, и тут вдруг Бертельсен глупо раскрывает окно и кричит ему вниз, чтобы он пришел наверх:

— Пожалуйста, выпейте с нами стаканчик!

Самоубийца не отвечает. Очень мило, что этот полупьяный человек стоит там и будит своим криком других! Что если она разбужена и больше не уснет?

По пути он останавливается у двери своей жены, долго стоит там и прислушивается. Нет, слава богу, все тихо; о, она была смертельна утомлена.

— Спокойной ночи! — шепчет он и поднимается вверх по лестнице в свою комнату. Он тоже устал.

Таков был конец этого знаменательного дня. И все могло бы быть хорошо, но дорогу пересекла смерть.

## ГЛАВА XVIII

---

Отъезд адвоката был очень некстати; при нем, конечно, все было бы в порядке.

Бертельсен кутил. Сейчас же после обеда он принялся за вино, пригласил к себе фрекен Эллингсен и хотел разыгрывать *grand seigneur*'а в отношении к ней, хотел быть тем же, чем и прежде был, даже больше, чем прежде, пить за ее здоровье, ухаживать за нею.

И она, с своей стороны, тоже не могла, конечно, отстать, а должна была держаться свободно и с достоинством при этой неприятной встрече. Фру Бертельсен, бывшая фру Рубен, не смотрела на это трагически; для этого она была слишком умна, слишком дельная голова сидела у нее на плечах, когда она этого желала. Отношения с Бертельсеном были у нее не особенно налажены, это была, пожалуй, не самая большая удача в ее жизни; но она не пала духом, была та же, что всегда, и свое-то состояние было у нее в порядке.

О, это состояние! Один бог знает, не было ли уже покушений на него.

Кроме фрекен Эллингсен и Бертельсена с супругою еще четвертая особа принимала участие в банкете, вдова уездного судьи, или что-то в этом роде, секретарь известного предприятия со скатертью. Ее пригласили для того, чтобы занять четвертый стул и пополнить число, и она сама отлично понимала это. Сначала она хотела

заставить ценить себя и принялась расхваливать хороший вид фру Бертельсен, но это было ни к чему, и хозяйка отвечала только: «Правда». Фру Бертельсен сама знала, каков ее внешний вид: он был ни то, ни се: она снова ела понемногу и осторожно, так что очень пополнеть не могла, но этого было достаточно, чтобы поддерживать здоровье. Красок и миловидности, конечно, уже не было, но у фру Бертельсен оставались во всяком случае ее чудные глаза, которых нельзя было сравнить ни с чьими глазами.

— Да,— сказала вдова,— прямо удивительно, какой у вас хороший вид, фру Бертельсен. Я помню, как вы выглядели в первое время, в прошлом, значит, году...

Но опять фру Бертельсен сказала:

— Правда.

После этого вдова стала держаться очень скромно и молчаливо в этом богатом обществе и только не сводила глаз с губ фру Бертельсен.

Фрекен Эллингсен не оказывала, наоборот, особого внимания фру Бертельсен; ей, вероятно, незачем это было. У фрекен было на уме свое и, когда она выпила немного вина, она без всякого повода стала говорить о своей книге, об этом сборнике фельетонов, который должен был выйти в свет к рождеству. Она, наконец, получила отпуск, чтобы закончить его.

Бертельсен уже достаточно часто слышал о сборнике, но дамы из вежливости спросили, как будет заглавие сборника.

— «Крик среди ночи»,— ответила фрекен Эллингсен.

— Подумайте!

Она еще не выбрала издательства, но знала какого объема будет книга, и содержание было целиком уже у нее в голове.

— Как это вы можете написать книгу, как это вы можете сделать! — сказали дамы.

— Это все говорят,— ответила фрекен.— Но к этому нужно призвание. Оно само собой снисходит на меня, мне не стоит почти никаких усилий обработать материал. Хотите для примера послушать, что я пережила теперь в поездке?

— Да,— сказали дамы,— и — за ваше здоровье — фрекен Эллингсен! — сказал Бертельсен.

— Да, против меня на скамейке сидел какой-то мужчина, я узнала бы его в громадной толпе, такое он произвел на меня впечатление. Он делал все левой рукою.

— Ну! — с удивлением спросили дамы.

— Левой рукой! — твердо установила фрекен.

— А разве это такой редкий случай?

— Этот мужчина,— сказала фрекен,— наверно, сделал что-то такое, что можно делать только правой рукою.

Дамы ровно ничего не понимали.

Фрекен, многозначительно:

— Он симулировал левшу.

— Симулировал левшу? — спросила фру Бертельсен.— Вот как! Почему же вы знаете это? Каким образом... я ничего не понимаю.

Фрекен Эллингсен растерялась; она терпеть не могла вопросов, ее нельзя было брать за бока. И когда фру Бертельсен спросила:

— Ну, что же еще?

Фрекен покачала головою и ответила:

— Больше ничего... пока.

Бертельсен вступил в разговор. Быть может, добряк Бертельсен работал частным образом в свою пользу и старался смягчить свою супругу в том или ином вопросе — бог знает.

Он сказал:

— Я не понимаю, почему мы так подробно обо всем расспрашиваем. У фрекен Эллингсен самое тонкое, какое я когда-либо встречал, чутье, она знает, о чем говорит. Ваше здоровье, прекрасная дама!

— Я думаю, это какая-то нелепость,— сказала фру Бертельсен.— Простите, что я так выражаюсь.

Фрекен Эллингсен потупилась, но эта, всегда столь спокойная особа, слегка дрожала; она подняла свои косо поставленные глаза с полу на колени фру Бертельсен; в глазах ее сверкал огонек.

— У меня имеется основание так говорить: телеграф! — сказала она.— Я, может быть, кое-что и знаю о человеке в поезде. Но больше ничего сказать не смею, я дала присягу.

— Вот, слышишь! — сказал Бертельсен своей жене.

Он встал, зевнул и сказал:

— Здесь столько дыма, что мы друг друга не видим. Если дамы ничего не имеют против, я раскрою окно.

И правда: дым был очень густ, у вдовы уездного судьи глаза болели, ни большая висячая лампа над столом, ни стеариновая свеча в углу, у двери, не могли гореть как следует.

В эту-то минуту Бертельсен раскрыл окно, увидел Самоубийцу внизу на дворе и позвал его наверх.

В комнате раздался многократный крик и фру Бертельсен кричала:

— Закрой окно! Разве ты не видишь, что лампа гаснет?

С некоторым трудом закрыл он окно, слегка поругивая сильный ветер. Теперь в комнате горела только стеариновая свеча. Вдова попыталась было снова зажечь лампу, но обожгла себе пальцы о горячее стекло и оставила эту попытку. Они все решили, что достаточно им света, и продолжали беседовать в полутьме. Бертельсен бранил некоторое время Самоубийцу, не ответившего даже на приглашение, жаловался на ветер, вырвавший у него из рук раму окна, и ворчал на жалкую стеариновую свечу, горевшую так тускло, что он не мог найти своего стакана. Много огорчений, большие неудачи — и... некоторое время спустя он уснул.

Да, этого здорового, сильного человека всегда клонило ко сну, когда кутеж затягивался подольше. Дамы не обратили на это никакого внимания, они продолжали беседовать, и казалось, что у них явилось больше тем для разговоров, когда они остались одни. Фру Бертельсен больше их всех знала о театре и о музыке. Она играла одним из своих дорогих колец и занимательно рассказывала о певице, звезде первой величины, которая на последнем своем концерте в Христиании пела совсем без голоса и вызвала этим скандал.

Вдова в немногих словах высказала удивление, почему это певицы вовремя не прекращают концерттировать.

Фру Бертельсен:

— Грустные обстоятельства вынуждают их поехать в последнее турне. В хорошие годы они пением богатства собирают, но все проживают; и вот наступает старость, а у них пустые руки.

— Да, это так,— чтобы быть любезной, говорит фрекен Эллингсен.

И дамы болтали и болтали, Бертельсен спал. Прошло часа два или больше; вдова все время была начеку, следила за тем, когда фру Бертельсен даст знак расходиться; тогда она сейчас показала бы свою светскость и встала бы; это она делает, она обязана это сделать в отношении к самой себе и к знатной даме, чьей гостьей она была.

Наконец, Бертельсен несколько громче обыкновенного захрапел на своем кресле, и фру Бертельсен сказала:

— Не знаю, может быть, уже поздно?.. Я говорю это не для того, чтобы прогнать вас...

Все встали.



Но тут фру Бертельсен уронила кольцо. Она искала глазами на полу, и другие дамы помогали ей искать. Фрекен Эллингсен взяла свечу и осветила вокруг; она кружила вокруг фру Бертельсен — замечательно было, что кольцо совершенно исчезло. Она зашла сзади фру Бертельсен и посветила:

— Вот оно! — вскричала она.

В ту же минуту фру Бертельсен всю охватило огнем...

Последующее было смесь криков и огня; фру Бертельсен думала, что вода и ковры спасут ее; она помчалась в альков и по пути зажгла портьеры. Всюду, где она проходила, занимался огонь, крик и огонь, крик и огонь...

В конце концов проснулся Бертельсен; полупьяный, он закричал громче других:

— Нечего так кричать, отнеситесь к этому поспокойнее!

Когда он захотел броситься в альков, чтобы помочь своей жене, он сам зажегся у портьеры, отступил назад и хотел выскочить в окно, но зажег занавеси; он повернул к столу и опрокинул на свое горящее платье остатки вина; но это нисколько не помогло. Фрекен Эллингсен, единственная, поступила разумно: она схватила скатерть со стола, так что стаканы и бутылки посыпались на пол и обернула горящего Бертельсена скатертью. Но этого было недостаточно, скатерти не хватило, чтобы целиком прикрыть его; кроме того, он не стоял смирно, но как бешеный носился по комнате, и следующее, что увидела фрекен Эллингсен, было то, что и она горела. Она бросается на пол, катается, кричит, воеет, опрокидывает стол. Единственная, кто могла бы что-нибудь сделать, стоит и икает; вдова ничего не предпринимает, но стоит, как парализованная, и икает. Вдруг Бертельсен освобождается от горящей скатерти, отбрасывает ее от себя, как длинное пламя, возможно дальше, к вдове, она падает к ее ногам и зажигает и ее...

Теперь все и вся пылает.

Во флигеле у прислуги заметили, что в доме что-то ярко светится; когда они прибежали и увидели дым, то поняли, что случилось несчастье. Была буря, они не могли идти выпрямившись, но, наклонив голову, боролись с ветром и кричали «пожар!», чтобы всех разбудить и, наконец, остановились под верандою, ожидая, чтобы кто-нибудь отпер им изнутри. Никто не показывался. Когда прошло довольно много времени, тогда скотник взял в дровяном сарае топор и выбил дверь. Но никто не выходил. Скотник, инспектор и почтальон с криком «пожар» побежали по лестницам и по коридорам всего

дома; когда, наконец, из-за дыма они вынуждены были повернуть обратно, они снова вышли на веранду.

Теперь огонь высоко вздымался вверх над крышею, ураган мечет огонь дальше вверх и вниз, все это огромное здание на столбах, горит, как бумага. Что делать людям? Принести две лестницы, приставлять их к случайно избранным окнам и заглядывать туда? Они беспомощны, они только и могут что кричать; лохани с водою никакой пользы принести не могут. Полуголые пансионеры во всех этажах раскрывают окна, кричат, но в буре ничего не слышно; кое-кто из них в безумии, бросается из окна, их развевающихся рубашки зажигаются по пути и они падают на землю, как метеоры. Люди ползут по ступенькам, желая спасти хоть одну жертву, но никого спасти не удается; какая-то дама, с массой платья на руках, передает сначала платье, но сама не решается последовать за ним. Это ураган и гибель! Теперь уже стены горят, лестницы забаррикадированы огнем, прислуга вынуждена спуститься со ступеньки на ступеньку.

Ох, эти лестницы! Теперь распоряжается инженер со своими рабочими по электрической станции. Конечно, лестницы переносятся от окна к окну, с одного места на другое, на каждой ступеньке молодой человек, смельчак; слава богу, они добираются до самого верха, заглядывают в комнату, полную дыма и огня, но людей нет, люди слились в одно с пламенем и дымом и больше не существуют. Смельчаки спешат вниз; на них самих загорелось платье, даже лестницы горят.

Внезапно появляется доктор; он в нижнем белье и с обнаженной головой и может сделать так же мало, как и другие, но он не кричит, он молчит. Наконец, у двери, на веранде показываются несколько пансионеров, два-три человека следуют за ними; все они не одеты, но кое у кого одежда в руках. Они кричат и горят, они охвачены пламенем, но все-таки выбегают. Это произошло в последнюю минуту; вслед затем огонь выбивается и сквозь дверь на веранду.

В углу, в верхнем этаже, под крышею, показывается в окне одетый мужчина. Он смотрит вниз и, не раздумывая ни секунды, схватывается за водосточную трубу и начинает по ней спускаться. Лестница могла бы спасти его, но лестниц нет больше. Он спускается по трубе с крыши на крышу и приближается к земле. Когда огонь на втором этаже задерживает его, он, по-видимому, теряется; он повисает на руках и раздумывает, покинуть ли ему свою крышу. Вдруг он

исчезает, огонь и дым скрыли его, и он оказался внизу на дворе. Расшиблен? Нет, не расшиблен, но он горит, катается по земле, срывает с себя платье и гасит его, шлепает шляпой и руками по своему телу и гасит, гасит...

Вот он встает. То Самоубийца.

Он спасся, когда, падая, оттолкнулся ногою от водосточной трубы; это бросило его наискосок на балкон следующего этажа, откуда он упал дальше, причем падение превратилось в падение в два приема, и напоследок он упал уже с небольшой высоты. Боявшийся жизни, Самоубийца рискнул спастись с такой высоты и сквозь море огня. Счастье, чудо!

Он силится пройти на веранду, но вынужден повернуть.

— Я запер ее там! — кричит он. — Вот, ключ, она не может выйти! Это в № 106.

— Где же № 106? Комната № 106 сгорела.

Ему не оказывают помощи, лестниц мало, нет стены, чтобы прислонить к ней лестницу, нет окна, ничего нет, только море огня. Он с воем выкликает свой номер, высоко держит обеими обожженными руками ключ и снова пытается пройти через веранду — но этого пути уже не существовало, то был костер...

Высоко в окнах верхнего этажа еще мелькали кое-где руки, пылающие женские волосы, потом видения эти исчезли.

Все и все исчезло.

Буря превратило все это в грандиозный пожар; огонь перешел с главного дома на флигеля, на хлебный амбар на сваях, на хлев: все эти пять строений со всем, что в них заключалось, были охвачены пламенем, за исключением дровяного сарая. Спасти ничего не удавалось: одно время инженер со своими рабочими бегали вокруг крыши одного из флигелей и пытались тушить огонь каждый раз, как загоралось; но когда буря начала перебрасывать туда горящие головни с главного здания, они вынуждены были отказаться от этого. Пришли также люди из села, но сделать ничего не могли, добрая воля людей была ни к чему. Все, что можно было сделать, было сделано: скотник вовремя угнал коров из хлева в лес. И доктор послал людей на село за повозками, чтобы увезти тех немногих, кто остался жив.

Четыре часа утра.

Буря улеглась. Дело свое она сделала; на пожарище тишина, раненные увезены, только двое из рабочих

инженера часовыми ходят по двору. Из лесу доносится по временам жалобное мычание санаторских коров.

Место покинуто, полно мрака и дыма.

Вокруг на цыпочках бродит Самоубийца. Он не хотел отправиться с транспортом, он ходит взад и вперед перед фасадом, временами останавливается и бормочет что-то, смотрит в пространство на воображаемую стену, и опять ходит, все с ключем в руке — руке, окоченевшей вокруг куска железа. Стража желала бы, чтобы он ушел, и несколько раз пыталась спровадить его, но он не уходил.

— Что вы здесь ищите? — спросили его стражники. — Чего вы ждете?

— Я ничего не жду, — ответил он. — То есть, я хожу здесь, но ничего не жду. Жена моя спала в № 106.

— Вот как, значит жена ваша была там?

— Да. Заперта, вот ключ.

Люди прониклись состраданием и покачали головами. Они оставили в покое бродившего по пожарищу человека: он ничего не крал. Здесь и красть-то нечего; они уселись, завели тихую беседу: они недоумевали, кто бы это мог зажечь такой пожар, говорили о страховке, предсказывали, что санатория будет снова отстроена. Ну, скажите, не обидно ли: через месяц инженер закончил бы свое дело, и воды для тушения пожара было бы в изобилии! Но не так все сложилось!

Самоубийца все бродит.

— Не лучше ли вам, — говорят они, полные сострадания к нему, при виде того, как он расстроен, — не лучше ли вам отправиться на сэттер и посидеть под крышею?

— Да, — ответил он.

— Потому что тогда вы получите кофе и чего-нибудь горячего.

— Да.

Но он не ушел, он продолжал бродить. Когда было уже около пяти часов и рассвело, он сам ушел.

Сторожа следили за ним глазами; он подошел к дровяному сараю, единственному уцелевшему на плоскогорье строению.

Не оглядываясь, подошел он к маленьким санкам, стоявшим там прислоненными к стене, к маленьким санкам, на которых разъезжали зимою, и стал отвязывать от них веревку.

Люди подошли и спросили:

— Что вы здесь делаете?

Он продолжал свою работу и не ответил.

— Вы ничего не должны трогать. Зачем вам веревка? — спросили они.

— Зачем она мне?

— Разве вам нужно увязать что-нибудь?

— Да, — пробормотал он, — мне нужно увязать.

— Где это у вас?

Он не ответил, но не бросал своей работы; казалось, он словно высмотрел эту веревку и ни за что не хотел отказаться от нее.

Сторожа, вероятно, больше и не раздумывали об этом; может быть, они охотно уступили ему этот обрывок веревки, лишь бы избавиться от него:

— Да, да, возьмите веревку! — сказали они. И Самоубийца ушел с своей добычей.

Он шел по плоскогорью, мимо столбов, с белыми плакатами, мимо столбов, указывающих дорогу, мимо метеорологического указателя, мимо всех обнаженных остатков санатории Торахус, свернул на знакомую тропинку, ведущую к сэтеру, и направился по ней уверенной стопой, словно шел по делу. Когда он подошел к сеновалу, то свернул в лес.

Странное дело: только теперь почувствовал он сильную боль от ожогов и на ходу дул на руки, чтобы охладить их. Зайдя в глубь леса, он стал разыскивать подходящее дерево. Он бормотал и бормотал: — 106, говорил он, 106. За ночь он так привык бормотать это число, что бессознательно продолжал делать это. Ключ он не выпускал из рук.

Не так легко найти подходящее дерево, и он долго искал его. Но найти его надо было. То, что он задумал, было единственное, что надо было сделать, и сделать это надо было сейчас. К чему могла послужить отсрочка? Разве, во всяком случае, смерть не поджидала его, не лежала позади каждой кочки, не стояла сзади каждого дерева, не готова была броситься на него?

Что-то стало его колоть внизу, в сапоге, он чувствовал на каждом шагу укол; в конце концов он сел и стянул сапог. В чулке оказалась хвоя. Когда он выкинул ее, он надел сапог и, как всегда, зашнуровал его.

Легче, конечно, было найти дерево с подходящим суком повыше: он прошел было мимо одного, совсем недурного, довольно подходящего. Он повернул обратно и подошел к нему; нет, он не будет больше так разборчив, вот сухая сосна, на ней сук. Он перебрасывает веревку через сук и, для пробы, всю свою тяжестью испытывает его крепость. Конечно, сук трещит. Он ищет дальше и находит другую

сосну, пробует, как в первый раз, и ему кажется, что он у цели: сук выдерживает. Что же ему мешает? Ему не следовало делать таких больших усилий, большие руки его не могут этого вытерпеть: они кровоточат, в них развивается словно новая боль, пульсация чувствуется в них. Но что же из того! Он налаживает веревку, прикрепляет ее к суку, устраивает петлю. 106, 106...

Громкое воронье карканье будет слышно дня через два над этой сосной: на крик этот сбегутся люди и найдут давленника. Ноги почти касаются земли, он вытянулся, шея стала неестественно длинной и тонкой...

Если он сегодня не сделает этого, смерть все равно достигнет его сегодня же или в другой день, от смерти не уйдешь, чего же бегать от нее, почему сейчас же не протянуть шеи? Он вспугнул птицу, дрозда, и тот взлетел, такой маленький, невинный и смешной. Но прощай все, и малютка Леонора, и город...

Но он все-таки не делает этого, нет, не делает! Он садится в вереск, дует на свои руки и плачет. Господи, помоги нам, мы жалки, мы люди! Так как в смерти нет ничего привлекательного, человек хватается за жизнь. Самоубийце не для чего жить: солнца он не видит, ничего на свете не радует его, 106, 106, руки нестерпимо болят, он смертельно устал, он ни к чему, он засыпает от холода.

Вдруг моментально боль утихает, и он подымается. Боязливо, словно кто-то гонится за ним, оглядывается он, оставляет веревку на суку и идет на сэтэр.

— Пес,— говорит он самому себе,— пес, пес...

Они уже не спят на сэтэре; фрекен д'Эспар покормила своего ребенка и теперь стоит во дворе и стирает. Видя, что подходит Самоубийца, она выпрямляется и с удивлением смотрит на него: он не кланяется, платье его в лохмотьях, руки в крови. Что же случилось, господи, боже мой!..

На маленьком, уединенном сэтэре ничего неизвестно о ночном происшествии в санатории. Обитательницы его легли вечером спать, не прислушивались к буре, а спали до утра; затем встали и принялись за дело. Фрекен д'Эспар берет уроки у жизни, она в своем роде очень дельная, она тоже человек.

Самоубийца что-то говорит, слова его такие странные и чуждые:

— Пожар, ничего не осталось, сгорел № 106, она была в нем заперта и не могла оттуда выйти, вот ключ...

— Санатория сгорела? Марга, санатория сгорела сегодня ночью!

Марта прибегает из кухни и с расстроенным лицом узнает про эту новость.

— А люди? — спрашивает она.

— Люди... — повторяет Самоубийца, — они тоже сгорели. Она была в комнате 106 и спала там.

— Мне казалось сегодня утром, что я слышу запах дыма, — сказала Марта. — Разве я не сказала этого? — спросила она фрекен.

— Да, — сказала та.

— Как только я вышла, я сейчас же явственно почувяла дым.

— Ты вошла и сказала это.

— Да, разве не так?

Снова и снова обсуждают это обе женщины, словно это очень важно и хотя Самоубийца, собственно, не слушает их, потому что слишком занят своим, все же слова проникают в его уши и понемногу меняют ход его мыслей.

Это болтовня людей; обе женщины заняты будничными, земными делами; время от времени кладет фрекен штуку одежды в воду, чтобы не прекращать работу. Это земное занятие.

К рукам Самоубийцы приложили сало, намазанное на тряпки, и сделали перевязку; ему дали поесть; захотелось ему спать, и он подремал несколько минут, сидя. Когда ему надо было уходить, он спросил:

— А бык не взаперти?

— Он на горе, — ответила фрекен, — далеко отсюда. Теперь вы пойдете, конечно, на станцию?

— Не знаю, — ответил он. — На станцию?

— Да. И поедете домой?

— Вот как! Да, может быть, — покачивая головою, сказал он. — Я ничего не соображаю.

— Это, видите ли, самое лучшее.

— Почему так? Что мне делать дома? — резко спрашивает он. — Пожар все уничтожил, она умерла, совершенно уничтожена. Разве вы это забыли? Вчера она пришла ко мне на «Вышку», прямо так-таки пришла ко мне, совсем это недавно, каких-нибудь несколько часов тому назад. Мы разговаривали и вместе пошли домой. Вчера вечером мы еще больше говорили; раньше я не понимал ее, она что-то сказала, слов я не помню, но мы все выяснили, и я был так счастлив, господи, боже мой, да вы не слышите меня? — жалобно сказал он.

— Слышу, бедняга, — сказала фрекен.

— Я сидел у нее, пока она заснула, так счастлив я был. Потому ушел. А теперь ее нигде нет! Ведь этого понять нельзя, у меня для этого ума не хватает. Вы слышите!

Фрекен заговорила осторожно:

— А вы забываете, что у вас есть маленькая девочка?

— Да, Леонора. Да.

— Вы не должны ее забывать. И, конечно, вы не забудете о ней. Ее, может быть, поставили на окно, и она стоит и ждет, когда вы придете. Это может доставить много удовольствия. Господи, Боже, я отлично понимаю, как вам скверно, но мы не должны отчаиваться! — ободряюще говорила фрекен. — У каждого свое, как вы сами говорили. Что касается меня, то мне еще много лет ждать своей доли.

— Как это?

— Да, много лет, семь лет.

Стало уже совсем светло, и после бурной ночи намечался чудный день. Тихо вокруг сэтета, и куст не шелохнется, только куры ходят и клюют, да и несколько шагов в стороне тихо журчит ручей.

— Я пес! — вырывается у Самоубийцы, и он умолкает.

Фрекен испуганно взглядывает на него. У него такой уверенный вид, он словно высказал неопровержимую истину; он сам бледнеет от собственных слов, как будто его поразила верность высказанного им.

Чтобы успокоить его, фрекен тихо и разумно заговорила:

— Я думаю, вы пойдете на станцию и поедете домой, господин Магнус. Не оглядывайтесь с таким страхом, бык сегодня, как и вчера, на горе, он, как мы говорим, на горном выгоне.

— Прощайте! — сказал Самоубийца и двинулся в путь.

— Если вы пойдете через лес, — крикнула ему вслед фрекен, — вы еще попадете на утренний поезд.

Он пошел через лес, прошел мимо веревки, болтавшейся на суку, прошел мимо, шел, шел... и исчез.

Фрекен д'Эспар, пока видела его, следила за ним глазами. Затем снова принялась за стирку... одинаково склонная и к добру и к злу, так занятая земным. Так мы зовем это здесь...



## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

**Последняя отрада**  
**5**

**Последняя глава**  
**185**

Литературно-художественное издание

**Кнут Гамсун**

---

*Последняя отрада*

*Последняя глава*

*Романы*

Ответственный за выпуск  
Г. К. Джапаридзе

Художественное оформление  
Б. М. Кравченко

Редактор  
С. В. Хрусталева

Технический редактор  
А. М. Короб

Корректоры  
С. В. Краснова, Н. И. Сичкарчук

Подписано в печать 27.07.94. Формат 84×108/32.  
Бумага типографская. Гарнитура «Гаймс».  
Печать высокая. Усл.-печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 27,56.  
Заказ № 4-479.

«Эй-Ди-Лтд». 121663 Москва,  
ул. Большая Филевская, 35.

Оригинал-макет подготовлен в ИПЦ ММП «Борисфен».  
252189 Киев, ул. Дружковская, 10.

Отпечатано с оригинал-макета по заказу ММП «Борисфен»  
на материалах заказчика на арендном предприятии  
«Киевская книжная фабрика».  
252052 Киев, ул. Воровского, 24.

